

СТЕФАН
ЦВЕИГ

СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание
сочинений
в десяти
томах

STEFAN ZWEIG

Stefan Zweig

Собрание
сочинений
в десяти
томах

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Собрание
сочинений

Том 9

ТРИУМФ
И ТРАГЕДИЯ
ЭРАЗМА
РОТТЕРДАМСКОГО
СОВЕСТЬ
ПРОТИВ НАСИЛИЯ
АМЕРИГО
МАГЕЛЛАН
МОНТЕНЬ



МОСКВА
«ТЕРРА»—«TERRA»
1997

УДК 82/89
ББК 84 (4 А)
Ц26

Внешнее оформление
И. САЙКО

Цвейг С.

Ц26 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 9: Триумф и трагедия Эразма Роттердамского; Совесть против насилия: Кастильо против Кальвина; Америго: Повесть об одной исторической ошибке; Магеллан: Человек и его деяние; Монтень / Пер. с нем. — М.: ТЕРРА, 1997. — 752 с.

ISBN 5-300-00446-4 (т. 9)

ISBN 5-300-00427-8

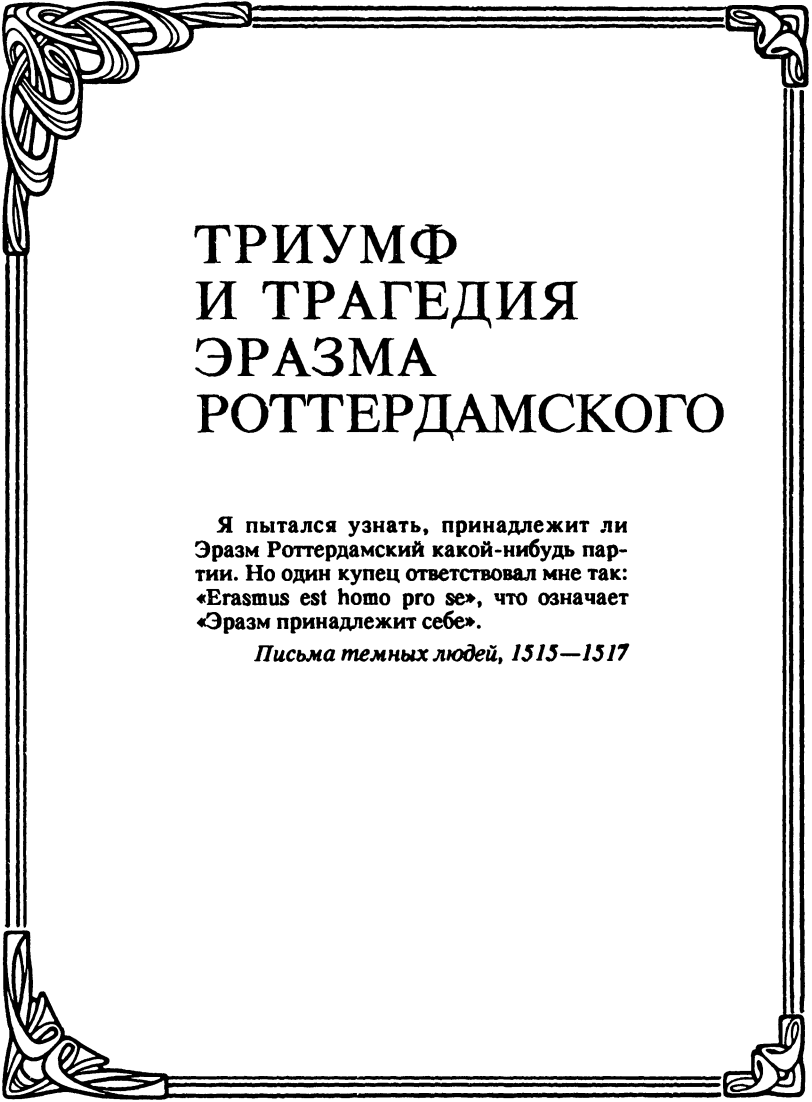
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций.

В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

УДК 82/89
ББК 84 (4А)

ISBN 5-300-00446-4 (т. 9)
ISBN 5-300-00427-8

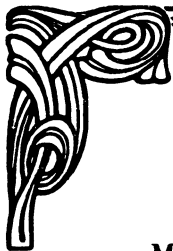
© Издательский центр «ТЕРРА», 1997



ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО

Я пытался узнать, принадлежит ли Эразм Роттердамский какой-нибудь партии. Но один купец отвечивал мне так: «Erasmus est homo pro se», что означает «Эразм принадлежит себе».

Письма темных людей, 1515—1517



МИССИЯ И СМЫСЛ ЖИЗНИ

Эразм Роттердамский, величайший светоч своего столетия, сейчас для нас, и с этим трудно не согласиться, является одним лишь именем. Его бесчисленные произведения, написанные на забытом теперь наднациональном языке, на латыни гуманистов средневековья, лежат никем не тревожимые в библиотеках; пожалуй, ни одно из них, некогда снискавших автору всемирную славу, нашему времени ничего не говорит. Да и сам он, не очень понятный, во многом противоречивый, затерялся среди других людей духа, более энергичных, более страстных реформаторов мира; о его частной жизни нам почти ничего не известно, биография человека, всю свою жизнь проведшего в неустанных трудах за книгами, редко бывает очень интересной. Да и само дело его жизни, формирование современного ему сознания, скрыто от наших глаз, как невидимые нам камни фундамента уже возведенного здания.

Теперь же пришло время сказать, чем дорог нам Эразм Роттердамский, Великий Забытый: он дорог нам сегодня, — именно сегодня, — тем, что среди всех когда-либо писавших творческих личностей Запада он был первым европейцем, первым воинственным борцом за мир, красноречивейшим защитником гуманистических идеалов. И то, что при всем этом в своей борьбе за справедливое гармоническое строение нашего духовного мира он оказался побежденным, то, что ему выпала эта трагическая судьба, делает его еще ближе нам, связывает его с нами еще теснее, еще более сильными, более интимными узами.

Эразм любил многое из того, что любим мы, поэзию и философию, книги и произведения искусства, языки и людей, все человечество без какого-либо различия между народами; и он поставил перед собой задачу — всемерно совершенствовать Человека, повышать его нравственность, воспитывать в нем моральные устои. И лишь одно он ненавидел — антипод разума: фанатизм. Самый нефанатичный среди всех людей духа, может быть, и не гений, но чрезвычайно эрудированный человек, сердце которого не отличалось пьянящей добротой, но было полно честной доброжелательности, Эразм в любой форме нетерпимости видел наследственный недуг мира. По его убеждениям, едва ли не все конфликты между людьми и народами можно разрешить, не применяя силу, если противники будут уступать друг другу, поскольку все эти конфликты лежат в области человеческого; едва ли не любую распрю можно привести к мирному согласию соглашением, если соперничающие стороны проявят добрую волю.

Поэтому и боролся Эразм с любым фанатизмом, безразлично каким — религиозным, национальным, мировоззренческим, с прирожденным, заклятым врагом любого взаимопонимания, он ненавидел всех фанатиков, твердолобых, однобоко мыслящих, в какие бы одежды они ни рядились, в одеяния ли священнослужителей, в мантию ли профессора, мыслителей с шорами и зелотов* любой национальности, любого сословия, постоянно требующих рабского следования их мнению, презрительно именующих ересью или мошенничеством любую точку зрения, отличную от их. Не желая никому навязывать свои взгляды, он решительно сопротивлялся любому навязываемому ему религиозному или политическому учению. Самостоятельность мышления была для него безусловной необходимостью, и всегда этот свободный ум считал, что божественное многообразие мира пострадает, если кто-нибудь, безразлично, с церковной ли кафедры или с кафедры универ-

*Зелоты — партия еврейской бедноты в Палестине, боровшаяся против захватчиков-римлян. Здесь: религиозные фанатики. — *Примеч. пер.*

ситетской, станет вещать свою личную правду, выдавая ее за откровение, которое Бог вложил ему, именно ему одному в уста.

Со всей силой своего сверкающего, разящего интеллекта он всю жизнь боролся с не терпящими возражений фанатиками их собственного безумия, в какой бы области знаний они ни подвизались. И очень редко — в счастливые часы — смеялся над ними. Тогда узколобый фанатизм казался ему всего лишь прискорбной тупостью духа, одной из бесчисленных форм «стультиции»*, тысячи видов и разновидностей которой он так восхитительно классифицировал и окарикатуренно показал в своей «Похвале Глупости». Как праведник, абсолютно свободный от предрассудков, Эразм понимал своих самых озлобленных врагов и сочувствовал им. Но в глубине души он всегда знал, что фанатизм — неизлечимый недуг человеческой натуры, что он разрушит его, Эразма, собственный доброжелательный мир, его жизнь.

Ибо миссией и смыслом жизни Эразма было гармоническое — в духе гуманизма — объединение противоположностей. Он был рожден как связующий или как «коммуникативный» характер, говоря словами Гёте, который был подобен ему в неприятии всего экстремального, крайнего. Любой насильственный переворот, любое волнение, любой «tumultus»**, любая грызня толпы были противны ясной сущности Мирового разума, которому он чувствовал себя обязанным служить как верный провозвестник, война же, эта самая грубая, самая жестокая форма разрешения внутренних противоречий, представлялась ему несовместимой с человечеством, мышление которого должно подчиняться определенным нормам морали.

Редчайшее искусство гасить конфликты улаживанием споров, доброжелательным пониманием, прояснением смутного, уметь штопать порванную ткань, находить в изолированном высокие черты всеобщего — в этом была подлинная сила его

* Стультиция — глупость (греч.).

** Здесь: беспорядок (лат.).

творческого гения, и современники с благодарностью называли эту волю к пониманию «эразмовской». Этим «эразмовским» человек хотел добиться мира. Объединяя в себе все формы творческого, писатель, богослов, педагог, он полагал, что подобная гармония во всем, казалось бы непримиримом, возможна и во всей вселенной; ни одна сфера духовного мира человека не оставалась непонятой им или чуждой его искусству гениального посредника.

Эразм не видел никаких моральных, никаких иных непреодолимых противоречий между Иисусом и Сократом, между христианским учением и мудростью греков античности, между набожностью и нравственностью. Имея сан священника, он под знаком терпимости брал язычников в свое духовное царство небесное и братски ставил их рядом с отцами церкви; философия для него была иной, но такой же, как богословие, чистой формой богоискательства, греческий Олимп он боготворил не менее, чем христианское небо, Возрождение со своим изобилием чувственных радостей представлялось ему не врагом Реформации, как Кальвину и другим фанатикам, а движением, близким ей по духу. Не живя подолгу в одной стране, гражданин всех стран, он был первым сознающим это космополитом и европейцем, не признавая никаких преимуществ одной нации перед другими, приучив свое сердце оценивать народы по высоконравственным их представителям, все народы считал достойными любви.

Целью его жизни было благородное стремление к объединению в большой союз всех образованных, всех доброжелательных людей разных стран, любых сословий; подняв латынь, этот язык, стоящий над всеми другими языками, до уровня новой формы искусства, до языка взаимопонимания, он создал для народов Европы на некоторый исторический отрезок времени — незабываемое деяние! — вненациональные, единые формы мышления и выражения мысли. Его обширные знания благодарно оглядывались назад; его исполненный доверия ум был устремлен в будущее. Но он упорно смотрел мимо варварства мира, мимо сил, рвущихся

вновь и вновь с неизменной злобной враждебностью спутать планы Бога; только высшая, творческая сфера братски притягивала Эразма к себе, и он считал, что каждый думающий, каждый мыслящий человек должен расширять, раздвигать это пространство, пока оно, чистое и единообразное, словно небесный свет, не охватит все человечество.

Эта внутренняя убежденность — прекрасное, но трагическое заблуждение раннего гуманизма. Эразм и его единомышленники считали, что просвещение — движущая сила прогресса человечества, и полагали, что воспитание людей и сообществ может быть осуществлено через всеобщее образование, через учение и книги. Эти идеалисты шестнадцатого века трогательно, едва ли не религиозно верили в то, что природу человека можно облагородить упорным учением и чтением. Как ученый, глубоко убежденный в том, что книга обладает магической силой, Эразм никогда не сомневался в том, что морали можно научить. И проблема полной гармонизации жизни казалась ему гарантированной этой столь близко грезившейся ему гуманизацией человечества.

В то время эта высокая мечта, словно мощный магнит, привлекала к себе лучшие умы. Человеку, чувствующему и мыслящему в рамках высокой морали, его собственное существование всегда кажется незначительным и несущественным без утешающей мысли, без возвышающей душу иллюзии, что и он, единица, имея желание действовать, способен что-то сделать для облагораживания мира. Лишь ступенькой к совершенству является наше существование, лишь подготовкой к значительно более совершенному жизненному процессу. Вождем своего поколения становится тот, кто обладает этой верой в прогресс человечества, в необходимость создания нового идеала.

Так произошло с Эразмом. Для его мыслей о европейском единении в духе гуманизма час был чрезвычайно благоприятный, так как величайшие открытия и изобретения на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков, обновление наук и искусств в рамках Возрождения через Возрождение давно уже

было сверхнациональным коллективным переживанием всей Европы; западный мир впервые после многих гнетущих лет вдохновился верой в свое предназначение, и лучшие силы всех стран устремились к гуманизму.

Каждый хотел стать гражданином этой республики просвещения, гражданином мира, императоры и папы, князья и священнослужители, художники и государственные деятели, юноши и женщины соревновались в стремлении получить образование в науках и искусствах, латынь стала их общим братским языком, первым эсперанто духа: впервые — восславим это деяние! — с падения римской цивилизации благодаря республике ученых Эразма вновь возникла общая европейская культура, впервые не тщеславие какой-нибудь одной нации, а благоденствие всего человечества стало целью братского содружества идеалистов. И это стремление мыслящих людей объединиться духовными интересами, языков — понимать друг друга в сверхъязыке, наций — найти окончательный мир в сверхнациональном, этот триумф разума был также и триумфом Эразма, его святым, но кратким и преходящим звездным часом.

Почему же — мучительный, горький вопрос, — почему это чистое государство не могло существовать длительное время? Почему те же самые высокие и гуманные идеалы духовного сообщества вновь и вновь привлекают к себе, почему «эразмовское» начало так слабо проявлено в человечестве, давно понявшем, насколько нелепа всякая вражда? К сожалению, — нам следует это знать и принять как должное, — идеал никогда не дает широким народным массам полного удовлетворения, лишь всеобщее благоденствие понятно им, и, кроме того, средний человек находится в ужасном, мрачном плену ненависти и половых инстинктов; и еще — каждый индивидуум желает получить от любой идеи немедленную выгоду лично для себя.

Конкретное, осязаемое массе всегда ближе, всегда доступнее, чем абстрактное, именно поэтому политики и используют более доходчивые, более понятные массам лозунги, лозунги,

прокламирующие не идеалы, а вражду, — удобная и очевидная антитеза — вражду, безразлично на что направленную, на другой класс, на другую расу, на другую религию, так как именно на хворосте ненависти фанатизму легче всего разжечь свой преступный костер. А сверхнациональный, объединяющий все народы пангуманизм, гуманизм, подобный эразмовскому, не дает, естественно, никаких поводов юношеству смотреть воинственно в глаза своим противникам, а ведь юношество так страстно желает этого, лишает юношество возможности показать себя с наиболее выгодной стороны, наиболее эффектно, и никогда этот пангуманизм по природе своей не может вызвать тот стихийный импульс, который всегда ищет и всегда находит врага — обязательно по ту сторону границы своей страны, обязательно вне своей религиозной общины.

Именно поэтому у толпы успех имеют вожди тех партий, которые гонят человеческое недовольство в определенном направлении; гуманизм же, учение Эразма, в котором нет никакого, даже малейшего уголка для ненависти, свои героические усилия направляет к достижению далекой, едва видимой цели. Это есть и останется идеалом аристократии духа до тех пор, пока народ, о котором она грезит, пока европейская нация не станет реальностью. Поэтому идеалистам, борцам за будущее человеческое взаимопонимание, людям, знающим человеческую природу, должно быть очевидно, что их дело постоянно находится под угрозой вечно-иррациональных страстей, они должны знать, что фанатизм, скрытый в сокровенных глубинах мира человеческих инстинктов, в период бурного всплеска человеческих страстей обязательно прорвет все дамбы и вырвется наружу: едва ли не каждое поколение вовлекается в этот мутный поток атавизма, и моральным долгом людей является пережить этот кризис без внутреннего смятения.

Личная трагедия Эразма, однако, состояла в том, что именно он, самый нефанатичный человек, самый ярый противник фанатизма среди людей своего времени, как раз в тот момент, когда слава его сияла над всей Европой, оказался в средоточии

дичайшей из когда-либо существовавших в истории вспышек национально-религиозных страстей, вовлекших в свой водоворот огромные массы людей. Вообще говоря, те события, которые мы считаем исторически значительными, не всегда отражались на живом национальном самосознании. Даже волны великих войн прошлых столетий захлестнули лишь отдельные народности, отдельные провинции государств, и вообще при социальных или религиозных столкновениях людям духа, возможно, и удалось бы удержаться в стороне от этих волнений и равнодушно созерцать игру политических страстей — прекрасный пример тому Гёте, который в страшные годы наполеоновских войн мог спокойно творить.

Иногда же, очень редко — может быть, раз в столетие — под напором подобного ураганного ветра возникают антагонистические напряжения, и весь мир, словно кусок ткани, разрывается на две части, причем этот гигантский разрыв пересекает каждую страну, каждый город, каждый дом, каждую семью, каждое сердце. Тогда насилие всей своей чудовищной тяжестью наваливается со всех сторон на индивидуума и тот не в состоянии защищаться, не может спастись от массового безумия; от волны подобной силы, подобного неистового удара не уйти, не найти такого места, которого этот вал не достиг бы.

Такой раскол мира может возникнуть при столкновении социальных, религиозных или каких-либо других духовно-теоретических антагонистических — безразлично каких — проблем, причем все равно, на какой основе произошло воспламенение; мир хочет гореть, полыхать ярким пламенем, он требует разрядки накопившихся сил ненависти, и чаще всего как раз в такие апокалиптические мировые часы массового психоза демон войны разрывает цепи безумия и, ослепленный страстью разрушения, свободно носится по свету.

В подобные ужасные мгновения массового безумия и раскола мира на враждующие стороны воля отдельных единиц беззащитна. Тщетно мыслящая личность пытается спастись бегством в обособленную сферу размышлений, время толкает

ее в самую гущу свалки, понуждает примкнуть к тем или другим, к одной толпе или к другой, к одному лозунгу или к другому; в подобные времена ни один из сотен тысяч или миллионов не нуждается в большем мужестве, в больших силах, в большей моральной решимости, чем человек середины, который не желает подчиниться безумию толпы, не хочет следовать одностороннему мышлению.

И здесь начинается трагедия Эразма. Как первый немецкий реформатор (и, особенно, как единственный, ибо другие были, скорее, революционерами, чем реформаторами), он пытается обновить католическую церковь, руководствуясь законами разума; но ему, прозорливому гиганту мысли, эволюционеру, судьба противопоставляет человека действия, Лютера, революционера, демонического исполнителя тупой немецкой народной силы. Одним ударом железный крестьянский кулак доктора Мартина разрушает то, что пыталась осторожно и нежно соединить тонкая, вооруженная лишь пером рука Эразма. На столетия христианский европейский мир окажется расколотым, католики восстанут против протестантов, Север против Юга, германцы против романцев, в этот миг существует лишь один выбор, одно решение для немецких людей, для людей Запада: папство или лютеранство, либо папская власть, либо Евангелие.

Но Эразм — это его деяние достопримечательно — единственный среди вождей своего времени не желает примкнуть ни к одному лагерю. Он не переходит ни на сторону католической церкви, ни на сторону Реформации, ибо связан с обеими, не выступает ни против евангелического учения, поскольку по убеждению нуждается в нем и поддерживает его, ни против католической церкви, ибо защищает в ней последнюю единую духовную форму погибающего мира. Однако и справа — крайности, утрировка, и слева — то же, и справа — фанатизм, и слева — так же, а он, убежденно нефанатичный человек, не желает служить ни той, ни другой крайности, он хочет остаться преданным только своему единственному, своему вечному критерию — справедливости.

Чтобы спасти в этом раздоре общечеловеческие ценности культуры, он как посредник пытается встать в самую гущу свары, в самое опасное место; пытается голыми руками соединить противоположное, воду и пламень, примирить один фанатизм с другим: напрасный, безнадежный и поэтому вдвойне великолепный труд. В обоих лагерях сначала его поведение не понимают, и, поскольку он доброжелателен и к тем и к другим, и те и другие надеются перетянуть его на свою сторону. Но едва обе противоборствующие стороны начинают понимать, что этот свободный, независимый человек не принимает никакого чужое мнение, не желает защищать никакую догму, так сразу же — и справа и слева — на него обрушиваются ненависть и издевательства.

И не желая примкнуть ни к одному лагерю, Эразм оказывается в споре с обоими: «Среди гвельфов я гибеллин, среди гибеллинов — гвельф»*. Лютер, протестант, предаёт его имя проклятию, католическая церковь вносит все его книги в индекс**. Но ни угрозы, ни проклятья не могут заставить Эразма примкнуть к тому или другому лагерю; *nulli concedo****, никому не хочу я принадлежать, этому своему девизу он верен до конца, *homo per se* — человек сам по себе, к каким бы последствиям это ни привело.

Творческая личность, человек духа, Эразм свою задачу видит в том, чтобы быть человеком меры и середины, быть благожелательным, понимающим посредником между политиками, вождями и совратителями, между людьми, толкающими массы в пучину однобоких страстей. Он не примыкает ни к одному фронту, он один — всегда против общего врага любой свободной мысли, против любого фанатизма; он не

* Гвельфы — партия, отстаивавшая в Италии светскую власть папы; гибеллины — партия сторонников императорской власти в Италии. — *Примеч. пер.*

** Индекс — «*Index librorum prohibitorum*» — перечень книг, которые признаны католической церковью еретическими и запрещёнными для верующих. — *Примеч. пер.*

*** Никому не уступлю (*лат.*).

имеет права быть в стороне от партий, так как художник призван сострадать всему человеческому, нет, он должен быть над ними, *au-desus de la mêlée**, бороться против одной крайности и против другой, против пагубной, бессмысленной ненависти, одинаковой для каждой стороны.

Современники Эразма и те, кто наследовал его труды, очень неправильно нарекли трусостью это его поведение, это его нежелание примкнуть к тому или другому лагерю и Колеблющегося Ясновидящего высмеивали, как индифферентного, непостоянного человека. Действительно, Эразм не вышел, подобно Винкельриду**, с открытой грудью против мира, бесстрашно-героическое не было в его характере. Осторожный, стоял он в стороне и с готовностью, словно тростник, колебался вправо и влево, но только затем, чтобы не сломаться и вновь выпрямиться. Свое кредо, свое *nulli concedo* он не поднимал высоко, не нес гордо перед собой, словно дароносицу, нет, он прятал его под плащом, как вор прячет свой фонарь.

Иногда, во времена наиболее диких взрывов массового безумия, он укрывался в темных углах, брел окольными, тайными тропами, однако, и это самое главное, — свои сокровища, свою веру в человека он сохранил невредимыми, он вынес их из ужасного урагана ненависти своего времени. И поэтому Спиноза, Лессинг, Вольтер и все последующие европейцы-мыслители смогли зажечь свои светильники. Эразм, единственный в своем поколении интеллеktуал, остался верен всему человечеству, как единому сообществу. Умер он одиноким, в стороне от поля боя, не принадлежа ни одной из воюющих армий, ненавидимый ими обеими. Одиноким, но — и это решающее — независимым и свободным.

Но История несправедлива к побежденным, она очень не любит людей меры, посредников, умиротворяющих, людей человечности. Ее любимцы — люди страстей, люди исключи-

* Над схваткой (фр.).

** Винкельрид Арнольд (Эрни) — национальный герой Швейцарии. —
Примеч. пер.

тельные, безумные авантюристы духа и действия, поэтому она едва ли не с презрением прошла мимо этого миролюбивого поборника гуманизма. На исполинской картине Реформации место Эразма где-то на заднем плане. Драматически следуют своей судьбе люди, одержимые верой и гениальностью: Гус задыхается в пламени констанцкого костра, Савонарола — на костре Флоренции, Сервет брошен в огонь фанатиком Кальвином. У каждого свой трагический час: Томаса Мюнцера рвут раскаленными клещами, Джон Нокс прикован к галере, Лютер, упершись широко расставленными ногами в немецкую землю, гремит королю и всей стране свое: «Я не могу иначе!», Томас Мор и Джон Фишер кладут свои головы на плаху палача, Ульриха Цвингли убивают бердышом в битве при Каппеле — незабываемые имена, мужественные в своей яростной вере, восторженные в своих страданиях, великие в своей судьбе. Но за ними вдаль, однако, пылает губительный огонь религиозного безумия, замки, разграбленные крестьянской войной, люди богохульно присягают Христу, которого каждый фанатик понимает по-своему, разрушенные города, крестьянские усадьбы, опустошенные тридцатилетней, столетней войнами, эти апокалиптические ландшафты, они вопиют к небу о земном безрассудстве, о нежелании идти на уступки.

И в этой братоубийственной смуте, за великими полководцами церковных войн, в стороне от них отчетливо видится тонкое, подернутое печалью лицо Эразма. Он не стоит у столба для пыток, в руке у него нет меча, пламенные страсти не искажают его лицо. Но глаза его сияют голубым светом — они так прекрасно переданы Гольбейном, — и он смотрит сквозь этот хаос человеческих страстей в наше не менее страшное время. Некая спокойная отрешенность лежит на его челе, — ах, ему хорошо известна эта вечная стульбиция мира, — но легкая, едва заметная улыбка уверенности играет на его губах. Он знает, умудренный опытом человек: смысл всех страстей в том, что когда-то они устают. Такова судьба любого фанатизма — он всегда переигрывает себя. Разум же, вечный,

терпеливый разум, может ждать и оставаться верным себе до конца. Иногда, когда другие в упоении безумствуют, ему следует молчать. Но его время придет, обязательно придет вновь.

ВЗГЛЯД НА ВРЕМЯ

Грань веков — пятнадцатого и шестнадцатого — по своей драматической напряженности эти роковые годы Европы сравнимы лишь с нашим временем. Внезапно пространство Европы становится мировым, одно открытие обгоняет другое, и благодаря отважности нового поколения мореплавателей за немногие годы наверстывается то, что на протяжении столетий было упущено либо из-за безразличия их предшественников, либо из-за отсутствия у них мужества.

Словно на электрических часах, одна за другой выскакивают цифры: в 1486 году Диас — первый европеец — открывает мыс Доброй Надежды, в 1492 году Колумб достигает американских островов, в 1497 году Себастьян Кабот — Лабрадора и, тем самым, Американского континента. Новый континент включен в мир белой расы, но уже плывет Васко да Гама от Занзибара на Каликут и открывает морской путь в Индию, в 1500 году Кабрал открывает Бразилию и, наконец, в 1519 — 1522 годах экспедиция Магеллана совершает достопримечательное и венчающее деяние, первое кругосветное путешествие — от Испании до Испании. Таким образом наконец-то признается созданный Мартином Бехаймом в 1490 году первый глобус — «Земное яблоко», — высмеянный его современниками как несусветная глупость, обруганный антихристианской гипотезой, отважный подвиг Магеллана подтвердил самые смелые мысли.

За одну ночь для мыслящего человечества шар, на котором оно, до сих пор ничего не знающее, угнетенное своим невежеством, носилось в звездном пространстве, словно на «terra incognita», превратился в действительность, оказывается, шар этот можно познать, можно объехать, море, до сих пор просто

мифическая, бесконечно волнуемая голубая пустыня, стало измеряемым, преодолимым пространством, стало служащей человеку стихией.

Одним рывком поднимается европейская отвага в неистовом состязании на открытия во вселенной, не будет более никаких пауз, никаких передышек. Каждый раз, когда пушки Кадиса или Лиссабона приветствуют вернувшийся в родную гавань галеон, к гавани устремляются толпы любопытных, сторающих от нетерпения услышать сообщения о вновь открытых странах, подивиться никогда до сих пор не виданным птицам, зверям, людям; потрясенные, видят они огромные грузы серебра и золота, по всей Европе разносится весть о том, что благодаря духовному героизму своих сынов европейская раса внезапно, едва ли не в одну ночь стала средоточием вселенной, ее владыкой.

Но в это же время Коперник вычисляет никому не известные орбиты звезд вокруг внезапно озаренной Земли, и все эти новые знания благодаря только что открытому буквопечатанию с невиданной до сих пор скоростью разносятся по всему свету — в самые отдаленные города, в самые затерянные усадьбы Европы: впервые за прошедшие столетия Европа испытывает счастливое и жизнеутверждающее коллективное переживание. За одно поколение основные категории миропонимания человека — пространство и время — кардинально изменились, получили другие масштабы, подверглись переоценке; лишь на грани девятнадцатого и двадцатого веков — благодаря изобретению телефона, радио, автомобиля и самолета — мы внезапно столкнулись с подобной переоценкой категорий пространства и времени, лишь наше время, время этих открытий и изобретений, испытывает подобное же изменение жизненного ритма.

Такое внезапное расширение внешнего пространства вселенной должно, само собой разумеется, повлечь за собой такие же резкие изменения в духовной сфере человека. Каждый индивидуум внезапно вдруг оказался вынужден мыслить, читать, жить в совершенно других измерениях; мозг еще толь-

ко-только приспособливается к этим изменениям, а чувства уже изменились — беспомощное замешательство, полустрах, полувосторженное головокружение — такова всегда первая реакция, таков первый отклик души, когда она внезапно утрачивает меру, когда она мистическим образом лишается всех норм и форм, на которых до сих пор основывалась.

За какую-нибудь ночь все знания стали сомнительными, все вчерашнее стало тысячелетней давности, безнадежно устарело и отмерло, карты Птолемея, бывшие для двадцати поколений неопровержимой святыней, после открытий Колумба и Магеллана превратились в посмешище для детей, произведения о вселенной, астрономии, геометрии, медицине, математике, которые благоговейно переписывались не одно тысячелетие, которыми все предыдущие поколения восторгались как безупречными, потеряли свою значимость, все существовавшее до сих пор вянет под жарким дыханием нового времени. Покончено со всяким комментированием и обсуждением трудов ученых античности, ниспровергаются, словно идолы, старые авторитеты, рушатся бумажные горы трудов схоластиков, человеку открываются новые перспективы, о существовании которых он и не подозревал. Следствием внезапного обновления системы кровообращения европейского организма, обогащения ее новыми компонентами явилось ускорение ритма жизни, человечество лихорадочно устремилось к знаниям, к науке.

Развитие, находившееся в полусонном переходном состоянии, из-за этой лихорадки приобретает другой, несравненно более быстрый темп, все, казалось бы, давно устоявшееся, приходит в движение, как при землетрясении. Унаследованные от средневековья порядки перегруппировываются, иные поднимаются на более высокий уровень, иные — исчезают: рыцарство гибнет, города развиваются, крестьянство нищает, торговля и роскошь, благодаря туку — колониальному золоту — расцветают с тропической интенсивностью. Все сильнее и сильнее брожение в обществе, происходит нечто подобное тому, что переживаем мы под ударами обрушившейся на нас

сейчас техники, ее организации и рационализации во всех областях общественной жизни: наступает критический момент, когда усилия человечества как бы обгоняют его и ему требуется напрочь все силы, чтобы вновь догнать их.

На рубеже веков, в десятилетия переворота, вызвавшего последствия, переоценить которые невозможно, ударом поразительной силы потрясены все зоны человеческого порядка, даже самые глубинные слои духовного мира — религиозные, которые до сих пор были пощажены штормами времени. Доктрина, загнанная католической церковью в застывшую, неподвижную форму, словно скала, стояла незыблемая, неподвластная никаким ураганам, и это великое, доверчивое повиновение ей было как бы символом средневековья. Наверху стоял Авторитет и приказывал, внизу — человечество, преданно и послушно внимающее святым словам, не пытаюсь хотя бы на йоту усомниться в их духовной справедливости, и малейшее сопротивление, где бы и в чем бы оно ни проявилось, вызывало со стороны церкви немедленную реакцию: анафема ломала меч императора, гаррота душила еретика.

Это единодушное, покорное послушание, это слепо и блаженно служащая вера связывала в великую общность народы, племена, расы, сословия, как бы враждебны они друг другу ни были; в средние века люди Запада имели одну лишь душу — католическую. Европа покоилась в лоне церкви, изредка побуждаемая и возбуждаемая мистическими сновидениями, но — все же покоилась, и всякое стремление к правде, к знаниям, к наукам было ей чуждо. Теперь же впервые беспокойство коснулось западной души: если можно познать тайны земли, почему непостижимы тайны Божьи? Постепенно одиночки поднимаются с колен, на которых покорно стояли с опущенными головами, и вопрошающе смотрят ввысь, вместо покорности их одухотворяет новое мужество: мужество мыслить и задавать вопросы; и вот, рядом с отважными авантюристами, с покорителями неведомых морей и материков, рядом с Колумбом, Писарро, Магелланом формируется поколение конквистадоров духа, решившихся штурмовать беспредельное.

Религиозная сила, заключенная на протяжении столетий в догму, словно в опечатанную бутылку, вытекает из нее, испаряется, как эфир, и из церковных соборов проникает до самых глубин народа; мир жаждет обновлений и изменений и в этой последней, до сих пор не тронутой сфере — в религии. Вооруженный победоносной испытанной уверенностью в себе, человек шестнадцатого века уже не считает себя безвольной, ничтожной пылинкой, жаждущей росы Божьей милости, нет, он чувствует себя средоточием событий, титаном, на плечах которого держится мир; исчезают покорность, подавленность, появляются чувство собственного достоинства, чувственное и непреходящее упоение собственной силой — то, что мы связываем с понятием Возрождения, и рядом со священнослужителями равноправно выступают люди умственного труда, рядом с церковью — наука.

И здесь также высшие авторитеты низвергнуты или, во всяком случае, поколеблены, с покорным безъязыким человечеством средневековья покончено, появляется новое поколение, которое вопрошает и исследует с такой же религиозной страстностью, как прежние поколения верили и молились. Из монастырей жажда знаний перемещается в университеты — наступательные форпосты свободных исследований — почти одновременно возникающие во всех странах Европы. Освобождается поле для деятельности писателей, мыслителей, философов, для провозвестников, исследователей всех тайн человеческой души, дух человека находит иные, новые формы своего проявления; гуманизм пытается вернуть людям божественное без посредничества церкви, и уже поднимается сначала неуверенно, но затем все более и более убежденная в своей правоте, поддерживаемая массами всемирно-историческая потребность Реформации.

Великолепное мгновение, смена веков, наступление новой эры: Европа как бы внезапно обрела единую душу, единое сердце, единую волю, одни и те же желания. Могущей чувствует она себя, единым целым, призванной к еще не полностью осознанной метаморфозе. Час наступил, беспокойст-

вом бредят страны, живые страхи и нетерпенье царят в душах и надо всем этим реят и парят одни лишь глухие, неясные слухи об освобождающемся, целенаправленном слове; теперь или никогда духу дано обновить мир.

БЕЗРАДОСТНАЯ ЮНОСТЬ

Как символичен тот факт, что сверхнациональный, принадлежащий всему миру гений, Эразм не имеет родины, нет сколь-нибудь точных сведений об его отчем доме, он, если можно так сказать, родился в безвоздушном пространстве. Имя свое, прославленное им на вечные времена, Эразм Роттердамский не унаследовал ни от отца, ни от предков, это имя он сам выбрал себе, язык, на котором он говорил всю жизнь, не материнский, а изученная им латынь.

День и обстоятельства его рождения удивительным образом неясны; о его рождении, собственно, ничего не известно, кроме года, когда он увидел свет, — 1466. Нельзя сказать, что в этих неясностях Эразм был совершенно неповинен, он не любил говорить о своем происхождении, так как был внебрачным ребенком и, что еще более неприятно, — ребенком священника, «*ex illicito et ut timet incesto damnatoque coiti genitus*» (и все, что Чарлз Рид в своем знаменитом романе «Монастырь и любовь» так сентиментально пишет о детстве Эразма, само собой разумеется, является вымыслом).

Родители умерли рано, и по вполне понятным причинам, чтобы не тратиться на его содержание, родственники решили побыстрее избавиться от бастарда; к счастью, церковь всегда охотно брала под свое покровительство одаренных мальчиков. Девятилетний маленький *Desiderius* * (в действительности же нежеланный) посылается в школу капитула в Девентере, а затем — в Герцогенбуш. В 1487 году он вступает в августинский монастырь Стейн — не по религиозному влечению, а

* Желанный (лат.).

потому лишь, что у этого монастыря была в то время лучшая в стране библиотека классиков; там в 1488 году он принимает монашество. Но полагать, что в эти годы он променял пылкость своей души на смирение, никаких оснований нет, напротив, из его писем явствует, что, скорее, его более занимают изящные искусства, латынь и живопись. И все же в 1492 году епископ Утрехта посвящает его в священнический сан.

Но в священническом одеянии Эразма видели немногие; требуются известные усилия, чтобы удержать в памяти биографический факт: этот свободомыслящий и беспристрастный человек действительно до самого смертного своего часа принадлежал к служителям церкви. Эразм обладает великим даром жить, все, что давит на него, он осторожно и незаметно отодвигает от себя и в любой одежде, в любой ситуации сохраняет свою внутреннюю свободу. Под искусными предложениями он получает от двух пап разрешение не носить священническое одеяние, медицинские свидетельства, подтверждающие слабое здоровье, освобождают его от необходимости поститься и, несмотря на все просьбы, предупреждения и угрозы своего начальства, однажды покинув монастырь, он никогда под его надзор более не вернется.

Такова важная и, возможно, самая существенная черта характера Эразма: он избегает привязанности к кому бы то ни было и к чему бы то ни было. Никаких владетельных особ, никаких господ не желает он иметь своими покровителями, никаких богослужений не хочет регулярно отправлять, он стремится стать свободным, никому не подчиняться из внутренней потребности быть независимым. Никогда внутренне не признавал он над собой никакой власти, не чувствовал себя обязанным в чем бы то ни было никакой владетельной особе, никакому университету, никакому призванию, никакому монастырю, никакой церкви, никакому городу и, защищая свою духовную свободу, он на протяжении всей своей жизни последовательно и упорно защищал и свою нравственную свободу также.

К этой столь существенной черте характера органически присоединяется вторая: Эразм — фанатик независимости, но

ни в коем случае не мятежник, не революционер. Напротив, он ненавидит любые открытые конфликты, как умный тактик, он уклоняется от всякого бесполезного сопротивления силе и власть имущим этого мира. Он предпочитает заключать с ними соглашения, а не фрондировать против них, он скорее хитростью обеспечит себе независимость, чем будет пытаться завоевать ее. Он не сбросит с себя широким драматическим жестом, как Лютер, рясу августинца, потому что она очень теснит его душу; нет, он тихо снимает ее, получив на это негласное разрешение: как хороший ученик своего земляка Рейнеке Фукса*, он ловко и умело уйдет от любой ловушки, которая угрожает его свободе. Он слишком осторожен, чтобы когда-нибудь стать героем, но, обладая ясным умом, которому известны человеческие слабости, он добивается того, что необходимо для раскрытия его индивидуальности: в вечной битве за независимый образ жизни он побеждает не смелостью, а знанием психологии.



Но этому великому искусству сделать свою жизнь свободной и независимой (самое трудное искусство для каждого художника) следует еще научиться. Школа Эразма сурова и скучна. Лишь двадцатипятилетнему ему удастся спастись от монастыря, узость и ограниченность которого становятся для него непереносимыми. Но — это первая проверка его дипломатических способностей — покидает он стены монастыря не как монах, нарушивший данный им обет, нет, после инспирированных им тайных переговоров его вызывают к епископу Камбрэ, чтобы сопровождать того в качестве секретаря-латиниста в поездке по Италии; узник монастыря открывает для себя Европу, свой будущий мир в том же году, когда Колумб открыл Америку. К счастью, отъезд епископа в Рим задерживается, и Эразм располагает достаточным временем, чтобы

*Рейнеке Фукс (Рейнеке Лис) — герой сатирической поэмы «Роман о лисе». — *Примеч. пер.*

наслаждаться жизнью, отвечающей его внутренним потребностям; он не должен читать мессы, может сидеть за хорошо сервированным столом, общаться с умными людьми, со страстью отдаваться изучению латинских и церковных классиков и, кроме всего этого, писать свой диалог «Antibarbari»*, впрочем, это название первого произведения он мог бы поставить на титульных листах всех своих последующих книг.

Совершенствою свои манеры, совершенствою свою латынь, он, сам не подозревая этого, начинает великий военный поход всей своей жизни против необразованности, глупости и традиционного зазнайства; к сожалению, поездка епископа Камбрэ в Рим отменяется и прекрасные времена должны внезапно закончиться, латинский *seuretarius* более ему уже не нужен. Казалось бы, отданному для временных услуг монаху Эразму надлежит послушно вернуться в свой монастырь. Но, испив однажды сладкой отравы свободы, он эту свободу терять не желает. И он стимулирует неодолимое влечение к вершинам религиозных знаний, со всей страстностью и энергией подавляет свой страх перед монастырской жизнью и, пользуясь талантом тонкого психолога, уговаривает добродушного епископа послать его стипендиатом в Париж, чтобы получить там степень доктора богословия. Наконец епископ дает ему свое благословение и, что для Эразма намного важнее, небольшую стипендию. Напрасно приор монастыря ждет возвращения вероломного монаха; ему следует привыкнуть ждать этого монаха годы и десятилетия, ибо Эразм давно самовластно и на всю жизнь освободился и от монашества, и от любого другого принуждения.

* * *

Епископ Камбрэ дает молодому студенту-семинаристу обычную стипендию. Но стипендия эта ужасающе тоща, мизерна для тридцатилетнего мужчины, и с горькой насмешкой Эразм кре-

* «Антиварвары» (лат.)

стит экономного покровителя своим *Antimaecenas**. Привыкший к свободе, избалованный столом епископа, вынужден он жить в унижительных для себя условиях *domus pauperum*** , в пресловутой коллегии Монтегю, которую он возненавидит из-за господствующего там аскетизма и сурового следования религиозным правилам.

Расположенное в Латинском квартале на холме Св. Мишеля (примерно там, где сейчас находится Пантеон), это узилище духа активно и полностью «ограждает» юного, жизнелюбивого студента от веселого времяпрепровождения со светскими товарищами; с каторгой отождествляет Эразм богословскую тюрьму своих юношеских лет; имея представления о гигиене, поразительно близкие нашему времени, Эразм в своих письмах постоянно жалуется: спальные комнаты вредны для здоровья, стены — холодны как лед, скверно окрашены, совсем рядом расположено отхожее место, длительное пребывание в этой «Уксусной коллегии»*** непременно кончается серьезной болезнью или же смертью. И еда не доставляет ему никакого удовольствия, яйца и мясо — тухлые, вино — прокисшее, ночь проходит в бесславной борьбе с паразитами. Позже он съязвит в своих «Беседах»: «Ты из Монтегю? Без сомнения, глава твоя увенчана лаврами? — Нет, блохами».

Тогдашнее монастырское воспитание не отвергало телесных наказаний, и если фанатичный аскет Лойола двадцать лет наслаждался в подобном учебном заведении и, воспитывая волю, терпеливо сносил розги и палки, то у нервной и независимой природы Эразма все это вызывает отвращение.

И занятия противны ему: очень быстро раскрывается ему сущность схоластики с ее омертвелым формализмом, своими изощренностями и плоским буквоедством, на всю жизнь возненавидит он ее — художник будет бунтовать в нем против насилования духа, против этого прокрустова ложа, бунто-

* Антимаеценатом (*лат.*).

** Дома для бедных (*лат.*).

*** «Уксусная коллегия» — игра слов: Монтегю — *Montis acuti* — высокая гора (*лат.*), а уксус по-латыни — *acetum*. — *Примеч. пер.*

вать не так заразительно весело, как позже Рабле, но с такой же страстностью. «Никто из тех, кто хоть однажды общался с музами или грациями, не в состоянии понять таинств этой области знаний. Все, что ты приобрел от «*bonae litterae*»*, ты неизбежно утратишь здесь, и все, что испил из источников Геликона**, отдашь обратно. Я делаю все, что в моих силах, не занимаюсь ни латынью, ничем милым моему сердцу, ничем духовным, и настолько преуспеваю в этом, что надо надеяться, они однажды примут меня за своего». Но вот болезнь дает столь страстно ожидаемый повод, приходится пожертвовать степенью доктора богословия. Правда, вскоре после излечения Эразм вернется в Париж, но не назад, в «Уксусную коллегию», в «*Collège vinaigre*», нет, он предпочитает стать домашним учителем и репетитором юных состоятельных немцев и англичан: в священнике пробудилась независимость художника.



Но в мире, который еще не полностью освободился от гнета средневековья, мыслящий человек независимость обрести не может, у каждого сословия — четкие границы: светские князья и князья церкви, духовенство, торговцы, солдаты, ремесленники, крестьяне, каждое сословие представляет собой застывшую общность, обнесенную каменной стеной, совершенно изолированную от любых нарушителей ее покоя. В этом мировом порядке пока еще нет своего места для людей думающих, для творческих личностей, для ученых, свободных художников, музыкантов, еще не изобретены гонорары, которые спустя некоторое время обеспечат этим людям независимость. Человеку интеллекта, следовательно, не остается иного выбора, как служить какому-нибудь господствующему сословию, он должен стать либо слугой князя, либо слугой

* Изящной литературы (*лат.*).

** Геликон — гора, служившая, по древнегреческой мифологии, местопребыванием муз и Аполлона. — *Примеч. пер.*

Бога. И поскольку искусство пока еще не является самостоятельной силой, ему следует искать благосклонности у власть имущих, художник должен стать любимцем, фаворитом какого-нибудь аристократа, здесь выпросить какие-то доходы, там — пенсия, должен — до времен Моцарта и Гайдна — кланяться среди других слуг. Если он не хочет умереть с голоду, ему следует тщеславным льстить в своих посвящениях, боязливых припугнуть памфлетами, богатых забрасывать просительными письмами — беспрестанно, без уверенности в успехе у одного покровителя или у нескольких, непрерывно биться в этой недостойной борьбе за хлеб насущный.

Десять, двадцать поколений художников жили так — от Вальтера фон дер Фогельвейде до Бетховена, который первый потребовал свое право художника у сильных мира и, ни с чем не считаясь, взял его себе. Впрочем, самоунижение, постоянная необходимость льстить и покоряться для Эразма, человека с ироническим умом, — не такая уж тяжелая жертва. Он давно распознал фальшь современного ему общества: не бунтовщик по своей природе, он принимает законы этого общества без жалоб и направляет свои усилия на то, чтобы обойти встающие перед ним преграды или пробиться через них. Но его путь к успеху труден и незавиден: до своих пятидесяти лет, когда светские князья станут домогаться общения с ним, когда папы и вожди Реформации начнут просительно обращаться к нему, когда издатели станут осаждать его, а богачи сочтут для себя честью послать ему в дом какой-нибудь подарок, Эразм вынужден будет жить на подачки. Он должен будет кланяться уже поседевшей головой: бесчисленны его подобострастные посвящения, льстивые эпистолы составят большую часть его корреспонденции и, собранные вместе, они могли бы послужить классическим письмовником для просителей, с таким искусством стилизует он свои прошения, такой лестью уснащает их.

Однако за этим часто достойным сожаления отсутствием гордости таится непоколебимая воля к независимости. Эразм льстит в письмах, чтобы иметь возможность быть правдивым в своих произведениях. Он позволяет себе постоянно прини-

мать подарки, но никому не продается, он отклоняет все, что могло бы на длительное время его к кому-либо привязать. Уже всемирно известный ученый, которого десятки университетов очень хотели бы видеть профессором у себя, он предпочитает быть простым корректором в книгопечатне Альда в Венеции, воспитателем или мажордомом у знатного английского аристократа или просто приживалой у богатого знакомого, но лишь до тех пор, пока его это устраивает, и никогда — надолго.

Эта упорная, настойчивая воля к свободе, это нежелание длительное время кому бы то ни было служить делают Эразма на всю жизнь кочевником. Непрерывно находится он в пути, непрерывно меняет города, страны, в которых некоторое время живет: Голландия, Англия, Италия, Германия, Швейцария; Эразм — самый путешествующий среди ученых своего времени, никогда — совершенно нищий, никогда — достаточно богат, всегда, подобно Бетховену, «живущий в воздухе», но блуждания по свету, непрерывная смена мест жительства его философской натуре дороже, чем дом и родина. Лучше быть ненадолго секретарем епископа, чем стать епископом навсегда, лучше ненадолго — за кошелек дукатов — советчиком князя, чем его всемогущим канцлером.

Инстинктивно боится этот человек любой внешней силы, любой карьеры: творить в тени власти, оставаясь свободным от всякой ответственности, читать в тиши своей комнаты хорошие книги, ничей не проситель, ничей не подданный — вот, по существу, жизненный идеал Эразма. Ради этой духовной свободы идет он темными, подчас окольными путями, но все они ведут к одной и той же сокровенной цели — к духовной независимости его искусства, его жизни.



Подлинное свое призвание тридцатилетний Эразм открывает в Англии. До сих пор он жил в затхлых монастырских кельях среди ограниченных плебеев. Спартанская муштра семинарии и духовные тиски схоластики были подлинной пыткой для его чувствительных нервов, для его любознательной

души. В этих условиях чрезвычайных ограничений дух его развернуться не мог. Но, вероятно, горечь, пронизывающая его тогдашнее существование, нужна была для того, чтобы пробудить в нем чудовищную жажду к знаниям, к свободе, ибо эта муштра научила его страстно ненавидеть все ограниченное, тупое, доктринерски одностороннее, все жестокое и властное — именно оно, средневековье, причинив Эразму Роттердамскому, его телу, его душе такие ужасные муки, сформировало из него посланца нового времени.

Приехав в Англию со своим юным учеником, лордом Маунтджою, он впервые с наслаждением дышит тонизирующим воздухом духовной культуры. В счастливый час является Эразм в англосаксонский мир, после нескончаемых войн Алой и Белой розы, войн, которые на протяжении десятилетий разоряли страну, Англия наконец-то может насладиться благословенным миром, а ведь науки и искусства свободно развиваются только там, где война и политика отступают на задний план. Прежде всего незначительный монастырский школяр и репетитор впервые для себя открывает, что существует сфера, где сила и власть принадлежат лишь духу и знаниям.

Никто здесь не интересуется тем, что он незаконнорожденный, никто не проверяет, сколько раз он молится, сколько месс посещает, здесь в самых аристократических кругах его ценят лишь как художника, как интеллектуала, за его изящную латынь, за его содержательные и логически построенные рассуждения, счастливый, он пользуется широким гостеприимством, благородной непредубежденностью англичан: «...ces grands Mylords,/Accords, beaux et courtous, maghanimes et forts» — «...эти благородные милорды, гармоничные, изящные и учтивые, великодушные и сильные», — как славил их Ронсар. В этой стране ему открылся совсем другой образ мышления. Хотя Уиклиф* давно уже забыт, в Оксфорде продолжает жить более свободное, более смелое понимание богословия,

* Уиклиф (Виклиф) Джон — церковный реформатор, переводчик Библии на английский язык, автор богословских трактатов и памфлетов. — *Примеч. пер.*

здесь находит он учителя греческого языка, который открывает ему путь к новой, неведомой ему классике; лучшие умы, великие мужи становятся его покровителями и друзьями, даже молодой король Генрих VIII, тогда еще принц, принимает его у себя. Это делает честь Эразму, а его полная достоинства манера держать себя покоряет благороднейших людей тогдашней Англии: Томас Мор и Джон Фишер становятся его самыми близкими друзьями, Джон Колет, архиепископы Уорхем и Крэнмер покровительствуют ему.

Со страстной жадностью юный гуманист дышит насыщенным духовностью воздухом, использует гостеприимство, чтобы расширить свои знания, углубить их, в общении с аристократами он совершенствует свой английский язык, свои манеры. Происходит разительная перемена: из неловкого, робкого монастырского священника он превращается в аббата, который свою сутану носит как партикулярное платье. Эразм начинает следить за своей внешностью, он учится верховой езде и приемам охоты, светскому образу жизни; потом, в Германии, образ жизни Эразма будет чрезвычайно сильно отличаться от грубых, неуклюжих форм жизни провинциальных гуманистов, что в известной мере определит его суверенное положение — этому образу жизни он научился в гостеприимных домах английских аристократов.

Оказавшись в центре политической жизни мира и внутренне близкий лучшим умам церкви и двора, он разовьет дальность зоркость и универсальность ученого, которыми позже удивит мир. Но мягкий, доброжелательный характер его не меняется. «Ты спрашиваешь меня, — пишет он радостно другу, — люблю ли я Англию? Ну, если ты даришь меня доверием, прошу тебя, поверь мне и в этом, ничто не доставило мне больше радости, чем приезд сюда. Я нашел здесь приятный и здоровый климат, бездну культуры и учености, причем образование не педантичного и банального характера, а глубокое, точное и классическое, такое, например, как латинское, как греческое, и поскольку я имею возможность пользоваться всем этим здесь, я не очень-то стремлюсь в Италию. Когда я разговариваю с моим

другом Колетом, мне кажется, что я беседую с самим Платоном, и создала ли Природа более доброжелательного, более приятного, более счастливого человека, чем Томас Мор?»

В Англии Эразм излечился от средневековья. Но вся любовь к Англии Эразма англичанином все же не делает. На континент он возвращается как космополит, как гражданин мира, как свободная и универсальная личность. Отныне его любовь всегда там, где господствуют знания и культура, образование и книга; страны, реки, моря, положение в обществе, раса, сословие не отгородят его теперь от мира. Ему ведомы лишь две категории людей: аристократия образования и духа — это верхушка мира, плебс и варварство — низы мира. Родина отныне у него там, где господствуют книга и слово, *eloquentia et eruditio**.

* * *

Это упорное самоограничение кругом аристократии духа, тончайшей прослойки культуры, приводит к тому, что и образ Эразма и его произведения как бы лишены корней: как истый космополит, он всюду остается лишь гостем, лишь посетителем, он не принимает обычаев народа, среди которого живет, не усваивает живого языка этого народа. Во всех своих бесчисленных поездках по странам Европы он, в сущности, не заметил самого важного для каждой из этих стран. Для него Италия, Франция, Германия и Англия — это несколько десятков людей, с которыми он может вести изысканные беседы, это библиотеки этих людей, да еще он замечает также, где гостиницы почище, люди повежливее, вина лучше. Но все остальное, не имеющее отношения к искусству книгопечатания, остается для него за семью печатями, у него нет никакого интереса к живописи, к музыке.

Он не замечает, что в Риме творили Леонардо, Рафаэль и Микеланджело, а увлечение пап произведениями искусства

*Красноречие и ученость (*лат.*).

он порицает как расточительство, как противоречащую Евангелию любовь к роскоши. Никогда не читал Эразм ни одной строфы Ариосто, чуждыми остаются ему в Англии — Чосер, во Франции — французская поэзия. Лишь одному языку — латыни отдает он все свое внимание, а искусство Гутенберга для него единственная муза, которую он действительно по-настоящему любит, он, утонченнейшая личность, познающий сущность мира лишь через litterae, через букву. В контакт с действительностью он не умеет вступить иначе, как через посредство книги и общение с книгой доставляет ему неизмеримо больше радости, нежели общение с женщинами.

Он любит книги потому, что они тихи, не применяют насилия, непонятны тупой толпе, являются единственной привилегией образованных людей в эти столь бесправные времена. Только в сфере книг этот человек, обычно очень экономный, позволяет себе быть расточительным, и если своими посвящениями он и домогается денег, то делает это единственно для того, чтобы иметь возможность приобрести книги, все больше и больше книг, греческих, латинских классиков, и любит он эти книги не только за их содержание, нет, как один из первых библиофилов, он любит их плотской любовью, он обожает и процесс созидания их, и уже созданные, он боготворит книгу как необходимый в работе материал и как художественное произведение, которым можно без конца любоваться и любоваться. Счастливейшими часами его жизни являются те, когда он может стоять у Альда в Венеции или у Фробена* в Базеле, в полуподвальных низких книгопечатнях, среди печатников, вынимать из-под пресса еще влажные оттиски, вместе с мастерами этого искусства вносить в текст украшения, вырисовывать тонкие буквицы, словно зоркий охотник, проворным, тонко отточенным пером вылавливать опечатки или быстро выправлять латинскую фразу; работа над книгой, для книги — самая естественная форма его природы.

* Фробен Иоганн — базельский печатник, друг Эразма, с 1514 года основной издатель его произведений. — *Примеч. пер.*

В конечном счете Эразм никогда не живет в народе, в стране, он живет над ними, в тончайшей атмосфере провидца, в «*tour d'ivoire*»* художников, в кругу академиков. Но из этой башни, построенной из книг и творческого труда, он с любопытством заглядывает вниз, другой, новый Линкей**, чтобы свободно, непредвзято и справедливо видеть и понять новую жизнь.

* * *

Ибо познание, все более глубокое познание — вот подлинная страсть этого удивительного гения. В строгом смысле этого слова Эразма, может быть, глубоким гением назвать и нельзя: он не принадлежит к «мыслителям до конца», к великим преобразователям, дарящим вселенной новые духовные системы; нет, сила Эразма, как ученого, во внесении ясности в темные вопросы, но если его нельзя назвать глубоким мыслителем, то он, бесспорно, человек необыкновенно широкого кругозора, ясномыслящий, свободомыслящий в духе Вольтера и Лессинга, человек, умеющий прекрасно понимать и делать понятным, просветитель в самом благородном значении этого слова.

Его природе присуще распространять ясность и честность. Всякая неразбериха противна ему, все запутанное, мистическое и вычурно-метафизическое органически вызывает в нем отвращение; подобно Гёте, он ничего не ненавидит больше, чем «туманное», «распльвчатое». Ширь манит его, но не глубина: никогда не склонялся он над «безднами» Паскаля, душевные потрясения Лютера, Лойолы или Достоевского чужды ему, этот род ужасных кризисов, таинственным образом родственных смерти или безумию. Все утрированное остается за пределами его рационалистического мышления.

Но с другой стороны, нет другого человека средневековья столь несусеверного, как он. Он, вероятно, тихо посмеивается над конвульсиями и кризисами своих современников, над ви-

* Башня из слоновой кости (*фр.*).

** Линкей — кормчий аргонавтов. — *Примеч. пер.*

дениями ада Савонаролы, над паническим ужасом Лютера перед чертями, над астральными фантазиями Парацельса; только реальное понимает он и делает понятным другим. Ясность органически присуща его миропониманию, и все, что бы он ни осветил своим неподкупным взглядом, тотчас же становится ясным и упорядоченным. Благодаря этой чистой как вода прозрачности мышления и благоразумию чувств он стал великим просветителем, обличителем пороков своего времени, воспитателем и учителем не только своего поколения, но и последующих — все просветители, вольнодумцы и энциклопедисты восемнадцатого столетия и великое множество — девятнадцатого являются порождением его духа.

Во всем разумном и назидательном таится, однако, опасность скатывания в филистерство, в мешанство, и если просветительство семнадцатого, восемнадцатого столетий отвратительно нам своим самонадеянным резонерством, то вина в этом не Эразма, ибо те просветители подражали лишь его методу, не заимствуя его дух. Тем мелким душонкам недоставало грана аттической соли, того суверенного превосходства, которые делают все письма, все диалоги их учителя такими интересными, такими литературно лакомыми. Эразм все время балансирует между некой светлой насмешливостью и торжественной учтивостью, он достаточно силен, чтобы играть своей духовностью, и при всем этом ему близка искрящаяся, но не злая шутка, едкая, но не злобная, наследником которой стали сначала Свифт, а затем — Лессинг, Вольтер, Шоу.

Первый стилист нового времени, Эразм знает, как шепнуть, подмигивая, некие еретические тайны, он умеет с гениальной дерзостью и неподражаемой ловкостью протащить самые рискованные мысли перед самым носом цензуры, этот опасный бунтовщик, который, однако, себе никогда не повредит, защитившись мантией ученого или быстро накинутым балахоном шута. За одну десятую того, что Эразм в свое время сказал, иные шли на костер, потому что говорили они это напрямик; его же книги папы и князя церкви, короли и гер-

цогги чрезвычайно почитали и даже оплачивали их учеными степенями, званиями и подарками. Подавая свои мысли очень искусно, в «безобидной» литературно-гуманистической «упаковке», Эразм смог контрабандой внести в монастыри и дворцы владетельных особ, по существу, всю взрывчатку Реформации.

С него начинается — всегда он первопроходец — высокая политическая проза во всех своих градациях, до резвого пасквиля, окрыленное искусство зажигательного слова, доведенное затем Вольтером, Гейне и Ницше до совершенства, слова, высмеивающего все светские и духовные власти, всегда более опасного власть имущим, чем открытая атака медлительных. Благодаря Эразму писатели Европы впервые стали представлять собой такую силу, с которой не считаться было уже невозможно. И непреходящая слава Эразма в том, что он этим своим оружием пользовался не для развязывания столкновений противоборствующих лагерей или разжигания ненависти, а для единения, для создания общности.



Великим писателем Эразм стал не сразу. Человек его склада должен состариться, чтобы иметь основания воздействовать на мир. Паскаль, Спиноза, Ницше стали великими уже молодыми, сконцентрированный дух каждого из них уже в юности нашел свое полное завершение. Эразм же, напротив, дух собирающий, ищущий, компилирующий; пожалуй, он не обладает субстанцией, а заимствует ее из окружающего мира, действует не интенсивно, а экстенсивно; Эразм более мастер, чем художник, для его вечно готового к работе интеллекта письмо всего лишь другая форма беседы, он не тратит на него никаких особых усилий духа, однажды он сам сказал, что написать новую книгу ему проще, чем править корректуру старой. Ему не надо ни возбуждать, ни подгонять себя, его ум и без этого всегда действует быстрее, чем может следовать за ним слово. «Мне казалось, — пишет Цвингли, — когда я читал

твое письмо, что будто я слышу тебя и вижу перед своими глазами твой маленький, изящный образ». Чем легче Эразм пишет, тем более он убежден в том, что именно пишет, чем больше он творит, тем действеннее созданное им.

Первое произведение приносит Эразму славу благодаря случаю или, скорее, не осознанному им пониманию атмосферы времени, в которой он живет. Молодой Эразм в учебных целях год собирал для своего ученика латинские цитаты, благоприятные условия позволили ему издать их в Париже под названием «Adagia»*. Непреднамеренно этой книгой он пошел навстречу снобизму своего времени, так как латынь как раз вошла в моду и каждый человек, занимающийся литературным трудом — это справедливо и для нашего времени, — решил, что для того, чтобы его считали «образованным», следует нашпиговать латинскими цитатами письмо, вообще любое сочинение или свою речь. Удачная подборка цитат облегчает всем гуманистам-снобам труд, освобождает их от необходимости читать классиков. Всякому пишущему незачем листать фолианты, он быстро выуживает славную фразу из «Adagia». А поскольку снобы во все времена были и существуют в огромных количествах, книга очень быстро находит читателя: издания одно за другим — каждое последующее содержит цитат едва ли не вдвое больше, чем предыдущее — печатаются во всех странах, и сразу же имя найденыша и бастарда Эразма становится известным во всей Европе.



Одна удача еще не создает писателя. Если же успех повторяется вновь и вновь, причем каждый раз в разных областях, тогда он свидетельствует уже о призвании, тогда у этого художника действительно имеется особый дар. Искусству успеха не обучаются, никогда осознанно Эразм не стремится к успеху, и всегда успех самым неожиданным образом выпадает

* «Пословицы» (лат.).

на его долю. Написав для своего ученика диалоги, предназначенные для более легкого усваивания латыни, он печатает свои «Colloquia»*. Книга становится настольной книгой для чтения трех поколений. Он считает, что его «Похвала Глупости» — небольшая шуточная сатира, однако эта книга в действительности вызывает революцию против всех авторитетов.

Заново переводя Библию с греческого на латинский и комментируя ее, он зачинает этим новое богословие. Написанная им в немногие дни книга утешений** для набожной женщины, чувствующей себя задетой безразличным отношением мужа к религиозным вопросам, становится катехизисом нового евангелического учения. Не метясь, он всегда попадает в цель. Чего бы суверенно ни коснулся свободный и непредвзятый дух Эразма, это становится открытием для устаревших представлений оробевшего мира. Ибо тот, кто самостоятельно мыслит, всегда мыслит наиболее правильно и наиболее полезно для других.

ПОРТРЕТ

«Лицо Эразма едва ли не самое выразительное, самое решительное лицо из тех, что я видел», — говорит Лафатер, как физиогномист находящийся на недосягаемой высоте. И с таким именно «решительным», с таким выразительным лицом, характерным для человека нового времени, рисуют Эразма и великие художники, его современники. Ганс Гольбейн, этот едва ли не самый тонкий портретист, не менее шести раз изображал великого Praeceptor mundi*** в различные годы жизни, дважды — Альбрехт Дюрер, один раз — Квентин Мейсейс; ни у одного немца нет такой блестящей иконографии. Ибо иметь право рисовать Эразма, lumen mundi****, означало

* «Беседы» (лат.).

** «Кинжал христианского воина».

*** Учителя жизни (лат.).

**** Светоч мира (лат.).

и открытое выражение преклонения художника перед универсальной личностью, перед человеком, соединившим разобщенные гильдии отдельных искусств в единое гуманистическое братство просветителей.

В Эразме художники прославляют своего защитника, великого вождя, борца за новые эстетические и моральные формы бытия; поэтому и изображают они его со всеми инсигниями, со всеми знаками этой духовной власти. Как воина — со своим оружием, с мечом и шлемом, дворянина — с гербом и девизом, епископа — в облачении и с перстнем, на каждом портрете Эразма художник показывает его военачальником вновь открытого человеком оружия, книги. Все без исключения его рисуют в окружении книг, словно в окружении воинства, пишущим или творящим: на портрете Дюрера в левой руке у него чернильница, в правой — перо, возле него лежат письма, перед ним — нагромождение фолиантов. Гольбейн один раз представляет его опирающимся на книгу, на корешке которой символическое название «Подвиги Геракла» — прекрасный прием для восхваления титанических творческих усилий Эразма. В другой раз художник запечатлел его в момент, когда он положил руку на голову старого бога Терминия, что должно символизировать причастность Эразма к созданию «понятий», — но на всех портретах подчеркивается присущее ему «утонченное, рассудительное, умно-осторожное» (Лафатер); всегда думающее, ищущее, испытывающее себя, интеллектуальное придает этому в общем-то абстрактному лицу незабываемое, ни с чем не сравнимое сияние.

Ибо лицо Эразма, если посмотреть на него мельком, не пытаясь проникнуть в сущность характера человека, красивым ни в коем случае не назовешь. Природа не очень-то щедро оделила этого духовно богатого человека, она дала ему лишь малую толику от полноты жизни и жизненных сил: нет, это не крепкий, ладно скроенный человек, способный сопротивляться жизненным невзгодам; он невысок, худой, бледный, из-за чувствительных нервов у него нежная, болезненная кожа,

нездоровый цвет лица, кожа с годами соберется в складки, словно серый, ломкий пергамент, и покроется бесчисленными трещинками и морщинками.

Во всем чувствуется недостаток жизненных соков: волосы — редкие и не насыщенные пигментом, лежат бесцветными космами на висках с прожилками, бескровные алебастровые руки просвечивают, очень острый нос торчит на птичьем лице, словно гусиное перо, таинственные, плотно сжатые губы Сивиллы узки, голос — слабый, глухой, небольшие, прикрытые, несмотря на их лучистость, глаза — лицо трудяги-аскета лишено красок, округлых форм.

Очень трудно представить себе этого ученого молодым, едущим верхом на лошади, плавающим, фехтующим, шутящим с женщинами или флиртующим с ними, противостоящим ветру в непогоду, громко говорящим или смеющимся. Посмотрев на это тонкое, как бы законсервированное сухое лицо монаха, сразу же непроизвольно начинаешь думать о закрытых окнах, о жарко натопленной печке, о книжной пыли, о ночах без сна, о днях, наполненных работой; ни тепло, ни жизненные силы не исходят от этого холодного лица, и действительно, он всегда мерзнет, всегда этот сидящий в комнате человек кутается в широкую, плотную, опушенную мехом одежду, всегда бархатный берет защищает от сквозняка рано полысевшую голову. Это лицо человека, живущего не в жизни, а в мыслях, сила его — не в теле, а в костистых сводах черепа. Вся жизненная сила у этого человека, не защищенного от действительности, сосредоточена в деятельности мозга.

Облик Эразма значителен уже благодаря ауре его духовности: именно поэтому бесподобен портрет кисти Гольбейна, на котором Эразм изображен в священнейший миг, в секунды творческой работы; это шедевр из шедевров Гольбейна и, вероятно, вообще наиболее совершенное изображение писателя, который магически превращает ожившее слово в зримость букв. Вспомним эту картину — увидевший ее однажды, никогда ее не забудет! — Эразм стоит перед пультом, и самыми кончиками нервов непроизвольно чувствуешь: он здесь один.

В комнате царит абсолютная тишина, дверь, расположенная за работающим человеком, должно быть, заперта, никто не войдет, ничего не шелохнется в узкой келье, но если бы даже что-нибудь возле него и произошло, погруженный в себя, находящийся в плену творческого транса человек не заметил бы этого.

Словно каменное изваяние, видится он нам в своей неподвижности, но если присмотреться к нему повнимательнее, то увидишь, что это состояние — не покой, нет, это погруженность в себя, таинственная, полностью, до конца ушедшая внутрь и протекающая там жизнь. С напряженным вниманием глаза следят за словом, за буквами, которые на белый лист бумаги записывает послушная исходящему сверху приказу правая узкая, худая, едва ли не женская рука. Губы сжаты, лоб, неподвижный и холодный, блестит, перо легко и, похоже, механически наносит рунические знаки на неподвижный лист. Но нет, маленький, едва заметный мускул между бровями выдает напряженность работы ума, протекающей невидимо, почти незаметно.

Почти нематериальны эти маленькие судорожные складки возле творческой зоны мозга, эти мучительные кольца подтверждают, что происходит творческий процесс претворения мысли в слово. Мысль показана здесь прямо-таки материально, и чувствуешь все напряжение, всю напряженность в этом человеке, обтекаемом таинственными потоками молчания; великолепно удалось художнику подметить и зафиксировать в зримой форме этот вообще-то не поддающийся наблюдению момент химического преобразования духовной материи. На эту картину можно смотреть часами, любоваться ее парящим покоем, ибо в этом портрете Эразма Гольбейн увековечил священное величие обобщенной творческой личности, невидимое терпение обобщенного истинного художника.

* * *

Уже в одном этом портрете — сущность Эразма, уже здесь предугадывается скрытая сила, притаившаяся в тщедушном, жалком теле, которое тащит за собой, словно хрупкую рако-

вину, этот человек духа. Всю свою жизнь Эразм был очень болезненным и очень страдал от этого, ибо если природа обделила его здоровьем, то с избытком возместила этот урон, дав ему очень чувствительную нервную систему. С самых юных лет его мучает неврастения, возможно, ипохондрия, очень скупо защищен он броней здоровья, очень уж много у него уязвимых, чувствительных к ударам мест. То это желудок, то ревматические боли раздирают ему руки и ноги, то камни в почках причиняют невыносимые страдания, то подагра грозит своими страшными клещами; любой сквозняк, подобно глотку холодной воды на обнаженный нерв зуба, вызывает у этого сверхчувствительного человека болевую реакцию; письма его очень часто похожи на выписку из истории болезни, он описывает свои хвори и способы, которыми старается излечиться.

Климат ни одной страны не нравится ему, он стонет от жары, становится меланхоличным при тумане, ненавидит ветер, мерзнет при малейшем похолодании, но, с другой стороны, не выносит запаха сильно нагретой изразцовой печи; чад, кухонные запахи, любые испарения вызывают у него головную боль и тошноту. Напрасно кутается он все время в шубу и теплые халаты: тело все равно мерзнет, каждый день ему приходится бургундским подстегивать свою застаивавшуюся кровь. Но если вино — с маленькой кислинкой, его кишечник немедленно заявит о себе. Очень ценящий хорошо приготовленную пищу, прилежный ученик Эпикура, Эразм несказанно боится плохой, грубой пищи, так как против несвежего мяса бунтует его желудок и даже запах рыбы вызывает у него спазмы горла.

Эта чувствительность понуждает его к привередливости, бытовые удобства становятся его жизненной потребностью: Эразм может носить одежду лишь из хорошо выделанной, добротной материи, спать только в чистой постели, на его рабочем столе вместо обычно коптящих сосновых лучин должны стоять дорогие восковые свечи. Любая поездка поэтому ему пренеприятна, и сообщения вечного путешественника о тогда еще плохо организованных немецких постоялых дворах

являют собой незаменимое в культурно-историческом плане и одновременно потешное перечисление неудобств и опасностей, сопряженных с путешествием. Живя в Базеле, он, идучи из дома или возвращаясь домой, обязательно делает крюк, чтобы обойти особенно дурно пахнущую улицу, любая вонь, любой шум, дым, любые нечистоты и, если перенестись в область духовного, — грубость, дикость, жестокость и беспорядки вызывают в нем смертельные душевные муки; после того как друзья сводят его однажды в Риме на бой быков, он с отвращением заявит: «Я не получаю никакой радости от подобных кровавых игр, этого пережитка варварства»; присущая ему внутренняя мягкость страдает от любой формы невежества.

В век полного пренебрежения к требованиям физической чистоты этот одинокий гигиенист, отчаявшись, ищет такой же чистоты в быту, которой придерживается сам как человек, как писатель, как художник в своем творчестве, в своей работе; культурные запросы его организма на столетия опередили запросы его ширококостных, толстокожих современников с железными нервами. Но страхом всех его страхов является чума, совершавшая в те времена смертоносные налеты на страны Европы. Едва он услышит, что черная зараза появилась в ста милях от того города, где он находится, его пробирает дрожь, он тотчас же в панике бежит, безразлично, пригласил ли его сюда император или какая-нибудь влиятельная особа сделала ему заманчивое предложение: ему кажется унижительным даже представить себе свое тело покрытым язвами проказы, нарывами или паразитами.

Эразм никогда не отрицает эту сверхбоязнь любых болезней и, как приземленный человек, ни в малейшей степени не стыдится признать, что «трясется при одном лишь упоминании о смерти». Как всякий любящий свою работу и принимающий ее всерьез, он не желает пасть жертвой глупого, бестолкового случая, жертвой заразы; хорошо зная присущие ему телесные слабости и особую подверженность своей нервной системы заболеваниям, он с особой, подчеркнутой боязливой экономностью щадит и стережет свое маленькое

сверхчувствительное тело. Он избегает широкого хлебосольства, тщательно следит за чистотой приготовления пищи, сторонится соблазнов Венеры и особенно боится бога войны, Марса. Чем больше с годами ухудшается его здоровье, тем осознаннее строит он свою жизненную стратегию на основе арьергардных боев ради малой толики покоя, безопасности, уединения — всего того, что ему так необходимо для удовлетворения единственной его страсти — работы.

И лишь благодаря этой заботливости при выполнении разработанных им гигиенических правил, этому отказу от чувственных увлечений Эразму удастся невероятное — семьдесят лет тащить хрупкую колымагу своего хилого тела через годы, едва ли не дичайшие и пустынейшие из всех времен, и при этом сохранить единственное, действительно самое важное для него на этой земле: святость своих взглядов и неприкосновенность внутренней свободы.

С подобной робостью нервов, с такой сверхчувствительностью органов чувств героем не станешь; ведь характер всегда обязательно соответствует конституции тела. То, что этот хрупкий, subtilный человек не способен стать вожаком сильных, грубых людей эпохи Возрождения и Реформации, можно понять, едва бросив взгляд на его духовный облик. «Нет ни единой черты выдающейся отваги», — говорит Лафатер о его лице; действительно, этих черт нет и в характере Эразма. Для настоящей борьбы этот лишенный темперамента человек не годится; Эразм может лишь защищаться, подобно тому, как это делают мелкие животные, которые в момент опасности прикидываются мертвыми или меняют окраску; во время волнений он предпочитает спрятаться в раковину, укрыться в рабочей комнате: лишь за валом книг чувствует он себя в безопасности.

Наблюдать Эразма в роковые, чреватые чрезвычайными событиями мгновения мучительно, ибо когда обстановка особенно накаляется, он поспешно выползает из опасной зоны, прикрывает свое отступление от любого решения ничем не обязывающими «если» и «поскольку», качается, словно маят-

ник, между «да» и «нет», сбивает с толку своих друзей, злит своих врагов, а тот, кто рассчитывал на него, как на союзника, чувствует себя жалким образом обманутым. Ибо Эразм, непоколебимый индивидуалист, не желает оставаться верным никому, кроме как самому себе. Он инстинктивно ненавидит любой вид решения, поскольку все они связывают, и, вероятно, Данте, этот страстно любящий человек, из-за присущей Эразму нерешительности сбросил бы его в чистилище к «нейтральным», к тем ангелам, которые в битве между Богом и Люцифером не желали примкнуть ни к тому, ни к другому:

...ангелов дурная стая,
Что, не восстав, была и не верна
Всевышнему, средину соблюдая*.

Там, где требуется самоотверженность, там, где надо принять на себя какие-либо обязательства, Эразм отступает в свою холодную раковину беспартийности, ни за какую идею в мире, ни за какое убеждение он никогда не положит голову на плаху как подвижник. Эта слабость характера очень хорошо известна самому Эразму. Послушно подтверждает он, что его тело, его душа ничего не содержат от той материи, из которой формируются мученики, но для своего образа жизни он принял шкалу ценностей Платона, по которой первейшими добродетелями человека являются справедливость и уступчивость, мужеству же отдается второе место. И мужество Эразма проявляется в том, что он откровенно не стыдится этого своего малодушия — крайне редкая форма порядочности для всех времен, — и на брошенный ему однажды грубый упрек в отсутствии воинственной храбрости он, посмеиваясь, тонко отвечает: «Если бы я был швейцарцем-ландскнехтом, это был бы тяжелый упрек. Но я — ученый, и мне для моей работы нужен покой».

Надежным в этом ненадежном человеке был лишь один момент: неустанно и непрерывно работающий мозг, этот как

* «Божественная комедия». Перевод М.Лозинского.

бы самостоятельный организм, существующий вне тщедушного тела. Не зная никаких соблазнов, никакой усталости, никаких сомнений, никакой неуверенности, с самых молодых лет до смертного часа работает он с ясностью, с силой, испускающей свет. Эразм плотью и кровью — хилый ипохондрик, в работе — титан. Не более трех-четырех часов сна требуется его слабому телу, остальные двадцать часов он неумолимо трудится: пишет, читает, спорит, сличает копии с оригиналом, исправляет написанное. Он пишет в пути, в трясущемся возке, стол на любом постоялом дворе превращается для него в пульт. Бодрствование и литературная деятельность для него — синонимы, перо — в известной степени — шестой палец руки.

Окопавшись за своими книгами и рукописями, он ревностно, с любопытством, словно в камере-обскуре, наблюдает все, что происходит вокруг него, ни один успех в науке, ни одно открытие, ни один памфлет, ни одно политическое событие не ускользают от его зоркого глаза, все, что происходит на земном шаре, известно ему из книг и писем. То обстоятельство, что Эразм воспринимает действительность почти исключительно через написанное, напечатанное слово, то, что он общается с действительностью только через мозг, придает его произведениям черты академичности, привносит в них известный холодок абстрактности; как телу Эразма, его произведениям часто недостает сочности и чувственности. Лишь рассудком, не пятью органами чувств, познает он мир, но его любопытство, его жадность к знаниям охватывают все сферы деятельности человека.

Совершенно современный нам мыслительный аппарат непревзойденной точности и поразительной дальности действия, словно прожектор, обшаривает своим лучом, выискивает все пробелы жизни, освещает их с равномерной и безжалостной четкостью. Едва ли найдется поприще деятельности современников, оставшееся вне его внимания, в любой области мысли этот возбуждающий, беспокойно блуждающий и все же всегда при этом точно оценивающий дух человека является первопроходцем для грядущих поколений.

Можно сказать, что Эразм обладал волшебной палочкой, позволяющей ему находить подлежащие разработке золотые и серебряные жилы там, где его современники ничего не видели и мимо которых равнодушно проходили. Он чувствует эти жилы, эти россыпи, он чует их, он первый указывает на них, но чаще всего с этой радостью первооткрывателя его нетерпеливый, вечно стремящийся вперед интерес иссякает и собственно добычу обнаруженных им богатств, усилия, необходимые на извлечение драгоценного песка из недр, просеивание и использование его он оставляет потомкам. Тут — его граница. Эразм (или точнее: великолепное око его рассудка) лишь высвечивает проблему, но не решает ее: как его крови, его телу недостает пульсирующей страстности, его творчество лишено предельного фанатизма, крайнего ожесточения, бешенства, ярости, односторонности: его мир — ширь, а не глубь.

Поэтому любая оценка этой удивительно сросшейся со своим временем и в то же время идущей впереди своего столетия личности будет несправедливой, если при этом учитывать лишь его произведения, а не то влияние, которое они оказали на последующие поколения. Ибо талант Эразма был чрезвычайно сложным, он являл собой конгломерат самых различных дарований, был суммой дарований, но не единым, цельным. Смелый и боязливый, наступательный и робкий, не готовый к последнему, решающему рывку, духовно воинственный, миролюбивый, тщеславный как литератор и глубоко скромный человек, скептик и идеалист, все эти противоположности объединяет он в себе. Трудолюбивый как пчела ученый и свободомыслящий богослов, строгий критик своих современников и добрый педагог, несколько рассудочный поэт и блистательный корреспондент, жестокий сатирик и мягкий защитник всего человечества — все эти ипостаси одновременно находят в нем место, все они уживаются в нем, не враждуя друг с другом. Ибо он сверх всего обладает талантом всех талантов: объединять враждующих, уничтожать противоположности.

Но такая разносторонность не может, естественно, дейст-

воват сосредоточенно, и то, что мы называем сущностью Эразма, идеями Эразма, у некоторых его преемников благодаря сконцентрированной форме выражения окажутся более убедительными, чем у самого Эразма. Немецкая Реформация и Просвещение, исследование Библии и сатира Рабле и Свифта, идея единой Европы и современный гуманизм — все это его мысли, но не его собственные дела; всему этому дал он первый толчок, всем этим проблемам дал он первоначальное движение, но каждое из этих движений обогнало его.

Редко мыслители являются также исполнителями своих замыслов, ведь дальнзоркость парализует силу толчка. «Редко, — говорит Лютер, — хорошая работа предпринимается на основании доводов мудрости и осторожности, все должно происходить по незнанию». Эразм был светочем своего столетия, другие были силой этого времени: он освещал путь, другие шли по этому пути, тогда как он сам, что всегда присуще источнику света, оставался в тени. Но тот, кто знает дорогу в новое, не менее достоин уважения, чем те, кто первыми пошли по ней; и невидимые действовали, совершили свое деяние.

ГОДЫ МАСТЕРСТВА

Если художник находит для своего произведения форму, в которой может развернуть все грани своего таланта, — это счастливый случай, блестящая удача. Так было с «Похвалой Глупости» — наиболее совершенным произведением Эразма; здесь братски соседствуют и ученый с очень широким кругозором, и острый критик своего времени, и сатирик-насмешник, ни в одном произведении не видишь Эразма таким мастером, как в этом его самом знаменитом, единственном, которое противостояло времени. Этим произведением Эразм легко, как бы играя, поразил в сердце свое время: за семь дней, и действительно, лишь для своего удовольствия, был свободно, легко написан этот блистательный сатирикон. Но эта самая легкость дала произведению крылья и беззаботность легкого порыва.

Эразму шел тогда сорок первый год, в это время он не только безмерно много писал, но также пристально всматривался своим беспристрастным и скептическим взглядом в окружающий его мир. И он увидел человечество не таким, каким желал бы увидеть. Он видел, как мало власти у разума над действительностью, очень глупой представилась ему вся суматошная жизнь, и куда бы ни обратился его взгляд, он видел то, что через сто лет увидит и о чем напишет Шекспир:

Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот...*

Кто долго, подобно Эразму, был беден, кто подолгу стоял перед дверьми, ожидая подачки от сильных мира сего, у того сердце полно горечи, словно губка — желчи, тот хорошо знает о несправедливости и глупости всего совершаемого человеком, и губы подчас дрожат от гнева и едва сдерживаемого крика. Но в сущности своей Эразм никакой не «seditiosus»**, не бунтовщик, не радикальная натура — его умеренный и осторожный темперамент не способен на резкое, патетическое обвинение.

Эразму совершенно чужда красивая и наивная иллюзия, что все скверное можно сбросить с земли одним толчком, одним ударом. К чему же тогда ссориться со светом, спокойно думает он, если все равно мира не изменишь, ведь мошенничество присуще всему человеческому, оно вечно. Умный не пожалуется, мудрый не возмутится; и, презрительно скривив губы, Эразм смотрит острым, внимательным взглядом на людей, так глупо себя ведущих, и идет своей дорогой: дантовское «*Guarde e passa!*»***. Но иногда, в час легкого расположения

* Сонет 66. Перевод С. Маршака.

** Мятеежник (*лат.*).

*** Взгляни и пройди (*ит.*).

духа, суровый и сознающий все свое бессилие взгляд мудреца смягчается: тогда он посмеивается и этим ироническим смешком освещает мир. В те дни (а было это в 1509 году) путь Эразма пролегал через Альпы, он ехал в Англию из Италии. Там видел он церковь во всем ее упадке, папу Юлия, словно кондотьер, окруженного своими военачальниками, епископов — не в убогих одеждах апостолов, а купающихся в роскоши, транжирящих несметные богатства, там был он свидетелем преступных военных безумствований князей этой истерзанной страны, хищно, словно волки, рвущих друг у друга добычу, наблюдал высокомерие властителей, ужасающую нищету народа, там постоянно погружал свой взгляд в разверзшиеся перед ним глубины нелепости человеческих отношений.

Теперь все это было далеко позади, словно облако, за залитым солнцем хребтом Альп; Эразм, ученый, книжник, ехал верхом налегке, фолиантов его с ним не было, не было с ним и его пергаментов, которые могли бы занять его досуг. Ум его здесь, на чистом воздухе, был свободен, и у него появилось стремление к игре, к озорству; его осенила мысль, чарующая, яркая, словно бабочка, и он привез ее с собой из этой счастливой поездки. Едва приехав в Англию, в считанные дни он пишет в светлом, дружеском ему доме Томаса Мора небольшое шуточное произведение, может быть, только для того, чтобы подарить развлечение собравшемуся кружку друзей; в честь Томаса Мора назовет эту свою работу каламбуром: «*Encomium Moriae*» (по-латыни же — «*Laus stultitiae*», что ближе всего можно перевести как «Похвала Глупости»).

По сравнению с основными произведениями Эразма, работами серьезными, тяжелыми, нагруженными и перегруженными научными знаниями, этот маленький, дерзкий сатириконт представляется поначалу юношески беспечным, пожалуй, даже легковесным. Но не объем, не вес художественного произведения определяют его внутреннюю силу, его живучесть; подобно тому как в политической сфере какая-нибудь острая фраза, смертоносная шутка подчас действует более сильно, чем демосфеновская речь, так и в литературе роль

ведущих колес чаще всего выпадает на долю небольших произведений: из ста восьмидесяти томов Вольтера в живых, в сущности, осталась одна небольшая язвительная новелла — «Кандид», от бесчисленных фолиантов любящего писать Эразма — лишь это дитя случая, веселая шутка, лишь эта сверкающая игра духа — «*Laus stultitiae*».



Единственным в своем роде, неповторимым искусным приемом, использованным в этом произведении, является его маскарадное одеяние: чтобы высказать сильным мира всю горькую правду, которую хотел бы Эразм им сказать, он берет слово не себе, нет, он посылает Стультицию, Глупость на кафедру, и она хвалит на кафедре сама себя. Благодаря этому возникает забавное *Quiproquo*, путаница. Читая любую страницу «Похвалы», не знаешь, кто же в действительности в данный момент говорит: Эразм — всерьез или сама Глупость, которой и можно, и должно простить любую дерзость, любую глупость?

Взяв на вооружение такую неопределенность, Эразм обеспечивает себе позицию, неприступную для любых отважных нападающих: его собственное мнение неясно, и если кто-нибудь вздумает обидеться на него за жгучий удар кнутом, за язвительные насмешки, щедро разбрасываемые им во все стороны, он сможет издевательски возразить: «Это не мои слова, это сказала госпожа Стультиция; кому взбредет в голову всерьез принимать ее дурацкие рассуждения?»

В мрачные времена инквизиции и жестокой цензуры люди свободного духа умели иносказательно передать миру свои мысли, но никто так виртуозно не использовал священное право Глупости говорить вольные речи, как это сделано в «Похвале», в самом смелом и, одновременно, таком художественно совершенном сатирическом произведении своего времени. Серьезное и шутка, знание и веселое подтрунивание, правда и вымысел — все эти составляющие запутаны в пестром клубке, и попробуй только ухватиться за любую из нитей,

чтобы отмотать ее, выделить, она тотчас же ускользает из твоих рук. Сравнивая этот блистательный фейерверк мыслей и острых словечек с бездуховной полемикой, с грубой перепбранкой современников Эразма, понимаешь, в какой восторг, в какое восхищение привела эта сатира людей шестнадцатого века.

Сатира начинается очень остроумно. Госпожа Стультиция в мантии ученого, но с шутовским колпаком на голове (так изобразил ее Гольбейн) выходит на кафедру и произносит академическую похвальную речь в свою собственную честь. Она единственная, похваляется она, вместе со своими служанками, Лестью и Себялюбием, управляет Вселенной: «...без меня никакое сообщество, никакая житейская связь не были бы приятными и прочными: народ не мог бы долго сносить своего государя, господин — раба, служанка — госпожу, учитель — ученика, друг — друга, жена — мужа, квартирант — домохозяина, сожитель — сожителя, товарищ — товарища, ежели бы они взаимно не заблуждались, не прибегали к лести, не щадили чужих слабостей, не потчевали друг друга медом глупости»*.

Лишь о приумножении своих денег заботится купец, лишь «ради соблазна суетной славы» увлеченный обманчивым светом бессмертия, творит писатель, лишь вследствие пленивших его иллюзий воин становится смелым. Трезвый, умный человек бежал бы от любой борьбы, делал бы лишь самое необходимое для заработка, никогда пальцем не шевельнул бы, душу свою не насиловал бы, если б пышным цветом не цвела глупость, вызывающая у смертных жажду бессмертия.

И здесь весело развертываются, один за другим следуют парадоксы. Лишь одна дарящая иллюзии Стультиция делает счастливыми людей, каждый человек будет тем более счастлив, чем более слепо будет следовать своим страстям, чем безрассуднее будет жить. Ибо любые размышления, любые

*Здесь и далее цитаты из «Похвалы Глупости» даются в переводе И. Губера.

самоистязания духа омрачают душу; радость никогда не содержится в ясности, в уме, всегда лишь — в сумятице, в чрезмерности, в иллюзиях, в заблуждении; Глупость метит в действительность, праведника, прозорливца, того, кто не является рабом своих страстей, она не считает нормальным человеком, это — своего рода болезненное явление, уродство, исключение из правил: «Лишь тот, кто в этой жизни одержим глупостью, может действительно называться человеком». Поэтому и расхваливает себя задирая нос Стультиция как истинную движущую пружину всей человеческой деятельности. Красноречиво доказывает она, что все достославные добродетели мира — способность ясно видеть, прямоту и порядочность — вредны человеку, поскольку, следуя им, он отравляет себе жизнь, а так как она, кроме всего прочего, особа ученая, то с гордостью цитирует Софокла: «Блаженна жизнь, пока живешь без дум».

Чтобы держать свою речь в соответствии с академическими канонами, подтверждая пункт за пунктом свои тезисы, она, паясничая, обращается к свидетелям. Люди разных сословий и профессий, разных состояний и положений, разных склонностей и характеров показывают в этом грандиозном параде присущие им недостатки и заблуждения. Все они проходят перед нами: болтливые риторы, казуисты-правоведы, философы, каждый из которых тащит в мешке свою систему мироздания, спесивцы, князья денежных кубышек, схоласты и писатели, игроки и воины и, наконец, рабы своих чувств — влюбленные, которые видят в своих возлюбленных предел совершенства, неземную красоту.

Великолепную галерею человеческой глупости показывает Эразм, обладающий несравненным пониманием человеческой природы, и великим комедиографам, Мольеру и Бен Джонсону, потребуется лишь вникнуть в игру этих марионеток, чтобы из едва обозначенных карикатур сформировать живых людей. Ни одна разновидность человеческой глупости не пощажена, ни одна не забыта, и именно этой полнотой Эразм защищает себя. Кто же может считать себя особенно

сильно осмеянным, если все остальные изображены не лучше, чем он? Вся универсальность Эразма-ученого пущена в ход, все силы его интеллекта, его ясный взгляд, его дар, его юмор. Скептицизм и благородство понимания мира переливаются здесь великолепной палитрой красок, рассыпаются бесчисленными искрами ракет; высокий дух писателя проявлен здесь в совершеннейшей игре.

По существу, это творение Эразма для него — неизмеримо значительнее, чем шутка, в этой миниатюре он показал себя более полно, чем в любой другой своей работе, это его любимое произведение. «*Laus stultitiae*» является также подведением его духовных итогов. Эразм, который ни в чем и ни в ком не заблуждается, знает глубочайшую основу таинственной слабости своих произведений, слабости своей творческой личности: он чувствует всегда слишком рассудочно, слишком мало в нем страстности, пылкости, он не желает прямкнуть ни к какой партии, он стремится стоять над событиями — все эти присущие его характеру особенности изолируют его от людей. Разум всегда — только регламентирующая сила, сам по себе творческим началом быть он не может; творческое же начало всегда предполагает наличие некоторой мечты.

Вот поэтому Эразм на протяжении всей своей жизни остался поразительно приземленным, трезвым мыслителем, великим праведником, никогда не знавшим счастья жизни, полной самоотдачи, священной самоотрешенности. Только вчитавшись в «Похвалу Глупости», можно понять, что Эразм тайно страдает из-за рассудочности, справедливости, обязательности своего умеренного темперамента. Художник всегда более уверенно творит, когда облакает в образы и плоть то, о чем он тайно мечтает, то, чего ему недостает, и здесь — человек разума *par excellence**, он призван, чтобы создать веселый гимн Глупости и очень тонко, изящно наставить нос тем, кто обожествляет Разум.

Но искусная маскировка книги не скрывает все же истин-

*Здесь: преимущественно (фр.).

ного ее значения и назначения. Под карнавальной шутовской маской «Похвала Глупости» — опаснейшая игра своего времени, и то, что забавляет нас сегодня как потешные огни, в действительности было взрывом, расчистившим путь немецкой Реформации: «Похвала Глупости» относится едва ли не к самым эффектным, самым действенным памфлетам из тех, которые были когда-либо написаны. Немецкие паломники возвращались из Рима потрясенные виденным там: папы и кардиналы ведут безнравственную расточительную жизнь итальянских владетельных князей Возрождения, верующие люди все более и более настоятельно требуют коренных церковных реформ. Но Рим погрязших в роскоши пап отклоняет любые протесты, любые ходатайства, даже если они составлены и очень мягко; на костре, с кляпом во рту каются все те, кто говорил слишком громко, слишком страстно; лишь в грубых народных виршах или в сочных анекдотах можно тайно излить свое озлобление против института индульгенций, против злоупотреблений в продаже реликвий; нелегально из рук в руки распространяются листки с изображением папы в виде огромного вампира.

Эразм в своей «Похвале Глупости» открыто предал всеобщему осмеянию перечень грехов курии: виртуоз неопределенности, он использует свой великолепный художественный прием, позволяющий Стультиции высказать все, что писатель считает полезным сказать для решающего похода против злоупотреблений церкви, сказать даже такое, что высказывать открыто было бы чрезвычайно опасно. И хотя кнутом как будто размахивает рука Глупости, всем предельно ясен критический смысл таких слов: «А верховные первосвященники, которые заступают место самого Христа? Если бы они попробовали подражать его жизни, а именно бедности, трудам, поучениям, крестной смерти, презрению к жизни, если бы задумались над значением своих титулов — «папа», иначе говоря, отца и «святейшества», — чья участь в целом свете оказалась бы печальнее? Кто стал бы добиваться этого места любой ценой или, однажды добившись, решил бы отстаивать его по-

средством меча, яда и всяческого насилия? Сколь многих выгод лишился бы папский престол, если бы на него хоть раз вступила Мудрость? Мудрость, сказала я? Пусть не Мудрость, а хотя бы крупница той соли, о которой говорил Христос. Что осталось бы тогда от всех этих богатств, почестей, владычества, побед, должностей, диспенсаций*, сборов, индульгенций, коней, мулов, телохранителей, наслаждений? (В нескольких словах я изобразил вам целую ярмарку, целую гору, целый океан всяческих благ.) Их место заняли бы бдения, посты, слезы, проповеди, молитвенные собрания, ученые занятия, покаянные вздохи и тысячи других столь же горестных тягот».

И тотчас же Стультиция оставляет свою роль Глупости и однозначно и ясно определяет требования грядущей Реформации: «Поскольку все христианское учение основано лишь на кротости, терпении и презрении к жизни, кому не ясно, как следует понимать это место? Христос призывал своих посланцев забыть все мирское, чтобы они не только не помышляли о суме и обуви, но даже платье совлекли с себя и приступили нагие и ничем не обремененные к дарам евангельским, ничего не имея, кроме меча, — но не того, которым действуют разбойники и убийцы, но меча духовного, проникающего в самую глубину груди и напрочь отсекающего все мирские помышления, так что в сердце остается одно только благочестие». И совершенно неожиданно из шутки возникает язвительная серьезность. Из-под шутовского колпака с бубенчиками смотрят строгие, неподкупные глаза великого критика своего времени. Глупость выговорила то, что готово было сорваться с губ тысяч и сотен тысяч. До сознания мира доведена настоятельная необходимость суровой церковной реформы, сильнее, убедительнее, языком более понятным для всех, чем язык любого другого произведения того времени. Прежде чем начать строить новое, необходимо поколебать авторитет существующего.

* Диспенсация — акт, отменяющий применение закона к данному лицу в данном случае, ничтожные действия признающий действительными, недозволенные — дозволенными. — *Примеч. пер.*

Во всех духовных революциях критик, просветитель всегда идет впереди творца, преобразователя: лишь взрыхленная почва примет в свое лоно зерно.



Но бесплодное критиканство и одно лишь отрицание не в характере Эразма; если он говорит об ошибках, то делает это для того, чтобы требовать исправления, никогда не порицает он из высокомерного превосходства, из желания хулить. Ничто не было более несвойственно этому темпераменту, основная черта которого — терпимость, как грубое иконоборническое выступление против католической церкви: как гуманист, Эразм мечтает не о протесте против церковного, а о «reflorescentia»*, о возрождении религии, об обновлении христианской идеи через возврат ее к первоначальной, назорейской чистоте, подобно тому как науки и искусства только что пережили свое возрождение, свое великолепное омоложение через возвращение к античным образцам, так Эразм надеется, можно и должно очистить религию, погрязшую в показном, раскопав ее истонные источники: возвратив учение к Евангелию и тем самым, по слову Христа, «открыть Христа, погребенного под догматическими учениями». С этим тезисом, высказываемым Эразмом вновь и вновь, он — впереди, как всегда — выступает во главе Реформации.

Но гуманизм по своей сущности никогда не революционен, и если Эразм, следуя своим убеждениям, и очень помогает церковной Реформации, готовя ей путь, то, согласно присущему ему чрезвычайно миролюбивому образу мыслей, он страшно боится открытого раскола. Никогда Эразм не занимает, подобно Лютеру, Цвингли или Кальвину, непримиримую позицию в обсуждаемых вопросах, никогда не ввязывается в спор о том, что правильно в католической церкви, а что — неправильно, какие таинства следует разрешать, а какие — нет, является ли причастие материальным или не материаль-

*Новом расцвете (лат.).

ным; он неустанно подчеркивает, что истинной сущностью христианского благочестия является не соблюдение внешних церковных обрядов, — нет, каждый человек на основе внутренних убеждений сам для себя должен определить степень своей веры.

Не почитание святых, не паломничество, не распевание псалмов, не богословская схоластика с бесплодным «иудаизмом» приближает человека к Христу, а его духовная защищенность, его человеческий, его христианский образ жизни. Ибо святым служит наилучшим образом не тот, кто отправляется к их могилам, кто собирает их мощи и чтит их, кто сжигает наибольшее количество свечей, а тот, кто наиболее совершенно пытается подражать в своей жизни их благочестивому поведению. Неизмеримо более важным, чем точное следование всем предписаниям ритуала, всем обрядам и молитвам, чем соблюдение постов и своевременное чтение мессы, является личное поведение человека в духе Христа: «Квинтэссенция нашей религии — мир и согласие».

Здесь, как и всегда, Эразм пытается не подавить живое формулами, а возвысить его, поднять до уровня человеческого. Он осознанно хочет освободить христианство от всего церковного, и это освобождение должно приблизить христианство к универсальному гуманизму; он стремится ввести в круг идей христианства — как плодотворный элемент — все то, что до сих пор было в этическом смысле совершенным у всех народов, у всех религий, и этот великий гуманист в столетие ограниченности, тупости и догматического фанатизма говорит удивительные, огромной прогрессивной силы слова: «Где бы ты ни встретил истину, считай ее христианской».

Таким образом перекинут мост во все времена, во все страны. Кто, подобно Эразму, всюду — в мудрости, человечности и нравственности — видит формы наивысшей гуманности и тем самым элементы христианского миропонимания, тот не будет, подобно монахам-фанатикам, изгонять в ад философов античности («святой Сократ», — скажет однажды восторженно Эразм), нет, все великое, все благородное прошлого он

будет вводить в религию, «подобно тому, как евреи при исходе из Египта взяли с собой свою золотую и серебряную утварь, чтобы благородным металлом украсить свой храм».

В соответствии с религиозными представлениями Эразма, христианству не следует ограждать себя от всего, что некогда украшало человеческую мораль или нравственный дух человечества, ибо у человечества не существует двух истин — христианской и языческой, истина во всех своих проявлениях божественна. И поэтому Эразм никогда не говорит о богословии Христа, о его вероучении, а только о «философии Христа», то есть об учении как жить: для Эразма христианство — лишь другое слово, означающее высокую и гуманную нравственность.

Эти основополагающие идеи Эразма по сравнению с архитектурной силой католической экзегезы* и пламенной страстностью мистиков звучат, пожалуй, несколько обще и отвлеченно, но они гуманны; здесь, как и в любой области знаний, действенность Эразма не столь глубока, она распространяется вширь. Его «*Enchiridion militis christiani*» («Кинжал христианского воина»), созданное как христианское произведение по просьбе одной набожной женщины для ее мужа, в предостережение ему, становится популярным народным богословским руководством, и благодаря этой книге Реформация найдет вспаханное, подготовленное к посеву поле для своих воинственных радикальных требований.

Но этот одинокий крик в пустыне не призывает начать битву, он пытается успокоить людей в последний час перед ее развязыванием; в то время, когда на церковных соборах идут ожесточенные споры по ничтожным догматическим вопросам, автор этой книги мечтает о конечном объединении всех благородных форм духовной религиозности, о *rinascimento*** христианства, которое должно навсегда освободить весь мир от распрей и столкновений и тем самым возвысить веру в Бога до религии Человека.

* Экзегеза — объяснение библейских текстов. — *Примеч. пер.*

** Возрождении (*ит.*).

То, что Эразм одну и ту же мысль рассматривает с разных сторон, говорит о многогранности его творческой природы. В «Похвале Глупости» неподкупный критик показывает злоупотребления в католической церкви, в «Кинжале христианского воина» он создает общедоступный, понятный всем идеал глубоко прочувствованной и очеловеченной религиозности и, одновременно, свою теорию необходимости «откапывания» источников христианства он реализует как филолог, как критик и комментатор текста Евангелия, переводя его вновь с греческого на латинский, свершает деяние, подготовившее путь для перевода Библии Лютером, труд, значение которого трудно переоценить.

Назад к источникам истинной веры, искать их там, где они, еще божественно чистые, не затуманенные никакими догмами — таково требование Эразма к новому немецкому богословию, и, увлеченный глубочайшим инстинктивным пониманием того, что требуется его времени, он за пятнадцать лет до Лютера указывает на этот труд — перевод Евангелия на латынь — как на самый важный. В 1504 году он пишет: «Я не в состоянии сказать, как стремлюсь к Священному писанию и как противно мне все, что удерживает или даже хотя бы задерживает меня в этом моем стремлении». Рассказанная в Евангелии жизнь Христа не должна быть более привилегией монахов и священников, знающих латынь; народ должен, обязан обращаться к ней, «крестьянину следует читать ее за плугом, ткачу — за ткацким станком», женщины должны передавать эти зерна христианства своим детям.

Но прежде, чем решиться осуществить эту великую мысль перевода на национальный язык, ученый устанавливает, что и Вульгата*, этот единственный латинский перевод Библии,

* Вульгата (*лат.*) — народная, общедоступная, первый перевод Библии на латинский язык, выполненный Иеронимом Блаженным. Этот перевод стал официальным для римско-католической церкви текстом Библии. — *Примеч. пер.*

который церковь терпит и разрешает им пользоваться, содержит огромное количество темных мест и уязвима с филологической точки зрения. Но Библия не должна иметь никаких изъянов; и вот Эразм приступает к грандиозному труду, заново переводит ее на латинский. Свободное изложение Библии и свои отступления от текста он сопровождает обстоятельным комментарием.

Этот новый перевод Библии, изданный Фробеном в Базеле одновременно на греческом и латинском в 1516 году, — революционное событие: этим самым свободомыслящее исследование победоносно проникает и в последнюю инстанцию, в богословие. Но характерно для Эразма: даже свершая революцию, он так искусно выбирает внешние формы, что и самые мощные удары с его стороны не дают оснований к ответным ударам. Чтобы заранее предупредить всякие враждебные нападки богословов, он этот первый вольный пересказ Библии посвящает владыке церкви, папе, и папа Лев X, сам гуманистически настроенный человек, в своем бреве* дружелюбно отвечает: «Мы радовались» — и даже хвалит усердие, с которым Эразм трудился над этим священным произведением.

Всегда Эразм, человек чрезвычайно миролюбивый, сам преодолевает конфликты между церковью и своими воззрениями, тогда как у других ученых подобная ситуация неминуемо привела бы к возникновению жестоких споров: его гений посредника и его искусство уклоняться, смягчать наносимые им удары блистательно восторжествовали и в этой опаснейшей сфере.

* * *

Этими тремя книгами Эразм завоевал мир. Он произнес просвещающее слово для главнейших проблем своего поколения и благодаря спокойной, понятной всем гуманистической манере, в которой он изложил своим современникам самые жгучие вопросы того времени, завоевал у них глубокую симпатию. Человечество всегда испытывает большую благодар-

*Бреве — короткое папское послание. — *Примеч. пер.*

ность к тем, кто считает возможным прогресс на основе разума; человечество видит счастье нового столетия в том, что, несмотря на огромное количество беснующихся монахов, грызущихся между собой фанатиков, неисправимых зубоскалов и неразумных схоластов-профессоров, наконец-то в Европе появился человек, оценивающий духовные и религиозные категории исключительно с точки зрения человеческого, появилась миролюбивая душа, которая вопреки всем и всяческим царящим в мире неурядицам верит в этот мир и хочет эти неурядицы устранить.

И происходит то, что обязательно должно произойти, когда появляется человек, пытающийся разрешить важнейшие проблемы своего времени: вокруг него собирается некая общность и своим безмолвным ожиданием множит его творческие силы. Все надежды, все нетерпеливое стремление к улучшению нравственности, к возвышению человечности с помощью вновь появившихся и развивающихся знаний наконец-то сфокусировались в этом человеке: он или никто, думают они, может снять так характерное для их времени чудовищное напряжение. Чисто литературная слава, снискавшая Эразму имя в начале шестнадцатого века, дала ему огромную власть: обладай его характер смелостью, он смог бы как диктатор использовать эту свою популярность для всемирно-исторических деяний на поприще Реформации.

Но деяния — не его удел. Эразм может просвещать, но не созидать, лишь подготавливать к действиям, но не действовать. Не его имя будет начертано на скрижалях Реформации, другой пожнет то, что посеял он.

ВЕЛИЧИЕ И ОГРАНИЧЕННОСТЬ ГУМАНИЗМА

Слава Эразма Роттердамского достигает своего зенита, когда ему еще нет пятидесяти: сотни лет Европа не знала более великого человека. Ни одно имя его современников, ни Дюрера, ни Рафаэля, ни Леонардо, ни Парацельса, ни Микеланд-

жело, не называется в те годы в духовном мире с таким глубочайшим уважением, как его. Никакие произведения не издаются так много, никакие моральные или художественные воззрения не идут ни в какое сравнение с его воззрениями — для начинающегося шестнадцатого столетия это имя — символ мудрости, «*optimum et maximum*»*, «наилучшее мыслимое», «наивысшее мыслимое», как пишет об Эразме Меланхтон в своей латинской «Хвалебной оде»; Эразм — неопровержимый авторитет в науке, в художественной литературе, в любых иных областях духовной жизни человечества. Его превозносят как «*doctor universalis*»**, как «владельца князя наук», как «отца обучения», как «защитника истинного богословия», его именуют «светочем мира», «пифией Запада», «*vir incomparabilis et doctorum phaenix*»***.

Ни одно восхваление не велико для него. «Эразм, — пишет Муциан, — возвышается над людьми. Он божественен, и его следует почитать как небесное существо». А Камерарус, другой гуманист, сообщает: «Каждый, кто не желает оставаться чужаком в государстве муз, восхищается им, прославляет его, превозносит его. Слава того, кому удастся выманить от Эразма письмо, необычайно возрастает, и он торжествует. Тот же, кто удостоится поговорить с ним, считает себя самым счастливым человеком на земле».

И действительно: люди стали соревноваться в завоевании благосклонности человека, который совсем недавно был никому не известным ученым, который влачил жалкое, тягостное существование, составляя просительные письма и посвящения, давая уроки, который унижительной лестью испрашивал себе у могущественных людей тощие пенсии, — теперь они, эти могущественные люди, домогаются его внимания, а наблюдать зрелище, когда сильные мира сего вынуждены прислуживать духу, уму, всегда захватывающе интересно.

* Наилучший и наивысший (лат.).

** Универсальный ученый (лат.).

*** Муж несравненный и феникс ученый (лат.).

Император и короли, князья и герцоги, министры и ученые, папы и прелаты соревнуются перед Эразмом в верноподданнических чувствах: император Карл, владыка Старого и Нового Света, предлагает ему место в Государственном совете, Генрих VIII приглашает его в Англию, Фердинанд Австрийский — в Вену, Франциск I — в Париж, из Голландии, Брабанта, Польши и Португалии приходят заманчивые предложения, пять университетов оспаривают честь иметь его своим профессором. Три папы пишут ему почтительнейшие письма. В его комнате громоздятся добровольные пожертвования богатых почитателей, золотые кубки, серебряная утварь; в дар присылаются бочонки вина, ценнейшие книги, все зовут его к себе, чтобы его славой приумножить свою.

Эразм же, умный и скептический одновременно, вежливо принимает все эти дары и почести. Он позволяет одаривать себя, он позволяет восхвалять и прославлять себя, более того, даже охотно и с нескрываемым удовольствием, но себя он не продает. Он разрешает, чтобы за ним ухаживали, чтобы ему прислуживали, но сам прислуживать никому не будет, — непоколебимый боец авангарда внутренней свободы и неподкупности художника, он прекрасно понимает, что не обладай он сам этими качествами, он немедленно утратил бы силу своего морального влияния. Он знает, что должен остаться самим собой и непростительной глупостью было бы нести свою славу от двора одного владетельного князя к двору другого, вместо того чтобы спокойно, тихо светить, словно звезда над своим домом.

Давно уже Эразму не нужно ни к кому ездить, так как все едут к нему. Базель, поскольку он живет там, становится духовным центром мира. Ни один князь, ни один ученый, ни один человек, стремящийся приобрести уважение света, не преминет, проезжая, высказать свое самое глубокое почтение великому ученому, ибо беседа с Эразмом как бы равнозначна посвящению в рыцари духа, а посетить его (подобно тому как в восемнадцатом веке — Вольтера, в девятнадцатом — Гёте) — это отдать дань глубочайшего уважения символическому носителю невидимой духовной власти.

Высокие аристократы и серьезные ученые совершают длительные и утомительные путешествия ради того, чтобы в книге для памятных записей получить его автограф; один кардинал, племянник папы, трижды безуспешно приглашавший Эразма к своему столу, не почел для себя унижительным — когда его приглашения были отклонены — посетить великого человека в грязной книгопечатне Фробена. Любое письмо, написанное Эразмом, корреспондент заключает в парчовую или бархатную папку, которую, словно реликвию, показывает благоговейным друзьям, более того, рекомендация мэтра, словно сезам, открывает все двери — никогда ни один человек, ни Гёте, ни, пожалуй, Вольтер, не обладал такой властью в Европе: властью, обусловленной лишь силой и величием духа человека.

Если смотреть на это из нашего времени, то такое особенное положение Эразма не объяснить ни его произведениями, ни характером его поведения; сегодня мы видим в нем умного, гуманного, многостороннего человека, личность многогранную, но отнюдь не чарующую, привлекательную. Для своего времени Эразм был больше чем литературным явлением, он стал символическим выражением таинственного духовного стремления этого времени.

Каждая желающая самообновления эпоха проецирует свой идеал в некоем образе, духе времени, чтобы более ощутимо представить себе свою собственную сущность, всегда выбирает типичного для себя человека и, высоко поднимая над собой эту подчас случайную личность, в известной мере подогревает в себе свой собственный восторг. Новые чувства и мысли всегда понятны лишь избранным, широкие массы в абстрактной форме никогда понять их не могут, они доступны им исключительно лишь через чувства и антропоморфно; поэтому масса охотно заменяет идею человеком, образу, прототипу которого она доверчиво пытается подражать. Этой мечте времени на короткий отрезок полностью отвечает образ Эразма, ибо он — «*uomo universale*»*, не однобокий ученый, а многознающий,

* Универсальная личность (*ит.*).

свободно смотрящий в будущее человек является идеалом нового поколения.

В гуманизме время празднует мужание своей мысли и видит осуществление своих надежд. Впервые власть духа противопоставляется наследственной или насильственно захваченной власти, и то, как сильно, как быстро происходит эта переоценка, подтверждает тот факт, что представители старой власти сами добровольно подчиняются новой. Как это символично, когда, к ужасу своих придворных, Карл V нагибается, чтобы подать сыну пастуха, Тициану, выпавшую у него из рук кисть, когда папа, послушный грубому окрику Микеланджело, покидает Сикстинскую капеллу, чтобы не мешать художнику, когда принцы и епископы вместо оружия вдруг начинают интересоваться книгами и рукописями и собирать их; неосознанно капитулируют они перед неотвратимо свершающимся — в странах Запада принимает власть сила творческого духа, художественные творения переживут военные и политические построения своего времени. Впервые видит Европа свой смысл и свое назначение в господстве духа, в создании единой западной цивилизации, в совершенной, созидательной культуре.

И время выбирает Эразма знаменосцем этой новой системы образа мыслей. Время ставит Эразма впереди своих современников, как «антиварвара», как борца со всем отсталым, всем традиционным, как провозвестника возвышенной, свободной и гуманной человечности, как проводника грядущего космополитизма. Правда, сегодня мы склонны считать, что отважно ищущее, величественно борющееся, фаустовское того времени проявлено несравненно более полно в других, более глубоких образах «uomo universale», в Леонардо, в Парацельсе. Но именно то, что в конечном счете наносит ущерб величию Эразма, его ясная (подчас слишком прозрачная) понятность, его удовлетворенность познаваемым, его обязательность и светскость были тогда для него счастьем. И время инстинктивно делает свой выбор правильно: любое обновление мира, любое полное преобразование оно пытается

сначала осуществить с помощью самых умеренных реформаторов, а не яростных революционеров, и как раз в Эразме Время видит символ спокойного непрерывно действующего разума.

Удивительное мгновение Европа находится в плену общей гуманистической сокровенной мечты о единой цивилизации, которая с помощью единого мирового языка и мировой культуры должна покончить на земле с древним, роковым раздором, и знаменательно, что эта незабываемая попытка связана с образом и именем Эразма Роттердамского. Его идеи, его желания и мечты овладели Европой на некоторый час. И то, что чистая, светлая мечта об окончательном единении и умиротворении стран Запада оказалась быстро забытой в кровью написанной трагедии нашей общей родины, является общей бедой — его и нашей.



Империя Эразма, — достойный внимания час! — впервые объединившая все страны, все народы и языки Европы, была доброжелательной империей. Не силой созданная, а убеждениями, империя эта отличается от всех когда-либо существовавших — гуманизм испытывает отвращение к любой силе. *Per acclamationem** избранный, Эразм совершенно не стремится к не терпящей возражений диктатуре. Основным законом его невидимого государства — добровольная и внутренняя свобода. Эразмовский образ мыслей желает подчинить людей гуманистическим и человеческим идеалам не нетерпимостью, как делают это владетельные князья церкви, нет — привлечь к себе, как открытый свет, который манит летающую в темноте мошкарку, мягко убеждая незнающих, переубеждая заблудших.

Гуманизм — это не империализм духа, он не знает врагов, он не желает иметь слуг. Тот, кто не хочет принадлежать к кругу избранных, может остаться вне его, никто не понужда-

*Единодушно (лат.).

ет, не заставляет силой поклоняться новому идеалу; любая нетерпимость — причина которой во внутреннем непонимании — чужда этому учению мирового взаимопонимания. Но в то же время никому нет отказа, любой может стать членом этой духовной гильдии. Гуманистом может стать всякий, стремящийся к образованию и культуре; любой человек любого сословия, мужчина или женщина, рыцарь или священник, король или торговец, мирянин или монах, все имеют право вступить в это свободное сообщество, никому не будет задан вопрос о происхождении, расе или сословии, о родном языке, о национальности.

Языки, до сих пор бывшие непроницаемой стеной между людьми, не должны более разделять народы: мост между ними возведен единым языком — общепринятой гуманистической латынью, — точно так же следует преодолеть идеал конкретной родины как недостаточный, как слишком узкий идеал, заменив его идеалом европейским, сверхнациональным.

«Весь мир — общая родина», — объявляет Эразм в своем «*Qverela pacis*»*, и ему, возвысившемуся над всеми странами Европы, бессмысленностью представляются убийственные распри наций, враждебность между англичанами, немцами и французами. «Почему разделяют нас эти дурацкие наименования наций, если имя Христа объединяет нас?» Гуманистически мыслящему человеку ясно, что причина всех распрей, раздирающих Европу, — в непонимании, в недостаточности образования, и поэтому задачей последующих поколений европейцев должны стать продиктованные чувствами решения, которые заменят притязания князей церкви, фанатиков-сектантов, всевозможных националистов; всегда следует отдавать предпочтение общему, связующему, европейскому перед национальным, общечеловеческому перед отечественным; нужно христианский мир преобразовать в единую религиозную общность, беззаветно и смиренно служащую

* «Жалоба Мира» (лат.).

человеческой любви в рамках некоего универсального христианства.

Идея Эразма, следовательно, сводится не просто к тому, чтобы человечество стремилось к космополитической общности, в идее этой заключена полная решимость воля к новой духовной форме единения стран Запада. Правда, и до Эразма были попытки объединить Европу, вспомним римских цезарей, Карла Великого, а позже — совсем недавно к этому стремился Наполеон, но эти автократы хотели объединить народы и страны огнем и железом, молотом силы, победитель разрушал кулаком более слабые государства, чтобы надежно опутать их цепями. У Эразма же — решающее отличие! — Европа предстает как моральная идея, как совершенно неэгоистическое и духовное понятие, ему принадлежит и ныне еще не реализованная идея Соединенных Штатов Европы под знаком некой общей культуры и цивилизации.

* * *

Само собой разумеется, предварительным условием для Эразма, для борца авангарда этой и других идей взаимопонимания, является исключение при этом любой силы и особенно войны, «ведущей к провалу всех хороших дел и идей». Эразм — первый теоретик пацифизма; не менее пяти ратующих за мир работ написал он в те времена беспрестанных войн: в 1504 году — обращение к Филиппу Красивому, в 1514-м — к епископу Камбрэ: «как князю христианской церкви, Вам следовало бы именем Христа бороться за мир», в 1515 году в «Адагиях», в этом знаменитом его сочинении, имеющем вечно актуальный подзаголовок: «*Dulce bellum inexpertis*» («Лишь тем представляется война прекрасной, кто не пережил ее»), в 1516 году в своем «Наставлении набожному и христианскому князю», посвященном юному императору Карлу V, Эразм предостерегает его от развязывания войны и, наконец, в 1519 году появляется тотчас же переведенное на все языки и распространенное среди всех народов, но так и не услышанное теми, кому это произведение было предназначено, «*Qverela*

pacis», «Жалоба отверженного, изгнанного и пораженного Мира всем нациям и народам Европы».

Но уже тогда, едва ли не за пятьсот лет до нашего времени, Эразм понимал, как мало может поборник мира рассчитывать на благодарность и понимание: «Дошло до того, что открыть рот против войны считается делом глупым, зверским и нехристианским», что, однако, не мешает ему в век права кулака и грубейшего насилия вновь и вновь с непреклонной решимостью публиковать свои протесты против свар князей. По его мнению, Цицерон прав, говоря, «неправедный мир лучше справедливой войны», и у одиночки — борца за мир — имеется целый арсенал аргументов против войны, из которого и сейчас еще можно заимствовать и заимствовать вволю. «Когда звери нападают друг на друга, — жалуется он, — я понимаю их и прощаю им это их поведение», но людям следовало бы понимать, что война сама по себе уже означает несправедливость, так как обычно она поражает не тех, кто развязывает ее, а почти всегда вся ее тяжесть падает на невиновных, на бедный народ, который не выиграет ни при победе, ни при поражении. «Больше всех страдают те, которым война не несет никаких выгод, и даже если в войне кому-то повезет, то это означает, что другим она принесла ущерб или даже гибель». Идея война, следовательно, никогда ничего общего с идеей справедливости не имеет, и тогда, — он спрашивает снова и снова, — как же может война быть вообще справедливой?

Для Эразма ни в богословской области, ни в области философской нет абсолютной, универсальной истины. Истина для него всегда многозначна, многокрасочна, в равной степени это относится и к праву, поэтому «князь ни в одном деле не должен проявлять большую осторожность, большую осмотрительность, чем в вопросе развязывания войны, и, безусловно, он не имеет права кичиться своими правами, ибо кому не известно, что основная его задача — быть как можно более справедливым?» Каждый вопрос имеет два решения, «все вещи, понятия, события можно объяснить в соответствии с мнением каждой враждующей стороны», и даже если одна из этих сто-

рон и считает себя правой, то закреплять это право силой не следует, ведь никакой спор никогда силой не завершается, так как «война растет из другой войны, из одной войны вырастают две».

Итак, следовательно, мыслящие люди должны понимать, что моральные конфликты оружием не разрешить. Эразм ясно и недвусмысленно объясняет, что ученые, люди умственного труда не должны расторгать дружбы друг с другом, если между их народами возникнет война. Противоречия в мнениях народов, рас, наций нельзя ни усиливать, ни энергично подогревать партийностью, ученые должны неколебимо оставаться в чистой сфере человечности и справедливости. Их вечной задачей остается противопоставлять «нехристианской, звериной, жестокой бессмысленности войны» идею мирового единения и мирового христианства.

Ни в чем так горячо не упрекает Эразм церковь, высшую моральную инстанцию, как в том, что она ради усиления своей земной власти поступилась великой идеей Августина: идеей христианского мира во всем мире. «Богословы и учителя христианской жизни не стыдятся возбуждать, распалить страсти, подстрекать свою паству к войне, которую Господь Бог так сильно ненавидел», — гневно восклицает он и: «Мыслимы ли рядом посох епископа и меч, митра епископа и шлем, Евангелие и щит? Как могут они одновременно проповедовать христианское учение и войну, одной и той же трубой звать и к Богу, и к дьяволу? Воинственное духовное лицо, следовательно, не что иное, как бессмыслица, абсурд, ибо такое объединение двух несовместимых противоположностей оскорбляет слово Божие, отрицает наивысшее возвешение Бога и Учителя: мир вам!»

* * *

Поднимая голос против войны, ненависти, односторонности и ограниченности, Эразм страстен, но страстность его негодования никогда не замутняет ясности миропонимания. Идеалист по сердцу и скептик по разуму одновременно, Эразм понимает, какие в живой действительности существуют пре-

пятствия делу реализации «христианского мира во всем мире», абсолютного господства гуманного разума. Человека, который в своей «Похвале Глупости» описал все не поддающиеся исправлениям разновидности человеческих заблуждений и бессмысленности, не отнести к тем идеалистическим мечтателям, полагающим, что написанным словом, книгами, проповедями и трактатами можно уничтожить инстинкт насилия, присущий человеческой природе, или хотя бы несколько его ослабить: у кого нет никаких иллюзий относительно того, что очень просто можно избавиться от этих страстей силы и упоения борьбой, которые сотни, тысячи лет — со времен каннибализма — бродят в крови человека, что легко устранить глухое воспоминание о первобытной ненависти одной особи человека-животного к другой особи. Он прекрасно понимает, что потребуются, возможно, сотни, а может, тысячи лет нравственного воспитания и культурного переформирования, чтобы полностью гуманизировать род человека, чтобы совершенно вытравить в нем зверя. Он понимает, что стихийные инстинкты не заговорить деликатными словами, моралистическими проповедями, и принимает варварское в этом мире как факт, не поддающийся немедленному устранению. Поэтому его борьба направлена в другую область, он, как человек духа, обращается лишь к людям своего круга, не к ведомым и обманутым*, а к вождям, к князьям, к священникам, ученым, художникам, к тем, кого считает ответственным за все раздоры в европейском мире.

Как дальновидный мыслитель, он давно уже понял, что инстинкт насилия сам по себе не очень опасен миру. У насилия как такового — короткое дыхание; оно наносит удары слепо и бешено, но бесцельно, а память его коротка; после каждой подобной вспышки оно валится в бесчувствии. Даже там, где насилие действует подстрекательски и психически возбуждает целые группы людей, возникают лишь толпы, тотчас же рассеивающиеся, едва проходит первый пыл. История не зна-

* В подлиннике игра слов: Geführte und Verführte.

ет особо опасных для общества восстаний и вспышек военных действий, если они не имеют духовного руководства и организации, — лишь в случае, когда инстинкт насилия служит некой идее или идея сама по себе вызывает к действию этот инстинкт, вот тогда возникают серьезные волнения, кровавые и разрушительные революции, ибо только объединенная лозунгами толпа становится партией, лишь благодаря организации — армией, лишь вооружившись догмой — движением.

Тот, кто своим словом разжигает потушенный было огонь, должен понимать, что разрушительное пламя вспыхнет вновь, кто возбуждает фанатизм, объявляя его единственно справедливой системой бытия, мышления и веры, должен понимать, что этим он берет на себя ответственность за раскол мира, что он развязывает войну против инакомыслящих, против тех, кто придерживается другого образа жизни.

Любая тирания мысли — это объявление войны свободе духа человечества, а тот, кто, подобно Эразму, ищет общечеловеческую гармонию, наивысший синтез всех идей, именно поэтому должен рассматривать любую форму одностороннего мышления, слепое нежелание понимать других как войну против идей взаимопонимания. Поэтому гуманистически воспитанный, гуманно, в духе Эразма, настроенный человек не должен присягать никакой идеологии, так как всем идеям присуще стремление к гегемонии; он не должен связывать себя ни с какой партией, ибо долгом любого человека партии является смотреть, чувствовать, думать по-партийному. Он должен охранять свободу мышления и действий, ибо без свободы справедливость невозможна, она — единственная идея, которая должна стать наивысшим идеалом для всего человечества. Поэтому мыслить, по Эразму, — значит мыслить независимо, действовать, по Эразму, — действовать в духе взаимопонимания. Миропонимание, по Эразму, основанное на вере в человека, не способствует ничему разъединяющему, наоборот, оно связывает людей друг с другом, оно не стремится усилить одностороннее в односторонности, враждебное во враждебности, нет, его задача — распространение понимания, подготов-

ка взаимного соглашения, и чем более фанатично время в своей партийности, тем более решительно должен человек отстаивать свою надпартийность, которая непредвзято смотрит на человеческое сообщество со всеми его заблуждениями и смятениями и поэтому является неподкупным защитником духовной свободы и справедливости на земле.

Именно поэтому Эразм признает право за любой идеей, но не признает ни за одной из них право на исключительность; он, сам пытавшийся понять и восхвалить даже глупость, никакую теорию, никакой тезис не встречает сразу же враждебно, не пытается опровергнуть его, если тот вступает с другими в борьбу. Гуманист, человек обширнейших знаний, он любит мир именно за его многообразие, противоречия мира его не пугают. Он никогда не подчеркивает эти противоречия, что свойственно фанатикам и систематикам-классификаторам, пытающимся все величины привести к общему знаменателю, все цветы расположить по форме и цвету; гуманист оценивает противоположности не как враждебность и ищет высокую, человеческую общность во всем, казалось бы, несовместимом.

Эразм умел в самом себе примирять антагонистические элементы — христианство и античность, свободомыслие и богословие, Возрождение и Реформацию, — ему, естественно, должно было казаться, что и все человечество однажды преобразует многообразие явлений в счастливую согласованность, противоречия — в высокую гармонию. Это предельное — духовное, европейское — взаимопонимание в мире, оно, собственно, формирует единый религиозный элемент веры, пожалуй, несколько холодного и рационалистического гуманизма, и с той же страстностью, как другие в это мрачное столетие проповедают свою веру в Бога, Эразм объявляет свое кредо — веру в человека: именно она, эта вера в человека, является смыслом, целью и будущим мира, жить следует общностью, а не односторонностью и тем самым становиться еще более гуманным, более человеческим.

Для воспитания в человеке гуманности гуманизму известен лишь один путь — путь образования. Эразм и его последователи считают, что человеческое в человеке можно развить лишь с помощью образования и книг, так как только необразованный, только неуч отдается своим страстям, не подчиняясь внутреннему контролю. Образованный, цивилизованный человек — какая трагическая ошибка думать так — уже не поддается влиянию идей грубого насилия, и если образованные, культурные, цивилизованные люди станут во главе общества, то хаотическое, звериное само собой из этого общества исчезнет, войны и преследования инакомыслящих станут отжившим анахронизмом.

В своей переоценке значения цивилизации гуманисты неправильно понимают исполинские силы мира инстинктов с его не поддающимся укрощению насилием, роковым образом упрощают ужасную и едва ли решаемую проблему ненависти масс и великого, страстного психоза человечества. Расчеты гуманистов наивно упрощены: для них существуют два слоя человечества, нижний и верхний, внизу — нецивилизованная, грубая масса, легко поддающаяся влиянию страстей, наверху — круг образованных, понимающих, гуманных, цивилизованных людей. И гуманисты полагали, что если им удастся переместить большую часть людей из нижнего слоя, слоя некультурных, в верхний, в слой культурных, то основная их работа будет выполнена. Подобно тому как земли Европы, пустовавшие ранее и находившиеся под властью диких, опасных зверей, постепенно возделываются, культивируются, так и в человеческом обществе под благотворным влиянием образования грубость и глупость постепенно искоренятся и возникнет свободная, плодотворная зона человечности.

Гуманисты подменили религиозные идеи идеей неудержимого прогресса человечества. Задолго до того, как Дарвин дал идее прогрессивного развития научный метод, она была возведена гуманистами в моральный идеал: на нем покоятся во-

семнадцатое и девятнадцатое столетия; со многих точек зрения идеи Эразма стали основными принципами современного общественного порядка. Однако ничего не было бы более ошибочным, как видеть в гуманизме ростки либерализма, а в Эразме — предтечу демократа. Ни мгновения ни Эразм, ни его приверженцы не думали о том, чтобы дать хотя бы самые малые права народу, необразованному, несовершеннолетнему — для них каждый необразованный был несовершеннолетним — и хотя они, правда, абстрактно, любят все человечество, но тем не менее очень и очень остерегаются иметь что-либо общее с *vulgus profanum**. Если повнимательнее присмотреться, то можно обнаружить у них вместо старого аристократического высокомерия новое, то, которому предстоит существовать последующие триста лет, — академическую спесь, которая лишь за латинистами, за людьми, получившими университетское образование, признает право решать — что справедливо, что нет, что нравственно, что безнравственно. Гуманисты так же полны решимости править миром именем Разума, как князья — именем насилия, а церковь — именем Христа. Их мечта — олигархия, господство аристократии духа: лишь лучшие, наиболее образованные, именно так, как полагали греки, имеют право руководить полисом, государством. В силу своих огромных знаний, своих гуманных взглядов, в силу присущей им прозорливости они полагают, что сами чувствуют себя призванными как вожди и посредники вмешиваться в представляющиеся им безрассудными споры между нациями, стоящими на более низком уровне развития, однако все эти споры должны разрешаться без помощи народа.

Так, гуманисты совсем не стремятся к упразднению рыцарского сословия, они считают лишь, что его следует духовно обновить. Они надеются завоевать мир пером, тогда как те собирались сделать это мечом; но и те и другие в своем поведении схожи: каждое из этих сообществ стремится обособиться

*Темной толпой (*лат.*).

от тех, кто оказался вне его, от «варваров», в каждом из этих сообществ соблюдаются определенные условности, напоминающие собой придворный церемониал. Гуманисты облагораживают свои имена, придавая им латинскую или греческую форму, чтобы этим скрыть свое происхождение из народа. Шварцэрд именуется Меланхтоном, Гейсхюзлер — Микониусом, Эльшлегер — Олеариусом, Кохаф — Хитреусом, Добник — Кохлеусом, они облачаются с особой тщательностью в черные, развевающиеся одеяния, чтобы уже внешне отличаться от людей других сословий и держать их этим на некоторой дистанции. Они почли бы унижительным для себя написать книгу или хотя бы письмо на своем родном языке, подобно тому, как рыцарь возмутился бы, если бы его заставили слезть с лошади и плестись в обозе презренной пехоты.

Каждый гуманист, в соответствии с общим для них идеалом культуры, чувствует себя обязанным следовать во взаимоотношениях и общении особому благородному поведению, они избегают пользоваться крепким словом и считают своим особым долгом заботиться в век дикости и жестокости о светской вежливости. Словом и письмом, языком и поведением пекутся эти аристократы духа о благородстве образа мыслей и их выражения, и в этом ордене духа, символ которого не крест, а книга, мы видим последние отблески сияния умирающего рыцарства, которое вместе с императором Максимилианом уходит в небытие. И подобно тому, как аристократическое рыцарство погибло под градом железных ядер, выплываемых пушками, так и эти благородные идеалисты погибли под богатырскими ударами народной революции Лютера, Цвингли.

Республике Эразма была предопределена короткая жизнь именно из-за этого пренебрежения народом, из-за этого безразличия к действительности. Сама идея республики была лишена непосредственной действенной силы: основная ошибка гуманизма состоит в том, что он хотел обучать народ сверху вместо того, чтобы пытаться понять его и самому учиться у него. Эти академические идеалисты считали, что они уже вправе господствовать, поскольку их государство распростра-

нялось вширь, поскольку во всех странах, при всех дворах, университетах, монастырях и церквях они имели своих слуг, послов и легатов, гордо оповещавших об успехах *eruditio* и *eloquetia*, достигнутых в до сих пор варварских землях, но вся беда в том, что государство гуманистов имело влияние лишь в самом тонком верхнем слое, было лишено корней в глубинах общества.

Когда письма из Польши, Чехии, из Венгрии и Португалии приносили Эразму восторженные сообщения, когда владельческие особы всех стран, император, короли и папы домогались его благосклонности, то заключенному в четырех стенах своей рабочей комнаты Эразму иной раз могло показаться, что государство Разума уже основано, причем основано на длительное время. Но эти латинские письма не позволили ему услышать молчание миллионов, услышать ропот, все сильнее прорывающийся из этих бездонных глубин.

Народ для него не существовал, он считал не деликатным и недостойным образованного человека общаться с толпой, иметь дело с необразованными, с «варварами»: гуманизм всегда существовал лишь для *harry few** и никогда — для народа, и платоническое государство гуманистов, Государство Человечества, в конечном счете осталось сказочным государством, на краткий час осветившим весь мир своим чудесным видением, чистым творением созидающего духа, блаженно созерцающего со своих высот мир, погруженный в непроглядную тьму. Но действительной, настоящей бури — в темноте уже грохочут раскаты грома — это искусственное, холодное творение не выдержит, и без битвы уйдет в небытие.



Глубочайшая трагедия гуманизма и причина его быстрого заката в том, что велики были его идеи, но не люди, которые их провозгласили. Есть что-то смешное — может, крупинцы смешного — в этих комнатных идеалистах, во всех этих чисто

* Немногих счастливых (англ.).

академических утопистах, стремящихся усовершенствовать мир, все они — благонамеренные, честные, немного тщеславные педанты с засушенными душами, гордо, словно маскарадные костюмы духа, несущие латинские имена: стремление поучать, в мелочах, словно облаком пыли, закрывает самые богатые, самые искрометные мысли.

Эти ограниченные последователи Эразма трогательны в своей профессорской наивности, немного напоминают они тех славных господ, которых и сегодня можно встретить в филантропических и других обществах, ставящих своей целью улучшение мира, теоретиков-идеалистов, верящих в прогресс, словно в религию, прозаических мечтателей, конструирующих за своим письменным столом высоконравственный мир и формирующих тезисы вечного мира, тогда как в живом, в действительном мире война следует за войной, и те самые папы, императоры и другие владетельные особы, которые восторженно одобряют их идеи взаимопонимания народов, одновременно делают все, — вступая друг с другом в союзы, — чтобы ввергнуть мир в огонь междоусобных войн.

Клан гуманистов полагает, что вселенная должна содрогнуться от ликования при каждой вновь найденной рукописи Цицерона, любой маленький памфлет приводит гуманистов в состояние крайнего восторга. Но они не знают и не желают знать того, что волнует людей улицы, и доброе их слово не получает резонанса в живой жизни, так как они остаются узниками своих кабинетов. Самоизоляция, обусловленная недостатком страстности, отсутствие связи с народом — причина того, что плодотворные идеи гуманизма не дали настоящих плодов. Содержащийся в основе их учения великолепный оптимизм не смог творчески расцвести, в полной мере развернуться, так как среди этих теоретиков-учителей идей человечности не оказалось ни одного, кому дана была бы неодолимая естественная сила слова, способного воззвать к народу. И в истощенных поколениях энергия великой святой мысли за пару столетий иссякла.



Однако он был великолепен, этот звездный час мира, когда святое облако человеческого доверия своим мягким бескровным сиянием осветило нашу европейскую землю, и хотя предположение гуманистов, что народы уже умиротворены и объединены под знаком духа, оказалось иллюзорным, мы должны глубоко уважать гуманистов и чтить память о них. Миру всегда нужны были люди, которые противились мысли, что История — не что иное, как тупое, монотонное повторение самой себя, постоянное и бессмысленное действие в непрерывно обновляющихся костюмах, и наоборот, полагали, что история означает прогресс морали, что наши поколения по невидимой лестнице поднимаются от звериного к богоподобному, от жестокого насилия к мудрому и упорядочивающему и что последняя, наивысшая ступень подобного взаимопонимания уже близка, уже почти достигнута.

Возрождение и гуманизм создали такую историческую минуту высокой мечты: именно поэтому мы любим это время, глубоко чтим его плодотворные грезы. Именно тогда выросло первое поколение уверенных в себе европейцев, убежденных в том, что они опередят все предыдущие эпохи и сформируют более благородное, более знающее, более мудрое человечество, чем человечество Греции и Рима. И похоже, действительность подтверждает идеи этих первых провозвестников европейского оптимизма, ибо разве не произошли в те годы события, несравненно более замечательные, чем те, что происходили когда-либо ранее? Не возродились ли в Дюрере и Леонардо новые Зевксис и Апеллес, в Микеланджело — новый Фидий? Не формирует ли наука мозг человека, да и весь земной мир по новым, более мудрым, чем прежде, законам? Не создает ли золото, текущее из вновь открытых стран, несметные богатства, а эти богатства — не вызывают ли они к жизни новое искусство? И не волшебству ли Гутенберга обязаны мы тем, что теперь творческое, воспитывающее, образующее слово, тысячекратно повторенное, разносится по всему свету?

Нет, так далее продолжаться не может, ликует Эразм и его последователи, и человечество, так щедро одаренное их силой, обученное ими, должно осознать свою моральную миссию, жить в последующем еще более по-братски, действовать нравственно и раз навсегда с корнем вырвать все недостатки своей звериной природы. Словно трубный глас, гремят над миром слова Ульриха фон Гуттена: «Какое наслаждение — жить!» И доверчиво и нетерпеливо из-за зубцов стены, окружающей государство Эразма, видят граждане новой Европы полоску света на горизонте Будущего, которая подтверждает, что после долгой ночи, в которую погружен дух, наконец-то наступит день умиротворения мира.

Но это не священная утренняя заря, брезжущая над погруженной в темноту Землей: это отблески пожаров, которые разрушат их идеалистический мир. Как германцы в классическом Риме, так и Лютер, фанатичный человек дела, с непреодолимой силой вламывается с национальным движением народа в сверхнациональный, идеалистический сон. И прежде, чем гуманизм по-настоящему приступит к своему делу объединения мира, Реформация железным кулаком расколется надвое последнее духовное единство Европы, *ecclesia universalis**.

ГЕНИАЛЬНЫЙ ПРОТИВНИК

Редко определяющие жизнь человека силы — судьба и смерть — приходят к нему без предупреждения. Обычно они высылают впереди себя посланца, причем не так-то просто распознать, кто он таков и зачем явился, и почти всегда тот, к кому он пришел, не понимает предостережения, не слышит таинственного зова. Среди ежедневно доставляемых Эразму бесчисленных писем, в которых корреспонденты из всех стран Европы высказывают ему свое глубокое уважение и почита-

* Универсальную церковь (лат.).

ние, 11 декабря 1516 года приходит письмо, посланное ему Спалатином, секретарем курфюрста Саксонии. В этом письме кроме выражений восторга Эразму и некоторых сведений учебного характера Спалатин пишет, что некий чрезвычайно уважающий Эразма молодой монах-августинец из их города расходится с ним, с Эразмом, в вопросе о первородном грехе. Этот монах не согласен с мнением Аристотеля, который утверждает, что, поступая по справедливости, будешь справедлив; монах полагает, что лишь справедливый может поступать по справедливости: «Сначала личность должна стать справедливой, а уж затем она сможет свершать справедливо».

Это письмо — часть мировой истории. Доктор Мартин Лютер, еще не названный, никому не известный монах-августинец — а это именно он — впервые дает знать о себе великому мастеру слова, причем удивительным образом его возражения касаются основного вопроса, того вопроса, из-за которого два этих паладина Реформации позже станут врагами. Правда, Эразм читает тогда эти строки не очень внимательно. Да и нет у него, очень занятого, почитаемого всем миром человека, времени вступать в серьезный богословский диспут с каким-то безвестным монахом из Саксонии; он читает эти строки, не придавая им серьезного значения, не вдумываясь в них, не подозревая, что в этот час и в его жизни, и во всем мире произошли решающие изменения. До сих пор он стоял один — господин Европы, учитель нового евангелического учения, но вот на его пути появился великий противник. Едва-едва слышно постучал ему в дом, в его сердце Мартин Лютер, пока безымянный, но скоро, однако, весь мир назовет его победителем и наследником Эразма.

* * *

Лютер и Эразм никогда не встретятся. Те, кого в бесчисленных книгах, на бесчисленных гравюрах будут называть не иначе, как освободителями от ига Рима, первыми немецкими евангелистами, вероятно, из какого-то инстинкта избегают

этой встречи. Великие противники лицом к лицу — какие поразительно драматического звучания сцены могла бы История донести до нас!

Редко природа создавала двух людей, так отличающихся друг от друга и физически, и по характеру, как Эразм и Лютер. Внешний облик этих людей, дух и образ жизни каждого создали враждебные друг другу характеры; какие исключаящие друг друга черты и понятия формировали эти характеры — терпимость и фанатизм, разум и страстность, рафинированная культура и изначальная, первобытная сила, космополитизм и национализм, эволюция и революция!

Антагонистические свойства характеров проявляются совершенно отчетливо уже во внешности этих людей. Лютер — сын рудокопа из крестьян, здоровяк здоровяком, сотрясающийся от этого здоровья, он прямо-таки обременен едва сдерживаемой силой, полон жизни и счастлив всеми ее грубыми проявлениями: «Я жру, как богемец, а напиваюсь, как немец», — упругий, брызжущий соками, только разве что не лопающийся от избытка внутренних сил, кусок жизни, мощь и буйство всего народа, собранные в одном человеке.

Когда он повышает свой голос, в его речи гремит орган, каждое слово приятно на вкус и крепко посолено, словно коричневый свежеспеченный крестьянский хлеб, все элементы природы ощущаются в его речи, земля с ее запахами, речка с илом и навозом — словно стихия непогоды, дикая и разрушительная, бушует его пламенная речь по всей Германии. Гений Лютера проявляется в этой страстной стремительности неизмеримо сильнее, нежели в его рассудочности; подобно тому как он говорит, используя народный язык, вкладывая в речь чудовищные творческие силы, так и думает он, неосознанно, как народ, и представляет его волю, доводя ее до наивысшей степени накала страстности. Его личность — как бы прорыв в сознание мира всего немецкого, всех протестующих и мятежных немецких инстинктов, и так как нация усваивает его идеи, он сам входит в историю своей нации. Свою колоссальную стихийную силу он возвращает обратно стихии.

Если этого мясистого, ширококостного, полнокровного, кряжистого, как глыба земли, Лютера, этого человека, на лбу которого торчат волевые шишки, словно рога Моисея на скульптуре Микеланджело, если этого здоровяка сравнить с человеком духа, с Эразмом, лицо которого цветом подобно пергаменту, с тонкокожим, худым, хрупким, осторожным человеком, если посмотреть на них обоих, то безошибочно скажешь: между этими антагонистами никогда не возможна на длительное время дружба, никогда не возможно длительное взаимопонимание.

Всегда болезненный, всегда зябнувший в своей комнате Эразм, вечно укутанный в шубу, вечно недомогающий, и Лютер — чуть ли не болезненно здоровый человек. Эразму всегда недостает того, чего у Лютера — избыток; постоянно должен этот хрупкий человечек подогревать свою водянистую кровь бургундским, тогда как — противоположности очень показательны, особенно в мелочах — Лютер каждодневно пьет свое «крепкое виттенбергское пиво», дабы подготовить себе добрый ночной отдых без сновидений. Когда Лютер говорит, дом сотрясается, церковь качается, мир колеблется, но и за столом среди друзей он может оглушительно хохотать и с большим удовольствием поет в звучном мужском хоре, — после богословия он более всего предан музыке. Эразм говорит слабым голосом, тихо, как страдающий болезнью легких, искусно закругляет или затачивает свои фразы, пересыпает их тонкими остротами, тогда как речь Лютера льется свободно, да и перо его несется вперед, словно «слепая лошадь». От личности Лютера исходит сила: всех, кто находится возле него, Меланхтона, Спалатина и даже князей, он своей властно-мужской сущностью держит в некой покорной подчиненности. Власть же Эразма, напротив, сильнее всего проявляется там, где он физически сам отсутствует. Он ничем не обязан своему маленькому, убогому, жалкому телу, а всем — своей высокой, охватывающей мир духовности.

* * *

Но и духовность каждого из этих противников зиждется на особой природе мышления. Эразм, без сомнения, более прозорлив, более знающ, ничто происходящее в мире ему не чуждо. Его абстрактный, ясный ум, не окрашенный никакими предубеждениями, словно дневной свет, проникает во все трещины и стыковки тайн и освещает любой предмет. Горизонт же Лютера узок, бесконечно более узок, чем у Эразма, но глубина проникновения — ббльшая; его мир более тесен, неизмеримо более тесен, чем мир Эразма, но любой своей мысли, каждому своему убеждению он умеет придать широту своей личности. Все, о чем хочет поведать, он прежде согреет своей красной кровью, каждую свою идею оплодотворит своей жизненной силой, и то, что однажды узнал и признал, никогда уж не упустит; любое его утверждение срастается с его сущностью и питается его чудовищной динамической силой.

Десятки раз Лютер и Эразм высказывают одни и те же мысли, но при этом Эразм вызывает среди тех, кто близок ему по мыслям, тонкое духовное возбуждение, Лютер же, благодаря своей способности увлекать за собой, тотчас же превращает эту мысль в лозунг, в военный клич, в приказ и этим приказом яростно бичует, словно библейские лисы с их головнями, мир, чтобы воспламенить совесть человечества. Если Эразмово в конечном счете имеет своей целью умиротворение духа, все Лютерово — чрезвычайный накал чувств, потрясение чувств; поэтому Эразм, скептик, сильнее там, где он наиболее ясен, наиболее трезв, наиболее понятен, Лютер же, «Pater exstatikus»*, напротив, там, где гнев и ненависть особенно резко срываються с его губ.

* * *

Такие противоположности должны органически привести к противоборству, даже если цель у обоих противников — одна. Сначала и Лютер и Эразм хотят одного, но их темпера-

* Отец иступлений (*лат.*).

менты желают столь по-разному, что приводят их к антагонизму. Вражда исходит от Лютера. Среди всех гениальных людей, которых породила земля, Лютер был, вероятно, самым фанатичным, самым не поддающимся уговорам, самым строптивым, самым непримиримым. Он терпит возле себя лишь тех, кто во всем поддакивает ему, тех же, кто ему противоречит, — лишь затем, чтобы, общаясь с ними, распалить свой гнев и сокрушать их. Для Эразма же нефанатизм стал религией, жесткий диктаторский тон Лютера — безразлично, о чем бы тот ни говорил, — ему словно острый нож. Эразму, который своей наивысшей целью считает взаимопонимание духовных натур, граждан мира, эти удары кулаком, эти клокочущие от ярости речи — просто физически неприятны, а самоуверенность Лютера (именуемая им Божьей уверенностью) раздражает Эразма, кажется ему едва ли не кошунственным высокомерием в нашем мире, время от времени неизбежно подпадающим под власть ошибок и иллюзий.

Само собой разумеется, Лютер должен ненавидеть вялость и нерешительность Эразма в вопросах веры, нежелание принять определенное решение, никогда не высказываться однозначно, гладкость, уступчивость в убеждениях; вместо утверждений Эразм предпочитает «искусную речь», считая ее эстетически совершенной, что выводит Лютера из себя.

В сущности Эразма есть нечто, что должно раздражать Лютера, так же, впрочем, как в сущности Лютера есть что-то, раздражающее Эразма. Поэтому совершенно безосновательно утверждение, будто лишь какие-то случайные причины внешнего характера помешали тому, что эти первые апостолы нового евангелического учения, Лютер и Эразм, не связали себя общей работой. Даже самые, казалось бы, похожие черты их характера, их темперамента при столь разнящемся составе их крови, при столь заметной несхожести их духа должны иметь отличную друг от друга окраску, так как их различия — органичны. Эти различия — в мозгу, в инстинктах, в крови, в той глубине их «я», которая неподвластна мысли.

Они могут длительное время щадить друг друга по сообра-

жениям политическим, потому что служат общему делу, они могут, словно корни двух деревьев, длительное время омываться одними и теми же подземными водами, но при первом же повороте событий они обязательно, и это предопределено роком, бросятся друг на друга: этого всемирно-исторического конфликта не избежать.

* * *

Победителем в этой борьбе, безусловно, должен стать Лютер, и не только потому, что он более гениален, но потому также, что он более привычен к борьбе, потому, что борьба доставляет ему физическое наслаждение. Всю свою жизнь Лютер был воинственной натурой, прирожденным задирой, он всегда ввязывался в ссоры — с Богом, с чертом, с людьми. Борьба для него — не только радость и форма разрядки сил, но прямо-таки спасение для его переполненной жизнью природы. Ввязываться в драку, спорить, браниться, пререкаться — это для него своего рода кровопускание, лишь выходя из себя, обрушиваясь на кого-нибудь градом побоев, он чувствует, ощущает всю свою силу; поэтому со страстным наслаждением бросается он в любое правое и неправое дело. «Трудно описать, — отмечает Буцер, его друг, — какое ужасное отвращение я испытываю, когда думаю о бешенстве, закипающем в этом человеке, едва ему приходится иметь дело с противником». Ибо бесспорно, если Лютер борется, то борется словно одержимый и всегда — всем своим существом, с воспаленной желчью, с налитыми кровью глазами, с пеной на губах, *furor teutonicus**, изгоняющего из своего тела лихорадящий его яд.

И действительно, ему становится легко лишь после того, как он, неистово нападая, разрядит свой гнев: «Это освежает меня, успокаивает, голова становится ясной, и я освобождаюсь от всяческих соблазнов». На поле боя высокообразованный *Doctor theologiae*** тотчас же становится ландскнехтом:

* Яростью тевтонца (*лат.*).

** Доктор богословия (*лат.*).

«Когда я появляюсь, то немедленно ввязываюсь в драку», — неистовая грубость, свирепая одержимость овладевают им, ни с чем не считаясь, он хватается любое попавшее под руку оружие, безразлично, что это — остро отточенный меч диалектики или навозная лопата, полная грязи и проклятий; ни с чем не считаясь, ни в чем не сдерживаясь, он не страшится в случае необходимости применить ложь и клевету, если это поможет ему уничтожить противника: «Ради лучшего, ради церкви не следует бояться доброй крепкой лжи».

Рыцарское поведение этому крестьянину-бойцу совершенно чуждо. Даже к побежденному врагу он не проявит ни благородства, ни жалости, и беззащитного, лежащего на земле противника он будет продолжать лупцевать в слепой ярости. Он ликует, когда постыдно, словно скот, убивают десятки тысяч крестьян и их вожака, Томаса Мюнцера, вместе с ними, и громко похвалится: «Их кровь — на мне», он торжествует, когда гибнут «свинский» Цвингли, и Карлштадт, и все другие, которые ему противились, — никогда этот одержимый ненавистью, горячий человек не удостоит своего врага после его смерти справедливым надгробным словом.

На церковной кафедре — он проповедник с чарующим голосом, в домашнем кругу — ласковый отец семейства, как художник, как писатель — воплощение самой высокой культуры, но, едва начинается распря, Лютер тотчас же превращается в оборотня, в одержимого исполинской яростью, которого не сдерживает никакая тактичность, никакая справедливость. Из-за этой дикой потребности его натуры он всю свою жизнь непрерывно ищет боя, ибо битва для него — не только полная страстности форма жизни, но форма наиболее правильная с моральной точки зрения. «Человек, а особенно христианин, должен быть воином», — горячо говорит он, гордо глядя в зеркало, а в одном из поздних своих писем (1541) этот свой тезис он превозносит до небес, добавив к нему таинственное утверждение: «Известно, что Бог — воитель».

Эразм же, как христианин и гуманист, не знает воинствующего Бога. Ненависть и мстительность кажутся ему, ари-

стократу культуры, возвратом к плебейству, в варварство. Всевозможные свары, склоки, любая дикая перебранка противны ему, Эразму, прирожденно мягкому, обходительному человеку, споры доставляют столько же неудовольствия, сколько они доставили бы удовольствия Лютеру; очень характерно одно его высказывание относительно неприязни к спорам: «Если бы я мог получить славное поместье, но для этого мне следовало бы вести тяжбу, я предпочел бы отказаться от него». Конечно, как человек духа, Эразм любит дискуссии со своими учеными собратями, но любит так, как рыцарь — турнир, благородную игру, где тонкий, умный, ловкий в диалектике человек может на форуме гуманистически воспитанных ученых показать свое закаленное в классическом огне искусство фехтования. Рассыпать горсть блистательных искрострот, сделать несколько ловких ложных выпадов, выбросить из седла скверного латиниста-каноника — подобной духовно-рыцарской игры Эразм отнюдь не чужд, но никогда не поймет он страстности Лютера, с которой тот давит ногами поверженного врага, никогда в своих бесчисленных битвах на бумаге не преступит он границ вежливости, не предастся той «смертоносной» ненависти, с которой Лютер набрасывается на своих противников.

Эразм не рожден борцом уже хотя бы потому, что в конечном счете не имеет непреклонной уверенности в справедливости того, за что борется; у объективных натур всегда мало уверенности. Они сомневаются в своих взглядах и всегда готовы выслушать и обдумать аргументы своих противников. Дать же противнику возможность высказаться означает дать ему простор для действия — хорошо дерется лишь неистовый, ослепленный яростью и поэтому ничего не видящий человек, которого собственная одержимость защищает в битве, словно панцирь.

Для восторженного монаха Лютера каждый его оппонент — посланец сатаны, враг Христа, и долгом его, Лютера, является уничтожение этого богомерзкого человека, тогда как у гуманного Эразма даже самые дикие преувеличения, допу-

скаемые противником, вызовут лишь сочувственное сожаление. Уже Цвингли очень точно заметил различия в характерах обоих противников, сравнив Лютера с Аяксом, а Эразма — с Одиссеем. Аякс-Лютер, человек мужественный и воинственный, рожден для битв и ничего, кроме битв, знать не желающий, Одиссей-Эразм, собственно, лишь случайно оказавшийся на поле боя, счастливо вернулся домой на свою тихую Итаку, на блаженный остров созерцания, — из мира действий в мир духа, где преходящие победы или поражения кажутся несущественными по сравнению с непобедимыми, незыблемыми платоновскими идеями.

Эразм не рожден для битв и знает это. Если он пренебрегает законом своей природы и ввязывается в ссору, то неизменно терпит поражение; ученый, художник, оказавшись лицом к лицу с человеком силы, человеком действия, всегда теряется. Человек духа не должен примыкать к той или иной партии, его сфера — справедливость, а она всегда стоит над любым раздором.

Первый тихий предупреждающий стук Лютера Эразм не услышал. Но вскоре ему придется услышать и запомнить новое имя, удары молотка, которым никому не известный монах-августинец прибывает к двери церкви Виттенберга свои 95 тезисов, услышит вся Германия. «Как если бы сами ангелы небесные были гонцами», с такой быстротой передаются из рук в руки листки, еще влажные от непросохшей типографской краски; пройдет всего одна ночь, и весь немецкий народ рядом с именем Эразма назовет имя Мартина Лютера — вождя свободного христианского богословия.

Гениальным инстинктом этот избранник народа затронул самую чувствительную точку: немецкий народ особенно болезненно ощущал на себе гнет римской курии — отпущение грехов. Ничто нация не переносит так тяжело, как наложенную на нее внешней силой дань. Давно уже вызывало глухое, безмолвное возмущение страны то, что церковь собирала с народа деньги за отпущение грехов (причем профессиональные продавцы индульгенций и другие агенты Рима, спекули-

ровавшие на ужасе верующих перед адскими муками, получали проценты с собранных сумм!), а деньги эти, обменные у немецких крестьян и горожан на печатные билетки отпущения, уплывали из страны в Рим. Лютер своими решительными действиями лишь поджигает запальный шнур. Вот подтверждение тому, что не собственно осуждение злоупотреблений, а форма этого осуждения особенно существенна, имеет всемирно-историческое значение.

И Эразм, и другие гуманисты изливали яд своих насмешек по поводу индугенций, по поводу билетиков, якобы освобождающих от мук ада тех, кто купил их у церкви. Но насмешки и шутки лишь разлагают, разрушают, материала для творческого толчка они не дают никогда. Лютер же, напротив, драматическая личность в истории Германии, из какого-то не поддающегося изучению первобытного инстинкта любой вопрос, любое понятие делает новым для каждого; с первого часа его деятельности проявляется таящийся в нем гениальный дар пластического жеста, способность свободного владения основополагающим словом народного трибуна. Когда он коротко и предельно ясно говорит в своих тезисах: «Папа не может отпускать «грех», или: «Папа не может отменять никакие наказания, кроме тех, что наложил сам», то в совести целой нации это — словно озарение молнией, это громом прогремевшие слова, и собор Св. Петра начинает колебаться под их ударами. Там, где Эразм и его последователи шуточками, издевками, критикой пробуждают внимание у людей духа, не проникая, однако, в область страстей масс, Лютер одним ударом достигает самых глубин чувств народа. За два года он становится символом Германии, трибуном всех антиримских, национальных устремлений и требований, концентрированной силой всего сопротивления.

Такой чуткий и любопытный до всего, что творится вокруг, Эразм должен бы, без сомнения, очень быстро узнать о деятельности Лютера. Собственно, ему следовало бы радоваться, ибо появился союзник в борьбе за свободное богословие. И поначалу мы, действительно, не слышим со стороны Эразма в

адрес Лютера ни слова упрёка. «Все честные любят прямодушные Лютера», «конечно, донныне Лютер был полезен миру» — в таком благожелательном тоне сообщает он своим друзьям-гуманистам о деятельности Лютера. Но вот уже первое сомнение настораживает дальновидного психолога. «Лютер многое и прекрасно и убедительно осуждал, — и далее с уст Эразма слетает легкий вздох, — но как хорошо было бы, если б делал он это более сдержанно». Деликатный, внимательный человек инстинктивно чувствует опасность в слишком пылком темпераменте Лютера; настоятельно предостерегает он его от столь грубых выступлений. «Мне кажется, что умеренностью можно достичь большего, чем неистовством. Именно так Христос покорил мир». Не слова, не тезисы Лютера беспокоят Эразма, а только лишь интонация выступления, акцент демагогии, фанатизм во всем, что Лютер говорит, пишет и делает. По мнению Эразма, богословские проблемы подобного рода лучше обсуждать спокойно в кругу ученых. *Vulgus profanum* следует держать в стороне от академической латыни. Богословие не кричит громко на улицах, чтобы грубо возбуждать сапожников и лавочников по таким тонким вопросам. По мнению гуманистов, любые обсуждения перед толпой и для нее принижают обсуждаемую тему и неизбежно приближают опасность «смуты», восстания, возмущения народа.

Эразм ненавидит агитацию любого рода, любую пропаганду, он уверен, что правда сама пробьет себе дорогу, сил у нее на это достанет. Он полагает, что познание, однажды переданное словами миру, должно далее утверждаться чисто духовными путями: ни одобрение толпы, ни партийная организация не смогут сделать сущность правды более справедливой, более действенной, чем она есть. Человеку духа требуется лишь установить и сформулировать правду и ясность, бороться за них ему не следует. Таким образом, не из зависти, которую противники Эразма вменяют ему в вину, а из честного страха, из чувства духовно-аристократической ответственности, наблюдает недовольный Эразм, как за бурей слов Лютера тотчас

же поднимается ввысь чудовищный столб пыли народного возмущения. «Если бы только он был сдержаннее», — вновь и вновь повторяет Эразм свою жалобу на не умеющего и не желающего владеть собой человека, его гнетет тайное предчувствие, что высокое духовное государство *bonae litterae**, науки и гуманность не могут противостоять урагану такой сокрушительной силы.

Но пока еще Эразм и Лютер не обменялись ни словом, пока еще не говорят ничего друг другу два самых сильных, самых значительных деятеля немецкой Реформации, и это молчание постепенно становится заметным. У Эразма, осторожного человека, нет никаких причин входить в личный контакт с человеком, поступки которого непредсказуемы. Лютер же, чем больше его гонят в бой, становится все более и более скептическим по отношению к скептикам. «Человеческие дела значат для него больше, чем божеские», — пишет он об Эразме и очень точно обозначает этим дистанцию между ними: для Лютера важнейшее на земле — религия, для Эразма же — гуманизм.

* * *

Но в эти годы Лютер уже не один. Не желая этого, может быть, даже и не полностью осознавая, он со своими требованиями, мыслимыми им лишь как духовные, стал представителем многогранных земных интересов, тараном немецкого национального вопроса, важнейшей фигурой в политической шахматной игре между папой, императором и немецкими князьями. Чувствуя, что успехи Лютера могут принести им пользу, эти совершенно чуждые делу религии люди, думающие совсем не евангелически, начинают домогаться его внимания, желая использовать его борьбу для своих корыстных целей.

Постепенно вокруг этого одиночки образуется уже *nucleus*** будущей партии, грядущей религиозной системы.

* Прекрасной литературы (*лат.*).

** Ядро (*лат.*).

Организаторский гений Германии формирует политический, богословский, юридический генеральный штаб вокруг Лютера задолго до того, как соберется большая армия людей протестантства: Меланхтон, Спалатин, князья, аристократы, ученые. С любопытством смотрят послы при дворе курфюрста Саксонии, размышляют, а не использовать ли Лютера, этого крепко скроенного человека, как клин, который можно было бы вбить в могучую империю, чтобы расколоть ее; плетется тонкая сеть из нитей политической интриги и требований, тех требований, которые Лютер первоначально считал чисто моральными. Самый узкий круг его сподвижников ищет союзников, и Меланхтон, прекрасно зная, какое волнение поднимется, едва Лютер опубликует свою работу «К христианскому дворянству немецкой нации», считает совершенно необходимым ради успеха евангелического дела заручиться помощью большого авторитета, Эразма, стоящего вне всяких партий. Лютер, наконец, сдается и 28 марта 1519 года впервые лично обращается к Эразму.

Для писем гуманистов чрезвычайно характерна неумеренная, переходящая в льстивость вежливость и прямо-таки китайское утрированное самоунижение. Поэтому представляется естественным, что Лютер, чтобы не предстать перед своим корреспондентом грубым, неотесанным парнем с немытыми руками, человеком, не понимающим, как следует обращаться к высокоученому мужу, начинает письмо с восхвалений своего адресата: «Найдется ли на свете человек, мышление которого не сформировано Эразмом? Кто не научен им, кто не покорен им?» Поскольку он, Лютер, слышал, что Эразм уже узнал его имя по «ничтожному» замечанию, касающемуся вопроса об индульгенции, дальнейшее молчание между ними двумя может быть понято неправильно. «Признай, следовательно, добрый человек, если это не так уж противоречит твоему желанию, меньшего брата во Христе, хотя ему следовало бы уединиться в каком-нибудь темном углу, как недостойному находиться под тем же небом и под тем же солнцем, что и ты». Ради этой единственной фразы и написано письмо.

Оно содержит все то, что Лютер рассчитывает получить от Эразма: письмо одобрения, хотя бы одно слово, доброжелательное по отношению к его учению (теперь мы бы сказали: слово, которое можно использовать в политических целях). Для Лютера — час трудный, час огромного значения, он объявил войну сильным мира сего, в Риме уже составлена булла об отлучении его от церкви; иметь в этой битве моральную поддержку Эразма было бы чрезвычайно важно и, возможно, это принесло бы победу делу Лютера, ведь Эразм славится своей неподкупностью. Для людей партии одобрение человека, стоящего вне партий, всегда имеет огромное значение.

Но Эразм никогда не возьмет на себя какие-либо обязательства, и уж во всяком случае не поручится вслепую, если не знает, за что, за кого ручается. Ведь открыто согласиться сейчас с Лютером означает согласиться со всеми книгами и сочинениями, которые будут когда-нибудь написаны им, согласиться со всеми его последующими нападками, согласиться с необузданным и невоздержанным человеком, стиль насилия и мятежа которого мучительно, до глубины души задевает гармоничную личность Эразма. И к тому же, что это такое, дело Лютера? Что оно означает нынче, в 1519 году, что будет означать завтра? Принять сторону какой-либо стороны, взять на себя обязательства для человека, подобного Эразму, означает отдать часть своей моральной свободы, встать на защиту требований, важность которых сейчас неясна, а Эразм никогда не поступится своей свободой. Возможно, у старого клирика тонкое обоняние и он чует в сочинениях Лютера легкий еретический запах. А бесполезно себя компрометировать — нет, на это Эразм никогда не способен.

И поэтому в своем ответе он очень тщательно уклоняется от категорических «да» или «нет». Сначала он ловко строит себе редут, разъясняя всем, что произведения Лютера внимательно не читал. Действительно, Эразму, как католическому священнику, запрещено без письменного разрешения вышестоящего начальства читать враждебные церкви книги; искусный корреспондент, Эразм с предельной осторожностью, из

виняясь, объясняет, что пока решительно не готов высказаться по затронутому в письме Лютера вопросу с большей определенностью. Он благодарит «брата во Христе», сообщает о чудовищном возбуждении, которое вызвали книги Лютера в Лувене, и как некрасиво противники нападали на них — этим он, как бы мимоходом, выказывает Лютеру известную симпатию.

Но с каким мастерством этот независимый человек энергично уклоняется от каждого слова, которое обязывало бы его к чему-нибудь! Недвусмысленно подчеркивает он, что «Комментарий к псалмам» Лютера он лишь «перелистал» (*degustavi*), то есть не прочел, и «надеется», что «Комментарий» этот будет очень полезен — вновь описательное пожелание вместо определенного мнения; и чтобы сохранить дистанцию между собой и Лютером, он высмеивает как глупые и злонамеренные слухи, что якобы он, Эразм, помогал Лютеру писать его сочинения. Но затем Эразм ясно и однозначно, без обиняков, заявляет, что не желает, чтобы его втягивали во всякие спорные дела: «По мере моих сил я стараюсь остаться нейтральным (*integrum*), чтобы иметь возможность лучше способствовать расцветающим наукам, и думаю, что, разумно пользуясь сдержанностью, можно достичь большего, чем горячим вмешательством». Он настойчиво советует Лютеру проявлять умеренность и заканчивает письмо благочестивым и ни к чему не обязывающим пожеланием, чтобы Христос каждодневно все больше и больше изливал благодать на Лютера.



Этим самым Эразм занял совершенно определенную позицию. Повторилось то, что произошло при «рейхлиновском споре», когда он заявил: «Я не рейхлианец и не принимаю его сторону, я христианин и признаю лишь христиан, а не рейхлианцев или эразмианцев». Он преисполнен решимости не поступаться этой своей позицией. Эразм — боязливый человек, но страх — провидец, в неожиданном озарении чувств, в

состоянии галлюцинаций он видит грядущее. Более прозорливый, чем другие гуманисты, прославляющие Лютера как спасителя, Эразм распознает в агрессивном, не терпящем никаких возражений характере Лютера признаки «бунта», вместо Реформации он видит Революцию, а по этому опасному пути он ни в коем случае идти не желает. «Если я стану товарищем Лютера в его опасном предприятии, то это приведет лишь к тому, что погибнут два человека вместо одного... Кое-что он сказал поразительно хорошо, от чего-то убедительно предостерегал. И я хотел бы, чтобы он не испортил это хорошее своими непереносимыми ошибками. Но даже если бы он все это написал мягко, кротко, я не желаю ради истины подвергать себя опасности. Не у каждого достанет сил быть мучеником, и у меня есть основания опасаться, что в случае бунта я поступлю, как апостол Петр. Я исполняю указания папы и князей, если эти указания справедливы, но терплю также неправые законы, так как это безопаснее. Думаю, что такому поведению должны следовать все доброжелательные люди, если они не видят надежды на успех при сопротивлении».

Из осторожности, а также из-за неколебимого чувства независимости, Эразм решил ничего ни с кем не делать сообща, и с Лютером тоже. Пусть тот идет своим путем, Эразм пойдет своим: и они заключают соглашение не выступать враждебно друг против друга. Предложение о союзе отклонено, заключен пакт о нейтралитете. Лютер убежден, что вот-вот разыграется трагедия, Эразм надеется — напрасная надежда! — что ему удастся остаться только ее зрителем, наблюдателем, «spectator»: «Если, как об этом свидетельствует мощный подъем дела Лютера, Бог пожелает согласиться со всем этим и, возможно, для нашего развращенного времени изберет такого сурового врачевателя язв, как Лютер, не мне перечить в этом Богу».

Но в политически напряженные времена оставаться вне партии неизмеримо труднее, чем выбрать себе партию, и, к глубокой досаде Эразма, другая, новая партия прилагает все усилия, чтобы привлечь его на свою сторону. Эразм обосновал

реформаторскую критику церкви, Лютер использовал эту критику для нападения на папство, Эразм, как озлобленно говорят католические богословы, «положил яйца, которые Лютер высидел». Желает того Эразм или нет, но до известной степени, как человек, проложивший дорогу, он ответствен за дело Лютера. «Ubi Erasmus innuit, illic Luther irruit»*. В острожно приоткрытые им ворота стремительно вломился другой, и сам Эразм должен признаться в письме к Цвингли: «Всему, что требует Лютер, я учил сам, но не в тех предельно крайних выражениях и не требуя столь горячих, стремительных действий».

Цель одна, но только методы у них разные. Оба поставили один и тот же диагноз: церковь находится в смертельной опасности, подтачиваемая изнутри, она может погибнуть из-за того, что основное внимание стала уделять внешнему, несущественному, обрядности. Но если Эразм предлагает медленное, осторожное лечение, заботливый, постепенный процесс очищения крови введением в нее солей разума и насмешки, то Лютер настаивает на необходимости хирургического вмешательства. Эразму, боящемуся кровопролития, такой опасный для жизни метод лечения кажется отвратительным, он внутренне противится всему насильственному: «Я твердо убежден, что предпочту быть разорванным на куски, чем стану покровительствовать раздору, особенно в делах, касающихся веры. Правда, многие приверженцы Лютера опираются на евангельское изречение: «Не мир пришел Я принести, но меч». И хотя я вижу, что многое в церкви для блага религии следовало бы изменить, мне все же очень мало нравится все, что ведет к призывам мятежа».

Подобно Толстому, Эразм с предостерегающей решительностью отклоняет всякий призыв к насилию, «ценой крови, — говорит он, — добиваться облегчения тяжелых условий жизни нельзя». И если другие гуманисты, менее дальновидные и более оптимистически настроенные, провозглашают деяния

*Где Эразм кивает, там Лютер набрасывается (*лат.*).

Лютера как дело освобождения церкви, как освобождение Германии, он видит в этом раздробление *ecclesia universalis*, превращение единой всемирной церкви в церкви национальные и отторжение Германии от единства стран Запада. Он, скорее, предчувствует сердцем, нежели понимает разумом, что такое отпадение Германии и других немецких земель от папской власти не может осуществиться без кровопролитнейших конфликтов, несущих бесчисленные человеческие жертвы. И поскольку война означает для него регресс, возврат к варварству, к давно прошедшим временам, он прилагает все усилия к тому, чтобы предотвратить эту ужасную катастрофу христианства. Перед Эразмом внезапно встает историческая задача, которая оказывается ему не по плечу, так как внутренне он не готов ее решить: среди всех этих крайне раздраженных людей он — воплощение разума — должен, вооруженный лишь пером, защитить единство Европы, единство церкви, единство гуманизма от распада и уничтожения.



Свою посредническую миссию Эразм начинает, пытаясь успокоить Лютера. Непрерывно через друзей закликает он упрямого, не слушающего советов человека не писать так «подстрекательски», не учить Евангелию таким «неевангелическим» образом. «Я желал бы, чтобы Лютер на некоторое время воздержался от всяких раздоров и вел бы евангелическое дело чисто. Это привело бы к большему успеху». И прежде всего, не все должно обсуждаться открыто, ни в коем случае нельзя требования реформации церкви беспрестанно кричать в уши беспокойной, склонной к спорам толпе. Эразм-дипломат красноречиво восхваляет высокое искусство молчать в нужный час: «Не всегда следует говорить всю правду. И многое зависит от того, как ее возвещать».

Лютер не понимает и никогда не поймет, что ради временной пользы правду иной раз следует попридержать, ненадолго замолчать ее. Для него, приверженца евангелического уче-

ния, священнейшим долгом совести является, чтобы любая самая малость правды, когда-либо узнанная и признанная душой, была немедленно высказана, независимо от того, что за этим последует — война, волнения, землетрясение, потоп. Лютер не желает и никогда не будет учиться искусству молчать. В эти четыре года он овладел новым могучим языком, в его устах — непомерные силы, неисчислимы запасы затаенного недовольства всего народа. Национальное самосознание Германии, жаждущее поднять революцию против всего чужеземного и императорского, ненависть к священникам, к засилью иностранцев, темная социальная, религиозная ненависть, бродящая в крестьянстве с дней «Башмака», все это проснулось, разбуженное ударами молотка, которым Лютер прибывал к дверям церкви в Виттенберге свои тезисы; все сословия: князья, крестьяне, бюргеры чувствуют, что их личные и сословные дела освящены Евангелием. И поскольку весь немецкий народ видит в Лютере человека решимости и действия, то бросает к его ногам все свои до сих пор не сконцентрированные страсти.

Когда национальное и социальное объединяются ненавистью религиозного экстаза и возникают подземные толчки чудовищной силы, потрясающие мир, всегда находится человек, в данном случае — Лютер, в котором бесчисленные единицы предполагают овеществить свою неосознанную волю. У этого человека неимоверно растут силы, и он, которому по первому призыву вся нация отдает свои силы, готов уже считать себя посланцем Вечного; через многие столетия после Христа возвышает он в Германии голос пророка: «Бог приказал мне, чтобы я учил и судил в немецких странах, как апостол и евангелист». Этот восторженный человек считает, что Бог обязал его очистить церковь, вырвать немецкий народ из рук «Антихриста», папы, этого «олицетворения дьявола», освободить словом, а если слово не поможет, то мечом, огнем, ценой крови.

Напрасный труд — проповедовать осторожность, осмотрительность людям, уши которых забиты шумом народного ли-

кования и божеских приказаний. Едва ли Лютер прислушивается к тому, что Эразм пишет и думает, он ему больше не нужен. Железными, безжалостными шагами идет он своим историческим путем.

Но с такой же настойчивостью, что и к Лютеру, Эразм обращается одновременно и к противной стороне, к папе, к епископам, к князьям и владетельным особам, чтобы предостеречь их от опрометчиво жестокого отношения к Лютеру. И здесь он встречается со своим старым, заклятым врагом: слепой фанатизм всегда доволен собой, никогда не желает он признать ни единой, ни самой малой своей ошибки. Так, Эразм пишет, что не слишком ли жестоко наказание изгнанием, ведь Лютер очень честный человек, все говорят, что он ведет образ жизни, достойный христианина. Конечно, у Лютера есть сомнения относительно отпущения грехов, но ведь и многие до него так же высказывались — и не менее смело — по этому вопросу. «Не всякая ошибка — ересь», — напоминает этот вечный посредник и оправдывает своего злейшего противника Лютера, говоря, что тот «многое написал, скорее, в излишней поспешности, чем со злым умыслом». В подобных случаях нельзя все время кричать о костре и обвинять в ереси каждого внушающего подозрение. Не правильнее было бы предупредить Лютера, наставить его, вместо того чтобы поносить и раздражать? «Лучшее средство для замирения было бы, — пишет он кардиналу Кампеджо, — если бы папа потребовал, чтобы каждая сторона открыто высказала свой догмат веры. Этим самым исчезла бы возможность нарочито, злонамеренно исказить точки зрения противников и тон писаний и высказываний не был бы таким до безумия возбужденным, как сейчас». Вновь и вновь настаивает примиритель на созыве вселенского собора, советует провести в кругу ученых, людей духа доверительное обсуждение всех спорных вопросов, которые должны привести к «пониманию, достойному христианского духа».

Но Рим так же мало, как и Виттенберг, прислушивается к предупреждающему голосу. Другие заботы беспокоят сейчас

папу: в эти дни внезапно умирает его любимый Рафаэль Санти, божественный дар Возрождения воскресшему миру. Кто теперь достойным образом завершит украшение покоев Ватикана? Кто закончит строительство так смело задуманного собора Св. Петра? Искусство — великое и вечное — неизмеримо более важно папе из рода Медичи, чем пустяковая свара монахов в каком-то маленьком саксонском провинциальном городке, и именно потому, что у этого князя церкви такой широкий кругозор, он в своем безразличии проглядел этого ничтожного монаха.

И вновь кардиналы, высокомерные и самонадеянные — разве не был только что брошен в огонь Савонарола, разве не были изгнаны еретики из Испании? — требуют изгнания Лютера, изгнания, которое должно стать единственным достойным церкви ответом строптивому монаху. Зачем еще слушать его, к чему считаться с этим крестьянским богословом? Без внимания откладываются в сторону предостерегающие письма Эразма, римская канцелярия поспешно готовит бумаги об изгнании, а легатам дается указание со всей твердостью выступить против немца-возмутителя: упрямство — справа, упрямство — слева и таким вот образом первая, а следовательно, и самая благоприятная возможность к примирению утрачена.

* * *

В те знаменательные дни — почти никто не обратил внимания на очень интересный факт — на короткое мгновение судьба всей немецкой Реформации оказалась в руках Эразма. Император Карл созвал имперский рейхстаг в Вормсе, на котором должен быть вынесен окончательный приговор по делу Лютера, поскольку тот, не поддаваясь ни на какие уговоры, продолжает возбуждать умы своими требованиями реформ. На этот сейм приглашен и владетельный князь земель, где Лютер начал свою реформаторскую деятельность и развил ее, Фридрих Саксонский, тогда еще не явный последователь Лютера, а всего лишь его покровитель. Курфюрст — удивитель-

ный человек, сурово набожный в церковном смысле этого слова, один из самых ревностных в Германии собирателей христианских реликвий и святых мощей — тех предметов, которые Лютер издевательски именуется чертовыми игрушками, — питает к Лютеру известную симпатию, он гордится человеком, который сделал его университет в Виттенберге знаменитым на весь мир. Но все же открыто признать учение Лютера он не решается. Из осторожности, а также потому, что внутренне еще не готов к этому, он воздерживается от личного общения с Лютером, не принимает его, чтобы в случае крайней необходимости можно было бы сказать (точно так, как и Эразм), что он, Фридрих Саксонский, *ad personam** никаких дел с ним не имел. Но из политических соображений и потому, что Лютер, этот крепыш крестьянин, очень и очень сможет пригодиться в шахматной партии против императора, и, наконец, также из гордости своей собственной юрисдикцией он до сих пор защищал Лютера и, несмотря на папскую анафему, сохранил за ним церковную кафедру и университет.

Но и эта осторожная защита теперь оказалась под ударом. Ибо если Лютера, как предполагается, объявят вне закона, то упорство в защите такого человека будет означать открытый мятеж вассала против своего императора. А на такой открытый бунт полупротестантские князья пока еще пойти не могут. Они знают, правда, что в военном отношении их император слаб, обе его армии увязли в войне с Францией и Италией, час, возможно, и благоприятный для того, чтобы умножить свои силы, а евангелическое дело для этого удара — прекрасный повод, обещающий принести большую выгоду.

Но Фридрих, человек благочестивый и честный, все еще глубоко сомневается, действительно ли этот священник и профессор — провозвестник истинного евангелического учения или всего лишь один из бесчисленных мечтателей и сектантов. Фридрих еще не решил, имеет ли он право перед Богом и земным разумом продолжать защиту этого великого гения.

* Лично (*лат.*).

В таком нерешительном настроении Фридрих оказывается проездом в Кёльне, где как раз в это время гостит Эразм. Тотчас же через своего секретаря Спалатина курфюрст приглашает Эразма к себе. Ибо все еще Эразм считается наивысшим моральным авторитетом в светских и богословских вопросах, все еще венчает его заслуженная слава абсолютной беспартийности. От него курфюрст ожидает надежнейшего совета, который развеял бы его сомнения, и он задает ученому прямой, недвусмысленный вопрос — прав Лютер или не прав.

Эразм не любит вопросов, требующих точного ответа — «да» или «нет». На этот же раз решительный ответ чрезвычайно важен. Если он одобрит слова и действия Лютера, Фридрих, получив внутреннюю убежденность в своей правоте, будет и далее поддерживать Лютера и спасет этим немецкую Реформацию. Если же Эразм оставит курфюрста со своими сомнениями на произвол судьбы, то Лютеру придется бежать из страны, дабы спастись от костра. Эти «да» и «нет» заключают в себе судьбу мира, и если бы Эразм был действительно, как утверждает Лютер, завистлив или настроен против своего великого противника, ему представилась бы — сейчас или никогда — прекрасная возможность окончательно свести с ним счеты. «Нет» Эразма, по-видимому, способствовало бы тому, чтобы курфюрст отказался от защиты Лютера. В этот день, 5 ноября 1520 года, судьба немецкой Реформации, история мира, вероятно, полностью находилась в нежных и нерешительных руках Эразма.

Эразм в этот час ведет себя чрезвычайно порядочно. Не мужественно, не возвышенно, не решительно, не как великий человек, но (и это уже очень много) порядочно. На вопрос курфюрста, не видит ли он во взглядах Лютера что-либо неправильное или еретическое, он сначала пытается ответить шуткой (он не желает примыкать к той или другой стороне), что, дескать, основной неправотой Лютера было то, что он ухватил папу за тиару, а монахов — за брюхо. Но затем, понуждаемый к серьезному ответу высказать свои воззрения,

он в двадцати двух тезисах, которые назвал «*Axiomata*»*, излагает честно свое личное мнение об учении Лютера. Некоторые тезисы неодобрительны, например: «Лютер злоупотребляет терпением папы», однако в решающих тезисах он мужественно становится на сторону человека, находящегося под смертельной угрозой: «Из всех университетов лишь два осудили его, но и они не отвергали его учение. Лютер поэтому справедливо требует открытого обсуждения и беспристрастных судей». И еще: «И для папы было бы лучше поручить рассмотрение этого вопроса уважаемым, непредвзятым судьям. Мир жаждет истинного Евангелия, и это соответствует тенденциям эпохи. Нельзя столь ужасным образом препятствовать ей». Окончательный совет Эразма таков: этот тонкий вопрос следует разрешить на открытых заседаниях рейхстага — мягко, путем взаимных уступок прежде, чем возникнут «волнения», которые повергнут мир на столетия в мятежи, чреватые неисчислимыми бедами.

Эти слова (Лютер очень скверно отблагодарит за них Эразма) способствуют тому, что дела Реформации резко меняются к лучшему. Ибо курфюрст, несколько удивленный двойственностью и осторожностью формулировок Эразма, все же понял, что предложил ему Эразм в то ночное собеседование. На следующий день, шестого ноября, Фридрих требует от папского посла: Лютер должен быть публично выслушан справедливыми, свободными и непредубежденными судьями, и до вынесения решения его книги сожжению не подлежат. Таким образом, курфюрст Саксонский выразил протест против непримиримой точки зрения Рима и императора: протестантство немецких князей впервые подняло свой голос. Своей тайной поддержкой Эразм оказал Реформации в решающий час решающую помощь и вместо камней, которые в него будут кидать приверженцы Лютера, заслужил себе памятник.

* «Основные положения» (лат.).



Затем приходит исторический час Вормса. Город переполнен до коньков крыш. В сопровождении легатов, послов, курфюрстов, секретарей, окруженный ландскнехтами и цветом рыцарства, в город въезжает молодой император. Немного дней спустя этой же дорогой в город войдет одинокий монах, подпавший под опалу папы и охраняемый от костра лишь сопроводительным письмом, которое лежит у него в кармане. Но вновь восторженно будут шуметь и ликовать возбужденные улицы. Ибо одного из прибывших в Вормс — императора — вождем Германии избрали князя, второго же — монаха — немецкий народ.

Первый обмен мнениями задерживает принятие рокового решения. Еще живы мысли Эразма, еще тлеет слабая надежда на возможность примирения. Но на второй день Лютер произносит исторические слова: «Я здесь стою, и не могу иначе». Мир разрывается на две части, человек перед лицом императора и всего двора — впервые после Яна Гуса — отказывается повиноваться церкви. Придворные потрясены, они переглядываются, пораженные наглым поведением монаха. Внизу же ландскнехты восторженно приветствуют Лютера, предчувствуют ли они, что его сопротивление предвещает им хорошие дела? Чуют ли они, эти орлы-стервятники, приближающуюся войну?

Где же в этот час находился Эразм? В этот всемирно-исторический момент — в этом трагическая вина Эразма — он остался боязливо сидеть в своей рабочей комнате. Эразм, друг легата Алеандра, с которым в юношеские годы делил стол и постель в Венеции, человек, обладающий авторитетом у императора, товарищ евангелистов по духу, он один мог бы удержать рейхстаг от жестокого решения. Но этот вечно робкий человек боится открытого выступления, и лишь когда получит плохие известия, поймет безвозвратность упущенного мгновения: «Если б я был при этом, то сделал бы все возможное, чтобы трагедия была улажена мирно». Но исторические мгно-

вения не повторяются. Отсутствующий всегда не прав. В этот исторический момент Эразм не отдал всего себя, все свои силы своему убеждению, именно поэтому его, Эразмово, дело погибло. Лютер же с чрезвычайным мужеством несокрушимой силы своей воли к победе отдал себя всего — поэтому его воля стала деянием.

БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

Эразм полагает, — и многие разделяют его мнение, — что рейхстаг в Вормсе, анафема Рима и изгнание, объявленное императором, сделали свое дело, предпринятая Лютером попытка реформации церкви потерпела крушение. Теперь останется лишь открытый мятеж против государства и церкви, новое восстание альбигойцев, вальденсов или гуситов, которое будет, вероятно, так же как и те, жестоко подавлено, а Эразм как раз хотел избежать разрешения этого вопроса средствами войны. Он мечтал реформировать евангелическое учение церкви и с радостью отдал бы свои силы этому делу. «Если бы Лютер остался в лоне католической церкви, я принял бы его сторону», — открыто говорил он.

Но произошло непоправимое, этот упрямец навсегда оторван от Рима. «С трагедией Лютера покончено, ах, если бы ее никогда не было», — сетует разочарованный миротворец. Погашены искры евангелического учения, закатилась звезда духовного света, «actum est de stellula lucis evangelicae». Теперь дела Христа будут вершить палачи и пушки, он же, Эразм, решил для себя окончательно — отныне остается в стороне от любого возможного конфликта, для великих испытаний он чувствует себя слишком слабым.

Он смиренно признает, что нет у него той предельной веры в Бога, нет уверенности в себе, чтобы принять столь ответственное, чреватое непредсказуемыми последствиями решение. Пусть Цвингли и Буцер — люди высокого духа, Эразм — всего лишь человек, он не в состоянии внимать голосу небес.

Пятидесятилетний человек, давно уже понявший, что вопросы веры непознаваемы, не чувствует себя призванным участвовать в этих спорах; он желает тихо и смиренно служить лишь там, где царит вечная ясность, — наукам, искусству. Он бежит от богословия, бежит от государственной политики, бежит от церковных распрей, скрывается от свар и перебранок в своей рабочей комнате, в благородной тишине книг; здесь он может еще принести миру пользу.

Итак, назад, в келью, старик, и занавесь поплотнее окна от времени! Оставь борьбу другим, тем, кто чувствует зов Божий в своей груди, ты же следуй своей благородной задаче — защищай правду в чистой сфере искусства и наук: «Если испорченными нравам римского духовенства и требуются чрезвычайные средства для их излечения, то не мне, не подобным мне брать на себя дело врачевания. Я скорее предпочту терпеть существующее положение вещей, чем стану возбуждать новые волнения, которые могут увести в противоположную сторону от цели. Умышленно я никогда не был и не буду бунтарем, никогда не буду принимать участие в мятежах».

От церковных споров Эразм ушел в искусство, в науку, в свои произведения. Ему внушают отвращение брань и споры противоборствующих богословских партий. «*Con sulo quieti meae*»*, только покоя жаждет он, святой праздности художника. Но мир поклялся не оставлять его в покое. Существуют времена, когда нейтралитет именуется государственным преступлением, в такие мгновения мир требует ясности от каждого — «за» или «против», лютеранство или папство. В Лувене, в котором он живет, придерживаться нейтральной позиции трудно, и в то время, как реформаторская Германия порицает его за то, что он оказался слишком индифферентным другом Лютера, факультет городского университета, строго придерживающийся католицизма, ненавидит его и именует разносчиком «лютеровской заразы». Студенты, во все времена — ударный отряд любой крайности, организуют против

* Оберегаю покой свой (лат.).

Эразма шумные шествия, опрокидывают его кафедру, ученые-богословы университета также энергично выступают против него, и папскому легату Алеандру приходится использовать весь свой авторитет, чтобы предотвратить публичные оскорбления старого друга.

Мужественным Эразм не был никогда, и в борьбе он предпочитает бегство. Подобно тому как раньше он бежал от заразы, теперь бежит он от ненависти из города, в котором жил и работал много лет. Поспешно собирает старый кочевник свои немногочисленные пожитки и отправляется в странствия: «Если я не покину Германию, то немцы — а сейчас они все словно одержимые — разорвут меня на куски; надо позаботиться о своей безопасности». Всегда убежденно сторонящийся любых партий, он не желает быть вовлеченным в жестокую борьбу.



Эразм по горло сыт католиками-фанатиками и протестантами-фанатиками. Он считает, что судьбой ему предопределен только нейтральный город. И он ищет убежище в извечном приюте любой независимости — в Швейцарии. На долгие годы он выберет Базель; расположенный в центре Европы, тихий и спокойный, с чистыми улицами, с уравновешенными, бесстрастными жителями, не подвластный никаким воинственным князьям, демократически свободный, он обещает независимому ученому тишину, которую тот так страстно ищет.

В университете — высокоученые друзья, хорошо знающие и глубоко уважающие его, здесь имеются фамули*, услужливые помощники в его работе, здесь живут художники, в том числе Гольбейн, и конечно же Фробен, печатник и прекрасный мастер своего дела, с которым его уже многие годы связывает совместная, доставляющая огромную радость, работа.

Почитатели позаботились о благоустроенном доме для не-

* Фамуль — искаженное от фамулус (лат.) — слуга, прислужник. Здесь: ассистент или студент, находящийся в распоряжении профессора для различных поручений. — *Примеч. пер.*

го, впервые вечному бродяге кажется, что этот свободный, удобный для жизни город — его родина. Здесь может он жить в соответствии с потребностями своего духа, а следовательно — в подлинно своем мире. Он чувствует себя хорошо лишь там, где может писать в тиши свои книги, лишь там, где их напечатают — хорошо, со знанием дела.

Базель — важный этап в жизни Эразма. Здесь вечный путник живет дольше, чем где бы то ни было, полных восемь лет. Теперь нельзя представить себе Эразма без Базеля, а Базель — без Эразма. Отныне ученого и город соединяют славные, крепкие узы. До сих пор стоит здесь охраняемый городом его дом, здесь берегут некоторые картины Гольбейна, удержавшие для вечности его облик, здесь Эразм написал многие свои произведения, и прежде всего «Разговоры запросто», блестящие латинские диалоги, книгу, первоначально задуманную как учебник для юного Фробена и ставшую великолепным образцом для многих поколений книг латинской прозы. Здесь завершает он объемный труд «Отцы церкви», отсюда посылает он в мир письма; здесь, в своей рабочей крепости, в стороне от волнений мира создает он произведение за произведением, и когда духовный мир Европы наблюдает за своим вождем, то обращает свой взор в сторону старого королевского города на Рейне.

Благодаря Эразму Базель в те годы становится резиденцией европейского духа. Вокруг великого ученого собираются гуманисты, его ученики, среди них — Эколампадий, Ренанус и Амербах; ни одно значительное лицо, ни один князь или ученый, ни один друг изящных искусств не преминет нанести визит в книгопечатню Фробена и в дом на улице Zum Lufft, гуманисты Франции, Германии, Италии совершают сюда паломничество, чтобы увидеть глубоко почитаемого ими человека за работой. Похоже, что здесь, в тиши Базеля искусства и науки нашли свое последнее пристанище, тогда как в Виттенберге, в Цюрихе, во всех университетах Германии, Швейцарии разгорается богословская борьба.



Но не заблуждайся, старый человек, время твое уже прошло, поле твое — опустошено. В мире разгорелась борьба не на жизнь, а на смерть, дух стал партийным, люди собираются во враждебные друг другу толпы: они не желают более терпеть независимых, свободных, стоящих в стороне. Во всем мире бушует война, решается вопрос — быть или не быть обновлению Евангелия, теперь бесполезно зашторивать окна, прятаться за книгами; теперь, когда Лютер разодрал христианский мир на две части, уже не спрячешь голову в песок, смешна детская попытка бежать в работу, книги Эразма никто читать не будет. Теперь и справа и слева гремят ужасные слова «Кто не с нами, тот против нас». Если вселенная раскалывается надвое — это несчастье каждого человека; нет, Эразм, напрасно бежал ты, огнем и дымом выкурят тебя и из этой твоей цитадели. Время желает, чтобы ты высказался, мир этот хочет знать, где стоит Эразм, его духовный вождь, с Лютером или против него, с папой или против него.



И начинается потрясающая трагедия. Мир решил уничтожить уставшего бороться человека. «Какое несчастье, — жалуются пятидесятипятилетний человек, — что эта ужасная буря захватила меня врасплох как раз тогда, когда я после проделанной мной большой работы рассчитывал на так необходимый мне отдых. Почему не дано мне быть просто зрителем этой трагедии, к участию в которой я совершенно не гожусь, зачем мне принимать в ней активное участие, когда такое множество людей страстно рвется на сцену?»

Но в подобные трагические времена слава обязывает и вызывает на себя проклятья. Эразм очень хорошо виден любопытствующим всего мира, слово его слишком весомо, чтобы люди той и другой партии могли пренебречь его авторитетом; всеми средствами вожди обеих партий пытаются перетянуть Эразма на свою сторону. Они соблазняют его деньгами и лестью,

они высмеивают отсутствие у него мужества и все это делают для того, чтобы выкурить его из норы «сверхумного» молчания, они запугивают его ложными сообщениями о том, что Рим запретил читать его книги и предал их сожжению, они подделывают его письма, они извращают его собственные слова.

В подобные времена истинная цена независимого человека очевидна. И император, и короли, и три папы, а с другой стороны — Лютер, Меланхтон, Цвингли — все они домогаются одобрительного слова Эразма. Стоит ему лишь примкнуть к какой-либо партии, и его осыпят всеми мыслимыми земными благами, он знает, что сможет «стоять в первом ряду деятелей Реформации», если только ясно, недвусмысленно признает ее, но знает также и другое: «Я могу получить епископство, если письменно выступлю против Лютера». Но как раз эту безоговорочность и односторонность мировоззрения порядочность, честность Эразма принять не хочет, страшится ее.

Католическую церковь искренне, от всего сердца защищать он не может, так как первый в этом споре порицал злоупотребления в ней, требовал ее обновления, полностью же принять учение евангелистов он также не желает, поскольку они не несут в его, Эразма, мир идею Христа-Миротворца, а превратились в диких фанатиков: «Они непрерывно кричат: Евангелие, Евангелие! А им следовало бы быть его толкователями. Прежде Евангелие диких смягчало, разбойников делало полезными людьми, спорщиков — миролюбивыми, ругателей — благословляющими. Эти же, словно одержимые, разжигают бунты и говорят заслуженным людям только скверное. Я вижу в них новых лицемеров, новых тиранов, ни искры евангелического духа в них нет». Нет, Эразм не желает примкнуть ни к одной из этих партий, ни к папе, ни к Лютеру. Лишь мир, мир, мир, лишь обособленность и тишина, лишь работа на благо всего человечества! «*Con sulo quieti meae*».



Но слава Эразма очень велика, каждая партия со страстным нетерпением ожидает, что он признает именно ее правоту. Со всех концов света множатся призывы, ему следует выступить, он должен сказать решительное слово — за себя и за других. Среди гуманистов глубоко укоренилась вера в него, как в благородную и неподкупную личность; об этом, в частности, свидетельствует потрясающий по своей силе призыв, вырвавшийся из глубин души великого немецкого гения. Альбрехт Дюрер познакомился с Эразмом во время своей поездки в Голландию; несколько месяцев спустя, когда распространились слухи, что Лютер, вождь немецкого религиозного движения, умер, Дюрер видит в Эразме единственного человека, который достоин продолжить святое дело, и в потрясении души призывает Эразма в своем дневнике: «О, Эразм Роттердамский, чью сторону ты примешь? Слушай, рыцарь Христа, выезжай вперед, встань рядом с Господом Христом, защити правду, добудь мученический венец! Ты уже старый человек, я сам от тебя слышал, что ты считаешь, будто работать тебе осталось всего пару лет. Отдай их Евангелию и праведной христианской вере в Бога, и ты убедишься, что римский престол, эти адовы врата, как говорил Христос, никогда тебя не осилит... О, Эразм, держись, чтобы я славил тебя перед Богом, как Давида, ведь ты можешь свершить деяния и поистине повалишь Голиафа».



Так думает Дюрер и с ним вместе — вся Германия. Но и католическая церковь, находящаяся в бедственном положении, тоже рассчитывает на Эразма, и наместник Христа на земле, папа, в письме, написанном им лично, едва ли не дословно повторяет призывы Дюрера: «Выступи вперед, выступи вперед ради поддержания дела Божьего! Употреби свои блестящие дарования во славу Божью! Думай о том, что с Божьей помощью именно тебе надлежит вернуть на праведную стезю большую часть тех, кто был совращен Лютером,

сохранить в твердой вере еще не отпавших, предостеречь близких к отпадению!» Наместник Христа и его епископы, владыки мира — Генрих VIII Английский, Карл V, Франциск I, Фердинанд Австрийский, герцог Бургундский, а с другой стороны — вожди Реформации, все они, прося и торопя принять благоприятное для своей партии решение, стоят перед Эразмом, как в свое время стояли гомеровские вожди перед палаткой разозленного Ахилла, умоляя его оставить праздность и вернуться на поле боя.

Сцена великолепно — редко в истории случалось, чтобы сильные мира сего боролись за слово человека духа. Редко верховная власть духа имела такие безусловные преимущества перед земной. Но и здесь в сущности Эразма обнаруживается тайный дефект. Он не говорит домогающимся его благосклонности ясно, героически: «Я не желаю!» Ему не решиться открыто и отчетливо сказать слово «нет». В силу присущей ему внутренней независимости он не желает быть ни с одной партией. Но он одновременно и не хочет портить отношения ни с одной партией; и таким образом, его вообще-то правильное поведение выглядит весьма недостойно. Он не решается оказать открытое сопротивление всем этим могущественным людям, своим покровителям, поклонникам, всем, кто оказывает ему поддержку.

Нет, он не дает им ясного ответа, он выискивает всяческие отговорки, уклоняется, лавирует, тянет, вольтижирует — здесь следует осмотрительно выбирать самые точные слова, чтобы суметь передать искусство его поведения, — он обещает и воздерживается выполнять, пишет обязывающие слова, не связывая себя ими, льстит и притворствуется, задержку ответа объясняет то болезнью, то усталостью, то некомпетентностью. Папе он с утрированной скромностью отвечает: как? Он, ничтожная личность, он, образование которого более чем скромное, должен взять на себя чудовищный труд — истребление ереси? Короля Англии обнадеживает из месяца в месяц, из года в год. Меланхтона и Цвингли успокаивает льстивыми письмами.

Однако за всей этой малосимпатичной возней таится решительная воля: «Если кто-либо считает Эразма скверным христианином, не желает ценить его, пусть думает о нем все, что ему угодно. Другим, чем я есть, я быть не могу. Если Христос оделил кого-нибудь большими духовными силами и если этот человек к тому же еще и более уверен в себе, чем я, пусть он и отдаст свои силы во славу Христа. В соответствии с моим темпераментом, с моим характером я предпочитаю идти более спокойной, более безопасной дорогой. Я не могу иначе, я ненавижу раздор, люблю мир и взаимопонимание, так как понял, насколько безнадежно решать иные человеческие вопросы. Я знаю, что неизмеримо легче поднять смуту, чем ее успокоить. И не во всех вопросах доверяя своему разуму, я предпочитаю встать в сторону от этих вопросов, уклониться от однозначного высказывания своего мнения по любому из них. Я хотел бы, чтобы все мы боролись за победу христианского дела и мирного Евангелия, но не оружием насилия, а лишь силой правды и разума, чтобы мы понимали друг друга и чтити и достоинство священнослужителей, и свободу народа, — то есть поступали так, как этого хотел наш Господь Иисус. Эразм в меру своих сил поддержит всех, кто будет стремиться к этому. Но никто, желающий втянуть меня в свару, не станет мне ни вождем, ни товарищем».

Решимость Эразма непреклонна: годы и годы император, короли, папы и реформаторы, Лютер, Меланхтон, Дюрер — весь огромный воинственный мир — будут ждать и ждать, и никому из них не удастся выжать из него слова согласия. Его губы вежливо улыбаются каждому, но для последнего решающего слова они упрямо сжаты.

* * *

Но есть один, не желающий ждать, горячий, нетерпеливый воин духа, непреклонно решивший разрубить этот гордиев узел: Ульрих фон Гуттен. Этот «рыцарь против смерти и черта», этот архангел Михаил немецкой Реформации, с верой и

любовью смотрит на Эразма, словно на отца; сокровенной мечтой страстно преданного гуманизму юноши было «стать Алквинадом этого Сократа»; всю свою жизнь он доверчиво передал в руки Эразма: «*In summa**, если боги защитят меня, а ты сохранишь меня для славы Германии, я буду отказываться от всего, лишь бы остаться с тобой». Эразм, со своей стороны, всегда очень чувствительный к знакам преклонения, сердечно поддерживает этого «неповторимого любимца муз». Он привязан к цветущему молодому человеку, бросившему в небо, словно железного жаворонка, великолепное ликующее «*O saeculum, o litterae! Juvat vivere***», это блаженное, исполненное доверия «Какая радость жить!».

Эразм искренне надеется воспитать из юного странствующего студента большого ученого. Но очень скоро политика захватывает молодого Гуттена, спертый воздух библиотеки становится ему душен, груды книг гуманизма перестают удовлетворять его широкие запросы. Молодой рыцарь и сын рыцаря вновь надевает свои доспехи, он не желает более воевать только пером, он хочет поднять меч на папу и папство. И, увенчанный лаврами латинского поэта, он бросает этот чужой, выученный им язык затем, чтобы немецкими словами призвать Время к оружию за дело немецкого Евангелия:

Писал я раньше на латыни,
Не всякий мог меня понять...
Услышь мой крик, отчизна-мать.

Но Германия изгоняет бесстрашного человека, в Риме хотят предать его сожжению как еретика. Выброшенный из своего дома, обедневший и преждевременно — в тридцать пять лет — состарившийся, до костей изъеденный язвами французской болезни, покрытый гнойными нарывами, из последних сил тащится он в Базель. Ведь там живет его великий друг, «светоч Германии», его учитель, его покровитель — Эразм,

* В общем (лат.).

** О век, о науки! Какая радость жить! (лат.)

предвещавший ему, Гуттену, славу; дружба Эразма сопровождала его в изгнании, рекомендательные письма — поддерживали; ему, Эразму, обязан он своей творческой силой, увы, почти полностью утраченной, растроченной, разрушенной. И словно потерпевший кораблекрушение человек, который хватается за доску, за бревно, чтобы удержаться на темной волне, этот демонический изгнанник перед самой своей смертью спешит к Эразму.

Но Эразм — никогда жалкая боязливость его души не обнажалась так полно, как в этом потрясающем испытании — не впускает отверженного в свой дом. Уже давно неприятен, неугоден ему этот вечный задира и спорщик; еще живя в Лувене, когда Гуттен настоятельно просил его объявить священникам открытую войну, он писал отклоняюще: «Моя задача — способствовать делу образования». Он не желает иметь никаких дел с этим фанатиком, который писательский труд отдал на потребу политике, с этим «Пиладом Лютера», во всяком случае, открыто и никак не в этом городе, где за ним наблюдают сотни соглядатаев. Эразм боится этого жалкого, затравленного, загнанного до полусмерти человека, боится его по трем причинам: во-первых, как носителя заразы — ничего Эразм не боится так сильно, как опасности заразиться — ведь Гуттен может попросить пристанища в его доме, во-вторых, потому, что этот «egens et omnibus rebus destitutus», этот нищий, лишенный всякого имущества, будет ему надолго в тягость, и в-третьих — потому, что этот его бывший ученик, оскорбляющий папу и подстрекающий немцев к войне против священников, компрометирует беспартийность Эразма, так выставляемую им напоказ. И Эразм отклоняет посещение Гуттена, но, как обычно, не открыто, решительно: «Я не желаю», а под надуманным предлогом, что, дескать, не может принять нуждающегося в тепле Гуттена в отапливаемых комнатах, так как из-за болей в почках и коллик ему, Эразму, просто непереносим любой, даже самый малый печной угар — очевидная или, вернее, жалкая отговорка.

И вот на виду всего города разыгрывается постыдный спек-

такль. По Базелю, тогда еще маленькому городку, в котором, наверное, не более сотни улиц и всего две-три площади, где каждый знает каждого, по улицам, по трактирам неделями бродит, хромая, достойный жалости больной Ульрих фон Гуттен, большой писатель, трагический ратник Лютера и немецкой Реформации, не один раз в день проходя мимо дома, где живет его бывший друг, первый его покровитель, человек, побудивший его бороться за святое дело Евангелия. Иной раз Гуттен останавливается на рыночной площади и гневно смотрит на запертую дверь, на окна, наглухо закрытые в страхе человеком, который некогда восторженно провозгласил его новым Лукианом, величайшим сатириком своего времени. За окнами, бессердечно закрытыми ставнями, сидит, словно улитка в своей раковине, Эразм, сухонький человечек, ждет и не может дождаться, когда же этот нарушитель покоя, этот назойливый бродяга наконец-то покинет Базель. Негласно к обеим сторонам обращаются доброжелатели, — все ждет Гуттен, что дверь откроется и наконец-то старый друг протянет ему руку помощи. Но Эразм молчит, обороняясь нечистой совестью, осторожно прячется в своем доме.

Наконец Гуттен уезжает — с отравленной кровью, с ядом в сердце. Он направляется в Цюрих, к Цвингли, который бесстрашно примет его. Пройдет несколько месяцев, и рыцарь Реформации найдет, наконец, себе вечный покой на острове Уфенау. Но прежде, чем пасть, этот Черный рыцарь без страха и упрека в последний раз поднимет сломленный меч, чтобы его обломком смертельно ранить сверхосторожного Эразма, отрекшегося от своего ученика. Насыщенным гневом трактатом — «*Expostulatio cum Erasmo*»* — нападает он на своего бывшего друга, на своего вождя. Он обвиняет его перед всем светом в ненасытном честолюбии, в том, что тот завидует успехам ученых (язвительный намек на споры Эразма с Лютером), вменяет ему в вину презренную непорядочность в отношениях с людьми, стыдит его образ мыслей и кричит всей

* «Требования к Эразму» (лат.).

немецкой земле в ожесточении, что Эразм бросил на произвол судьбы национальное дело, дело Лютера, постыдно предал его, хотя внутренне и принадлежит ему.

Со смертного одра бросает Гуттен в лицо Эразму пламенные слова, предлагает Эразму, что, если у того недостает мужества защищать дело Евангелия, пусть открыто нападает на это дело, ведь в рядах евангелистов уже давно никто не считает его своим: «Препояшься, время пришло для действия, и задача достойна твоего преклонного возраста. Соберись с силами и направь их на ратный подвиг. Ты найдешь своего противника во всеоружии. Партия лютеран, которых ты хотел смести с лица земли, ждет битвы и не уклонится от нее». Прекрасно понимая тайную раздвоенность Эразма и то, что он к этой битве не готов, так как совесть его принимает многое в учении Лютера, Гуттен пишет: «Одна часть тебя будет направлена против нас, а вернее, против твоих собственных более ранних произведений, ты вынужден будешь свою совесть направить против себя самого и своим красноречием новым бороться с красноречием прежним. Твои собственные произведения будут бороться друг против друга».

Эразм сразу же чувствует силу удара. До сих пор на него тязкали лишь мелкие людишки. Время от времени разозленные писаки ставили ему в вину небольшие погрешности, допущенные им в переводах, неточные цитаты, нечеткие формулировки; но и эти неопасные укусы доставляли неприятные минуты очень чувствительному человеку. Здесь же впервые на него нападает настоящий противник, бросает ему вызов перед всей Германией. Перепуганный, он пытается было задержать печатание рукописи Гуттена, которая пока распространяется в списках, но так как ему это не удастся, то гневно хватается за перо и отвечает своим «*Spongia adversus asperjines Hutteni*»*, чтобы губкой стереть несправедливые нападки Гуттена. Он борется не на жизнь, а на смерть, и не страшится даже в этой жестокой битве посылать противнику

* «Губка против Гуттена» (лат.).

удары ниже пояса, зная, что такие удары смертельно ранят Гуттена.

В четырехстах двадцати четырех параграфах отвергает он каждую нападку своего противника и, наконец, в заключении — Эразм всегда остается великим, когда дело касается самого главного для него, самого основного — независимости, — очень ясно и точно формулирует свое кредо: «В бесчисленных книгах, в бесчисленных письмах, в бесчисленных диспутах и спорах я непреклонно заявлял, что не желаю присоединиться ни к какой партии. Если Гуттен злится на меня за то, что я, как ему хотелось бы, не поддерживаю Лютера, то уже три года назад я во всеулышание заявил, что совершенно чужд этой партии и хочу остаться ей чужим; и не только я один остаюсь вне этой партии, но и побуждаю к этому также всех моих друзей. На этой позиции останусь непоколебимо. Под партией я понимаю полное, безоговорочное признание всего, что Лютер написал, пишет или когда-либо напишет; такого рода полное саморастворение иногда происходит с превосходными людьми, я же публично всем моим друзьям заявил, что не являюсь ортодоксальным лютеранином, пусть они, если хотят, принимают меня именно таким, каков я есть. Я люблю свободу и никогда не смогу служить одной партии».



Сильный ответный удар в Гуттена не попал. Когда гневное послание Эразма выйдет из книгопечатни, вечный воитель Гуттен уже будет покоиться вечным сном, и Цюрихское озеро мягким своим шумом будет баюкать его одинокий гроб. Смерть победит Гуттена прежде, чем его достигнет смертельный удар Эразма. Но умирающему Гуттену, великому побежденному, удалось все же одержать последнюю победу: он добился того, что не удалось ни императору, ни королям, ни папе, ни клиру, обладающим чудовищной властью; ядом насмешек выкурил он Эразма из лисьей норы. Публично вызванный, обвиненный перед всем светом в робости и нерешитель-

ности, Эразм должен объяснить, что он не страшится столкновения с самым сильным из его противников, с Лютером; он должен раскрыть карты, он должен показать, что по принципиальным соображениям не может примкнуть к какой бы то ни было партии.

С тяжелым сердцем приступает Эразм к делу, старый человек, которому ничего более не нужно, кроме покоя. Он нисколько не заблуждается в том, что дело Лютера давно уже переродилось в насилие, которое пером не перебороть. Он знает, ему никого не переубедить, он ничего не сможет изменить, ничего — улучшить. Без удовольствия, безрадостно вступает он в навязанный ему бой. Но назад уже пути нет. И передавая, наконец, в 1524 году печатнику сочинение против Лютера, он с облегчением вздохнет: «*Alea jacta est!*» — «Жребий брошен!»

ВЕЛИКИЙ СПОР

Литературная сплетня — не особая примета какого-либо определенного времени, она присуща всем временам; и в шестнадцатом столетии, когда люди духа, казалось бы, не связанные друг с другом, рассеяны по странам Запада, ничто не остается тайной в этом вечно любопытствующем кружке. Эразм не взял еще свое перо, еще неизвестно, примет ли он бой и когда именно, а в Виттенберге уже знают, что предполагается в Базеле. Лютер давно учитывает возможность этого нападения. «Истина более сильна, чем красноречие, — уже в 1522 году пишет он своему другу, — вера более велика, чем ученость. Я не выступлю против Эразма первым, а если он нападет на меня, то еще подумаю, тотчас ли ему отвечать. Однако, мне кажется, он поступит неразумно, если направит на меня все силы своего красноречия... Но если он на это отважится, то поймет, что Христос не боится ни врат преисподней, ни сил воздуха. Я выступлю против

знаменитого Эразма, невзирая на его авторитет, имя и положение».

Это письмо, безусловно рассчитанное на то, чтобы Эразм о нем узнал, содержит угрозу или даже более того — предостережение. За словами чувствуется, что Лютер, находясь в тяжелом положении, предпочел бы избежать письменного спора, и с обеих сторон выступают друзья-посредники. Как Меланхтон, так и Цвингли пытаются ради евангелического дела еще раз установить мир между Базелем и Виттенбергом, и, похоже, их усилия предвещают успех. Но тут Лютер совершенно неожиданно решает сам обратиться к Эразму.

* * *

Но как изменился тон за те несколько лет, когда Лютер написал первое письмо Эразму — с учтивым и свертучтивым смирением, с низкими поклонами школяра — к «великому человеку»? Понимание всемирно-исторического положения, которое он, Лютер, сейчас занимает, понимание ответственности за свою миссию перед Германией придают его словам теперь пафос звучания бронзы. Что значит теперь для Лютера какой-то враждебно относящийся к нему ученый, если он готов к битве против папы, против императора, против всех сил мира? Он сыт по горло тайными спорами. Он не желает более никакой неопределенности, никаких безразличных частных переговоров. «Неопределенные, двусмысленные, нерешительные слова и речи следует выметать железной метлой, гнать их, жестоко трепать, не давать им покоя», — Лютеру нужна ясность. В последний раз протягивает он Эразму руку, но на этот раз — руку в железной перчатке.

Первые слова звучат еще учтиво и сдержанно: «Я достаточно долго молчал, дорогой господин Эразм, и ждал, что Вы, как более достойный и более старший, чем я, прервете это молчание, но после длительного ожидания любовь побудила меня возобновить с Вами переписку. Во-первых, я ничего не могу сказать Вам по поводу того, что Вы сторонитесь нашего дела и

что такое Ваше поведение нравится папистам». Но затем полное презрения внутреннее негодование мощно прорывается, и он пишет своему нерешительному адресату: «Но видя, что Бог не дал Вам стойкости, мужества и страсти достаточно, чтобы Вы одобрили битву против чудовищности и уверенно перешли на нашу сторону, мы и не хотим требовать от Вас того, что выше Ваших сил... Но в то же время я предпочел бы, чтобы Вы хотя бы не вмешивались в наше дело, ибо хотя Вы в своем положении и со своим красноречием могли бы достичь очень многого, но поскольку Ваше сердце не с нами, было бы лучше, если бы Вы служили Богу лишь тем талантом, который он Вам отпустил».

Он сожалеет о слабости Эразма, о его сдержанности, но в заключение, однако, с его пера срываются решающие слова — важность дела, за которое борется Лютер, огромна, Эразму же это дело безразлично, и ему, Лютеру, не страшно, если Эразм теперь нападет на него и, еще того меньше, если оскорбит или в чем-нибудь уязвит. Властно, почти как приказ, звучат слова, которыми Лютер предлагает Эразму «воздержаться от всяких колкостей, от риторических и иносказательных речей», и лучше всего «остаться только зрителем нашей трагедии», не присоединяться к противникам Лютера. Эразм не должен нападать на него в своих сочинениях, так же как он, Лютер, со своей стороны ничего против него предпринимать не будет: «Довольно терзать друг друга ссорами и раздорами, хватит изматывать друг друга».



Такого заносчивого письма Эразм, владыка гуманистического мирового государства, до сих пор ни от кого не получал. И несмотря на свой миролюбивый характер, старик не желает, чтобы его так отчитывал тот человек, который некогда униженно просил защиты, не желает оставить это письмо без внимания как безразличную болтовню. «Я больше заботился о Евангелии, — гордо отвечает он, — чем многие, которые

нынче Евангелием чванятся. Я вижу, что эти новшества воспитали многих испорченных и бунтарски настроенных людей, я вижу, что развитие прекрасных наук пошло вспять, что дружеские связи рвутся, я опасаюсь, что произойдет кровавый мятеж. Однако ничто не побудит меня отдать Евангелие человеческим страстям». Он напоминает, как благодарили бы, как одобрили бы его сильные мира, если б он выразил готовность выступить против Лютера. И возможно, делу Евангелия пошло бы больше на пользу, если бы он поступил так против безрассудных, которые очень уж яро защищают Евангелие, вот из-за них и нельзя «остаться только зрителем этой трагедии». Непреклонность Лютера закалила мягкую, колеблющуюся волю Эразма. «Ах, если бы, действительно, все это не кончилось трагедией», — в мрачном предчувствии вздыхает он. И затем берет перо, свое единственное оружие.

* * *

Эразм прекрасно понимает, против какого могучего противника выступает, в глубине своей души он знает, вероятно, даже о боевом превосходстве Лютера, который, обладая экстаической силой, до сих пор побеждал любого своего врага. Но подлинная сила Эразма заключается в том, что он — редчайший случай у творческих натур — знает предел своих возможностей. Он знает, турнир духа развернется на глазах всего образованного мира, все богословы и гуманисты Европы со страстным нетерпением ждут этого зрелища: следовательно, надо выбрать неприступную позицию, и Эразм мастерски находит ее, не обрушиваясь опрометчиво на Лютера и все евангелическое учение, а высмотрев поистине соколиным глазом слабые или, по крайней мере, отдельные уязвимые точки лютеровских догм; именно их подвергает он нападкам.

Он выбирает, казалось бы, второстепенный, в действительности же основной вопрос в еще нетвердо стоящем на земле, колеблющемся невидимом строении богословского учения Лютера. Даже сам вождь движения, сам Лютер, вынужден будет «похвалить и оценить» Эразма: «Ты единственный из

моих противников понял ядро вопроса; единственный человек, который распознал нерв всего дела и крепко ухватился за него». В этом единоборстве Эразм при рассмотрении богословского вопроса очень продуманно предпочел твердой позиции глубокой убежденности позицию скользкой диалектики, позицию, с которой человеку с железными кулаками его не сбить и где, при необходимости, его защитят авторитеты величайших философов всех времен.

Проблема, выбранная Эразмом для диспута, вечная проблема любого богословия: вопрос о свободе или несвободе воли человека. В соответствии с лютеровским августински строгим учением о предопределении, человек — вечный пленник Бога. Ни йоты свободной воли ему не дано, любое, что бы он ни решил совершить, Богу известно давно и им, Богом, предписано; никакими добрыми делами, никакими *bona opera**, никаким раскаянием нельзя, следовательно, ни возвысить свою волю, ни освободиться от конфликта предопределенной вины, одна лишь милость Божья решает, как вести ей человека по нужному пути. В переводе на современные воззрения это означает: мы находимся полностью во власти наследственности, констелляции**, никто, следовательно, не имеет своей воли, Бог все решает за нас, как сказал Гёте:

...не в нашей воле
Самим определять свое воление;
Суровый долг дарован смертной доле,
Утихнет сердца вольное волнение
И произвол смирится поневоле***.

С такой точкой зрения Лютера Эразм, гуманист, видящий в земном разуме святую, Богом данную силу, согласиться не может. Он, неколебимо верящий в то, что не только отдельный индивидуум, но все человечество через благородно сформированную волю может прийти к более высокой нравственности,

* Благими деяниями (лат.).

** Констелляция — здесь: стечение обстоятельств. — *Примеч. пер.*

*** Перевод С. Аверинцева.

должен со всей страстностью до глубины души противиться этому застывшему, чуть ли не магометанскому фанатизму.

Но Эразм был бы не Эразмом, если б какому-либо мнению противника сказал резкое и грубое «нет»; и здесь, как и всегда, он отклоняет лишь экстремизм, лишь резкое и абсолютное в лютеровском детерминистском понимании вопроса. Лично его, говорит он осторожно в своей манере, «не радует твердое убеждение», лично он, скорее, сомневается и в подобных случаях сомнения предпочитает следовать Священному писанию. В Священном же писании эти идеи излагаются в неясном виде и не всегда обоснованны, поэтому он полагает, что совершенно лишать волю человека свободы так решительно, как это делает Лютер, даже опасно. Он, конечно, не называет точку зрения Лютера совершенно ложной, но считает необходимым защититься против «*pop nihil*»*, против утверждения, что все совершаемые человеком добрые дела никакого значения для Бога не имеют и поэтому совершенно бесполезны. Если действительно, как утверждает Лютер, все зависит единственно от милости Бога, какой был бы смысл людям делать вообще что-нибудь хорошее? Следовательно, необходимо, — как вечный посредник предлагает Эразм, — хотя бы оставить человеку иллюзию свободной воли, чтобы он не впал в отчаяние и чтобы Бог не представлялся ему, человеку, ужасным и несправедливым. «Я присоединяюсь к мнению тех, кто сохраняет за волей человека некоторые свободы, другую же, большую часть этих свобод предоставляет милости Божьей, нам не должно пытаться уклониться от Сциллы гордыни, чтобы попасть в Харибду фатализма».

Видно, что даже в споре миролюбивый Эразм пытается идти навстречу своему противнику. Он предостерегает, что и в этом случае не следует переоценивать важность подобных дискуссий и надо самого себя спросить, «правильно ли ради иных парадоксальных утверждений приводить весь мир в со-

* Кое-чего (лат.).

стояние крайнего возбуждения». И действительно, уступи ему Лютер лишь в пустяках, сделай он ему только шаг навстречу, и этот спор закончился бы миром и согласием. Но Эразм ожидает гибкого понимания от самого негибкого человека своего столетия, от человека, который в вопросах веры и убеждений даже на костре не уступит ни йоты, ни буквы, кто, как прирожденный, яростный фанатик, предпочтет погибнуть, чем согласится что-либо изменить в самом ничтожном, в самом пустом параграфе своего учения.



Лютер не сразу отвечает Эразму, хотя и приходит в бешенство от этого письма. «Другими книгами и наставлениями я подтирал з....., не читая их, это же сочинение Эразма я все же дочитал до конца, хотя и не раз пытался выбросить его», — говорит он в обычном для него грубом тоне; но в этом, 1524 году ему предстоит решение существенно более важных и трудных задач, чем ведение богословского диспута. Вечная судьба каждого революционера не минет и его, и, пожелав старые порядки заменить новыми, он освободил от оков хаотические силы и, человек чрезвычайно крайних взглядов, оказался в опасности быть обогнанным людьми со взглядами еще более крайними.

Лютер требовал свободы слова и вероисповедания, те же, еще более крайние, и для себя требуют свободы слова и вероисповедания; пророки из Цвикау, Карлштадт, Мюнцер, все эти «экзальтированные», как он их называет, готовятся во имя Евангелия к восстанию против императора и империи; слова Лютера, направленные против аристократов и князей, берутся сплотившимися крестьянскими массами на вооружение, становятся их пиками и боевыми палицами, но если Лютер желал только духовной, религиозной революции, угнетенное крестьянство требует социальной, откровенно коммунистической. С Лютером в этом году повторяется духовная трагедия Эразма, слова которого вызвали к жизни такие события мировой значимости, каких тот и не желал.

Теперь крестьяне, объединенные союзом «Башмак», иконоборцы и люд, грабящий и разрушающий монастыри, поносят и хулят Лютера, поносившего некогда Эразма, ругают его «новым папским софистом, архиязычником и отпетым негодяем», «другом антихриста», «надменным куском мяса из Виттенберга». Повторяется судьба Эразма: то, что Лютер понимал как духовное, как божественное, широкие массы и их вожди, еще более фанатичные, чем он, поняли, как он сам говорит, в «плотском», в грубо агитационном смысле. Возникла характерная для всех революций ситуация, когда следующая волна перехлестывает предыдущую; и если Эразма и его друзей можно уподобить жирондистам, то Лютера — Робеспьеру, Томаса Мюнцера и его последователей — маратистам.

Лютер, который был бесспорным вождем, вдруг встал перед необходимостью драться сразу на два фронта — против слишком вялых и против непомерно диких, он стал ответствен за социальную революцию, за этот ужаснейший, кровавый мятеж, каких Германия сотни лет не переживала. Ибо толпы крестьян несут его имя в своих сердцах, ведь его протест и успех этого протеста против политики императора и государства дали крестьянам мужество подняться против своих господ и поработителей. «Теперь мы пожинаем плоды твоего духа, — может с полным правом сказать ему Эразм. — Ты не признаешь восставших, но они признают тебя... Тебе не опровергнуть всеобщей уверенности, что причиной всех этих бед являются твои книги, и, главным образом, те, которые были изданы на немецком языке».

И вот Лютеру предстоит принять ужасное решение: должен ли он, вышедший из народа, живущий в народе и натравливающий народ на князей, отречься сейчас от крестьянства, которое во имя Евангелия в его, Лютера, понимании борется за свободу, или изменить князьям? Впервые — положение его стало вдруг очень похожим на положение Эразма — он пытается вести себя по-эразмовски. Он уговаривает князей быть снисходительными, он уговаривает крестьян «не прикрывать-

ся именем Христа, свершая немирные, нехристианские, выводящие из терпения поступки».

Но для человека с таким развитым чувством собственного достоинства, каким был Лютер, непереносимо то, что грубый народ больше не прислушивается к нему, а предпочитает идти с теми, кто обещает больше, с Томасом Мюнцером, с коммунистическими богословами. Наконец он должен решиться, это не поддающееся успокоению возмущение компрометирует его дело, и он начинает понимать, что развертывающаяся внутреннемецкая социальная война мешает его собственной войне против папства. «Если бы эти бунтовщики-убийцы со своими крестьянами не строили мне козни, дела с папством обстояли бы совсем по-другому».

А когда вопрос касается его религиозного учения, его предназначения, Лютер нерешительности не проявляет. Сам революционер, он должен выступить против немецкой крестьянской революции, а выступая против кого-либо, он действует как экстремист, использует любые методы, ведущие к непредсказуемо ужасным последствиям. Из всех произведений Лютера, памфлет против крестьян, написанный во время наибольшей для его учения опасности, — самый жестокий, самый ужасный. «Кто погибнет на стороне князя, — пишет он, — будет блаженным мучеником, кто погибнет на другой стороне, попадет к черту в лапы. Поэтому всякий, кто может, должен их (крестьян) бить, душировать, колотить тайно и явно и помнить, что не может быть ничего ядовитее, вреднее, ничего более дьявольского, чем мятежник».

Безжалостный, он раз и навсегда принимает сторону противников народа: «Ослу требуются удары, а толпа желает, чтобы ею управляли силой». Ни слова милосердия, пощады не находит этот неистовый воитель, с чудовищной лютостью натравливает он победоносное рыцарство против поверженных противников, никакого сочувствия не проявляет этот гениальный, но в своей ярости необузданный человек к бесчисленным жертвам, тысячи которых, доверившись его имени и его делу, были втянуты в восстание против рыцарских замков. И с сата-

нинским мужеством он признает потом, когда поля Виттенберга будут залиты кровью крестьян: «Я, Мартин Лютер, перебил всех восставших крестьян, ибо я приказал всех их убить: вся их кровь — на мне».

Эта яростная, эта ужасная сила ненависти стекает с пера Лютера, когда он направляет его против Эразма. Богословские выступления против себя он, вероятно, простил бы Эразму, но тот восторженный прием, который этот призыв Эразма к сдержанности вызвал во всем мире гуманистов, доводит злобу Лютера до бешенства. Лютер не выносит мысли, что враги затаили теперь свою победную песнь: «Скажи мне, где нынче великий Маккавей, где он, тот, что стоял насмерть за свое учение?» И теперь, когда он освободился от трудностей, вызванных крестьянскими волнениями, когда эти волнения на него не давят, он не только ответить хочет Эразму, нет, он хочет совершенно уничтожить его. За столом, в кругу друзей, излагает он свой ужасный замысел: «Поэтому, во имя Бога, требую от вас, вы должны быть Эразму врагами и беречься его книг. Я хочу написать против него, пусть это погубит его, убьет: сатану я погублю своим пером, — едва ли не с гордостью добавляет: — Как я убил Мюнцера, кровь которого — на мне».

Но в своем гневе и, может быть, как раз потому, что кровь кипит в его жилах, Лютер показывает себя великим художником, гением немецкого языка. Он знает, против какого великого противника выступает, и это сознание ответственности сделало и само его произведение великим; не маленьким, воинственным памфлетом, а книгой основательной, обширной, блистательной своей образностью, бурлящей страстностью, книгой, которая наряду с богословской эрудицией, пожалуй, более отчетливо, чем большинство его произведений, характеризует его творческий, его человеческий гений.

«De serve arbitrio»* — трактат о рабстве воли относится к

* «О рабской воле» (лат.).

числу наиболее сильных полемических сочинений этого воинственного человека, и спор с Эразмом перерастает в дискуссию более значительную, чем те, что происходили в Германии когда-либо между двумя гигантами мысли, людьми, совершенно противоположными по характеру и темпераменту; каким ни чуждым нашим современным чувствам представляется этот спор, величие противников сделало этот поединок духовным событием в мировой литературе.



Но прежде, чем Лютер ударит, прежде, чем укрепит свой шлем и подготовит свой дротик к убийственному броску, он на одно мгновение, только на одно мгновение поднимет свой меч для учтвого и короткого приветствия: «Я высоко чту и уважаю тебя более, чем кого бы то ни было». Он честно подтверждает, что Эразм обращался с ним «мягко и во всех отношениях кротко», он признает, что Эразм, единственный из всех его противников, «распознал сокровенную сущность этого вопроса». Но затем, после выжатого из себя приветствия, Лютер решительно сжимает кулак, становится грубым и тем самым оказывается в своей стихии. Он отвечает Эразму вообще лишь потому, что «Павел приказал затыкать глотку бесполезным болтунам». И тут сыплются удар за ударом. С великолепной, истинно лютеровской образностью бьет он Эразма за то, что тот хочет «все время ходить по яйцам, не желая ни одного раздавить, ходить между стаканами, не касаясь их». Он издевается: «Эразм не желает ничего утверждать, а вот относительно нас выносит категорические суждения; это значит, бежать от маленького дождичка и угодить в пруд».

Одним рывком обнажает он разницу между лицемерной рассудительностью Эразма и своей собственной однозначной прямоотой и безоговорочностью. Тот полагает, что «земные удобства и спокойствие — превыше веры», он же, Лютер, не отступится от своей веры, «даже если весь мир будет вовлечен в раздоры, потонет, окажется в руинах». А так как Эразм

в своих сочинениях пишет об осторожности и указывает на некоторые темные места в Библии, которые ни один человек на земле не может с полной определенностью и ответственностью объяснить, Лютер кричит ему в ответ: «Без уверенности не существует христианства. Христианин должен быть уверен в своем учении и в своем деле, в противном случае — он не христианин». Кто колеблется, кто равнодушен или сомневается в вопросах веры, тому ни в коем случае не следует соваться в богословие. «Святой дух не сомневается, — гремит Лютер, — и вселил он в наши сердца не какие-нибудь иллюзии, а крепкую убежденность». С упорством настаивает Лютер на своей точке зрения, что человек хорош лишь тогда, когда несет в себе Бога, и плох, когда черт сидит на нем верхом, собственная же воля остается иллюзорной и бессильной перед неизбежным и неизменным Божьим провидением.

Постепенно из частного вопроса, из частного повода выявляются значительно более серьезные противоречия; у этих двух обновителей религии очень разные темпераменты, и эти темпераменты сформировали совершенно отличающиеся друг от друга представления о сущности Христа и его миссии. Для гуманиста Эразма Христос является провозвестником всего человеческого, божественного, отдавшим свою кровь, чтобы искоренить на земле любые кровопролития и всяческие раздоры; Лютер же, ратник Божий, опирает на слова Христа: «Не мир пришел Я принести, но меч». Кто хочет быть христианином, говорит Эразм, должен в самой своей сущности быть миролюбивым и осмотрительным; кто является христианином, возражает непреклонный Лютер, никогда не должен уступать, если дело касается слова Божьего, даже если весь мир из-за этого погибнет.

Слова, несколько лет назад написанные Лютером Спалатину, это смысл его жизни: «Я, конечно, не думаю, что дело завершится без смуты, возмущений и сопротивлений. Из меча не сделаешь перо, а из войны — мир. Слово Божье — война, возмущение, гибель, яд: словно медведь на пороге и львица в лесу, наступает оно на сынов Ефрема». Поэтому он в ожесто-

чении отклоняет призыв Эразма к объединению и взаимопониманию: «Оставь свои жалобы и крики, против этой лихорадки лекарств нет. Эта война — война Божья, Бог разбудил ее и не кончит до тех пор, пока не поразит всех врагов Его слова». Пустая болтовня Эразма — не что иное, как недостаточность истинной христианской веры, поэтому ему, Эразму, следует остаться в стороне со своими достойными уважения работами на латинском и греческом языках, а если говорить на славном немецком — со всеми своими гуманистическими цацками и не ковыряться с «изящными словесами» в проблемах, которые решить может только верующий человек, основываясь на внутренней, Богом ему внушенной убежденности. Эразм, диктаторски приказывает Лютер, должен раз и навсегда отказаться от вмешательства в эту ставшую всемирно-исторической религиозную войну: «Ибо ты нашему делу предостаточно мешал, а этого Бог никому не разрешал и тебе не разрешил». Он же, Лютер, чувствует зов Бога и поэтому совесть его крепка: «Кто и что я такое, а также почему я вступил за дух и дело в эту борьбу, это известно Богу, который знает все, и то, что это дело началось и проводится не по моей, а по его, Божьей свободной воле».

Так написано письмо, разрывающее отношения между немецкой Реформацией и гуманистами. Конечно, Эразмово и лютеровское, разум и страсть, религия человечности и фанатическая вера, сверхнациональное и национальное, многосторонность и однобокость, гибкость и закоренелость, как огонь и вода, не могут быть связаны друг с другом. Где бы на земле ни встретились эти стихии, они в гневе шипят друг на друга.

* * *

Лютер никогда не простит Эразму, что тот открыто противостоял ему. Этот воинственный до испуганности человек не терпит иного завершения спора, кроме полного, безусловного уничтожения противника. Если Эразм удовлетворяется однократным ответом, для его характера весьма резким сочи-

нением «Hyperaspistes»*, а затем вновь возвращается к своим занятиям, в Лютере ненависть продолжает кипеть. Ни одного повода не упустит он, чтобы осыпать чудовищными оскорблениями человека, решившегося высказаться против хотя бы одного пункта его учения, и эта, как Эразм жалуется, «убийственная» ненависть не страшится никакой клеветы. «Кто раздавит Эразма, раздавит клопа, а тот, мертвый, воняет еще больше, чем живой». Лютер называет его «самым страшным врагом Христа» и, когда ему однажды показывают портрет Эразма, предостерегает друзей: «Это веселый и коварный человек, высмеявший Бога и религию», человек, который «дни и ночи измышляет нерешительные слова, но пусть никто не подумает, что он сказал много, на самом деле он не сказал ничего». Гневно говорит он друзьям: «Вот покажу вам Евангелие и беру всех в свидетели, что считаю Эразма самым большим врагом Христа, каких за тысячу лет не было». И наконец, договаривается до кощунственных слов: «Когда я молюсь: да святится имя Твое, — то каждый раз проклиная Эразма и всех еретиков, хулящих и бесчестявших Бога».

Но Лютер, яростный человек, которому во время борьбы кровь застилает глаза, не всегда только боец, понуждаемый действительностью, он должен иногда быть и дипломатом. Вероятно, друзья обратили его внимание на то, как неумно он поступает, нападая с дикими оскорблениями и ругательствами на этого старого и глубоко чтимого всей Европой человека. И Лютер откладывает меч в сторону и берет оливковую ветвь; через год после своего ужасного обличительного памфлета он направляет «величайшему другу Бога» почти шутовское письмо, в котором просит извинения за то, что «так крепко схватился с ним».

Но Эразм резко отклоняет примирение. «Я не обладаю таким детским характером, — отвечает он жестко, — чтобы после того, как был оскорблен последними нападками, успокоиться, услышав твои шуточки и льстивые заверения... К

* «Заступник» (греч.).

чему были все эти издевательские замечания и низкая ложь, зачем было утверждать, что я атеист, скептик в вопросах веры, хулиатель Бога и все прочее... То, что произошло между нами, — несущественно, по крайней мере, для меня, поскольку я уже стою на краю могилы; но меня, как и всех порядочных людей, возмущает то, что твое надменное, подстрекательское, бесстыдное поведение окажется причиной гибели мира... и что развязанная по твоей воле война не закончится добром, по-хорошему, а именно за это я так боролся... Наш спор — дело личное, мне же больно думать о неисчислимых бедах, которые принесет война, и всем этим мы обязаны только одному тебе, твоему несдержанному поведению, не желающему прислушиваться к словам тех, кто дает тебе хорошие советы... От всей души желаю тебе приобрести лучший образ мыслей, чем тот, который у тебя и которым ты так восхищен. Ты, со своей стороны, можешь пожелать мне все, что тебе угодно, за исключением твоего образа мыслей, надеюсь, что Господь его у тебя изменит».

С несвойственной ему гордостью Эразм отталкивает протянутую руку, ту руку, которая превращает его мир в руины, он не желает более ни приветствовать, ни знать человека, разрушившего мир в церкви и ввергшего Германию и весь мир в хаос духа.



Но мир уже потрясен волнениями, и никому не дано уйти от них, Эразму также. Беспокойная жизнь предопределена ему судьбой, и каждый раз, когда он грезит об умиротворении, мир этому умиротворенно противится. И Базель, в который Эразм бежал, считая его городом нейтральным, уже охвачен лихорадкой Реформации. Толпы вламываются в церкви, срывают со стен и алтарей картины, сбивают резьбу, все это будет сожжено Мюнцером на трех огромных кострах. В ужасе видит Эразм, как неистовствует его вечный враг — фанатизм, как огнем и мечом крушит и рушит все вокруг его дома. Лишь слабое утешение дано Эразму: «Кровь не была пролита, пусть

никогда не прольется». Но Базель стал партийным городом, более оставаться в его стенах Эразм не может, ведь он ненавидит любые партии.

И чтобы можно было спокойно работать, шестидесятилетний ученый переселяется в тихий австрийский городок Фрейбург, граждане которого встречают его торжественным шествием. Город предоставляет в его распоряжение дворец. Но он отклоняет это предложение, предпочитая дворцу небольшой дом возле мужского монастыря, чтобы работать там в тиши и умереть в мире. Из Лувена Эразм вынужден был бежать — город был слишком католическим, из Базеля — потому, что город этот стал слишком протестантским, как символично это для человека середины, человека, не желающего принять чью-либо сторону и поэтому ненавистного каждой из сторон.

Свободный, независимый дух, не связывающий себя ни с какими догмами, не желающий примкнуть ни к какой партии, нигде на земле не имеет крова.

КОНЕЦ

Усталый, с подорванным здоровьем, сидит шестидесятилетний Эразм во Фрейбурге за своими книгами, бежав — в который раз уже! — от натиска времени, от волнений мира. Все более и более тает маленькое, худое тельце, все более и более морщинистая, с тысячью складочек кожа нежного лица уподобляется пергаменту, испещренному мистическими знаками и рунами, и тот, кто некогда страстно верил в возрождение мира через дух, через Разум, в обновление человечества через чистую человечность, постепенно становится ожесточенным, насмешливым, язвительным человеком. Капризный, как все старые холостяки, он постоянно жалуется на упадок наук, на злобствования своих врагов, на дороговизну и мошеннические проделки банков, на скверное, кислое вино, все больше чувствует этот великий разочарованный человек себя

чужим в мире, который совершенно не желает мира и в котором каждодневно предательски попирают разум страстями, справедливость — насилем.

Сердце его уже давно стало вялым, но не руки, не поразительно ясный и светлый ум, подобно светильнику, распространяющий постоянный и безупречный свет на все, попадающее в поле зрения этого неподкупного духа. Работа — единственная, самая старая, самая лучшая подруга, — сидит, верная ему, возле него. Эразм работает над переводом трудов отцов церкви, завершает «Разговоры запросто», создает необозримый ряд эстетических и моралистических произведений, каждый день пишет тридцать—сорок писем.

Он творит с сознанием человека, верящего в то, что разум имеет право, более того, обязан сказать вечное слово даже неблагоприятному миру. Но в глубине души он уже давно знает: в подобные мгновения безумия, охватившего весь мир, бессмысленно взывать к людям о человечности, он знает, его великая, возвышенная идея гуманизма побеждена. Все, чего он желал, о чем мечтал, — взаимопонимание и доброжелательное согласие вместо опустошительных войн, — разбилось об упрямство золотов, его духовному государству, государству Разума, его государству Платона на земле, его республике ученых нет места на поле боя возбужденных партий. Неистово воюют религия с религией, Рим с Цюрихом, с Виттенбергом, Германия, Франция, Испания — друг с другом и всюду — в военных кампаниях, непрерывно перемещающихся из одной точки Европы в другую, словно непогода, управляемая волей циклонов и антициклонов — имя Христа является боевым кличем, лозунгом боевых действий.

Ну, не смешно ли продолжать писать трактаты, пытаться увещевать князей, не бессмысленно ли еще быть защитником евангелического учения, если те, кто захватил право управлять миром именем Бога, кто считает себя провозвестниками Божьими, используют слово Евангелия как секиру: «У всех у них на губах эти пять слов: Евангелие, завет, вера, Христос и дух, — и все же я вижу, что многие из них

ведут себя как одержимые бесом». Нет, не имеет более никакого смысла в подобные времена, во времена крайнего политического возбуждения, пытаться быть посредником, третейским судьей; покончено с возвышенной мечтой о нравственно объединенном европейском гуманистическом мировом государстве, а он, тот, кто создал его в своих мечтах для человечества, он сам, Эразм, старый, усталый человек, — бесполезен, ибо не услышан. Мир проходит мимо него: мир не нуждается более в этом старике.



Но прежде, чем свеча угаснет, она обязательно еще раз растерянно вспыхнет. Прежде чем идея будет подавлена непогодой времени, она еще раз попытается развернуть свои последние силы. Вот так, еще раз, ненадолго, но великолепно вспыхивает свет мыслей Эразма, идея примирения и посредничества.

Карл V, владыка Старого и Нового Света, принял очень серьезное решение. Император теперь уже более не колеблющийся мальчик времен рейхстага в Вормсе. Разочарования и опыт способствовали его созреванию и великая победа, только что одержанная им над Францией, дают ему, наконец, необходимую уверенность и авторитет. Вернувшись в Германию, он решил навести порядок в делах веры, а если понадобится, то силой восстановить разрушенное Лютером единство церкви; но прежде, чем применить силу, он хочет попытаться добиться соглашения между старой церковью и новыми идеями, добиться соглашения в духе Эразма, «созвать собор мудрых и непредубежденных людей» с тем, чтобы они внимательно выслушали все аргументы обеих сторон и нашли пути к созданию единой и обновленной христианской церкви. Для этой цели император Карл V созывает имперский рейхстаг в Аугсбурге.

Этот аугсбургский рейхстаг — одно из мгновений истории Германии, важность которых переоценить невозможно, он заслуживает того, чтобы быть названным звездным часом че-

ловечества, одним из тех исторических событий, которые определяют ход истории на столетия вперед. Внешне, возможно, не такой драматичный, как рейхстаг в Вормсе, этот рейхстаг в Аугсбурге едва ли уступит тому в своей исторической значимости. На нем и на предыдущем рейхстаге обсуждались вопросы духовного единения Запада.

Первоначально борьба в Аугсбурге разворачивается в соответствии с идеями, неоднократно высказываемыми Эразмом, — дискуссии противников показывают, что обе стороны готовы искать компромиссные решения. Обе силы, старая и новая церкви, находятся в состоянии кризиса и поэтому готовы к обоюдным уступкам. Католическая церковь потеряла много от того надменного высокомерия, с которым она сначала взирала на незначительного немецкого еретика, ведь дело Реформации, словно лесной пожар, охватило весь север Европы и непрерывно продолжает распространяться и далее. Уже Голландия, Швеция, Швейцария, Дания и, прежде всего, Англия предались новой вере; князья и другие владетельные особы, как правило, всегда находящиеся в материальном затруднении, вдруг обнаруживают, что конфискация именем Евангелия огромных богатств церкви может очень и очень поправить их финансовые дела; старые средства устрашения Рима — анафема и изгнание бесов (*Exortismus*) — с тех пор как некий монах-августинец публично безнаказанно сжег папскую буллу об отлучении, уже не имеют такой силы, как во времена Каноссы. Наиболее сильно, однако, чувство собственного достоинства папства пострадало с тех пор, как высокие представители папской власти вынуждены были наблюдать из своего замка Святого Ангела Рим, подвергшийся разграблению. «*Sacco di Roma*»* лишило курию отваги и заносчивости на многие десятки лет.

Но и для Лютера и его последователей после бурных и героических дней Вормса пришли тяжелые времена. И в евангелическом лагере дела с «любезным единомышленником церкви»

*Разграбление Рима (*ит.*).

обстоят очень неважно. Ибо задолго до того, как Лютеру удалось укрепить свою церковь, сделать ее сплоченной организацией, уже возникли другие церкви, церковь Цвингли и Карлштадта, английская церковь Генриха VIII, секты «экзальтированных» и «перекрещенцев». И Лютер, сам неистовый фанатик веры, понял, что то, что он желал лишь в духовном плане, многие видят в плотском обличье и желают эксплуатировать для личной пользы; лучше всего о трагедии Лютера поздних лет сказал Густав Фрейтаг: «Тот, кому судьбой предопределено создать нечто новое, неизбежно одновременно разрушает часть своей жизни. И чем порядочнее он, чем более правдив, тем более глубокой почувствует он в себе ту рану, которую нанес порядку мира. Это — тайные мучительные страдания и боль каждой исторической мысли». Впервые в этом жестоком и обычно непримиримом человеке появляется стремление к взаимопониманию; его союзники, немецкие князья, обычно неукоснительно подчинявшиеся его воле, теперь проявляют осторожность, так как понимают, что у Карла V, их господина и императора, руки свободны и он хорошо вооружен. Пожалуй, думают иные из них, благоразумнее будет не очень-то перечить этому владыке Европы, ведь упрямясь можно потерять и владения и голову.

Впервые, следовательно, с октября 1518 года нет той ужасной неуступчивости, которая в вопросах веры Германии существовала до рейхстага, да и останется после него, а ослабление фанатизма сулит чрезвычайные возможности. Ибо, если бы удалось старую церковь и новое учение привести к соглашению в духе Эразма, то Германия, весь мир объединились бы духовно, не было бы ни столетней религиозной войны, не было бы войн гражданских, войн между государствами со всеми их ужасными последствиями — разрушением огромных культурных и материальных ценностей. Германии было бы обеспечено моральное главенство в мире, не было бы позорных преследований за религиозные убеждения. Не было бы костров для еретиков, индекса книг и инквизиция не ставила бы свои жестокие клейма на свободе духа, многострадальная Ев-

ропа была бы спасена от неисчислимых бед. Лишь маленькая пядь разделяет теперь противников. Если они проявят добрую волю, если сумеют, идя навстречу друг другу, преодолеть это пространство, то разум, то дело гуманизма, то Эразм победят.

Благоприятный исход переговоров обещает и то, что руководит сейчас протестантским делом не Лютер, известный своим упрямством, а более дипломатичный Меланхтон. Этот замечательно мягкий и благородный человек, которого протестантская церковь считает самым верным помощником Лютера, удивительным образом на всю свою жизнь остался глубоким почитателем своего великого противника, неколебимым учеником Эразма. Его рассудительной природе гуманистические и гуманные воззрения евангелического учения в духе Эразма даже ближе, чем жесткие и суровые формы Лютера; но, чрезвычайно податливый, он находится под влиянием властного характера и силы Лютера. В Виттенберге, находясь рядом с Лютером, Меланхтон полностью подчинен и предан Лютеру, он безропотно, со всем энтузиазмом своего ясного, организаторски мыслящего духа служит его воле. Здесь же, в Аугсбурге, впервые не находясь под личным гипнозом вождя, Меланхтон может проявить другую сторону своей натуры, может выказать свою преданность идеям Эразма. В эти заседания аугсбургского рейхстага Меланхтон, свободный от личного влияния Лютера, ищет пути к примирению и со своими уступками заходит так далеко, что едва ли не возвращается в старую церковь.

«Аугсбургское вероисповедание», разработанное им, («Лютер не может ступать так мягко и тихо», — скажет потом сам Лютер), несмотря на отчетливые формулировки, не содержит ничего, что могло бы спровоцировать католическую церковь; и в процессе обсуждения важные спорные вопросы осторожно обходятся молчанием. Так, учение о предопределении Божьим, о котором Эразм и Лютер так жестоко спорили, на рейхстаге не обсуждалось, так же, как такие деликатные вопросы, как божеские права папы, *character indelebilis**, необлагае-

* Непреходящий отпечаток (лат.).

мость священничества, семизначье святыни. С обеих сторон произносятся поразительно примирительные слова. Меланхтон пишет: «Мы уважаем римских пап и все церковное благочестие, если только римский папа не оттолкнет нас», с другой стороны, представитель Ватикана полуофициально заявляет, что вопросы целибата* и причастия можно будет в последующем обсуждать.

И, несмотря на все трудности, участники рейхстага уже питают слабую надежду на то, что переговоры приведут к согласию. И если бы здесь присутствовал человек высокого морального авторитета, человек глубокой страстной воли к примирению, если бы он всю силу своего красноречия, все искусство своей логики, мастерство формулировок отдал общему делу, возможно, ему и удалось бы привести к единению протестантов и католиков, с которыми он так тесно связан, с одними — симпатией, с другими — верностью, и тогда европейская мысль была бы спасена.

Этот один-единственный человек — Эразм, и император Карл V, владыка Старого и Нового Света, настоятельно приглашает его на рейхстаг, до рейхстага же просит у него совета и содействия. Но трагична судьба Эразма: дальновидный, как никто другой, он чувствует всемирно-историческое мгновение, однако из-за слабости, из-за неизлечимого малодушия никогда не отважится на решительный шаг. Здесь повторяется его историческая вина. Эразм не был на рейхстаге Вормса, не будет он и на рейхстаге Аугсбурга, никогда не сможет он решиться лично выступить за свои убеждения, за свои идеи.

Конечно, он пишет письма, много писем обеим партиям, очень умные, очень человеческие, очень убедительные письма, он пытается побудить своих друзей в обоих лагерях к максимальному сближению, он просит об этом и Меланхтона, и посланника папы. Но в напряженные, роковые часы напи-

*Целибат (*лат.*) — обязательное безбрачие католического духовенства. — *Примеч. пер.*

санное слово никогда не имеет силы живого слова, слова, омытого горячими токами крови, а тут еще Лютер, находящийся в Кобурге, пишет Меланхтону одно послание за другим, требуя, чтобы тот стал более тверд и неуступчив.

И вот участники рейхстага все больше и больше начинают расходиться во взглядах, препятствия к нахождению компромисса становятся непреодолимыми, так как рядом нет гениального посредника: в бесчисленных дискуссиях мысль взаимопонимания раздавливается, словно плодородное семя между мельничными жерновами. Великий собор Аугсбурга окончательно разрывает на две части христианство, которое хотел воссоединить; вместо умиротворения в мире воцаряется раздор. Лютер делает для себя жестокий вывод: «Если из-за этого будет война, пусть будет, мы много предлагали и делали». А Эразм трагически восклицает: «Если ты увидишь, что мир ввергнут в ужасный хаос, вспомни, что Эразм его предсказал».



С этого дня, поскольку его, «эразмианская» идея потерпела последнее, решительное поражение, старый человек в своем заваленном книгами домике во Фрейбурге становится бесполезным существом, бледной тенью своей былой славы. И он прекрасно чувствует, что человеку смиренной уступчивости нигде нет места «в это шумное или, точнее сказать, безрассудное время». Обезумевший мир отвергает все попытки Эразма успокоить его, к чему Эразму жить в этом чужом ему мире? Эразм устал от этой когда-то так любимой им жизни; с его губ срывается потрясающий молящий призыв: «Возьмет ли меня, наконец, Бог к себе из этого безумного мира!» Ибо где еще может человек обрести себе приют, если фанатизм возбуждает сердца людей?

Построенное им благородное государство гуманизма штурмуется врагами и наполовину уже завоевано, прошли времена *eruditio et eloquentia*, люди не прислушиваются более к изящ-

ному, тщательно обдуманному слову художественного произведения, нет, им понятны только грубые, страстные слова политики. Мысль разрушена сумасшествием толпы, она унифицирована по-лютеровски или по-папски, ученые не борются более посредством элегантных писем и брошюр, нет, они, подобно рыночным торговкам, бросают друг другу грубые, вульгарные ругательства, никто не хочет понять другого, каждый желает насильственно навязать другому веру своей партии, свою доктрину, и горе тем, кто предпочитает остаться в стороне, сохранить свои взгляды, свои убеждения; на них, стоящих между партиями, будет направлена ненависть обеих сторон!

Как одиноко в такие времена чувствует себя человек, придерживающийся лишь духовного! Ах, для кого же теперь писать, когда ты оглох в этой политической перебранке, в этом крике ты не слышишь уже оттенков в доводах и резонах, не слышишь нежной и убедительной иронии, с кем спорить о вере, если она оказалась в руках доктринеров и zelотов, которые, как к последнему и надежнейшему аргументу своей неговорчивости, обращаются к солдатне, к коннице, к пушкам? Началась охота на свободомыслящих, диктатором стала пристрастность: думают, что христианству можно служить бердышом и топором палача, и как раз люди самые одухотворенные, самые отважные подвергаются наиболее грубому насилию.

Воцарился хаос, который он предсказывал; его разочаровавшемуся и усталому сердцу со всех сторон несутся ужасные вести. В Париже на медленном огне сожгли его ученика и переводчика его сочинений Беркена, в Англии его любимые Джон Фишер и Томас Мор, его благороднейшие друзья, брошены на плаху — блажен тот, кто имеет силы стать мучеником за свою веру! — и Эразм тяжело вздыхает, услышав это известие: «Как будто я сам умер в них». Цвингли, с которым он часто обменивался письмами и дружественными словами, убит в битве при Каппеле. Томас Мюнцер замучен до смерти

пытками, более ужасными, чем те, которые могли бы измыслить язычники или китайцы. Перекрещенцев с вырванными языками поджаривают на кострах, церкви преданы разграблению, горят книги, горят города. Ландскнехты разорили Рим, это великолепие мира, — о Боже, какие звериные инстинкты свирепствуют во имя Твое!

Нет, в этом мире нет более места для свободы мысли, для взаимопонимания и терпимости — этих основополагающих идей гуманистического учения. На пропитанной кровью земле искусства расцвести не могут, на десятилетия, на столетия отодвинуты времена сверхнационального сообщества, возможно, им никогда и не быть, умирает латынь, этот последний язык объединенной Европы, умирает язык его сердца: умри и ты, Эразм!

* * *

Но рок его жизни еще раз, теперь уж в последний, гонит этого вечного кочевника опять в странствия. Вновь, едва ли не семидесятилетний, бежит он неожиданно, покинув все, что имеет. Желание оставить Фрейбург и отправиться в Брабант необъяснимо, герцог пригласил его туда, однако он чувствует, призвала его туда смерть. Таинственное беспокойство овладело им, и человек, который всю свою жизнь провел как космополит, как осознанно бесподданный, испытывает робкую, преисполненную любви потребность вернуться в отчужденную землю. Усталое сердце хочет вернуться туда, откуда оно пришло; Эразм чувствует, эта поездка в его жизни будет последней.

Но цели своей он не достигнет. В маленькой дорожной карете, которыми обычно пользуются женщины, доставляют сильно ослабевшего Эразма в Базель, там старый человек некоторое время отдохнет и подождет, пока сойдет лед и весной можно будет ехать в Брабант, на родину. Базель пока еще держится за него, здесь все еще есть душевная теплота, здесь все еще живут некоторые его друзья, сын Фробена, Амербах и другие. Они заботятся о хорошем жилье для него, они берут его к себе, и старая печатня, она все еще стоит на

старом месте, опять может он, счастливый, наблюдать превращение задуманного и написанного слова в печатное, вдыхать тяжелые жирные запахи пресса, держать в руках прекрасные книги с четкой печатью, вести с ними, удивительно спокойными, поразительно миролюбивыми, поучительный диалог.

Совершенно тихо, полностью отключенный от мира, уже слишком усталый, слишком слабый, чтобы покидать кровать более чем на четыре-пять часов в день, проводит Эразм последние дни своей жизни в каком-то внутреннем ознобе. Ему кажется, что он всеми забыт, всеми предан поруганию, католики уже не домогаются его расположения, протестанты издеваются над ним, никому он более не нужен, никто не спрашивает его мнения, его решения. «Мои враги множатся, мои друзья исчезают», — жалуется в отчаянии одинокий человек, для которого самым прекрасным, самым отрадным в жизни было гуманное, духовное общение с людьми.

Но вот еще раз, словно запоздалая ласточка в покрытое изморозью окно, кто-то в его беспомощном одиночестве выстукивает слова глубокого уважения и приветия: «Все, что я представляю собой и чем полезен, годен, я получил только от тебя, и не признавай я это, то был бы самым неблагодарным человеком всех времен. *Salve itaque etiam atque etiam, pater amantissime, pater decusque patriae, litterarum assertor veritatus propugnator invictissime.* Привет и еще раз привет, возлюбленный отец и слава отчизны, духовный защитник искусств, непобедимый борец за свободу». Придет время, и имя человека, который написал эти слова, затмит имя Эразма, это Франсуа Рабле на заре своей юной славы приветствует закат умирающего мэтра.

А затем приходит еще одно письмо, письмо из Рима. Нетерпеливо вскрывает его семидесятилетний Эразм и, прочитав, горько усмехаясь, откладывает в сторону. Новый папа предлагает ему кардинальскую шапку с богатейшими доходами, ему, который ради личной своей свободы постоянно с презре-

нием отказывался от всех мест и должностей. Высокомерно отклоняет он эту почти ранящую честь: «Должен ли я, умирающий, брать на себя тяготы, от которых бежал на протяжении всей своей жизни?» Нет, умереть свободным, как и жил свободным! Свободный и в одежде бюргера, без знаков отличия, без земных почестей, свободным, как все одинокие, и одиноким, как все свободные.

Вечная, самая верная подруга любого одиночества и лучшая его утешительница, работа, до последнего часа остается возле больного. Измученный страданиями, лежа в постели, с трясущимися руками, день и ночь пишет, пишет и пишет Эразм свой комментарий к Оригену, пишет брошюры и письма. Он делает это уже не ради славы, не из-за денег, а лишь из таинственной жажды познавать одухотворение жизни, а через познание еще сильнее чувствовать жизнь, вдохнуть и выдохнуть знания; лишь этот вечный пульс земного бытия, лишь этот круговорот движет еще его кровь. Активный до последнего мгновения, бежит он по ходам священного лабиринта труда от мира, который теперь не желает ни признать, ни принять его.

Наконец приходит смертный час Великого Миротворца. Близка она, смерть, которой Эразм всю свою жизнь так страшился и которую теперь, безмерно усталый, готов принять едва ли не с благодарностью. До последней минуты прощания дух не омрачен беспамятством, еще сравнивает Эразм друзей, окружающих его ложе, Фробена и Амербаха с друзьями Иова и беседует с ними на пластичной и одухотворенной латыни. Но затем, в последнюю минуту, когда удушье хватает его за горло, происходит поразительное: он, великий гуманист, ученый, который всю свою жизнь думал и говорил только на латыни, внезапно забывает этот такой привычный ему язык. И в первобытном ужасе коченеющими губами бормочет едва ли не первые слова, выученные им в далеком детстве на материнском, родном языке, — «*Lieve God*»* — первые слова его

*Милый Боже (нем.).

жизни и последние сказаны на нижненемецком диалекте. А затем еще один вздох, и он получает то, что так страстно мечтал получить для всего человечества, — покой.

ЗАВЕЩАНИЕ ЭРАЗМА

Именно тогда, когда умирающий Эразм завещает грядущим поколениям решение благороднейшей задачи — борьбу за европейское согласие, во Флоренции выходит в свет одна из самых значительных и самых дерзких книг мировой истории, пресловутый «Государь» Никколо Макиавелли. В этом математически ясном учебнике беспощадной, ни с чем не считающейся политики силы и успеха убедительно, как в катехизисе, формулируются принципы, противоположные Эразмовым. Если Эразм требует от князей и народа, чтобы они свои личные, свои эгоистические, захватнические притязания добровольно и мирно подчиняли братскому содружеству всего человечества, Макиавелли поднимает волю каждого князя, каждой нации к власти и силе на уровень наивысшего закона, на уровень единственной цели их мыслей и действий. Все силы народного сообщества должны самоотверженно служить народной и религиозной идее. Разум государства, предельное проявление его индивидуальности должно стать для них единственной самоцелью и конечной целью всего исторического развития, а их беспощадное осуществление — наивысшей задачей в пределах мировых событий; для Макиавелли конечный смысл — в силе и расцвете сил, для Эразма — в справедливости.

Этим самым на все времена отлились две основные великие и вечные формы мировой политики, практической и идеальной, дипломатической и этической, политики государств и политики человечности. Эразм-философ, созерцающий мир, Эразм-политик в духе Аристотеля, Платона и Фомы Аквинского политику относит к категории этики: князь, руководитель государства должен прежде всего быть слугой божествен-

ного начала, представителем и носителем моральных идей. Для Макиавелли, профессионального дипломата, хорошо знакомого с практикой государственных канцелярий, политика, наоборот, являет собой аморальную и совершенно независимую науку. С этикой у нее так же мало общего, как с астрономией и геометрией. Князь, глава государства должен не мечтать о человечности, об этом неопределенном и необъятном понятии, а, напротив, принимать людей совершенно несентиментально, как единственный имеющийся в его распоряжении материал, и с крайним напряжением психологических сил использовать в своих интересах и в интересах нации их силу и их слабости; князь не должен проявлять к противнику ни мягкости, ни уважения, а, напротив, всеми средствами, как дозволенными, так и недозволенными, добиваться для своего народа максимально достижимых преимуществ и выгод. Власть и расширение власти для Макиавелли — высший долг, а решающее право князя и народа — успех.

Конечно, в реальной политике эта концепция, возвеличивающая принцип силы, применялась постоянно. Не Макиавелли был ее первооткрывателем. Драматическое развитие европейской истории будет отныне определять не Эразмова политика соглашений, а политика, решительно использующая любую возможность в своих интересах, политика тирании в духе «Государя». Целые поколения дипломатов будут учиться своему холодному искусству по учебнику арифметики жестокого и дальновидного флорентинца, кровью и жезлом обозначаться границы между странами, границы, которые будут вечно перекраиваться. Друг против друга, а не друг с другом — именно этот принцип будет способствовать всплеску страстных энергий у всех народов Европы.

А вот Эразмовы мысли никогда еще историю не формировали, на европейские судьбы явное влияние не оказывали: великая гуманистическая мечта об устранении противоречий справедливым путем, страстная мечта об объединении наций под знаком всеобщей культуры так и осталась утопией, нере-

ализованной и, возможно, в пределах нашей действительности, никогда не реализуемой.

Но в духовном мире все противоположности сосуществуют, даже то, что в действительности никогда победно не проявится, в духовном мире остается динамической силой, причем как раз неосуществленные идеалы оказываются самыми непобедимыми.

Нереализованная идея непобедима уже потому, что она не истощена, не скомпрометирована своей реализацией, и, хотя исполнение ее задерживается, необходимость этого исполнения каждому новому поколению представляется очевидной; такие идеи продолжают жить как моральные импульсы, побуждающие к прогрессу. Лишь нереализованные идеалы живут вечно. И то, что гуманистический идеал Эразма — европейское взаимопонимание — не осуществился, не дал серьезного политического эффекта, не означает, что идеал погиб.

В самой сущности идеи надпартийности нет стремления стать когда-либо партией, стать гегемоном, и едва ли следует надеяться, что она когда-нибудь сможет стать формой и содержанием общечеловеческой души, священной и наивысшей формой жизни гётевской невозмутимости. Каждому гуманистическому идеалу, поднятому на высоты, позволяющие обозревать мир на сотни лет вперед, идеалу, согретому теплом горячих, благородных сердец, предопределено остаться идеалом элиты духа, он — удел немногих и передается от духа к духу, от поколения к поколению; эта вера в реализуемость общности нашего человечества, пусть в реализуемость нескорую, никогда не исчезнет, какие бы смутные и тяжелые времена ни мешали ее осуществить.

В хаосе войн и европейских раздоров Эразм, этот разочарованный, но не отчаявшийся человек, как завещание оставил нам возрожденную им древнюю сокровенную мечту всех мифов и религий, мечту о грядущем и неудержимом очеловечивании человечества, о торжестве ясного и справедливо-го разума над себялюбивыми и преходящими страстями:

впервые обозначенный прагматически, неуверенной и подчас робеющей рукой, этот идеал непрерывно с новыми надеждами воскрешался поколениями и поколениями жителей Европы.

Никакая мысль, кем бы то ни было придуманная и высказанная от чистого сердца, с чистой нравственной силой, никогда полностью не пропадает; начертанная слабой рукой и несовершенно сформулированная, она постоянно побуждает дух нравственности к обновленным формированиям. Слава Эразма, побежденного здесь, на земле, останется в веках — своими произведениями он указал путь в мир гуманистическому мышлению, такому простому, такому ясному и в то же время вечному, так как оно является наивысшей задачей человечества — становиться все более гуманным, более духовным, более понимающим себе подобных.

Вслед за ним говорит его ученик Монтень, считая, что «бесчеловечность — худший порок», que je h'au point le courage de concevoir sans horreur*, далее Спиноза требует вместо слепых страстей — «amor intellectualis»**, Дидро, Вольтер и Лессинг, скептики и идеалисты одновременно, воюют против ограниченности образа мыслей ради всепонимающей терпимости. В Шиллере идея космополитизма возникает в поэтической форме, в Канте — требования вечного мира, вновь и вновь дух взаимопонимания, объединившись с силой логики, требуют нравственного права вместо права кулака насилия (Толстой, Ганди, Роллан).

Вновь и вновь вера в возможное умиротворение человечества вспыхивает наиболее ярко как раз в мгновения наибольших раздоров, ибо человечество никогда не сможет существовать и творить без этой утешительной иллюзии — последнего и окончательного согласия. И пусть умные и холодные калькуляторы снова и снова указывают на нереализуемость идей Эразма, и пусть вновь и вновь действительность подтверждает справедливость их расчетов, человечеству всегда будут необ-

* У меня не хватает духу думать об этом без ужаса (фр.).

** Духовной любви (лат.).

ходимы те, кто указывает народам то, что связывает народы друг с другом, а не разъединяет их, те, кто возрождает в сердцах людей веру в мысль о грядущем веке более высокой гуманности. В этом завещании творчески действует великое обетование. Ибо лишь то общечеловеческое, что дано увидеть духу над его собственным жизненным опытом, дарует единицам силы сверх сил. Лишь в надличных и едва ли выполнимых требованиях люди и народы чувствуют свое истинное и святое величие.





СОВЕСТЬ ПРОТИВ НАСИЛИЯ

Потомки не смогут постичь, почему нам
снова пришлось жить в такой густой тьме,
после того как однажды уже настал свет.

*Кастеллио. Об искусстве сомневаться,
1562 г.*



КАСТЕЛЛИО ПРОТИВ КАЛЬВИНА

ВВЕДЕНИЕ

Тот, кто пал, не изменив своему мужеству, *si succiderit, de genu pugnat*^{*}, тот, кто перед лицом грозящей ему смерти не утрачивает способности владеть собой, тот, кто, испуская последнее дыхание, смотрит на своего врага твердым и презрительным взглядом, — тот сражен, но не побежден. Самые доблестные бывают порой и самыми несчастливими. Бывают поражения, слава которых вызывает зависть у победителей.

Монтень

Муха против слона» — эта надпись на принадлежащем Базелю экземпляре памфлета против Кальвина, сделанная рукой автора — Себастьяна Кастеллио, звучит поначалу странно, и может показаться, что вызвана она обычной для гуманистов любовью к гиперболам. Но слова Кастеллио не ирония и не гипербола. Таким резким сравнением этот мужественный человек хотел показать своему другу Амербаху^{**}, как отчетливо, как трагически ясно он понимал, что вызвал на поединок гиганта, открыто обвинив Кальвина в том, что, будучи человеком духа, вождем Реформации, он, опьяненный фанатической идеей, покусился на жизнь человека и тем самым на свободу совести. В этой опасной битве Кастеллио, поднимая, словно ланцет,

^{*} Даже поверженный наземь продолжает сражаться (*лат.*).

^{**} Амербах Бонифаций (1495 — 1562) — издатель и правовед. — *Примеч. пер.*

перо, прекрасно сознавал все бессилие любой чисто духовной войны против грозной, защищенной броней диктатуры и тем самым безнадежность своего отчаянно смелого предприятия.

Действительно, как может один безоружный человек одолеть, победить Кальвина, за которым стоят тысячи, десятки тысяч людей, вооруженных всемогущим государственным аппаратом? Обладая выдающимися способностями организатора, Кальвин сумел весь город, все государство, некогда состоявшее из тысяч свободных бюргеров, превратить в огромную машину послушания, искоренить любое проявление независимости, подавить во имя своего ставшего монопольным учения любое проявление свободомыслия. Все, что имеет силу в городе, в государстве, подчиняется его всемогуществу: все органы самоуправления, гражданская и духовная власть, магистрат и консистория, университет и суд, финансы и мораль, духовенство, школы, палачи, тюрьмы, каждое написанное, сказанное и даже шепотом произнесенное слово.

Его учение стало законом, и того, кто решится высказать хоть малейшее возражение против этого учения, тотчас же наставят на путь истины: темница, изгнание или костер — эти аргументы любой духовной тирании блестяще разрешат все споры; в Женеве существует лишь одна правда, и Кальвин — ее пророк. Но зловещая власть этого зловещего человека распространяется далеко за стенами города; города Швейцарского союза видят в нем важнейшего политического союзника, мировое движение протестантизма избирает *Violentissimus Christianus** своим духовным вождем, князья и короли ищут благосклонности у церковного пастыря, создавшего наряду с римской самую могучую христианскую организацию в Европе. Отныне ни одно важное политическое событие не происходит без его ведома, почти ни одно — вопреки его воле: враждовать с проповедником собора св. Петра стало теперь так же опасно, как с императором или папой.

А его противник Себастьян Кастеллио, одинокий идеалист,

* Неистовейшего христианина (лат.).

борец за право человека мыслить свободно, тот, который объявляет войну этой и любой другой духовной тирании, — кто он? Поистине он — по сравнению с Кальвином, обладающим фантастической полнотой власти, — муха против слона! Нето, никто, ничто в смысле общественного влияния, да к тому же еще и бедняк, нищий ученый, человек, способный с трудом прокормить жену и детей переводами и репетиторством, беженец из другой страны, не имеющий прав гражданства и даже права оставаться в стране, двойной эмигрант, — как всегда, во времена фанатизма гуманист, бессильный и одинокий, стоит между борющимися зелотами.

Годы и годы этот выдающийся и скромный гуманист под угрозой преследований и в тисках нужды ведет скудное существование, вечно ограниченный в своих правах, но вечно и свободный, потому что не принадлежит ни к какому лагерю, не привержен ни к какому фанатизму. И только после убийства Сервета, услышав зов своей совести, покинет он мирные занятия, чтобы обвинить Кальвина во имя опозоренных прав человека, — вот тогда его одиночество станет героическим.

Ведь Каstellлио не имеет подобно привыкшему к боевым действиям своему противнику, Кальвину, сплоченной безжалостной рукой и планомерно организованной партии последователей; ни одна партия — ни католическая, ни протестантская — не предлагает ему свою поддержку, ни одна владетельная особа, ни император, ни короли не защищают его, как Лютера и Эразма, и даже его немногие друзья, даже они, не переставая восхищаться им, лишь тайно, шепотом решаются вдохновлять его на мужественные поступки.

Ибо опасно, смертельно опасно в то безумное время, когда во всех странах преследуют, подвергают пыткам и мучительным казням еретиков, открыто стать на сторону человека, бесстрашно поднимающего свой голос за этих бесправных, поработанных людей и на примере единичного случая пытавшегося раз и навсегда доказать всем власть имущим спорность права преследовать любого человека на земле за его мировоззрение!

Опасно встать на сторону одиночки, который в те ужасные годы помрачения человеческих душ, поражающего время от времени народы, когда людей уничтожали якобы во славу Бога, сумел сохранить чистый и человеческий взгляд на мир и решился эти «благочестивые» избиения назвать их настоящим именем: убийством, убийством, убийством! Того, кто, побуждаемый глубочайшим чувством человечности, единственный не выдерживает более молчания и в своем отчаянии вопиет к небу о бесчеловечности, воюя один против всех, один — за всех!

Так бывает всегда: тот, кто поднимает свой голос против властителей и одевающих властью, рассчитывать на последователей не может, — ведь трусость человеческого рода поистине неистребима; и в самые решающие часы Себастьян Каstellио не имел возле себя никого, не владел никаким имуществом, за исключением единственного неотчуждаемого достояния воинствующего художника — непреклонной совести, не знающей страха души.

Но как раз то, что Себастьян Каstellио с самого начала отчетливо представлял себе безнадежность битвы и все же, послушный своей совести, не уклонился от нее, эти священные «и все же» и «несмотря ни на что» во все времена прославляют этого «безымянного воина» великой битвы освобождения человечества как героя; мужественный поступок одиночки, не имеющего никакой поддержки от окружающих людей и поднявшего голос страстного протеста против охватившего весь мир террора, — этот мужественный поступок — спор Каstellио с Кальвином — должен остаться в памяти любого мыслящего человека.

По своей внутренней постановке задачи этот исторический спор выходит далеко за рамки своего времени. Ведь это спор не об узком богословском вопросе, не о некоем Сервете и, конечно же, не о решающем кризисе в отношениях либерального и ортодоксального протестантизма: в этом решительном столкновении ставится значительно более важный, вечный

вопрос, *nostra res agitur**, объявлена война, которая под другими названиями и в разных формах неизбежно должна будет вспыхивать вновь и вновь. Богословие здесь ничего не значит, это случайная маска времени, и даже сами Кастеллио и Кальвин являются здесь всего лишь представителями невидимых, но непреодолимых противоречий.

Безразлично, как называются полюса, постоянно создающие силовое поле, — терпимость и нетерпимость, свобода и навязанная опека, гуманизм и фанатизм, индивидуальность и унифицированность, совесть и насилие, — все эти понятия стоят, по существу, перед последним, глубочайшим, личным вопросом: что предпочесть, что является самым важным для каждого человека: гуманное или вызванное сиюминутными требованиями времени, *Ethos* или *Logos***, индивидуальность или общность. Этого постоянно необходимого размежевания свободы и авторитета не избежать ни одному народу, никакому времени, ни одному думающему человеку, ибо свобода без авторитета невозможна (иначе она превратится в хаос), авторитет же без свободы невозможен также (иначе он превратится в тиранию). Без сомнения, в природе человека заложена таинственная потребность саморастворения в общности, неистребимой остается в нас извечная иллюзия, что может быть найдена определенная религиозная, национальная или социальная система, которая подарит человечеству мир и порядок, устраивающие всех, Великий Инквизитор Достоевского объяснил это, опираясь на жестокую диалектику: подавляющее большинство людей боится своей свободы; и действительно, перед лицом усталости, вызванной истощающим многообразием встающих перед человеком вопросов, перед лицом сложности жизни и ответственности, которую она непрерывно навязывает человеку, огромное большинство людей мечтает о торжестве в мире такого порядка, который освободил бы их от необходимости думать.

* Здесь: жизнь нашего мира (*лат.*).

** Здесь: нравственное или рациональное начало (*греч.*).

Эта мессианская тоска по снятию всех проблем существования вырабатывает тот первоначальный фермент, который расчищает путь всем социальным и религиозным пророкам: когда идеалы поколения утрачивают свой огонь, свои краски, требуется некий человек, обладающий силой внушения, могущий императивно навязать окружающим его людям мысль, что он, и только он, нашел или создал новую формулу, и глядишь, — уже течет доверие тысяч к этому мнимому освободителю мира; всегда новая идеология — в этом ее метафизический смысл — сначала создает новый идеализм на земле. Ибо всякий, подаривший людям новую иллюзию единения и чистоты, черпает сначала у людей их готовность пожертвовать собой, их воодушевление — эти священные силы.

Миллионы, словно зачарованные, готовы на все: отдаться, оплодотвориться, даже предать себя на поругание, — и чем больше этот провозвестник мира, этот пророк, обещающий мир, требует от них, тем сильнее они ему преданы. От того, что еще вчера было для них наивысшим наслаждением, от своей свободы они добровольно отказываются ради этого лжепророка, чтобы чувствовать себя еще беззащитнее, и старое изречение Тацита «*guere in servitium*» * исполняется вновь и вновь, народы в безумном опьянении солидарности сами идут в рабство и к тому же еще превозносят бич, который их хлещет.

Но каждый человек духа убежден, что идея, эта материальная сила земли, способна осуществить невероятное чудо внушения в нашем старом, трезвом, технизированном мире, и действительно, люди легко впадают в искушение, восхищаясь человеком, морочащим миру голову, восторгаясь им, ведь ему с помощью духа удастся преобразовать мертвую материю.

Но роковым образом эти пророки — идеалисты и утописты — после одержанной ими победы всегда становятся гнусными предателями духа. Ибо Власть стремится к Всемогушеству, Победа — к злоупотреблению Победой, и вместо того,

* Впадать в рабство (*лат.*).

чтобы довольствоваться тем, что люди вокруг нового пророка воодушевлены внушенной им иллюзией, что они с радостью готовы жить для него и даже за него умереть, все пророки, эти конквистадоры духа, впадают в соблазн превратить большинство в тотальность, навязать свободным и независимым свои догмы; им недостаточно иметь своих послушных помощников, своих клеветов, своих духовных рабов, этих вечных припешников каждого движения, — нет, и свободных, и независимых желают они видеть среди своих панегиристов и слуг, и для того, чтобы повсеместно внедрить свою догму, сделать ее единственной, они от имени государства клеймят как государственную измену любое иное мнение.

И в этом проклятие всех религиозных и политических идеологий — едва превратившись в диктатуру, они немедленно вырождаются в тиранию. Но как только человек духа препоручает свою правду грубому насилию, оно тотчас же объявляет свободе человека войну. Безразлично, какой бы эта идея ни была — любая и всякая, едва обратившись к террору, чтобы регламентировать чужие убеждения, она перестает быть идеальностью и становится насилием. Даже самая чистая правда, навязанная другим силой, становится преступлением против духа.

Но дух — таинственная стихия. Похоже, что невидимый, неосязаемый, словно воздух, он может существовать в различных формах. И для деспотических натур всегда очень соблазнительно придерживаться иллюзии, что дух можно сжать, запереть, закупорить в бутылках. Но с любым давлением растет противодействие, а когда происходит сжатие, спрессовывание, как раз и возникает взрыв: любое подавление — раньше или позже — неизбежно ведет к мятежу. Ибо моральная независимость человечества — и в этом вечное утешение! — неразрушима.

Никогда до сих пор люди всей земли не исповедовали единственную, диктаторски навязанную религию, не придерживались единственной философии, не имели единственную форму мировоззрения, и никогда такого не может быть, так как

дух всегда сумеет защититься от рабства, никогда не согласится думать по предписанным шаблонам, не позволит себя уравнивать, истощить, унифицировать, подстричь под гребенку.

Тривиальны и напрасны поэтому все попытки привести к общему знаменателю божественное многообразие нашего бытия, разделить на основе внедренного силой принципа человечество на черных и белых, на хороших и плохих, на богобоязненных и еретиков, на патриотов и врагов государства.

Во все времена будут существовать люди независимого духа, способные сопротивляться насилию над человеческой свободой, conscientious objectors*, решительные противники любого насилия духа, и во все времена, какими бы варварскими они ни были, при любой тирании, какой бы последовательной она ни была, всегда существовали одиночки, сопротивлявшиеся массовому насилию, защищавшие перед жестокими личностями, одержимыми навязчивой идеей, право на личные убеждения, защищавшие свою личную правду.

И шестнадцатое столетие, как, впрочем, и наше время, хотя и чрезвычайно раздраженное различными жестокими идеологиями, знало такие свободные и неподкупные души. Читая письма гуманистов того времени, наш современник братски чувствует их глубокую печаль, вызванную господствующим в мире насилием, он разделяет с ними духовное отращение к тупоумным изречениям догматиков, каждый из которых, подобно ярмарочному зазывале, торжественно объявляет: «То, чему учим мы, — истинно, а то, чему учат другие, — ложь». Ах, сколько ужасов сыплется на головы просвещенных космополитов со стороны бесчеловечных усовершенствователей человечества, вламывающихся в мир, который верит в прекрасное, и с пеной у рта провозглашающих свою жестокую ортодоксию, о, как тошнит... О, как тошнит, какие спазмы рвоты вызывают все эти савонаролы, кальвины, джоны ноксы, желающие убить красоту и превратить землю в гигантскую семинарию моралистов!

*Сознательно возражающие (англ.).

С трагической прозорливостью мудрые и гуманные люди видят те несчастья, которые принесут Европе эти неистовствующие упрямы, уже слышат они за пламенными словами бряцание оружия и предчувствуют в этой ненависти грядущую ужасную войну. Но даже зная правду, гуманисты не решаются бороться за нее.

В жизни почти всегда получается так, что знающие не бывают активными, активные — знающими. Трагически скорбящие гуманисты пишут друг другу трогательные, очень литературные письма, они сетуют за закрытыми дверями своих рабочих кабинетов, но никто не выступает против антихриста. Время от времени Эразм решается из укрытия послать пару стрел в лжепророков; Рабле, накинув шутовской балахон, бичует их жестоким смехом; Монтень, этот благородный и мудрый философ, в своих эссе находит красноречивейшие слова, но серьезно вмешаться и предотвратить хотя бы один из этих гнусных актов гонения и казней не решается никто. С неистовыми, — решают эти многоумные и поэтому сверхосторожные мужи, — мудрые не должны спорить; лучше в такие времена укрыться в тени, чтобы не попасться самому, не пасть жертвой их безумия.

Кастеллио же — и в этом его непреходящая слава — единственный из этих гуманистов решительно выступает навстречу своей судьбе. Мужественно подняв свой голос за преследуемых товарищей по духу, он тем самым рискует жизнью. Абсолютно лишенный фанатизма, ежечасно подвергающийся угрозам со стороны фанатиков, совершенно бесстрашный, с непоколебимостью Толстого поднимает он над жестоким временем, словно знамя, свое кредо: ни одному человеку нельзя навязывать мировоззрение, никакая земная власть не имеет права насиловать совесть человека, и так как свое кредо он сформулировал не на основе программы какого-нибудь лагеря — папистов или реформаторов, а основываясь на вечном духе гуманизма, именно поэтому его мысли, как и слава, остались навечно.

Сформулированные художником общегуманные, вечные

идеи всегда оставляют свой отпечаток, всегда кредо, объединяющее мир, переживет кредо доктринерское и агрессивное. Но для всех последующих поколений останется беспримерным достойное подражания мужество этого забытого человека. Ибо, когда Кастеллио вопреки мнению всех богословов мира называет Сервета, сожженного Кальвином, невинной жертвой, когда он в ответ на все софизмы Кальвина бросает бессмертные слова: «Сжечь человека — не значит защитить учение, нет, это означает — убить человека», — когда он в своем манифесте терпимости (задолго до Локка, Юма, Вольтера и многих других мыслителей и гораздо решительнее, чем они) раз и навсегда провозглашает право свободомыслия, — это означает, что он за убеждения готов отдать свою жизнь.

Нет, протест Кастеллио против прикрытого юридической процедурой убийства Сервета не следует сравнивать с тысячекратно восхваляемыми протестами Вольтера по делу Каласа и Золя — по делу Дрейфуса, — их действия по моральному благородству совсем не равнозначны его деянию. Ведь Вольтер, начавший борьбу за Каласа, живет уже в век гуманизма; кроме того, писатель с мировой славой находится под защитой королей, князей; равным образом восхищение всей Европы, всего мира окружает Эмиля Золя. Совершая свои благородные поступки, оба они ради чужих судеб рисковали и своей репутацией, и своим комфортом, но — и в этом решающая разница — не своей жизнью. Как Себастьян Кастеллио, который в борьбе за гуманизм испытал на себе всю убийственную бесчеловечность своего века.

Себастьян Кастеллио очень дорого заплатил за свой моральный героизм. Этот первый убежденный противник насилия, считавший, что в борьбе следует пользоваться лишь духовным оружием, был неслыханно жестоко подавлен грубой силой — увы, вновь и вновь подтверждается истина, что борьба оказывается безнадежной каждый раз, когда против сплоченной организации выступает одиночка, опирающийся единственно лишь на моральное право человека. Если какой-либо доктрине удалось овладеть государственным аппаратом

и всеми его институтами гнета, она не задумываясь вводит в действие террор; того, кто ставит ее всевластие под вопрос, она сумеет заставить замолчать, а иного — и дышать также.

Кальвин никогда серьезно не спорил с Каstellлио; он предпочел оставлять его выпады без ответа. Книги Каstellлио в Женеве рвут, запрещают, сжигают, конфискуют, используя политическое давление, вынуждают и соседние кантоны наложить запрет на переписку с ним, а добившись того, что он не может более отвечать, не может высказаться, приспешники Кальвина немедленно набрасываются на него с клеветой; и вот нет уже борьбы, а лишь подлое насилие над беззащитным.

Ибо Каstellлио не может говорить, не может писать, безмолвно лежат его рукописи в ларе, у Кальвина же — печатные станки и кафедры проповедников, кафедральный собор и синоды, весь аппарат государственного принуждения, и все это он безжалостно пускает в ход; за каждым шагом Каstellлио следят, каждое его слово подслушивается, каждое письмо перехватывается — что же удивительного в том, что подобная стоголовая организация одерживает верх над бунтарем-одиночкой; лишь преждевременная смерть Каstellлио спасает его от изгнания или костра. Но неистовая ненависть торжествующих догматиков не останавливается и перед его прахом. И в могилу кидают они, словно всепожирающую известь, наветы и обвинения, на все времена должно быть вычеркнуто из памяти людей имя человека, который боролся не только против Кальвина, но вообще против принципа любой духовной диктатуры.

И самое страшное, самое чудовищное из того, что могло совершить насилие, ему почти удалось. Методичное подавление не только задушило влияние этого большого гуманиста на свое время, но на многие годы лишило его также посмертной славы; и сегодня образованному человеку нет причин стыдиться того, что он никогда не читал о Себастьяне Каstellлио, никогда не слышал его имени.

И как знать о нем, если самые основные его произведения десятилетиями, столетиями не пропускались цензурой в пе-

чать! Ни один типограф, работающий там, где сильно влияние Кальвина, не решается их опубликовать, а когда спустя много лет после смерти автора их и издали, то было уже поздно — заслуженной славы он не получил. За это время другие люди переняли идеи Кастеллио, под знаком других имен продолжалась борьба, в которой он первый пал слишком рано и почти никем не замеченный. Судьбой предопределено кому-то жить в тени, умереть в темноте — потомки пожали славу Себастьяна Кастеллио, и ныне во всех школьных учебниках можно прочесть ошибочное утверждение, что Юм и Локк были первыми в Европе провозвестниками терпимости, как будто еретические произведения Кастеллио никогда не были ни написаны, ни напечатаны.

Забыты и его великое моральное деяние, и его борьба за Сервета, забыта война против Кальвина, война «мухи против слона», забыты его произведения — невыразительный портрет в собрании сочинений, выпущенном голландским издателем, несколько рукописей в швейцарских и голландских библиотеках, два слова благодарности его учеников — вот все, что осталось от человека, которого его современники единодушно почитали не только самым ученым, но и самым благородным человеком своего столетия. Как нам оправдаться в своей неблагодарности перед этим забытым человеком, как искупить эту чудовищную несправедливость?

Истории недостает времени, чтобы быть справедливой. Как холодный хронист, она фиксирует только удачи, мерками морали пользуется она редко. Лишь на победителей смотрит она, побежденных же оставляет в тени; не задумываясь, сбрасывает она этих «безымянных воинов» в могилу Великого Забвения, *nulla сгих, nulla согопа*, ни крест, ни венки не славят эти безрезультатные, а потому забытые деяния.

Но ни одно, даже самое малое усилие, свершенное из чистых побуждений, нельзя считать тщетным, ни одно напряжение моральных сил не пропадает во Вселенной. Даже слишком рано пришедшие в мир, побежденные, павшие в борьбе за торжество вечных, вневременных идеалов, диктуемых им их

совестью, погибли не напрасно, ибо эти идеалы потому-то и вечны, что создают себе последователей и убежденных в их правоте людей, живущих ради них и ради них готовых умереть. С моральной точки зрения слова «победа» и «поражение» получают другой смысл, и именно поэтому миру, который смотрит лишь на памятники победителям, совершенно необходимо вновь и вновь напоминать, что истинными героями человечества являются не те, кто на миллионах трупов, на грудах разрушенных материальных ценностей основывают свои преходящие государства, а те, кто насилие побеждает без насилия, кто, как Кастеллио, восставший против Кальвина, борется за свободу духа и за победу гуманизма на земле.

ЗАХВАТ ВЛАСТИ КАЛЬВИНОМ

В воскресенье 21 мая 1536 года женевские бюргеры, торжественно созванные фанфарами, собрались на большой площади и поднятием руки единогласно подтвердили, что отныне они желают жить «selon l'evangile et la parole de Dieu»*. Путем референдума, этого и до сих пор существующего в Швейцарии демократического института, в бывшей резиденции епископа было установлено, что отныне реформированная религия будет единственно верным и единственно дозволенным вероучением города и государства. Потребовались немногие годы, чтобы не только отстранить старую католическую веру в городе на Роне, но и полностью ее разгромить и искоренить. Под угрозой толпы последние католические священники, каноники, монахи и монахини бежали из монастырей, все без исключения церкви были очищены от икон, картин и других символов «суеверия». Этот праздничный майский день лишь закрепил окончательную победу: отныне уже по закону протестантизму в Женеве принадлежит единовластие.

Это полное утверждение реформированной религии в Женеве по существу является заслугой одного крайне решитель-

* Согласно Евангелию и слову Божьему (фр.).

ного, воинственно настроенного человека — проповедника Фареля. Предельно фанатичная личность, «лоб узкий, но железный», человек могучего и вместе с тем беспощадного темперамента — «никогда не приходилось мне встречаться с более надменным и бессовестным человеком», говорит о нем мягкий Эразм; этот «Лютер из французской Швейцарии» властвует над массами.

Маленький, уродливый, рыжебородый, с взерошенными волосами, выступая на кафедре, своим громовым голосом, безмерной яростью, в которой проявлялась его могучая натура, он вовлекал народ в лихорадочное восстание чувств; словно Дантон-политик, этот революционер от религии хорошо знает, как сконцентрировать, зажечь и направить для решительного удара, решающей атаки рассеянные, затаившиеся где-то в глубинах сознания инстинкты улицы.

Сотни раз ради победы рисковал Фарель: ему угрожали избиением камнями, сажали в темницу, над ним издевались, его презирали; но с первобытной силой одержимого, с непримиримостью человека, которым владеет лишь одна идея, он преодолевает любое сопротивление, разрушает любое препятствие.

Словно варвар врывается он со своими вооруженными приверженцами в католические церкви, когда священнослужитель у алтаря совершает таинство причащения, занимает кафедру, чтобы под одобрительный рев своих молодчиков проповедовать вновь и вновь об ужасах пришествия антихриста. Из подростков он формирует молодежные группы, вербует толпы детей, внушая им, чтобы во время богослужения они криком, смехом, кваканьем мешали в кафедральном соборе молитве; обнаглев до крайности, поддерживаемый всевозрастающим притоком приверженцев, он призывает свою гвардию к последнему удару, и его сторонники вламываются в монастыри, сжигая сорванные со стен иконы. Открытый террор приносит удачу; как всегда, дерзкая горстка активного меньшинства, применяя грубую силу, запугивает вялое большинство. И хотя потрясенные нарушением своих прав бюрге-

ры-католики и докучают магистрату просьбами о вмешательстве и прекращении бесчинств, но в то же время, уверенные в неизбежности происходящего, остаются дома; епископ бежит из своей резиденции, оставив поле боя за победоносной Реформацией.

Но торжество Реформации в Женеве показывает, что Фарель не был революционером, созидателем, он хотя и способен порывом и фанатизмом разрушить старый порядок, но создать новый ему оказалось не по силам. Фарель — нигилист, но не творец, бунтовщик, но не строитель; он мог некоторое время вести жестокую войну против церкви, подстрекать толпу против монахов, ему достало сил железным кулаком мятежника разбить каменные скрижали старого закона. Но он остановился у развалин растерянный и без цели. Теперь, когда вместо устраненной католической религии в Женеве необходимо создать новый порядок, у Фареля не оказалось на это способностей; как разрушительная сила, он освободил, расчистил место для нового здания, но духовные ценности революционеру улицы не создать. Разрушением старого здания он завершил свое дело. Для строительства нового требуется другой человек.

В этот критический момент после столь быстрой победы растерянность испытывает не один Фарель; в других кантонах Швейцарии и в Германии стоят в нерешительности вожди Реформации, не имеющие единого мнения об исторической задаче, которую им предстоит решить. Первоначально Лютер и Цвингли хотели простого очищения существующей церкви, возврата веры от авторитета папы и церковного собора к позабытому евангелическому учению.

Вначале Реформация означала для них — в прямом смысле этого слова — реформирование, то есть улучшение, очищение, возврат к старому. Но так как католическая церковь упрямо отстаивала свои позиции, не пошла ни на какие уступки, задача реформаторов изменилась, они решили реализовать требуемую ими религию не внутри существующей католической церкви, а вне ее; и так как вместо разрушения воз-

ника необходимость строить, не готовые к этому вожди Реформации пошли разными путями.

Само собой разумеется, ничего не было бы логичнее, если бы религиозные революционеры Лютер, Цвингли и другие богословы Реформации, тесно сплотившись, создали бы единую форму веры, единую практику новой церкви; но можно ли от Истории когда-либо ожидать логики и естественности? Вместо единой протестантской церкви всюду возникает множество; Виттенберг не желает принять Божье учение Цюриха, а Женева не принимает воззрения на Евангелия, выработанные Берном; каждый город хочет иметь свою Реформацию, Реформацию на свой, цюрихский, бернский, женеvский манер; на примере религиозных распрей кантонов мы видим в уменьшенном масштабе кризис националистической спеси европейских государств.

В мелочных ссорах, в богословски казуистических спорах и трактатах Лютер, Цвингли, Меланхтон, Буцер и Карлштадт расточают, разбазаривают свои лучшие силы, подтачивая гигантское строение *Ecclesia Universalis**. Не зная, что делать, стоит Фарель в Женеве у развалин старого порядка: такова вечная трагедия человека, выполнившего предназначенное ему историческое деяние, но не понимающего ни следствий этого деяния, ни его требований.

* * *

Поэтому для трагического триумфатора счастливым становится час, когда он узнает, причем совершенно случайно, что Кальвин, знаменитый Жан Кальвин, проездом из Савойи на день остановился в Женеве. Тотчас же отправляется он к Кальвину на постоянный двор, чтобы испросить совета и помощи в деле строительства новой церкви. Ибо, хотя Кальвину двадцать шесть и Фарель чуть ли не на двадцать лет старше, молодой богослов уже имел бесспорный авторитет в мире ученых. Сын епископского сборщика податей и нотариуса, родив-

* Вселенской церкви (*лат.*).

шийся во Франции в Нуайоне, воспитанный в суровой школе коллегии Монтегю (там, где получили свое образование Эразм и Лойола), первоначально предназначенный для священнического сана, а затем для юридической службы, Жан Кальвин (или Chauvin), двадцати четырех лет, из-за своей приверженности к лютеровской вере вынужден бежать из Франции в Базель. Но если, как правило, люди, в огромном своем большинстве, потеряв родину, теряют и свои силы, эмиграция помогает ему полностью проявить себя. Как раз в Базеле, на этом перекрестке европейских дорог, где встречаются и враждуют различные формы протестантизма, Кальвин взглядом гениального логика увидел, понял, в чем суть момента.

От ядра евангелического учения откалываются все более радикальные толки; пантеисты и атеисты, мечтатели и zeloty начинают высвобождать протестантизм от Христа или же перегружать его Христом, уже завершается в крови и ужасах трагикомедия мюнстерских анабаптистов, уже Реформация вот-вот распадется на отдельные национальные секты, вместо того чтобы подняться до универсальной мощи, подобно ее противнику — Римской церкви.

Самораспаду — и двадцатичетырехлетний Кальвин провидчески убежден в этом — должно быть противопоставлено объединение, должна воспрепятствовать духовная кристаллизация нового учения в новой книге, схеме, программе; должен, наконец, быть сделан основной творческий набросок евангелических догм. И в то время, как вожди-зачинатели движения занимаются никчемными, нудными мелочами, этот никому не известный юрист и богослов с великолепной смелостью юности, мгновенно поняв суть вопроса, его сокровенную сущность, за один год создает свое «*Institutio religionis Christianae*»* (1535), первый очерк евангелического учения, учебник и руководство, каноническое произведение протестантизма.

«Наставление...» — одна из десяти или двадцати книг ми-

* «Наставление в христианской вере» (лат.).

ра, о которой, не боясь впасть в преувеличение, можно сказать, что она определила ход истории и изменила облик Европы; после перевода Библии, выполненного Лютером, самого важного деяния Реформации, — «Наставление...» с первого же часа своего появления на свет оказало решающее влияние на современников своей логической безжалостностью, своей конструктивной решительностью. Духовному движению всегда нужен гениальный человек, его зачинатель, но движению необходим также гениальный человек, который смог бы его завершить. Лютер, вдохновитель движения, начал Реформацию; Кальвин, организатор, удержал ее, прежде чем она распалась на тысячу сект.

В известном смысле «Наставление...» завершает религиозную революцию, как Кодекс Наполеона* — французскую; оба они подытоживают, подводят черту, оба они берут у потока движения расплавленную массу, чтобы отлить ее в формы закона и стабильности. Из произвола таким образом возникает догма, из свободы — диктатура, из душевной взволнованности — жесткая духовная норма. Правда, как у любой другой революции, когда ее сдерживают, и у этой религиозной революции также, на последней стадии развития что-то утрачивается от ее первоначальной динамики; но теперь перед католической церковью стоит церковь протестантская, духовно объединенная великая сила.

Сила Кальвина в том, что он впоследствии никогда не смягчал, не изменял жесткость своих первоначальных формулировок; все позднейшие издания его произведений представляют собой лишь развитие, но не исправление первых категорических решений. В двадцать шесть лет он, не имея личного опыта, логически продумал до конца свое мировоззрение, и все последующие годы будут служить ему лишь для того, чтобы реализовать свои организаторские идеи. Он не изменит

*Кодекс Наполеона — принятое в литературе наименование Французского гражданского кодекса 1804 г., в подготовке которого участвовал Наполеон и считал его создание одной из своих главных заслуг. — *Примеч. пер.*

ни одного сколько-нибудь существенного слова и прежде всего не изменит самому себе, не отступит ни на один шаг назад, никому не сделает шага навстречу. Такого человека можно только разбить или же разбиться о него. Напрасны любые попытки найти в споре с ним какие-то компромиссные решения. Возможно лишь альтернативное решение: либо отрицать его, либо полностью ему подчиниться.



Фарель — и такова сила его личности — чувствует это при первой же встрече с Кальвином, при первом разговоре с ним. И хотя он на двадцать лет старше, с этого часа он полностью покоряется Кальвину, признает его своим вождем и учителем, с этого мгновения становится его духовным слугой, подчиненным, рабом. Никогда в последующие тридцать лет не осмелится он произнести ни единого слова возражения своему более молодому, но признанному им старшим товарищу. В каждом деле, в каждой битве будет стоять он рядом с ним, на каждый призыв являться, где бы в это время ни находился, чтобы бороться вместе с ним и под его руководством.

Фарель являет собой образец того бесспорного, некритического самоотреченного послушания, которого Кальвин, фанатик субординации, в своем учении требует как высшего долга от каждого человека. Лишь одно требование за всю свою жизнь выдвинул Фарель Кальвину в первый час их встречи: Кальвин как единственный достойный должен принять в Женеве духовное руководство и построить здание Реформации, завершить которое ему, Фарелю, не по плечу.

Позже Кальвин напишет, как долго и горячо сопротивлялся он, прежде чем принять это неожиданное предложение. Для человека духа чрезвычайно ответственным всегда является решение покинуть чистую сферу мышления и вступить в мутную сферу реальной политики. Он медлит, колеблется, ссылается на свою молодость, на свою неопытность; он просит Фареля, чтобы тот оставил его в творческом мире книг и проблем.

Наконец, Фарель, выведенный из терпения упрямством Кальвина, с которым тот пытается уклониться от предложения, с силой библейского пророка гремит нерешительному богослову: «Ты отговариваешься своими занятиями. Но от имени всемогущего Бога возвещаю тебе: ты навлечешь на себя проклятье Божье, если откажешь в своей помощи делу Божьему и будешь искать большее, чем Христа».

Лишь этот призыв оказывается решающим и определяет его дальнейшую жизнь. Он соглашается построить в Женеве новый порядок: то, что он до сих пор обозначил идеями и словами, должно стать делом. Отныне вместо книги он будет пытаться придать городу, государству формы собственной воли.



Современники о своем времени всегда знают очень мало. Незаметно мимо их внимания проходят важнейшие мгновения жизни, почти никогда действительно решающие часы не получают достойной, заслуженной ими оценки. Так и секретарь женевского Совета в протоколе от 5 сентября 1536 года, записывая предложение Фареля поставить на длительное время некоего кандидата на должность *lecteur de la Sainte Escripiture**, не позаботился указать имя человека, который создаст Женеве славу на столетия. Секретарь Совета фиксирует лишь тот факт, что Фарель предложил *iste Gallus*, этого француза, как человека, который сможет продолжить его, Фареля, проповедническую деятельность. И это все. Стоит ли утруждать себя и выписывать в протокол имя нового проповедника? И вот магистрат принимает решение — определить незначительное содержание этому не имеющему никаких средств к существованию иностранному проповеднику. Магистрат города Женевы пока еще считает, что он всего лишь определил на работу мелкого служащего, который будет так же скромно и послушно выполнять порученную ему работу,

*Здесь: учителя, толкователя Священного писания (фр.).

как какой-нибудь школьный учитель, стражник у ларя с каз-ной или палач.

Впрочем, славные советники магистрата — не ученые, в часы досуга богословских произведений они не читают, и на-верняка ни один из них до сих пор даже не перелистал «*Institutio religionis Christianae*» Кальвина. Ибо в противном случае они ужаснулись бы, ведь там ясно и категорично ска-зано, какую полноту власти определяет «*iste Gallus*» пропо-веднику в общине: «Пусть ясно будет здесь описана власть, которой церковь должна облачить проповедников. Поскольку их предназначение — быть управляющими душ человеческих и провозвестниками слова Божьего, они могут все, они вправе принудить всех великих и могущественных лиц этого мира преклониться перед величием Божиим и служить ему. Они вправе приказывать всем — от самых высших до самых ни-зших, они обязаны насаждать устав Божий и разрушать госу-дарство сатаны, стеречь овец и уничтожать волков, они обязаны наставлять и воспитывать послушных, обвинять и уничтожать противящихся. Они вправе обязывать и освобож-дать, метать громы и молнии, но все это — в соответствии со словом Божиим».

Эти слова Кальвина — «проповедники вправе приказывать всем — от самых высших до самых низших», — безусловно, не были известны членам женеvского магистрата, в против-ном случае они не поспешили бы отдаться в руки этому ненасытному человеку. Не подозревая, что этот французский эмигрант, которого они призвали в свою церковь, с самого начала был полон решимости стать господином города и государства, они дали ему должность и звание. Но с этого дня власть их кончилась, ибо, обладая неумемной энергией, Каль-вин завладеет всем, беспощадно будет добиваться выполне-ния своих тоталитарных требований и превратит таким об-разом демократическую республику в теократическую дик-татуру.

Уже первые меры, принятые Кальвином, свидетельствуют о дальновидности этого человека, о целеустремленной его решимости. «Когда я впервые пришел в эту церковь, — пишет он позже об этих женеvских временах, — ничего не было. Проповедовали — и только. Выискивали иконы и сжигали их. Но Реформации не было, все находилось в беспорядке». Кальвин — прирожденное олицетворение организованности: все беспорядочное, несистематизированное противно его математически педантичной натуре. Если хочешь воспитать людей в новой вере, нужно прежде всего объяснить им, чему они должны верить. Они должны уметь отчетливо различать, что разрешено, а что запрещено; каждое духовное государство, как и любое земное, должно иметь определенные границы и законы. Поэтому уже через три месяца Кальвин предлагает Совету написанный им катехизис*, в котором в ста двадцати параграфах с максимальной краткостью сформулированы основные положения нового евангелического учения, и Совет принимает этот катехизис, содержащий в себе, подобно декалогу, десяти библейским заповедям, сущность новой веры.

Но Кальвину этого мало; он требует безоговорочного послушания в мельчайших деталях. Его ни в коей мере не удовлетворяет, что учение сформулировано, ведь у одиночек еще остается некоторая свобода, они еще вольны сами решать, с какой строгостью им следовать этому учению. Кальвин же в вопросах своего учения, в вопросах нравов и морали не терпит абсолютно никакой свободы. Он не желает оставить этим одиночкам никакой свободы в их убеждениях.

По его представлениям, церковь — как авторитарный институт — имеет не только право, но обязана принуждать силой всех людей к безусловному послушанию и неумолимо наказывать даже простое равнодушие. «Пусть другие думают иначе, я не считаю, что наши проповедники могут сидеть сложа руки,

* Катехизис — поучение, наставление, руководство, в краткой форме излагающее основные положения христианского вероучения. — *Примеч. пер.*

полагая свой долг выполненным, если проповедь прочитана». Его катехизис — не только директива веры, он должен стать законом государства; поэтому Кальвин требует от Совета, чтобы власти города Женевы заставили каждого горожанина публично признать этот катехизис.

Десяток за десятком бюргеры, как школяры, под наблюдением *anciens** должны отправиться в кафедральный собор и там, подняв правую руку, принести клятву, зачитанную государственным секретарем, в том, что они будут следовать этому катехизису. Того же, кто откажется дать такую клятву, следует немедленно изгнать из города. И это означает, что ни один горожанин, хотя бы на волосок отклонившийся в духовных вопросах от воззрений и требований Жана Кальвина, не будет иметь отныне права жить в стенах города Женевы. Теперь в Женеве покончено с провозглашенной Лютером «свободой христианина», с представлениями, что религия является делом личной совести человека. Разум победил мораль, буква — смысл Реформации. С того момента, как Кальвин вошел в город, в Женеве покончено с любым видом свободы, отныне здесь над совестью каждого бюргера господствует единственная воля.

Но никакая диктатура немыслима и невозможна без насилия. Тот, кто желает сохранить власть, должен иметь в своих руках силу; кто желает повелевать, должен иметь также право и наказывать. Должность, которую Кальвин получил у женевского магистрата, не дает ему никаких прав издавать распоряжения об изгнании из города за проступки перед церковью. Советники приняли на работу «*lecteur de la Sainte Escripiture*» для того, чтобы он излагал верующим Библию, проповедника, чтобы он проповедовал и призывал прихожан к истинной вере. Наказывать же горожан за нарушение ими правовых и нравственных норм Совет, само собой разумеется, считал своей прерогативой. Ни Лютер, ни Цвингли, никто другой из реформаторов и не пытался до сих пор оспаривать у гражданских

* Старейшины (*фр.*).

властей ни эти права, ни эту власть; Кальвин же, как личность авторитарная, всю свою титаническую волю немедленно направляет на то, чтобы превратить магистрат лишь в исполнительный орган, осуществляющий проведение в жизнь его, Кальвина, приказов и распоряжений. И поскольку закон ему эти права не дает, он берет их сам с помощью института отлучения от церкви: гениальным ходом он превращает религиозное таинство в средство давления и насилия личного характера.

Теперь кальвинист-проповедник допустит к «причастию господнему» только того бюргера, моральное поведение которого ему лично кажется безупречным. Тот же, кому проповедник откажет в причастии — и здесь-то проявляется вся сила этого оружия, — обречен на гражданскую смерть. Никто не имеет права разговаривать с этим несчастным, ничего не смеет ему продать или купить у него; таким образом, меры наказания, казалось бы, чисто церковного характера тотчас же превращаются в социальный и экономический бойкот; если же этот исключенный из общества человек не сдастся, отказываясь совершить предписанное проповедником публичное покаяние, Кальвин прикажет его изгнать. После этого противник Кальвина, будь он самым почитаемым бюргером, не сможет долго жить в Женеве; теперь гражданские права всякого неугодного клиру человека находятся под угрозой.

Подобно громовержцу, Кальвин может уничтожить всякого, кто оказывает ему сопротивление; одним смелым ходом он получил такое средство устранения, каким до сих пор не располагал ни один епископ города. Для того чтобы католическая церковь приняла решение об отлучении, требовалось пройти бесчисленные инстанции — от высоких до наивысших. Отлучение было актом надличным, свободным от произвола отдельного лица; Кальвин же, целеустремленный и неумолимый в своей воле к власти, отдает право изгнания в руки проповедников и консистории, превращая эту ужасную меру едва ли не в обычное наказание и как психолог, хорошо рассчитавший эффективность террора, увеличивает свою власть до невиданных разме-

ров, используя страх перед этой мерой наказания. С огромным трудом магистрату удастся добиться лишь того, что совершение обряда причащения будет проводиться раз в три месяца, а не ежемесячно, как этого требует Кальвин. Но свое ужасное оружие Кальвин никогда не отдаст, ведь только с его помощью может он по-настоящему начать свою борьбу за единовластие.



Обычно требуется некоторое время, чтобы люди заметили, что преходящие преимущества диктатуры — более суровую дисциплину, возросшую коллективную ударную силу — им приходится оплачивать личными правами и что каждый новый закон неизбежно ведет к потере какой-нибудь старой свободы. И в Женеве это начинают понимать не сразу. Горожане — независимые люди — с открытым сердцем собрались на рыночной площади, чтобы поднятием руки признать новую веру. Но их республиканская гордость возмущается, когда их, словно галерников, десяток за десятком под надзором слуги закона гонят через весь город, чтобы в церкви торжественной клятвой присягнуть в верности каждому параграфу катехизиса господина Кальвина. Не для того они отстаивали более суровые нравственные правила, чтобы оказаться под постоянной угрозой изгнания или анафемы, едва этот новый проповедник или его прихвостни вдруг обнаружат, что ты весело пел за стаканом вина или носил одежду, которая господину Кальвину или господину Фарелю показалась слишком яркой или слишком богатой.

И женевские бюргеры начинают спрашивать себя: кто они, собственно, эти люди, которые так властно себя ведут? Старожилы, много труда положившие на дело возвеличения и обогащения города, проверенные патриоты, за многие столетия породнившиеся с лучшими семействами города? Нет, это только что появившиеся в городе иммигранты, беглецы из другой страны, из Франции. Здесь им было оказано гостеприимство, им дали приют и хорошо оплачиваемые должности, а теперь этот сын таможенника из соседней страны, прихватив-

ший с собой в тепленькое гнездышко и своего брата, и своего шурина, теперь он, видите ли, осмеливается оскорблять их, коренных жителей города, устраивать им головомойку! Он, беженец, их служащий, присваивает себе право определять, кто может оставаться в Женеве, а кто — нет!

Когда диктатура только-только зарождалась, сопротивление имело еще известную силу, ведь свободные души пока не связаны, а независимые — не изгнаны; республикански настроенные женеvцы открыто говорят, что не желают, чтобы с ними обращались «как с грабителями». Бюргеры целыми улицами, и прежде всего с Rue des Allemands*, отказываются дать требуемую от них присягу, они мятежнически ропщут, заявляя, что не станут присягать, не станут по приказу только что появившегося здесь нищего француза покидать родной город. Правда, Кальвину удается понудить преданный ему Малый совет к заявлению, что отказавшиеся принести клятву будут изгнаны, но проводить в жизнь эту непопулярную среди жителей города меру наказания магистрат все же не решает. Результаты выборов в магистрат ясно показывают, что большая часть граждан города крайне недовольна произволом Кальвина. На выборах в феврале 1538 года его верные последователи теряют большинство; еще раз демократия Женевы показала свою способность защищаться от авторитарных притязаний Кальвина.

* * *

Кальвин стремительно рвется вперед. Политические идеологи всегда недооценивают сопротивление, основанное на инертности человеческой природы, всегда они считают, что решающие новшества в реальной действительности могут быть осуществлены так же быстро, как в сфере их умозаключений. Благоразумие должно было бы подсказать Кальвину, что, поскольку ему не удалось привлечь на свою сторону светские власти, следует стать помягче, его дело все еще популяр-

* Немецкой улицы (фр.).

но, да и вновь избранный муниципалитет не враждебен ему, а лишь осторожен, осмотрителен. Даже самые ярые противники Кальвина очень скоро поняли, что в основе его фанатизма лежит страстное стремление к насаждению в городе нравственности, что движущая пружина этого необузданного человека — великая идея, а не узкое честолюбие. Его товарищ по борьбе — Фарель — все еще кумир молодежи и улицы; так что напряженность можно было бы снять легко, обладай Кальвин несколько большим дипломатическим благоразумием и пожелай приспособить свои крайние, уязвимые с точки зрения установившихся в Женеве традиций требования к более умеренным взглядам горожан.

Но это невозможно. Препятствие этому — гранитная сущность Кальвина, его железная твердость. Ничто на протяжении всей его жизни не было так чуждо этому zelоту, как соглашения, компромиссы. Кальвин не знает компромиссных решений; ему известно только одно решение — его собственное. Или все, или ничего, полная авторитарность или полная покорность. Никакого компромиссного решения он никогда не примет, ибо власть и сохранение власти настолько органично присущи ему, что ему и в голову не может прийти мысль, что кто-нибудь другой также имеет какие-то права, такое он понять не в состоянии.

Для Кальвина остается аксиомой то, что ему надлежит учить, а другим — учиться у него; в честной убежденности он говорит дословно следующее: «Мне от Бога дано то, чему я учу, и это укрепляет мое убеждение в собственной правоте». С ужасающе зловещей самонадеянностью он приравнивает свои утверждения к абсолютной истине: «Dieu m'a fait la grâce de déclarer ce qu'est bon et mauvais»*, и каждый раз этот одержимый чувством собственной непогрешимости человек впадает в бешенство, если кто-нибудь решится высказать свое мнение, расходящееся с его, Кальвина, мнением.

Возражение порождает у Кальвина нечто вроде нервного

* Богом ниспослано мне право объявлять, что плохо, а что хорошо (*фр.*).

припадка, душевные волнения до предела раздражают его тело, вызывая спазматические боли в желудке, им овладевает жестокая ярость, а если противник к тому же еще обстоятельно и научно обоснует свои доводы, то сам факт, что кто-то решается думать иначе, этого человека превращает в личного смертельного врага Кальвина, а следовательно, во врага всего человечества, во врага Бога. Шипящими змеями, лающими собаками, бестиями, негодяями, сатанинскими прислужниками — так именует выдающихся гуманистов и богословов своего времени этот в частной жизни чересчур умеренный человек; даже чисто академические возражения Кальвину воспринимаются им как оскорбление в слуге Божьем «чести Божьей», едва кто-либо решится назвать проповедника St. Pierre ad personam* властолюбивым, авторитарным, это означает, что «церковь Христова находится в опасности».

Кальвин признает лишь такой диалог, когда собеседник принимает его, Кальвина, мнение: всю жизнь этот, в остальном прозорливый, человек ни мгновения не сомневается в своем, исключительно своем праве излагать слово Божье, считая его в своем изложении единственно истинным. Но как раз благодаря этой твердолобой вере в непогрешимость своих взглядов, благодаря этой проповеднической одержимости, этой грандиозной тирании идеи Кальвин победил в реальной действительности; лишь эта гранитная незыблемость, эта ледяная, нечеловеческая косность объясняет тайну его политического триумфа. Ибо только такая одержимость, такая чудовищно ограниченная убежденность в правоте своих догматов делает Кальвина вождем. Так, легко поддающееся внушению человечество никогда не подчинилось терпеливым, снисходительным праведникам, всегда — великим мономанам, которым доставало решимости провозгласить свою правду как истину в конечной инстанции, свою волю — как основную формулировку мировых законов.

Поэтому на Кальвина не производит никакого впечатле-

* Св. Петра лично (лат.).

ния то, что настроенное против него большинство нового Совета города очень вежливо дает ему понять, что ради мира в городе ему следует отказаться от дикой политики отлучения от церкви и присоединиться к более мягким воззрениям Бернского Синода; такой упрямый человек, как Кальвин, никакого справедливого мира не примет, если из-за этого ему придется уступить хотя бы самую пустяковую мелочь. Любой компромисс совершенно невозможен для его авторитарной натуры, и так как магистрат противится ему, он, требующий от всех других безусловного подчинения любой власти, совершенно не задумываясь, становится мятежником, восстает против власти. Открыто с кафедры поносит он Малый совет и объявляет, что «предпочтет умереть, чем отдать святое тело господне на растерзание собакам». Другой проповедник в церкви именуется Совет города «сборищем пьяниц»; твердо и незыблемо, словно скала, приверженцы Кальвина дают отпор городским властям.

Но магистрат не может терпеть такие провокационные выступления проповедников против его авторитета. Сначала он недвусмысленно указывает, что с церковных кафедр должно излагать исключительно только слово Божье, что пользоваться церковной кафедрой в политических целях запрещается. Но поскольку Кальвин и его приверженцы хладнокровно оставляют этот приказ без внимания, магистрату ничего иного не остается, как запретить проповедникам выступать с церковных кафедр; наиболее же агрессивный из них, Курто, за открытое подстрекательство, как бунтовщик берется под стражу. Тем самым государственная власть объявляет открытую войну власти церковной.

Кальвин решительно принимает ее. Сопровождаемый своими приверженцами, он пробивается в кафедральный собор Св. Петра, упрямо вступает на запрещенную ему кафедру, и, так как его сторонники и противники прорываются в собор с оружием (одни — для того, чтобы слушать запрещенную проповедь, другие — чтобы ее запретить), возникает свалка, едва ли не сделавшая пасху кровавой. Тут терпение магистрата

лопается. Он созывает Большой «Совет 200», высшую инстанцию города, и ставит вопрос о том, чтобы Кальвин и другие проповедники, злонамеренно пренебрегшие приказом магистрата, покинули город. Подавляющим большинством Совет принимает это решение. Мятежных священников освобождают от занимаемых ими должностей и приказывают им в течение трех суток покинуть город. Изгнание, которым Кальвин последние восемнадцать месяцев угрожал такому большому количеству горожан Женевы, суждено теперь ему самому.

* * *

Первая атака Кальвина на Женеву окончилась неудачей. Но в жизни диктатора такая неудача совсем не опасна. Наоборот, почти всегда подобная неудача помогает продвижению вперед, если человек с задатками неограниченного властелина сможет вынести такой удар в начале своей деятельности. Ссылка, тюрьма, изгнание революционера мирового масштаба никогда не подавляют его деятельности, нет, всегда они ведут к росту его популярности; чтобы массы тебя боготворили, следует стать мучеником, а преследования со стороны ненавистной системы, как правило, создают народному вождю предпосылки для его последующего успеха у масс, ибо всякие явные, заметные народу гонения способствуют тому, что нимб будущего вождя приобретает все более и более мистическое значение. Большому политику необходимо время от времени отступать на задний план; невидимый, он становится легендой, его имя, словно облаком, окутывается прославляющей его молвой, и когда он возвращается, то встречает его стократно усиленное ожидание, возникшее без его участия, как бы из воздуха. Почти все народные герои Истории наиболее сильную эмоциональную власть над своей нацией обрели благодаря изгнанию: Цезарь, находясь в Галлии, Наполеон — в Египте, Гарибальди — в Южной Америке, Ленин — за Уралом, все они стали сильнее вследствие своего отсутствия, чем если бы все время находились со своим народом; сказанное относится и к Кальвину.

Разумеется, в этот час изгнания Кальвин кажется всем человеком конченным. Его организация разгромлена, его дело полностью потерпело провал, и ничего не осталось от его достижений, разве что только воспоминание о фанатической воле к порядку да два десятка надежных друзей. Но, как всегда, всем политическим натурам, не желающим заключать компромиссные договоры и решающим в опасные мгновения отступить, на помощь приходят ошибки их премников и противников. Вместо представительных, заметных личностей, Кальвина и Фареля, магистрат с большим трудом подбирает несколько покладистых проповедников, которые, боясь крутыми мерами отпугнуть народ, потерять у него популярность, предпочитают не натягивать поводья и небрежно отпускают их. Столь энергично и, пожалуй, даже сверхэнергично начатое Кальвином строительство здания Реформации в Женеве при них очень скоро приостанавливается, и в вопросах веры горожанами овладевает такая неуверенность, что оттесненная было католическая церковь постепенно набирается новых сил и с помощью умных посредников пытается вновь отвоевать Женеву для римской веры.

Ситуация становится все более и более критической, постепенно те самые бюргеры, некогда принявшие учение Реформации, для которых Кальвин был слишком тверд и жесток, теряют спокойствие и начинают спрашивать друг друга, а не является ли в конце концов та железная дисциплина более приемлемой для города, чем угрожающий ему хаос. Все больше горожан, даже прежние противники Кальвина, настаивают на возвращении изгнанников, и наконец магистрату приходится последовать всеобщему желанию народа. Первые послания и письма к Кальвину пока еще исподволь, осторожно выведывают отношение к этому Кальвина, но вскоре они становятся открытыми и более настойчивыми. Приглашение превращается в просьбу: Совет не пишет более к *Monsieur**

*Господин, сударь (фр.).

Кальвину, что он мог бы вернуться, чтобы помочь городу, теперь беспомощные, растерянные советники едва ли не коленапреклоненно обращаются к Maitre* Кальвину, прося «доброе брата и единственного друга» вновь вернуться на место проповедника, причем дают обещание «вести себя так, чтобы он имел все основания быть ими довольным».

Если бы Кальвин был личностью заурядной, он довольствовался бы таким дешевым триумфом и принял бы мольбы о возвращении в город, из которого два года назад с таким позором был выброшен. Но тот, кто хочет иметь все, никогда не удовлетворится половиной, и в наисвященнейшем для Кальвина деле речь идет не о личном честолюбии, а о победе авторитета. Он не желает, чтобы вторично какая бы то ни было власть сдерживала его в деле, которому он так беззаветно предан. Он вернется в Женеву лишь тогда, когда в городе будет господствовать только одна власть — его. Пока город не отдастся ему со связанными руками и клятвенно не заверит, что готов во всем ему подчиняться (*subordonner*), Кальвин не дает своего согласия и тактически — с подчеркнутым отвращением — отправляет назад настойчивые приглашения. «Я соглашусь скорее сто раз умереть, чем вновь начать прежнюю мучительную борьбу», — пишет он Фарелю.

Ни шага не делает он навстречу своим противникам. Наконец магистрат становится на колени перед Кальвином, прося его вернуться, даже его ближайший друг Фарель теряет терпение и пишет ему: «Не ждешь ли ты, чтобы и камни возопили к тебе?» Кальвин же остается твердым, он не уступит, пока Женева не сдастся на милость победителя. Лишь тогда, когда они произнесут клятву придерживаться катехизиса и его учения, после того, как советники магистрата направят униженные письма в Страсбург, умоляя тамошних бюргеров братски помочь уговорить этого несокрушимого человека вернуться в Женеву, лишь тогда, когда Женева унижится не только перед самой собой, но и перед всем светом, Кальвин сдастся и объявит наконец, что

* Учитель (фр.).

согласен принять свою прежнюю должность с новыми полномочиями и с другими, неизмеримо большими правами.

Женева, словно сдавшийся на милость завоевателя город, готовится к въезду Кальвина. Сделано все, что только можно измыслить, чтобы смягчить его недовольство. Поспешно вновь вводятся старые суровые эдикты, дабы Кальвин убедился в том, что его религиозные приказания уже исполняются; Малый совет выбирает для столь страстно ожидаемого человека соответствующее жилье с садом и обеспечивает дом всем необходимым в хозяйстве. Специально перестраивается старая кафедра в соборе Св. Петра — чтобы с нее было удобнее произносить проповеди и чтобы Кальвина можно было видеть всем присутствующим в соборе. Почести следуют за почестями: еще прежде, чем Кальвин отбыл из Страсбурга, ему на встречу выслан герольд, чтобы приветствовать его от имени города, семья Кальвина перевозится в Женеву на средства горожан.

Наконец 13 сентября дорожная карета приближается к Корнавинским воротам, и тотчас же собираются огромные толпы людей, чтобы с ликованием ввести вернувшегося изгнанника в стены города. Мягким и податливым, словно глина, получил сейчас Кальвин город в свои руки, и теперь он его уже не выпустит, пока не создаст из него художественное произведение — свою овеществленную идею. С этого часа отделить их друг от друга невозможно — Кальвина и Женеву, дух и форму, творца и творение.

«УЧЕНИЕ»

В тот час, когда этот тощий, черствый человек в черной развевающейся священнической рясе вошел через Корнавинские ворота в город, начался эксперимент, едва ли не самый значительный в истории человечества: государство, состоящее из бесчисленных живых существ, должно превратиться в механизм, народ со всеми своими чувствами и мыслями — в

некую единую систему; это — предпринятая здесь, в центре Европы, во имя некой идеи первая попытка полной унификации целого народа. С демонической последовательностью, с поразительной систематизированной продуманностью идет Кальвин к исполнению своего смелого плана, он желает создать в Женеве первое царство Божье на земле: человеческое сообщество без человеческой низости, без коррупции, беспорядков, пороков и грехов, поистине новый Иерусалим, от которого должно исходить спасение всего мира — отныне только эта одна-единственная идея станет его жизнью, а жизнь его, в свою очередь, будет отдана беззаветному служению этой единственной идее.

С чудовищно страшной строгостью, со священной честностью относится к этому Кальвин, этот железный идеолог, с его величественной утопией, и ни на одно мгновение за четверть века своей духовной диктатуры он не усомнится в том, что беспощадное лишение людей личной свободы им только полезно. Всеми своими требованиями, всеми своими невыносимыми сверхтребованиями этот благочестивый деспот будет добиваться от людей лишь одного и ничего более — чтобы они жили правильно, то есть чтобы они жили в соответствии с волей и предписаниями Божьими.

Действительно, как это звучит просто и предельно ясно. Но как распознать Божью волю? И где найти их, Божьи предписания? В Евангелии, отвечает Кальвин, только в Евангелии. Там, в непреходящем писании, присутствуют дыхание и жизнь Божьей воли и Божьего слова. Не случайно священные книги сохранились до нашего времени. Бог однозначно и недвусмысленно вложил в слова свою волю, свои предписания для передачи потомкам затем, чтобы его требования были хорошо известны всем людям и неукоснительно ими приняты. Евангелие существовало до церкви, стоит оно над церковью, по ту сторону и вне (*en dehors et au delà*) писания никакой иной истины нет. Поэтому в истинно христианском государстве Божье слово, *la parole de Dieu*, должно считаться единственной нормой морали,

мышления, веры, права и жизни, ибо это — книга наивысшей мудрости, наивысшей справедливости, наивысшей истины. Альфа и омега всего для Кальвина — Библия, все решения и дела основываются на записанном в ней слове.

Похоже, этим возведением слова Священного писания в ранг наивысшей инстанции всего земного Кальвин лишь повторяет хорошо известное основное требование Реформации. В действительности же он делает гигантский шаг в сторону от Реформации и даже полностью отходит от ее первоначальной идеи. Ведь Реформация началась как движение за религиозно-духовную свободу, она хотела, чтобы каждый без посредников разбирался в Евангелии; она хотела, чтобы не папа в Риме, не Синод, а сами люди формировали в себе христианство. Эту выраженную Лютером «свободу христианина»*, как, впрочем, и другие формы свободы, Кальвин неумолимо отбирает у человека; слово Божье совершенно понятно только ему, поэтому он диктаторски требует, чтобы было покончено с любыми толкованиями Божьего учения, поскольку все они, по его мнению, превратны; чтобы церковь не прекратила свое существование, слово Божье должно стоять неколебимо, как каменные устои кафедрального собора: «аки твердь земная». Не как *logos spermatikos*, не как вечно творящая и преобразовывающая Истина должно оно жить и действовать, нет, оно должно существовать в раз и навсегда определенном Кальвином изложении.

Этим требованием *de facto* вместо папской вводится новая, протестантская ортодоксия, и эту форму догматической диктатуры по праву называли библиократией. Ибо теперь единственная книга является законом Женевы — книга Бога-законодателя, а Кальвин — ее проповедник, единственно признанный толкователь законов Божьих. Он — законодатель (в духе Библии Моисея), его власть над королями и над народом

* Имеется в виду памфлет М. Лютера «О свободе христианина», адресованный папе римскому, в котором отстаивается принцип внутренней свободы христианина от притязаний церкви. — *Примеч. пер.*

неоспорима. Не магистрат, не гражданское законодательство — исключительно лишь толкование Библии консисторией определяет теперь, что разрешено и что запрещено, и горе тому, кто осмелится противиться в чем бы то ни было этому принуждению, этому насилию! Каждый несогласный с диктатурой проповедника будет судим как бунтовщик, восставший против Бога, и этот комментарий к Священному писанию будет написан вскорости кровью. Возникшая из освободительного движения догматическая деспотия жестче и суровее относится к идее свободы, чем любая унаследованная власть. Люди, пришедшие к власти через насилие, всегда самые нетерпимые, самые беспощадные гонители любой реформы.



Все диктатуры начинаются с идеи. Но каждая идея приобретает форму и окраску человека, который ее осуществляет. И учение Кальвина, как творение духа, физиогномически неминуемо должно стать подобным своему создателю; и действительно, достаточно посмотреть на его портрет, чтобы уже наперед знать, что его учение неизмеримо более сурово, более мрачно и недоброжелательно, чем любая до сих пор существовавшая экзегеза, толкование христианства.

Лицо Кальвина, подобное карсту, как некий одинокий, оторванный от жизни скалистый ландшафт, полно немой отрешенности: в нем ничего от человека, разве что — от Бога. Все, что делает жизнь плодородной, обильной, цветущей, теплой и чувственной, отсутствует в этом облике — недобром, безжалостном, аскетическом, лишенном признаков возраста. Все жестко и некрасиво, угловато и негармонично в этом мрачном продолговатом овале: узкий и суровый лоб, под которым, словно раскаленные угли, мерцают глубоко сидящие, утомленные бессонными ночами глаза, острый крючковатый нос, властно торчащий между впалыми щеками, узкий, словно ножом вырезанный рот — едва ли кто видел его смеющимся.

Ни одного теплого пятна румянца нет на сухой, пепельной,

увядшей коже; похоже, какая-то внутренняя лихорадка, словно вампир, высосала всю кровь из щек, такие серые и впалые они, так болезненны и блеклы они, за исключением тех коротких мгновений, когда гнев воспламеняет их чахоточными пятнами. Конечно, длинная борода библейского пророка (все его ученики, рабски подражая ему, носят подобные бороды) не придает этому желчному лицу хотя бы видимость мужской силы. И эта борода, жидкая и скудная, не ниспадает могуче, окладисто, как у Бога-отца, а торчит тонкими редкими пучками, словно тощий кустарник из трещин скалы.

Горячечным, сжигаемым своим духом, легко приходящим в экстаз выглядит Кальвин на портретах, и можно, пожалуй, посочувствовать этому очень усталому, находящемуся в состоянии крайнего возбуждения, разрываемому своей страстностью человеку; но внезапно ужасаешься, переведя взгляд ниже, увидев руки Кальвина, зловещие руки алчного человека, худые, костлявые, бесцветные руки, готовые холодно, железной хваткой, словно когтями, схватить все, что могут ухватить, и, уж коли захватили, сумеют яростно удержать своими жесткими, жадными суставами.

Невозможно себе представить, чтобы эти костлявые руки когда-нибудь могли нежно держать цветок, ласкать теплое тело женщины, чтобы были хоть раз сердечно и весело протянуты навстречу другу; это руки беспощадного человека, и достаточно только на них посмотреть, чтобы почувствовать ту грандиозную и страшную силу властвования и удержания власти, исходящую от Кальвина на протяжении всей его жизни.

Какое мрачное, неприветливое, какое одинокое, отгалкивающее лицо у Кальвина! Непостижимо, чтобы кто-либо захотел иметь в своей комнате на стене портрет этого неумолимо требующего и предостерегающего человека, сам воздух покажется холодным, лишь почувствуешь на себе неотступно следящий, поразительно недоброжелательный взгляд. Представляется, что Кальвина лучше всех нарисовал бы Сурбаран в испанско-фанатической манере, как он рисовал аскетов и анахоретов: темными красками на темном фоне,

отрешенного от мира и живущего в пещере; перед ним Библия, обязательно Библия, и, пожалуй, еще череп или крест — единственные символы духовной и священнической жизни; вокруг же — холодное и черное, надменное одиночество.

Всю свою жизнь жил он в холодной атмосфере презрения к людям, атмосфере, изолирующей его от окружающего мира. С самой ранней юности он постоянно одевается в безжалостное черное. Черный берет на низком лбу, то ли клобук монаха, то ли шлем ландскнехта, черная широкая, ниспадающая до башмаков мантия — одеяние судьбы, постоянно наказывающего людей, одеяние врача, который вечно должен излечивать их души, их плоть от язв. Все черное, всегда черное, цвет суровости, цвет смерти и беспощадности. Едва ли кто-нибудь видел Кальвина иначе, чем в вызывающем страхе священническом облачении, а он именно этого и хотел — чтобы его боялись, как слугу господнего, а не любили, как человека, как брата.

Но жестокий ко всему миру, он был жесток и к себе самому. Всю жизнь держал он свое тело в строжайшем повиновении, лишь самое необходимое для питания, для отдыха позволял он себе, всегда ради духовного пренебрегая плотским. Три часа, самое большое — четыре, для сна ночью, единственная в день скромная еда, да и то принятая наспех, при раскрытой Библии. Никаких прогулок, никаких игр, никакой радости, ни минуты разрядки, никогда никаких удовольствий; в конечном счете фанатически самоотверженный, Кальвин существовал только для религии — думал, писал, проповедовал, но ни часу не жил для себя.

Эта абсолютная бесчувственность, эта старость с рождения наиболее характерны для Кальвина; неудивительно, что именно он сам представлял собой наибольшую опасность для своего учения. Если другие реформаторы считают, что наиболее верно служат Богу, с благодарностью принимая от него все дары жизни, если все они, от рождения здоровые люди, радуются своему здоровью и наслаждаются им, если Цвингли, священник, имеет внебрачного ребенка, а Лютер однажды,

смеясь, создал новую поговорку: «Хозяйка не позволит, позволит служанка», если они лихо чревоугодничают и бражничают, у Кальвина все чувственное либо совершенно подавлено, либо сохранилась лишь слабая его тень, едва заметные следы.

Как фанатичный интеллеktуал, он полностью проявляется в духе и слове; лишь логически ясное для него истинно, лишь упорядоченное понимает он и терпит, а не выдающееся, не исключительное. Ничто пьянящее — ни вино, ни женщины, ни искусство — его совершенно не интересует, ни от каких Божьих даров земли этот фанатичный трезвенник не получает и не желает получать удовольствие. Когда в соответствии с требованиями Библии он решает жениться, сватовство происходит до комичного деловито и холодно, так, как если бы дело шло о приобретении книг или о покупке нового берета. Вместо того чтобы самому участвовать в смотринах, он поручает другу выбрать подходящую для него жену и при этом едва не попадает впросак: этому заклятому врагу чувственности сватают распутную особу; только чудом не связывает он себя с ней на всю жизнь.

Наконец этот человек, не верящий в радости жизни, женится на вдове обращенного им перекрещенца, но судьба не желает, чтобы он сделал кого-либо счастливым либо был счастлив сам. Зачатый с холодной страстью, их ребенок, с холодной кровью в жилах, оказывается (так и хочется сказать естественно) нежизнеспособным. Через несколько дней он умирает, вскоре умирает и жена; для тридцатилетнего вдовца с супружескими обязанностями покончено навсегда. До своей смерти, двадцать лучших лет мужчины, этот добровольный аскет, преданный только духовному, только религиозному, только своему учению, не коснется ни одной женщины.

Но, подобно духу, телу человека надо дать возможность расцвести, проявить свои силы, и страшно наказывает оно того, кто его насилует. Любой орган человеческого тела инстинктивно стремится проявиться возможно полнее там, где ему предопределено природой. Кровь время от времени жела-

ет двигаться быстрее, сердце — горячей биться, легкие — расpirаться от ликования, мускулы — двигаться интенсивнее, сперма — извергнуться, и тот, кто сознательно и постоянно сдерживает эти жизненные проявления, противится им, очень скоро почувствует, что эти органы восстали против него.

Страшна месть, которую тело уготовило своему поработителю: если этот аскет, этот деспот не желает замечать свои нервы, не считается с ними, нервы, чтобы показать, что они существуют, доставляют ему невыносимые страдания. Вероятно, мало кого из людей интеллекта так мучили всевозможнейшие телесные недуги, как Кальвина. Бесперывно следует одна болезнь за другой, едва ли не в каждом письме Кальвин сообщает о новом вероломном нападении неожиданной болезни. То это мигрени, на несколько дней бросающие его в постель, то боли в желудке, головные боли, геморрой, колики, простуды, нервные судороги и кровоизлияния, камни в печени и карбункулы, то это перемежающаяся лихорадка или лихорадочный озноб, ревматизм или заболевание мочевого пузыря. Постоянно должны быть возле него врачи, чтобы тот или иной орган этого нежного, непрочного тела не вызвал в нем жестоких страданий. И, тяжело вздыхая, Кальвин напишет однажды: «Моя жизнь подобна непрерывному умиранию!»

Но Кальвин девизом избрал себе слова: *per mediam disperationem progumpere convenit* (с растущими силами вырваться из глубин отчаяния); демоническая духовная энергия не позволяет ему ни часу оставаться без работы. Кальвин, несмотря на сопротивление тела, постоянно вновь и вновь доказывает телу нечеловеческую волю своего духа; если из-за лихорадки он не может добрести до кафедры, то, чтобы все же произнести проповедь, приказывает нести себя в церковь на носилках. Если он не в состоянии добраться до ратуши на заседание Совета, то члены магистрата проводят заседание в его доме. Лежит он в лихорадочном ознобе в постели под четырьмя-пятью одеялами, укутывающими сотрясаемое дрожью тело, — рядом сидят два или три служки, которым он попеременно диктует. Если едет он на день к друзьям в близ-

лежащее поместье, чтобы подышать свежим воздухом, его сопровождают в повозке секретари, и, едва прибыв, он уже гонит посланцев назад в город. И вновь хватается за перо, вновь начинает работу.

Невозможно представить себе Кальвина, этого демона прилежания, бездеятельным, всю свою жизнь работает он без единой передышки. Еще спят все дома города, еще не проснулось утро, но уже горит на Rue de Chancionnes * лампа на его рабочем столе, а потом, далеко за полночь, когда все кругом давно уже спит, все еще светит в его окне этот как бы вечный свет.

Продуктивность Кальвина непостижима, можно подумать, что работает он сразу четырьмя или пятью мозгами одновременно. И действительно, этот постоянно больной человек выполняет одновременно работу четырех или пяти человек разных специальностей. Собственно, его непосредственная служба — быть проповедником церкви Св. Петра — это всего лишь одна из принятых им на себя обязанностей, постепенно присваиваемых им, обуреваемым истерической жадной властью; и хотя тома напечатанных проповедей, прочитанных им в этой церкви, уже заполняют целый стеновой шкаф, и едва ли копиисту за всю его жизнь удастся переписать их, это всего лишь малая часть всей работы Кальвина.

Он — глава консистории, и та без его согласия не принимает ни одного решения, он — автор бесчисленных богословских и полемических книг, переводчик Библии, создатель университета и учредитель богословской семинарии, постоянный советник муниципалитета, офицер генерального штаба в религиозной войне, глава дипломатического корпуса и организатор протестантизма, он, этот «министр святого слова», управляет и руководит всеми министерствами своего теократического государства. Он проверяет сообщения проповедников из Франции, Шотландии, Англии и Голландии, организует пропаганду своего учения за границей, а также книгопечатание и

* Улице Каноников (фр.).

распространение книг в рамках секретной службы, своими щупальцами охватившей всю землю. Он дискутирует с другими протестантскими вождями, ведет переговоры с князьями и дипломатами.

Ежедневно, чуть ли не ежечасно, посещают его люди из-за границы; ни один студент, ни один молодой богослов, проезжающий через Женеву, не преминет явиться к нему, чтобы получить у него совет или выказать ему свое уважение. Его дом подобен почтовой станции, сам же Кальвин является — в одном лице — постоянным справочным бюро по всем государственным и частным делам; вздыхая, пишет он однажды, что не может вспомнить, имел ли за свою службу в Женеве хотя бы пару часов, когда ему никто не мешал.

От доверенных лиц из отдаленнейших стран, из Венгрии, Польши ежедневно приходят к нему письма; одновременно — священнический сан обязывает его к этому — он дает советы бесчисленным людям, обращающимся к нему за помощью. Вот эмигрант прибыл в Женеву и хочет привезти сюда свою семью: Кальвин собирает деньги, ищет ему жилье и средства к существованию. Вот кто-то собирается жениться, другой — развестись; обе дороги ведут к Кальвину, ни одно религиозное событие в Женеве не может совершиться без его согласия, без его совета. Но если бы эта страсть к автократии ограничилась только сферой религиозных вопросов! Нет, для такого человека, как Кальвин, в его жажде власти границы между религиозным и земным не существуют; как теократ, он все земное желает подчинить божественному, духовному.

Тяжело кладет он свою жестокую руку на все в городе: едва ли найдется день, чтобы в протоколе муниципалитета отсутствовало замечание: «Здесь следует испросить разрешения у Maitre Кальвина». Ничего не пропустит, ничего не просмотрит это неусыпное око, и непрерывно работающий мозг был бы достоин удивления и восхищения как чудо, если б этот феномен не таил в себе чудовищные опасности. Ведь добровольно и полностью отрешившись от радостей жизни, такой аскет духа пожелает это отречение от радостей жизни возвести в норму,

в закон и для других, будет пытаться, что для него совершенно естественно, навязывать другим то, что им несвойственно. Всегда — вот хотя бы Робеспьер — аскет — опаснейший тип деспота. Тот, кто сам полно и радостно не переживает человеческое, всегда будет бесчеловечным к людям.

Но надзор и безжалостная строгость — это фундамент той церкви, которую строит Кальвин. По воззрениям Кальвина, человек ни в коем случае не имеет права шагать по нашей земле с открытым взглядом и ясной совестью, нет, ему надлежит постоянно пребывать в «страхе Божьем», быть подавленным, покорно согбенным под тяжестью чувства своей неизбывной ущербности. Пуританская мораль Кальвина — и в этом ее сущность — приравнивает к «греху» понятие веселого и естественного наслаждения и все, что украшает и оживляет нашу земную жизнь, все, что хочет поднять душу, облегчить ее, освободить ее от напряженности; Кальвин отвергает, осуждает искусство как проявление тщеславия, как неприятные излишества.

Даже в религиозную область, с незапамятных времен связанную с мистическим, Кальвин вносит свою идеологическую рационалистичность; из церкви, из культа изымается без исключения все, что воздействует на чувства, что может смягчить, успокоить их; по его представлениям, истинно верующий должен приблизиться к божественному началу не в облаках сладкого фимиама, не сбитым с толку музыкой, не обольщенным прелестью, казалось бы, прекрасных картин и скульптур (благочестивых с виду, но богохульных по сути своей). Истина лишь в ясности, лишь во вразумляющем слове Божьей уверенности. Поэтому прочь все «преклонения перед кумирами», прочь из церкви все иконы, картины и статуи, прочь с престола господнего красочные орнаменты, требники и дарохранильницы — роскошь Богу не нужна. Долой весь расточительный дурман души, никакой музыки, никакой игры на органе во время богослужения! Даже церковные колокола в Женеве отныне должны молчать: не мертвой медью истинно верующему следует напоминать о его долге. Не внеш-

ним, показным поддерживается вера, не жертвами и дарами, только одним лишь глубоким, внутренним послушанием, поэтому никаких больше торжественных месс, никаких обрядов в церкви, долой все символы, все хитрые приемы, покончить надо с торжественностью, с празднествами!

Единым махом вычеркиваются из календаря праздники. Отменяются пасха и рождество, которые праздновались еще в римских катакомбах, отменяются дни святых, запрещены давние обычаи: Бог Кальвина не желает, чтобы его славили или любили, он требует одного — чтобы его боялись. Заносчивостью это будет называться, если человек в экстазе, в избытке чувств пытается пробиться к Богу, вместо того, чтобы издали в смиренном благоговении служить ему.

И во всем этом — глубочайший смысл переоценки ценностей Кальвина: для того, чтобы возможно выше поднять над миром божественное, необходимо неизмеримо принизить земное; для того, чтобы идея Бога поднялась на недостижимую высоту, Кальвин унижает идею человечности, лишает ее всяческих прав. Никогда этот мизантроп-реформатор не видит в людях, да и не пытается увидеть, ничего иного, кроме неисправимо распущенной толпы грешников, и, словно монах, всю свою жизнь будет возмущаться великолепно-безудержными, бьющими из тысяч источников радостями нашего мира, страшиться их. Как непостижимо решение Божье — вновь и вновь стонет Кальвин — создать эти существа такими несовершенными, такими аморальными, постоянно склоняющимися к порокам, неспособными понять слово Божье, нетерпеливо стремящимися предаться грехам!

Каждый раз его охватывает ужас, когда он смотрит на своих ближних, и никогда, вероятно, ни один великий основатель религиозного учения не унизил так сильно достоинство человека; *bete indomptable et feroce** и еще хуже — *une ordure*** называет он его и пишет в своей «*Institution Chrétienne*»: «Стоит лишь

* Зверем неукротимым и свирепым (фр.).

** Мразью (фр.).

посмотреть на человека, на его естественные данные, и ты обнаружишь, что в нем от головы до пяток нет ни малейших следов добра. А то, что достойно хоть какой-то похвалы, исходит от милости Божьей... Вся наша справедливость есть несправедливость, все наши заслуги — дерьмо, наша слава — позор. И лучшие дела, что мы свершаем, всегда заражены и порочны из-за скверны плоти и смешаны с грязью».

Тот, кто в философском смысле считает человека столь неудачным творением Бога, естественно, как богослов и политик должен полагать, что человеку, такому чудовищу, Бог не даст никакой свободы, никакой самостоятельности. Такое испорченное и опасное своей жадной жизни существо следует безжалостно брать под опеку, ибо, «если предоставить человека самому себе, душа его будет способна только на зло». Раз и навсегда следует сломать позвоночник высокомерию детей Адама, прежде чем они предъявят какие-либо претензии Богу, и чем жестче сделать это, чем сильнее подчинить себе людей, обуздать их, тем для них же это будет лучше. Никакой свободы человеку, так как он всегда будет злоупотреблять ею! Лишь насилием следует принижать его перед величием Божиим! Лишь отрезвлять надо его, высокомерного, запугивать до тех пор, пока он без сопротивления не включится в набожное, покорное стадо, пока все строптивное без следа не растворится во всеобщем порядке, индивидуум — в массе!

Для этого драконовского лишения прав личности, для этого вандальского ограбления индивидуальности ради общности Кальвин применяет особую методику, пресловутый надзор, церковный «надзор». И более жестокой узды человечество, пожалуй, до наших дней не знало. С первого же часа этот гениальный организатор загоняет свое «стадо», свою «общину» в сеть из колочей проволоки параграфов и запретов, в так называемые «Ордонансы»*, и

* Имеются в виду «Священнические постановления», разработанные комиссией во главе с Кальвином, которые стали сводом конституционных установлений, регулирующих жизнь Женевы; устанавливали теократический способ правления, при котором духовенство приобрело неограниченную власть. — *Примеч. пер.*

одновременно создает свою собственную службу, предназначенную контролировать проведение террора нравов, «консисто-рию», задача которой первоначально была сформулирована крайне неопределенно: «Проверять общину, чтобы Бог почитался чисто».

Однако сфера влияния этой инспекции нравов лишь с виду ограничивается религиозной жизнью. Из-за неразрывной связи светского и мировоззренческого в предельно авторитарных взглядах Кальвина на государство все самое что ни на есть частные проявления жизни автоматически подпадают под контроль властей; ищайкам консистории, *anciens**, ясно и недвусмысленно предписано «следить за жизнью каждого бюргера». Ничто не должно быть упущено ими, «проверяться должны не только сказанные слова, но также и мнения, и взгляды».

Само собой разумеется, с того дня, как в Женеве учреждается за горожанами такой всеохватывающий контроль, личной жизни у них более уже нет. Этим контролем Кальвин сразу же обогнал католическую инквизицию, которая направляла своих шпионов и соглядатаев для подготовки «дела» лишь по уведомлению с мест или по доносам. В Женеве же, поскольку человек в соответствии с мировоззренческой системой Кальвина постоянно хочет совершить зло, подозревается в греховности, должен находиться под наблюдением каждый.

С возвращением Кальвина в Женеву во всех домах города двери сразу же раскрылись, все стены оказались прозрачными. В любой момент, днем и ночью, может жестко ударить в ворота молоток и заявиться «в гости» член духовной полиции, и горожанин не имеет права этому препятствовать. Богатые и бедные, простолудины и самые уважаемые в Женеве горожане должны не реже одного раза в месяц держать ответ перед этими профессиональными шпииками полиции нравов. Часами — ибо в «Ордонансах» сказано: «Следствие надобно вести не спеша, не жалея времени» — седые, заслуженные, уважаемые люди должны, словно школяры, подвергаться допросу,

* Старшим (фр.).

знают ли они наизусть молитвы, или объяснять, почему пропустили такую-то проповедь господина Кальвина. Но подобными экзаменами по катехизису и нотацией визит никогда не заканчивается. Эта моральная ЧК вмешивается во все. Она проверяет женскую одежду, не слишком ли та коротка или длинна, нет ли на ней рюшей больше, чем это положено, не слишком ли глубоки вырезы; она ощупывает волосы, не переусердствовала ли их обладательница, создавая себе прическу; она пересчитывает кольца, надетые на пальцы, количество башмаков в шкафу. Из гардеробной гость переходит на кухню, смотрит, нет ли тут чего-нибудь недозволенного — а разрешены только суп да кусок мяса, — не припрятаны ли какие-либо сласти или мармелад.

И дальше по дому шествует набожный полицейский. Он проверяет, нет ли на книжных полках книжки без штампа цензуры консистории, он перерывает лари в поисках утаенных икон или четок. Слуг выспрашивают о хозяевах, детей — о родителях. Одновременно «гость» выглядывает во двор, не поет ли там кто-нибудь из домочадцев или слуг нечестивую, мирскую песню, не играет ли что-нибудь на музыкальном инструменте или же, еще того хуже, не предается ли чертовскому пороку хорошего настроения. Ибо отныне в Женеве поставлены под запрет все виды удовольствий, любое *paillardise**, а непрекращающиеся облавы держат горожан в постоянном страхе, и горе тому, кто попадет на том, что после работы разок зашел в таверну, чтобы выпить там стаканчик вина, или вдруг обнаружится, что он получает удовольствие от игры в карты или в кости.

День за днем идет эта охота за человеком, и даже в воскресенье шпики полиции не знают покоя. Вновь проходят они по всем улицам, вновь стучат в каждую дверь, чтобы убедиться, что ни один ленивый или равнодушный в вопросах веры человек не задержался, не нежится еще в постели, вместо того чтобы получать духовное наслаждение от проповеди господи-

* Распутство (фр.).

на Кальвина. У церкви между тем стоят другие соглядатаи, готовые донести на каждого, кто вошел в Божий дом позже, чем положено, или покинул его раньше, чем следует.

Вездесущие, неустанно работают эти официальные блюстители нравов; по вечерам прочесывают все укромные беседки на берегу Роны, проверяя, не милуется ли в какой из них греховная парочка, в гостиницах роются в постелях и баулах приезжающих. Они вскрывают каждое письмо, пришедшее в Женеву или отправляемое из нее, и далеко за пределы городских стен распространяется прекрасно организованная бдительность консистории. Оплачиваемые ею шпионы сидят всюду — в дорожных экипажах, в лодках, на кораблях, на иностранных рынках и в гостиницах соседних городов; каждое слово, сказанное в Лионе или в Париже человеком, недовольным порядками, установленными Кальвином, непременно сообщается в консисторию.

Но эту невыносимую слежку еще более невыносимой делает то, что вскоре к находящимся на службе оплачиваемым шпионам присоединяются неоплачиваемые, незванные, ибо всюду, где государство держит своих граждан в состоянии террора, возникают крайне благоприятные условия для отвратительного процветания добровольного наушничества. Там, где принципиально разрешен и даже считается желательным донос, доносчиками из страха становятся даже в общем-то порядочные люди: лишь для того чтобы отвести от себя подозрение, каждый горожанин косится на своего соседа и спешит ради спасения своей шкуры опередить его доносы. *Zelo della rauga* (рвение от страха) нетерпеливо бежит впереди всех платных доносчиков. И через несколько лет консистория могла бы, собственно, прекратить всякое наблюдение, так как все горожане стали добровольными доносчиками. Дни и ночи несет мутный поток доносов, и мельничное колесо духовной инквизиции не прерывается.

Как же можно чувствовать себя спокойно при этом постоянном терроре нравственности, даже если никаких нарушений Божьих заповедей и нет, ведь Кальвином запрещено, по

существу, все, что делает жизнь радостной и значащей. Запрещены театры, увеселения, народные празднества, танцы и игры в любой форме; даже такой невинный спорт, как катание на коньках, вызывает у Кальвина желчные колики. Запрещены все другие, кроме чрезвычайно скромных, едва ли не монашеских, одеяния, запрещено, следовательно, портным шить без разрешения магистрата какую-либо новую одежду, девушкам до пятнадцати лет запрещены шелковые платья, а после пятнадцати лет — бархатные. Запрещены платья с золотым и серебряным шитьем, золотые позументы, пуговицы и пряжки, как вообще любое использование золота и украшений из драгоценных металлов. Мужчинам запрещено ношение длинных волос, расчесанных на пробор, женщинам — любое взбивание волос, прическа с завивкой, запрещены кружевные чепчики, перчатки, рюши и ботинки с разрезом. Запрещено пользование паланкинами и *voitures roulantes**.

Запрещены семейные праздники более чем на двадцать человек, запрещено при крещении ребенка, при обручении большее, чем определенное, количество перемен за столом, а тем более запрещено подавать какие-либо сладости, например, варенье, компоты. Запрещено пить другое вино, кроме красного вина местного изготовления, запрещено пить за чье-либо здоровье, запрещено употреблять дичь, птицу, паштеты. Запрещено супругам делать подарки на свадьбу, а через шесть месяцев после свадьбы супруги не имеют права дарить что-либо друг другу.

Само собой разумеется, запрещены всякие внесупружеские связи, и к обрученным в этом нет никакого снисхождения. Запрещено жителям города переступать порог гостиниц, запрещено хозяевам гостиниц, постоялых дворов, трактиров подавать приезжим еду и питье к столу, прежде чем те не прочитают соответствующую молитву, а кроме того, им строго вменено в обязанность шпионить за своими постояльцами и клиентами, *diligement*** следить за каждым подозрительным

* Экипаж (фр.).

** Старательно (фр.).

словом или поступком. Запрещено давать в печать книгу без разрешения церкви, запрещено писать за границу, запрещено искусство в любых его формах, запрещены иконы и скульптуры, запрещена музыка.

Даже при благочестивом пении псалмов инструкции приказывают «внимательно следить» за тем, чтобы обращалось внимание не на мелодию, а на смысл слов, ибо «только живым словом следует славить Бога». Отныне при крещении детей некогда свободные горожане лишены права свободного выбора имени. Запрещены уже столетия бытующие имена Клод и Амадей, так как их в Библии нет, но зато навязываются библейские имена, такие, как Исаак и Адам. Запрещено читать молитву «Отче наш» на латинском, запрещено празднование пасхи и рождества, запрещено все, что празднично разнообразит серую будничность существования, запрещена, само собой разумеется, любая тень, любое мерцание духовной свободы в печатном, в устном слове. И запрещена — как главное преступление, самое большое из тех, что могут быть совершенны, — любая критика диктатуры Кальвина: ясно и недвусмысленно, под барабанный бой бюргеры оповещены, что «говорить об общественных делах можно лишь в Совете».

Запрещено, запрещено, запрещено — ужасный ритм. И, ошеломленный, спрашиваешь себя: что же после стольких запретов все-таки разрешено женеvским горожанам? Немногое. Разрешено жить и умирать, работать и слушаться, ходить в церковь. Впрочем, последнее не только разрешено, а предписано законом, и неисполнение этого предписания жестоко карается. Горе бюргеру, который пропустит проповеди своего приходского священника — две в воскресенье, три на неделе — и назидательный час для детей! Ни разу за весь Божий день не облегчается ярмо принуждения, неумолим круговорот долга, долга, долга. После дневных трудов ради хлеба насущного — служение Богу: неделя — для работы, воскресенье — для церкви; так и только так можно убить сатану в человеке и, естественно, тем самым любую свободу и радость жизни.



И невольно с удивлением спрашиваешь: как же могло случиться, чтобы республиканский город, на протяжении десятилетий живший гельветической свободой*, вынес подобную Савонаролову диктатуру, как мог южный веселый народ терпеть подобное удушение радостей жизни? Как смог один-единственный аскет-интеллектуал лишить радости бытия тысячи? Тайна Кальвина не нова, это старая, вечная тайна всех диктатур: террор.

Не следует заблуждаться: насилие, которое ничего не страшится, которое высмеивает как слабость любое проявление гуманности, — ужасная сила. Систематически продумываемый, деспотически проводимый террор парализует волю единиц, ослабляет, подтачивает любую общность. Словно изнуряющая болезнь, он вгрызается в души, и — в этом его сокровенная тайна — всеобщая трусость вскоре становится ему помощником и укрывателем, потому что, если каждый чувствует себя подозреваемым, он начинает подозревать и других, а уstraшенные из страха еще с большим рвением стремятся следовать запретам и приказам своих тиранов еще до того, как эти запреты и приказы обнародованы.

Организованный режим ужаса всегда творит чудеса; а Кальвин, если речь идет о его авторитете, никогда не колеблется вновь и вновь свершить это чудо: едва ли кто-либо из духовных деспотов превзошел его в безжалостности, а присущую ему жестокость не оправдать тем, что она — как и все свойства Кальвина — была, по существу, лишь продуктом его идеологии. Сам этот человек духа, человек нервов, интеллектуал, конечно же, испытывал чрезвычайное отвращение к крови и не был способен — как утверждает сам — наблюдать какие бы то ни было зверства, он никогда не мог присутствовать ни на одном истязании или сожжении «еретика» в Женеве. Но в этом-то и заключается страшная вина теоретика: не

*Гельвеция — латинское наименование северо-западной части современной Швейцарии, которую населяло племя гельветов. — *Примеч. пер.*

имея крепких нервов, которые позволили бы ему самому привести в исполнение казнь или хотя бы присутствовать на ней, он, едва почувствовав, что внутренне его защитит его идея, его теория, его система, не задумываясь вынесет сотни смертных приговоров.

В системе Кальвина жестокость и безжалостность к любому «грешнику» — высший закон; в соответствии со своим мировоззрением Кальвин полагает, что именно ему предопределено Богом проводить в жизнь этот закон, и поэтому он обязан, даже вопреки своей собственной природе, быть безжалостным; и вот он непрерывно, систематическим самовоспитанием ужесточает эту свою безжалостность, он словно в высоком искусстве «упражняет» себя в нетерпимости: «Я упражняюсь в суровости при борьбе со всевозможными пороками».

Следует признать, что этот человек с железной волей весьма преуспел в своих упражнениях. Часто говорит он, что, если бы перед ним стояла альтернатива — предать мучениям невинного или дать одному-единственному грешнику ускользнуть от Божьего суда, он предпочел бы первое, а когда однажды одна из многих казней по неопытности палача затянулась и причинила казнимому непредусмотренные мучения, Кальвин, как бы извиняясь, пишет Фарелю: «Наверняка не без указания Бога произошло то, что приговоренному пришлось претерпеть столько страданий». Когда дело касается «Божьей чести», лучше пусть будет жестче, чем мягче, аргументирует Кальвин. Только непрерывными наказаниями можно создать нравственное человечество.

Нетрудно представить себе, как жестоко в этом еще средневековом мире внедрялась в жизнь идея о неумолимом Христе, о Боге, постоянно «оберегающем свою честь». Уже в первые пять лет господства Кальвина в относительно небольшом городе тринадцать человек повешено, десять обезглавлено, тридцать пять сожжено, кроме того, семьдесят шесть человек изгнаны, не говоря уже о многих успевших бежать от террора. Очень скоро переполняются все тюрьмы «нового Иерусалима», и, как вынужден сообщить Совету смотритель

тюрем магистрата, он не может принять более ни одного арестованного.

Ужасным истязаниям подвергают не только приговоренных, но и просто подозреваемых, иные обвиняемые подвалам пыток предпочитают самоубийство; наконец Совет вынужден выпустить даже распоряжение: «дабы избежать происшествия подобного рода», арестованных надлежит денно и нощно содержать в ручных кандалах. Никогда, однако, не услышишь слова Кальвина, требующего приостановить подобные ужасы; наоборот, по его настоятельному совету кроме тисков для пальцев и приспособления для растяжки сухожилий при допросах начинают применять также *chauffement des pieds* — пытку поджариванием подошв. Ужасна цена, которую город платит за «порядок и воспитание», никогда за всю свою историю Женева не знала столько смертных приговоров, столько наказаний, пыток и изгнаний, сколько принес ей Кальвин, ставший во славу Божью властелином города. Бальзак справедливо полагает, что религиозный террор ужаснее всех кровавых оргий французской революции. «Дикая религиозная нетерпимость Кальвина была в моральном плане более решительной и бессердечной, чем политическая нетерпимость Робеспьера, а если бы Кальвину было предоставлено более широкое поле деятельности, чем Женева, он пролил бы несравненно больше крови, чем ужасный апостол политического равенства».

Однако не этими варварскими, кровавыми приговорами Кальвин сломал чувство свободы женецев; собственно разрушительную работу выполнили систематические мучения и непрерывные запугивания. На первый взгляд кажется, пожалуй, смехотворной та мелочность, с которой «учение» Кальвина вмешивается в быт женецев. Но изощренность этого метода переоценить трудно. Сеть запретов Кальвин предусмотрительно сплел такой мелкоячеистой, что проскользнуть через нее, остаться свободным было невозможно: запреты он с умыслом распространил на мелочи, на безделицы, чтобы каждый беспрестанно чувствовал себя виновным и находился в

непрерывном страхе перед всемогущим, всезнающим авторитетом.

Чем больше капканов расставлено справа и слева на каждодневном пути человека, тем труднее ему свободно и смело идти, и вот вскоре в Женеве никто уже не чувствует себя в безопасности, так как консистория может объявить грехом даже любой беззаботный вздох. Стоит полистать протоколы Совета, чтобы убедиться в изощренности этого метода устрашения. Горожанин при крещении ребенка усмехнулся — трое суток тюрьмы. Другой, сморенный жарой, уснул во время проповеди — тюрьма. Рабочие за завтраком ели паштет — трое суток на хлебе и воде. Два горожанина играли в кегли — тюрьма. Двое других разыгрывали в кости четвертушку вина — тюрьма. Один человек не пожелал дать ребенку имя Авраам — тюрьма. Слепой скрипач заиграл танцевальную мелодию — изгнать из города. Другой хвалил перевод Библии, сделанный Каstellio, — изгнать из города. Девушка каталась на коньках, женщина бросилась на гроб своего мужа, горожанин во время богослужения предложил соседу понюшку табаку — приглашение в консисторию, строгое предупреждение и покаяние.

И далее, и далее, и без конца. Веселые, жизнерадостные люди в день богоявления запекли в праздничный пирог бобовое зерно — двадцать четыре часа на хлебе и воде. Горожанин сказал Monsieur Кальвин вместо Maitre Кальвин, два крестьянина, возвращаясь из церкви, говорили, как это издавна принято, о своих делах — тюрьма, тюрьма, тюрьма! Человек играл в карты — выставить с колодой карт на шее к позорному столбу. Другой задорно пел на улице — изгнание, «пусть поет вне города». Двое матросов подрались, никого при этом не убив, — казнить. Три несовершеннолетних мальчика, застигнутые при совершении безнравственных поступков, сначала были приговорены к сожжению на костре, но потом помилованы — они должны были публично стоять перед горящим костром.

Наиболее ужасно наказываются, естественно, любые со-

мнения в государственной и духовной непогрешимости Кальвина. Человека, открыто высказавшегося против Кальвинова учения о предопределении, бичевали до крови на всех перекрестках города, затем изгнали. Прежде чем изгнать из города типографа, который во хмелю ругал Кальвина, ему раскаленным железом просверлили язык. Жака Груэ пытали и казнили лишь за то, что он обозвал Кальвина лицемером. Любой проступок, даже самый ничтожный, обязательно записывается в актах консистории, чтобы о частной жизни каждого бюргера всегда все было известно; полиции нравов Кальвина, так же как и ему самому, чужды такие понятия, как «забыть» или «простить».

Такой постоянно действующий террор неизбежно должен сломить внутренние силы и достоинство как отдельных людей, так и всего народа. Если в каком-нибудь государстве человек постоянно находится в состоянии ожидания наказания, если его непрерывно допрашивают, обыскивают, порицают, если он постоянно чувствует на себе взгляд соглядатая, следящего за любым его движением, подслушивающего каждое его слово, — соглядатая, который в любой час суток может неожиданно вломиться к нему в дом с «визитацией», с обыском, его нервы постепенно сдают, возникает массовый страх, заражающий даже самых отважных. Любая воля к самоутверждению в такой бесполезной борьбе неизбежно парализуется, и вследствие своей системы воздействия, вследствие этого «надзора» город Женева, действительно, вскоре становится таким, каким желал его видеть Кальвин, — богобоязненным, запуганным и прозаичным, лишенным воли к сопротивлению, рабски подчиненным одной-единственной воле — воле Кальвина.

* * *

Несколько лет такого порядка достаточно, чтобы Женева начала меняться. Как бы серая завеса ложится на некогда свободный и веселый город. Пестрые одежды исчезли, краски поблекли, колокола перестали звонить, на улицах не слышно

бодрящих песенок, нищим, без каких-либо украшений, словно кальвинистская церковь, становится каждый дом. Гостиницы, постоялые дворы приходят в упадок с тех пор, как скрипка перестала наигрывать танцевальную мелодию, с тех пор, как исчезли веселые удары кеглей, как пропал легкий перестук костей на столах. Танцевальные площадки пустуют, темные аллеи, излюбленные места влюбленных парочек, заброшены; лишь голая, лишенная икон, картин, скульптур церковь собирает по воскресеньям людей — серьезное, молчаливое сообщество.

Другим, суровым и мрачным, как лицо Кальвина, стал облик города, и постепенно все горожане из страха или из неосознанной приспособляемости приобретают черты формы города, его мрачную замкнутость. Они уже не ходят более по улицам легко, их взгляды теряют человеческую теплоту из боязни, что сердечность может быть неправильно понята как проявление чувственности. Из страха перед человеком, у которого никогда не бывает хорошего настроения, они разучились быть естественными. Даже в тесном кругу они привыкли шептаться, а не говорить, ведь за дверьми могут подслушивать слуги и служанки, во всем чувствуется уже ставший хроническим страх перед невидимыми соглядатаями, ищейками. Только бы остаться незаметным. Только бы не выделяться ни одеждой, ни поспешным, необдуманном словом, ни веселым лицом! Лишь бы не оказаться под подозрением, только бы забыли тебя!

Женевцы предпочитают сидеть дома, засов и стены в какой-то степени защищают их здесь от посторонних взглядов, от каких-либо подозрений. Но тотчас же в страхе отскакивают от окна и бледнеют, если случайно видят идущим по улице кого-нибудь из людей консистории: кто знает, что сообщил или сказал о них сосед? Если же им надо выйти на улицу, то идут они крадучись, с потупленным взором, молча, в своих темных плащах, как если бы шли они к проповеди или на похороны. Даже дети, выросшие под этим новым суровым надзором, крепко припугнутые в «назидательные часы», уже

не играют более, непринужденно и громко перекликаясь, и они тоже как бы склонились в страхе перед невидимым ударом; словно цветы в холодной тени, а не на солнце, растут они, запуганные, лишенные присущей детям веселости.

Ритм этого города, холодный и скучный, однотонный, упорядоченный и надежный, не прерываемый ни праздниками, ни какими-либо торжествами, регулярен, как ритм часового механизма. Чужому, только что прибывшему в город человеку может показаться, что в городе траур: так сумрачно и холодно глядят люди, такие немые, безрадостные улицы, так непразднична и уныла духовная атмосфера.

Воспитание и дисциплина — это, конечно, великолепно; но жестокое соблюдение мер и воздержание, навязанные Кальвином городу, куплены страшной ценой — огромными потерями всех священных сил, всегда возникающих именно от избытка, от чрезмерности. И хотя потом история этого города насчитает несметное количество набожных, богобоязненных бюргеров, прилежных богословов и серьезных ученых, но на протяжении двухсот лет после Кальвина Женева не подарит планете ни одного художника, ни одного музыканта, ни одного деятеля искусств с мировым именем. Необычайное принесено в жертву ординарному, творческая свобода — беспрекословному низкопоклонству. И когда, наконец, вновь в этом городе родится художник, то вся его жизнь будет бунтом против насилия над личностью; лишь в своем самом независимом гражданине — в Жан-Жаке Руссо Женева полностью освободится от Кальвина.

ПОЯВЛЯЕТСЯ КАСТЕЛЛИО

Бояться диктатора совсем не означает любить его, и из того, что кто-либо внешне подчиняется террору, далеко еще не следует, что он признает его права. Правда, в первые месяцы после возвращения Кальвина в город восхищение им среди бюргеров и служащих магистрата было еще единодушным.

Похоже, все группировки были за него, как если бы все эти люди были одних убеждений; большинство поначалу восторженно поддавалось опьянению унификацией.

Но очень скоро начинается отрезвление. Само собой разумеется, все те, кого Кальвин призвал к порядку, тайно надеялись, что, как только «учение» восторжествует, этот ужасный диктатор ослабит узду драконовских мер сверхморальности. Вместо этого они видят, что вожжи день ото дня натягиваются все туже и туже. Ни разу не слышат они ни слова благодарности за те чудовищные жертвы личной свободой и безмятежным настроением, с горечью должны они слушать с церковной кафедры такие, например, слова: «Для того, чтобы в этом прогнившем до основания городе воцарились, наконец, нравственность и пристойность, следует вздернуть семь-восемь сотен парней». Лишь теперь обнаруживают женевцы, что вместо целителя духа, которого они так настойчиво вымаливали себе, они призвали в стены своего города тюремщика их свободы, а становящиеся все более суровыми, все более жестокими меры принуждения возмущают даже самых верных приверженцев Кальвина.

Прошло всего несколько месяцев, и в Женеве вновь зреет недовольство Кальвином: издали, на расстоянии, его «учение» представлялось, словно мираж, неизмеримо соблазнительнее, чем оказалось вблизи в своей императивной реализации. Поблекли романтические краски, и те, кто еще вчера ликовал, начинают тихо вздыхать. Но для того, чтобы нимб вокруг головы диктатора поблек, каждый раз требуется видимый и доступный пониманию всех повод, и этот повод вскоре появляется.

В человечности людей консистории женевцы впервые начинают сомневаться в ту ужасную эпидемию чумы, которая свирепствовала в городе с 1542 по 1545 год. Те самые проповедники, которые обычно под угрозой самого сурового наказания требовали, чтобы каждый больной в первые же три дня вызывал к своей постели священника, едва один из священников заразился и умер, оставили больных умирать в чумных

бараках без духовного утешения. Умоляюще просит магистрат кого-нибудь из консистории «приободрить бедных больных, лежащих в чумных бараках, утешить их». Однако никто из членов консистории не решается вступить в чумной барак; правда, это готов взять на себя школьный врач Каstellio, но он лишен таких полномочий, так как не является членом консистории. Сам Кальвин, которого его коллеги считают «незаменимым», открыто утверждает, что нельзя подвергать опасности всю церковь ради того, чтобы помочь лишь ее части. Да и другие проповедники, которые не высказываются по этому вопросу так же решительно, предпочитают переждать опасность в отдалении.

Напрасными остаются все обращения Совета к трусливым духовным пастырям; один из них даже заявляет без обиняков, что «они предпочли бы виселицу чумному барaku»; и 5 января 1543 года бюргерам становится известным нечто поразительное: все проповедники реформированной церкви города во главе с Кальвином открыто и постыдно признаются на заседании Совета, что никто из них не имеет мужества войти в чумной барак, хотя они и понимают, что их долг — служить Богу и его святой церкви равно как в хорошие, так и в трудные дни.

Ничто так убеждающе не действует на народ, как личное мужество вождя. В Марселе, в Вене, во многих других городах сотни лет свято чтится память героических священников, принесивших во время больших эпидемий утешение в больницы. Подобный героизм своих вождей народ не забывает никогда, но народ также не забывает и личное малодушие своих пастырей в решающие часы. С жестокой издевкой наблюдают и высмеивают теперь женеvцы поведение тех самых священников, которые с кафедры патетически требовали от прихожан величайших жертв, сами же оказались совершенно не готовыми к этим жертвам, и последующий постыдный спектакль, который разыгрывается, чтобы несколько уменьшить всеобщее возмущение, не достигает своей цели.

По приказу Совета хватают нескольких нищих и подвергают их ужасным пыткам до тех пор, пока те не наговаривают

на себя и не подтверждают, что именно они принесли в город чуму, обмазав дверные ручки домов мазью, изготовленной из экскрементов черта. Но Кальвин, постоянно обращенный своими мыслями в прошлое, не отвергает, как следовало бы поступить гуманисту, с презрением бабьи сплетни, а, подтверждая их, выказывает себя убежденным защитником средневековых заблуждений. Впрочем, еще больше, чем открыто высказанное убеждение, что *semeurs de peste** были наказаны справедливо, его авторитету вредит высказанное им с кафедры утверждение, что якобы некий человек за свое безбожие был среди бела дня вытащен чертом из постели и брошен в Рону; впервые Кальвин чувствует, что некоторые его слушатели даже не пытаются скрыть свое ироническое отношение к этой суеверной побасенке.

Во всяком случае, очевидно, что во время эпидемии чумы была утрачена большая часть той веры в непогрешимость, которая для любого диктатора является неотъемлемым элементом его психологической власти. Наблюдается несомненное отрезвление: сильнее и во все более широких кругах распространяется сопротивление. Но, к счастью для Кальвина, сопротивление лишь распространяется, а не концентрируется.

Временное преимущество любой диктатуры, позволяющее ей существовать, даже если она находится в меньшинстве, определяется тем, что ее военная мощь выступает организованно, сплоченно, тогда как противник, наступающий с разных сторон и действующий по самым разным, отличающимся друг от друга мотивам, никогда не соберется в действительную ударную силу, а если и соберется, то произойдет это гораздо позже. То, что многие или очень многие из народа внутренне противятся диктатуре, не дает эффекта до тех пор, пока они не начнут действовать в каком-то однородном плане, в некоей единой замкнутой структуре. Поэтому-то между первым потрясением авторитета диктатора и его свержением часто лежит долгий и затяжной путь.

* Распространители чумы (фр.).

Кальвин, его консистория, его проповедники и его приверженцы из эмигрантов представляют собой монолит воли, сплоченную, целеустремленную силу. Напротив, к противникам его примыкают люди из самых разных сфер и сословий и, следовательно, друг с другом внутренне не связанные. Тут и бывшие католики, еще тайно привязанные к своей старой вере, и пьяницы, у которых закрыли кабак, и женщины, которым запрещено наряжаться, старые женевские патриции, озлобленные тем, что люди, едва появившись в городе и не имея ни кола ни двора, — эмигранты — тотчас же заняли все должности; вся эта многочисленная оппозиция включает в себя и представителей аристократических слоев, и людей из самых низов города; но до тех пор, пока недовольство не связывается некой общей идеей, оно остается бессильным ропотом, скрытой, потенциальной стихией, а не действенной силой. Но толпе никогда не одолеть армии, никогда неорганизованному недовольству не противостоять организованному террору. Вот поэтому Кальвину в первые годы было нетрудно обуздать эти расчлененные группы, поскольку они никогда не выступали против него как единое целое: ударом в спину он мог покончить сначала с одними, потом с другими.

Действительно, носителю некой идеи опасным становится всегда лишь такой человек, который может противопоставить ему другую мысль, и Кальвин сразу уловил это своим пронзительным и всех подозревающим взглядом. Ведь с первого до последнего часа он никого из своих противников не боится так, как Себастьяна Каstellлио, этого единственного человека, который равен ему и в моральном, и в духовном отношении и который со всей страстью свободной совести восстает против его духовной тирании.

* * *

Нам известен только один портрет Каstellлио, но и тот, к сожалению, очень посредственный. На нем изображен безусловно человек духа, серьезный и прямодушный и, я бы сказал,

с правдивыми глазами под высоким, открытым лбом; более, пожалуй, характеризующего личность из портрета ничего нельзя извлечь. Это не портрет, позволяющий разглядеть глубины характера модели, но все же основные черты характера человека, безусловно, в нем распознать можно: внутреннюю убежденность и уравновешенность. Если портреты обоих противников — Кальвина и Каstellлио — положить рядом, то противоположности, которые позже таким решающим образом проявятся в их духовном облике, станут очевидными уже в чувственном: лицо Кальвина — это напряженность, это судорожно и болезненно сконцентрированная энергия, желающая нетерпеливо и своенравно разрядиться, лицо же Каstellлио доброжелательно и полно выжидающего спокойствия. Во взгляде одного — огонь, взгляд другого сдержан. Нетерпение против терпения, неуравновешенный пыл — у одного, твердая решимость — у другого, фанатизм против гуманизма.

О юности Каstellлио мы знаем почти так же мало, как и о его внешнем облике. Родился он в 1515 году, на шесть лет позже Кальвина, на границе трех стран — Швейцарии, Франции и Савойи. Его родители именовали себя Chatillon или Chataillon, возможно также, являясь подданными Савойи, порой Castellione или Castiglione, но родным языком Себастьяна был не итальянский, а французский. Вскоре, правда, его родным языком станет латынь: в двадцать лет Каstellлио — студент Лионского университета и в дополнение к двум языкам, которые он хорошо знает, французскому и итальянскому, он изучает там латынь, греческий и еврейский, добываясь в этих языках совершенства. Позже он изучит также и немецкий, да и вообще, чем бы он ни занимался, он занимался с огромным рвением, и знания освоенных им дисциплин настолько велики, что гуманисты и богословы единодушно относят его к числу самых образованных людей своего времени.

Сначала это искусства, увлекшие юного студента, добросовестно зарабатывающего себе скудный кусок хлеба частными уроками; в немногие же свободные часы он пишет на латыни стихи и прозу. Но вскоре его охватывает страсть еще более

сильная, чем та, в плену которой он находился: изучая прошлое человеческой культуры, он проникается глубоким интересом к проблемам своего времени.

Классический гуманизм, если его рассматривать в историческом аспекте, имел, собственно, очень короткое и славное цветение, всего несколько десятилетий между великими временами Возрождения и Реформации. Лишь в эти исторические мгновения юность чаяла возрождения классиков, освобождения мира посредством систематического образования; но очень скоро самым страстным, самым лучшим из этого поколения копание в старых пергаментях Цицерона и Фукидида начинает казаться неблагодарной работой, работой для дряхлых стариков: ведь вспыхнувшая в Германии и распространившаяся с неслыханной быстротой, словно лесной пожар, по всей Европе религиозная революция заставила учащенно биться их сердца. Вскоре во всех университетах диспуты об Аристотеле и Платоне все интенсивнее вытесняются диспутами о старой и новой церкви, вместо законов римского права профессора и студенты изучают Библию; как в более поздние времена властителями дум молодежи станут политические, национальные или социальные идеи, так в шестнадцатом столетии все юношество Европы охвачено неудержимой страстью думать, говорить, действовать во имя религиозных идей времени.

И Кастеллио тоже охвачен этой страстью, решающим образом на него повлияло лично им пережитое. Впервые увиденное им сожжение еретика в Лионе потрясает его, потрясает и жестокость инквизиции, и — до самых сокровенных глубин души — мужественное поведение жертвы. С этого дня он решает жить и бороться за новое учение, в котором видит путь к освобождению.

Само собой разумеется, с того момента, когда двадцатипятилетний молодой человек внутренне решил бороться за реформацию церкви, жизнь его во Франции оказывается под угрозой. Там, где государство насильственно подавляет свободу вероисповедания, для тех, кто не желает подчинить свою совесть насилию, имеются три пути: можно открыто бороться

с государственным террором и стать мучеником; этот самый отважный путь открытого сопротивления выбрали Беркен и Этьенн Доле*, заплатив за него мученической казнью на костре.

Или же можно, чтобы сохранить и внутреннюю свободу, и жизнь, притвориться подчинившимся и свое собственное мнение замаскировать — по этому пути следовали и Эразм, и Рабле, которые сумели внешне сохранить мирные отношения с церковью и государством; облачившись в мантию ученого или прикрывшись шутовским колпаком, метали они ядовитые стрелы в спину и церкви, и государства, хитростью, подобно тому, как это делал Одиссей, обманывали жестокость, искусно уклонялись от карающей десницы насилия.

Третий путь — это эмиграция, попытка унести внутреннюю свободу из страны, где она преследуется и презирается, в другую землю, где она сможет беспрепятственно дышать. Каstellio, прямая, но одновременно мягкая натура, выбирает этот наиболее мирный путь, — путь, который в свое время выбрал Кальвин. Весной 1540 года, вскоре после сожжения первого евангелического мученика в Лионе, которое так жестоко ранило его сердце, покидает Каstellio свою родину, чтобы отныне стать вестником и проповедником евангелического учения.

Каstellio направляется в Страсбург, причем, как большинство религиозных эмигрантов того времени, — *propter Calvinum*, ради Кальвина. Ибо с тех пор, как этот человек в предисловии к «*Institutio*» так смело потребовал от Франциска I терпимости и свободы вероисповедания, он у всей французской молодежи — хотя сам еще молод, еще очень молод — считается герольдом и знаменосцем евангелического учения. Все эти беглецы надеются учиться у Кальвина, великого изгнанника, который блестяще формулирует требования и четко определяет цель жизни.

* Луи де Беркен (1485 — 1529) — известный французский реформатор, который был предан публичному сожжению. Этьенн Доле (1508 — 1546) — лионский издатель, видный гуманист, критик «папизма» и Лютера. — *Примеч. пер.*

Как ученик, как восторженный ученик — ибо пока еще свободомыслящая натура Кастеллио видит в Кальвине поборника духовной свободы — Кастеллио тотчас же отправляется к нему и неделю живет в студенческом общежитии, которое жена Кальвина организовала для будущих миссионеров нового учения. Однако более близкие отношения с Кальвином, которых очень хотел Кастеллио, не завязываются, поскольку Кальвина вскоре отзывают на соборы в Вормс и Хагенау. Возможность установления личных связей упущена. Однако то, что двадцатипятилетний Кастеллио произвел на Кальвина сильное впечатление, выявляется очень скоро. Едва становится очевидным окончательное возвращение Кальвина в Женеву, тотчас же по предложению Фареля и, без сомнения, с согласия Кальвина молодого ученого приглашают учителем в Женевскую школу. Ему дают, а это очень существенно, звание ректора, под началом у него — два младших учителя, и, кроме того, на него возлагается обязанность, которой он очень хотел, — обязанность проповедовать в женевской церкви прихода *Vandoeuvres*.

Кастеллио блестяще справляется с порученной ему работой, его преподавательская деятельность приносит ему дополнительно литературный успех. Чтобы сделать изучение латыни более привлекательным для своих учеников, Кастеллио переводит наиболее образные эпизоды из Ветхого и Нового завета на латинский и придает им форму диалогов. Вскоре маленькая книжечка, первоначально задуманная как подстрочник, шпаргалка для женевских школяров, приобретает мировую известность и по своей литературной и педагогической значимости подобна «Разговорам запросто» Эразма. Столетия будет переиздаваться эта маленькая книжечка, не менее сорока семи изданий ее увидят свет, сотни тысяч школяров изучат по ней основы классической латыни. И хотя для Кастеллио, который увлекался классицизмом, этот латинский букварь и останется случайным, малозначительным произведением, он все же был первой книгой, которая выдвинула этого человека на передний план людей духа своего времени.

Но честолюбие Каstellio стремится к целям более высоким, чем создание хорошего и полезного учебного пособия для школяров. Не для того он отказался от занятий классицизмом, чтобы свои силы и свою эрудицию ученого растрачивать в небольших работах. Этот молодой идеалист лелеет в душе возвышенный план, который в известной мере должен повторить и превзойти грандиозные деяния Эразма и Лютера; он предполагает сделать новый перевод всей Библии на латинский и затем еще раз — на французский. И его страна, Франция, должна иметь всю истину на своем языке, как получили ее благодаря творческим усилиям Эразма и Лютера мир гуманистов и германский мир. И преисполненный настойчивой и смиренной набожности, свойственной его характеру, приступает Каstellio к выполнению этой грандиозной задачи. Ради куска хлеба для своей семьи днем делает он скверно оплачиваемую работу, по ночам же трудится над переводом, выполняет этот священный для него план, которому посвятит всю свою жизнь.

Но уже с первых шагов Каstellio встречает решительное сопротивление. Женевский книготорговец согласен печатать первую часть его латинского перевода Библии. Но в Женеве Кальвин — неограниченный диктатор во всех духовных и религиозных делах. Без его одобрения, без его разрешения ни одна книга в стенах города не может быть напечатана.

Каstellio отправляется к Кальвину, ученый — к ученому, богослов — к богослову, и как товарищ по призванию обращается к нему за разрешением. Но для авторитарной натуры мыслящая личность — всегда несносный противник. Первая реакция Кальвина — неудовольствие, едва прикрытое раздражение. Ведь он сам написал предисловие к французскому переводу Библии, выполненному его родственником, и, таким образом, этот перевод в известной степени, подобно «Вульгате», официально признан французскими протестантами. Какова «дерзость» этого «молодого человека», не признающего

Библию, одобренную Кальвином и изданную при его участии, единственно законную и правильную, и предлагающего вместо нее свой, новый перевод книги. В письме к Вире отчетливо чувствуется раздраженная досада Кальвина, вызванная «надменностью» Кастеллио: «А теперь послушай о фантазии нашего Себастьяна: он дает нам повод посмеяться, но также и рассердиться. Три дня назад пришел он ко мне и попросил разрешение издать свой перевод Нового завета». Уже по этому ироническому тону можно судить, как сердечно принял Кальвин своего соперника. Действительно, не долго думая, он отвечает Кастеллио: разрешение на печать он даст лишь при условии, что прежде прочтет перевод сам и исправит то, что считает нужным исправить.

Характеру Кастеллио абсолютно чужды такие черты, как самоуверенность или тщеславное самодовольство. Никогда не считает он, подобно Кальвину, что его мнение — единственно правильное, что его точка зрения в каком-либо вопросе безупречна и неуязвима: его предисловие к переводу Библии являет собой как раз образец научной и человеческой скромности. Он открыто пишет, что не все места Священного писания понял сам и поэтому предостерегает читателей от бездумного доверия его переводу, ибо Библия — книга темная, полна противоречий, и он в своем переводе дает лишь толкование, но ни в коем случае не абсолютную определенность.

Однако, если Кастеллио так по-человечески скромно оценивает свой труд, он в то же время неизмеримо высоко чтит чувство собственного достоинства. Убеденный в том, что как гебраист, как специалист по греческому языку, как ученый он стоит не ниже Кальвина, он видит в стремлении навязать ему свою цензуру, в авторитарном притязании на «улучшение» его перевода унижение его человеческого достоинства. В свободной республике — такой же ученый и богослов, как Кальвин, — он не желает становиться перед Кальвином в положение школяра, не хочет, чтобы его произведение, словно ученическая работа, правилось красным карандашом. Ища выход, достойный гуманиста, и желая показать Кальвину свое

личное уважение, он предлагает прочесть ему рукопись в любой удобный для Кальвина час и заранее подтверждает свое согласие принять каждое отдельное предложение Кальвина.

Но Кальвин принципиально против любой формы соглашения. Он не желает советовать, нет, он будет лишь приказывать. Коротко и резко он отказывается от предложения Кастеллио. «Я заявил ему, что даже если он пообещает мне сотню крон, я не смогу связывать себя определенным часом для обсуждения рукописи, а затем, возможно, еще тратить уйму времени на споры из-за одного какого-нибудь слова. С тем он и ушел, обиженный».

Впервые скрестились клинки. Кальвин почувствовал, что Кастеллио ни в духовных, ни в богословских вопросах не склонен безвольно ему подчиняться, среди окружающих его лизоблюдов Кальвин распознал независимого человека, принципиального противника насилия. И с этого часа Кальвин решил, что человека, желающего служить не ему, а лишь своей совести, при первом же удобном случае необходимо будет снять с занимаемой им должности и по возможности убрать из Женевы.



Кто ищет повод, всегда найдет его. Долго ждать Кальвину не приходится. Кастеллио, который не может прокормить свою многочисленную семью на весьма и весьма скудное жалованье школьного учителя, мечтает о более ему соответствующем и лучше оплачиваемом месте «проповедника слова Божьего». С того часа, как он покинул Лион, его жизненной целью было стать служителем и провозвестником евангелического учения; вот уже несколько месяцев этот высокоэрудированный богослов проповедует в церкви Vandoeuvres; проповеди его не вызывают ни единого упрека, а для города со столь строгими моральными правилами, как Женева, это значит очень много. Ни один человек в Женеве, кроме него, не может рассчитывать на это место. И действительно, на просьбу Кас-

теллио о предоставлении ему места проповедника магистрат 15 декабря 1543 года принимает единогласное решение: «Поскольку Себастьян — ученый муж и может превосходно отправлять богослужение, настоящим ему вверяется испрашиваемая им должность».

Но, вынеся это решение, магистрат не учел мнения Кальвина. Как? Не обратившись предварительно покорнейше к нему, к Кальвину, магистрат распорядился определить Кастеллио проповедником и тем самым членом консистории! А человек этот вследствие присущей ему независимости может быть очень и очень неудобен Кальвину. Тотчас же Кальвин опротестовывает назначение Кастеллио и обосновывает свой неколлегиальный образ действий в письме Фарелю неясными словами: «Имеются серьезные основания, которые мешают его назначению... Впрочем, я на эти основания лишь намекнул Совету, а не высказался с полной ясностью, но в то же время выступил против всяких ложных подозрений, чтобы на имя его не пала тень... Я стремился пощадить его».



Читаешь эти темные и полные извортливого иносказания слова, и в сознание прокрадывается ощущение, которое точнее всего можно охарактеризовать как неприятное. Действительно, не звучит ли это так, что есть нечто порочащее Кастеллио, не дающее ему права облачиться в одеяние проповедника, нет ли в самом деле на совести Кастеллио какого-нибудь пятна, которое Кальвин с самыми лучшими намерениями, из христианского снисхождения прикрывает, чтобы «пощадить его»? В каком правонарушении, спрашиваешь себя, так великодушно замалчиваемом Кальвином, виновен этот высокоуважаемый ученый? Может, он нечист на руку, может, он находился в недозволенных отношениях с женщинами? Не скрываются ли за его хорошо известным городу безупречным поведением какие-либо тайные пороки? Нет, намеренной неясностью своего высказывания Кальвин бросает на Кастеллио

лишь тень какого-то подозрения, а для чести, для престижа человека ничего нет более рокового, чем «щадающая» двусмысленность.

Но Себастьян Каstellio не желает быть «пощаженым». У него чистая совесть, и едва он узнает, что Кальвин за его спиной хочет отменить приглашение его на должность проповедника, он требует, чтобы Кальвин публично разъяснил магистрату, на каких основаниях его назначение подлежит отмене. Кальвин должен раскрыть свои карты и изложить сущность таинственных правонарушений Каstellio; и Кальвин вынужден сообщить о так деликатно замалчиваемых им проступках Каstellio: мнение Каstellio в двух несущественных богословских комментариях к Библии — заблуждение это ужасно! — не полностью совпадает с мнением Кальвина. Во-первых, он придерживается точки зрения — и здесь, пожалуй, все богословы с ним согласны, одни открыто, другие тайно, — что Песнь песней Соломона не духовное, а мирское произведение; гимн о Суламифи, груди которой словно два олененка пляшут на пастбище, бесспорно, является любовной песней и к прославлению церкви никакого отношения не имеет. И второе отклонение ничтожно: сошествию Христа в ад Каstellio дает толкование, отличное от Кальвина.

Итак, имеются незначительные расхождения в мнениях по двум сугубо частным вопросам, а «великодушное замалчивание», позволяющее предполагать за Каstellio любые грехи, всего лишь повод отклонить назначение на должность проповедника не удобного Кальвину человека. Но здесь требуется уточнение. Расхождения в побочных вопросах, действительно, ничтожны. Для всех. Но не для Кальвина. Для него в вероучении нет никаких пустяков, никаких мелочей. Для его педантичной натуры, мечтающей о наивысшем единстве и авторитете новой церкви, малейшее отклонение так же опасно, как и величайшее. Кальвин желает, чтобы в его логическом построении новой веры каждый камень, каждый камешек стоял непоколебимо на своем месте, и подобно тому, как он не допускает никаких свобод в политической жизни,

нравах, вопросах права, он считает принципиально нетерпимым любое проявление свободы и в своем религиозном учении также. Если его церковь желает существовать вечно, она должна остаться авторитарной от краеугольных камней до самого последнего, самого маленького орнамента, а человеку, который не признает этот принцип учения, человеку, который пытается думать самостоятельно, в духе свободомыслия, такому человеку в государстве Кальвина места нет.

Совет вызывает Кастеллио и Кальвина для открытого обмена мнениями, с тем чтобы они мирно уладили свои расхождения во взглядах. Но никакого мирного улаживания конфликта быть не может. Надо вновь и вновь напоминать: Кальвин желает исключительно только учить, но не учиться; он никогда ни с кем не спорит, он — предписывает. Первыми же своими словами он предлагает Кастеллио «признать наше мнение» и предостерегает его от опасности «доверяться своим суждениям», то есть ведет себя в полном соответствии со своим миропониманием о необходимости в церкви единства и авторитета.

Но и Кастеллио остается верен себе. Свобода совести для Кастеллио — наивысшее духовное благо, и ради этой своей свободы он готов уплатить любую цену. Он знает определенно: стоит ему лишь согласиться с Кальвином в этих двух ничтожных вопросах, и он тотчас же получит доходное место в консистории. Но, неподкупный в своей независимости, Кастеллио отвечает: он не может обещать что-либо, что не в состоянии выполнить, так как это противоречит его совести.

Бесполезным оказывается, таким образом, этот обмен мнениями. Встреча этих двух людей была встречей свободомыслящей Реформации, требующей для каждого человека свободы в религиозных вопросах, и Реформации ортодоксальной; после этого неудачного обсуждения Кальвин с полным правом пишет о Кастеллио: «Как я могу судить по моим встречам с этим человеком, он имеет обо мне такое представление, что, вероятно, мы никогда не придем к примирению».



Какое же «представление» имеет Каstellлио о Кальвине? Кальвин выдает сам себя, когда пишет: «Себастьян вбил себе в голову, что я стремлюсь властвовать». Правильнее положение вещей действительно не объяснить. Каstellлио за очень короткое время узнал то, что другие узнают несколько позже, а именно что Кальвин в соответствии со своей тиранической натурой решил терпеть в Женеве лишь одно мнение, свое, что на земле, исповедующей его веру, можно жить лишь в том случае, если, подобно Безу и другим его последователям, рабски подчиниться каждой буковке его доктрины.

Но Каstellлио не желает дышать этим тюремным воздухом духовного порабощения. Не затем он бежал от католической инквизиции из Франции, чтобы поклониться новому протестантскому надзору за совестью, не потому он отказался от старых догм, чтобы стать слугой новых. Для Кальвина Христос — неумолимый, педантичный судья, а его Евангелие — книга застывших, мертвых законов; Каstellлио же в Христе видит самого человеческого человека, этический образец, которому каждый должен смиренно следовать в себе самом и на свой лад, а не дерзко утверждать, что только он, и никто более, знает истину.

Этому свободному человеку противна решительная озлобленность, когда он видит, как надменно, заносчиво и самонадеянно новые проповедники излагают в Женеве слово Божье, излагают так, как будто оно только им одним и ведомо; гнев охватывает его против этих высокомерных, непрерывно восхваляющих свое священное призвание zelотов, говорящих о всех других людях как об отвратительных, недостойных Божьего внимания грешниках. И когда однажды в общине комментировались слова апостола: «Мы, как посланцы Божьи, должны во всем проявлять великое терпение», внезапно встает Каstellлио и предлагает «посланцам Божиим» самим хоть раз испытать себя, вместо того чтобы все время испытывать других, судить и наказывать их.

Вероятно, Кастеллио стало известно кое-что (это выяснится позже — из протоколов Совета), подтверждающее не только пуританское поведение женевских проповедников в их частной жизни, и он счел поэтому необходимым открыто наказать это ханжество. Обвинения, с которыми выступил Кастеллио, мы, к сожалению, знаем лишь по высказываниям Кальвина (ради своей выгоды всегда готового приписать противнику слова, которых тот никогда не говорил). Но даже из этого необъективного изложения можно заключить, что Кастеллио, признавая общую греховность, не делал для себя исключения, так как сказал: «Павел был слугой Божиим, мы же служим сами себе, он был терпелив, мы же очень нетерпеливы. Он от других терпел несправедливое, мы же — преследуем невинных».

Кальвина, которого при этом не было, выступление Кастеллио, похоже, ошеломило. Страстный, сангвинический спорщик, такой, например, как Лютер, немедленно возмутился бы и в зажигательной речи дал бы противнику отповедь; гуманист, подобный Эразму, вероятно, спокойно вступил бы в ученый спор; Кальвин же — прежде всего реалист, человек тактики и практик, он умеет держать свой темперамент в узде. Он чувствует, как сильно подействовали на присутствующих слова Кастеллио и что возражать ему теперь неразумно. Он молчит, сжимая еще уже свои и без того узкие губы. «Я промолчал, — оправдывает он позже эту удивительную сдержанность, — но лишь затем, чтобы не развязывать горячий спор перед многими посторонними».

Будет ли он позже вести этот спор в более тесном кругу? Будет ли он вести его с Кастеллио наедине? Поставит ли он Кастеллио перед консисторией, потребует ли от него подтвердить свое расплывчатое обвинение именами и фактами? Конечно, нет. Кальвину всегда чужда любая лояльность в политике. Любая попытка критики для него не просто теоретическое расхождение в мнениях, нет, это государственное преступление, государственная измена. Преступления же подлежат юрисдикции светских властей. Туда, а не в конси-

сторию потянет он Каstellio, превратив дискуссию по моральному вопросу в дисциплинарный процесс. Его жалоба магистрату города Женевы гласит: «Каstellio имеет намерение умалить престиж духовных лиц».

С большой неохотой собирается Совет. Он не очень-то любит подобные богословские свары; более того, даже создается впечатление, что светским властям не так уж и неприятно, что наконец-то нашелся один, открыто, энергично и смело выступивший против надменно-самоуверенной консистории. И на этот раз советники сначала на длительное время откладывают свое решение, окончательный же их приговор обращает на себя внимание своей неясностью. Каstellio устно выносят порицание, но не наказывают и не освобождают от должности; однако его деятельность проповедника в *Vandoeuvres* на время прекращается.

Казалось бы, такой приговор должен был бы удовлетворить Каstellio. Но внутренне он уже принял решение. Вновь он утверждает в мнении, что свободному человеку невозможно жить возле такой тиранической личности, как Кальвин. И он испрашивает у магистрата освобождение от должности. Но при первой пробе сил он уже достаточно хорошо изучил тактику своего противника и понял, что, если фанатичным приверженцам какой-либо идеи нужно, чтобы истина служила их политике, они найдут способы заставить истину служить этой политике.

Он правильно предвидит, что его свободный и мужественный отказ от места и звания задним числом можно будет недобросовестно объяснить какими-то неблагоприятными причинами. И поэтому, прежде чем покинуть Женеву, он требует от магистрата письменное свидетельство об имевшем место инциденте. И Кальвин вынужден собственноручно подписать — и сейчас еще можно увидеть этот документ в библиотеке Базеля, — что Каstellio не назначен проповедником лишь потому, что придерживается своего, неканонического мнения по двум частным богословским вопросам; и далее в документе буквально написано следующее: «И чтобы никто не мог ложно приписать

какую-либо иную причину отъезда Себастьяна Каstellio, мы все заверяем, что он добровольно (sponte) сложил с себя обязанности учителя, а до этого выполнял их так, что мы почли бы его достойным предоставить ему должность проповедника. Если же это не произошло, то ни в коем случае не потому, что его поведение было запятнано безнравственными поступками, а исключительно по вышеуказанным причинам».

* * *

Вынужденный отъезд из Женевы единственного равного Кальвину по эрудиции ученого для деспота Кальвина означает победу, впрочем, победу пиррову. Ибо в самых широких кругах об отъезде высокоуважаемого ученого сожалеют как о большой потере. Ученые единодушно решили, что «учителю Каstellio Кальвином была учинена несправедливость», в космополитическом мире гуманистов этот инцидент укрепил ученых в мнении, что Кальвин в Женеве терпит лишь лизоблюдов, лишь людей, повторяющих его слова, да и через две сотни лет Вольтер будет рассматривать случай притеснения Каstellio как решающее подтверждение тиранического нрава Кальвина. «Кальвина можно оценить по тем преследованиям, которым он подверг Каstellio, ученого, несравненно более эрудированного, чем он сам; зависть изгнала того из Женевы».

Но Кальвин чрезвычайно чувствителен к малейшим упрекам и порицаниям. Он не может не заметить общего недовольства, которое вызвал удалением Каstellio. И едва достигнув своей цели, прогнав из Женевы этого единственного независимого человека с именем, он опасается общественного мнения, которое поставит ему в вину то, что Каstellio блуждает по свету совершенно без средств к существованию.

Действительно, решение Каstellio покинуть Женеву было продиктовано отчаянием. Ведь как открытый противник вождя политически наиболее сильного религиозного движения Швейцарии, он не может рассчитывать на немедленное получение в этой стране места в реформированной церкви: его

вспыльчивость бросила его в горькую нужду. Как нищий, как бедняк, бредет бывший ректор школы женевской реформированной церкви от двери к двери. Кальвин достаточно дальновиден, чтобы понимать, что это всем очевидное бедственное положение вытесненного из Женевы противника ему, Кальвину, должно будет нанести вред. И поскольку Каstellio уже не обременяет его своей непосредственной близостью, он пытается несколько облегчить участь добровольному изгнаннику.

С бросающимся в глаза рвением, единственно для того лишь, чтобы оправдаться, пишет он письмо за письмом своим друзьям о том, как много стараний прилагает к тому, чтобы обеспечить бедному и нуждающемуся Каstellio (который лишь по своей вине стал бедным и нуждающимся) место, соответствующее его эрудиции: «Я хотел бы, чтобы он смог устроиться где-нибудь без помех, и со своей стороны приложил бы к этому усилия». Кальвин хотел бы, чтобы Каstellio молчал о женевском инциденте.

Но Каstellio свободно и открыто рассказывает всюду, что вынужден был оставить Женеву из-за властолюбия Кальвина, и тем самым ранит Кальвина в самое чувствительное место, так как Кальвин никогда открыто не признает своего стремления властвовать и постоянно желает, чтобы им восторгались как наискромнейшим, наисмирнейшим слугой тяжелого долга, возложенного на него Богом. Но едва Кальвин узнает о поведении Каstellio, тон его писем тотчас же меняется; покончено с только что высказанным сочувствием к Каstellio. «Если бы ты знал, — жалуется Кальвин другу, — что лает эта собака, я имею в виду Себастьяна, в мой адрес. Он рассказывает, что прогнан со своей должности только моей тиранией, прогнан затем, чтобы я мог один править городом». В течение немногих месяцев тот самый человек, которого Кальвин, собственноручно расписавшись, почел безусловно достойным нести священную службу слуги Божьего, вдруг оказался «скотиной», chien*, и

* Собакой (фр.).

метаморфоза эта произошла по единственной причине: Кастеллио предпочел горькую нужду и право говорить правду тепленькому местечку и благодарному молчанию.

* * *

Эта добровольно выбранная бедность Кастеллио уже у современников вызывала восхищение. То, что Кастеллио, человеку с большими заслугами, пришлось испытать столь глубокую нужду, Монтень считает фактом, достойным сожаления, и добавляет, что многие были бы готовы ему помочь, если бы узнали об этом своевременно. Но действительность говорит другое: люди не проявляют желаний дать Кастеллио хотя бы самое необходимое. Пройдут годы и годы, прежде чем добровольный изгнанник получит место, хоть в какой-то степени соответствующее его эрудиции; его не приглашает ни один университет, ни одна община верующих не предлагает ему место проповедника, политическая зависимость швейцарских городов от Кальвина к этому времени уже слишком велика, чтобы кто-либо осмелился открыто помогать противнику жевевского диктатора.

С трудом находит, наконец, изгнанник средства к существованию, заняв место простого корректора в базельской книгопечатне Опорина; но нерегулярная работа совершенно не позволяет ему обеспечить самым необходимым жену и детей, и Кастеллио вынужден, чтобы прокормить шесть или восемь ртов, недостающие гроши зарабатывать изнурительным, нетворческим трудом домашнего учителя. Ему придется прожить еще много мрачных лет в несказанно унижительной, жалкой, каждодневно парализующей душу и физические силы нужде, прежде чем, наконец, университет пригласит универсально образованного ученого на должность преподавателя греческого языка! Но и эта, скорее почетная, чем доходная, должность не освободит Кастеллио от ярма поденщины; всю свою жизнь этот большой ученый, признаваемый некоторыми современниками едва ли не самым значительным ученым сво-

его времени, вынужден будет выполнять простую черную работу. Сам копает он лопатой землю в огороде своего маленького дома, расположенного в пригороде Базеля, а поскольку для пропитания семьи дневной работы недостает, Кастеллио ночами корпит над корректурой печатных текстов, над редактированием чужих работ, над переводами со всех языков. Многие тысячи листов переводит он для базельских издателей ради куска хлеба с греческого, еврейского, латинского, итальянского, немецкого.

Но эта дрящящая годы и годы нужда подточит лишь его тело, лишь его слабую, чувствительную плоть, но никогда — его независимость, решительность его гордой души. Ибо, даже выполняя необозримо большую подневольную работу, Кастеллио не забывает свою жизненную задачу. Неколебимо работает он над трудом своей жизни, над переводом Библии на латинский и французский, пишет журнальные статьи, памфлеты, комментарии и диалоги, нет дня, нет ночи, чтобы Кастеллио не работал; никогда этот вечный ломовой извозчик не испытал радости путешествия, милосердия отдыха, никогда его современники не воздали ему за его труды ни славой, ни богатством. Но этот свободный дух предпочитает оставаться вечным рабом нищеты, предпочитает недосыпать над рукописями, но никому не отдавать свою независимую совесть — вот великолепный пример тех таинственных, невидимых свету героев духа, которые даже во тьме неизвестности ведут борьбу за самое святое для них дело — за неприкосновенность слова, за незыблемое право на свои убеждения.

* * *

Собственно единоборство Кастеллио и Кальвина еще не началось. Но два человека, две идеи уже взглянули друг другу в глаза и поняли, что они — непримиримые враги. Они не смогут жить хотя бы час в одном городе, в одном и том же духовном пространстве; но даже в отдалении друг от друга (один — в Базеле, другой — в Женеве) они бдительно следят

друг за другом. Каstellio не забывает Кальвина, Кальвин — Каstellio, и их молчание — всего лишь ожидание решающего слова. Столь глубокие противоположности представляют собой антагонистические мировоззрения; длительное время такие мировоззрения сосуществовать не могут; никогда свобода духа не сможет находиться в тени диктатуры, никогда диктатура не будет чувствовать себя беззаботной, пока в границах ее влияния имеется хотя бы один независимый человек. Чтобы произошел взрыв скрытно накапливаемых напряжений, всегда необходим повод. И вот только тогда, когда Кальвин подожжет костер Сервета, с губ Каstellio сорвется пламенно обвиняющее слово. Лишь когда Кальвин объявит войну каждой свободной совести, Каstellio не на жизнь, а на смерть начнет борьбу против него от имени совести.

ДЕЛО СЕРВЕТА

Иногда История из миллионов и миллионов людей выбирает одного, чтобы наглядно показать на нем спор мировоззрений. И совсем не обязательно, чтобы этот человек был гением. Зачастую для этого судьба довольствуется совершенно случайным именем и вписывает его в память потомков на вечные времена. И не из-за своей гениальности, но вследствие лишь своей ужасной кончины Мигель Сервет стал личностью выдающейся. Дарования очень многосторонние, но не совсем счастливо организованные смешались в этом удивительном человеке: сильный, деятельный, всем интересующийся, своевольный, но мечущийся от проблемы к проблеме интеллект; чистая, но неспособная к творческой ясности воля к истине. Ни в одной науке этот фаустовский дух не может задержаться основательно, несмотря на то, что он одновременно тянется к философии, к медицине, к теологии, иногда блеснет смелыми наблюдениями, затем, раздосадованный, обращается к легкомысленному шарлатанству.

Однажды, впрочем, в его книге вспыхивает наблюдение,

открывающее путь к великим медицинским истинам, обнаруживая существование так называемого малого круга кровообращения, но Сервет не думает о том, чтобы тщательно оценить свое открытие, научно углубить его; словно единичная, до срока вспыхнувшая зарница, гаснет эта молния гения во тьме своего века. В этом одиночке много духовных сил, но в творческую личность сильный дух может быть преобразован лишь внутренней целеустремленностью.

До надоедливости часто, к месту и не к месту говорят, что в каждом испанце имеется щепотка от Дон Кихота, но применительно к Мигелю Сервету это наблюдение поразительно справедливо. И не только внешне этот тощий, бледный, остробородый араговец очень похож на героя из Ламанчи; и внутренне он горит подобной же великолепной и гротескной страстью, готовый бороться за абсурд, в слепом от ярости идеализме атаковать все и всякие препятствия реального мира. Совершенно лишенный самокритичности, что-то открывший или утверждающий, насккивает этот странствующий рыцарь богословия на все валы и ветряные мельницы своего времени. Его возбуждают лишь приключения, лишь абсурдное, необычное, опасное, и в неистовой страсти сражения он ожесточенно бьется со всеми другими упрямыми, не связывая себя ни с какой партией, не принадлежа ни к какому клану, всегда одинокий, всегда преданный очередной фантазии, всегда полный невероятных планов — уникальная, эксцентричная, сумасбродная личность.

Тот, кто постоянно противопоставляет себя другим, кто всегда чрезмерно переоценивает себя, непременно должен испортить со всеми отношения; примерно одних лет с Кальвином, Сервет еще подростком впервые столкнулся с миром: пятнадцатилетним, он вынужден был бежать от инквизиции из родной Арагонии в Тулузу, чтобы там продолжить свои занятия. Духовник Карла V берет его из университета секретарем в Италию, а позже — на Аугсбургский конгресс; там, подобно своим современникам, юный гуманист изменяет политическим страстям ради большой битвы богословов. Став

свидетелем всемирно-исторической полемики между старым и новым учениями, его беспокойный дух приходит в чрезвычайное волнение.

Там, где спорят все, он тоже хочет спорить, где все пытаются реформировать церковь, он тоже хочет принимать в этом участие, и с крайностью, присущей возрасту, этот юнец с горячей кровью все прежние решения и разрешения вопросов старой церкви считает слишком робкими, индифферентными. Даже Лютера, Цвингли и Кальвина, этих смелых новаторов, он не считает достаточно решительными в деле очищения Евангелия: ведь они принимают в свое новое учение догму о триединстве! Сервет же с непримиримостью двадцатилетнего объявляет Никейский собор* просто не имеющим силы, а догму о трех вечных ипостасях — несовместимой с единством Божьей сущности.

Подобное радикальное воззрение само по себе не было таким уж бросающимся в глаза в это религиозно возбужденное время. Всегда, когда переоцениваются все ценности и колеблются законы, каждый пытается мыслить самостоятельно, нетрадиционно. Но роковым образом Сервет перенимает от всех спорящих друг с другом богословов не только страсть к спору, но и самое скверное их свойство — фанатичное упрямство. И двадцатилетний юноша желает немедленно доказать вождям Реформации, что они реформировали церковь совершенно недостаточно и что конечную истину знает только он, Мигель Сервет. Нетерпеливый, посещает он великих ученых своего времени: в Страсбурге — Мартина Буцера и Капто, в Базеле — Эколампадия, чтобы побудить их как можно быстрее устранить из евангелической церкви «ошибочную» догму о триединстве.

Можно очень живо представить себе ужас достойнейших, зрелых проповедников и профессоров, когда безбородый испанский студент, внезапно появившись в их доме, со всей

*Никейский собор (1325 г.) — первый вселенский собор епископов христианской веры, принял обязательный для всех христиан «символ веры».

неистовостью сильного и истеричного темперамента требует, чтобы они немедленно отказались от всех своих взглядов и послушно присоединились к его радикальному тезису. Как если бы сам черт из преисподней послал к ним в кабинет своего собрата, так отрешиваются они от этого дикого еретика. Эколампаций гонит его, как собаку, из дому, называя его «иудеем, турком, богохульником, одержимым демоном». Буцер клеймит его с кафедры как слугу дьявола, а Цвингли открыто предостерегает от «кошунственного испанца, чье ложное, злое учение хочет разделаться с нашей христианской религией».

Но подобно тому, как рыцарь из Ламанчи в своих странствиях не дает запугать себя руганью и побоями, так же мало его соотечественник-богослов обращает внимания на любые аргументы, выдвигаемые в спорах против его учения, так же непоколебим остается он в своей убежденности. Если его не понимают вожди, если мудрые и ученые мужи не желают слушать его в своих кабинетах, тогда битву следует продолжить открыто; пусть весь христианский мир читает его доказательства в книге! Двадцатидвухлетний Сервет собирает последние деньги и отдает в Хагенау свои тезисы в печать. Но как только издаются эти тезисы, на него обрушивается ураган. Буцер с кафедры объявляет, что этот богохульник заслуживает того, чтобы «у него, живого, были вырваны все внутренности», и с этого часа протестанты считают Сервета изощренным посланцем сатаны.

Само собой разумеется, человеку, который так подстрекательски ведет себя по отношению ко всему свету, человеку, тезисы которого и католическая, и протестантская церкви объявили ложными, на всем христианском Западе не найти ни спокойного места, ни дома, ни крыши. С тех пор как Мигель Сервет со своей книгой впал в «арианскую ересь», его преследуют, словно дикого зверя. Для него возможно единственное спасение — бесследно исчезнуть, сделаться невидимым и незаметным, сорвать с себя свое имя, словно горящую одежду; отверженный, он возвращается во Францию как Мигель Вил-

ленев и под этим псевдонимом устраивается в одну из лионских типографий.

Не имея фундаментальных знаний в какой-либо науке, являясь, по существу, дилетантом, он обладает сильно развитой способностью проникать в глубинную сущность иных ее вопросов и находить новые побуждающие стимулы и возможности для полемики. Корректируя «Географию» Птолемея, Сервет — в одну ночь! — превращается в географа и снабжает книгу обстоятельным введением. При корректурной сверке медицинских книг живой ум усваивает основы медицины, и вскоре уже Сервет серьезно начинает изучать искусство врачевания, отправляется в Париж, чтобы продолжить образование, и работает одновременно препаратором на лекциях Везалия.

Но опять же, как до этого в богословии, не доучившись и, вероятно, не получив даже ученой степени, нетерпеливый человек начинает поучать других в этой новой для себя области. Смело берется он читать в медицинской школе Парижа множество курсов: математику, метеорологию, астрономию, астрологию, — но врачей раздражает эта универсальность, это смешение учения о врачевании с учением о звездах и некоторые его шарлатанские приемы; Сервет-Вилленев вступает в конфликт с авторитетами, и, наконец, его коллеги подают в парламент жалобу на то, что его занятия астрологией, наукой, порицаемой божескими и гражданскими законами, — неприкрытое шарлатанство. И вновь, чтобы избежать при следствии идентификации Вилленева с Серветом, со скрывающимся и всюду разыскиваемым еретиком, Сервету приходится спасаться бегством.

И преподаватель Вилленев исчезает из Парижа, как в свое время богослов Сервет исчез из Германии. Длительное время ничего о нем не было слышно. И вновь появляется он уже под другой маской: кто бы мог подумать, что новый врач архиепископа Польмира во Вьенне, этот набожный католик, каждое воскресенье посещающий мессу, является гонимым архиеретиком, человеком, осужденным парижским парламентом за

шарлатанство? Впрочем, свои еретические тезисы Мигель де Вилленев разумно остерегается распространять во Вьенне. Он держит себя тихо и незаметно, у него очень большая практика, он хорошо зарабатывает, и ничего не подозревающие славные горожане Вьенна уважительно приподнимают свои шляпы, когда врач его архиепископского преосвященства Monsieur le docteur Мигель де Вилленев с достоинством испанского дворянина проходит мимо них: какой благородный, набожный, ученый и скромный человек!



Но в этом страстно честолюбивом человеке архиеретик конечно же не умер; в глубине души Мигеля Сервета таится старый, неуемный, беспокойный дух, дух исканий. Если мысль хоть однажды овладела человеком, овладела им полностью, до последнего фибра его существа, то человека неудержимо охватывает внутренняя лихорадка. Живая мысль никогда не удовлетворится жизнью в одном-единственном смертном человеке; чтобы вместе с ним и умереть, ей необходимы пространства, ей нужны мир и свобода. Поэтому для каждого мыслителя наступает час, когда идея его жизни прорывается наружу, словно заноза из нарывающего пальца, словно ребенок из лона матери, словно плод из скорлупы.

Страстная личность, человек, обладающий развитым чувством собственного достоинства, Сервет не может долго держать в себе идею фикс; он не может не желать, чтобы весь мир, наконец, думал так же, как и он. Как и прежде, он испытывает постоянные муки совести, видя, что вожди евангелического учения с кафедр объявляют ложные — по его мнению — догмы о крещении детей и о триединстве, христианство все еще запятнано этими «нехристианскими» заблуждениями. Разве не его это задача — выступить, наконец, и принести всему миру весть об истинной вере?

Страшно тяжелыми должны быть для Сервета эти годы вынужденного молчания. Из глубины души рвутся невыска-

занные слова, а он, преследуемый, гонимый и скрывающийся под чужим именем, обязан плотно сжимать губы. В таком мучительном состоянии пытается Сервет — вполне понятное стремление — найти хотя бы вдали собрата по мыслям, человека, с которым он мог бы вести диалог; поскольку он не решается ни с кем духовно общаться здесь, он хочет иметь возможность хотя бы в письмах высказывать свои богословские убеждения.

Ослепленный своей идеей, Сервет роковым образом доверился Кальвину. Именно у этого самого крайнего, самого смелого реформатора евангелического учения надеется Сервет найти понимание своего еще более строгого, еще более дерзкого изложения Священного писания: возможно, он предполагал продолжить таким образом прежнюю дискуссию. Ведь уже занимаясь в университете, оба эти студента-сверстника встречались в Париже; но лишь годы спустя, когда Кальвин стал владыкой Женевы, а Мигель де Вилленев — врачом архиепископа Вьенна, через посредство лионского книготорговца завязывается между ними переписка. Инициатива исходит от Сервета. Настойчиво, пожалуй, даже несколько навязчиво обращается он к Кальвину, чтобы привлечь на свою сторону в борьбе против догмы о триединстве этого едва ли не самого сильного теоретика Реформации, и пишет ему письмо за письмом.

Как вождь церкви, Кальвин почитает своим долгом поучать заблуждающихся, как пастырь — вновь собирать в стадо отбившихся овец; он вначале отвечает доктринерски, пытается объяснить Сервету его ошибки; но еретические тезисы и высокомерный, самонадеянный тон писем Сервета возмущают наконец и ожесточают Кальвина. Писать такие, например, слова: «Я часто объяснял тебе, что ты стоишь на ложном пути, соглашаясь с чудовищным различием трех Божьих ипостасей» — авторитарной личности, Кальвину, которого даже ничтожные возражения выводят из себя, означает раздражать опасного противника самым опасным образом. Но когда автору всемирно известного «*Institutio religionis Christianae*» Сер-

вет посылает экземпляр этой книги, на полях которой, как школьный учитель ученику, делает указания о предполагаемых им, Серветом, ошибках, легко представить себе настроение, с которым владыка Женевы принимает эту дерзость богослова-дилетанта.

«Сервет кидается на мои книги, словно собака, кусающая камень, и мараёт их оскорбительными заметками», — пишет с презрением Кальвин своему другу Фарелю. Зачем терять время на споры с таким неисправимым путаником? Пинком ноги отбрасывает он аргументы Сервета. «На слова этой личности я обращаю столько же внимания, сколько на крик осла (le hin-han d'un anè)».

Но, не понимая, на какую железную броню самоуверенности кидается он со своей тонкой пикой, несчастный Дон Кихот не сдаётся. Он не отступает — именно этого единственного, ничего не желающего о нем знать человека он страстно хочет любой ценой сделать приверженцем своей идеи; действительно, похоже, что он, как пишет Кальвин, «одержим сатаной». Вместо того чтобы остерегаться Кальвина как самого, какой только мыслим, опасного врага, он нетерпеливо посылает ему для прочтения листы рукописи подготавливаемого им к печати богословского произведения. Не стоит даже говорить о содержании книги, достаточно заглавия, чтобы представить себе, как должна была вывести Кальвина из себя эта новая работа Сервета. Ибо свое вероучение Сервет называет «Christianismi Restitutio»*, чтобы подчеркнуть перед всем миром, что труду Кальвина «Institutio» («Установление») следует противопоставить труд его, Сервета, «Restitutio» («Восстановление»).

Патологическая страсть к обращению в свою веру Кальвина и неумемная назойливость Сервета становятся Кальвину поперек горла. Категорически заявляет он книготорговцу Фреллону, через посредство которого до сих пор осуществлялся обмен письмами, что у него слишком много действительно

* «Восстановление христианства» (лат.).

неотложных и важных дел, чтобы терять время на переписку с таким самодовольным дураком. Одновременно пишет он своему другу Фарелю, и эти ужасные слова окажутся пророческими: «Сервет недавно написал мне письмо и приложил к нему толстый пакет своих измышлений, с невероятной наглостью утверждая, что из этого материала я вычитаю поразительные истины. Он пишет, что, если я этого пожелаю, готов немедленно приехать сюда... Но я и пальцем не пошевелю ради этого, а если он все же приедет, то, поскольку я еще имею некоторое влияние в этом городе, уж постараюсь не выпустить его отсюда живым».

Может быть, Сервет узнал какими-то путями об этой угрозе, а может быть (в одном из не дошедших до нас писем), Кальвин сам предостерег его — в любом случае, похоже, наконец-то он стал подозревать, какого смертельного врага заполучил; впервые он испытывает неприятное чувство, зная, что та опасная рукопись, посланная Кальвину *sub sigillo secreti**, находится в руках человека так открыто высказавшего свою ненависть к нему. «Поскольку ты придерживаешься того мнения, — пишет перепуганный человек Кальвину, — что я для тебя сатана-искуситель, я решил переписку с тобой прекратить. Верни мне мою рукопись и прощай. Но если ты честно полагаешь, что папа — антихрист, то должен быть также уверен в том, что триединство и таинство крещения детей — догматы, образующие часть католической веры, — являются догматами демона».

Но Кальвин остерегается отвечать, еще менее того думает он о возврате Сервету изобличающей того рукописи. Заботливо, как опасное оружие, прячет он еретическое произведение в ларь, чтобы в нужный час оттуда его извлечь. Оба они, и Кальвин и Сервет, после этого резкого обмена мнениями понимают, что вот-вот начнется борьба, и в темном предчувствии Сервет пишет в эти дни одному богослову: «Теперь мне совершенно ясно, что за это я поплачусь жиз-

*Здесь: секретно (лат.).

нию. Но эта мысль не победит мое мужество. Как ученик Христа, я иду по следам моего Учителя».

* * *

Каждый в свое время поймет, и Кастеллио, и Сервет, и сотни других, что выступить против Кальвина, этого фанатичного упрянца, хотя бы по самому ничтожному пункту его учения — дело отважное и опасное для жизни. Ненависть Кальвина, как все в его характере, непреклонна и методична, это не импульсивная, быстро угасающая вспышка гнева, как яростные неистовые взрывы Лютера или грубияна Фареля. Его ненависть — это жестокая, острая, режущая, словно сталь, вражда. Если ненависть Лютера порождена кровью, желчью, вспыльчивостью, темпераментом, то упорная, холодная мстительность Кальвина порождена мозгом, его ненависть имеет ужасающе безупречную память. Кальвин не забывает ничего и никому — *quand il a le dent contre quelqu'un ce ne'est jamais fait**, говорит о нем пастор де ла Мар, и имя, однажды занесенное Кальвином в память этим жестким грифелем ненависти, не стереть, пока сам человек не будет вычеркнут из Книги судеб. И хотя Кальвин на многие годы прекратил переписку с Серветом и ничего о нем не слышал, это не означает, что Кальвин забыл Сервета. Молча хранит он в своем ларе компрометирующие письма, в своем колчане — стрелы, в своей жесткой, неумолимой душе — старую, прекращающуюся ненависть.

Похоже, что всю эту долгую передышку Сервет ведет себя совершенно тихо. Он отказался перевоспитывать не поддающегося перевоспитанию человека; всю свою страстность он отдает теперь своему произведению. С упорной и истинно потрясающей самоотдачей врач архиепископа продолжает тайно работать над своей «*Restitutio*», которая, как он надеется, по правдивости, по истинности значительно превзойдет реформированные Кальвином, Лютером и Цвингли учения и

*Если заимел зуб на кого-то — это навсегда (*фр.*).

откроет миру, наконец, истинное христианство. Ни в коем случае Сервета нельзя отнести к тем «чудовищным пренебрегателям» Евангелия, каковым попытается позже заклеить его Кальвин, в равной степени он не был также ни вольнодумцем, ни атеистом, к которым иные подчас желают его теперь причислить.

Все время Сервет оставался в области религиозного, а насколько убежденно он сам считал себя верующим христианином, обязанным отдать свою жизнь за веру и божество, подтверждает призыв его в предисловии к книге: «О Иисусе Христос, сын Божий, Ты, который дан нам с неба, откройся своему слуге так, чтобы это великое откровение было явным для всех нас. Ведь это Твое дело, которое я решил защищать, следуя внутреннему божескому порыву. Еще раньше сделал я первую попытку; теперь же я вновь понуждаем к этому, ибо время, истинно, пришло. Ты учил нас не утаивать наш свет; горе мне поэтому, если я не возведу истину!»

То, что Сервет совершенно ясно представляет себе опасность, которую он на себя навлечет публикацией книги, подтверждают сверх всего прочего те меры предосторожности, которые он принял при ее печатании. Действительно, каким отчаянно смелым, каким безумным поступком является предпринятое им дело: врач архиепископа в маленьком болтливом городке печатает большое — на семьсот страниц — архиеретическое произведение! Тут рискуют головой все работники книгопечатни, участвующие в таком чрезвычайно опасном предприятии, а не один только издатель. Но чтобы подкупить колеблющихся рабочих и под носом у инквизиции тайно напечатать свое произведение, Сервет жертвует всем своим состоянием, с трудом накопленным за многие годы врачебной деятельности. Осторожности ради печатные станки из книгопечатни переносятся в уединенный дом, специально для этого нанятый Серветом. Там работают лишь надежные люди, клятвенно обязавшиеся сохранить тайну печати еретической книги, и само собой разумеется, что в готовой книге отсутствуют указания о месте издания и о фамилии типографа. Лишь

на последней странице над годом выпуска Сервет роковым образом оставляет предательские инициалы MSV (Мигель Сервет Виллановус) и тем самым дает ищейкам инквизиции неопровержимое подтверждение своего авторства.

* * *

Но дело не только в том, что Сервет выдал сам себя, свою роль сыграла, казалось бы, дремлющая, а в действительности зорко следящая за ним ненависть неумолимого врага. Великолепно организованная служба слежки и шпионажа, созданная Кальвином в Женеве, имеет чрезвычайно развитую сеть агентов во всех соседних государствах, она работает методически и четко, а во Франции даже более четко и исправно, чем соответствующие службы папской инквизиции. По существу, книга Сервета еще не вышла в свет, почти весь тираж — тысяча книг — еще лежит в пачках в Лионе или еще катят эти пачки в книжных фургонах на ярмарку во Франкфурт, еще сам Сервет дал только считанные экземпляры своей книги друзьям, так что до наших дней вряд ли сохранилось более трех экземпляров, а у Кальвина эта книга уже в руках. И сразу же он принимает решение: уничтожить одним ударом их обоих — и еретика, и его произведение.

Это первое малоизвестное покушение Кальвина на Сервета по своему коварству неизмеримо отвратительнее того открытого убийства на рыночной площади Шампель, которое произойдет позже. Ведь Кальвин, получив книгу своего врага и сочтя ее еретической, мог бы, если б того пожелал, не пятная себя, передать дело Сервета инквизиции. Для этого ему достаточно было бы с кафедры предостеречь христианский мир от этой книги, а католическая инквизиция сама бы очень быстро открыла издателя, даже такого, который притаился в тени архиепископского дворца. Но вождь Реформации не желает утруждать папские службы розыском и делает грязное дело сам, причем особенно подлым образом.

Напрасно панегиристы Кальвина пытаются защитить его в

этом одном из самых дурно пахнущих его дел, так как этим они, нарушая психологическую правду, показывают, что совершенно не понимают его характера; конечно, и это никто не отрицает, Кальвину присущи и глубочайшее рвение в вопросах веры, и чистейшая религиозная воля, но он тотчас же становится бессовестным, как только дело касается его догм, его «дела». Для своего учения, для своей партии (и вот здесь-то его полярность по отношению к Лойоле оборачивается идентичностью) он, ни минуты не колеблясь, готов одобрить любое средство, если это средство кажется ему полезным.

Едва книга Сервета попадает в руки Кальвина, как уже 16 февраля 1553 года один из его ближайших друзей — протестантский эмигрант Гийом де Три пишет из Женевы письмо во Францию своему родственнику Антуану Арнэ, оставшемуся таким же фанатичным католиком, каким протестантом стал Три. В этом письме де Три восторженно пишет, сначала не вдаваясь в подробности, как удачно протестантская Женева подавила все происки еретиков, тогда как в католической Франции эта сорная трава продолжает бурно произрастать. Но внезапно дружественная болтовня становится опасно серьезной. «У вас во Франции, — пишет де Три, — имеется, к примеру, сейчас один еретик, заслуживающий быть сожженным, где бы его ни схватили» (*qui mérite bien d'être brûlé partout où il sera*).

Непроизвольно содрогаешься от ужаса. Очень уж эта страшная фраза напоминает ту, которую в свое время Кальвин обронил в своем письме Фарелю: если Сервет появится в Женеве, он, Кальвин, позаботится о том, чтобы не выпустить его живым из города. Но де Три, приспешник Кальвина, пишет еще более определенно. Он доносит теперь совершенно открыто и ясно: «Речь идет о некоем испанце из Арагона, которого зовут Мигелем Серветом, но он именуется Мигелем Вилленевом и практикует как врач». И далее он пишет, как называется книга Сервета, излагает ее содержание и при-

лагает четыре первые страницы. Затем с сочувственным вздохом по поводу греховности мира отсылает свое смертоносное письмо.

Эта женевская мина заложена искусно и должна взорваться в заданный час в желаемом месте. Все происходит именно так, как было предусмотрено доносчиком. Набожный католический родственник Арнэ в беспокойстве и в полной растерянности спешит с письмом к церковным властям Лиона, кардинал срочно вызывает к себе папского инквизитора Пьера Ори. Колесо, приведенное Кальвином в движение, начинает раскручиваться с огромной, зловещей скоростью. Донос поступил в Лион 27 февраля, а 16 марта Мигеля де Вилленева уже вызывают к себе духовные власти Вьенна.

Однако — какое горькое разочарование для набожно-ревностных доносчиков Женевы — искусно заложённая мина не взрывается. Вероятно, какая-то милосердная рука перерезала провода управления. Возможно, архиепископ Вьенна своевременно лично намекнул своему врачу, и он сумел подготовиться к вызову. Как бы то ни было, но, когда во Вьенне появляется инквизитор, набора фантастическим образом в книгопечатне уже не найти, рабочие клянутся, что никогда не печатали книгу подобного рода, а глубокоуважаемый врач Вилленев возмущен тем, что его считают Мигелем Серветом.

Удивительно, но инквизиция довольствуется бездоказательным протестом, и эта бросающаяся в глаза снисходительность укрепляет наше предположение, что чья-то сильная рука защитила тогда Сервета. Суд, который обычно в подобных случаях начинает применять орудия пыток, отпускает Вилленева на свободу, инквизитор возвращается не солоно хлебавши в Лион, где Арнэ извещают, что сведения, которые он сообщил инквизиции, к сожалению, для предъявления обвинения человеку недостаточны. Похоже, что женевская попытка, рассчитанная на то, чтобы окольными путями, с помощью католической инквизиции покончить с Серветом, жалким образом провалилась. И возможно, все обстоятельства этого темного дела понемногу забылись бы,

если бы Арнэ вторично не обратился в Женеву, чтобы от своего родственника де Три испросить новые, на этот раз более достоверные доказательства.

* * *

До сих пор, пожалуй, можно еще было с какой-то, правда, малой степенью вероятности принять, что де Три сообщил своему родственнику-католику о ему лично незнакомом авторе лишь из чисто религиозного рвения и что ни он, ни Кальвин и не подозревали, что их личные письма могут быть переданы папским службам. Теперь же, поскольку машина инквизиторской юстиции уже запущена и женевские блюстители чистой веры точно знают, что Арнэ обращается к ним за дополнительными подтверждениями не из чистого любопытства, а по поручению инквизиции, они не остаются в неведении относительно того, кому эти сведения полезны. По всем земным представлениям, протестантский священник должен был бы тут же содрогнуться от ужаса, убедившись, что дошел до пособничества тому ведомству, в котором неоднократно поджаривали на медленном огне друзей Кальвина. Действительно, у Сервета будут все основания бросить своему убийце Кальвину вопрос: «А не знал ли он, что, став на путь официального обвинения и преследования, он действовал вопреки Евангелию?»

Но когда дело касается его учения — это следует вновь и вновь повторить, — Кальвин теряет и чувство человечности, и всякую меру нравственности своих поступков. С Серветом надо покончить, а каким оружием и каким способом, упрямо-му ненавистнику в этот момент совершенно безразлично. И действительно, все дальнейшее происходит самым коварным, самым мерзким образом.

Новое письмо, которое де Три (без сомнения, под диктовку Кальвина) пишет своему родственнику Арнэ, является образцом лицемерия. Сначала де Три разыгрывает крайнее удивление по поводу того, что корреспондент передал его сообщение

инквизиции. Ведь писал он его конфиденциально, частным образом, *privément à vous seul*. «Моим намерением было просто показать, какого характера рвение в вере у иных, именующих себя столпами церкви».

Но, прекрасно зная, что костер уже сооружен и сейчас очень опасно давать католической инквизиции какой-либо дополнительный материал, этот жалкий доносчик с набожным взором заявляет, что на этот раз осечки не будет и «Бог почел за благо позаботиться о том, чтобы очистить христианство от подобной грязи и смертоносной чумы», и происходит немыслимое: свершив подлость, втянув Бога в дела человеческой, или, вернее, нечеловеческой, ненависти, убежденный бравый протестант передает католической инквизиции самый убийственный для Сервета материал, подтверждающий его виновность, — собственноручные письма Сервета и фрагменты рукописи его книги. Теперь судья инквизиции может спокойно приступить к своей работе.

Письма Сервета, собственноручно им написанные? Но как и откуда может де Три, которому Сервет никогда не писал, достать письма, написанные собственноручно Серветом? Пора кончать игру в прятки: Кальвину следует выйти из-за кулис, где он до сих пор хотел ловко притаиться. Само собой разумеется, это письма и рукопись, посланные в свое время Серветом Кальвину, и Кальвин — а это является решающим — великолепно знает, для кого он вытащил теперь их из своего сундука. Он знает, кому будут переданы эти письма: тем самым «папистам», которых он каждодневно с кафедры именует сатанинскими слугами и которые подвергают его учеников неслыханным мучениям, казням.

И Кальвин прекрасно знает, для какой цели так нужны Великому инквизитору эти письма: «Ходят слухи, что я принял необходимое, чтобы Сервета схватила папская инквизиция, а некоторые говорят, я вел себя неблагородно, передав его смертельным врагам веры, бросив его волкам на съедение. Но прошу Вас, подумайте только, каким это образом я вдруг смог бы войти в сношения с сателлитами папы. Это же неве-

роятно, чтобы мы общались друг с другом и чтобы те, которые так же относятся ко мне, как Велиал к Христу, оказались со мной в сговоре».

Но этот логический кунштюк возле правды очень уж неловок, ибо когда Кальвин лепечет «каким это образом я смог бы войти в сношения с сателлитами папы», то на этот риторический вопрос документы дают убийственно однозначный ответ: прямым путем, через своего друга де Три, который, впрочем, сам в своем письме очень наивно подтверждает пособничество Кальвина: «Должен признать, что мне стоило немало усилий получить от господина Кальвина прилагаемые к письму документы. Не потому, что он полагал, будто ему следует скрывать столь ужасное кощунство, а потому лишь, что он почитал своим личным долгом не преследовать еретика мечом правосудия, а переубеждать его своим учением». Совершенно напрасно (разумеется, под диктовку Кальвину) пытается неловкий корреспондент всю вину принять на себя, когда пишет: «Но я так наседаю на господина Кальвина и так убедительно доказывал ему, что если он не поможет мне, то меня упрекнут в легкомыслии, что он, наконец, сдался и передал мне посылаемый Вам материал». Документы же говорят здесь лучше, чем все самым ловкие слова: сопротивлялся Кальвин или не сопротивлялся, однако все лично ему адресованные письма Сервета он передал благодаря «сателлитам папы» для его убийства. Лишь добровольному его пособничеству де Три смог послать Арнэ — а в действительности папской инквизиции — письма с убийственно уличающим материалом и заключить это свое послание ясным указанием: «Надеюсь, я вооружил Вас хорошим материалом, и теперь никаких трудностей одолеть Сервета и возбудить против него дело у Вас не будет».

* * *

Говорят, кардинал де Турнон и магистр Ори, получив эти неопровержимые доказательства против еретика Сервета при любезном посредничестве своего смертельного врага, архи-

еретика Кальвина, хохотали до упаду, и прекрасное настроение князей церкви можно очень хорошо понять: слишком неловко прикрыто ханжескими словесными ухищрениями несмываемое пятно на совести Кальвина, и им абсолютно очевидно — из доброжелательности, товарищеских, братских чувств к де Три, но, еще раз но и еще раз но им, и прежде всего им, вождь протестантизма самым наилучшим образом помогает сжечь еретика.

Учтивость и услужливость подобного рода, впрочем, не очень-то бытовали между вождями двух церквей, которые железом, огнем, виселицами и колесованием во всех странах земного шара жестоко боролись друг против друга. После кратковременной веселой разрядки инквизиторы тотчас же приступают к своему ужасному делу. Сервета хватают, сажают в тюрьму и начинают немедленно допрашивать. Полученные от Кальвина письма — улики его виновности столь ошеломляющей и поразительной убедительности, что обвиняемый более уже не может отрицать идентичности Мигеля де Вилленева и Мигеля Сервета и тем самым авторства книги. Его дело проиграно. Вот-вот во Вьенне запылает костер.

Но страстная надежда Кальвина на то, что заклятый враг поразит заклятого врага, снова оказывается преждевременной. Либо Сервет, который за много лет врачебной практики снискал в городе и его окрестностях большую любовь и уважение и, следовательно, имел много доброжелателей, или же, что еще более вероятно, церковные авторитеты решили доставить себе удовольствие спустя рукава отнестись к этому делу именно потому, что Кальвин уж очень настойчиво хотел отправить этого человека на костер; вероятно, они решили, пусть лучше от казни уйдет один не слишком значительный еретик, чем будет оказана услуга в тысячу раз более опасному организатору и распространителю всей ереси — Maitre Кальвину в Женеве!

Стерегут Сервета очень небрежно. Обычно еретика запирают в камере и приковывают к кольцу, вмурованному в сте-

ну. Сервету же разрешено все дни проводить в саду, на свежем воздухе. И 7 апреля во время такой прогулки Сервет исчезает, тюремщику остаются лишь его халат да лесенка, которой он воспользовался, чтобы перебраться через стену, окружающую сад. Вместо живого человека сжигают на рыночной площади Вьенна его портрет и пять пачек книг.

Так жалким образом провалился тонко задуманный, коварный план женевских протестантов физически покончить с духовным противником руками своих врагов, сохранив при этом свои руки чистыми. Кальвину впредь самому придется преследовать Сервета и затем предать смерти этого человека единственно за его убеждения, тем самым испачкав в крови руки, вызвав ненависть всех гуманистов.

УБИЙСТВО СЕРВЕТА

После побега Сервета из тюрьмы несколько месяцев о нем ничего не было слышно. Невозможно представить себе, какие душевные терзания испытал гонимый, пока в один из августовских дней на нанятой лошади не появился он в самом опасном на свете для него месте, Женеве, остановившись на постоялом дворе «У Розы».

Никогда не будет известно, почему этот *malis auspiciis arripulsus*, как позже скажет Кальвин, этот ведомый скверной звездой, решил искать пристанище именно в Женеве. Хотел ли он провести здесь только одну ночь, чтобы на следующий день продолжить свое бегство на лодке по озеру? Рассчитывал ли он при личном общении со своим смертельным врагом добиться больших успехов в его переубеждении, чем письмами? А может, его поездка в Женеву была лишенным логической целесообразности действием человека, перевозбужденного неким чертовски сладким и жгучим азартом игрока с опасностью, который нападает иногда на людей, находящихся в состоянии крайнего отчаяния? Никто этого не знает, никто никогда этого не узнает. Допросы и протоколы не бросят свет

на тайну, зачем он прибыл в Женеву, именно в Женеву, где он мог ожидать от Кальвина только самого ужасного.

Но неразумное и бравирующее мужество гонит несчастного еще дальше. Едва прибыв в Женеву, Сервет в воскресенье отправляется в церковь, где собирается вся кальвинистская община, и даже — дальнейшая глупость — из всех церквей города он выбирает именно церковь Св. Петра, в которой проповедует Кальвин, единственный в городе человек, знающий его в лицо по давно забытым дням в Париже. Здесь действует духовный гипнозизм, не подчиняющийся никакому логическому объяснению: ищет ли змея взгляда своей жертвы, или жертва ищет взгляда змеи, ее неотразимого, ее ужасного притягательного взгляда? Во всяком случае, какая-то непреклонность, какая-то таинственная непреклонность заставила Сервета выйти навстречу своей судьбе.

Неумолимо притягивает его к себе город, в котором государство понуждает всех бюргеров следить друг за другом, где каждый вновь прибывший привлекает к себе любопытные взгляды. И конечно же происходит то, чего и следовало ожидать, Кальвин узнает в своем набожном стаде хищного волка и отдает своим палачам безотлагательный приказ — схватить Сервета, когда тот будет выходить из церкви. Час спустя Сервет уже в кандалах.

Разумеется, этот арест Сервета противоречит всем юридическим нормам и является грубейшим нарушением священного для всех стран мира закона гостеприимства. Сервет — иностранец, испанец, в Женеву он прибыл впервые и, следовательно, не мог совершить в этом городе никаких преступлений, дающих городским властям право на его задержание. Все изданные им книги печатались и распространялись за границей, значит, он не мог совратить своими еретическими взглядами ни одной набожной души Женевы.

Кроме того, «проповеднику слова Божьего», являющемуся лицом духовным, никто не давал полномочий без предварительного решения суда задерживать кого-либо в городе Женеве и заковывать в кандалы; с какой бы точки зрения это собы-

тие ни рассматривать, нападение Кальвина на Сервета является всемирно-историческим актом диктаторского произвола, по своему открытому издевательству над всеми общепринятыми соглашениями сравнимым с нападением Наполеона на герцога Энгиенского и его убийством; здесь — с противоречащего закону лишения свободы начинается не справедливый процесс против Сервета, а заранее обдуманное убийство, не завуалированное никакой ложью.

* * *

Если Сервет арестован и брошен в тюрьму без предварительного обвинения, то, по крайней мере, хоть задним числом следует состряпать заключение, формулирующее его вину. Логичным было бы, чтобы человек, на совести которого лежит этот арест (*me autore*, по моему указанию, как позже признает сам Кальвин), сам выступил бы как обвинитель. Но в соответствии с действительно образцовым законом Женевы всякий бюргер, обвиняющий кого-нибудь в преступлении, тоже обязан одновременно с обвиняемым отправиться в тюрьму и оставаться там до тех пор, пока власти не подтвердят справедливость его обвинения.

Кальвину, следовательно, после обвинения Сервета надлежало бы отдаться властям. Но Кальвин, теократический властелин Женевы, считает ниже своего достоинства подчиняться такой мучительной для его самолюбия процедуре; ведь если суд установит невиновность Сервета, он, Кальвин, как доносчик должен будет остаться в заключении! Какая катастрофа для престижа, какой триумф для всех его противников! Поэтому Кальвин, как всегда дипломатически, предпочитает неприятную роль обвинителя поручить своему секретарю, Никола де ла Фонтену, и действительно, *secretarius* тихо и браво отправляется вместо Кальвина в тюрьму, передав властям — естественно, составленное самим Кальвином обвинительное заключение против Сервета, — заключение, состоящее из двадцати трех пунктов; ужасная трагедия начинается как комедия.

Во всяком случае, теперь, после явного нарушения законов, хотя бы внешне все обстоит законно. Сервета подвергают допросу, ему сообщают предъявленные ему обвинения. На вопросы и обвинения Сервет отвечает спокойно и умно, его энергия еще не сломлена темницей, его нервы еще не сдали. Пункт за пунктом отклоняет он обвинения; так, например, когда ему говорят, что он в своих сочинениях задевал личность Кальвина, он отвечает, что это — искажение фактов, так как Кальвин первым задел его, что и Кальвин в своих обвинениях не безупречен. Когда Кальвин обвиняет его в том, что он, Сервет, очень уж упрямо держится за некоторые свои тезисы, тот — встречно — обвиняет Кальвина в такой же твердолобости. Между Кальвином и им речь идет лишь о различии мнений в богословских вопросах, разрешить которые ни один светский суд не в состоянии, и если Кальвин тем не менее его арестовал, то это не что иное, как акт личной мести. Именно Кальвин, вождь протестантизма, в свое время донес на него католической инквизиции, и лишь по причинам, не зависящим от этого проповедника слова Божьего, Сервету удалось избежать неминуемого сожжения.

Позиция, на которой стоит Сервет, неуязвима, юридическая невиновность его настолько очевидна, что расположение Совета очень скоро склоняется на его сторону, и, вероятно, все могло бы кончиться лишь изгнанием Сервета из страны. Но по каким-то признакам Кальвин начинает понимать, что затеянное им дело вот-вот провалится и что жертва, чего доброго, ускользнет из цепких лап обвинения.

И вот 17 августа Кальвин внезапно появляется в Совете и оканчивает комедию своей мнимой непричастности к этому делу. Ясно и откровенно открывает он карты; он не отрицает более, что сам является обвинителем Сервета, и просит Совет разрешить ему принимать участие в допросах, чтобы «обвиняемый лучше понял свои заблуждения», на самом же деле, пользуясь этим лицемерным предлогом, он желает, пустив в ход свой авторитет, лишить жертву возможности уйти от готовящейся над ней расправы.

С момента, когда Кальвин самовластно и активно вмешивается в судебный процесс, положение Сервета опасно ухудшается. Опытный логик и ученый-юрист, Кальвин поведет наступление иначе, чем маленький *secretarius* де ла Фонтен, и обвиняемый начнет терять свою уверенность в такой же степени, в какой обвинитель — проявлять свою силу.

Нервы легко возбудимого испанца сдают, едва он видит своего обвинителя и смертельного врага сидящим рядом с судьями. Кальвин холодно, жестко, с кажущейся абсолютной объективностью задает вопросы, но Сервет нутром чувствует железную решимость поймать, подавить его этими вопросами. Сумасшедший, боевой задор овладевает беззащитным человеком, и, вместо того чтобы без волнений, спокойно и твердо держаться своей юридически надежной позиции, он поддается на провокационные вопросы Кальвина, втягивается в вязкое болото богословских дискуссий, вредит себе своим необузданным упрямством.

Уже одного его утверждения, например, что и черт — частичка Божьей субстанции, совершенно достаточно, чтобы у набожных судей волосы стали дыбом. Но, раздраженный в своем философском честолюбии, Сервет без удержу начинает распространяться по самым деликатным и каверзным вопросам веры, как если бы эти сидящие перед ним господа судьи были самыми просвещенными богословами, перед которыми он должен, не заботясь о последствиях для себя, раскрыть всю истину.

Но как раз это неистовое желание говорить и этот страстный дискуссионный зуд вызывают у судей подозрение; все больше и больше склоняются они к мнению Кальвина: наверное, и в самом деле этот чужак с горящими глазами и сжатыми кулаками, во всем противоречащий учению их церкви, — опасный противник духовной свободы, и весьма, весьма вероятно, что он — ужасный еретик; во всяком случае, крайне желательно провести основательное расследование. Принимается решение

считать его задержание обоснованным и, следовательно, его обвинителя Никола де ла Фонтена из заключения отпустить. Кальвин навязал свою волю суду и, довольный, пишет своему другу: «Надеюсь, что его приговорят к смерти».



Почему Кальвин так настойчиво добивается смертной казни для Сервета? Отчего ему недостаточен умеренный триумф — например, изгнание из города этого противоречащего ему человека или какое-нибудь другое, не предельно жестокое наказание? Сначала произвольно создается впечатление, что здесь прорвалась личная ненависть. Но Кальвин в общем-то ненавидит Сервета не более, чем Кастеллио или любого другого, восстающего против его авторитета; для его тиранической натуры безоговорочная ненависть к любому, кто осмеливается учить другой истине, отличающейся от его истины, есть чувство абсолютно естественное.

То, что он всеми мыслимыми путями пытается в настоящий момент так решительно, так непримиримо выступить именно против Сервета, имеет не личные основания, а основания политики диктата: Мигель Сервет, восставший против его авторитета, должен расплатиться и за других противников его, Кальвина, ортодоксии, в частности за бывшего монаха-доминиканца Иеронимуса Бользека, которого он тоже хотел казнить как еретика. Однако тому удалось избежать карающей десницы церкви, к величайшей досаде Кальвина. Этот Иеронимус Бользек, домашний врач очень почтенной женеvской семьи, пользовался всеобщим уважением горожан; он открыто высказывался против самого слабого, самого уязвимого пункта учения Кальвина — против закоснелого учения о предопределении, причем пользовался аргументами, подобными тем, с которыми по этому же вопросу в споре с Лютером выступал Эразм, объявивший абсурдным мнение своего противника, что Бог — олицетворение добра — может, зная это и желая этого, направлять людей на сквернейшие поступки, заставляя людей совершать их.

Известно, как взбешен был Лютер упреками Эразма, сколько грязных ругательств адресовал этот мастак на грубости старому, мудрому гуманисту. Но темпераментный Лютер, человек, пользующийся подчас насильственными приемами, ограничивается спором с Эразмом, пусть он в этом споре бестактен, недопустимо груб, но ему и в голову не может прийти мысль привлечь своего идейного противника к суду, обвинить его в ереси только за то, что тот не согласен с его учением; тех, кто возражает ему, Кальвин причисляет к еретикам, любые возражения против его церковного учения равнозначны государственной измене. И поэтому, вместо того чтобы ответить Иеронимусу Бользеку как богослову, он предпочитает бросить того в темницу.

Но неожиданно, к великой досаде Кальвина, урок запугивания Иеронимуса Бользека не удастся. Слишком многие в Женеве знают ученого богобоязненного врача, и подобно тому, как это произошло в случае с Каstellлио, у Совета зашевелилось подозрение, не хочет ли Кальвин просто избавиться от неугодного ему самостоятельно мыслящего, не во всем рабски ему подчиненного человека, чтобы остаться в Женеве единственным неколебимым авторитетом. Написанная Бользеком в тюрьме «Скорбная песнь», в которой он доказывает свою невиновность, ходит в списках по всему городу, и, как горячо ни настаивает Кальвин перед магистратом, советники боятся подтвердить обвинение врача в ереси, которого он требует от них.

Чтобы снять с себя ответственность за мучительное решение, они объявляют себя несостоятельными в духовных вопросах; считая себя некомпетентными в поднятых богословских вопросах, они отказываются вынести приговор. По этому трудному делу они желают получить юридическое экспертное заключение от церкви других городов Швейцарии. И этот опрос спасает Бользека. Реформированные церкви Цюриха, Берна и Базеля очень рады поводу дать небольшой щелчок непогрешимому самомнению своего фанатичного коллеги; они единогласно отказываются подтвердить существование

чего-либо кощунственного в высказываниях Бользека. Совет выносит оправдательный приговор; Кальвин должен довольствоваться тем, что по решению магистрата Бользек покидает город.

Это явное поражение богословского авторитета Кальвина должен в какой-то степени смягчить новый процесс против другого еретика (разумеется, в том лишь случае, если на этот раз еретик будет признан виновным и понесет суровую кару). За Бользека должен ответить Сервет, и здесь шансы Кальвина неизмеримо более выигрышны. Ведь Сервет — чужак, испанец, у него нет в Женеве, как у Каstellio, как у Бользека, ни почитателей, ни друзей, никого другого, способного ему помочь; кроме того, уже многие годы его ненавидят во всех реформированных церквях за дерзкие нападки на догмат о триединстве и за вызывающее поведение. С таким чужаком, с человеком, не имеющим прикрытия, урок запугивания провести намного проще; поэтому с первого же часа процесс Сервета был однозначно политическим процессом, на котором для Кальвина решался вопрос власти, был испытанием, решающим испытанием его воли к духовной диктатуре.

Если б Кальвин не хотел ничего иного, как только просто расправиться с личным противником-богословом Серветом, как легко мог бы он воспользоваться сложившимися обстоятельствами! Ведь едва лишь началось женевское расследование, как тотчас же явившийся в Женеву посланец французского правосудия потребовал выдачи осужденного во Вьенне беглеца: там его давно уже ждет костер. Какой неповторимо удобный случай для Кальвина показать себя перед всем миром великодушным человеком и в то же время покончить с ненавистным противником! Женевскому Совету следует лишь санкционировать выдачу, и с крайне неприятным делом Сервета было бы покончено.

Но Кальвин против выдачи. Для него Сервет — не живой человек, не субъект, а прежде всего объект, на котором он желает со всей очевидностью продемонстрировать всему миру неприкосновенность своего учения. Не солоно хлебавши воз-

вращается восвояси посланец французских властей; диктатор протестантизма желает сам на своей территории провести этот процесс и покончить с еретиком, чтобы сделать официальным закон, по которому каждый, пытающийся ему, Кальвину, противоречить, рискует головой.

* * *

То, что Кальвин в деле Сервета думает только о демонстрации своей власти, в Женеве тотчас же замечают не только его друзья, но и враги. Совершенно естественно, что враги хотят испортить Кальвину затеянную им игру. Разумеется, этим политикам совершенно безразлична судьба Сервета; и для них несчастный — только игрушка, орудие в их борьбе, всего лишь ничтожный рычаг, с помощью которого можно попытаться опрокинуть власть диктатора; им, по существу, совершенно безразлично, будет рычаг при этом сломан или нет.

Действительно, эти опасные друзья Сервета оказывают ему очень скверную услугу, возбуждая колеблющуюся самонадеянность истеричного человека лживыми слухами, тайно посылая ему в тюрьму письма, в которых настоятельно советуют ему решительно сопротивляться Кальвину. В их интересах только одно — чтобы процесс прошел по возможности более остро и привлек к себе как можно больше внимания; чем энергичнее Сервет будет защищаться, чем яростнее он будет наступать на ненавистного противника, тем для них будет лучше.

Но, к несчастью, и без этого не очень-то много требуется, чтобы безрассудного сделать еще более безрассудным. Многомесячное, очень тяжелое заключение в темнице давно уже сделало все, чтобы довести зкзальтированного человека до состояния неукротимой ярости, ибо Сервет, и Кальвин не может этого не знать, содержится в ужасающе тяжелых условиях, все мелочи бессердечного обхождения с ним продуманы с утонченной жестокостью.

Уже несколько недель больного, нервного, истеричного,

чувствующего себя совершенно невиновным человека содержат, словно убийцу, с цепями на руках и ногах в очень сырой и холодной камере. Гниющие от сырости лохмотья едва прикрывают его мерзнувшее тело, в камеру запрещают передать чистую рубашку, не обеспечиваются элементарнейшие требования гигиены, никому не разрешено оказать ему хотя бы минимальную помощь. И, находясь в безмерно тяжелом состоянии, Сервет обращается к Совету с потрясающим письмом, прося проявить к нему немного человечности: «Блохи пожирают меня живого, башмаки мои разорваны, у меня нет одежды, нет белья».

Но тайная рука, известная всем своей жестокостью, бесчеловечно, словно тиски, подавляет всякое сопротивление, предотвращает любую попытку Совета исполнить некоторые просьбы Сервета: никаких улучшений условий его содержания не будет. Пусть, словно шелудивый пес на навозной куче, подыхает в сырой яме этот смелый мыслитель, этот свободомыслящий ученый. И еще ужаснее, словно крик о помощи, звучит через несколько недель второе письмо, ведь Сервет буквально задыхается в своих нечистотах: «Я прошу вас Христа ради не отказать мне в том, в чем вы не отказали бы турку или преступнику. Ничего из того, что вы приказали, чтобы содержать меня в чистоте, не исполняется. Состояние мое — более плачевное, чем раньше. Какая страшная жестокость, что здесь нет условий отправлять естественные физические потребности».

Но ничего не меняется! Так чему же здесь удивляться, если извлеченный из своей сырой ямы человек каждый раз приходит в бешенство, когда, униженный, с цепями на ногах, в зловонных лохмотьях, он видит перед собой за судейским столом человека в черной, хорошо вычищенной рясе, холодного и расчетливого обвинителя, хорошо подготовленного, прекрасно отдохнувшего, с которым ему следовало бы вести диалог как ученому с ученым, как человеку интеллекта с человеком интеллекта, но который, издеваясь над ним, ведет себя хуже, чем с убийцей?

Можно ли найти человека, уязвленного подлыми и каверзными вопросами и клеветой, который не потеряет при этом благоразумие, осторожность, не набросится с ужаснейшими ругательствами на фарисея? В лихорадке от бессонных ночей он уличает виновника своего бесчеловечного положения, крича: «И ты отрицаешь, что ты убийца? Я докажу тебе, что твои поступки говорят обратное. Что касается меня, то я убежден в правоте своего дела и не страшусь смерти. А вот ты вопишь, словно слепец в пустыне, потому что дух мести сжигает твое сердце. Ты лгал, ты лгал, невежда, клеветник! В тебе клокочет ярость, когда ты преследуешь кого-либо, когда толкаешь его к смерти. Я хотел бы, чтобы все твое колдовство находилось еще во чреве твоей матери и у меня была бы возможность показать все твои заблуждения!»

Потеряв голову от гнева, несчастный совершенно забывает о своей беспомощности; звеня цепями, с пеной у рта требует этот безумец от Совета, который должен судить его, чтобы тот вынес приговор не ему, а нарушителю законов, Кальвину, диктатору Женевы. «Поэтому его, колдуна, ибо он — колдун, следует не только признать виновным и осудить, но и изгнать из этого города, а имущество его передать мне в возмещение за мое, потерянное по его вине».

Такие слова, конечно, должны привести славных советников в ужас. Кем должен казаться членам Совета этот тощий, бледный, изможденный иностранец с всклокоченной бородой, с горящими глазами, в бешенстве выкрикивающий слова на чужом языке, обвиняющий в чудовищных преступлениях христианского вождя города, как не безумцем, одержимым сатаной? И от вопроса к вопросу отношение к обвиняемому становится все враждебнее. Собственно, процесс уже подошел к концу, осуждение Сервета неотвратимо. Но тайные враги Кальвина стремятся продлить, затянуть процесс, они не желают уступить Кальвину победу, не желают, чтобы его противник стал добычей закона. Еще раз пытаются они спасти Сервета, потребовав, подобно тому как это было в случае с Бользеком, узнать мнение других реформированных швей-

царских синодов о его взглядах, тайно рассчитывая на то, что и теперь удастся в последнюю минуту вырвать из лап смерти жертву фанатизма Кальвина.

* * *

Но Кальвин сам прекрасно знает, что теперь решается вопрос его авторитета. Вторично он не допустит, чтобы его переиграли. На этот раз он заблаговременно и с необычайным рвением принимает свои меры. Пока его беззащитная жертва гниет в темнице, он пишет послание за посланием главам церквей Цюриха, Базеля, Берна и Шафхаузена, чтобы повлиять на их заключение. Во все концы направляет он посланцев, просит всех своих друзей, чтобы те предостерегли своих коллег от содействия преступному богохульнику в попытках уйти от справедливого приговора! На этот раз речь идет о пресловутом нарушителе богословского спокойствия Сервете, о котором известно, что еще со времен Цвингли и Буцера «наглого испанца» ненавидели во всех общинах реформированных церквей; мнение глав этих церквей должно быть неблагоприятным для Сервета.

И действительно, все швейцарские синоды объявляют взгляды Сервета ошибочными и греховными, и, хотя ни одна из четырех общин не требует смертной казни и даже не одобряет ее, все же все они в принципе подтверждают целесообразность применения всех суровых мер. Цюрих пишет: «Какому наказанию подвергнуть этого человека, должна решить Ваша мудрость». Берн взывает к Богу, который «придаст Вам мудрость и силу, чтобы Вы могли служить своей церкви и другим церквям и освободили бы их от этой чумы». Однако этот скрытый призыв к насильственным мерам тут же ослабляется предостережением: «...но так, чтобы при этом Вы не сделали ничего такого, что может показаться неподобающим христианскому магистрату».

Ни одно послание не советует Кальвину применить смертную казнь. Но так как церкви поддержали предъявленное

Сервету обвинение, они — и это Кальвин чувствует — поддержат и дальнейшее, ибо своими неопределенными словами они оставляют ему руки свободными для любого решения. А рука Кальвина, если она свободна, всегда бьет жестоко и решительно. Напрасно тайные «доброжелатели» Сервета, едва узнав о заключении церковью, пытаются в последний момент оттянуть несчастье. Перрен и другие республиканцы предлагают запросить высшую инстанцию общины — «Совет 200». Но уже поздно, сопротивление противников Кальвина становится для них слишком опасным: 26 октября Сервета единогласно приговаривают к сожжению заживо, и этот ужасный вердикт должен быть приведен в исполнение на площади Шампель уже на следующий день.

* * *

Изолированный в своей темнице от всего света, Сервет на протяжении многих недель предается экзальтированным надеждам. По своей природе крайне подверженный фантазированию и, кроме того, еще сбитый с толку тайными нашептываниями своих мнимых друзей, он все более и более одурманивается иллюзией, что уже давно убедил судей в истинности своих тезисов и что узурпатор Кальвин не нынче так завтра будет с позором изгнан из города. Тем более ужасным является пробуждение Сервета, когда в его камеру входят секретари Совета и один из них с каменным лицом, обстоятельно, развернув пергаментный свиток, зачитывает приговор.

Как удар грома разражается этот приговор над головой Сервета. Словно каменный, не понимая, что произошло нечто чудовищное, слушает он объявляемое ему решение, по которому уже завтра его сожгут заживо как богохульника. Несколько минут стоит он, глухой, ничего не понимающий человек. Затем нервы истязаемого человека не выдерживают. Он начинает стонать, жаловаться, плакать, из его гортани на родном испанском языке вырывается леденящий душу крик ужаса: «Misericordias!»* Его бесконечно уязвленная гордость

*Здесь: «Милосердия прошу!» (исп.)

полностью раздавлена страшным известием: несчастный, уничтоженный человек неподвижно смотрит перед собой остановившимися глазами, в которых нет искры жизни. И упрямые проповедники уже считают, что за мирским триумфом над Серветом придет триумф духовный, что вот-вот можно будет вырвать у него добровольное признание в своих заблуждениях.

Но удивительно: едва проповедники слова Божьего касаются сокровеннейших фибр души этого почти мертвого человека — веры, едва требуют от него отречения от своих тезисов, мощно и гордо вспыхивает в нем прежнее его упорство. Пусть судят его, пусть подвергают мучениям, пусть сжигают его, пусть рвут его тело на части — Сервет не отступится от своего мировоззрения ни на дюйм; именно эти последние дни возвысят этого странствующего рыцаря науки, именно в эти дни станет он мучеником за свои убеждения, героем в наших глазах.

Резко отклоняет он настойчивые уговоры Фареля, спешно приехавшего из Лозанны в Женеву, чтобы вместе с Кальвином отпраздновать победу; Сервет утверждает, что земной приговор никогда не решит, прав человек в божеских вопросах или не прав. Убить — не значит убедить. Ему ничего не доказали, его душили. Ни угрозами, ни обещаниями не добиться Фарелю слова от закованного в цепи, приговоренного к казни человека. Сервет, мученик за свои убеждения, желает показать и другим, что он не еретик, а глубоко верующий христианин и готов примириться со своим врагом-убийцей. Поэтому он хочет перед смертью увидеться с Кальвином.

Об этом посещении Кальвином своей жертвы мы знаем по свидетельству лишь одной стороны — по сообщению самого Кальвина. Но даже в этом изложении раскрывается до отвращения отталкивающая внутренняя непреклонность и черствость его души. Палач спускается вниз, в сырую камеру, к своей жертве, но не для того, чтобы успокоить обреченного на смерть, не затем, чтобы дать братское или христианское утешение человеку, которому предстоит умереть в страшных му-

чениях. Холодно и обстоятельно начинает Кальвин разговор вопросом, зачем Сервет позвал его к себе и что желает он ему, Кальвину, сказать. Вероятно, он ожидает, что Сервет бросится перед ним на колени и начнет умолять, чтобы всемогущий диктатор отменил приговор или хотя бы смягчил его.

Но приговоренный отвечает очень просто — и уже это должно потрясти любого человеческого человека, — что он позвал к себе Кальвина только затем, чтобы попросить у него прощения. Жертва просит у человека, приносящего его в жертву, христианского примирения. Но каменный, бесчувственный Кальвин никогда не увидит в политическом и религиозном противнике христианина, человека. Далее у Кальвина записано очень холодно: «На это я просто ответил ему, что никогда, и это соответствует правде, не имел против него личной ненависти».

Не понимая или не желая понять христианское в предсмертном жесте Сервета, он отклоняет любой вид христианского согласия между ними; пусть Сервет оставит в стороне все, что касается его, Кальвина, и единственно лишь признает свое заблуждение перед Богом, его триединую сущность, которую он отрицает. Сознательно или несознательно идеология Кальвина отказывается заметить в человеке, уже отданном в жертву, ближнего, собрата, в человеке, которого завтра, словно какое-то полено, бросят в костер; так в Сервете закоснелый догматик Кальвин видит лишь его, Кальвина, понимание Бога, то есть отрицающего Бога вообще. Для него, одержимого упрямством, важно теперь только одно — выдавить, вырвать из обреченного на смерть Сервета перед его последним вздохом признание, что тот не прав, а он, Кальвин, прав.

Но Сервет чувствует, что этот бесчеловечный zelot желает отнять у него единственное, что в его обреченном теле еще живо и составляет его бессмертие, его веру, его убеждения, — и несчастный возмущается. Решительно отказывается он дать трусливое признание. А раз так, то продолжать разговор Кальвину представляется излишним: человек, полностью отказывающийся подчиниться ему в религиозных вопросах, более не

брат во Христе, а сатанинский слуга и грешник, и поэтому любое дружеское слово, обращенное к нему, было бы потрачено зря, без пользы. К чему бросать горчичное семя добра в душу еретика? Сурово отворачивается Кальвин, без слов и сердечного взгляда покидает свою жертву. За ним скрипят железные запоры, и свою запись этот zelot-обвинитель закрывает удивительно бесчувственными словами, позорящими его самого на вечные времена: «Так как уговорами и предостережениями я ничего добиться не смог, я не захотел быть более мудрым, чем это разрешает мне мой Учитель. Я последовал правилу святого Павла и ушел от еретика, который сам вынес себе приговор».

* * *

Смерть на костре при малом огне — самая мучительная из всех казней; даже средневековье, известное своими ужасами, пользовалось ею многие сотни лет в редчайших случаях; чаще всего осужденного, привязав к столбу, душили или лишали сознания. Именно этот самый ужасный, самый чудовищный вид смертной казни был выбран для первого еретика, для первой жертвы протестантизма; и можно понять, почему после взрыва возмущения гуманистов всего мира Кальвин примет все меры к тому, чтобы, пусть с опозданием, с очень большим опозданием, попытаться снять с себя ответственность за эту чудовищную жестокость. Он и другие из консистории приложили много усилий, рассказывает он (после того, как тело Сервета давно уже превратилось в прах), к тому, чтобы мучительную казнь сожжением человека заживо на медленном огне заменить более милосердную казнь — отсечением головы, но «их усилия были напрасны» (*genus mortis conati sumus mutare, sed frustra*).

В протоколах Совета не упоминается ни об одном таком безрезультатном усилии, а какому беспристрастному человеку покажется достойным доверия тот факт, что Кальвин, сам создавший этот процесс и едва ли не орудиями пыток вырвавший из податливых советников смертный приговор Сервету,

что этот самый Кальвин вдруг превратился в личность, не имеющую в Женеве ни власти, ни влияния, чтобы добиться замены бесчеловечной казни казнью более милосердной?!

Впрочем, если быть точным, действительно, Кальвин имел намерение смягчить казнь Сервета, но — и вот тут-то диалектический сдвиг в его утверждении — лишь при одном условии, что это смягчение Сервет купит в последний час *sacrificio d'intelletto**, своим отречением; не из человечности, а по голому политическому расчету Кальвин — впервые в своей жизни — проявил бы милосердие к своему противнику. Ибо каким бы триумфом для женевской веры было бы то, что перед костром удалось вырвать у Сервета еще и признание, что он не прав, а Кальвин — прав! Какая победа — добиться того, что осужденный мученически не умрет за свое учение, а в последний момент объявит всему народу, что только учение Кальвина, а не его правильное и единственно правильное на земле!

Но и Сервет знает о цене, которую он должен заплатить. Упорство — против упорства, фанатизм — против фанатизма. Он предпочтет умереть в страшных мучениях за свои убеждения, чем принять не столь мучительную смерть за догмы *Maitre Жана Кальвина!* Предпочтет полчаса невыносимо страдать, но обрести славу мученика идеи и на вечные времена покрыть позором своего бесчеловечного противника! Резко отклоняет Сервет предложение и готовится оплатить свое упорство страшной ценой невыносимых страданий.

* * *

Конец ужасен. 27 октября в одиннадцать утра приговоренного выводят в лохмотьях из темницы. Впервые за долгое время и в последний раз глаза, отвыкшие от света, видят небесное сияние; со всклокоченной бородой, грязный и истощенный, с цепями, лязгающими на каждом шагу, идет, шатаясь, обреченный, и при ярком осеннем свете страшно его пепельное одряхлевшее лицо. Перед ступенями ратуши палачи

* Отказом мыслить (*ит.*).

грубо, с силой толкают с трудом стоящего на ногах человека, за недели, проведенные в камере, разучившегося ходить, — он падает на колени. Склоненным обязан он выслушать приговор, который объявляет синдик перед собравшимся народом, приговор, заканчивающийся словами: «Мы приговорили тебя, Мигель Сервет, вести в цепях к площади Шампель и сжечь заживо, пока тело твое не превратится в пепел, а вместе с тобой как рукопись твоей книги, так и напечатанную книгу; так должен ты закончить свои дни, чтобы дать предостерегающий пример всем другим, кто решится на такое же преступление».

Дрожа от нервного потрясения и холода, слушает приговоренный решение суда. В смертельном страхе подползает он на коленях к членам магистрата и умоляет их о малом снисхождении — быть казненным мечом, с тем чтобы «избыток страданий не довел его до отчаяния». Если он и согрешил, то сделал это по незнанию; всегда у него была одна только мысль — способствовать Божьей славе.

В этот момент между судьями и человеком на коленях появляется Фарель. Громко спрашивает он приговоренного к смерти, согласен ли тот отказаться от своего учения, отрицающего триединство, в этом случае он получит право на более милосердную казнь. Но — и именно последний час морально возвышает облик этого, в остальном обыкновенного, человека — Сервет вновь решительно отказывается от предложенного торга и повторяет ранее сказанные им слова, что ради своих убеждений готов вытерпеть любые муки.

Теперь предстоит трагическое шествие. И вот оно двинулось. Впереди, охраняемые лучниками, идут сеньор лейтенант и его помощник, оба со знаками отличия; в конце процессии теснится вечно любопытная толпа. Весь путь лежит через город мимо бесчисленных, робко и молчаливо глядящих зрителей; не унимается идущий рядом с осужденным Фарель. Бесперывно, не умолкая ни на минуту, уговаривает он Сервета в последний час признать свои заблуждения, отречься от своих ложных взглядов. И, услышав истинно набожный ответ

Сервета, что, хотя ему мучительно тяжело принимать несправедливую смерть, он молит Бога быть милосердным к его, Сервета, обвинителям, догматик Фарель приходит в неистовство: «Как?! Свершив самый тяжкий из возможных грехов, ты еще оправдываешься? Если ты и впредь будешь так же себя вести, я предам тебя приговору Божьему и покину, а ведь я решил было не покидать тебя до последнего твоего вздоха».

Но Сервет уже безмолвен. Ему противны и палачи, и спорщики: ни слова более с ними. Беспрестанно, как бы одурманивая себя, бормочет этот мнимый еретик, этот человек, якобы отрицающий существование Бога: «О Боже, спаси мою душу, о Иисус, сын вечного Бога, прояви ко мне милосердие». Затем, возвысив голос, просит он окружающих вместе с ним молиться за него. Даже на площади, где должна свершиться казнь, в непосредственной близости от костра, он еще раз становится на колени, чтобы сосредоточиться на мыслях о Боге. Но из страха, что этот чистый поступок мнимого еретика произведет на народ впечатление, фанатик Фарель кричит толпе, указывая на благоговейно склонившегося Сервета: «Вот вы видите, какова сила у сатаны, схватившего в свои лапы человека! Еретик очень учен и думал, вероятно, что вел себя правильно. Теперь же он находится во власти сатаны, и с каждым из вас может случиться такое!»

Между тем начинаются отвратительные приготовления. Уже дрова сложены возле столба, уже лязгают железные цепи, которыми Сервета привязывают к столбу, уже палач связал приговоренному руки. К тихо вздыхающему «Боже, Боже мой!» Сервету в последний раз пристаёт Фарель, громко выкрикивая жестокие слова: «Больше тебе нечего сказать?» Все еще надеется упрямец, что при виде места своих последних мучений Сервет признает истину Кальвина единственно верной. Но Сервет отвечает: «Могу ли я делать иное, кроме как говорить о Боге?»

Обманутый в своих ожиданиях, отступает Фарель от своей жертвы. Теперь очередь страшной работы другого палача — палача плоти. Железной цепью Сервет привязан к стол-

бу, цепь обернута вокруг истощенного тела несколько раз. Между живым телом и жестко врезавшимися в него цепями палачи втискивают книгу и ту рукопись, которую Сервет некогда *sub sigillo secreti* послал Кальвину, чтобы получить от него братское мнение о ней; наконец, в издевку надевают ему позорный венец страданий — веночек из зелени, осыпанной серой. Этими ужасными приготовлениями работа палача завершается. Ему остается лишь поджечь груды дров, и убийство начнется.

Пламя вспыхивает со всех сторон, раздаются крики ужаса, исторгнутый из груди мученика, на мгновение люди, окружающие костер, отшатываются в ужасе. Вскоре дым и огонь скрывают страдания привязанного к столбу тела, но непрерывно из огня, медленно пожирающего живое тело, слышны все более пронзительные крики, и, наконец, раздаются мучительный, страстный призыв о помощи: «Иисус, сын вечного Бога, сжался надо мной!»

Полчаса длится эта неопишимо жуткая агония смерти. Затем огонь, насытившись, спадает, дым рассеивается, и на закоптелом столбе видна висящая в раскаленных докрасна цепях черная, чадящая, обуглившаяся масса, мерзкий студень, ничем не напоминающий человеческое существо. Только что мыслящее, страстно стремящееся к вечному земное существо, думающая частичка божественной души превратилась в страшную, противную, зловонную массу, один взгляд на которую, вероятно, тотчас отвратил бы Кальвина, если бы он понял вдруг всю бесчеловечность своего высокомерия, от намерения быть когда-либо еще судьей и убийцей своего ближнего.

Но где в этот час ужаса Кальвин? То ли чтобы сохранить видимость своей непричастности, то ли для того, чтобы пощадить свои нервы, он предпочел остаться дома. Поручив ужасное дело жестокому собрату по вере — Фарелю и палачу, он при закрытых окнах сидит в своей рабочей комнате. Когда требовалось выследить, обвинить, довести до невменяемости, толкнуть на костер невиновного, Кальвин неизменно был впереди всех. В час же казни видят лишь наемных палачей, а не

истинного виновника, не того, кто хотел этого «благочестивого убийства», кто приказал его совершить. Лишь в следующее воскресенье торжественно взойдет он в своей черной рясе на кафедру, чтобы перед молчащей общиной восхвалить свершившееся дело как великое, справедливое, необходимое и достойное дело, которому сам он, правда, не решился открыто и свободно посмотреть в глаза.

МАНИФЕСТ ТЕРПИМОСТИ

Никому не дано право считать преступлением то, что человек ищет истину и говорит о ней. За убеждения притеснять никого нельзя. Убеждения свободны.

Себастьян Кастеллио, 1551 г.

Все современники восприняли сожжение Сервета как моральное поражение Реформации. Правда, в тот век насилия сама по себе казнь одного человека не была из ряда выходящим событием; в те времена по всей Европе — от берегов Испании до Северного моря и на Британских островах во славу Христа сжигали бесчисленное множество еретиков. Во имя различных, единственно истинных церквей и сект многих, очень многих безвинных, беззащитных людей волокли на эшафоты, сжигали, обезглавливали, душили или топили. «Если бы они, обреченные на гибель, были, я не скажу — лошадьми, а хотя бы свиньями, — пишет Кастеллио в «Книге еретиков», — то каждый властелин хорошенько подумал бы, прежде чем идти на такой убыток». Но ведь истребляются всего лишь люди, и поэтому никто жертв не считает. «Я не знаю, — восклицает в отчаянии Кастеллио, который, впрочем, ничего не мог знать о нашем столетии войн, — проливалось ли когда-либо так много крови, как в наше время».

Но всегда, в каждом столетии одно из бесчисленных чудовищных злодеяний пробуждает, казалось бы, спящую совесть мира. Пламя костра мученика Сервета пылает ярче всех дру-

гих костров своего времени, и даже Гиббон* два столетия спустя признает: это жертвоприношение потрясло его глубже, чем тысячи жертвоприношений на кострах инквизиции. Ибо казнь Сервета, говоря словами Вольтера, — первое в рамках Реформации «религиозное убийство» и первое красноречивое отрицание ее основополагающей идеи.

Само по себе понятие «еретик» для евангелического учения — абсурд, поскольку Реформация каждому обещала право свободного толкования Священного писания, и действительно, в самом начале религиозного движения и Лютер, и Цвингли, и Меланхтон с отвращением говорят о всех насильственных мерах по отношению к тем, кто не принимает их движение. Лютер категорически заявляет: «Я не больно-то люблю смертные приговоры, даже заслуженные, а что в этом деле меня пугает, так это прецедент, который создается этим случаем. Поэтому я никоим образом не могу одобрить то, что творят лжепророки». С необычайной лаконичностью он формулирует: «Еретиков нельзя угнетать или подавлять силой, побеждать их следует только словом Божиим. Ведь ересь — это духовная категория, на которую ни земным огнем, ни земной водой воздействовать невозможно». Так же недвусмысленно заявляет и Цвингли: в вопросах веры невозможны никакие апелляции к магистрату, невозможно любое насилие.

Но вскоре новое учение, ставшее за это время уже церковью, вынуждено будет признать — старая церковь признала это уже давно, — что авторитет без насилия долго не удержат; и, чтобы отодвинуть необходимость решения вопроса, Лютер сначала предлагает компромисс: он вводит различие между понятиями *Haereticis*** и *Sediticis****, между «возражающими», которые имеют по отдельным духовно-богословским вопросам мнение, отличное от мнения реформированной цер-

* Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк, крупнейший историограф эпохи Просвещения, одним из первых пытался критически оценить историю христианства. — *Примеч. пер.*

** Еретики (*лат.*).

*** Мятежники (*лат.*).

кви, и мятежниками, собственно «бунтовщиками», желающими изменить вместе с религиозным и социальный порядок. Вот против этих последних — здесь имеются в виду и общины анабаптистов — руководство церкви санкционирует применение насилия.

На решительный шаг, на выдачу инакомыслящих и свободомыслящих палачу, никто, однако, из вождей реформированных церквей не идет. Живет еще в них воспоминание о временах, когда новаторами духа боролись они против папы и императора за право иметь собственные убеждения, как за священнейшее право человека. Поэтому невозможным представляется им введение новой, протестантской инквизиции.

И вот, предав Сервета казни, Кальвин делает этот имеющий всемирно-историческое значение шаг к протестантской инквизиции, бесцеремонно растаптывая провозглашенное Реформацией право «свободы христианина», одним рывком догоняя католическую церковь, которая, надо отдать ей должное, более тысячи лет колебалась, прежде чем заживо смогла сжечь первого человека за его собственные толкования вопросов веры.

Кальвин же этим презренным актом своей духовной тирании обесчестил Реформацию уже на втором десятилетии своего господства, и в моральном смысле его поступок, вероятно, еще более отвратителен, чем все преступления Торквемады *, вместе взятые. Ибо если католическая церковь изгоняет из своей общины еретика и предает его земному суду, то этим она никогда не совершает акт личной ненависти, а, высвобождая вечную душу из ее грешной брэнной оболочки, считает, что выполняет акт очищения, спасения души для Бога. В холодном же правосудии Кальвина эта мысль освобождения от греха совершенно отсутствует. Костер на площади Шампель зажжен не ради спасения души Сервета, а исключительно для того, чтобы сохранить неприкосновенной концепцию Кальви-

*Торквемада Томас — в 1483 г. был назначен инквизитором Испании, ввел публичные сожжения еретиков. — *Примеч. пер.*

на о Боге. Сервет умирает страшной смертью не потому, что отрицал Бога, — он никогда Бога не отрицал, — а только потому, что отрицал некоторые тезисы Кальвина.

Напрасно надпись на памятнике «Жертве своего времени», столетия спустя поставленном свободным городом Женевой свободному мыслителю Сервету, пытается оправдать Кальвина. Нет, не ослепление, не безумные иллюзии того времени — и Монтень живет в эти дни, и Каstellio — толкнули Сервета на костер, а только один-единственный личный деспотизм Кальвина. Никакое оправдание не снимет с протестантского Торквемады тяжести этого преступления. Ибо хотя всегда можно обосновать характерные для любой эпохи суеверия и неверие, но за каждое отдельное преступление ответственность обязательно несет совершивший его человек.



С первого же часа после ужасной смерти Сервета стало расти возмущение, и даже сам де Без, восхвалявший Кальвина в своих жизнеописаниях, признает: «Еще не остыл пепел несчастного, как стали возбужденно ставить вопрос, следует ли наказывать еретиков. Одни были того мнения, что их следует подавлять, но не смертной казнью. Другие требовали, чтобы наказание их было делом Бога». Даже в голосе безоговорочного панегириста Кальвина мы слышим странные нотки сомнения; и это еще более характерно для остальных друзей Кальвина.

Правда, Меланхтон, который в свое время ругал Сервета, пишет «своему возлюбленному брату» Кальвину: «Церковь благодарна тебе и в последующем будет тебя благодарить. Приговорив этого богохульника к смертной казни, ваши судьи вынесли правильное решение». Находится даже — вечное *trahison des clerics** — рьяный борзописец по имени Мускулюс, накропавший на этот случай набожную праздничную песню. Но других письменных свидетельств, одобряющих эту казнь, мы не знаем.

*Предательство мелких чиновников (*фр.*).

Цюрих, Шафхаузен и другие синоды высказываются о мученической смерти Сервета совсем не так восторженно, как этого хотелось бы Женеве. Хотя, возможно, им и пришлось по душе запугивание «экзальтированных людей», но они все же были очень рады, что первое в истории сожжение протестантского еретика произошло не в стенах их города и что не они, а Жан Кальвин, приняв это ужасное решение, запятнал себя перед человечеством на вечные времена.

Вместе с тем, однако, раздаются голоса, говорящие совсем другое. Крупный правовед своего времени Пьер Будэн публично заявляет: «Я считаю, что Кальвин не имел права начинать уголовное преследование религиозного спора».

Но потрясены и возмущены не только свободомыслящие гуманисты Европы; даже в кругах протестантского духовенства растет протест. Всего в каком-нибудь часе езды от ворот Женевы проповедники Вадта (Во), защищенные бернскими властями от ищеек и палачей Кальвина, с кафедр церкви объявляют его поведение в деле Сервета нерелигиозным и незаконным, и даже в своем собственном городе Кальвину приходится подавлять критику полицейскими мерами. Женщину, открыто сказавшую, что Сервет был мучеником Иисуса Христа, бросают в тюрьму, в тюрьму бросают также печатника за утверждение, что магистрат приговорил Сервета к смертной казни лишь ради удовольствия одного человека. Некоторые выдающиеся иностранные ученые демонстративно покидают город, в котором не могут более чувствовать себя в безопасности, с тех пор как в нем свободомыслию стала угрожать деспотия взглядов. И скоро Кальвин поймет, что Сервет своей жертвенной смертью стал ему опаснее, чем живой — своими произведениями.

* * *

Ухо Кальвина чрезвычайно чувствительно к любым протестам и возражениям. И хотя в Женеве остерегаются открытых высказываний, сквозь стены, сквозь стекла окон Кальвин чув-

ствуется с трудом сдерживаемое возбуждение. Но дело сделано, а что сделано, то сделано, и, поскольку Кальвину от него не уйти, остается одно — открыто встать на его защиту. И Кальвин, который так воинственно, так наступательно начал это дело, незаметно переходит в оборону. Все его друзья единодушно поддерживают его в этом, утверждая, что пришло время оправдать привлекающий всеобщее внимание акт сожжения; и наконец Кальвин решается, против своей воли, объяснить всему миру сущность дела Сервета, которого он предусмотрительно заставил навсегда замолчать, решается оправдать свои действия в этом деле.

Но в деле Сервета совесть у Кальвина нечиста, а с нечистой совестью пишется плохо. Поэтому-то его апология «Защита истинной веры и триединства против ужасного еретика Сервета», которую он, как скажет Кастеллио, «писал еще с кровью Сервета на руках», — одно из самых слабых его произведений. Кальвин сам пишет, что он его *tumultuarie*^{*}, то есть писал в спешке и волнуясь; а чувство неуверенности, испытываемое им в этой навязанной ему защите, подтверждается примечательным фактом — чтобы не нести одному ответственность за свои тезисы, он дал подписать их всем духовным лицам Женевы.

Очень уж не хочется ему считаться единолично убийцей Сервета, и поэтому в его апологии прослеживаются две мысли, крайне неловко переплетающиеся друг с другом, противоречащие друг другу. С одной стороны, Кальвин под давлением общего недовольства пытается снять с себя ответственность, взваливая ее на «власти», с другой стороны, он должен доказать, что магистрат поступил правильно, уничтожив подобное чудовище, *monstrum*.

Чтобы представить себя особенно добросердечным человеком, противником любого насилия, он, ловкий демагог, добрую часть своей книги заполняет жалобами на ужасы католической инквизиции, которая, не давая верующим возмож-

^{*}Здесь: торопливо (*лат.*).

ности защищаться, приговаривает их к смерти и казнит страшными способами («А ты, — ответит ему позже Каstellio, — дал ты Сервету защитника?»). Затем он поражает удивленного читателя сообщением, что непрерывно пытался тайно вернуть Сервета к правильному образу мыслей (*Je n'ai pas cessé de faire mon possible, en secret, pour le ramener à des sentiments plus saints*)*; значит, вопреки тому, что Кальвин склонялся к снисхождению, по существу, только магистрат приговорил Сервета к смертной казни, к тому же особенно ужасной.

Но эти мнимые усилия Кальвина в защиту Сервета, усилия убийцы в защиту жертвы, были слишком «тайными», чтобы нашлась хоть одна душа на земле, которая поверила бы этой задним числом придуманной сказке, и Каstellio с презрением разъясняет истинное положение вещей. «Первыми твоими увещаниями были оскорбления, вторыми — тюрьма, и вот Сервета, потащив на костер, сожгли заживо».

Но одной рукой снимая с себя ответственность за мучительную казнь Сервета, Кальвин другой рукой расписывается в полном оправдании «властей» за их приговор. И тотчас же, едва лишь требуется оправдать право на подавление инакомыслящих, Кальвин становится красноречивым. Недопустимо, аргументирует он, дать каждому свободу говорить все, что он думает (*la liberté à chacun de dire ce qu'il voudrait*), ибо тогда эпикурейцы, атеисты и пренебрегающие Богом дадут себе волю. Возвещаться должна лишь истинная доктрина (доктрина Кальвина). Но такая цензура — всегда деспоты мышления повторяют одни и те же нелогичные аргументы — ни в коем случае не означает ограничения свободы. *Ce n'est pas tyranniser l'Eglise que d'empêcher les écrivains mal intentionnés de répandre publiquement ce qui leur passe par la tête***.

* Я не переставал втайне делать все, что было в моих силах, дабы привести его в благочестивые чувства (*фр.*).

** Мешать злонамеренным писателям публично распространять все, что им взбредет в голову, совсем не означает тиранить церковь (*фр.*).

имеющим свое мнение, — по Кальвину и ему подобным — отнюдь не означает насилия; это всего лишь правильное поведение и служение более высокой идее — на этот раз «славе Божьей».

Но не моральное понуждение еретика является уязвимой точкой, которую Кальвин, собственно, хочет защитить — как тезис понуждение заимствовано у первых вождей протестантизма, — нет, решающим является вопрос, можно ли убивать или санкционировать убийство инакомыслящих. Так как Кальвин на этот вопрос заранее уже ответил утвердительно казнь Сервета, он должен свой ответ задним числом обосновать. А чтобы показать, что Сервета он уничтожил лишь «по указанию свыше», «послушный Божьему требованию», защиту свою он, естественно, ищет в Библии. Так как в Евангелии слишком много говорится о том, что следует «любить врагов своих», он пытается привлечь закон Моисея и приводит примеры казней еретиков, но убедительного-то материала у него нет: ведь Библии еще не было известно понятие «еретик», она знала только «богохульника», отрицающего существование Бога; Сервет же, выкрикивающий в последние минуты своей жизни из огня имя Христа, никогда атеистом не был.

Но Кальвин, опирающийся на Библию всегда, когда ему это особенно удобно, объявляет тем не менее физическое истребление инакомыслящих «святым» делом «властей». «Повинен был бы человек, не обнаживший меч, если б его дом оказался запятнан идолопоклонством и кто-либо из его домочадцев восстал против Бога, но несравненно более мерзкой была бы эта трусость со стороны властелина, пожелай он закрыть глаза, когда религия предается поруганию». Меч дан властям затем, чтобы они использовали его «во славу Божью» (всегда в своих призывах к насилию Кальвин злоупотребляет этими словами); он наперед оправдывает любой поступок, который свершается в набожном рвении, в *saint zele*.

Защита ортодоксии, истинной веры, должна, по Кальвину, рвать все кровные связи, все требования человечности; даже самого близкого своего родственника следует уничтожить, ес-

ли сатана гонит его к отрицанию «истинной» религии, к ужасному кощунству — *On ne lui fait point l'honneur qu'on lui doit, si on ne préfère son service à tout regard humain, pour n'épargner ni parentage, ni sang, ni vie qui soit et qu'on mette en oubli toute humanité quand il est question de combattre pour sa gloire**.

Страшные слова, трагическое подтверждение того, как может фанатизм ослепить человека, в остальном трезво рассуждающего. Ибо с циничной откровенностью сказано здесь, что набожным, по Кальвину, можно считать лишь того, кто за «учение», за его, Кальвина, учение «*tout regard humain*», должен убить в себе все человеческие чувства, должен добровольно выдать инквизиции жену, друга, брата, весь свой род, едва они по какому-либо пункту или подпункту религиозного учения выскажутся иначе, чем это принято консисторией.

А для того, чтобы никто не восстал против этого кровожадного тезиса, Кальвин обращается к своему последнему, самому любимому аргументу — террору. Он заявляет, что каждый, защищающий еретика, каждый, простивший ему его ересь, сам становится еретиком и поэтому подлежит наказанию. Кальвин не терпит противоречий и хочет каждому, кто может решиться на возражения, заранее внушить страх, угрожая ему участью Сервета: либо молчи и беспрекословно слушайся, либо сам иди на костер! Раз и навсегда желает Кальвин покончить с мучительным для него обсуждением вопроса об убийстве Сервета.

Но обвиняющий голос убиенного не заглушить, как бы громко, как бы яростно Кальвин ни выкрикивал свои угрозы миру, и защитительное сочинение Кальвина с призывом к охоте на еретиков производит наисквернейшее впечатление; отвращение охватывает самых честных протестантов, им противно видеть инквизицию, защищаемую *ex cathedra*** реформированной церкви.

* Если ему не воздают подобающей хвалы, если предпочитают служить человеку, а не Господу, если ради славы господней не откажутся от любого родства, от любой жизни, не преступят в себе человеческое (*фр.*).

** С кафедры (*лат.*).

Иные считают, что такой драконовский тезис, пожалуй, больше к лицу магистрату, нежели проповеднику слова Божьего, слуге Христа: великолепно звучит благородное и убедительное письмо Кальвину секретаря магистрата города Берна, Церхинтеса, который позже станет вернейшим другом и защитником Каstellлио. «Открыто утверждаю, — пишет он, — что и я принадлежу к тем, которые хотят возможно сильнее ограничить применение смертной казни для противников религиозного движения и даже для тех, кто желает остаться в своем заблуждении. Меня к этому мнению в особенности побудили не только те места Священного писания, которые убедительно говорят против применения насилия, но и отношение в нашем городе к анабаптистам. Я сам видел, как волокли на эшафот восьмидесятилетнюю женщину вместе с ее дочерью, матерью шестерых детей; эти женщины не совершили иного преступления, кроме отрицания догмата о крещении детей. Под впечатлением такого примера я страшусь, что судейские власти не будут держаться в строгих границах, в которые ты сам хотел бы их заключить, и за малые заблуждения станут карать, как за большие преступления. Поэтому я предпочел бы, чтобы власти оказались скорее повинными в избытке милосердия и снисхождения, чем в суровости меча... И по мне лучше пусть прольется моя кровь, чем я запятнаю себя кровью человека, смерть которого не безусловно заслужена им».

* * *

Так во времена фанатизма говорит маленький, незначительный секретарь магистрата и так думают многие: но все они только думают так, но не высказываются. Даже славный Церхинтес, как и его учитель Эразм, избегает открытого спора и, пристыженный, признается Кальвину, что сообщает ему свое мнение лишь письменно, публично же предпочел бы молчать. «Я не сойду на арену, пока совесть не понудит меня к этому. Вместо того чтобы развязывать споры и кого-нибудь при этом

ненароком оскорбить, я предпочитаю остаться немым, пока моя совесть разрешает мне это».

Гуманные личности всегда слишком быстро смиряются, облегчая тем самым насильникам их гнусную деятельность; все они ведут себя как этот благородный, но невоинственный Церхинтес: они молчат и молчат, эти гуманисты, люди интеллекта, ученые; одни — потому, что им противны свары, другие — из страха, что их самих сочтут еретиками, если они лицемерно не признают казнь Сервета благородным деянием. И уже создается впечатление, будто чудовищное требование повсеместного, всеобщего преследования инакомыслящих ни у кого не встретит отпора.

Но неожиданно раздается голос — Кальвин хорошо знает и ненавидит его лютой ненавистью, — чтобы открыто от имени поруганной человечности обвинить Кальвина в преступлении, в убийстве Мигеля Сервета, — голос Каstellлио, которого не запугали никакие угрозы женеvского насильника, человека, готового отдать свою жизнь, чтобы спасти жизнь бесчисленному количеству людей.



В каждой духовной борьбе наиболее стойкие, наиболее смелые борцы — не те, кто легко и страстно начинает бой, а люди внутренне миролюбивые, в которых намерение и решимость зреют медленно, которые долго колеблются, прежде чем выступить. Только исчерпав все другие возможности взаимопонимания и поняв неизбежность столкновения, с тяжелым, безрадостным сердцем идут они в вынужденное наступление; но именно те, кто с большим трудом решается на битву, оказываются более убежденными и более решительными.

Так и Каstellлио. Истинный гуманист, он не прирожденный боец, не сторонник борьбы; предупредительность, стремление к умиротворению, к примирению бесконечно ближе его мягкой, глубоко религиозной натуре. Как и его духовный отец Эразм, он прекрасно знает, что любая истина многообразна и

многозначна, и не случайно своему самому значительному произведению он дал заглавие: «De arte dubitandi» («О высоком искусстве сомневаться»). Но это постоянное сомнение в себе, постоянная проверка себя никоим образом не делают Кастеллио холодным скептиком; его осторожность учит его лишь терпимости ко всем другим мнениям, и он всегда предпочитает молчание поспешному вмешательству в спор других.

Добровольно пожертвовав работой и положением, он ради сохранения внутренней свободы полностью отстранился от политики, чтобы имевшим огромное значение переводом Библии на два языка более действенно служить Евангелию. Базель, этот последний островок религиозной свободы, стал для него спокойным приютом; здешний университет еще бережет наследие Эразма; город стал убежищем европейских гуманистов, преследуемых церковными диктатурами. Здесь живут и Карлштадт, изгнанный Лютером из Германии, и Бернардо Окино, бежавший от римской инквизиции из Италии, здесь Кастеллио, вытесненный из Женевы Кальвином, здесь Лелио Социн, и Курионе, и бежавший из Нидерландов под чужим именем анабаптист Давид де Йорис. Одинаковые судьбы, одинаковые преследования связывают этих эмигрантов, хотя ничего общего в богословских взглядах у них нет; чтобы общаться друг с другом, вести мирные беседы, гуманистам и не нужна систематическая, всеобъемлющая унификация мировоззрений.

Все эти люди, не желающие служить никакой моральной диктатуре, ведут в Базеле тихое приватное существование ученых, не забрасывают мир трактатами и брошюрами, не разглагольствуют на лекциях или диспутах, не сколачивают ни союзов, ни сект; эти одинокие «ремонстранты», эти «возражатели» (так позже назовут их, протестующих против любого догматического террора) связаны братскими узами совместной скорби по поводу растущего конформизма и развивающейся регламентации мышления.

Для этих независимых мыслителей сожжение Сервета и кровожадный защитительный памфлет Кальвина означают

объявление им войны. Гнев и ужас испытывают они от этого дерзкого вызова. Они прекрасно понимают — наступил решающий момент; если этот тиранический поступок останется без ответа, тогда свободному мышлению в Европе придет конец, тогда утвердится насилие. Значит, действительно, «однажды увидев свет», после Реформации, принесшей миру требование свободы совести, опять низвержение в темноту? Значит, действительно, как требует этого Кальвин, виселицей и мечом будут уничтожены все инакомыслящие христиане?

Не следует ли теперь, в этот опасный момент, до того как от костра на площади Шампель вспыхнут сотни других костров, твердо заявить, что нельзя преследовать, как диких зверей, и жестоко мучить до смерти, словно разбойников и убийц, людей, имеющих в духовных вопросах другое, чем у власть имущих, мнение. В этот ответственный, в этот самый ответственный час следует громко и отчетливо сказать миру, что любая нетерпимость ведет себя не по-христиански, а когда прибегает к террору — бесчеловечно; все они чувствуют это, сейчас должно быть произнесено громко и отчетливо слово в защиту преследуемых, слово — против преследующих.

Громко и отчетливо — возможно ли подобное в этот час? Есть времена, в которые следует завуалировать простейшие и чрезвычайно ясные истины, чтобы они попали к людям; так как парадные ворота охраняются клеветами властелина, то наигуманнейшие и самые святые мысли, закутавшись, замаскировавшись, словно воры, пробираются к людям через черный ход.

Во все времена повторяется абсурдный факт, что там, где разрешаются всевозможные подстрекательства одного народа против другого, одной веры против другой, подавляются, подвергаются преследованию все попытки примирения, все идеалы пацифизма и умиротворения под тем предлогом, что они угрожают какому-либо (каждый раз другому) государственному или богословскому авторитету, они якобы своей волей к гуманизму, своей «пораженческой» сущностью ослабляют благочестивое или патриотическое рвение.

Нет, Каstellлио и его единомышленники не могут в условиях террора Кальвина решиться открыто и ясно высказать свои взгляды; манифест терпимости, призыв к гуманизму в том виде, как его представляли себе авторы книги, немедленно подпал бы под запрет духовных диктатур. Пусть силе противостоит хитрость.

И вот появляется книга: фамилия издателя вымышленная, Мартинус Беллиус, место издания на титульном листе указано ложное — Магдебург вместо Базеля; и прежде всего сам текст, это горячее воззвание в защиту невинно преследуемых, замаскирован и выглядит как научное, как богословское произведение; пусть будет сохранена видимость, что высокообразованные церковные и прочие авторитеты рассматривают чисто академический вопрос: «*De haereticis an sint persequendi et omnino quomodo sit cum eis agendum multorum tum veterum tum recentiorum sententiae*», что означает: «Преследовать ли еретиков и как с ними вести себя, изложено по заключениям многих древних и новых авторов».

И действительно, когда бегло листаешь страницы, поначалу кажется, что ты держишь в руках благочестивый теоретический трактат, ибо видишь в нем сентенции знаменитейших отцов церкви, святого Августина, святых Хрисостома и Иеронима рядом с избранными высказываниями больших авторитетов протестантизма, таких, как Лютер, Себастьян Франк, или же гуманистов, не примкнувших ни к какому лагерю, например Эразма. Похоже, что это всего лишь схоластическая антология, правово-богословский сборник цитат из произведений философов, принадлежащих к различным течениям и лагерям, рассчитанный на то, чтобы дать самому читателю возможность определить свое личное, не навязанное извне мнение по этому деликатному вопросу; если же присмотреться внимательнее, то видно, что цитаты подобраны только те, в которых осуждается смертная казнь еретика.

И остроумнейший выпад, единственная колкость, допущенная в этой по существу своему серьезнейшей книге, — среди цитируемых противников Кальвина находится один,

тезис которого должен быть ему особенно неприятен, — сам Кальвин. Его высказывание, правда относящееся к тем временам, когда еще преследовали его самого, резко противоречит его теперешнему страстному призыву к борьбе огнем и мечом с еретиками; собственными своими словами жестокий убийца Сервета Кальвин клеймит Кальвина как человека, совершившего нехристианский поступок, ибо цитата, подписанная его именем, гласит: «Не по-христиански преследовать оружием отверженных церковью и отказывать им в правах человечности».

Но особую ценность все же имеет не тайная мысль, пронизывающая книгу, а мысль, нашедшая свое выражение в словах. Эти слова говорит Кастеллио в своем посвящении книги герцогу Вюртембергскому, и именно эти предваряющие и заключающие книгу слова поднимают богословскую антологию над своим временем. Она занимает всего два десятка страничек, но это первые страницы, с которых свобода мышления требует себе священные права гражданства в Европе. Написанные в тот час для спасения еретиков, страницы эти являются призывом к примирению для всех тех, кому позже придется страдать от всяческих диктатур за свои личные — политические или мировоззренческие взгляды. На все времена с этих страниц объявлена война исконному врагу всякой духовной справедливости — узколобому фанатизму, который желает подавить любое мнение, хоть в чем-то отличающееся от мнения его лагеря, и победоносно противопоставляется ему идея, которая одна способна освободить землю от вражды, — идея терпимости.

* * *

С бесстрастной логичностью, ясно и неопровержимо разворачивает Кастеллио свой тезис. Ставится вопрос: можно ли преследовать и карать смертью еретиков за их чисто духовный проступок. Этот вопрос Кастеллио решительно предваряет другим: что такое еретик? Кого можно по справедливости счи-

тать еретиком, ибо Каstellлио в своей бесстрашной решимости утверждает: «Я не верю, чтобы еретиками были все, кого считают еретиками... Это понятие нынче настолько позорно, настолько ужасно, настолько презренно и пугающе, что если кто-либо хочет избавиться от личного врага, ему проще всего обвинить того в ереси. Едва другие люди услышат это, они испытают такой страх от одного слова «еретик», что заткнут уши и станут в слепом неистовстве преследовать не только его, но и тех, кто отважится сказать в его защиту хотя бы одно слово».

Итак, что такое еретик? Вновь и вновь задает Каstellлио этот вопрос. И поскольку Кальвин и другие инквизиторы ссылаются на Библию, как на единственно имеющую силу закона книгу, он исследует ее страницу за страницей. Но удивительное дело, в Библии он вообще не находит этого слова, этого понятия; должны были появиться догматика, ортодоксия, учение о единообразии, чтобы можно было создать это понятие, придумать это слово. Ведь для того, чтобы отклониться от норм, нужно, чтобы они существовали, чтобы церковь существовала как институт.

В Священном писании говорится, правда, о богохульниках и о наказании, которому их надо подвергать. Но еретик ни в коем случае — и дело Сервета это показало — не богохульник; именно те, кого считают еретиками, утверждают, что они — истинные, настоящие христиане и восторженно почитают Спасителя; пример тому — перекрещенцы, анабаптисты. Так как турка, иудея, язычника никогда не назовут еретиком, ересь, следовательно, является преступлением, бытующим исключительно среди христиан. Итак, появляется новая, более точная формулировка: еретики — это те, которые, хотя и являются христианами, самовольно в различных отдельных пунктах отклоняются от «истинного» мнения.

Казалось бы, этим найдено окончательное определение. Но — роковой вопрос! — какое христианство из существующего множества толкований «истинное», какое толкование Божьего слова «истинно» — католическое, лютеранское,

цвинглианское, анабаптистское, гуситское, кальвинское? Имеется ли абсолютная ясность в религиозных вопросах, каждое ли слово Священного писания поддается толкованию? В противоположность упрямцу Кальвину Каstellio достаёт мужества ответить разумным «нет». В Священном писании он видит места как доступные пониманию, так и непостижимые.

«Истины религии, — пишет этот глубоко религиозный человек, — по своей природе исполнены тайн и являются более тысячелетия предметом бесконечных споров, в которых кровь течет непрекращающимся потоком и будет литься, пока любовь не откроет людям глаза и не скажет свое последнее слово: «Всякий, кто излагает Божье слово, может впасть в заблуждение, и поэтому наипервейшим долгом каждого является взаимная терпимость. Если бы все вопросы были так же ясны и очевидны, как ясно то, что существует Бог, то все христиане имели бы по всем этим вопросам одно мнение, так же как сейчас все нации едины в понимании существования Бога; поскольку же, однако, все темно и спутано, христиане не должны осуждать друг друга, и если мы более мудры, чем язычники, значит, мы должны быть и лучше, и милосерднее их».

Еще на один шаг продвинулся Каstellio в своем исследовании Священного писания: еретиком является каждый, кто признает основные законы христианской веры, но не в той форме, которая авторитарно требуется в его стране. Следовательно, ересь — наконец-то важнейшее отличие! — понятие не абсолютное, а относительное. Кальвинист для католика, само собой разумеется, еретик, и точно так же, естественно, анабаптист — для кальвиниста; человек, считающийся во Франции глубоко религиозным, для Женевы — еретик, и наоборот. Тот, которого в какой-нибудь стране сжигают как преступника против веры, в соседней стране считается мучеником: «Если ты в каком-нибудь городе или в какой-нибудь стране считаешься истинно верующим, именно поэтому в другом городе, в другой стране ты будешь еретиком, так что если нынче кто-нибудь хочет жить спокойно, не опасаясь, что его

объявят еретиком, он должен следовать стольким религиям и убеждениям, сколько существует городов и стран». Так подходит Кастеллио к своей последней и самой смелой формулировке: «Если я хорошенько подумаю, что же такое еретик, то окажется, еретиком мы именуем всякого, кто не согласен с нашим мнением».

В своей очевидности сказанное чрезвычайно просто, пожалуй, даже банально. Но в те времена сказать это открыто мог только человек поразительной моральной смелости. Ведь этими словами человек, не обладающий никакой земной властью, кидает в лицо обвинение всему своему времени — и вождям, и князьям, и священникам, и католикам, и протестантам, — заявляя, что все их охоты за еретиками — бессмыслица, безумие убийц, что тысячи, десятки тысяч безвинны — людей противозаконно преследовали, вешали, топили, сжигали, а они никогда преступниками против Бога и государства не были; ведь не в реальном пространстве бытия отпали они от других, а в невидимом пространстве — в пространстве мышления. А кому дано право судить мысли человека, его внутренние, личные убеждения приравнивать к подлым преступлениям? Ни государству, ни властям. Но по Библии — кесарю кесарево — и Кастеллио приводит слова Лютера: земные властелины властны лишь над плотским; Бог не желает, чтобы кто-либо на земле имел права над человеческими душами.

От каждого своего подданного государство вправе требовать соблюдения норм поведения и политического порядка, но любое вмешательство авторитета во внутренний мир убеждений, моральных, религиозных — а мы прибавили бы: и творческих, — пока они не представляют собой видимой угрозы сущности государства, мы бы сказали: пока они не становятся политической агитацией — означает превышение власти и вторжение в неприкосновенные права личности. За свой внутренний мир человек ни перед какой инстанцией государства не ответствен, ибо «каждый из нас сам отвечает перед Богом за себя». Вопросы мышления государственной власти не подлежат. Если убеждения другого отличаются от твоих, к чему

это неистовство с пеной у рта, это непрерывное взывание к гестапо, к чему эта ненависть, которая несет смерть? Истинная гуманность без воли к согласию невозможна, ибо, «если мы будем себя сдерживать внутренне, мы сможем жить друг с другом в мире, и даже если мы и будем иметь иногда разные мнения, то, по крайней мере, пойдем друг друга, поскольку любовь и стремление к миру имеют единую сущность, и мы наконец достигнем согласия в вере».

Вина за эти ужасные боины, за эти позорящие человечество варварские преследования ложится, следовательно, не на еретиков, которые невиновны (кто ответствен за свои мысли, за свои убеждения?); для Каstellio виновным, вечно виновным в смертоносном безумии, в диком хаосе нашего мира остается фанатизм, нетерпимость идеологов, которые желают, чтобы истинной была признана их идея, их религия, их мировоззрение.

Безжалостно ставит Каstellio к позорному столбу это высокомерие. «Люди так убеждены в справедливости своего мнения, а чаще в ложной уверенности, полагая его единственно истинным, что выказывают высокомерное презрение чужому мнению; это высокомерие — первопричина зверств и преследований, никто не желает терпеть человека с другими, отличными от него взглядами, хотя мнений на свете столько, сколько и людей. Но нет ни одной секты, которая не осуждала бы все остальные секты и не пожелала бы господствовать единовластно. И отсюда — все эти изгнания, ссылки, заточения в тюрьмах, все эти костры, виселицы, эшафоты, это мерзкое безумие казней и мучений, которые происходят вокруг нас каждодневно единственно лишь из-за точки зрения, не нравящейся власть имущим, а подчас и вообще без какого-либо определенного основания». Это дикое и варварское стремление предаться зверствам возникает лишь из упрямства, лишь из «духовной нетерпимости», а теперь иные приходят в бешенство от того, что кто-нибудь из приговоренных ими к смерти будет задушен перед сожжением, а не брошен для мучительной смерти заживо в огонь.

И Кастеллио утверждает: только одно может спасти человечество от этого варварства — терпимость. В нашем мире достаточно места не только для одной, но и для многих истин, и если бы люди только того пожелали, они смогли бы жить друг возле друга. «Давайте же терпеть друг друга, не будем осуждать чужую веру!» Не будет этих ужасных охот на еретиков, не потребуются никакие преследования людей за расхождения в духовных вопросах. И если Кальвин своим сочинением побуждает князей обнажить меч для полного истребления еретиков, Кастеллио взывает к властелинам: «Предпочтите склониться к милосердию, не слушайте тех, кто подстрекает вас к убийству, ибо, когда настанет час и вам надо будет отчитаться перед Богом, эти люди не смогут вам помочь: ведь они очень и очень будут заняты своей собственной защитой. Поверьте мне, будь здесь сейчас Христос, никогда бы он не посоветовал вам убивать тех, кто признает его имя, даже если они и в чем-то заблуждаются или идут неправильным путем...»

* * *

Ответ на опасный вопрос о вине и невиновности так называемого еретика Себастьян Кастеллио дал — как это и следует при решении духовной проблемы — с позиций беспартийного человека. Он проверил, тщательно взвесил все «за» и «против». Глубоко убежденный в невиновности этих гонимых, этих преследуемых людей, требуя мира и духовной свободы, он смиренно излагает свои взгляды другим. И если сектанты, словно рыночные торговцы, словно зазывалы, крича пронзительно громко, расхваливают свои догмы и если каждый из этих узколобых доктринеров непрерывно вопит с кафедры, что он и только он предлагает чистое, истинное учение, лишь его голосом возвещается со всей точностью воля и слово Божье, Кастеллио говорит просто: «Я говорю вам не как пророк, которого послал Бог, а как человек из народа, которому ненавистны распри и который хотел бы только одного: чтобы религия была аргументирована не грызней, а сострадательной

любовью, не внешними обрядами, а внутренним служением от сердца». Всегда доктринеры говорят с другими, как со школярами, как со слугами, гуманный же человек — как брат с братом, как человек с человеком.

Но истинно человеческий человек не может остаться безучастным при виде бесчеловечных поступков. Рука честного писателя, если душа его потрясена безумием времени, в котором он живет, не может равнодушно писать трезвые, высокопринципиальные слова; его голос не может остаться спокойным, когда кровь его кипит в справедливом возмущении. И Кастеллио не может долго сдерживать себя, не может спокойно рассуждать, видя пыточный столб на площади Шампель, на котором в страшных мучениях умер невиновный человек, отданный в жертву по приказу своего духовного брата; ученый, преданный ужасной смерти ученым, богослов — богословом — во имя чего? — во имя религии любви.

Своим внутренним взором видит Кастеллио картину мучений Сервета, картину жестоких массовых преследований еретиков, он отрывает взгляд от рукописи и ищет виновников этих зверств, напрасно стремящихся личную нетерпимость оправдать благочестивым служением Богу. И Кальвина увидел суровый глаз Кастеллио, когда он, взывая, написал: «И как бы ужасно ни было свершаемое вами, еще более страшный грех ляжет на вас, если вы будете пытаться приккрыть свои преступления одеянием Христа, если будете, свершая зло, ложно утверждать, что выполняете его волю».

Он знает, что во все времена насильники пытаются приккрыть свое насилие какими-нибудь религиозными или мировоззренческими идеалами; но кровь пятнает любую идею, насилие унижает любую мысль. Нет, Мигель Сервет был сожжен не по указанию Бога, а по приказу Жана Кальвина, и этим актом была опозорена на земле сама идея христианства. «Кто, — восклицает Кастеллио, — захочет нынче стать христианином, если признающих Христа истребляют огнем и водой, обращаются с ними более жестоко, чем с разбойниками и убийцами... Как можно желать служить Христу, если извест-

но, что любой, не во всем согласный с захватившими власть и силу, будет заживо сожжен во имя Христа, хотя он, приговоренный к смерти, и из пламени костра будет кричать, что верит в Христа?»

Поэтому следует наконец, считает этот поразительно благородный, этот истинно гуманный человек, покончить с безумием, разрешающим мучить и убивать лишь за то, что люди в духовных вопросах внутренне противятся сиюминутным властелинам. И поскольку Каstellio видит, что властелины вновь и вновь злоупотребляют своей властью, а на земле нет никого, кроме него, ничтожного, слабого, принимающего к сердцу муки гонимых и преследуемых, он в отчаянии поднимает к небу голос и заканчивает свой призыв экстатической фугой сострадания: «О Христос, создатель и царь мира, видишь Ты все это? Ужели Ты действительно стал совсем другим, чем был, стал таким страшным, враждебным к самому себе? Когда Ты пребывал на земле, не было никого более мягкого, более доброго, чем Ты, никого, кто так мудро терпел насмешки и издевательства; опозоренный, оплеванный, осмеянный, с терновым венцом на голове, распятый вместе с разбойниками, униженный до предела, Ты молился за тех, кто нанес Тебе все эти оскорбления, кто изрыгал хулу на Тебя. Неужели это правда, что Ты теперь так изменился? Я молю Тебя наисвятейшим именем Твоего отца: действительно ли Ты приказываешь топить в воде, рвать тело клещами до внутренностей, посыпать раны солью, рубить мечом, жечь на малом огне и всеми мыслимыми и немыслимыми видами пыток как можно медленнее мучить до смертного часа тех, кто исполняет Твои указания и предписания не совсем точно, как это требуют Твои учителя? Действительно ли Ты одобряешь все это, Христос? Действительно ли они — Твои слуги, те, кто повинен в этих бойнях, кто закалывает, расчленяет людей, словно убойную скотину? Неужто алчешь Ты человеческого мяса, если имя Твое призывают они в свидетели при этой чудовищной резне? Если Ты, Христос, действительно приказал свершать все это, что же останется сатане?

О, какое ужасное кощунство утверждать, что Ты делаешь то же, что и он! О, какими низкими должны быть люди, чтобы Твоим именем вершить все те ужасные действия, которые измыслить может только сатана!»

* * *

Если б Себастьян Каstellio ничего более не написал, кроме предисловия к книге «О еретиках», а из этого предисловия — одну только эту страницу, его имя все равно навечно осталось бы в истории гуманизма. Ибо как одиноко звучит его голос, как мало в этих потрясающих мольбах надежды, что они будут услышаны миром, в котором бряцание оружием заглушает их и последнее, решающее слово оставляет за собой война. И хотя все религии, все мудрецы и поучают человечество бесчисленное количество раз, забывчивому человечеству следует постоянно напоминать самые простые человеческие требования. «Конечно же, — добавляет скромный Каstellio, — я не говорю ничего, что не было бы сказано другими. Но повторять истину никогда не лишне, повторять ее до тех пор, пока она не завоюет себе признание».

И поскольку в каждую эпоху насилие возобновляется в новой форме, люди духа обязаны подниматься на борьбу с ним, никогда не должны они уклоняться от этого долга под предлогом того, что время не пришло, что насилие правит миром и поэтому бессмысленно противопоставлять ему слово. Никогда нужное, необходимое не говорится слишком часто, никогда истина не говорится напрасно. И даже если слово не побеждает, произнесенное, оно уже подтверждает свое вечное присутствие, и тот, кто ему в этот час служит, уже этим показал, что террор не имеет силы над свободной душой и даже в бесчеловечный век может звучать голос человечности.

СОВЕСТЬ ПОДНИМАЕТСЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ

Именно те люди, которые самым беспощадным образом навязывают свое мнение другим, особенно чувствительны к любым, даже самым незначительным замечаниям в свой адрес. И Кальвин считает чудовищной несправедливостью, что мир втянулся в обсуждение казни Сервета, вместо того чтобы восторженно восхвалять ее как благочестивое, богоугодное деяние. Человек, только что бросивший другого человека на костер, предавший его мучительной казни лишь за то, что тот расходился с ним в некоторых богословских взглядах, теперь самым серьезным образом требует у мира сострадания не к несчастной жертве, а к себе. «Если бы ты только знал хотя бы десятую долю тех поношений и нападок, — пишет он другу, — которым я подвергся, ты бы посочувствовал моему печальному положению. Со всех сторон лают на меня собаки, поливают меня всякой хулой, какую только можно измыслить. Завистники и ненавистники из моего лагеря атакуют меня ужаснее, чем открытые противники из папистов». И Кальвин с раздражением начинает понимать, что, несмотря на все цитаты из Библии и аргументы, приведенные им в последней книге, мир не желает молча признать убийство Сервета; а едва он узнает, что Каstellio со своими друзьями готовит в Базеле ответ на его защитительный памфлет, эти угрызения нечистой совести перерастают в нечто вроде паники.

Конечно, первая же мысль тиранического темперамента — немедленно подавить любое мнение, заткнуть кляпом рот каждому, применить строжайшую цензуру. Едва получив первое сообщение, Кальвин спешит к конторке и, еще не зная содержания книги «De haereticis», заранее штурмует швейцарские синоды — пусть они в любом случае запретят эту книгу. Никаких дискуссий! Женева сказала, Geneva locuta est: все, что хотят теперь сказать о деле Сервета другие, заранее объявляется заблуждением, бессмыслицей, ложью, ересью,

богохульством, так как это противоречит тому, что сказал Кальвин.

Прилежно бежит перо: 28 марта 1554 года он уже пишет Буллингеру* — только что в Базеле под вымышленным именем напечатана книга, в которой Каstellio и Курионе хотят доказать, что еретиков нельзя устранять силой. Нельзя допустить, чтобы такое лжеучение нашло распространение, «встать на путь снисхождения и отрицать, что ересь и богохульство следует наказывать, — значит распространять заразу». Таким образом, вестнику терпимости быстро затыкается кляпом рот. «Богу было бы угодно, чтобы пасторы твоей церкви хотя и с запозданием, но следили бы за тем, чтобы эта зараза не распространялась». Но этого обращения мало; на следующий день Буллингера еще более настойчиво предостерегает Теодор де Без, клевет Кальвина: «На титульном листе книги указан Магдебург, но сдается мне, что этот Магдебург стоит на Рейне; я давно уже знал, что там измышляется такое позорное дело. И я спрашиваю, что же еще останется от христианской религии, если мы будем терпеть все, что изрыгнул этот отверженец в своем «Предисловии»?»

Но уже поздно, трактат обогнал доносы, и, когда первый экземпляр попадает в Женеву, там ярким пламенем вспыхивает настоящий пожар ужаса. Как? Нашлись люди, желающие гуманность поставить выше авторитета? Щадить инакомыслящих, обращаться с ними как с братьями, вместо того чтобы волочить их на костер? Не только Кальвин, каждый христианин имеет право толковать Священное писание по-своему? Ведь при этом церковь — Кальвин, разумеется, имеет в виду свою церковь — окажется в опасности. По сигналу в Женеве начинается кампания против ереси. Объявилась новая ересь, кричат они, особая, очень опасная ересь — «беллианизм» — так называли они это учение о терпимости в вопросах веры, и апостол этого учения — Мартинус Беллиус (Кастел-

* Буллингер, Генрих (1504—1575) — известный швейцарский реформатор. — *Примеч. пер.*

лио), — быстрее, быстрее затоптать этот адский огонь, не дать ему распространиться по земле! И в смятенной ярости пишет де Без о впервые провозглашенных требованиях терпимости: «С начала христианства не было слышно о подобном богохульстве».

В Женеве держится военный совет: отвечать или не отвечать? Преемник Ульриха Цвингли — Буллингер, которого женевцы так настойчиво в свое время просили задержать выпуск книги, пытается успокоить из Цюриха: книгу и так быстро забудут, разумнее совсем не выступать против нее. Но Фарель и Кальвин в горячем нетерпении настаивают на публичном ответе. Однако, учитывая печальный опыт своей первой защиты, Кальвин на этот раз предпочитает оставаться на заднем плане, он предоставляет своему помощнику, Теодору де Безу, возможность отличиться на богословском поприще, заслужить его, диктатора, благодарность за лихую атаку на «сатанинское» учение о терпимости.

* * *

Теодор де Без, порядочный, набожный человек, который за многие годы рабски покорной службы Кальвину заслужит право стать в последующем его преемником и еще превзойдет Кальвина — как всегда подражательный дух превосходит творческий — в своей лютой ненависти к любому, даже слабому дуновению духовной свободы. Ему принадлежат те ужасные слова, которые навсегда поставят его в истории человеческой культуры рядом с Геростратом, обремененным позорной славой: свобода совести — это учение черта (*Liberatas conscientiae diabolicum dogma*). Никакой свободы! Лучше огнем и мечом истребить людей, чем терпеть высокомерие самостоятельного мышления. «Лучше иметь тирана, пусть даже самого свирепого, — с пеной у рта беснуется де Без, — чем разрешить каждому действовать по своему разумению... Утверждать, что еретиков нельзя наказывать, — это все равно что сказать, что нельзя убить отцеубийцу, матереубийцу, ведь еретики в тысячу раз более преступны, чем те».

После такого начала нетрудно представить, до какого не-

истовства договорится страстный, ортодоксально ограниченный де Без в своем памфлете против «беллианизма». Как? К этим «прикидывающимся людьми чудовищам» (*monstres déguisés en hommes*) еще проявлять гуманность? Нет, сначала порядок, а потом уж гуманность! Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, когда речь идет о «доктрине», вождь движения не должен уступать человечности, ибо не христианским, а сатанинским было бы подобное милосердие, *charité diabolique et non chrétienne*; впервые, но не в последний раз слышим мы воинственную, воинствующую теорию, в соответствии с которой человечность есть преступление против человечества, — *crudelis humanitas**, как формулирует де Без, поскольку вести человечество к какой бы то ни было духовной цели можно, лишь применяя железный порядок и беспощадную строгость. «Нельзя щадить нескольких хищных волков и отдавать им на растерзание всю верующую паству Христа... Тьфу на это мнимое милосердие, которое в действительности является чрезвычайным зверством», — кричит zelot де Без беллианистам и умоляет власти: пусть они «добродетельно бьют мечом» (*frapper vertueusement de ce glaive*).

И того самого Бога, к состраданию которого от полноты своего сострадания обращается Кастеллио, умоляя его покончить, наконец, со зверской бойней, женеvский пастор со страстной ненавистью умоляет «дать христианским князьям достаточно величия души и силы духа, чтобы они полностью истребили этих злодеев». Но даже само это истребление инакомыслящих кажется алчущему мести де Безу недостаточным. Не только следует убивать еретиков, но казнь их должна быть мучительной, и благочестивым кивком головы де Без заранее оправдывает любые мыслимые мучения: «Если их наказывать по всей тяжести свершенных ими преступлений, я думаю, невозможно найти такие пытки, которые соответствовали бы этой ужасной тяжести».

* Ужасная человечность (*лат.*).

Отвратительно даже повторять этот гимн террору, эту жуткую аргументацию антигуманизма! Но воспроизвести и запомнить каждое их слово необходимо, чтобы понять ту опасность, в которую попал бы мир протестантизма, если б он на самом деле позволил ненависти женевских фанатиков погнать себя к ужасам новой инквизиции, а также чтобы оценить смелость тех мужественных и разумных людей, которые с риском для своей жизни выступили против zelотов, одержимых маниакальной мыслью об опасности еретиков.

Ведь для того, чтобы «обезвредить» идею терпимости, де Без в своем памфлете требует: каждого сторонника терпимости, каждого защитника «беллианства» надо считать отныне «врагом христианской религии» и, следовательно, как еретика — казнить огнем. «К каждому из них относится тот пункт тезиса, который я здесь выдвигаю: власти должны карать и отрицающего Бога, и еретика». А чтобы Каstellio и его друзья знали, что ожидает их, если они и впредь в соответствии со своими убеждениями будут защищать гонимых, де Без грозит кулаком — ни мнимое место издания, ни псевдоним «не спасет вас от преследований, ибо каждый знает, кто вы такие и каковы ваши намерения... заранее предостерегаю вас, Беллиус и Монфор, и всю вашу клику».

* * *

И действительно, только кажется, что в пасквиле де Беза академически обсуждается богословский вопрос; истинный смысл пасквиля — в этой угрозе. Ненавистным защитникам духовной свободы следует, наконец, знать, что любыми своими дальнейшими призывами к человечности они ставят на карту свою жизнь. Себастьяна Каstellio, этого отважнейшего человека, де Без провокаторски обвиняет в трусости, чтобы тот потерял осторожность. «Он, — издевается де Без, — который всегда старается показать себя смелым и отважным в этой книге, которая только и говорит что о сострадании и милосердии, выказывает свою боязливость, свою трусость, ведь он решился выступить, лишь хорошенько замаскировавшись».

Может быть, он думает, что Кастеллио побоится назвать себя и признаться в авторстве; но Кастеллио принимает вызов. Этот страстный борец за мир вынужден выйти на открытый бой именно потому, что женевская ортодоксия хочет поднять свой недостойный поступок до уровня догмы, распространить его в повседневной практике. Он почувствовал, что для дела наступил решительный час. Трибунал человечества именно сейчас должен вынести свое окончательное решение по делу Кальвина, убившего Сервета, иначе от пламени костра на площади Шампель вспыхнут сотни, тысячи костров и то, что было единичным убийством, станет принципом, превратится в окаменевшую формулировку закона.

Решительно откладывает Кастеллио свою литературную, свою научную работу, чтобы написать «J'accuse»* своего столетия, чтобы составить обоснованное обвинение Жана Кальвина в религиозном убийстве Мигеля Сервета. И это публичное обвинение — «Contra libellum Calvinii»**, направленное против одного, конкретного человека, благодаря страстности и высокому моральному началу, заложенным в нем, становится полемическим произведением колоссальной силы: закон не должен навязывать свою волю слову, догма не имеет права подминать под себя образ мышления индивидуума, свободно-рожденной совести не должно угрожать презренное насилие.

* * *

Кастеллио много лет знает своего противника, знает и его методы. Любое нападение на свою личность Кальвин всегда истолковывает как нападение на «учение», на религию и даже на Бога. Поэтому с самого начала Кастеллио уточняет, что в своем сочинении «Contra libellum Calvinii» он не станет ни защищать, ни осуждать тезисы Сервета, не будет вдаваться в религиозные или экзегетические вопросы и что единственная задача его сочинения — обвинение одного человека, а именно

* «Я обвиняю» (фр.).

** «Против книги Кальвина» (лат.).

Жана Кальвина, убившего другого человека — Мигеля Сервета.

С твердым намерением не терпеть со стороны своего противника никаких софистических передержек, он, словно юрист, во вступлении ясно излагает *causa* — дело, о котором будет говорить. «Жан Кальвин, — так начинает он свое обвинительное заключение, — наслаждается нынче большим почетом, и я желал бы ему еще большего авторитета, если бы видел, что его учение проникнуто милосердием. Но последний поступок Кальвина иначе как кровавой казнью не назвать; он, этот поступок, несет страшную угрозу великому множеству верующих. Ненавидя кровопролитие — разве не должен весь мир делать то же самое? — я хочу с Божьей помощью раскрыть перед всем миром его намерения и хотя бы немногим из тех, кого он склонил к своим взглядам, объяснить их заблуждения.

27 октября прошедшего 1553 года в Женеве испанец Мигель Сервет под давлением Кальвина, пастора тамошней церкви, был сожжен за свои религиозные убеждения. Эта казнь вызвала сильное возмущение, особенно в Италии и Франции, и, как ответ на эти протесты, Кальвин только что выпустил книгу, содержащую гнуснейшее извращение фактов, предназначенных для оправдания ее автора и для того, чтобы показать, что Сервет заслужил смертную казнь. Эту книгу Кальвина я рассмотрю критически. Пожалуй, Кальвин по своей привычке назовет еще меня учеником Сервета, но я ни в коем случае никого не хочу вводить в заблуждение. Я защищаю не тезисы Сервета, нет, я нападаю на ложные тезисы Кальвина. Дискуссию относительно крещения, триединства и других подобных им религиозных вопросов я полностью оставляю в стороне, у меня нет и книг Сервета, так как Кальвин сжег их, и я даже не знаю, какие идеи Сервет в них защищал. Я покажу лишь те заблуждения Кальвина, которые не связаны с подобными принципиальными различиями в религиозных взглядах, и каждый увидит, что представляет собой этот проливший кровь человек. Я не буду вести себя по отношению к нему так, как он вел себя по отношению к Сервету, которого

сначала заживо сжег с его книгами, а потом, когда убил его, еще и предал память о нем оскорблениям. Если противник Сервета, физически уничтожив и автора книги, и саму книгу, имеет смелость отсылать нас к этой книге, из которой цитирует целые страницы, то это подобно тому, как если бы поджигатель, сжегши дотла дом, настоятельно просил нас посмотреть убранство в некоторых комнатах этого сожженного им дома. Что касается нас, мы никогда не сожгли бы ни автора, ни его произведения. Книгу, с которой мы ведем борьбу, может прочесть всякий, она уже дважды издана — на латинском и французском языках, — а для того, чтобы не было никаких трудностей при чтении моей книги, каждый параграф моего обвинения будет пронумерован в соответствии с нумерацией книги Кальвина и мои ответы на эти параграфы будут помечены теми же номерами».

Вести дискуссию более честно, пожалуй, и невозможно. Кальвин опубликовал книгу, в которой однозначно изложил свою точку зрения, и Каstellio пользуется этим доступным всем документом, как следователь — записями протоколов допроса обвиняемого. Слово за словом переписывает он еще раз всю книгу Кальвина, чтобы никто не мог утверждать, что он как-то искажил или изменил мнение своего противника; и чтобы заранее устранить у читателя подозрение, что он намеренными сокращениями извратил текст Кальвина, он нумерует каждую фразу Кальвина. Этот второй процесс по делу Сервета ведется, следовательно, значительно более строго, более справедливо, чем велся первый процесс в Женеве, когда обвиняемый был брошен в сырой подвал и ему было отказано во всякой защите. Свободно, на виду у всего гуманистического мира должно быть вынесено решение по causa Сервета.

Факты очевидны и бесспорны. Приговоренный к смерти по указанию Кальвина женевским магистратом, охваченный пламенем костра, Сервет не признался в приписываемых ему преступлениях и, умирая в ужасных муках, кричал о своей невинности. И Каstellio задает вопросы: какие же преступления, собственно, Сервет совершил? Как смел Жан

Кальвин, облеченный лишь духовной, а не светской властью, передать магистрату рассмотрение чисто богословских вопросов? Имел ли женеvский магистрат право приговаривать Сервета к смерти за эти якобы преступления? И наконец, в соответствии с каким авторитетом и на основании какого закона объявлен смертный приговор этому иностранному богослову?

Для того чтобы ответить на первый вопрос, Каstellio исследует аргументы Кальвина, изложенные в «Защите истинной веры и триединства против ужасного еретика Сервета», чтобы установить, в каких, собственно, преступлениях он обвиняет Сервета. И не находит никакой иной вины, кроме того, что, по представлениям Кальвина, Сервет «по необъяснимой причине дерзко извратил Евангелие и впал в предосудительные новшества». Кальвин, следовательно, обвиняет Сервета не в чем ином, как в самостоятельном, самовольном изложении Библии, в том, что Сервет пришел к выводам, отличным от тех, к которым пришел в своем вероучении он, Кальвин.

На это обвинение Каstellio сразу же отвечает. Был ли Сервет единственным, кто в рамках Реформации пришел к подобным своевольным толкованиям Евангелия? И кто решится утверждать, что этим он погрешил против истинного смысла нового учения? Не было ли право на индивидуальное толкование Библии вообще основным требованием Реформации, и что иное сделали вожди евангелической церкви, кроме того, как записали эти новые толкования, облекли их словами? И не Кальвин ли со своим другом Фарелем были самыми смелыми, самыми решительными при этой перестройке, обновлении церкви, причем «он, Кальвин, не только предался этим чрезмерным новшествам, он даже принудил общину принять их и всем показал, что противоречить ему опасно. За десять лет он *de facto* ввел в христианское вероучение новшеств больше, чем католическая церковь — за шесть столетий»; кто-кто, а уж Кальвин в первую очередь как самый смелый среди реформаторов не имеет права называть преступлением новое толкование Библии в протестантской среде, не имеет права никого осуждать за него.

Но, исходя из собственной непогрешимости, Кальвин признает лишь свое мнение правильным, мнение же других — ложным. И Кастеллио тотчас же задает свой второй вопрос: кто дал Кальвину право судить о том, что истинно и что ложно? «Всех людей духа, не поддерживающих его доктрину, Кальвин полагает впавшими в заблуждение, оказавшимися в плену ложных мыслей. Поэтому о вопросах веры он никому не дает права что-либо писать или говорить и отказывает каждому в праве считать верными высказанные им мнения. Но Кастеллио может согласиться с тем, что человек или какое-либо сообщество людей могут сказать: только наша истина — истинна, все другие истины — заблуждение. По Кастеллио, все истины, и особенно религиозные, многозначны и поэтому уязвимы. «Следовательно, самонадеянностью было бы спорить о тайнах, принадлежащих одному лишь Богу, полагая, что мы осведомлены о его скрытых от всех планах, высокомерием было бы делать вид, что мы знаем о том, что принципиально знать не можем, и морочить этим утверждением людям головы».

С сотворения мира все беды исходят от доктринеров, нетерпимо объявляющих свои мнения, свое мировоззрение единственно истинным. Только эти фанатики стандартного мышления и стандартного образа действий своим упрямым воинственным задором вносят в мир раздор, сеют смуту на земле и вместо естественного сосуществования идей насаждают взаимный антагонизм, смертоносные распри. И Кастеллио обвиняет Кальвина в подстрекательстве и духовной нетерпимости. «Все секты строят свои религии по слову Божьему, и каждая секта считает свою религию истинной. По Кальвину, следовательно, каждая секта должна преследовать другие секты. Кальвин, разумеется, утверждает, что его учение истинно. Но другие секты говорят о своем учении то же самое. Он говорит: другие заблуждаются; но другие утверждают то же о нем. Кальвин хочет быть судьей; другие — тоже. Можно ли при этом прийти к решению?»

И кто поставил Кальвина верховным судьей над всеми, кто

дал ему исключительное право приговаривать к смертной казни несогласных с ним? Что оправдывает его монополию суда? То, что ему принадлежит слово Божье? Но ведь другие утверждают, что слово Божье принадлежит им. А может, то, что его учение — бесспорно? Бесспорно, но в чьих глазах? В его собственных, в глазах Кальвина? Зачем же он пишет тогда так много книг, если та истина, которую он возвещает, так истинна, так очевидна? Почему не написал он ни одной книги, чтобы доказать, что убийство или прелюбодеяние являются преступлением? Да потому, что это всем давно известно. Если Кальвин действительно проник во все духовные истины и раскрыл их, почему бы ему не дать немного времени и другим, чтобы и те поняли их? Почему он сразу же их подавляет, лишает возможности узнать эти истины?»

Этим рассуждением устанавливается главное и решающее: в духовных и богословских вопросах Кальвин присвоил себе роль судьи, роль, на которую он не имел права. Если он, Кальвин, считал мнение Сервета неправильным, то его задачей было бы разъяснить Сервету его заблуждения и обратить на путь истины. Но вместо того, чтобы по-доброму обсудить спорный вопрос, он тотчас же применил насилие. «Твоим первым доводом в споре было тюремное заключение, ты кинул Сервета в темницу, и из участия в процессе ты исключил не только всех друзей Сервета, но и всех, кто не был его противником».

Кальвин использовал старый, вечный метод спора, которым всегда пользуются доктринеры, когда дискуссия становится им неприятна: себе затыкают уши, а другим — рты; но то, что человек прячется за цензуру, со всей очевидностью свидетельствует о сомнении человека в своем учении и о сомнительности этого учения. И как бы предвидя свою собственную судьбу, Кастеллио призывает Кальвина к моральной ответственности: «Я спрашиваю тебя, господин Кальвин, если б у тебя был процесс по наследованию имущества и тебе наперед было бы известно, что судья даст говорить только одному твоему противнику, тебе же запретит вымолвить даже слово, не

восстал ли бы ты против этой несправедливости? Почему же с другими ты поступаешь так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой другие? Мы решаем вопросы веры, почему же ты затыкаешь нам рты? Не боишься ли ты, что дело твое само не может постоять за себя? Не боишься ли ты, что тебя победят и ты потеряешь власть диктатора?»

Таким образом, принципиальные пункты обвинительного заключения против Кальвина уже сформулированы. Опираясь на свою государственную власть, он взял на себя смелость единолично решать религиозные, моральные и светские вопросы. Этим самым он присвоил себе то Божеское право, которым человеку дана голова для самостоятельного мышления, уста — для речи, а совесть — для решающего морального суждения; а посему он совершил преступление против всех человеческих прав тем, что преследовал человека как подлого преступника только за то, что мнение этого человека отлично от его мнения.

* * *

Кастеллио ненадолго прерывает процесс, чтобы вызвать свидетелей. Повсеместно известный богослов должен дать показания против проповедника Жана Кальвина, должен подтвердить, что любое государственное преследование по чисто духовным деликтам воспрещено Божескими законами. Но поразительное дело, этот большой ученый, которому Кастеллио дает слово, не кто иной, как сам Кальвин. Этот свидетель втягивается в дискуссию против своей воли. «Установив, что все запутано, Кальвин в своей книге спешит обвинить других, чтобы не заподозрили его самого. Но очевидно, что эту неясность, эту путаницу в дело внесло только его поведение преследователя. То, что он приговорил Сервета к смертной казни, вызвало раздражение не только в Женеве, но и во всей Европе, все страны пришли в возбуждение; теперь же вину за то, что он совершил сам, он пытается свалить на других. Но в те времена, когда он сам принадлежал к страдающим от пресле-

дований, он говорил совсем другое; тогда он исписал много страниц против подобных преследований. И чтобы никто в этом не усомнился, я приведу здесь одну страницу из его книги «Наставление».

И Кастеллио цитирует слова «Наставления», слова Кальвина прошлых лет Кальвину сегодняшнему, слова, за которые он теперь бы заставил сжечь автора. Ибо ни одним словом этот прежний Кальвин не отклоняется от тезиса, с которым Кастеллио сейчас выступает против Кальвина сегодняшнего; в первом издании «Наставления» сказано буквально следующее: «Преступно убивать еретиков. Предать их огню и мечу означает полностью отрицать гуманизм». Правда, едва придя к власти, Кальвин самым поспешным образом вычеркнул это обращение к гуманизму. Во втором издании «Наставления» ясное, решительное, однозначное звучание этой фразы исчезло; подобно Наполеону, который, став консулом, а затем императором, чрезвычайно старательно уничтожал якобинский памфлет, написанный им в юности, Жан Кальвин, едва из преследуемых став преследователем, захотел, чтобы это обращение к снисхождению навсегда исчезло из его книги.

Но Кастеллио не дает Кальвину убежать от себя. Слово в слово повторяет он строчки из «Наставления» и указывает на них: «Пусть все сравнят это первое заявление Кальвина с его сегодняшними сочинениями и делами и пусть видят, что его настоящее и его прошлое отличаются друг от друга так, как свет отличается от тьмы. Добившись казни Сервета, он желает теперь, чтобы погибли все люди, мировоззрение которых отличается от его мировоззрения. Он попирает им же самим установленные законы и требует смерти для этих людей... Следует ли удивляться теперь, что Кальвин толкает к смерти других из страха, что они раскроют его непостоянство, его изменчивость, увидят его истинное лицо! Он боится ясности потому, что вел себя очень скверно».

Но Кастеллио нужна именно эта ясность. Без всяких неопределенностей Кальвин должен теперь наконец объяснить миру, на каких основаниях он, в прошлом защитник свободы

мировоззрения, приказал сжечь на площади Шампель Мигеля Сервета. Кастеллио неутомимо продолжает слушание дела.



С двумя вопросам уже покончено. Факты показали, что, во-первых, Мигель Сервет допустил лишь духовное инакомыслие и, во-вторых, что отклонение от общепринятого толкования Библии никогда нельзя рассматривать как обычное преступление. Почему же, спрашивает Кастеллио Кальвина, проповедник церкви привлек светские власти для искоренения мнения по чисто теоретическому и абстрактному вопросу, которое не устраивает его, Кальвина? Духовные вопросы должны решаться лишь в сфере духовного. «Если бы Сервет напал на тебя с оружием, ты имел бы право призвать на помощь Совет. Но так как его оружие — перо, почему же ты пошел против его произведений с огнем и мечом? Так ответь же, почему ты прикрылся магистратом? Государство никакого авторитета в вопросах совести не имеет, это не дело магистрата — защищать богословское учение, мечу нечего делать там, где царят вера и учение — сфера борьбы ученых. Магистрат должен защищать ученых так же, как ремесленников, рабочих, врача или бюргера, если им наносят физический или материальный ущерб. Вот если бы Сервет захотел убить Кальвина, тогда магистрат, защищая Кальвина, поступил бы правильно. Но так как Сервет боролся лишь своим словом, лишь доводами разума, с ним бороться следовало бы тоже только словами и доводами разума».

Убедительно отклоняет Кастеллио любую попытку Кальвина оправдать свой поступок высокими, божественными заповедями; для Кастеллио нет такой Божеской, христианской заповеди, которая была бы способна оправдать убийство человека. Если Кальвин в своем сочинении пытается опереться на закон Моисея, который требует, чтобы еретиков истребляли огнем и мечом, Кастеллио резко и яростно возражает: «Но как предполагает Кальвин следовать во имя Бога этой заповеди?

Не придется ли ему разрушать в городах жилье, дома, уничтожать добро людей? Может, он считает, что если ему достанет военных сил, то надо напасть на Францию, на все другие государства, которые он считает еретическими, сровнять города с землей, уничтожить всех мужчин, женщин, детей, вплоть до плода в материнском чреве?»

Когда Кальвин в свое оправдание говорит, что, если лишишься мужества отрубить больной член, обязательно погубишь христианское учение, то Кастеллио возражает ему: «Отделение неверующих от церкви — дело пастырское и означает лишь, что еретика следует отлучить от церкви и изгнать из общины, а не лишать жизни». В Евангелии не высказывается требование к такой нетерпимости. «Не скажешь ли ты напоследок, что именно Христос учил тебя сжигать людей», — бросает он в ответ Кальвину, писавшему апологию своему гнусному поступку «с кровью Сервета на руках». И поскольку Кальвин все же с упорством настаивает на том, что он вынужден был сжечь Сервета, чтобы защитить учение, чтобы защитить слово Божье, поскольку он вновь и вновь, как все насильники, пытается объяснить свое насилие сверхличными, высшими интересами, Кастеллио бросает ему бессмертные слова, слова, словно молния, освещающие мир, погруженный в темноту жестокого века: «Убить человека никогда не означает защитить учение, нет, это означает лишь одно — убить человека. Когда женева казнили Сервета, они не защитили учение, они принесли в жертву человека; но, сжигая человека, в своей вере не утвердишься, в своей вере можно утвердиться, лишь дав сжечь себя ради этой веры».

* * *

«Убить человека никогда не означает защитить учение, нет, это означает лишь одно — убить человека» — великолепные в своей истинности и ясности вечные слова. Этой словно из бронзы отлитой фразой Себастьян Кастеллио на все времена вынес приговор всем преследователям свободной мысли.

Какой бы повод ни был инсценирован, какой бы повод ни был выдвинут — логический, этический, национальный или религиозный, — чтобы оправдать убийство человека, ни одно из этих оснований не снимает личной ответственности с человека, который совершил или приказал совершить преступление. В кровавых деяниях всегда виновен человек, и никогда не оправдать убийство мировоззренческими соображениями.

Истины распространяются, но принудительному внедрению они не поддаются. Ни одно учение не станет более правильным, ни одна истина — более истинной, если носители их будут горячиться и кричать о них на каждом углу; ни одну истину нельзя возвысить насильственной пропагандой, нельзя сделать более значительной суть какого-либо учения. Более того, учению, мировоззрению не сохраниться, если оно будет преследовать людей, которые противятся ему из-за присущего только этим людям образа мыслей. Убеждения глубоко личны и никому не подвластны; они не поддаются никакой регламентации, никаким законам, и любая истина, даже если она тысячу раз будет взывать к Богу и именовать себя святой, никогда не вправе погубить святыню — Богом созданную жизнь.

И если Кальвину, догматику, человеку религиозной идеи, безразлично, как ради идеи, которую он считает непреходящей, гибнут бранные люди, то для Кастеллио каждый человек, страдающий и умирающий за свои убеждения, — невинная жертва. Но принуждение в вопросах мировоззрения для него не только преступление против духа, но и напрасные усилия. «Никого нельзя принуждать! Ибо принуждение никогда еще не делало человека лучше. Те, кто хочет принудить людей к какой-либо вере, поступают столь же противно здравому смыслу, как человек, насильно запихивающий больному еду палкой в рот». Поэтому надо раз и навсегда покончить с угнетением инакомыслящих! «Дай, как требовал святой Петр, каждому право говорить и писать, и скоро поймешь, как много сможет сделать на земле человек, освобожденный от принуждения».

Все факты проверены, на все вопросы дан ответ; и Себасть-

ян Кастеллио от имени оскорбленного человечества выносит приговор — и История подписывает его. Убит человек по имени Мигель Сервет, *étudiant de la Saint Esriture**, — обвиняются в этом убийстве Кальвин, как инициатор процесса, и магистрат города Женева, как исполнительная власть. Все обстоятельства дела исследованы с точки зрения морали, и установлено: обе инстанции, духовная и светская, превысили свои полномочия. Магистрат виновен в злоупотреблении властью, «ибо он некомпетентен выносить решение по духовным деликтам». Но еще более виновен Кальвин, который принудил магистрат вынести это решение. «По твоим показаниям и с твоим участием магистрат убил человека. Магистрат же не может выносить решение по этому вопросу, как слепой не может судить о цветах и оттенках».

Кальвин повинен вдвойне: как организатор и как соучастник этого мерзкого преступления. Безразлично, по каким мотивам бросил он в огонь этого человека, его поступок был преступлением. «Либо ты приказал казнить Сервета за то, что он думал то, что говорил, либо за то, что в соответствии со своими убеждениями он говорил то, что думал. Если ты убил его за то, что он выразил словами свои убеждения, то ты убил его за истину, ибо истина заключается в том, что человек говорит то, что думает, даже если он и заблуждается. Если же ты убил его просто лишь за ложные взгляды, то твой долг был прежде всего — помочь ему избавиться от заблуждения или же с текстом Библии в руках доказать, что следует казнить всех тех, кто заблуждается». Кальвин же убил, незаконным образом устранил своего противника; поэтому он виновен, виновен, виновен в преднамеренном убийстве...

* * *

Виновен, виновен, виновен — трижды на все времена, сурово, угрожающе, в сопровождении труб выносится приговор; последняя, высшая инстанция морального суда — Человеч-

*Исследователь Священного писания (фр.).

ность вынесла решение. Но следует ли спасти честь убиенного, если никакое возмездие, которое обрушится на голову убийцы, уже не спасет его жертву? Это необходимо, чтобы защитить живых и, заклеив акт бесчеловечности, предотвратить бесчисленное количество других таких же актов. Не только человек, Жан Кальвин, должен быть осужден, должна быть осуждена также и его книга, в которой излагается ужасная доктрина террора и насилия. «Неужели ты не понимаешь, — нападает Каstellлио на Кальвина, — куда ведет твоя книга, твои поступки? Есть многие такие, которые утверждают, будто они защищают дело Бога, и теперь они, если захотят убивать людей, будут ссылаться на тебя, на твою книгу. Следуя твоим роковым путем, они, как и ты, запятнают себя кровью. Подобно тебе, они будут казнить всех, кто имеет иное мировоззрение».

Не фанатики сами по себе опасны, опасен заразный дух фанатизма; следовательно, не только жестоких, не терпящих возражений, кровожадных людей должен одолеть человек духа, но и любую идею, если она террористична по своему существу, ибо — и в этом было пророческое предвидение в начале столетней религиозной войны — «даже самые свирепые тираны не прольют так много крови своими пушками, сколько пролили вы из-за ваших кровожадных заклинаний и прольете в ближайшее время, и так будет до тех пор, пока Бог не пожалеет род людской и не откроет глаза князьям и властям для того, чтобы они, наконец, отказались от своих кровожадных деяний».

И поскольку Себастьян Каstellлио при виде страданий гонимых и преследуемых больше не может оставаться равнодушным в своем воззвании к терпимости, он взывает к Богу, в отчаянии моля его, чтобы он ниспослал на землю больше человечности; он посылает ужасные проклятия всем, кто своей упрямой ненавистью нарушает мир на земле; громами и молниями благороднейшего гнева обрушивается он в конце книги на кровожадных zelотов. «Этот позор религиозного преследования бушевал уже во времена Даниила, и так как

ничего уязвимого в его жизни найти было невозможно, враги его сказали: мы схватим его за убеждения. Именно так поступили и здесь. Если врага невозможно схватить за нарушение им моральных норм, прибегают к «учению» и поступают при этом очень ловко; поскольку власти в этих вопросах не имеют своего мнения, их легко убедить в том, что требуется золотам. Таким вот образом подавляют слабейших, тогда как в соответствии со святым учением их следовало бы восхвалять. Ах, это ваше «святое учение» — какое отвращение вызовет оно у Иисуса в день Страшного суда! Он потребует от вас отчета о вашем образе жизни, а не об «учении», и если вы ему скажете: «Боже, мы были с Тобой, мы учили, как Ты повелел нам», — он ответит вам: «Прочь отсюда, преступники!» О слепцы, о вы, ослепленные, о кровожадные, неисправимые лицемеры! Когда же, наконец, откроется вам истина, когда земные судьи перестанут по вашему произволу слепо проливать человеческую кровь!»

НАСИЛИЕ РАСПРАВЛЯЕТСЯ С СОВЕСТЬЮ

Мы мало знаем памфлетов, направленных против деспотии духа, второго же такого памфлета, как книга Кастеллио «*Contra libellum Calvini*», написанного с вдохновенной страстностью, с огромной силой убежденности в истинности защищаемых тезисов, возможно, не существует; правдивость книги, ее ясность должна была бы даже самым равнодушным людям своего времени показать, что свобода мысли протестантизма, а с ним и европейского духа будет утрачена навсегда, если человечество не сумеет защититься от женевской инквизиции мнений. Поэтому, казалось бы, следовало ожидать, что весь мир гуманистов единодушно присоединится к безупречным в своей убедительности аргументам обвинения, составленным Себастьяном Кастеллио. Манифест Кастеллио — смертельный удар по непримиримой ортодоксии Кальвина;

кто этим ударом повален, тому, казалось бы, уже не подняться, с ним, казалось бы, покончено навсегда.

В действительности же ничего подобного не происходит. Блестящий памфлет Кастеллио, его пламенный призыв к терпимости не оказал ни малейшего влияния на реальный мир, причем по самой простой и ужасной причине: книга «*Contra libellum Calvinii*» не была издана. По указанию Кальвина книга, не успев разбудить совесть Европы, была задушена цензурой.

В последний момент — уже в самых близких к автору кругах Базеля — когда книга ходила в списках и когда она была уже подготовлена к печати, женеvские властители постарались, доносчики пронюхали, какую смертельную атаку на их авторитет готовит Кастеллио. И они ответили молниеносным ударом. Превосходство государственной машины, вступающей в единоборство с борцом-одиночкой, в подобных обстоятельствах проявляется с ужасающей силой. Подвластная Кальвину цензура позволяет ему беспрепятственно защитить свой бесчеловечный поступок — мучительное сожжение заживо человека, мыслящего иначе, чем он; Себастьяну Кастеллио же, от имени человечности выступившему с протестом против этой жестокой акции, в слове отказано.

У города Базеля, собственно, нет никаких оснований запретить литературную полемику свободному гражданину, преподавателю его университета, но Кальвин всегда тактически искусен в практике, он ловко пускает в ход все средства. В бой вводится артиллерия дипломатии; не Кальвин лично, не частное лицо, а город Женева поднимает *ex officio** жалобу против нападков на «учение». И эта жалоба ставит Совет города Базеля и его университет перед мучительным выбором — либо ущемить права свободного писателя, либо вступить в дипломатический конфликт с могучим союзным городом, и, как всегда в подобных случаях, насилие одерживает победу над моралью. Господа советники предпочитают

*Здесь: официально (*лат.*).

пожертвовать одним человеком и запрещают публикацию любых, не строго ортодоксальных, сочинений. Тем самым предотвращается выход в свет книги Кастеллио «*Contra libellum Calvinii*», и Кальвин может ликовать: «Какое счастье, что собаки, которые так облаивают нас, не могут укусть» (*Il va bien que les chiens qui aboient derrière nous ne nous peuvent mordre*).

Подобно тому как Сервета заставил молчать костер, Себастьяна Кастеллио заставила стать немым цензура; еще раз на земле «авторитет» был спасен с помощью террора. У Кастеллио перебита рука, которой он держал свое оружие, он не может более писать и, что более несправедливо, более ужасно, — он не может защищаться, когда торжествующий противник нападает на него с удвоенной яростью. Пройдет едва ли не сто лет, прежде чем «*Contra libellum Calvinii*» будет издана: ужасной истиной оказались пророческие слова Кастеллио: «Почему же с другими ты поступаешь так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой другие? Мы решаем вопросы веры, почему же ты затыкаешь нам рты?»

Но против террора право бессильно. Там, где царит насилие, побежденный не может ни к кому апеллировать, там террор — первая и последняя инстанция. Трагически разочарованный Кастеллио должен примириться, снести бесправие, но для всех тех времен, в которые насилие попирает дух, остается утешительным суверенное презрение побежденных к насилию. «Ваши слова и ваше оружие присущи той деспотии, о которой вы грезите, деспотии — этого не духовного, а политического господства, основанного не на любви Бога, а на принуждении. Я не завидую вашей мощи и вашему оружию. У меня другое оружие — истина, чувство невинности и имя Того, Кто помогает мне и дает мне милость. И даже если на какое-то время мир, этот слепой судья, и подавит истину, то все равно никто над истиной власти не имеет. Приговор мира, убившего Христа, мы не принимаем, мы не подвластны суду, на котором всегда выигрывают только насильники. Истинное Государство Божье — не на этом свете».

Еще раз террор оказался прав, причем особенно трагическим образом: власть Кальвина после содеянного им гнусного поступка не пошатнулась, но — что удивительно — усилилась. Бесполезно искать у Истории набожную мораль и трогательную справедливость хрестоматий! Следует знать и довольствоваться тем, что действия Истории, этой земной тени мирового духа, ни моральны, ни аморальны. Она не наказывает за преступления, не вознаграждает за добро. А поскольку она в конечном счете опирается не на право, а на насилие, она все внешне положительное чаще всего приписывает людям власти, а безудержная смелость и жестокие решения, принимаемые в битве времени, служат преступникам и злодеям скорее на пользу, чем во вред.

И Кальвин, обвиненный в жестокости, понял, что спасти его может только одно — еще большая жестокость, еще более беспощадное насилие. Всегда действует один и тот же закон, в соответствии с которым однажды применивший насилие должен снова к нему прибегнуть, начавший с террора обязательно должен его непрерывно усиливать. Спротивление, оказанное Кальвину во время процесса Сервета и после него, еще больше укрепило его в уверенности, что для сохранения авторитарного господства нельзя ограничиваться подавлением и запугиванием лагеря противника, действуя лишь в рамках закона.

Первоначально Кальвин довольствовался тем, что легальными путями парализовал республиканское меньшинство женевского Совета, постепенно и незаметно изменив в свою пользу порядок выборов. В каждом общинном Совете заседали прибывшие из Франции протестантские эмигранты, в моральном и материальном отношениях зависящие от Кальвина, ставшие женевскими гражданами и поэтому включенные в списки избирателей; таким образом, настроение и мнение Совета стали постепенно склоняться все более и более в пользу Кальвина, все должности магистрата заняли слепо подчинен-

ные ему люди, и старые республиканские патриции оказались полностью оттесненными от власти.

Но вскоре патриоты-женевцы заметили эту тенденцию к увеличению засилья иностранцев; поздно, поздно демократы, проливавшие некогда кровь за свободу Женевы, начинают проявлять беспокойство. Они тайно встречаются, они советуются, как защитить последние остатки их старой независимости от властолюбия пуритан. Растет недовольство. Дело доходит до горячих споров между старожилами и новыми гражданами города и, наконец, — до уличной драки, впрочем, достаточно безобидной, — в ней пострадало от брошенных камней всего два человека.

Но Кальвину очень нужен был этот повод. Теперь он может наконец осуществить давно запланированный им государственный переворот, дающий ему в руки всю полноту власти. Небольшая уличная драка немедленно раздувается до размера «ужасного заговора», который удастся расстроить благодаря «милости Божьей» (в подобных случаях всегда вызывает отвращение лживое морализирование и ханжеское воздевание очей к небу). Вождей республиканской партии, не имевших никакого отношения к этой потасовке в пригороде Женевы, немедленно хватают и пытаются столь жестоко, что они говорят все, что требуется диктатору для его цели: планировалась варфоломеевская ночь, Кальвина и его приверженцев предполагали убить, хотели открыть город иностранным войскам. На основании этих добытых неопишуемыми пытками «признаний» о якобы задуманном «восстании» и о «государственной измене» палач может наконец приступить к своей работе. Казнят всех, кто оказывал Кальвину хоть малейшее сопротивление, если они вовремя не успели бежать из Женевы. Одна-единственная ночь потребовалась для того, чтобы в Женеве осталась одна-единственная партия — партия кальвинистов.

После столь полной победы, после того как с женевскими противниками покончено, Кальвин, казалось бы, может успокоиться и проявить великодушие. Но, по Фукидиду, Ксено-

фонту и Плутарху, мы знаем, что во все времена олигархи всякий раз после победы становятся все более и более нетерпимыми. Трагедия всех деспотов в том, что они боятся независимого человека даже тогда, когда сделали его политически бессильным и заткнули ему рот. Им мало того, что он молчит и должен молчать. У диктатора вызывает возмущение сам факт существования такого человека, который не хочет и не может согласиться с существованием деспотии, который не включается активно в толпу ее льстецов и слуг. И с многократно усиленной энергией Кальвин всю свою страстность направляет на борьбу с Себастьяном Кастеллио — единственным своим моральным противником, ведь со всеми своими политическими противниками Кальвин уже покончил после того ужасного государственного переворота.

Единственная трудность состоит в том, чтобы выманить миролюбивого ученого из надежного укрытия — молчания. Кастеллио устал от открытой борьбы. Гуманистические натуры, натуры, подобные Эразму, не способны долгое время быть борцами. Фанатическое упрямство людей, одержимых какой-либо идеей, и их яростная охота за прозелитами представляются человеку духа недостойными. Они объявляют миру свою истину, но, едва сделав свои взгляды достоянием всех, считают излишним вновь и вновь пропагандистски убеждать мир в том, что они — единственные носители истины.

Кастеллио сказал свое слово по делу Сервета, принял на себя вопреки всем опасностям защиту преследуемых, выступил против террора, насилующего совесть, совершил все это более решительно, чем любой другой человек его времени. Но часы Истории не пробили еще для его свободного слова, он видит, что на этом отрезке времени насилие победило. И он решает тихо ждать подходящего случая, когда можно будет принять участие в решающей борьбе между терпимостью и нетерпимостью. Глубоко разочарованный, но по-прежнему убежденный в своей правоте, он возвращается к своей работе. Наконец-то университет предлагает ему кафедру, наконец-то приближается к концу великое дело его жизни — перевод

Библии на два языка. Два года, 1555-й и 1556-й, Кастеллио как полемик молчит, лишившись своего оружия — слова.

Но от своих соглядатаев Кальвин и его клеветы знают, что Кастеллио как гуманист выступает в узком университетском кругу, и, если его лишили права писать, он продолжает говорить, и крестоносцы нетерпимости с ожесточением замечают, что ненавидимое ими требование терпимости и неопровержимые аргументы Кастеллио против догмата предопределения находят у студентов все большее и большее сочувствие. Человек высоких моральных принципов, Кастеллио уже одним своим присутствием оказывает влияние на окружающих, создавая вокруг себя некую сферу убеждений; и это его влияние не ограничивается воздействием на узкий круг близких ему людей, нет, словно волны, оно распространяется незаметно и неудержимо далеко во все стороны. Кастеллио, следовательно, опасен, он не желает смириться, влияние его необходимо пресечь.

И вот, чтобы опять вовлечь в споры о еретиках, ему ставится с большой хитростью ловушка: один из его университетских коллег добровольно берет на себя роль провокатора. В очень дружелюбном письме он обращается к Кастеллио с просьбой, чтобы тот высказал свои взгляды на догмат о предопределении. Кастеллио соглашается на открытое выступление, но уже при первых его словах один из слушателей быстро вскакивает со своего места и обвиняет его в ереси. Сразу поняв, что ему хотят навязать спор для того, чтобы подготовить материал для последующего обвинения в ереси, Кастеллио тотчас же прерывает свое выступление, а коллеги по университету пресекают все попытки дальнейших выступлений против него. Провокация таким образом проваливается.

Но Женева не желает так быстро отступить от намеченной ею жертвы. После провала этой низкой попытки она меняет тактику: поскольку Кастеллио не желает вступить в открытую дискуссию, его пытаются вывести из равновесия разными слухами и памфлетами. Издеваются над его переводом Библии, объявляют его ответственным за анонимные па-

сквили и листки, повсюду распространяется самая злобная клевета; как по сигналу, на него внезапно нападают со всех сторон.

Людям непредвзятым, не одержимым какими-либо религиозными идеями это чрезмерное рвение гонителей со всей очевидностью показывает, что, лишив этого большого ученого и истинно благочестивого человека возможности свободно говорить и защищаться, zeloty пойдут дальше, будут стремиться лишить его жизни. Но подлость преследователей неизбежно ведет к тому, что у преследуемого появляются друзья.

И действительно, совершенно неожиданно в защиту Кастеллио демонстративно выступает патриарх немецкой Реформации Меланхтон. И ему, как некогда Эразму, противны дикие поступки тех, кто видит смысл жизни не в примирении, не в умиротворении, а в сварах и ссорах, и вот он пишет Себастьяну Кастеллио письмо: «До сих пор я не писал тебе, так как очень уж сильно был перегружен великим множеством весьма тягостных дел, так что времени для такого рода переписки, которая, сама по себе, мне очень приятна, было у меня мало. Что меня далее удерживало, так это глубокая печаль, угнетавшая меня при виде тех ужасных недоразумений, раздирающих всех, кто выдавал себя за друзей мудрости и добродетели. Но я всегда ценил тебя за стиль твоих сочинений... И я хочу, чтобы это письмо было свидетельством моего согласия с тобой и подтверждением искренней к тебе симпатии. Пусть нас объединяет вечная дружба.

Жалуюсь не только на различия в мировоззрении, но и на лютую ненависть, с которой некоторые преследуют друзей истины, ты только умножаешь мою боль. Легенда говорит, что из крови титанов возникли великаны. Вероятно, из посевов монахов возникли новые софисты, желающие править при дворах властелинов, в семьях, в народе, которые боятся, что ученые им помешают. Но Бог знает, как спасти остатки своей паствы.

И нам следует с мудростью вытерпеть то, что мы не в состоянии изменить. Для меня мой возраст — успокоение

моей боли. В скором времени надеюсь вступить в небесную церковь, очень далекую от жестоких битв, которые так страшно сотрясают церковь здесь, внизу. Если я буду жив, я хочу поговорить с тобой о многом. Всего хорошего».

* * *

Меланхтон полагал, что его письмо послужит Каstellлио своеобразной охранной грамотой, так как копии его тотчас же разойдутся по рукам. Как предостережение, оно заставит Кальвина отказаться от преследования большого ученого. И действительно, похвальное письмо Меланхтона имело огромную силу в руках гуманистов; даже ближайшие друзья Кальвина под влиянием этого письма настаивают на прекращении преследования. Так, крупный ученый-правовед Будэн пишет в Женеву: «Ну, теперь ты видишь, как сильно осуждает Меланхтон ту озлобленность, с которой ты преследуешь этого человека, как далек Меланхтон от того, чтобы одобрять все твои нападки. Как это ты можешь одновременно почитать Меланхтона словно ангела и относиться к Каstellлио, как к второму сатане?»

Но какое заблуждение думать, что фанатика можно чему-либо научить или хотя бы унять! Парадоксально, а может, впрочем, и закономерно — охранное письмо Меланхтона оказывает на Кальвина действие как раз противоположное тому, на которое оно было рассчитано. Ибо то, что противнику Кальвина оказывают уважение, еще больше разжигает его ненависть.

Кальвин слишком хорошо знает, что эти пацифисты духа являются для его воинственной диктатуры врагами неизмеримо более опасными, чем Рим, Лойола и его иезуиты. Ведь если в отношениях с папистами всего лишь догма стоит против догмы, слово против слова, учение против учения, то здесь, в требовании Каstellлио свободы мышления, — и Кальвин это очень хорошо чувствует — под сомнение ставится основополагающий принцип его, Кальвина, мыслей и действий, идея

единого авторитета, смысл ортодоксии, а в каждой войне пацифист в твоих рядах всегда опаснее самого воинственного врага. И так как охранная грамота Меланхтона возвеличивает Кастеллио, Кальвин считает абсолютно необходимым стремиться к тому, чтобы имя того было забыто навсегда. С этого часа, собственно, начинается война, война не на жизнь, а на смерть.

То, что дело дошло до войны на истребление, подтверждает факт личного участия в ней Кальвина. Подобно тому как в деле Сервета, когда потребовался последний, решающий удар, он отодвинул в сторону свою марионетку Никола де ла Фонтена, чтобы самому схватить клинок, так и теперь его уже более не устраивает подручный — де Без. Теперь не будут обсуждаться более ни слова Библии, ни ее толкование, теперь требуется только одно — раз и навсегда покончить с Кастеллио. Подходящего основания, чтобы напасть на него, правда, пока еще нет, так как Кастеллио с увлечением вернулся к своей работе. Но когда повод отсутствует, его создают, и вот хватается первая попавшая под руку дубинка, чтобы напасть на ненавистного противника.

Предлогом для Кальвина является анонимный пасквиль, найденный его шпионами у странствующего торговца; правда, считать Кастеллио автором этого произведения никаких оснований нет, и, действительно, Кастеллио автором его не был. Но для Кальвина «*Carthaginem esse delendam*»*, Себастьян Кастеллио уничтожен, — и он использует эту не принадлежащую Кастеллио книгу в качестве предлога, чтобы самыми низкими ругательствами, самыми неистовыми проклятиями оскорбить Кастеллио как ее автора.

Памфлет Кальвина «*Columniae nebulonis cujusdam*»** — это не книга теолога, направленная против другого теолога, нет, это бурлящий яростью грязный поток: вором, негодяем, богохульником именуется в ней Кастеллио, на каждой стра-

* Карфаген должен быть разрушен (*лат.*).

** «Позорный столб некоего негодяя» (*лат.*).

ничке — ругательства, какими в обиходе не пользуются даже ломовые извозчики. Профессору Базельского университета помимо прочего приписывается даже, что тот среди бела дня воровал дрова, и вот, в опьянении ненависти, иступленный автор заключает свой неистовый *opusculum**: «Пусть уничтожит тебя Бог, сатана!»

* * *

Этот памфлет Кальвина являет собой достопримечательный пример того, как глубоко может пасть под влиянием фанатичной нетерпимости человек духа. Этот памфлет показывает одновременно, как непрофессионально ведет себя политик, если он не в состоянии обуздать свою страстность. Поняв, какой вопиющей несправедливостью является нападение на выдающегося, уважаемого ученого, совет Базельского университета снимает с Себастьяна Кастеллио запрет писать. Университет, хорошо известный ученым Европы и ценимый ими, считает несовместимым со своим достоинством, чтобы кто-либо обвинил перед всем миром его профессора в воровстве, обозвал бы его негодяем и бродягой. И поскольку не дискутируются вопросы «учения», а речь идет о низкой клевете на человека, сенат разрешает Себастьяну Кастеллио выступить с публичным ответом на пасквиль Кальвина.

Это ответное сочинение Кастеллио является образцом истинно честной и гуманистической полемики. Даже крайняя непримиримость не может отравить ненавистью этого до глубин души терпимого человека, никакая низость не в состоянии коснуться его. Какое спокойствие, какая порядочность звучит уже в самом начале книги: «Без энтузиазма вступаю я на этот путь открытой дискуссии. Насколько более желательным было бы мне обсудить с тобой спорные вопросы по-братски, в духе Христа, а не по-мужицки, с ругательствами, которые могут только повредить авторитету церкви. Но поскольку по твоей вине и по вине твоих друзей моя мечта о мирном общении

*Небольшое произведение (*лат.*).

между нами не осуществилась, я думаю, что сдержанный ответ на твои страстные нападки не будет противоречить моему христианскому долгу».

Сначала Кастеллио обращает внимание на явную бесчестность Кальвина, который в первом издании «Nebulo» открыто назвал его автором памфлета, во втором же издании — безусловно уже кем-то вразумленный — ни словом не обмолвился о его авторстве, но в то же время не проявил порядочности и не признался, что ошибочно заподозрил Кастеллио в авторстве. Резким ударом припирает Кастеллио Кальвина к стене: «Знал ты или не знал, что несправедливо приписываешь мне авторство того памфлета? Сам я не могу ответить на этот вопрос. Но либо ты свое обвинение на некоторое время оставил в силе, когда уже знал, что оно несправедливо: тогда это было с твоей стороны обманом. Либо же ты еще не знал о моей непричастности к памфлету: тогда твое обвинение было, по крайней мере, неосторожным. Как в первом, так и во втором случае твое поведение красивым не было, так как все, что ты высказываешь в своем сочинении, — неправда. Я не автор той брошюры и никогда не посылал ее для печати в Париж. Если ее распространение было преступным, то ты повинен в этом преступлении сам, так как именно ты первый сделал ее известной миру».

Сказав о несерьезности доводов, с которыми Кальвин напал на него, Кастеллио переходит к тону памфлета Кальвина, к грубости его нападок. «Ты чрезвычайно плодовит на оскорбления, и уста твои говорят от переизбытка твоего сердца. В своей латинской *libelli** именуешь ты меня богохульником, клеветником, злодеем, лающим псом, наглым, невежественным и скотоподобным существом, нечестивым погубителем Священного писания, глупцом, насмехающимся над Богом, человеком, пренебрегающим верой, бесстыдной личностью с нечестивой и извращенной душой, бродягой и *mauvais sujet***.

* Книжонке, пасквиле (*лат.*).

** Скверным человеком (*фр.*).

Восемь раз называешь ты меня негодяем (так перевожу я слово *pebulo*); все эти грязные слова ты с удовольствием выкладываешь на листах своей книги и даешь ей заглавие «Клевета негодяя», а последняя фраза твоей книги такова: «Пусть уничтожит тебя Бог, сатана!» И вся книга выдержана в одном стиле. Ужели достойно это человека апостолической строгости, христианской кротости? Горе народу, ведомому тобою, если он вдохновляется подобным образом и если действительно твои ученики подобны тебе. Меня же все эти ругательства совсем не трогают. Наступит день, и распятая Истина воскреснет, а ты, Кальвин, должен будешь дать ответ Богу за все оскорбления, которыми ты осыпал тех, за кого Христос умер. Неужели ты в самом деле не испытываешь стыда, и нет в твоей душе отклика на слова Христа: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» и «Кто же скажет брату своему «пустой человек», подлежит синедриону; а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной».

Легко, с веселой усмешкой, совершенно уверенный в своей правоте, Кастеллио разбивает основное обвинение, выдвинутое Кальвином против него, обвинение в том, что он, Кастеллио, воровал в Базеле дрова. «Это было бы, — издевается он, — действительно тяжким преступлением, конечно, при условии, если бы я его совершил. Но еще большим преступлением является клевета. Предположим, что ты прав и я действительно украл, но я украл, видимо, потому, — какой блестящий удар по учению Кальвина о предопределении — что мне было предопределено украсть свыше, ведь именно этому ты как раз учишь, за что же ты меня оскорбляешь? Не следует ли тебе сострадать мне за то, что Бог определил мне такую судьбу и не предостерег меня от воровства? Почему же ты на весь свет кричишь о моем воровстве? С тем, чтобы я в последующем воздержался от воровства? Но если я вынужден воровать, если я ворую вследствие Божеского предопределения, то ты должен отпустить мне грех в своих посланиях, поскольку этот грех тяготеет надо мной от Бога. В этом случае

мне так же невозможно было бы удержаться от воровства, как ни с того ни с сего прибавиться в росте на дюйм».

И, показав всю бессмысленность этой клеветы, Каstellлио объясняет, что же было на самом деле. Как сотни других, он во время разлива Рейна гарпуном выловил топляк, плывущий по реке, что, разумеется, было не только поступком, разрешенным законом, так как топляки везде, как известно, являются ничейным имуществом, но даже чрезвычайно поощрялось магистратами, так как при разливе плывущие бревна угрожают целостности мостов. И Каstellлио может доказать, что он, впрочем, как и другие, подобные же «воры», получил от сената города Базеля даже плату за это «воровство» — *quaternos solidos* (примерно четверть стоимости золотого), — поскольку вылавливание топляков сопряжено с риском для жизни; после этого разъяснения женевская клика никогда более не отважится на повторение этой глупой клеветы, опозорившей не Каstellлио, а Кальвина.

Бесполезно было бы Кальвину как-нибудь приукрашивать свое поведение, что-либо отрицать: в своем неистовстве желая любой ценой уничтожить политического врага, противника в мировоззренческих вопросах, Кальвин извращает факты так же отчаянно, как в деле Сервета. В поведении же Каstellлио никогда не удавалось найти даже ничтожного пятна. «Любой может иметь свое мнение о том, что я написал, — спокойно пишет Каstellлио Кальвину, — и никаких суждений обо мне не боюсь, пока судят меня без ненависти. Бедность мою может подтвердить всякий, кто знает меня с детства; и если бы в этом была нужда, я мог бы назвать бесчисленных тому свидетелей. Но нужно ли это вообще? Не достаточно ли одного свидетельства, подписанного тобой и твоими приверженцами?.. Даже твои ученики не однажды должны были признать, что относительно скромности и строгости моего образа жизни у них не имеется ни малейшего сомнения. И поскольку мое учение отличается от твоего, они вынуждены были ограничиться лишь утверждением, будто я нахожусь в заблуждении. Как же ты осмеливаешься распространять обо мне такие слухи и взы-

вать еще при этом к имени Бога? Неужели ты не понимаешь, Кальвин, как страшно взывать к Богу, если обвинение порождено только ненавистью и яростью? Но и я взываю к Богу, и в то время, как ты взываешь к нему, чтобы самым диким образом обвинить меня перед людьми, я взываю к нему потому, что ты несправедливо обвинил меня перед людьми. Если я лгу, а ты говоришь правду, пусть Бог накажет меня в меру моей вины, и я прошу людей лишить меня чести и жизни. Но если я сказал правду, а ты — неправый обвинитель, то прошу Бога, чтобы он защитил меня от ловушек моих противников, а тебе чтобы дал он возможность до твоей смерти раскаяться в твоём поведении, чтобы грех твой не лег невыносимой тяжестью на твою душу».

Какая разница между этими двумя людьми, какое превосходство свободного, беспристрастного человека перед человеком, окаменевшим в своей самонадеянности! Вечное различие между гуманной натурой и доктринером, между уравновешенным человеком, не желающим ничего иного, как только сберечь свое мнение, и упрямым, стремящимся навязать свое мировоззрение всему миру, унижить всех людей, заставить их во всем следовать за собой. Там с достоинством говорит чистая и ясная совесть, здесь в угрозах и проклятиях надрыгается от крика раздраженная жажда господства. Но истинная ясность не даст сбить себя никакой ненависти. Всегда самые чистые поступки совершаются свободно, не под давлением фанатизма, нет, в природе их — сдержанность и уравновешенность.

Людям же фанатичным, напротив, справедливость никогда не нужна, им нужна победа. Они никому не хотят дать права, они желают сохранить права за собой. Едва выходит в свет сочинение Каstellлио, атаки на него начинаются снова. Правда, диффамации о личности «собаки», «бестии» Каstellлио и глупые сказки о его воровстве дров постыдно снимаются с вооружения; даже Кальвин не решается повторять их. Боевые действия поспешно переносятся в область богословия: еще раз пускаются в дело женевские печатные станки, еще влаж-

ные от последней клеветы, вторично на передовые позиции высылается Теодор де Без.

Более верный своему учителю, чем истине, в предисловии к официальному женевскому изданию Библии (1558) он допускает против Кастеллио злонамеренность такого доносительского характера, что в этом месте она звучит прямо-таки как богохульство. «Сатана, наш старый противник, — пишет де Без, — которого и узнать можно лишь потому, что он не терпит Божье слово, действует теперь еще более опасным образом, чем прежде. Долгое время не было французского перевода Библии, по меньшей мере такого перевода, который был бы достоин Священного писания; теперь же сатана нашел столько переводчиков, сколько существует пустых и дерзких людей, и, возможно, он найдет их еще больше, если вовремя не вмешается Бог. Если меня спросят здесь о каком-нибудь примере, то я укажу на латинский и французский переводы Библии, выполненные Себастьяном Кастеллио, человеком, известным нашей церкви своей неблагодарностью и дерзостью, а также теми напрасными усилиями, которые церковь потратила на него, направляя на истинный путь. Поэтому мы полагаем в согласии со своей совестью более не замалчивать его имя — как это делали до сих пор, — а предупредить всех христиан, чтобы они береглись этого избранного сатаной человека».

Более определенно и более намеренно нельзя донести инквизиции об ученом. Но «избранный сатаной» Кастеллио не обязан теперь более молчать; сенат университета, возмущенный низостью нападок и ободренный охранным письмом Меланхтона, вновь дал преследуемому право говорить.

Этот ответ Кастеллио де Безу полон глубокой и, можно сказать, даже мистической скорби. Чистого гуманиста волнует, как люди его духовного уровня могут так неукротимо ненавидеть. Правда, он хорошо знает, что кальвинистов заботит не истина, а только монополия их истины и что они не успокоятся до тех пор, пока не уберут его с дороги, как убрали до

него всех своих духовных или политических противников. Но человек благородных чувств не может опуститься до подобных глубин ненависти. «Вы горячитесь и побуждаете магистрат к тому, чтобы он приговорил меня к смертной казни, — пишет Кастеллио в пророческом предчувствии. — Если бы это не было открыто изложено в ваших книгах, я бы не отважился утверждать такое письменно, хотя и убежден в ваших истинных намерениях; ведь мертвый, я не смогу вам более отвечать. То, что я еще жив, — для вас непереносимый кошмар, а видя, что магистрат не поддается вашему нажиму или, во всяком случае, еще не поддается ему, — что, впрочем, может вскоре измениться, — вы пытаетесь возбудить у мира ненависть ко мне и объявить меня вне закона».

Прекрасно понимая, что его противники открыто добиваются его смерти, Кастеллио обращается к их совести. «Скажите мне все же, — спрашивает он этих слуг слова Христа, — как ваше отношение ко мне позволяет вам взывать к Христу? Даже тогда, когда предатель выдал его преследователям, он говорил с ним с добротой, на кресте он молился за своих палачей. А вы? За то, что в отдельных вопросах веры я имею мнение, отличное от вашего, вы с ненавистью преследуете меня во всех странах мира и разжигаете в других ту же ненависть... Какую тайную горечь должны вы испытывать, ведь Бог так осуждает подобных вам: «Кто ненавидит брата своего, тот убийца...» Это ясные предписания истины, пригодные для каждого, если только освободить их от всякой богословской шелухи, и вы сами учитесь этим предписаниям в ваших книгах. Почему же вы сами не следуете этим предписаниям в своей жизни?»

Но де Без, и Кастеллио это знает, — всего лишь высланный вперед приспешник. Не от него исходит эта смертоносная ненависть, а от Кальвина, от деспота мысли, который желает запретить всякую попытку толкования Библии. Поэтому Кастеллио через голову де Беза обращается к Кальвину, спокойно, без околичностей, без посредников: «Ты считаешь себя

христианином, признаешь Евангелие, кичишься тем, что ты приверженец Бога, и славить себя за то, что знаешь все его замыслы, ты утверждаешь, что знаешь истину Евангелия. Так почему же, поучая других, ты сам не учишься? Почему, проповедуя с кафедры о том, что клеветать нельзя, свои книги ты заполняешь клеветой? Почему приговариваете вы меня якобы из-за моей гордыни к смерти с таким высокомерием, с такой надменностью и самонадеянностью, как если бы вы сидели в совете Господа и Он просил вас открыть людям тайны его сердца? Спуститесь, наконец, на землю, углубитесь в себя самих, поспешите. Как бы не было это слишком поздно! Попробуйте, если это еще возможно, кинуть с сомнением взгляд на себя, и вы увидите то, что видят уже многие. Откиньте это себялюбие, терзающее вас, эту ненависть к другим и в особенности ко мне. Давайте соревноваться друг с другом в снисхождении, и вы откроете, что мое неблагочестие так же придумано, как и другие постыдные свойства, которые вы мне навязываете. Примиритесь с тем, что по некоторым пунктам учения у меня есть своя точка зрения. Разве не должны мы стремиться к тому, чтобы набожные люди, хотя в чем-то и отличающиеся во взглядах, были едины в вере?..»

Никогда гуманный, стремящийся к примирению человек не отвечал более мягко фанатику и доктринеру; и великодушный в слове, своим человеческим поведением в этой навязанной ему борьбе Кастеллио являет собой пример персонифицированной идеи терпимости. Вместо того чтобы издевкой ответить на издевку, ненавистью — на ненависть, он пишет: «Я не знаю такой земли, такой страны, где бы мог скрыться от своей совести, если бы выдвинул против вас те обвинения, которые выдвинули вы против меня»; он еще раз пытается прекратить борьбу гуманным обсуждением спорных вопросов, всегда, по его мнению, возможным между людьми духа.

Еще раз протягивает он противникам руку дружбы, хотя те уже держат в своих руках секиру палача. «Я прошу вас во имя любви Христа, отнеситесь с уважением к моей свободе, пере-

станьте, наконец, забрасывать меня ложными обвинениями. Дайте мне, как я — вам, возможность верить без принуждения. Не думайте о тех, чье учение отклоняется от вашего, что они находятся в заблуждении, не обвиняйте их тотчас же в ереси... Если я, как и многие другие набожные люди, толкую Священное писание иначе, чем вы, то ведь всей своей душой я верую в Христа. Возможно, кто-то из нас находится в заблуждении, но давайте любить друг друга! Когда-нибудь Учитель скажет заблуждающемуся об этом. Единственное, что мы с уверенностью знаем, вы и я, по крайней мере, должны знать, это долг христианской любви. Так давайте выполним его, и тем, что будем его выполнять, мы заставим замолчать всех наших противников. Вы считаете свое мнение правильным? Другие думают то же самое о своем мнении, так пусть же мудрейшие покажут себя и более терпимыми, а не высокомерными гордецами из-за своей мудрости. Ибо Бог знает все. Он пригибает гордецов, он поднимает униженных.

Я говорю вам эти слова из большой жажды любви. Я предлагаю вам любовь и христианский мир. Я призываю вас к любви, а в знак того, что делаю это я от чистого сердца, я беру себе в свидетели Бога и животворящий дух.

Если же вы тем не менее не оставите свою ненависть, если не поддадитесь моим призывам к христианской любви, я умолкну. Пусть Бог будет мне судьей, пусть Он решает, кто из нас был верен Ему».

* * *

Разум не в состоянии понять, как такой глубоко человеческий, такой поразительной силы призыв к примирению с духовными противниками не привел к умиротворению. Но одной из необъяснимых, одной из абсурдных черт природы человека является то, что идеологи, люди, приверженные одной-единственной идее, абсолютно нечувствительны ко всем другим мыслям, отличным от их мыслей, даже к самым что ни на есть человеческим. Однобокость мышления обязатель-

но ведет к несправедливости в поступках; где бы человек или народ ни был в плену единственного, фанатично внедряемого мировоззрения, там нет места для взаимопонимания и терпимости.

Вот и на Кальвина не оказывает ни малейшего впечатления потрясающей силы призыв человека, жаждущего только одного — мира, который не проповедует, не агитирует, не борется за господство своих идей, которым не движет тщеславие, человека, далекого от стремления насильственно навязывать кому-нибудь на земле свое мировоззрение; набожная Женева этот призыв к христианской любви отклоняет как «чуждоищность».

И тотчас же открывается ураганный огонь со всеми отвращающими парами издевок и натравливания. Чтобы бросить на Кастеллио подозрение или, по крайней мере, сделать его смешным, появляется новая ложь, причем ложь едва ли не самая подлая. Хотя женевцам строго запрещены все театральные увеселения, однако в женевской семинарии ученики Кальвина разучивают «набожную» школьную комедию, в которой Кастеллио выведен как главный слуга сатаны под прозрачным именем *de parvo Castello**, причем он говорит следующие слова:

Восславлю добродетель и грехи,
Пущу я в ход и прозу, и стихи,
Платили б только звонкою монетой...

По разрешению Кальвина и, безусловно, с поощрения этого вождя христианства, этого проповедника Божьего слова, бесстыдно пущена в ход клевета, в которой Кастеллио, этому живущему в апостолической бедности человеку, приписывается то, что он продает свое перо за деньги и борется за чистое учение терпимости не по убеждению, а как оплачиваемый агитатор какого-то паписта. Но кальвинистской ненависти фанатизма давно безразлично, чем пользо-

* Ничтожный Кастеллио (*ит.*).

ваться, правдой или клеветой, лишь одна мысль занимает женевских зелотов — прогнать Каstellлио с кафедры Базельского университета, сочинения его сжечь, а если удастся, то сжечь и его в придачу.

* * *

Чрезвычайной удачей для этих яростных ненавистников является поэтому то, что при одном из обычных для Женевы обысков в домах бюргеров двое горожан были застигнуты за чтением книги, которая — и уже одно это рассматривается в Женеве Кальвина как преступление — напечатана без разрешения Кальвина. Ни автор, ни место печати в этой маленькой книжке — «*Conseil à la France désolée*»* — не указаны, что несомненно подтверждает наличие в ней еретических мыслей. Тотчас же провинившихся тащат в консисторию. Из страха перед орудиями пыток они признаются, что эту книгу дал им племянник Каstellлио, и с фанатическим неистовством ищейки берут травимого зверя, чтобы убить его наконец.

Действительно, эта «зловредная, полная заблуждений книга» написана Себастьяном Каstellлио. Еще раз, стремясь к мирному — в духе Эразма — разрешению церковных споров, впал он в свое старое, неизлечимое «заблуждение». Он не может молча наблюдать, как религиозные подстрекательства (с тайного одобрения Женевы) приносят его любимой Франции кровавые плоды, где протестанты поднимают оружие против католиков. И как бы заранее предвидя и Варфоломеевскую ночь, и страшные ужасы войны гугенотов, он чувствует себя обязанным, пока не поздно, еще раз показать миру бессмысленность этого кровопролития.

Ни то учение и ни другое, пишет он, само по себе не является ошибочным; ошибочной и преступной всегда будет попытка насильственно принудить человека к той вере, которой

* «Совет безутешной Франции» (фр.).

он не привержен. Все зло на земле происходит из-за этого *forcement des consciences**, от постоянно возобновляющихся кровавых попыток узколобого фанатизма совершить насилие над совестью. Но не только аморально и не только противозаконно, доказывает Кастеллио, принудить кого бы то ни было к какой-нибудь вере, которую он в душе не признает, более того, это вообще лишено всякого смысла, это абсурдно. Ведь только кажется, что принудительная вербовка в секту множит верующих этой секты; принудительной пропагандой и пытками секта множится лишь внешне, количественно. В действительности же любое мировоззрение, которое таким насильственным способом вербует прозелитов, обманывает своей лживой арифметикой не столько мир, сколько само себя. Ибо, справедливо замечает Кастеллио, те, кто желает иметь как можно больше приверженцев своей веры и поэтому понуждает к ней многих людей, подобны дурню, который имеет большой сосуд с малым количеством вина в нем: он заполняет сосуд водой, чтобы вина было больше, но этим он не увеличивает количество своего вина, а портит лишь то хорошее вино, которое было в сосуде вначале. Никогда не сможете вы утверждать, что те, кого вы принудили к своей вере, привержены ей действительно, от всего сердца. Если бы им была оставлена свобода, они могли сказать: я верю от всего сердца, что вы — несправедливые тираны, и то, что вы мне навязали, никакой цены не имеет. Плохое вино не станет лучше, если людей заставить его пить.

Поэтому вновь и вновь страстно повторяет Кастеллио: нетерпимость неизбежно ведет к войне и только терпимость — к миру. Не с орудиями пыток, не с секирами и пушками можно внедрить мировоззрение, а только и только индивидуально, по внутренней убежденности; только взаимопониманием можно избежать войн и объединить идеи. Так пусть же протестантами станут те, кто хочет быть протестантами, католиками же останутся те, кто хочет быть католиками; не следует принуж-

*Принуждения совести (фр.).

дать к другой вере ни тех, ни других. За поколение до того, как в Нанте обе веры объединились в мире на гробах десятков и сотен тысяч бессмысленно погибших людей, этот одинокий гуманист набрасывает эдикт терпимости для Франции: «Совет, который я даю тебе, Франция, таков: прекрати преследование совести, не преследуй, не убивай за убеждения, а вместо этого разреши, чтобы в твоих пределах каждый верящий в Христа служил Богу не по чужому разумению, а по своему собственному».



Такое предложение к примирению между французами — католиками и протестантами — в Женеве считается, разумеется, наипугающим из всех возможных преступлением. Ведь тайная полиция Кальвина как раз делает все, чтобы разжечь во Франции войну гугенотов; поэтому в агрессивной церковной политике Кальвина нет ничего более ненавистного, чем этот гуманный пацифизм. Тотчас же приводятся в движение все рычаги для того, чтобы не дать распространиться произведению Кастеллио, ратующему за мир. Во все направления посылаются гонцы, всем авторитетам протестантизма пишутся заклинающие письма, и, действительно, своей прекрасно организованной агитацией Кальвин добивается того, что в Генеральном синоде реформированных церквей в августе 1563 года принимается решение: «Настоящим церковь уведомляется, что вышла в свет книга «Conseil à la France désolée», автор которой — Кастеллио. Это очень опасная книга, и ее следует остерегаться».

Опять удалось запретить распространение «опасной книги» Кастеллио — книги, опасной для фанатизма. А теперь пора покончить с этим непоколебимым, нестигаемым антидогматиком, антидоктринером! Надо, наконец, покончить с ним, не только заткнуть ему рот, а навсегда перебить ему позвоночник! Вновь на передние позиции выдвигается Теодор де Без, чтобы прикончить Кастеллио.

Книга де Беза «*Responsio ad defensiones et reprehensiones Sebastiani Castellionis*»*, посвященная пасторам города Базеля, уже этим своим посвящением показывает церковнослужителям, где следует расставить ловушки для поимки Каstellио. Настало время, настало самое подходящее время, нашептывает де Без, чтобы духовное правосудие занялось этим опасным еретиком и защитником еретиков. В подтверждение этого набожный богослов дикой мешаниной обвинений и ругательств позорит Каstellио как лгуна, богохульника, наисквернейшего анабаптиста, осквернителя святого учения, вонючего сикофанта, покровителя не только всех еретиков, но и всех прелюбодеев и прочих преступников; под конец он ласково именует Каstellио убийцей, которого защищают черти из преисподней сатаны.

Правда, из-за нескрываемой поспешности, с которой дикие оскорбления в беспорядке нагромождаются друг на друга, они подчас противоречат друг другу, подчас друг друга исключают. Но в этом хаосе ясно и отчетливо можно понять одно — автор книги обуреваем смертоносным желанием в конце концов заткнуть рот Каstellио, заткнуть по возможности навсегда.

* * *

Сочинение де Беза — это обвинение, с таким нетерпением ожидаемое инквизицией, духовным судом; без фигового листка, во всей своей вызывающей наготе видна доносительская целенаправленность этого сочинения. Базельский синод совершенно недвусмысленно призывается к тому, чтобы побудить светские власти к задержанию Каstellио. Себастьяна Каstellио необходимо незамедлительно привлечь к ответственности как низкого, подлого преступника. А несколько дней спустя сам де Без лично появляется внезапно в Базеле, чтобы запустить колесо правосудия. К сожалению, его нетерпению

* «Возражение на защиту и опровержения Себастьяна Каstellио» (лат.).

противостоит внешняя формальность: по закону Базеля, для того, чтобы принять дело в судопроизводство, обязательно требуется письменный, подписанный донос, адресованный светским властям, напечатанная же книга таким документом не считается.

Казалось бы, если б Кальвин и де Без действительно хотели предъявить обвинение, им следовало бы подать такое заявление за своими подписями. Но Кальвин верен своему старому методу, так хорошо себя оправдавшему в деле Сервета, он предпочитает, чтобы этот донос сделал не он, не де Без, а кто-нибудь третий. Вновь используется лицемерный прием, опять повторяется то, что уже было во Вьенне и Женеве: в ноябре 1563 года сразу же после выхода в свет книги де Беза некий совершенно некомпетентный в вопросах веры человек, Адам фон Боденштейн, подает в магистрат письменную жалобу на Кастеллио, обвиняя его в ереси.

Для защиты истинной веры этот Адам фон Боденштейн — кандидатура крайне неудачная, к нему для этого следовало бы обратиться в самую последнюю очередь, ведь он — не кто иной, как сын пресловутого Карлштадта, которого Лютер выгнал из Виттенбергского университета как опасного фанатика; кроме того, он — ученик также очень опасного и крайне нечестивого Парацельса, такого человека едва ли можно считать опорой протестантской церкви. Однако, по-видимому, де Безу при его посещении Базеля каким-то образом удалось завербовать Боденштейна на эту жалкую роль, и тот в своем письме базельскому Совету слово в слово повторяет всю путаницу аргументов книги де Беза, в которой Кастеллио одновременно объявляется папистом, анабаптистом, вольнодумцем, богохульником и, кроме того, еще покровителем всех прелюбодеев и прочих преступников.

Но этим официально адресованным магистрату обвинительным письмом, которое сохранилось до наших дней, — независимо от того, содержится ли в нем правда или ложь, — открыт путь для судопроизводства. Поскольку документ пред-

ставлен в магистрат официально и занесен в соответствующий реестр, базельский суд вынужден приступить к расследованию. Кальвин и его клеветы достигли своей цели: Каstellio, как еретик, посажен на скамью подсудимых.

* * *

От глупого нагромождения всех предъявленных ему обвинений Каstellio было бы легко защититься. Ведь в слепом, в чрезмерном рвении Боденштейн обвиняет его одновременно в таком множестве противоречащих друг другу грехов, что их недостоверность становится всем слишком очевидной. Кроме того, в Базеле известна безупречная жизнь Каstellio. И если Сервета удалось бросить в темницу, заковать в цепи, мучить вопросами, то от Каstellio профессора университета потребовали всего лишь, чтобы он оправдался перед сенатом в предъявленных ему обвинениях. И его коллегам достаточно того, что он объявляет своего обвинителя Боденштейна подставным лицом — что действительно соответствует истине — и требует, чтобы настоящие подстрекатели, Кальвин и де Без, если они желают его обвинить, лично явились в суд. «А поскольку меня подозревают с такой великой страстностью, я от всей души прошу вас дать мне возможность защищаться. Если Кальвин и де Без верят в истинность предъявленных мне обвинений, пусть они сами выступают и докажут всем, что я повинен в том, в чем меня обвиняют. Если они убеждены, что ведут себя правильно, то, нисколько не усомнившись в том, что меня следует обвинить перед всем светом, им не следует опасаться трибунала Базеля... Я знаю, велики, могучи мои обвинители, но и Бог могуч. Тот, который нелицеприятно вершит свой суд. Я знаю, что я всего лишь бедный, темный человек, очень простой и неименитый, но Бог благосклонен как раз к простым людям и не оставит неотомщенной их безвинно пролитую кровь». Тогда он, Каstellio, охотно отдался бы в руки суда. И если подтвердится хотя бы одно, самое малое

обвинение, он во искупление своей вины сам положит голову на плаху.

Разумеется, Кальвин и де Без остерегаются принять это справедливое предложение; ни тот, ни другой не явятся в сенат Базеля. И уже кажется, что хитроумный донос позабудется, но случай приносит противникам Каstellлио неожиданную помощь. Роковым образом именно сейчас обнаруживается одно обстоятельство, опасно подкрепляющее обвинение Себастьяна Каstellлио в ереси и в покровительстве еретикам.

Вот что произошло в Базеле: двенадцать лет жил там в своем дворце в Биннингене иностранец — аристократ или купец — некий Жан де Брюге, который щедро помогал бедным и снискал среди горожан Базеля любовь и уважение. Когда этот благородный человек умер в 1556 году, весь город принял участие в его пышных похоронах; гроб устанавливают на самом почетном месте — в церкви Св. Леонарда. Проходят годы, и вот вдруг распространяется слух, поверить которому отказываются уши: выясняется, этот Жан де Брюге не был ни аристократом, ни купцом. Под именем де Брюге скрывался пресловутый, находящийся вне закона архиеретик Давид де Йорис, издатель «Wonderboeks»*, исчезнувший из Фландрии во время ужасного избиения анабаптистов.

Какое пятно на чести, на достоинстве города Базеля — открыто и от всего сердца при жизни и после смерти этого несправимого врага церкви выказывать ему высшие знаки уважения. И чтобы отомстить за бесчестное злоупотребление гостеприимством, город задним числом проводит процесс над давно умершим человеком. Процесс завершается осуждением и омерзительной церемонией: из гробницы извлекают разложившиеся останки архиеретика и вздергивают их на виселице, а затем на большой рыночной площади Базеля перед тысячами зрителей сжигают вместе с кипой еретических книг. И Каstellлио вместе со всеми профессорами университета должен быть свидетелем этого отвратительного зрелища — мож-

* «Книги чудес» (голланд.).

но себе представить, какие чувства его обуревали! Ведь долгие годы его связывала большая дружба с Давидом де Йорисом; в свое время вместе пытались они спасти Сервета, и весьма вероятно, что Давид де Йорис, архиеретик, был также анонимным соавтором книги Мартинуса Беллиуса «De Haereticis».

Бесспорно, во всяком случае, то, что Каstellлио не принимал никогда владельца замка Биннинген за купца, за которого тот себя выдавал, а с самого начала знал истинное имя Жана де Брюге; но, проповедуя в своих сочинениях идею терпимости, он был предан ей и в личной жизни и поэтому не собирался ни доносить на человека, ни порывать с ним дружеские отношения лишь потому, что того преследуют все церкви, все властелины мира.

Эта внезапно открывшаяся связь с пресловутым анабаптистом укрепляет обвинение кальвинистов, подтверждает, что Каstellлио — защитник и укрыватель всех еретиков и преступников; создается ситуация, чрезвычайно опасная для его жизни. А поскольку беда никогда не приходит одна, то тут обнаруживаются близкие отношения Каstellлио с другим очень опасным еретиком — с Бернардо Окино.

Знаменитый монах-доминиканец, известный всей Италии своими бесподобными, пламенными проповедями, Окино вынужден бежать с родины от папской инквизиции. Но и в Швейцарии необычность его тезисов безмерно пугает священников реформированных церквей; особенно опасной представляется им его последняя книга «Тридцать диалогов», содержащая такое изложение Библии, которое во всем мире протестантизма воспринимается как невероятное кощунство: ссылаясь на закон Моисея, Бернардо Окино объявляет, что многоженство хотя и не рекомендуется, но, по существу, разрешено Библией и поэтому допускается.

Тотчас же по выходе в свет книги с этим скандальным тезисом и многими другими тезисами, непереносимыми для ортодоксии реформированной церкви, против Бернардо Окино возбуждается дело. Книгу эту с итальянского на латинский

перевел не кто иной, как Кастеллио. В его переводе книга была отпечатана; его вина в распространении таких богохульных тезисов бесспорна. Теперь перед судом церкви он, как соучастник, виновен не меньше, чем автор книги. Вскрывшаяся дружба Кастеллио с Давидом де Йорисом и Бернардо Окино за одну ночь делает опасно достоверными дерзкие обвинения Кальвина и де Беза, утверждавших, что Кастеллио — оплот и глава самой неистовой ереси. Такого человека университет уже не может и не будет более защищать.

* * *

Что предстоит защитнику терпимости вынести от нетерпимости своих современников, Кастеллио может себе представить по тем ужасным мерам, которые церковные власти приняли по отношению к Бернардо Окино, его товарищу. Объявленного вне закона человека ночью выгнали из Локарно, где он был проповедником общины итальянских эмигрантов: он умолял как о милости об отсрочке, но ему было отказано в ней. Не было снисхождения к этому не имеющему никаких средств к существованию семидесятилетнему старику. То, что он несколько дней назад похоронил свою жену, не дает ему права на отсрочку. То, что он должен скитаться по свету с несовершеннолетними детьми, не смягчает гнева благочестивых богословов. То, что на дворе зима и горные перевалы занесены снегом и непроходимы, нисколько не заботит его фанатичных преследователей: пусть подыхает на дороге, подстрекатель, еретик! В середине декабря изгоняют его, и в поисках нового пристанища седобородый старик должен тащиться со своими детьми по обледенелым горным тропам, по скалистым гребням хребта.

Но и такая жестокость этим богословам ненависти, этим ханжеским проповедникам слова Божьего не кажется достаточно сильной. Ведь может же где-нибудь сострадание в конце концов дать бредущему в стужу старику с детьми теплый ночлег или охапку соломы. Нет, этого допустить нельзя, власти города с омерзительно ханжеским благочестивым рвением

рассылают во все концы письма, в которых указывается, что ни один добрый христианин не должен под своей крышей терпеть это чудовище, и тотчас же во всех городах, во всех селениях перед ним, словно перед прокаженным, закрываются ворота и двери. Нигде не найдя себе пристанища, этот старик пересечет Швейцарию, как нищий, будет ночевать в амбарах, стыть на морозе, брести дальше и дальше до границы, а затем — через огромную Германию, где тоже все общины уже оповещены о нем; только одна надежда поддерживает его, что он доберется-таки до Польши, где у более милосердных людей найдет наконец приют для себя и детей. Но слишком сурово испытание для сломленного человека. Бернардо Окино никогда не достигнет своей цели, никогда его челн не прибьется к тихой гавани. Жертва нетерпимости, обессиленный старик упадет на одной из дорог Моравии; там, на чужбине, он, словно бродяга, и будет предан земле, и никто потом не сможет даже указать, где его могила.

Кастеллио может увидеть свою судьбу в этом ужасном кривом зеркале. Уже подготовлен против него процесс, а разве в подобные времена бесчеловечности может надеяться на какое-либо милосердие человек, единственное преступление которого заключается в том, что он по-человечески сострадает всем преследуемым. Уже видится защитнику Сервета судьба Сервета, уже нетерпимость этого ужасного времени схватила за горло своего опаснейшего противника — защитника терпимости.

Но провидению угодно, чтобы его преследователи не дождались триумфа, оно не желает, чтобы они увидели Себастьяна Кастеллио, архиврага любой духовной диктатуры, в темнице, в изгнании или на костре. Внезапная смерть спасает в последний момент Себастьяна Кастеллио от процесса, от смертоносного натиска его врагов. Уже давно напряженная работа истощила его тело, а когда на человека наваливаются заботы и волнения души, подорванный организм не выдерживает. Правда, до последнего часа, с трудом передвигаясь, ходит Кастеллио в университет, пытается работать за письмен-

ным столом, но напрасное сопротивление! Уже смерть берет верх над волей жить и работать. Трясущегося в ознобе, кладут его в постель, жестокие колики не позволяют ему принимать ничего, кроме молока, все хуже и хуже ему, и, наконец, потрясенное сердце более не выдерживает. 29 декабря 1563 года Себастьян Кастеллио умирает сорока восьми лет, «с помощью Божьей освобожденный от когтей своих противников», как участливо скажет один из его друзей, находившийся у смертного одра.

С этой смертью разваливается все нагромождение клеветы: слишком поздно поняли горожане Базеля, как плохо они защищали этого лучшего среди них человека, как равнодушны они были к его судьбе. Оставшийся после него жалкий скарб неопровержимо подтверждает, в какой апостольской нищете жил этот чистый человек, этот благородный ученый; в доме не найти серебряной монеты, друзья оплачивают гроб и небольшие долги покойного, принимают участие в расходах по похоронам, дают приют его несовершеннолетним детям.

Но как вознаграждение за позор обвинения похороны Себастьяна Кастеллио превращаются в триумфальное шествие восторжествовавшей нравственности; все, кто боязливо и осторожно молчал, когда Кастеллио обвиняли в ереси, противостоят вперед, чтобы выказать, высказать, как сильно они его любили, как глубоко уважали; защищать мертвого всегда проще и удобнее, чем живого и гонимого. Весь университет торжественно следует за гробом, гроб вносится на плечах студентов в кафедральный собор и вмуровывается на переходе к монастырю. Трое его учеников на свои средства устанавливают надгробный камень с надписью: «Преславному учителю в благодарность за его огромные знания и чистоту его жизни».

Но в то время как Базель оплакивает благородного человека и большого ученого, в Женеве царит неудержимое ликование; только что разве не звонят колокола при замечательном

сообщении, что с этим отважнейшим защитником духовной свободы наконец-то покончено, что самый красноречивый человек, поднявший голос против насилия совести, онемел! С неприличной радостью поздравляют они друг друга, все эти «библиократы», эти «служители слова Божьего», как если бы слова «любите врагов своих» никогда не были написаны в их Евангелии. «Кастеллио помер? Тем лучше!» — пишет господин Буллингер, пастор Цюриха, а другой глумится: «Чтобы не защищаться перед сенатом Базеля, Кастеллио бежал к Rhadamanthys (к сатане)». Де Без, поразивший Кастеллио своими доносительскими стрелами, превозносит Бога, освободившего мир от этого еретика, и восхваляет себя как провозвестника Божьей воли: «Я был хорошим пророком, когда сказал Себастьяну Кастеллио: Бог накажет тебя за твое богохульство».

Даже со смертью Кастеллио — а гибель бойца-одиночки вдвойне достойна чести — бешеная ненависть к нему не утихает. Но напрасно бушуют они. Мертвому их издевки безразличны, идея же, за которую он жил и умер, как и все истинно гуманные мысли, стоит выше любого земного, проходящего насилия.

КРАЙНОСТИ СХОДЯТСЯ

Разойдутся тучи, небо прояснится,
Солнце засияет после дней ненастья.
Радости сменяют беды и несчастья,
Ссора неизменно миром завершится.
Только ожиданием сердце истомится!*

Песнь Маргариты Австрийской

Похоже, борьба закончилась. Смерть Себастьяна Кастеллио избавила Кальвина от единственного его духовного противника, а поскольку Кальвин до этого заставил в Женеве

*Перевод Л. Голубовской.

замолчать всех своих политических противников, теперь он может без помех свершить все, что задумал.

Любая диктатура чувствует себя уверенней, преодолев кризис, обычно неизбежный при ее становлении; подобно тому как климатические перемены и другие изменения условий жизни первоначально доставляют человеку известные неудобства, а затем его организм приспосабливается к ним, адаптируется, так и народы поразительно быстро привыкают к новым формам правления. Проходит немного времени, умирает старое поколение, которое с горечью сравнивало неприятное ему настоящее с милым сердцу прошлым, подрастает юность, воспитанная в новых традициях; не имея никакого представления о каком-либо другом образе жизни, она воспринимает новые идеалы как само собой разумеющиеся, как единственно возможные. А для того, чтобы какая-нибудь идея решительно изменила миропонимание народа, одного поколения достаточно.

И вероучение Кальвина за два десятка лет из мысленной субстанции сгустилось в некую духовную форму существования. Следует отдать должное этому гениальному организатору, после разгрома оппозиции он с великолепной планомерностью расширил свою систему и постепенно сделал ее мировой. Железный порядок, на протяжении двух десятилетий поддерживаемый в Женеве, превратил ее — с точки зрения внешних проявлений образа жизни — в образцовый город; приверженцы реформированных церковью из всех стран Европы отправляются в «Рим протестантизма», чтобы подивиться тому, какого совершенства можно достичь, если теократический режим будет неукоснительно проводить в жизнь свои установления.

Действительно, сполна достигнуто все, что требовало строгого повиновения и спартанской закалки; правда, ради наитрезвейшей монотонности пришлось пожертвовать творческим многообразием, а ради холодной математической правильности — радостью, но зато само воспитание стало своего рода искусством. Безупречны все учебные организации, все

благотворительные учреждения, наука продвигается в своем развитии вперед, а с основанием Академии Кальвин создает не только первый духовный центр протестантизма, но и полюс, противоположный ордену иезуитов Лойолы, давнишнего своего товарища по коллегии Монтегю: логическая дисциплина против логической дисциплины, закаленная воля против такой же закаленной воли. По точно рассчитанному плану военных действий отсюда будут посылаться в мир отлично подготовленные проповедники и агитаторы кальвинистского учения.

Давно уже испытывает Кальвин глубокую неудовлетворенность: его идеи, его властолюбивым мечтам тесно в маленьком швейцарском городе; неукротимая воля этого фанатика хочет распространиться на все страны, он желает подчинить своей тоталитарной системе всю Европу, весь мир. Уже Шотландию подчинил ему его легат Джон Нокс, уже Голландия и частично Скандинавские страны прониклись духом пуританизма, уже вооружаются гугеноты Франции, готовясь к решительной битве, один только счастливый шаг, и «*Institutio*» станет мировым институтом, кальвинизм — единственной формой мышления и жизни западного мира.

Как решающе изменило бы культурную жизнь Европы такое победоносное внедрение кальвинистского учения, можно себе представить по тем неповторимым чертам, которые кальвинизм придал за короткий срок странам, принявшим это учение. Всюду, где хотя бы даже на короткий отрезок времени женевская церковь смогла осуществить свой нравственно-религиозный диктат, у нации возник особый тип человека — незаметно живущего, «безупречно» («*spotless*») выполняющего свой нравственный и религиозный долг; свободомыслие в быту приглушено, последовательно, методично сдерживается, жизнь сведена к холодному, трезвому образцу. Уже по внешнему облику улиц города, по известной размеренности поведения жителей, по неяркости их одежды и манере держать себя, даже по отсутствию украшений и будничности каменных зданий можно совершенно точно определить, как

сильно волевая личность смогла запечатлеть присущие ей черты на реалиях, что в этой стране, в этом городе люди находятся или когда-то находились под воздействием кальвинистской муштры.

Всюду, где кальвинизм стал господствующей религией, он, ломая индивидуальность, пресекая бурное устремление человека к радостям жизни, усиливая авторитет властей, пластически выработал тип педантичного служаки, скромно и настойчиво встраивающегося в общность, образцового чиновника и идеального человека среднего сословия; и Вебер в своем знаменитом исследовании капитализма убедительно показал, что в выработке черт абсолютного послушания, так необходимых современной индустриализированной жизни, определяющая роль принадлежит кальвинистскому учению, которое религиозными средствами уже в школе воспитывало массы в духе унификации и механичности мышления. А решительная и интенсивная организация подданных всегда повышает внешнюю военную ударную силу государства; великолепное, суровое, жестокое, не боящееся никаких лишений поколение мореплавателей и колонистов, захватившее и населившее новые континенты сначала для Голландии, потом для Англии, это поколение в основном пуританского происхождения; и это же духовное начало определило американский характер; все эти нации своими историческими успехами обязаны строгому влиянию проповедника-пикардийца собора Св. Петра.

Но каким бы это было кошмаром, если б и Кальвин, и де Без, и Джон Нокс, эти *kill joy**, завоевали бы для своего вероучения весь мир! Какая прозаичность, какая монотонность, какая бесцветность царили бы в Европе! Как яростно zeloty, ненавидящие искусство, радость, жизнь, искореняли бы то великолепное изобилие, те прелестные излишества бытия, которые всем своим божественным многообразием вдохновляют творчество. Как выкорчевывали бы они, уничтожали бы ради сухого единообразия все социальные и национальные

*Брюзга (англ.).

контрасты, создавшие в истории культуры империю Запада именно своей чувственной пестротой, как подавляли бы они великое опьянение творчеством своим ужасным, скрупулезным порядком!

Подобно тому как в Женеве на столетия была осклопена страсть к творчеству, как при первых шагах к господству в Англии был ими безжалостно и навсегда растоптан шекспировский театр, чудеснейший цветок мирового духа, как кальвинистские изуверы разбивали в церквях доски великих мастеров и вселяли в человеческие души вместо радости жизни страх Божий, точно так же было предано ими в жертву иудейско-библейской анафеме любое вдохновенное устремление в Европе, если бы оно даже и питалось божественным началом, но началом, в чем-то отличным от канонизированного благочестия.

Дух захватывает от ужаса, едва только подумаешь, какой была бы Европа семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого столетий без музыки, без живописи, без театра, без танца, без своей роскошной архитектуры, без великолепных празднеств, без утонченной эротики, без изысканного общения! Одни лишь нищие церкви и суровые проповеди для воспитания — лишь муштра, и смирение, и страх Божий! Искусство, этот свет Божий в наших душных и темных буднях, было бы запрещено проповедниками как «греховное» расточительство, как распутничество, как *raillardse**; Рембрандт так и остался бы работником на мельнице, Мольер — обойщиком или слугой.

Кальвинисты в ужасе сожгли бы роскошные картины Рубенса, а возможно, и его самого, Моцарта бойкотировали бы за его святую ясность, Бетховену разве что разрешили только переложение псалмов на музыку. Шелли, Гёте и Китс — можно ли представить себе их среди *placet*** и подчиняющихся им *imprimatur**** ханжеской консистории?

* Разврат (*фр.*)

** Голосующих «за» (*лат.*).

*** Здесь: цензуре (*лат.*).

Никогда отвага и расточительство творческого духа не посмели бы окаменеть в бессмертном великолепии Версаля, в римском барокко, никогда не смогло бы рококо расцвести в модах, танце, в нежной игре красок; вместо того чтобы развернуться в творческом движении, европейский дух захирел бы в богословском пустозвонстве. Ибо мир бесплоден, не способен творить, если не пропитан свободой и радостью, не движим ими, ибо в любой закосневшей системе жизнь всегда замерзает.

Но получилось так — и в этом для Европы счастье, — что она не дала себя ни вышколить, ни опуританить, ни оженить: подобно тому как это было и при других попытках загнать Европу в казарму некоей единой системы, жаждущая вечного обновления воля к жизни проявила и на этот раз свое непреодолимое сопротивление. Лишь в небольшой части Европы кальвинистское наступление одержало победу, но и здесь, получив власть, кальвинизм добровольно отказался от сурового диктата Библии.

Ни одному государству теократия Кальвина не смогла навязать свою абсолютную власть, и вскоре после смерти Кальвина реальность смягчает и гуманизирует жизнененавистничество, искусство ненавистничество некогда неумолимого «надзора». Ибо в конце концов живая жизнь всегда оказывается сильнее любого абстрактного учения. Своими теплыми соками она омывает все закосневшее, смягчает любую суровость, делает податливой любую твердость. Подобно мускулу, который не может непрерывно находиться в состоянии крайнего напряжения, подобно страсти, которая не может постоянно находиться в состоянии максимального накала, ни одна духовная диктатура не способна длительное время сохранять свой беспощадный, ни с чем не считающийся радикализм: чаще всего только одно поколение оказывается жертвой, ему одному приходится испытать на себе сверхдавление диктатуры духа.

И учение Кальвина быстрее, чем можно было это ожидать,

утратило свою непримиримую нетерпимость. Было бы роковой ошибкой отождествлять учение Кальвина, прошедшее «обкатку» временем, с учением Кальвина, каким оно было при жизни его основоположника. То, что требовал Кальвин, и то, чем стало его учение уже к концу столетия, очень сильно отличаются друг от друга. Правда, еще во времена Жан-Жака Руссо в Женеве спорят о том, разрешать ли театр или сохранить запрет на него, и очень серьезно обсуждается странный вопрос: что означает развитие изящных искусств — прогресс человечества или его упадок, но уже давно опасное перенапряжение «наставления» сломлено, и застывшее было евангелическое учение приспособляется к гуманизму.

Ибо дух всегда в развитии и для своих таинственных целей использует любые проявления человеческой мысли, даже такие, которые поначалу пугают нас как явный шаг назад; у всякой системы вечный прогресс заимствует лишь полезное ему и отбрасывает, словно отжатый плод, все сдерживающее, парализующее. В великом плане человеческого развития диктатуры являют собой лишь краткосрочные изменения, и то, что реакционно хочет сдержать ритм жизни, после короткого движения назад лишь более энергично толкает вперед: вечен символ Валаама, который хочет проклинать, но благословляет против своей воли.

Поразительно, но именно кальвинизм, который особенно яростно стремился ограничить индивидуальную свободу, породил идею политической свободы; и Голландия, и Англия Кромвеля, и Соединенные Штаты, первые поля деятельности кальвинизма, добровольно дали пространство либеральным, демократическим государственным идеям. Пуританский дух создал для мира важнейшие документы Нового времени: Декларацию независимости Соединенных Штатов, которая, в свою очередь, решающим образом стимулировала провозглашение французской Декларации прав человека и гражданина. И самый удивительнейший переворот, соприкосновение полюсов — как раз те страны, которые, казалось бы, должны

были быть наисильнейшим образом пронизаны идеей нетерпимости, совершенно неожиданно стали в Европе убежищами терпимости.

Именно там, где религия Кальвина стала законом, реализовалась идея Кастеллио. В ту самую Женеву, где некогда за расхождение в богословских вопросах Кальвин сжег Сервета, бежит «враг Божий», живой антихрист своего времени, Вольтер. И вот, поди же, его дружески посещают последователи Кальвина, проповедники именно его церкви, чтобы самым миролюбивым образом пофилософствовать с богохульником. В Голландии Декарт и Спиноза, которые нигде в другом месте не смогли найти себе спокойного пристанища, пишут произведения, освобождающие мысль человека от уз всего церковного и традиционного. Именно в тень самого ригористичного из всех вероучений — мало верящий в чудеса Ренан назвал «чудом» этот поворот сурового протестантизма к Просвещению — бегут из всех стран те, кого преследуют там за их веру, за их мировоззрение. Всегда крайности сходятся друг с другом; и вот таким образом в Голландии, в Англии, в Америке через два столетия едва ли не по-братски, рука об руку идут друг с другом терпимость и религия, требования Кальвина и требования Кастеллио.

* * *

Но и идеи Кастеллио пережили его время. Лишь на мгновение кажется, что со смертью человека завершилась также и его миссия, еще несколько десятилетий молчание так плотно, так беспросветно укрывает имя Кастеллио, как земля — его гроб. Никто не вспоминает Кастеллио, его друзья умирают, теряются во времени, немногие напечатанные произведения постепенно становятся недоступными, неопубликованные же рукописи никто не решается издавать; похоже, напрасно он боролся, напрасно прожил свою жизнь.

Но История идет таинственными путями, как раз победа противника Кастеллио способствует воскрешению его идей.

Стремительно, пожалуй, даже слишком стремительно кальвинизм проникает в Голландию. Закаленные в Академии, в этой школе фанатизма, проповедники стремятся свое суровое, аскетическое учение сделать в новообращенной стране еще более суровым. Но вскоре в этом народе, который только что сумел защитить свою свободу от притязаний императора Старого и Нового Света, начинает расти сопротивление; за завоеванную им политическую свободу народ не желает расплачиваться свободой своей совести. В кругах духовных лиц некоторые проповедники — позже их назовут ремонстрантами — начинают возражать против тоталитарных постулатов кальвинизма, и в поисках духовного оружия для неизбежной битвы с неумолимой ортодоксией они внезапно вспоминают исчезнувшее и едва ли не ставшее легендарным имя зачинателя этого движения: Корнхерт и другие либеральные протестанты обращаются к произведениям Каstellio, и начиная с 1603 года появляются одно за другим переиздания, один за другим переводы его произведений, возбуждающие всеобщий интерес и всевозрастающее восхищение.

И сразу же становится очевидным, что идея Каstellio не была погребена, а просто как бы пережидала тяжелейшие времена; и вот наступил ее час. Жаждающим слова истины уже мало ранее изданных произведений Каstellio, в Базель направляются посланцы, чтобы разыскать оставленные покойным рукописи; их привозят в Голландию, там издают и переиздают как на языке оригинала, так и на голландском языке, через полстолетия после смерти Каstellio происходит то, о чем он, забытый, никогда и не мечтал, — издается собрание его сочинений и рукописей (Gouda, 1612).

И вот, впервые окруженный свитой последователей, Каstellio вновь победно встает в ряды борющихся. Трудно переоценить значение его воздействия, хотя почти всегда безличного, анонимного. В чужих произведениях, в чужих битвах проявляются во всей глубине и полноте мысли Каstellio; в славных спорах арминиан о либеральных реформах в протестан-

стантизме большинство аргументов заимствовано из произведений Кастеллио. Гантнер из кантона Граубюнднер — замечательная личность, человек, безусловно заслуживший того, что один швейцарский писатель написал о нем книгу, жертвенно — с произведением Мартинуса Беллиуса в руках, — самоотверженно защищает перед духовным судом города Кур одного анабаптиста. Учитывая чрезвычайно широкое распространение в начале семнадцатого столетия произведений Кастеллио в Голландии, можно утверждать, хотя это пока никакими документами не установлено, что и Декарт, и Спиноза находились с Кастеллио в духовном контакте.

Но в Голландии идеями Кастеллио увлечены не только духовные лица, не только гуманисты; постепенно его мысли о терпимости глубоко проникают в народ, уставший от богословских свар и смертоносных церковных войн. Идея терпимости, став элементом государственной политики, утвердилась в Утрехтском мире и, таким образом, из абстрактной области активно вступает в область реальной жизни: теперь политически свободный народ следует вдохновенному призыву о взаимном уважении мнений, некогда направленному Себастьяном Кастеллио князьям, и поднимает его до уровня закона.

Идея уважения всех религий и любого образа мыслей победно шествует из этой первой провинции своего будущего мирового господства, страна за страной предают проклятию — в смысле Кастеллио — любое религиозное преследование, преследование любого мировоззрения. Французская революция дала наконец человеку свободу слова, свободу веры, а в следующем, девятнадцатом столетии идея свободы — свободы народов, людей, мыслей — как неотъемлемая максима овладеет всем цивилизованным миром.

Целое столетие, до самого начала нашего времени, эта идея свободы как абсолютная, как сама собой разумеющаяся идея господствует в Европе. Права человека являются незыблемой основой конституции любого государства, казалось бы, навсегда исчезли времена духовной деспотии, навязываемого мировоззрения, диктата образа мыслей, цензуры мнений, казалось бы, притязания каждого индивидуума на духовную независимость так же обеспечены, как право человека на земное существование. Но История — это постоянно чередующиеся отливы и приливы, вечное движение вверх и вниз, никогда ни одно завоеванное право не завоевано на все времена, ни одна свобода не гарантирована от нападков непрерывно меняющего свою форму насилия. Любой прогресс человечества всегда следует завоевывать, и даже само собой разумеющееся право вновь и вновь ставится под вопрос.

Как раз когда для нас свобода уже стала привычкой, не чем иным, как священнейшим достоянием, из темной бездны мира страстей растет таинственная воля, стремящаяся лишить нас этого достояния; если человечество длительно и беззаботно предается удовольствиям мирной жизни, наступает время, когда оно подпадает под чары опасного влечения к опьянению силой, к преступному наслаждению войной. Ибо для того, чтобы ближе подойти к своей непостижимой цели, История время от времени создает нам необъяснимые препятствия, и, подобно тому как при наводнении рушатся крепчайшие дамбы и плотины, так же разваливаются завоеванные стены прав; и похоже, что в эти зловещие часы человечество идет вспять к кровавым неистовствам орд, к рабской покорности стада.

Но после каждого наводнения вода идет на убыль; все деспотии очень быстро либо стареют, либо лишаются своего внутреннего огня; лишь идея духовной свободы, идея всех идей и поэтому непобедимая, вечно возвращается, ибо она вечна, вечна, как дух. Если сторонними силами на какой-то отрезок времени она и лишена слова, то тогда она скрывается

в сокровенных глубинах совести, недостижимая для любого притеснения. Напрасно поэтому думают властелины, что, опечатав свободному духу рот, они уже победили. Ведь с каждым родившимся человеком рождается новая совесть, и всегда найдется кто-нибудь, готовый выполнить свой духовный долг, вновь начать старую борьбу за неотъемлемые права человечества и человечности, вновь против каждого Кальвина встанет Кастеллио и защитит суверенную самостоятельность образа мыслей против любого насилия.





АМЕРИГО



ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ

В честь кого Америка назва на Америкой? На этот вопрос каждый школьник ответит быстро и не задумываясь: в честь Америго Веспуччи.

Но уже второй вопрос вызовет сомнение и колебания даже у взрослых: почему, собственно, эту часть света окрестили именем Америго Веспуччи? Потому, что Америку открыл Веспуччи? Он никогда ее не открывал! Или, быть может, потому, что он первым ступил уже не на прибрежные острова, а на самый материк? Нет! Первыми ступили на материк Колумб и Себастьян Кабот. Тогда, может быть, потому, что Веспуччи ложно утверждал, будто он высадился здесь первым? Веспуччи никогда и нигде не заявлял о своем праве первооткрывателя. Но, возможно, он как ученый и картограф предложил назвать эту землю своим именем просто из честолюбия? Нет, он никогда этого не делал и, вероятно, пока был жив, даже не подозревал, что эта новая земля названа его именем. Почему же как раз ему, который ничего не совершил, выпала такая честь, почему увековечено его имя? Почему Америка называется не Колумбией, а Америкой?

Это произошло из-за сумбурного переплетения случайностей, заблуждений и недоразумений, это история человека, который на основании никогда не совершенного путешествия — причем он сам никогда и не утверждал, что совершил его, — стяжал столь безмерную славу, что его имя стало наименованием четвертой части света. Вот уже четыре столетия

название это удивляет и злит весь мир. И каждый раз Америго Веспуччи вновь обвиняют в том, что он всроломно добился подобной чести путем грязных и темных махинаций; каждый раз все новые научные инстанции рассматривают дело по обвинению Америго Веспуччи в «обмане, построенном на вымышленных или искаженных фактах». Одни оправдали Веспуччи, другие приговорили его к вечному позору, и чем неоспоримее защитники Веспуччи доказывают его невиновность, тем более страстно противники уличают его во лжи, подлогах и краже.

Ныне эти споры со всеми их гипотезами, доказательствами и опровержениями составляют целую библиотеку; некоторые считают крестного отца Америки *amplificator mundi**, одним из великих людей, раздвинувших границы Земли, первооткрывателем, мореходом и большим ученым, а другие — самым отъявленным мошенником и лгуном, какого только знала история географии.

На чьей стороне правда или, выразимся осторожнее, наибольшая вероятность правды?

В наши дни дело Веспуччи давно уже перестало быть вопросом, интересующим узких специалистов-географов, или проблемой филологии. Это задача на сообразительность, игра, в которой каждый любопытствующий может испытать свои силы; к тому же условия игры легко понять: в ней мало фигур, потому что весь известный нам литературный труд Веспуччи, включая все документы, занимает в целом не более сорока—пятидесяти страниц. Поэтому и я счел возможным еще раз расставить фигуры и вновь, ход за ходом, разыграть эту знаменитую шахматную партию истории со всеми ее ошеломляющими и ошибочными построениями.

Единственное требование географического характера, которое моя работа предъявляет читателю, — это забыть все, что он знает о географии из наших больших атласов, и целиком выключить из своего сознания всякое представление о форме,

*Расширившим мир (*лат.*).

образе, даже о самом существовании Америки. Лишь тот, кто в состоянии вполне представить себе мрак и сомнения той эпохи, сможет понять изумление и энтузиазм, охватившие целое поколение, когда в безбрежном дотоле пространстве начали обрисовываться первые контуры неведомой земли. Но если человечество обнаруживает нечто Новое, оно желает дать ему имя. И когда человечество испытывает восхищение, оно стремится выразить его в ликующем возгласе. Это был счастливый день — ветер случайности неожиданно принес новое имя; и человечество, не спрашивая, справедливо то или нет, в нетерпении приняло звонкое, легкокрылое слово и приветствовало новый мир новым и навечно данным ему именем «Америка».

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Анно* 1000. Тяжелый, гнетущий сон сковал Западный мир. Глаза слишком устали, чтобы зорко смотреть вокруг, чувства слишком притуплены, чтобы проявлять любопытство. Дух человечества парализован, как после смертельно опасной болезни, человечество больше ничего не желает знать о мире, который оно населяет. И самое удивительное: все, что люди знали ранее, непонятным образом ими забыто. Разучились читать, писать, считать; даже короли и императоры Запада не в состоянии поставить свою подпись на пергаменте. Науки заостенели, стали мумиями богословия, рука смертного больше не способна изобразить в рисунке и изваять собственное тело. Непроницаемый туман затянул все горизонты. Никто больше не путешествует, никто ничего не знает о чужих краях; люди укрываются в замках и городах от диких племен, которые то и дело вторгаются с Востока. Живут в тесноте, живут в темноте, живут без дерзаний — тяжелый, гнетущий сон сковал Западный мир.

*Год (лат.).

Иногда в этой тяжелой, гнетущей дремоте блеснет смутное воспоминание о том, что весь мир когда-то был другим — шире, красочнее, светлее, окрыленное, был полон событий и приключений. Разве все эти страны не были прорезаны дорогами, разве не проходили по ним римские легионы, за которыми следовали ликторы, стражи порядка, мужи закона? Разве не существовал когда-то человек по имени Цезарь, завоевавший и Египет и Британию, разве не пересекали триремы Средиземное море, достигая тех стран, куда уже давно из страха перед пиратами не отваживается плыть ни один корабль? Разве не добрался однажды некий царь Александр до Индии — этой легендарной страны — и не возвратился через Персию? Разве не было в прошлом мудрецов, умевших читать по звездам, мудрецов, которые знали, какую форму имеет Земля, и владели тайной человечества? Об этом следовало бы прочесть в книгах. Но книг нет. Нужно было бы попутешествовать, повидать чужие края. Но дорог нет. Все миновало. Может быть, все и было только сном.

Да и к чему стараться? К чему еще раз напрягать силы, когда все идет к концу? Возвещено, что в году 1000 наступит конец света. Бог наказал человечество за то, что оно слишком много грешило, проповедуют священники с амвонов, и первый день нового тысячелетия будет днем Страшного суда. Обезумевшие люди в разодранных одеждах, с горящими свечами в руках стекаются в огромные процессии. Крестьяне покидают поля, богатые продают и расточают свое имущество. Ведь завтра появятся они — всадники Апокалипсиса на своих бледных конях; день Страшного суда близится. Тысячи и тысячи верующих, преклонив колена, проводят эту последнюю ночь в церквах — они ждут, что их поглотит вечная тьма.

Анно 1100. Нет, мир не погиб. Бог снова смилостивился над человечеством. Оно может существовать и далее, чтобы свидетельствовать о Божьем милосердии и величии. Надо благодарить Бога за его милость. Надо, чтобы эта благодарность возносилась к небесам, как молитвенно воздетые руки. И вот вырастают соборы и храмы, эти каменные опоры молитвы.

Надо доказать свою любовь к Христу, воплощению Божьего милосердия. Можно ли долее терпеть, чтобы место его земных страданий и гроб Господень оставались в нечестивых руках язычников? Вставайте, рыцари Запада, вставайте, верующие, — все на Восток! Разве вы не слышали зова: «Так велит Господь!» Выходите из замков, деревень, городов! Вперед, вперед! В крестовый поход через моря и земли.

Аппо 1200. Святой гроб Господень отвоеван и вновь потерян. Напрасным был крестовый поход и все же не совсем напрасным. Потому что в этом походе Европа пробудилась. Она ощутила собственные силы, она измерила свое мужество, она вновь поняла, как много нового и неведомого ей существует в просторах Божьего мира; иные края, иные плоды, иные ткани, и люди, и звери, и нравы под иными небесами.

Измученные, пристыженные рыцари, их крестьяне и слуги, побывав на Востоке, увидели, как тесно, как душно живут они сами в своем западном захолустье и как богато, как утонченно, как пышно живут сарацины. У этих язычников, которых жители Запада презирали из своего далека, есть блестящие, мягкие, легкие ткани из индийского шелка и пушистые, сверкающие всеми красками бухарские ковры; у них есть пряности, и корни, и благовония, которые возбуждают и окрыляют чувства; их корабли достигают отдаленнейших стран и привозят оттуда рабов, и жемчуг, и драгоценные руды; их караваны бредут по нескончаемым дорогам.

Их не назовешь грубыми неучами, этих людей Востока, — говорят, что они постигли тайну Земли; у них есть карты и таблицы, где все записано и обозначено; у них есть мудрецы, которым ведомы пути небесных светил и законы их движения. Люди эти завоевали земли и моря, присвоили себе все богатства, всю торговлю, все наслаждения жизни, а ведь как воины они не лучше немецких и французских рыцарей.

Как же они добились этого? Они учились. У них есть школы, а в школах — рукописи, в которых повествуется обо всем и все объяснено; они постигли мудрость древних ученых Запада и приумножили ее новыми познаниями. Значит, чтобы

завоевать мир, надо учиться. Не растрачивать свои силы в турнирах и беспутных кутежах, а отточить свой ум, сделать его гибким и быстрым, как толедский клинок. Итак, надо учиться, наблюдать, изучать, размышлять! В нетерпеливом соперничестве один за другим открываются университеты — в Сиене и Саламанке, в Оксфорде и Тулузе, каждая страна в Европе хочет быть первой в овладении наукой; после столетий равнодушия человек Запада снова пытается проникнуть в тайны Земли, неба и человечества.

1300. Европа сорвала богословский капюшон, который заслонял от нее мир. Нет никакого смысла вечно размышлять о Боге, нет смысла в том, чтобы вновь и вновь схоластически истолковывать и обсуждать старые тексты. Бог — творец всего и, создав человека по образу и подобию своему, хочет, чтобы человек был существом творческим. Во всех искусствах, во всех науках еще живы образцы, оставленные в наследство греками и римлянами; может быть, удастся сравняться с ними и снова научиться тому, что некогда умели древние, может быть, даже превзойти древних. И Запад снова охвачен дерзанием. Вновь начинают слагать стихи, рисовать, философствовать. Появились и Данте, и Джотто, и Роджер Бэкон, и зодчие, воздвигающие храмы. Едва взмахнув крыльями, давно отвыкшими от полета, освобожденный дух человека уносится в беспредельные дали.

Но почему земля по-прежнему так тесна? Почему земной географический простор так ограничен? Со всех сторон море, и море, и море, омывающее все берега, неизвестное, неприступное, — этот необозримый океан, «*Ultra nemo scit quid continetur*»*, о котором никто не знает, что он таит. Единственный путь в сказочные страны Индии ведет на юг, через Египет, но путь этот закрыли язычники. А за столпы Геркулеса, через Гибралтарский пролив, никто из смертных пройти не смеет. Вечно будет этот пролив, по словам Данте, пределом всех исканий:

*Никто не ведает, что лежит за ним (*лат.*).

...quella foce stretta
Ov'Ercole segó li suoi riguardi
Accioccè l'uom più oltre non si metta*.

Увы, нет никакого пути туда, в «mare tenebrosum»**, ни один корабль, устремивший свой бег в эту таинственную пустыню, не возвратится из нее. Человек принужден жить в неведомом ему пространстве; он замкнут в мире, пределы и облик которого ему, пожалуй, никогда не познать.

1298. Два старых, бородатых человека, сопровождаемые юношей, вероятно, сыном одного из них, сошли с корабля в Венеции. На них странная одежда, какой никогда еще не видывали на Риальто, — длинные камзолы из толстого сукна, отороченные мехом, редкостные украшения. Но еще удивительнее: эти трое чужеземцев говорят на чистейшем венецианском наречии и утверждают, что они венецианцы; зовут их Поло, младшего же — Марко Поло.

Конечно, нельзя верить тому, что они рассказывают. Свыше двух десятилетий назад они якобы уехали из Венеции и через Московские владения, через Армению и Туркестан доехали до Манги — до Китая, где жили при дворе могущественного из властителей мира — Кубла-хана. Они якобы прошли через все его огромное государство, по сравнению с которым Италия — словно цветок гвоздики рядом с деревом. Они дошли до края света, где снова увидели океан. И когда великий хан после долгих лет службы, богато одарив венецианцев, отпустил их домой, они отправились по этому океану на родину, прошли сперва мимо Зипангу и «Островов пряностей», затем мимо большого острова Тапробан (Цейлон), проплыли вдоль побережья Персидского залива и через Трапезунд благополучно вернулись в Венецию.

Венецианцы слушают и смеются. Презабавно врут все

* [Войдя в] пролив, в том дальнем месте света,
Где Геркулес воздвиг свои межи,
Чтобы пловец не преступал запрета (*ит.*).
(Д а н т е. Ад, песня XXVI, пер. М. Лозинского.)

** Море тьмы (*лат.*).

трое! Еще ни об одном христианине нельзя было с уверенностью сказать, что он достиг океана на другом конце Земли и побывал на островах Зипангу и Тапробан! Невероятно! Но братья Поло приглашают в свой дом гостей и показывают им подарки и драгоценные камни; и те, кто раньше так необдуманно сомневался, с изумлением убеждаются, что их соотечественники совершили самое смелое открытие своего времени. Шумная слава братьев Поло разносится по всему Западу. Она вновь окрыляет надежду: значит, можно все-таки добраться до Индии. Можно достичь этих богатейших областей Земли и оттуда стремиться дальше, на другой конец света.

1400. Добраться до Индии — это стало мечтой столетия. И мечтой всей жизни одного человека — принца Энрике Португальского, известного в истории под именем Генриха Мореплавателя, хоть сам он никогда не бывал в дальних океанских плаваниях. Но вся жизнь Энрике подчинена этой единственной мечте — *passar a donde nascen las especerias* — достичь индийских островов, достичь Молукков, где растут драгоценные пряности: корица, и перец, и имбирь, что ценятся итальянскими и фландрскими купцами на вес золота.

Но оттоманы заперли Красное море — этот ближайший путь, — не пропуская «руми» — неверных, и захватили монополию на доходную торговлю. Разве не было бы выгодным и вместе с тем христианским, крестоносным делом нанести врагам Запада удар в спину? Нельзя ли объехать Африку, чтобы добраться до «Островов пряностей»? Ведь в старых книгах содержатся любопытные сведения о финикийском корабле, который сотни лет назад, выйдя из Красного моря, обогнул Африку и после двухгодичного плавания вернулся в Карфаген, на родину. Не удастся ли это еще раз?

Принц Энрике собирает вокруг себя ученых. В самой западной точке Португалии, на мысе Сагриш, там, где у скалистых берегов пенится прибоем беспредельный Атлантический океан, Энрике построил дом и собирает у себя географические карты и различные сведения по навигации; он призвал к себе астрономов и кормчих. Старые ученые утверждают, что мор-

ской путь через экватор невозможен. Они ссылаются на мудрецов древности, на Аристотеля и Страбона, на Птолемея. Вблизи экватора, уверяют они, море сгущается, становится *mare rigidum**, и корабли могут сгореть в отвесных солнечных лучах. Никто не в состоянии жить в тех местах, там не растут ни деревья, ни травы; мореплавателям суждено погибнуть от жары в море и от голода на суше.

Но есть и другие ученые — еврейские и арабские, — они возражают. Надо бы отважиться. Эти небылицы распускают мавританские купцы, чтобы запугать христиан. Великий географ Идриси уже давно установил, что на юге лежит плодородная земля Билад Гана (Гвинея), откуда караваны мавров, пересекая пустыню, привозят черных рабов. Ученые утверждают, что видели карты, арабские карты, на которых был обозначен путь вокруг Африки. Теперь, когда новые приборы позволяют определять широту, а завезенная из Китая магнитная игла указывает направление к полюсу, можно попытаться пройти вдоль побережья. Можно отважиться, если построить корабли покрупнее и понадежнее. Принц Энрике отдает приказ. И великое дерзание начинается.

1450. Началось великое дерзание, бессмертный португальский подвиг. В 1419 году открыта, или, вернее, открыта вновь, Мадейра, а в 1435-м находят давно разыскиваемые «*Insulae Fortunatae*» — «Счастливые острова» древних. Почти каждый год приносит новые успехи. Обогнули мыс Верду — Зеленый Мыс, в 1445-м достигли Сенегала, и посмотрите-ка — всюду пальмы, и плоды, и люди. Теперь новое время уже знает больше, чем мудрецы древности, и Нунию Триштан может торжествующе сообщить, что он в своем плавании «с дозволения его милости Птолемея» открыл плодородный край там, где великий грек начисто отвергал всякую возможность жизни.

Впервые за тысячелетие мореплаватель осмеливается с насмешкой говорить о всеведущем мудреце-географе. Но

* Медленно текущим морем (лат.).

вые герои превосходят один другого — Дьогу Кам и Диниш Диаш, Кадамосто и Нунью Триштан, каждый из них высаживается на дотоле неприступном берегу и водружает горделивый мемориальный камень с португальским крестом в знак присоединения этой земли к Португалии. Мир с изумлением следит за успехами маленького народа, продвигающегося в неведомых просторах, — народа, который собственными силами совершает то, «чего никто еще не совершал» — «feito nunca feito».

1486. Победа! Обогнули Африку! Бартоломеу Диаш обошел мыс Торментозо (мыс Доброй Надежды). Дальше путь лежит не на юг. Теперь необходимо править только на восток, через океан, с попутным муссоном, в направлении, уже известном по картам, которые привезли португальскому королю два еврея, посланных им к христианскому царю Абиссинии, пресвитеру Иоанну, и тогда можно достигнуть Индии. Но команда Бартоломеу Диаша изнурена и лишает его возможности совершить подвиг, который впоследствии прославит Васко да Гаму. На сей раз довольно! Путь найден. Никому больше не опередить Португалию!

1492. И все же Португалию опередили! Произошло нечто невероятное. Некий Колон, или Колом, или Колумбо, «*Christophorus quidam Colonus vir Ligurus*»*, как сообщает Петр Мартир, по другому же сообщению, «совершенно неизвестный человек» — «*und persona qui pinguna persona conoscia*» — отправился под испанским флагом в открытый океан — на запад, вместо того чтобы идти восточным путем вокруг Африки, и — чудо из чудес! — «этим кратчайшим путем» — «*brevissimo cammino*» — достиг, по его свидетельству, Индии. Правда, ему не довелось повидать Кубла-хана, о котором рассказывал Марко Поло, но, по его словам, он дошел сперва до острова Зипангу (Япония), а затем высадился в Манги (Китай). Еще несколько дней плавания — и он достиг бы Ганга.

*Некто Христофор Колон, лигуриец, то есть генуэзец (лат.).

Европа удивлена: Колумб вернулся с диковинными краснокожими индейцами, попугаями, редкостными животными и с бесконечными рассказами о золоте. Странно, странно: значит, земной шар все же меньше, чем думали, значит, Тосканелли говорил правду. Из Испании и Португалии надо плыть на запад всего лишь три недели, чтобы достичь Китая или Японии, а там до «Островов пряностей» рукой подать; значит, просто глупо странствовать по полугоду вокруг Африки, как это делают португальцы, раз Индия со всеми ее сокровищами лежит так близко от Испании. И вот Испания прежде всего обеспечивает себя папской буллой, которая закрепляет за ней не только путь на Запад, но и все открытые на этом пути земли.

1493. Колумб — теперь уже не «некто» — «quidam», — он великий адмирал ее королевского величества и вице-король вновь открытых провинций. Колумб вторично отправляется в Индию. Он везет с собой письма королевы Испании великому хану, которого на сей раз твердо надеется застать в Китае; его сопровождает тысяча пятьсот человек — воины, матросы, поселенцы и даже музыканты, «чтобы развлекать туземцев». Он везет с собой окованные железом сундуки для золота и драгоценных камней, которые собирается привезти домой из Зипангу и Каликута.

1497. Другой мореплаватель, Себастьян Кабот, отправился через океан от берегов Англии. И удивительно, он тоже достиг материка. Неужели это древний «Винланд», который знали викинги? Или Китай? Во всяком случае, чудесно, что океан, что «mare tenebrosum», покорен и вынужден теперь раскрывать отважным свои тайны одну за другой.

1499. Торжество в Португалии, сенсация в Европе! Васко да Гама возвратился из Индии, обогнув опасный мыс Доброй Надежды. Он выбрал другой путь, более далекий и трудный, но высадился на берег около Каликута, посетил сказочно богатых «заморинов», и — не в пример Колумбу, побывавшему только на мелких островах и в наиболее уединенных местах материка, — видел самое сердце Индии и ее сокровищницы.

И вот уже снаряжают другую экспедицию, ее возглавит Кабрал. Испания и Португалия соперничают, кто раньше окажется в Индии.

1500. Новое событие. Кабрал на своем пути вокруг Африки слишком далеко отклонился на запад и снова столкнулся с материком на юге, так же как Кабот на севере. Что же это — Антилия, легендарный остров старых карт? Или это опять Индия?

1502. Происходит столько событий, что их не обозреть и не постичь; за десять лет открыто больше, чем за тысячелетие. Один за другим корабли выходят из гаваней, и каждый привозит домой новые вести. Словно прорвали вдруг заколдованную пелену, всюду — на севере, на юге — открываются земли. Каждый корабль, плывущий на запад, находит новый остров. В календаре со всеми его святыми уже не хватает имен, чтобы дать названия всем открытиям. Тысячи таких островов, по уверению адмирала Колумба, открыл он сам, своими глазами видел реки, берущие начало в раю.

Но странно, странно! Почему же все эти острова, все эти диковинные страны индийского побережья были не ведомы ни древним, ни арабам? Почему об этих странах не упоминает Марко Поло, а то, что он сообщает о Зипангу и Зайтуне, совсем непохоже на то, что видел адмирал? Все так сумбурно, так противоречиво, все полно тайны — и, право, не знаешь, чему верить об этих островах на западе. Неужели и впрямь уже объехали вокруг света, неужели Колумб действительно был так близок от Ганга, как он уверяет, и мог бы, продолжая путь на запад, встретиться с Васко да Гамой, если бы тот шел на восток?

Земной шар! Меньше он или больше, чем считали раньше?.. Благодаря немецким печатникам книги теперь так легко достать. Хоть бы кто-нибудь объяснил все эти чудеса! С нетерпением ждут ученые, мореплаватели, купцы, князья, ждет вся Европа. Человечество хочет, наконец, после этих всех открытий знать, что же оно открыло. Решающее деяние века — это чувствует каждый — совершенно, но люди еще не понимают его смысла и значения.

ЗА ТРИДЦАТЬ ДВЕ СТРАНИЦЫ — БЕССМЕРТИЕ

1503. В самых различных городах — в Париже, во Флоренции, неизвестно где раньше, но почти повсюду одновременно — замелькало пять-шесть отпечатанных листов, озаглавленных: «Mundus Novus»*. Автором этого трактата, написанного по-латыни, называют некоего Альберика Веспучия, или Веспутия, который в форме письма к Лаврентию Петру Франциску Медичи сообщает об одном путешествии, предпринятом им по поручению короля Португалии в дотоле неизвестные страны.

Такие письменные сообщения о новых открытиях были в те времена нередки. Все крупные торговые дома Германии, Голландии, Италии — Вельзеры, Фуггеры, Медичи — и, кроме того, Синьория Венеции имеют своих корреспондентов в Лиссабоне и Севилье, которые в целях деловой информации шлют сведения о каждой успешной экспедиции в Индию. Письма этих торговых агентов, сообщающих, по сути, о коммерческих тайнах, весьма ценятся, и копии этих писем, так же как и карты-портуланы вновь открытых берегов, считаются дорогим товаром. Иной раз одна из таких копий попадает в руки предприимчивого книгоиздателя, и он ее немедленно размножает. Эти листы, заменявшие широкой публике еще неизвестные в те времена газеты, сообщают интересные новости. Их продают на ярмарках так же, как медицинские рецепты и индульгенции. Друг вкладывает эти листы в письмо или посылку к другу, и, таким образом, то, что первоначально было частным письмом маклера к своему шефу, становится достоянием гласности, как напечатанная книга.

Из всех листов того времени, начиная с первого письма Колумба от 1493 года, в котором он сообщал о своем прибытии на острова «близ Ганга», ни один не вызвал такого всеобщего интереса, таких серьезных последствий, как несколько листов

*Новый Свет (лат.).

дотоле совершенно неизвестного Альберика. Уже сам текст содержал нечто из ряда вон выходящее. Письмо это было переведено *ex italica in latinam linguam*, то есть с итальянского на латинский язык, «дабы все образованные люди знали, сколько замечательных открытий совершено в эти дни» (*quam multa miranda in dies reperiantur*), сколько неизвестных миров обнаружено и чем они богаты (*quanto a tanto tempore quo mundus cepit ignota sit vastitas terrae et quod continetur in ea*).

Уже одно это крикливое, зазывающее заглавие служит лакомой приманкой для всех жадно ожидающих новостей. Маленькую книжонку бойко раскупают. Ее многократно перепечатаывают в самых отдаленных городах, переводят на немецкий, голландский, французский, итальянский языки и сразу же включают в сборники отчетов о путешествиях, которые выходят теперь на всех языках; она становится межевым и даже, пожалуй, краеугольным камнем новой географии, о которой мир еще ничего не знает.

Большой успех маленькой книжонки совершенно понятен. Ведь неизвестный Веспутий, единственный из всех этих мореплавателей, умеет так хорошо и увлекательно рассказывать. Обычно на кораблях искателей приключений собираются неграмотные морские бродяги, солдаты и матросы, не умеющие даже поставить собственной подписи, и только изредка попадает «эскривано» — сухой юрист-грамотей, равнодушно нанизывающий факты, или кормчий, отмечающий градусы широты и долготы. Поэтому большинство людей на рубеже XV—XVI веков еще ничего не знает о том, что же, собственно говоря, скрыто в этих далеких краях.

Но вот появляется заслуживающий доверия и даже ученый человек, который не преувеличивает, не сочиняет, а честно рассказывает, как 14 мая 1501 года по поручению португальского короля он прошел океан и два месяца и два дня находился под небом, таким черным и грозовым, что не было видно ни солнца, ни луны. Он дает возможность читателю живо представить себе все ужасы и страхи, описывая, как он и его спутники потеряли всякую надежду благополучно достичь берега

на своих дырявых, источенных червями кораблях, но благодаря его опыту космографа 7 августа 1501 года — в других сообщениях приводится другая дата, однако к таким неточностям у этого ученого человека надо привыкнуть — они наконец увидели землю, и что это была за благословенная земля!

Тяжкий труд местным жителям неведом. Деревья не требуют ухода и приносят обильные плоды; реки и источники полны прозрачной, вкусной воды; море богато рыбой; исключительно плодородная земля родит сочные и совершенно неизвестные фрукты; прохладные бризы овевают эту щедрую землю, а густые леса делают приятными даже самые знойные дни. Здесь водятся тысячи разных животных и птиц, о существовании которых Птолемей не имел и понятия.

Люди живут в первобытной невинности; у них красноватый цвет кожи, потому что, объясняет путешественник, они с рождения и до самой смерти ходят нагими и загорели на солнце; у них нет ни одежды, ни украшений, ни вообще какого-либо имущества. Всем, что у них есть, они владеют сообща; также и женщинами, о доступности и страстности которых ученый господин рассказывает довольно пикантные анекдоты. Стыд и законы морали совершенно чужды этим детям природы; отец спит с дочерью, брат — с сестрой, сын — с матерью; никаких эдиповых комплексов, никаких стеснений, и все же эти люди могут дожить до ста пятидесяти лет, если — единственная их неблагоприятная особенность — не будут поканнибальски съедены. Короче говоря, «ежели где-либо существует земной рай, то, видимо, недалеко отсюда».

Прежде чем распрощаться с Бразилией, ибо это и есть описываемый им рай, Веспутий подробно рассказывает о красоте звезд, которые в иных образах и в иных созвездиях светят на этом благословенном южном небе, и обещает позже сообщить в книге еще многое как о данном, так и о других своих путешествиях, «дабы память о нем дошла до потомков» (*ut mei recordatio apud posteros vivat*), «дабы и в этой доцеле неизвестной части созданной Богом земли познать дивные деянья Господни».

Можно понять интерес, вызванный у современников таким живым и красочным рассказом. Потому что он не только возбуждал и одновременно удовлетворял любопытство, вызываемое этими незнакомыми землями, но одной своей фразой о том, что «земной рай, ежели он где-либо существует, то, видимо, недалеко отсюда», этот Веспутий невольно коснулся самой сокровенной надежды своей эпохи. Уже давно отцы церкви, особенно греческие богословы, выдвинули тезис, что Бог после грехопадения Адама отнюдь не разрушил рая. Он только перенес его на «противоположную землю», в недостижимое для людей пространство. Эта «противоположная земля», согласно богословской мифологии, должна находиться за океаном, то есть за пределами, недоступными для смертных. Но теперь, когда благодаря отваге первооткрывателей пересечен этот доселе непреодолимый океан и достигнуто полушарие, над которым светят иные звезды, теперь, быть может, осуществится наконец давнишняя мечта человечества и рай будет обретен снова?

Естественно, что описание безгрешного мира, который видел Веспутий, так удивительно совпадающее с представлением о мире до грехопадения, волнует людей того времени, живущих, подобно нам, под вечной угрозой катастроф. В Германии начинают объединяться крестьяне, не желающие больше терпеть барщину, в Испании свирепствует инквизиция и не оставляет в покое даже самых благонамеренных, в Италии и Франции бушуют войны. Тысячи и сотни тысяч людей, устав от ежедневных тягот, из одного отвращения к этому мятущемуся миру бегут в монастыри; нигде нет покоя, отдыха, нет мира для «простого человека», который не ищет ничего другого, кроме неприметного, ничем не тревожимого существования.

Но вот внезапно из города в город перелетают несколько узких листков бумаги и приносят весть о том, что надежный человек — не мошенник, не проходимец, не лгун, а ученый, посланный португальским королем, — открыл где-то далеко, за пределами досягаемости, новую страну, в которой еще мож-

но обрести мир для людей. Страну, где жизнь человека не омрачена борьбой за деньги, за собственность, за власть. Страну, где нет ни князей, ни королей, ни кровососов-крепостников, страну, где не надо работать до кровавых мозолей, чтобы добыть хлеб насущный, где земля щедра и кормит людей, где человек человеку не извечный враг. Эту древнюю религиозную мессианскую надежду разжег своим рассказом какой-то неизвестный Веспутий, он затронул одно из самых глубоких стремлений человечества — мечту об освобождении от власти традиций, денег, законов и собственности, извечную, неутолимую жажду к не отягощенной трудом и ответственностью жизни, мечту, которая брезжит в каждой человеческой душе, подобно смутному воспоминанию о рае.

Именно это обстоятельство, видимо, придало нескольким плохо отпечатанным листкам такую значительность и действенность, что они во много раз превзошли все другие сообщения, в том числе и донесения Колумба; но и слава, и всемирно-историческая роль этих маленьких листков основаны не на их содержании, не на воодушевлении, вызванном ими у современников. Главным событием, как ни странно, было даже не само письмо, а его заголовок, два слова, четыре слога «Mundus Novus», которые произвели ни с чем не сравнимую революцию в представлении человека о Земле.

До этого часа Европа считала самым крупным географическим событием эпохи то, что Индии, страны сокровищ и пряностей, достигли в течение одного десятилетия, следуя двумя различными маршрутами: Васко да Гама — двигаясь на восток, вокруг Африки, и Христофор Колумб — двигаясь на запад, через никем дотоле не пересеченный океан. В Европе с изумлением рассматривали сокровища, которые Васко да Гама привез домой из дворцов Каликута, с любопытством слушали рассказы о многочисленных островах, открытых великим адмиралом испанской королевы Христофором Колумбом у побережья, которое он считал побережь-

ем Китая. Значит, Колумб, судя по его восторженному сообщению, тоже побывал в стране великого хана, описанной Марко Поло; теперь, казалось, обошли вокруг света и с двух сторон добрались до Индии, которая была недостижима в течение тысячелетия.

Но вот появляется другой мореплаватель, какой-то удивительный Альберик, и сообщает нечто еще более поразительное. Оказывается, земля, которой он достиг по пути на запад, вовсе не Индия, а совершенно неизвестная страна между Азией и Европой и, следовательно, новая часть света. Вспуганный так и пишет, что области, открытые им по поручению португальского короля, можно с уверенностью назвать Новым Светом, «*Novum Mundum appellare licet*» — и подробно обосновывает свое мнение:

«Никто из наших предков не имел ни малейшего понятия о странах, которые мы видели, и о том, что в них находится; наши знания далеко превзошли знания предков. Большинство из них полагало, что южнее экватора нет материка, а только беспредельный океан, который они называли Атлантическим; и даже те, кто считал возможным наличие здесь материка, по разным причинам придерживались мнения, что он не может быть обитаем. Теперь мое плавание доказало, что такой взгляд неверен и резко противоречит действительности, ибо южнее экватора я обнаружил материк, где некоторые долины гораздо гуще населены людьми и животными, нежели в нашей Европе, Азии и Африке, к тому же там более приятный и мягкий климат, чем в других знакомых нам частях света».

Эти скупые, но полные уверенности строки делают «*Mundus Novus*» памятным документом человечества; в них заключена первая Декларация о независимости Америки, написанная за двести семьдесят лет до второй. Колумб до своего смертного часа был слепо уверен в том, что, высадившись на островах Гуанаханн и Кубу, ступил на землю Индии, и этим своим заблуждением он, по существу, сузил для своих совре-

менников вселенную; и лишь Веспуччи, опровергая предположение, будто бы новый материк является Индией, и с уверенностью утверждая, что это — новый мир, дает другие, действительные и доныне масштабы вселенной.

Веспуччи снимает пелену, заслонявшую от взора великого Колумба все значение его собственного подвига, и хоть сам Веспуччи даже отдаленно не подозревал, каковы действительные размеры этого материка, он, по крайней мере, понял самостоятельное значение его южной части. В этом смысле Веспуччи действительно завершил открытие Америки, ибо каждое открытие, каждое изобретение становится ценным не только благодаря тому, кто его совершил, но еще больше благодаря тому, кто раскрыл его истинный смысл и действенную силу; если Колумбу принадлежит заслуга подвига, то Веспуччи благодаря этому его высказыванию принадлежит историческая заслуга осмысления подвига. Подобно толкователю снов, он сделал зримым то, что его предшественник открыл, блуждая во сне.

Велико радостное изумление, вызванное сообщением этого дотоле неизвестного Веспутя, оно поражает воображение людей того времени даже глубже и устойчивее, чем само открытие генуэзца. Весть о том, что найден новый путь в Индию и что можно, отправившись из Испании, достичь стран, давно описанных Марко Поло, увлекла более широкими торговыми возможностями лишь небольшой круг непосредственно заинтересованных людей: купцов и торговцев Антверпена, Аугсбурга, Венеции, которые уже усердно высчитали, по какому пути — на восток ли, как Васко да Гама, или на запад, как Колумб, — выгоднее посылать корабли за пряностями, перцем и корицей.

Сообщение этого Альберика о том, что среди океана найдена новая часть света, действует на воображение широких масс с непреборимой силой. Не легендарный ли то остров древних, Атлантида? А может быть, это блаженные острова Алкионы? У людей того времени удивительно возросла уверенность в своих силах благодаря сознанию, что Земля куда более обшир-

на и богата неожиданностями, чем предполагали даже самые мудрые мужи древности, и что именно они, их поколение, призваны раскрыть последние тайны нашей планеты. Понятно, с каким нетерпением ученые, географы, космографы, печатники, а за ними вся огромная масса читателей ждут, когда же этот никому не ведомый Альберик выполнит свое обещание и подробнее расскажет о своих исследованиях и путешествиях, которые впервые дадут человечеству правильное представление о размерах земного шара.

Нетерпеливым не пришлось долго ждать. Двамя-тремя годами позже один флорентийский печатник, предусмотрительно скрывший свое имя — впоследствии нам станет ясно, по каким причинам, — выпустил в свет тоненькую брошюрку в шестнадцать страниц на итальянском языке. Она озаглавлена: «Lettera di Amérigo Vespucci delle isole nuovamente trovate in quattro suoi viaggi» (Письмо Америго Веспуччи об островах, открытых им во время его четырех путешествий), и в конце сказано: «Data in Lisbona a di 4 settembre 1504, Servitore Amérigo Vespucci in Lisbona»*.

Уже из заглавия мир наконец узнает побольше об этом таинственном человеке. Во-первых, его зовут Америго, а не Альберик, и Веспуччи, а не Веспутий. Из предисловия, адресованного некоему влиятельному лицу, явствуют другие подробности жизни автора. Веспуччи сообщает, что родился во Флоренции и направился в Испанию в качестве торговца (*per tractare mercantie*). Четыре года занимался он торговлей и за это время убедился, что счастье изменчиво, «что свои преходящие и непрочные блага оно дарит неравномерно и возносит человека на вершину лишь для того, чтобы тут же низвергнуть его оттуда и лишить всех, так сказать, временно одолженных ему благ». Но так как он вместе с тем увидел, с какими опасностями

* Написано в Лиссабоне, 4 сентября 1504, Америго Веспуччи, служащим в Лиссабоне (*ит.*).

ми и трудностями сопряжена охота за прибылями, то он решил отказаться от торговли и посвятить себя более высокой и благородной цели, а именно, решил посмотреть на мир и его чудеса (*mi disposi d'andare a vedere parte del mondo e le sue maraviglie**).

Для этого представилась благоприятная возможность. Король Кастилии снарядил для открытия новой земли на западе четыре корабля, и ему, Веспуччи, разрешили ехать с этой флотилией, чтобы «содействовать открытию» (*per aiutare a discoprire*). Но Веспуччи сообщает не только об этом первом своем путешествии, но и о трех других (уже описанных в «*Mundus Novus*»). Он предпринял следующие путешествия — важна хронология:

первое — с 10 мая 1497 по 15 октября 1498 под испанским флагом;

второе — с 16 мая 1499 по 8 сентября 1500, тоже по повелению короля Кастилии;

третье («*Mundus Novus*») — с 10 мая 1501 по 15 октября 1502 под португальским флагом;

четвертое — с 10 мая 1503 по 18 июня 1504, тоже по заданию португальцев**.

Эти четыре путешествия ввели неизвестного купца в ряды великих мореходов и первооткрывателей своего времени.

Кому адресовано «*Léttera*», письмо о четырех путешествиях, в первом издании не указано; лишь в более поздних сообщается, что оно было послано гонфалоньеру — правителю Флоренции Пьетро Содерини, чему, однако, до сегодняшнего дня нет точного доказательства: в литературной продукции Веспуччи впоследствии обнаружится много неясностей. Впрочем, за исключением нескольких риторических упражнений в вежливости, которыми начинается письмо, его форма так же

* Мне захотелось путешествовать, чтобы повидать часть мира и его чудеса (*лат.*).

** Следует отметить, что эта хронология дается в одном из изданий письма Веспуччи и не соответствует другим изданиям и сохранившимся документам. — *Примеч. авт.*

легка и увлекательна, а содержание так же многообразно, как и в «Mundus Novus».

Веспуччи не только приводит новые подробности об «эпикурейской жизни» неизвестных народов, но ярко описывает битвы, кораблекрушения, драматические столкновения с каннибалами и гигантскими змеями; сведения о многих животных и предметах обихода (например, о гамаке) впервые вошли в историю культуры по его описаниям. Географы, астрономы, купцы находят у него ценные сведения, ученые — ряд тезисов, которые они могут обсуждать и истолковывать, не остается внакладе и широкая масса просто любопытных. В заключение Веспуччи обещает, что когда заживет на покое в своем родном городе, то закончит большой и, собственно, свой основной труд о новых частях света.

Но Веспуччи так и не приступил к этому большому сочинению или, может быть, оно до нас не дошло, так же как и его дневники. Таким образом, тридцать две страницы (из которых описание третьего путешествия представляет собой лишь вариант «Mundus Novus») — вот все литературное наследие Америго Веспуччи, крохотный и не слишком ценный багаж для дороги в бессмертие. Можно без преувеличения сказать: никогда еще человек, написавший так мало, не становился так знаменит; надо было нагромоздиться случайности на случайность, ошибке на ошибку, дабы поднять это произведение столь высоко над его эпохой, чтобы и наш век сохранил это имя, которое вместе со звездным знаменем взлетает к звездам.

Первая случайность и одновременно первая же ошибка вскоре приходят на помощь этим не имеющим особого значения тридцати двум страницам. Предприимчивый итальянский печатник еще в 1504 году правильно почувал, что время благоприятствует выпуску сборника рассказов о путешествиях. Венецианец Альбертино Верчеллезе впервые собирает в один томик все отчеты о путешествиях, попадающиеся ему на глаза. Эта «Libretto de tutta la navigazione del Ré de Spagna e

terreni nuovamente trovati»*, включающая рассказы о плаваниях Кадамосто и Васко да Гама, а также о первом плавании Колумба, находит такой хороший сбыт, что в 1507 году другой печатник решается издать в Виченце более объемистую (в 126 страниц) антологию (под редакцией Дзордзи и Монтальбодо), которая содержит описания португальских экспедиций Кадамосто, Васко да Гамы, Кабрала, первых трех плаваний Колумба и «Mundus Novus» Веспуччи. Роковым образом издатель антологии не находит для нее лучшего заглавия, чем «Mondo novo e paesi nuovamente ritrovati da Alberico Vesputio florentino» («Новый Свет и новые страны, открытые Альберико Веспуччи из Флоренции»).

С этого и начинается великая «Комедия ошибок». В заглавии антологии кроется опасная двусмысленность: оно позволяет думать, будто Веспуччи не только назвал Новым Светом все новые страны, но и сам все эти новые страны открыл; всякий, кто лишь бегло взглянет на титульный лист антологии, невольно впадет в такую ошибку. И вот эта книга, многократно переиздаваемая, проходит через тысячи рук и с опасной быстротой разносит все дальше ложное сообщение, будто бы Веспуччи и есть первооткрыватель этих новых стран.

Маленькая глупая случайность, происшедшая по вине ничего не подозревающего печатника из Виченцы, поставившего на титульном листе антологии вместо имени Колумба имя Веспуччи, приносит славу также ничего не подозревавшему Веспуччи, который, вовсе о ней не зная, без своего ведома и желания становится узурпатором чужого подвига.

Безусловно, одной этой ошибки было бы недостаточно для создания огромной, веками упроченной славы. Но пока это только первый акт и даже пролог к нашей «Комедии ошибок». Понадобится сцепление все новых и новых случайностей, прежде чем будет соткана паутина великого заблуждения. И странным образом именно теперь — поскольку литературный

* «Книжица обо всех плаваниях короля Испании и вновь открытых землях» (ит.).

труд всей жизни Веспуччи, ограничивающийся скромными тридцатью двумя страничками, уже закончен — начинается увековечение Веспуччи, быть может, самое гротескное, какое только знает история человеческой славы. И слава эта зарождается в местечке, где Веспуччи никогда не бывал и о существовании которого купец-мореход из Севильи не имел ни малейшего представления: в городке Сен-Дье.

НОВАЯ ЧАСТЬ СВЕТА ПОЛУЧАЕТ ИМЯ

Тот, кто никогда не слышал названия городка Сен-Дье, не должен упрекать себя в незнании географии: даже ученым понадобилось больше двухсот лет, чтобы отыскать, где же, собственно, расположен этот богоданный город «*Sancti Deodati oppidum*»*, оказавший столь решающее влияние на возникновение названия Америки.

Затерянный в глубине Вогезов, входивший в состав давно исчезнувшего герцогства Лотарингии, этот городок не имел никаких заслуг, которые могли бы привлечь к нему внимание мира. Правивший в то время Рене II, так же как и его знаменитый предок «Добрый король Рене», носил, правда, титул короля Иерусалима и Сицилии и графа Прованса, однако в действительности являлся герцогом одной лишь этой маленькой части лотарингской земли, которой он честно управлял, питая любовь к наукам и искусствам.

Странным образом — история любит игру малых совпадений — именно в этом городке однажды уже вышла книга, оказавшая влияние на открытие Америки: это здесь епископ д'Айи издал свою работу «*Imago mundi*»**, которая одновременно с письмом Тосканелли решительно побудила Колумба отправиться в поисках Индии на запад. До самой своей смерти адмирал всюду возил с собой как руководство эту книгу, хорошо сохранившийся экземпляр пестрит пометками, сделанны-

* Город Святого Деодата (*лат.*).

** «Картина мира» (*лат.*).

ми на полях его рукой. Таким образом, нельзя отрицать некой еще доколумбовской связи между Америкой и Сен-Дье. Но лишь при герцоге Рене в этом городке происходит то диковинное происшествие — или ошибка, — которой Америка навеки обязана своим наименованием.

Под покровительством Рене II и, вероятно, при его денежной поддержке в маленьком городке Сен-Дье собираются несколько гуманистов; они создают своеобразную коллегию, которая называется *Gymnasium Vosgianum**, и этот гимнасий ставит перед собой цель распространять науку путем преподавания или печатания ценных книг. В этой крошечной академии для общей работы на благо культуры объединяются светские и духовные деятели; может быть, никто и никогда не узнал бы об их ученых спорах, если бы — около 1507 года — некий печатник Готье Люд не решил установить там печатный станок и начать печатать книги.

Место было выбрано удачно, потому что в этой маленькой академии Готье Люд находит необходимых ему людей, которые могут быть редакторами, переводчиками, корректорами, художниками-иллюстраторами. К тому же недалеко и до Страсбурга с его университетами и ценными помощниками. И так как герцог взял академию под свое покровительство, то в маленьком захолустном городке могут решиться и на более серьезное дело.

Какое же это дело? С тех пор как новые открытия год за годом расширяют познания мира, любознательность века устремлена к географии. До того времени была издана лишь одна-единственная классическая книга по географии — «*Cosmographia*»** Птолемея, чьи текст и карты в течение веков считались учеными Европы непревзойденными и непогрешимыми. С 1475 года она в латинском переводе стала доступна всем образованным людям и рассматривалась как незаменимый всеобщий Свод знаний о мире; то, что утверждал или

* Вогезский гимнасий (лат.).

** «Космография» (лат.).

изображал на своих картах Птолемей, считалось неоспоримым уже в силу его авторитета, его имени.

Но именно в эту последнюю четверть пятнадцатого столетия познание Вселенной расширилось больше, чем за все предыдущие столетия. И Птолемея, который в течение тысячелетий знал больше, чем все космографы и географы после него, внезапно опровергло и перегнало несколько отважных мореплавателей и искателей приключений. Тот, кто захочет теперь вновь издать книгу «Cosmographia», должен исправить ее и дополнить; ему нужно нанести на старые карты новые берега и острова, обнаруженные на западе. Опыт должен подправить традицию, а скромная поправка еще более укрепит доверие к классическому труду — если желать, чтобы Птолемей и впредь считался всеумудрым, а его книга непререкаемой. До сих пор никому, кроме Готье Люда, не приходила в голову мысль вновь довести до совершенства эту уже несовершенную книгу. Ответственная и в то же время многообещающая задача, а следовательно, самая подходящая для ученого общества, собравшегося в Сен-Дье для общего дела.

Готье Люд не простой печатник, он также секретарь герцога и капеллан, образованный и к тому же богатый человек; присмотревшись к небольшому кружку, он признает, что трудно подобрать более подходящих людей. Рисованием и гравированием карт готов заняться молодой математик и географ Мартин Вальдземюллер, который в соответствии с обычаями того времени подписывает свои научные труды на греческий лад: «Хилакомил». Двадцати семи лет от роду, воспитанник университета в Брейсгау, он сочетает в себе свежесть и отвагу молодости с хорошими знаниями и незаурядными способностями к рисованию, что на десятилетия обеспечит ему превосходство над другими картографами. Здесь же находится молодой поэт Маттиас Рингманн, назвавший себя Филезием, — весьма подходящий для того, чтобы снабжать ученое произведение поэтическими введениями и со вкусом отшлифовать латинские тексты. Нет недостатка и в хорошем переводчике: он найден в лице Жана Базена, подлин-

ного гуманиста, владеющего не только древними, но и современными языками.

С такой ученой компанией можно уверенно приступить к пересмотру прославленного труда Птолемея. Но где найти материалы для описания вновь открытых стран? Не был ли некий Веспутий первым, кто привлек внимание к Новому Свету? Маттиас Рингманн еще в 1505 году опубликовал в Страсбурге «Mundus Novus» под заглавием: «De Ora Antarctica»*. И он дает совет органически дополнить птолемеевский труд, приложив к нему итальянское «Léttera» в переводе на латинский язык, которое до тех пор еще не было известно в Германии.

Само по себе это было добросовестным и весьма похвальным начинанием, но честолюбие издателей сыграло с Веспуччи плохую шутку, и, таким образом, затягивается второй узел той веревки, которую потомки сплетут для ничего не подозревающего Веспуччи.

Вместо того чтобы сказать чистую правду, что они просто перевели «Léttera» — сообщение Веспуччи о его четырех путешествиях в той форме, в какой оно появилось во Флоренции, с итальянского на латынь, — гуманисты из Сен-Дье отчасти для того, чтобы придать большую значительность своим публикациям, а отчасти для того, чтобы прославить перед всем миром своего покровителя герцога Рене, придумали романтическую историю. Они постарались создать у читателя впечатление, что Америго Веспутий, первооткрыватель этих новых миров и знаменитый географ, будучи особым другом и почитателем их герцога, якобы прислал ему непосредственно в Лотарингию свое «Léttera», и, таким образом, предлагаемое издание является первой публикацией. Какая честь для их герцога! Величайший и знаменитейший ученый эпохи посылает описание своего путешествия только королю Испании и еще одному лицу, а именно правителю этого карликового княжества.

* «Об Антарктическом поясе» (лат.).

Чтобы как-то подкрепить эту скромную мистификацию, изменяется посвящение: вместо итальянского «Magnificenza»* подставлено: «Illustrissimus rex Renatus»**, а, кроме того, чтобы как можно лучше скрыть, что налицо простой перевод с итальянского подлинника, добавлено примечание: «Веспуччи-де прислал свое произведение на французском языке и лишь insignis poëta*** Иоанн Базин (Жан Базен) перевел его ex gallico, с французского, на благородную латынь (qua pollet elegantia latina interpretavit).

При более близком рассмотрении этот честолюбивый обман оказывается весьма прозрачным, так как «insignis poëta» работал слишком поспешно и не скрыл тех мест, которые совершенно ясно говорили об итальянском происхождении текста. Базен по оплошности позволяет Веспуччи рассказывать лотарингскому «королю Ренату» такие вещи, которые могли иметь значение только для Медичи или Содерини, например, что оба они одновременно учились у дяди Америго — Антонио Веспуччи — во Флоренции. Или Веспуччи, например, говорит о Данте как о «poëta nostro», то есть «нашем поэте», что, конечно, имеет смысл, лишь когда итальянец пишет итальянцу.

Но должны пройти столетия, прежде чем вскрыется этот обман, в котором Веспуччи так же неповинен, как и во всех других. В сотнях произведений (вплоть до новейшего времени) письмо Веспуччи о его четырех путешествиях рассматривается как адресованное действительно герцогу Лотарингии; так вся слава и весь позор Веспуччи нагромождаются на фундамент, созданный одной лишь книгой, напечатанной без его ведома в глухом уголке Вогезов.

Однако обо всем, что совершилось на заднем плане и в коммерческих целях, люди того времени и не подозревали. Книгопродавцы, ученые, князья, купцы просто обнаружили

* Величество (*ит.*).

** Светлейший король Рене (*лат.*).

*** Знаменитый поэт (*лат.*).

однажды, 25 апреля 1507 года, на книжном рынке небольшую книжку в пятьдесят две страницы, озаглавленную: «*Cosmographiae Introductio. Cum quibusdam geometriae ac astronomiae principiis ad eam rem necessariis. Insuper quatuor Americi Vesputii navigationes. Universalis cosmographiae descriptio tam in solido quam plano eis etiam insertis quae in Ptolemaeo ignota a nuperis reperta sunt*» («Введение в космографию с необходимыми для оной основами геометрии и астрономии. К сему четыре плавания Америго Веспуччи и, кроме того, описание (карта) Вселенной как на глобусе тех частей света, о которых не знал Птолемей и которые открыты в новейшее время»).

На каждого, раскрывающего эту маленькую книжонку, прежде всего низвергается тщеславие издателей, жаждущих выставить напоказ свои поэтические таланты: короткое посвящение императору Максимилиану в латинских стихах, написанное Маттиасом Рингманном, и предисловие Вальдземюллера-Хилакомила, также обращенное к императору, к стопам которого он кладет эту книгу; лишь после того, как честолюбие обоих гуманистов удовлетворено, начинается научный текст Птолемея, а к нему после краткого вводного сообщения прилагается описание четырех плаваний Веспуччи.

Благодаря публикации в Сен-Дье имя Америго Веспуччи поднято еще на одну значительную ступень, но, разумеется, вершина еще не достигнута. В итальянской антологии «*Paesi puovamente ritrovati*»* имя Веспуччи на титульном листе получает довольно двусмысленное значение: он назван открывателем Нового Света, однако в тексте книги его путешествия отмечаются еще в одном ряду с путешествиями Колумба и других мореплавателей. Но в «*Cosmographiae Introductio*» имя Колумба уже вовсе не упоминается; возможно, это случайность, в которой повинно невежество вогезских гуманистов,

* «Вновь открытые страны» (ит.).

но какая роковая случайность! Ибо вся честь и слава великого открытия достаются в таком случае Веспуччи, и только одному Веспуччи.

Во второй главе при описании мира, каким его знал еще Птолемей, сказано, что хотя границы этого мира были расширены и другими людьми, но человечество узнало об этом впервые лишь благодаря Америго Веспутию (*nuper vero ab Americo Vesputio latius illustratiam*)*. В пятой главе Веспуччи уже определенно назван первооткрывателем этих новых областей: «*Et maxima pars Terrae semper incognitae nuper ab Americo Vesputio repertae*»**. И вот в седьмой главе внезапно впервые мелькает предложение, которое примут последующие века; говоря о четвертой части земли, «*quarta orbis pars*», Вальдземюллер высказывает свое личное предложение: «*quam quia Americus invenit Amerigem quasi Americi terram, sive Americam punsurare licet*» («Поскольку эту четвертую часть света нашел Америко, ее следовало бы с этого дня называть Землей Америко, или Америкой»).

Эти строки и являются, собственно, свидетельством о крещении, выданном Америке. Впервые это имя появляется на книжном листе, впервые, отлитое в буквы, размножено печатным станком. И если день 12 октября 1492 года, когда Колумб увидел с палубы «Святой Марии» окутанное туманом побережье острова Гуанахани, можно считать днем рождения нового континента, то 25 апреля 1507 года, день, когда с печатного станка сошла «*Cosmographiae Introductio*», можно назвать днем именин континента.

Правда, это всего лишь предложение, высказанное в тихом городке пока еще никому не известным двадцатисемилетним гуманистом, но оно так восхищает его самого, что он повторяет свое предложение уже более настойчиво. В девятой главе Вальдземюллер отводит ему целый абзац. «Сегодня, — пишет

* Недавно Америк Веспутий, поистине говоря, шире оповестил об этом человечество (*лат.*).

** И большая часть Земли, дотоле неведомая, недавно открыта Америком Веспутием (*лат.*).

он, — эти части света (Европа, Африка и Азия) уже полностью исследованы, а четвертая часть света открыта Америком Веспутием. И так как Европа и Азия названы именами женщин, то я не вижу препятствий к тому, чтобы назвать эту новую область Америгой, Землей Америго, или Америкой, по имени мудрого мужа, открывшего ее». Вот как это звучит по-латыни: «Nunc vero et hae partes sunt latius lustratae et alia quarta pars per Americum Vesputium (ut in sequentibus audietur) inventa est, quam non video cur quis iure vetet ab Americo inventore sagacis ingenii viro Amerigem quasi Americi terram sive Americam dicendam: cum et Europa et Asia a mulieribus sua sortita sunt nomina».

Помимо этого Вальдземюллер печатает слово «Америка» на полях страницы и, кроме того, вписывает его в приложенную к книге карту мира. С этого часа, сам того не подозревая, смертный Америго Веспуччи предстает в ореоле бессмертия; с этого часа Америка, впервые названная Америкой, сохранит это наименование навечно.

Но ведь это же нелепость, возмутится иной взволнованный читатель. Как смеет какой-то двадцатисемилетний провинциальный географ оказывать столь великий почет человеку, который никогда не открывал Америки и вообще-то опубликовал всего тридцать две страницы довольно сомнительных сообщений; как может он назвать его именем огромный континент?

Однако такое возмущение — анахронизм; оно исходит не из понимания реальной исторической обстановки, а из суждения с точки зрения сегодняшнего дня. Мы, люди современности, бессознательно впадаем в ошибку, когда, произнося слово «Америка», невольно думаем об огромной части земного шара, простирающейся от Аляски до Патагонии. О такой протяженности только открытого «Mundus Novus» тогда, в 1507 году, не имел никакого представления ни добрый Вальдземюллер, ни другой смертный.

Достаточно беглого взгляда на географические карты нача-

ла шестнадцатого века, чтобы понять, каким представляла себе тогдашняя космография этот «Mundus Novus». В мутной похлебке Мирового океана плавают бесформенные ломти суши, только по краям слегка надкусанные любопытством первооткрывателей. Крохотную часть Северной Америки, где высадились Кабот и Кортериал, еще относят к Азии, так что поездка из Бостона в Пекин в тогдашнем представлении требует лишь нескольких часов. Флорида считается большим островом, расположенным неподалеку от Кубы и Гаити, а вместо Панамского перешейка, связующего Северную Америку с Южной, раскинулось широкое море. А еще южнее — новая, незнакомая земля (нынешняя Бразилия) нарисована в виде большого круглого острова, вроде Австралии; эту землю на картах называют: «Terra Sancta Crucis»*, или «Mundus Novus», или «Terra dos Papagaios»**, — все какие-то неудобнопроизносимые, неблагозвучные имена.

И хотя Веспуччи не был первым, кто открыл эти берега, а лишь первым описал их и познакомил с ними Европу, — Вальдземюллер, которому это неизвестно, только следует принятому обычаю, предлагая присвоить этой земле имя Америго. Бермуды называются по имени Хуана Бермудеса, Тасмания — по имени Тасмана, Фернандо-По — по имени Фернандо По, почему же не назвать еще одну новую землю именем человека, впервые описавшего ее? Это всего лишь дружественный жест признательности по отношению к ученому, который первым — и в этом историческая заслуга Веспуччи — установил, что открытая земля не относится к Азии, а является «*quarta pars mundi*»***, то есть представляет собой новую часть света.

Добрый Вальдземюллер и понятия не имел о том, что его предложение — присвоить имя Веспуччи одному лишь предполагаемому острову, «Земле Святого Креста», — станет на-

* Земля Святого Креста (лат.).

** Земля Попугаев (португ.).

*** Четвертая часть света (лат.).

именованием целой части света от Лабрадора до Патагонии, и тем самым будет обокраден Колумб, подлинный первооткрыватель этого континента. Но как мог знать об этом Вальдземюллер, если этого не знал сам Колумб, который так горячо и взволнованно доказывал, что Куба — это Китай, а Гаити — Япония? Так этим названием «Америка» была добавлена еще одна нить ошибки в и без того запутанный клубок; каждый, кто даже с самыми добрыми намерениями занимался проблемой Веспуччи, — пока лишь завязывал новый узелок и еще больше все запутывал.

Следовательно, Америка зовется Америкой только по недоразумению, и к тому же благодаря двойному совпадению случайностей. Если бы *insignis poëta* Жан Базен предпочел, переводя на латинский язык имя Америго, назвать его не Америком, а Альбериком, как это сделали до него другие, то Нью-Йорк и Вашингтон были бы сегодня городами не Америки, а Альберики. Но вот имя «Америка» впервые отлито в буквы, эти семь букв навечно соединены в одно слово, и оно переходит из книги в книгу, из уст в уста неудержимо, незабываемо.

Оно существует, оно укореняется, это новое слово, и не только благодаря случайному предложению Вальдземюллера, не в силу логики или нелогичности, не по праву или по несправедливости, но из-за присущего этому слову внутреннего благозвучия. «Америка» — это слово начинается и заканчивается самым полнозвучным гласным звуком нашего языка, сочетая его с разнообразным чередованием других звуков. Оно подходит для вдохновенного зова и хорошо запоминается, крепкое, полноценное, мужественное слово, такое подходящее для молодой страны, для сильного, пробуждающегося народа; сам того не сознавая, маленький географ, ошибившись в истории, совершил нечто обладающее глубоким смыслом, когда назвал подымающуюся из мрака страну словом, роднящим ее с Азией, Европой и Африкой.

Это завоевывающее слово. В нем властная сила, которая

неудержимо оттесняет все другие обозначения; прошло лишь несколько лет с тех пор, как появилась «Cosmographiae Introductio», а слово «Америка» вытеснило из книг и географических карт мира названия: «Terra dos Papagaios», «Isla de Santa Cruz», «Brazzil», «Indias Occidentales»*.

Завоевывающее слово. Из года в год оно захватывает в тысячу, в сто раз большее пространство, чем когда-либо мог мечтать добрейший Мартин Вальдземюллер. В 1507 году под «Америкой» подразумевается только северное побережье Бразилии, а юг с Аргентиной еще зовется «Brasilia Inferior»**.

Если бы так и осталось (в духе пожелания Вальдземюллера), если бы имя Америго было присвоено одному только побережью, впервые описанному Веспуччи, или даже всей Бразилии, никто не посмел бы обвинить Вальдземюллера в ошибке. Но проходит еще несколько лет, и вот уже наименование «Америка» включает в себя все Бразильское побережье, и Аргентину, и Чили, то есть земли, до которых флорентиец никогда не добирался, которых никогда не видел. Все, что открывают вправо и влево, кверху и книзу, южнее экватора, — все превращается в страну Веспуччи, и, наконец, спустя почти пятнадцать лет после выхода книги Вальдземюллера, всю Южную Америку называют «Америка». Все великие картографы капитулировали перед волей скромного школьного учителя из Сен-Дье — и Симон Гриней в своем атласе «Orbis Novus»***, и Себастьян Мюнстер в своих географических картах мира.

Но это еще не окончательная победа. Грандиозная «Комедия ошибок» все еще продолжается. На картах Северная Америка, словно другая часть света, все еще отделена от Южной, и, по неведению современников, ее то относят к Азии, то отделяют от материка Америка воображаемым проливом. Но вот наконец наука устанавливает, что этот континент составляет единое целое, что он тянется от одного Ледовитого моря

* «Земля Попугаев», «Остров Святого Креста», «Бразил» (португ.), «Западные Индии» (исп.).

** Нижняя Бразилия (лат.).

*** «Новый мир» (лат.).

до другого и что его должно объединять одно-единственное название. И тогда-то мощно вырастает гордое, непобедимое слово — плод смешения ошибки с правдой, заблуждения с истиной — и завладевает добычей.

Уже в 1515 году нюрнбергский географ Иоганнес Шённер в маленькой брошюрке, приложенной к его глобусу, широко-вещательно провозглашает *Americam sive Amerigem...** четвертой частью света — *...novum Mundum et quartam orbis partem...*** , а в 1538 году король картографов Меркатор составляет карту мира, на которую наносит как единое целое весь континент, каким мы его знаем сегодня, обе его части, обозначая все вместе названием «Америка»: АМЕ — стоит над Севером и РИКА — над Югом. С тех пор другого слова, кроме этого, не существует. За тридцать лет Веспуччи завоевал для себя, для своей грядущей славы четвертую часть мира.

Это крещение без ведома и согласия крестного отца — беспримерный случай в истории земной славы. Два слова «Mundus Novus» прославили, а три строки скромного географа обесмертили человека; никогда еще, пожалуй, случайность и заблуждение не порождали столь дерзкой комедии. Но история, которая столь же величественна в трагедии, сколь изобретательна в комедиях, придумывает для этой «Комедии ошибок» особенно изящное заострение. Предложение Вальдземюллера, едва став известным, с восторгом принимается. Одно издание следует за другим, каждое новое географическое сочинение вводит новое название «Америка» в честь ее *inventoris**** Америго Веспуччи, и прежде всего рисовальщики беспрекословно вписывают его в карты.

Всюду можно найти теперь слово «Америка», на каждом глобусе, на каждой гравюре, в каждой книге, в каждом письме. Этого имени нет только на одной-единственной карте, которая появилась в 1513 году, через шесть лет после выхода первой

* Америку, или Америгу (*лат.*).

** Новым миром и четвертой частью света (*лат.*).

*** Открывателя (*лат.*).

карты Вальдземюллера. Кто же этот упрямый географ, который не согласен с этим новым названием и отвергает его? Станным образом этим человеком оказывается тот, кто его придумал: сам Вальдземюллер. Испугался ли он, подобно ученику колдуна из гётевского стихотворения, который одним словом превратил метлу в неистово деятельное существо, но не знал другого слова, способного укротить вызванный заклятием дух? То ли ему указали, — быть может, даже сам Веспуччи, — что он допустил несправедливость по отношению к Колумбу, приписав его подвиг тому, кто лишь понял значение этого подвига? Ничего не известно! И никогда не выяснится, почему именно Вальдземюллер пожелал отобрать у нового континента им же самим придуманное наименование.

Но теперь уже поздно вносить какие бы то ни было исправления! Редко способна истина угнаться за легендой. Слово, выпущенное в мир, черпает силу из этого мира и живет свободно, не завися от того, кто дал ему жизнь. Тщетно пытается одинокий маленький человек стыдливо подавить и замолчать слово, которое он же сам впервые произнес. «Америка» — слово это уже носится в воздухе, оно перескакивает из одного шрифта в другой, из книги в книгу, из уст в уста, оно преодолевает пространство и время, оно неудержимо и бессмертно, потому что сочетает в себе действительность и мечту.

ВЕЛИКИЙ СПОР НАЧИНАЕТСЯ

1512. В Севилье несколько человек следуют за гробом, который выносят из церкви на кладбище. Незаметные, скромные похороны, не так хоронят человека богатого или знатного. К месту последнего упокоения несут какого-то королевского служащего, *piloto mayor de Casa de Contratación**, какого-то Деспуччи или Веспуччи. И никто в чужом городе не подозревает, что это и есть тот самый человек, чье имя будет носить

* Главного кормчего торговой палаты (*исп.*).

четвертая часть света. Историографы и летописцы ни единым словом не упоминают об этой безвестной кончине, и тридцать лет спустя в исторических трудах можно будет прочесть, что Америго Веспуччи якобы умер в 1534 году на Азорских островах. Незамеченным скончался крестный отец Америки. И так же тихо похоронили в 1506 году в Вальядолиде самого Adelantado*, великого адмирала Новой Индии, Кристофоро Колумбо. Ни король, ни герцог не провожали его гроба, и равным образом ни один летописец того времени не счел эту смерть достаточно значительным событием, чтобы оповестить о ней мир.

Две тихие могилы в Севилье и Вальядолиде. Могилы двух людей, часто встречавшихся при жизни, не избегавших друг друга и не питавших друг к другу неприязни. Два человека, воодушевленных одной и той же творческой любознательностью, честно и искренне помогавших друг другу, но над их могилами возникает ожесточенный спор. Без их ведома слава одного вступит в борьбу со славой другого; ошибки, непонимание, страсти и споры исследователей будут вновь и вновь разжигать соперничество между этими двумя великими мореплавателями, соперничество, которого никогда не было при их жизни. Но они сами не услышат этих споров и пересудов, как не слышат невнятной речи ветра, который пронесится над их могилами.

В этой гротескной борьбе одной славы против другой сперва потерпел поражение Колумб. Он умер побежденным, униженным, почти забытым. Человек одной-единственной мечты и одного лишь подвига, он пережил свое бессмертное мгновение в тот час, когда его мечта осуществилась, когда «Санта-Мария» пристала к берегу Гуанакани и впервые был пересечен дотоле недоступный Атлантический океан.

Еще и до этого момента великого гегуэзца считали безумцем, фантазером, путаником и беспочвенным мечтателем, а уж после этого — тем более, потому что Колумб не мог осво-

*Губернатора захваченных или открытых земель (*исп.*).

бодиться от той мечты, которая с самого начала увлекала его. Когда он впервые сообщает, что «проник в самые богатые царства на земле», когда он сулит золото, жемчуга и пряности из «Индии», которой он достиг, ему еще верят. Снаряжается могучая флотилия, полторы тысячи человек оспаривают друг у друга честь участия в плавании в страны Офир и Эльдorado, которые, по уверению Колумба, он видел собственными глазами; королева вручает ему завернутые в шелк письма к «великому хану» в Кинсае.

Но вот Колумб возвращается из своего большого плавания и привозит лишь несколько сот полуголодных рабов, которых благочестивая королева отказывается продавать. Несколько сот рабов и свое давнишнее заблуждение — уверенность, что он побывал в Китае и Японии; и это заблуждение становится тем безрассуднее, тем фантастичнее, чем меньше Колумб может подтвердить его фактами. На Кубе Колумб созывает свой экипаж и, угрожая непокорным сотней палочных ударов, заставляет их присягнуть перед escribano — нотариусом — в том, что Куба не остров, а материк — Китай. Беззащитные моряки, пожимая плечами за спиной безумца, подписывают присягу, не принимая ее всерьез, а один из них, Хуан де ла Коса, нисколько не задумываясь над вынужденной клятвой, спокойно наносит на составляемую им карту остров Кубу. Невзирая ни на что, Колумб снова пишет королеве, что «только канал отделяет его от золотого Херсонеса Птолемея» (полуострова Малакка), что «от Панамы до Ганга не дальше, чем от Пизы до Генуи».

Вначале при испанском дворе улыбаются этим безумным обещаниям, но постепенно они начинают вызывать недовольство. Экспедиции стоят огромных денег, а что привозят? Вместо обещанного золота — полумертвых рабов, вместо пряностей — сифилис. Острова, которые корона отдает Колумбу в управление, превращаются в страшные бойни, в опустошенные, усеянные трупами поля. За одно десятилетие на Гаити погиб миллион туземцев, переселенцы нищают и бунтуют, каждое письмо и каждый из разочарованных колонистов, бе-

гущих из этого «земного рая», приносят ужасные вести о жестоких страданиях. Вскоре в Испании убеждаются: этот фантазер умеет только мечтать, но не управлять; первое, что увидел со своего корабля новый правитель Бобадилья, посланный на смену Колумбу, были виселицы и на них, раскачиваемые ветром, трупы соотечественников. Колумба и двух его братьев отправляют в Испанию закованными в цепи, но даже после того, как Колумбу была возвращена свобода и восстановлены его честь и титул, ореол, окружавший его имя, окончательно потускнел.

Теперь, когда Колумб сходит на берег, его корабль уже не встречают с нетерпением. Напрасно просит он аудиенции при дворе — ему не дают никакого ответа, и этот старик, открывший Америку, вынужден униженно просить разрешения пользоваться в пути мулом. Но Колумб все продолжает обещать и с каждым разом все более фантастические вещи. Он сулит королеве, а затем и папе найти в следующем путешествии «рай», обещает совершить новый крестовый поход по кратчайшему пути и «освободить Иерусалим». В своей «Книге пророчеств» он предрекает грешному человечеству через полтора года светопреставление.

В конце концов никто уже больше не слушает этого fallador'a (болтуна) и его *imaginaciones con su Isha Cipangu* (бредней об острове Зипангу). Купцы, потерявшие из-за него деньги, ученые, презирующие его географические бредни, переселенцы, которых он разочаровал несбывшимися посулами, чиновники, завидующие его высокой должности, начинают создавать единый фронт против «адмирала москитных земель»; старика все больше загоняют в угол, и сам он покаянно признается: «Я говорил, что побывал в самых богатых царствах, я рассказывал о золоте, жемчуге, драгоценных камнях и пряностях, и когда ничего из этого не подтвердилось, я был опозорен». В 1500 году Кристофоро Колумбо — конченный человек, а в году 1506-м — год его смерти — в Испании его уже почти забыли.

И в последующие десятилетия о нем почти не воспомина-

ют — слишком быстро мчится время. Каждый год приносит вести о новых героических подвигах, о новых открытиях, новых названиях, новых победах, и в такие времена легко забыть вчерашние достижения. Вернулись из Индии и Васко да Гама и Кабрал; они привезли с собой не только нагих рабов и туманные обещания, но и все сокровища Востока. Португальский король Мануэл эл Фортунату благодаря добыче, доставленной из Каликута и Малакки, становится самым богатым монархом Европы. Открыта Бразилия, Нуньес де Бальбоа впервые видит Тихий океан с высот Панама. Кортес завоевывает Мексику. Писарро — Перу. Вот когда наконец потекло в европейские сокровищницы настоящее золото. Магеллан обогнул Америку, и после трехлетнего плавания — величайшего морского подвига всех времен — один из его кораблей, «Виктория», совершив кругосветное путешествие, возвратился в Севилью. В 1545 году открыты серебряные копи в Потоси, откуда теперь каждый год плывут в Европу тяжело нагруженные флотилии.

Мореплаватели пересекли все океаны, обошли за полвека вокруг всех или почти всех частей света — какое же значение может иметь в этой гомеровской поэме единственный подвиг одного человека? Еще не вышли книги, описывающие жизнь Колумба, объясняющие его одинокое предвидение, и плавание Колумба считается просто одним из многочисленных путешествий, совершенных прославленными новыми аргонавтами. А так как ему досталась добыча наиболее скромная, то его эпоха, которая, как и всякая другая, мерит собственной меркой, а не меркой истории, судит о нем несправедливо и предает его забвению.

Тем временем возрастает слава Америго Веспуччи. Когда все еще заблуждались, когда всех еще ослепляла иллюзия, будто бы на западе открыли Индию, один Веспуччи понял правду: это Новый Свет и другой континент. Веспуччи всегда говорил лишь правду: он не сулил ни золота, ни драгоценных камней, а скромно рассказывал, что хотя туземцы и уверяют, будто в этих краях можно найти золото, но он, как святой

Фома, осторожен и не слишком доверчив: время покажет. Он путешествовал не ради денег и золота, как другие, а только из бескорыстного стремления к открытиям.

Америго не мучил людей и не разрушал государства, подобно всем другим преступным конквистадорам: как гуманист, как ученый, наблюдал он и описывал жизнь чужих народов, их нравы и обычаи, не хваля и не порицая. Он, мудрый ученик Птолемея и великих философов, изучал движение новых звезд, исследовал океан, чужие моря и земли, стремясь постигнуть их тайны и чудеса. Им руководил не слепой случай, а строгая математическая и астрономическая наука; да, он один из наших, хвалят его ученые, homo humanus, настоящий гуманист! Он владеет пером и знает латынь (единственный язык, который они признают подходящим для научных трудов). Он, Веспуччи, спас честь науки, служа лишь ей, а не прибылям и деньгам. Каждый из современных ему историков, прежде чем назвать имя Веспуччи, воздает ему хвалу: и Петр Мартир, и Рамузио, и Овьедо. И так как в ту эпоху было не больше десятка ученых, к которым прислушивались современники, то Веспуччи начинают считать крупнейшим мореплавателем своего времени.

Этой необычайной славой в среде ученых Веспуччи обязан в конечном счете случайному обстоятельству, тому, что обе его — увы, такие тоненькие и сомнительные — книжицы напечатаны на латинском языке, на языке ученых. Прежде всего неоспоримый авторитет его трудам придает издание «Cosmographiae Introductio». И лишь потому, что он первым описал Новый Свет, ученые, для которых слово значит больше, чем дело, не задумываясь, воздают хвалу Веспуччи как первооткрывателю этого Нового Света. Демаркационную линию впервые проводит географ Шёнер: он считает, что Колумб открыл лишь несколько островов, а Веспуччи — Новый Свет. А еще лет через десять благодаря словесным и письменным повторениям это утверждение станет непреложной истиной: Веспуччи открыл новую часть света, и Америка по праву называется Америкой.

В течение всего шестнадцатого столетия ярко сияет ничем не омраченная, незаслуженная слава Веспуччи, первооткрывателя Нового Света. Лишь один-единственный раз раздается возражение, да и то очень робкое. Оно исходит от весьма своеобразного человека, от Мигеля Сервета, посмертно стяжавшего себе трагическую славу первой жертвы протестантской инквизиции, — Кальвин отправил его на костер в Женеве. Сервет — любопытный образ в истории мысли, полугений, полубезумец, мятущийся, во всем дерзко сомневающийся дух, который не знает удовлетворения и считает необходимым защищать свое личное мнение в любой из областей науки. Но этому ничего, собственно, не создавшему человеку присуще замечательное чутье — всегда и во всем он затрагивает решающие проблемы. В медицине он уже почти четко формулирует теорию кровообращения, созданную позднее Гарвеем, в богословии нащупывает самое слабое место Кальвина, и всегда ему помогает какая-то таинственная способность если и не разгадывать, то, во всяком случае, обнаруживать тайны; в географии он также затрагивает самую жгучую проблему.

Отлученный от церкви, он бежит в Лион, где занимается под вымышленным именем врачебной практикой, и тогда же, в 1535 году, выпускает новое издание Птолемея, снабженное своими примечаниями. К этому изданию приложены те же карты, которые были в книге Птолемея, изданной Лаврентием Фризием в 1522 году, и в которых, согласно предложению Вальдземюллера, южная часть нового континента названа «Америкой». И в то время как в 1522 году издатель Птолемея Томас Анкупарий перевозносит в своем предисловии Веспуччи, даже не упоминая имени Колумба, Сервет первым решается выступить с некоторыми возражениями против всеобщего преувеличения роли Веспуччи и против предложенного наименования новой части света.

Ведь, собственно говоря, пишет Сёрвет, Веспуччи отправился в плавание только как купец «*ut merces suas comutaret*» и «*multo post Columbum*», много позднее Колумба. Поначалу это еще очень осторожное высказывание, можно сказать, лег-

кое покашливание протеста. Сервет вовсе и не помышляет лишить Веспуччи славы первооткрывателя, ему не хочется только, чтобы совсем позабыли Колумба. Это еще ни в коем случае не выдвижение антитезы Колумб *или* Веспуччи, спор о приоритете еще не начат. Сервет указывает лишь на то, что следовало бы говорить: Веспуччи *и* Колумб. Не имея ни веских доказательств, ни точного знания исторической обстановки, а исходя единственно из своей инстинктивной подозрительности, заставлявшей его чутя ошибки и подходить к любому вопросу с совершенно новой стороны, Сервет оказался первым, кто указал на то, что не все обстоит ладно с этой славой Веспуччи, словно лавина, обрушившейся на мир.

Решающее возражение должно было исходить, конечно, не от такого человека, как Сервет, который, находясь в Лионе, узнает обо всем лишь из книг и мало достоверных сообщений, но от того, кто владеет точными сведениями о подлинных исторических событиях. И вот раздался авторитетный голос, возражавший против чрезмерной славы Веспуччи, голос человека, перед которым склонялись короли и императоры, чье слово спасло миллионы замученных, истерзанных пыткой людей. То был голос великого епископа Лас Касаса, с такой потрясающей силой обличавшего зверскую расправу конквистадоров с туземцами, что и по сей день его записки читаются с содроганием.

Лас Касас, доживший до девяноста лет, был живым свидетелем великой эпохи открытий и благодаря своему правдолюбию и беспристрастию священника — свидетелем, не вызывавшим сомнения. Написанная им большая история Америки, «*Historia general de las Indias*»*, начатая в 1559 году, на восемьдесят пятом году его жизни, в вальядолидском монастыре, еще и сегодня может считаться самым солидным документом по истории той эпохи. Родившийся в 1474 году Лас Касас приехал в Эспаньолу (Гаити) в 1502 году, следователь-

* «Всеобщая история Индий» (исп.).

но, еще при жизни Колумба, и вначале как священник, а впоследствии как епископ, если не считать его многочисленных поездок в Испанию, прожил в новой части света до семидесяти трех лет. И поэтому никто не мог в большей мере, чем он, быть пригодным для того, чтобы компетентно и достоверно свидетельствовать о событиях той эпохи открытий.

Однажды в пути, возвращаясь из *Nuevas Indias** в Испанию, Лас Касас, видимо, натолкнулся на одну из тех карт или заграничных книг, в которых новая страна была обозначена именем «Америка». И вероятно, столь же изумленный, как и мы, спросил: «Почему же Америка?» Ответ — потому, что ее открыл Америго Веспуччи, — естественно, должен был вызвать у епископа гнев и внушить ему подозрения. Ведь никто не знал всего так, как *он*. Его отец сопровождал Колумба во втором плавании, да и сам он мог засвидетельствовать, что Колумб «первым открыл ворота того океана, что был замкнут в течение стольких столетий». Как же смеет Веспуччи приписывать себе или как смеют другие приписывать ему славу первооткрывателя Нового Света? Вероятно, и Лас Касас столкнулся с распространенным в то время аргументом, что Колумб открыл только Антилы — острова, лежащие на пути в Америку, а Веспуччи — собственно материк, и это, мол, дает ему право называться открывателем континента.

Тут уж Лас Касас, человек вообще-то мягкосердечный, приходит в ярость. Если Веспуччи утверждает подобное — он лжец. Ни один человек, за исключением адмирала во время его второго плавания в 1498 году, не ступал на землю «Париас»: это, кроме все прочего, засвидетельствовано торжественной клятвой Алонсо де Охеда на судебном процессе, затеянном в 1516 году государственной казней против наследников Колумба. Среди доброй сотни свидетелей, выступавших в этом процессе, тоже не было ни одного человека, который посмел бы оспаривать этот факт. Эта страна должна с полным правом называться «Колумбией». Как смеет Веспуччи «узурпировать

*Новых Индий (*исп.*).

славу и честь, которые принадлежат адмиралу-губернатору, и приписывать себе его заслуги?» Где, когда, с какой экспедицией побывал Веспуччи на материке Америка до адмирала?

Лас Касас изучает сообщение Веспуччи в том виде, в каком оно было напечатано в «*Cosmographiae Introductio*», дабы разоблачить его мнимое притязание на приоритет. И тут в «Комедии ошибок» наступает новый гротескный поворот, который толкает и без того запутанный клубок в совершенно ложном направлении. В первом издании на итальянском языке, где описано путешествие Веспуччи 1497 года, сказано, что он высадился в каком-то месте, которое называется «Лариаб». В результате опечатки или произвольного исправления в латинском издании, вышедшем в Сен-Дье, вместо слова «Лариаб» напечатано слово «Париас», отчего создается впечатление, будто бы Веспуччи и сам утверждал, что посетил землю «Париас» еще в 1497 году, то есть ровно за год до Колумба. Поэтому для Лас Касаса совершенно ясно — Веспуччи обманщик, воспользовавшийся после смерти адмирала удобным случаем, чтобы приписать себе открытие нового материка с помощью публикации в «заграничных книгах» (ведь в Испании его сразу же изобличили бы). Лас Касас доказывает, что в действительности Веспуччи отправился в Америку в 1499, а не в 1497 году, но предусмотрительно замолчал имя своего спутника Охеды. «То, что писал Америго, — возмущается честный Лас Касас, — с целью прославить себя и молчаливо узурпировать честь открытия материка», было сделано с дурным умыслом, и, следовательно, Веспуччи — обманщик.

Собственно говоря, только опечатка в латинском издании — замена слова «Лариаб», существующего в подлиннике, словом «Париас» — вызвала гнев Лас Касаса по поводу злонамеренного обмана. Но, сам того не желая, Лас Касас затронул наиболее щекотливое обстоятельство, а именно то, что во всех письмах и сообщениях Веспуччи чрезвычайно туманно говорится о задачах и действительных результатах

его путешествий. Веспуччи никогда не называет достаточно внятно имена командующих флотилиями, приводимые им даты в разных изданиях различны, его определения долгот неправильны.

С того момента, как ученые начали изучать подлинные исторические материалы его плаваний, не могло не зародиться подозрение, что по каким-то причинам — с которыми мы столкнемся позже — простые и ясные обстоятельства им умышленно затемнялись. Здесь мы впервые приближаемся к самой сути тайны Веспуччи, уже сотни лет занимающей умы ученых всех наций, — сколько же в письмах Веспуччи, где рассказано о совершенных им путешествиях, правды и сколько выдумки (скажем резче — обмана)?

Вызывает сомнение прежде всего первое из четырех путешествий Веспуччи (то самое, 10 мая 1497 года), в котором усомнился уже Лас Касас и которое могло бы, во всяком случае, утвердить за Веспуччи несомненный приоритет в открытии нового континента. Это плавание не упомянуто ни в одном историческом документе, а некоторые его подробности, без сомнения, заимствованы из второго плавания, совершенного Веспуччи вместе с Охедой. Даже самые ярые защитники Веспуччи не сумели доказать его алиби, того, что он действительно совершил плавание в названном году, и, чтобы придать этому сообщению тень правдоподобия, вынуждены были довольствоваться гипотезами.

Если бы мы стали подробно приводить доказательства обеих сторон в этих нескончаемых и резко противоречивых спорах ученых-географов, то получилась бы целая книга. Достаточно сказать, что три четверти высказавшихся по этому вопросу не признают первого плавания Веспуччи, считая его придуманным, в то время как как остальные, выступая в качестве присяжных защитников Веспуччи, утверждают, что именно во время этого плавания он первым открыл по одной версии — Амазонку, а по другой — Флориду. Но поскольку необычайная слава Веспуччи основывается главным образом на этом первом — весьма сомнительном — плавании, то Вавилонская

башня, целиком построенная из ошибок, совпадений и невежественной болтовни, зашаталась, как только ее фундамента коснулся топор филологии.

Решающий удар наносит в 1601 году Эррера своей работой «*Historia de las Indias Occidentales*»*. Испанскому историку не пришлось тратить много времени, чтобы вооружиться необходимым аргументом, так как он ознакомился с рукописью не изданной еще в то время книги Лас Касаса, и, собственно, это все еще Лас Касас ратует против Веспуччи. Эррера, пользуясь аргументами Лас Касаса, доказывает, что даты в «*Quatuor Navigationes*»** неверны, что Веспуччи вышел в море с Охедой в 1499 году, а не в 1497 году, и делает вывод — при невозможности для обвиняемого получить слово, — что Америго Веспуччи «коварно и злонамеренно извратил свои сообщения, стремясь украсть у Колумба честь считаться первооткрывателем Америки».

Это разоблачение вызвало мощный отклик. Как? — заволновались ученые, значит, открыл Америку вовсе не Веспуччи? Значит, этот мудрый человек, чьей безмерной скромностью мы все восхищались, оказался лгуном, мошенником, каким-то Мендишем Пинту — одним из этих отвратительных проходимцев, которые хвастались якобы совершенными ими путешествиями? Ведь если Веспуччи сказал неправду об одном из своих плаваний, можно ли верить тому, что он рассказывает о других? Какой позор! Новый Птолемей, оказывается, был подлым Геростратом, который коварно пробрался в храм славы, дабы ценой преступного мошенничества приобрести бессмертие. Какой стыд для всего ученого мира, для тех, кто, дав одурачить себя хвастливой болтовней, назвал новую часть света именем обманщика! Не пора ли исправить постыдную ошибку? И брат Педро Симон самым серьезным образом предлагает в 1627 году «запретить пользование любым географи-

* «История Западных Индий» (исп.).

** «Четыре плавания» (исп.).

ческим сочинением, любой картой, в которых содержится имя «Америка».

Маятник качнулся в другую сторону. Веспуччи — конечный человек, и в семнадцатом веке слава снова возносит полузабытое имя Колумба. Великим, как сама новая земля, предстает его образ. Из его подвигов остался лишь подвиг, совершенный им, потому что дворцы Монтезумы ограблены и разрушены, сокровищницы Перу опустошены, все доблестные и постыдные деяния отдельных конквистадоров забыты. И только Америка — реальность, украшение Земли, прибежище для всех гонимых, страна будущего. Какая несправедливость постигла этого человека при жизни и после его смерти тяготела над ним более столетия!

Колумб становится непризнанным в свое время героем, все теневые стороны его образа скрадываются, о дурном правлении великого адмирала, о его религиозных бреднях не говорится ни слова, и его жизнь начинают всячески идеализировать. Все пережитые им трудности драматически преувеличиваются; оказывается, его матросы подняли мятеж, и он силой заставил их плыть дальше; рассказывают, как низкий негодяй привез его в кандалах на родину и как он со своим полумертвым от голода ребенком нашел пристанище в монастыре Рабиды. И если раньше было сделано слишком мало для прославления его подвига, то теперь благодаря неиссякаемой потребности в героизации делается, пожалуй, даже слишком много.

Но по старинному закону драмы и мелодрамы каждому героизированному образу должен противостоять образ отрицательный, как свету — тень, Богу — дьявол, Ахиллу — Терсит, безумному мечтателю Дон Кихоту — здравомыслящий практик Санчо Панса. Чтобы изобразить гения, нужно заклеить его противоположность, все, что противостояло ему на земле, — низменные силы непонимания, зависти, предательства. Исходя из этого, враги Колумба — честный, добросовестный, незначительный чиновник Бобадилья и

кардинал Фонсека — дельный и мыслящий человек — очернены как последние негодяи. Но самый главный противник счастливо найден в лице Америго Веспуччи, и легенде о Колумбе противопоставлена легенда о Веспуччи.

Сидит в Севилье этакая раздувшаяся от зависти ядовитая жаба, ничтожный купчишка, которому очень хочется прослыть ученым и исследователем. Но он слишком труслив, чтобы решиться взойти на корабль. Из своего забранного решеткой окошка он, скрежеща зубами, видит, как чествуют вернувшегося на родину великого Колумба. Украсть славу у Колумба! Украсть ее для себя! И в то время как благородного адмирала влекут закованного в цепи, этот купчишка ловко наскребает из чужих книг описания путешествий, которых он никогда не совершал. И едва успевают похоронить Колумба, который уже не может защищаться, как этот жаждущий славы шакал сообщает в своих подобоострастных письмах всем властителям мира о том, что якобы он является первым и подлинным открывателем Нового Света, и из предосторожности печатает эти письма за границей, на латинском языке.

Он заискивает перед ничего не подозревающими учеными, что живут где-то на другом конце земли, и умоляет их назвать Новый Свет его именем — Америкой. Он пробирается к заклятому врагу Колумба, разделяющему его ненависть, к епископу Фонсеке, и при помощи хитрости добивается, что его, который ничего не смыслит в мореплавании и лишь торчит в своей конторе, назначили piloto mayor и начальником Casa de la Contratación*, и все это для того, чтобы он мог, добравшись до карт, приложить к ним свою руку.

Таким путем он, наконец, получил возможность — все это действительно приписывают Веспуччи — осуществить свой великий обман. В качестве piloto mayor, в чьи обязанности входит заказывать географические карты, он может бесконтрольно требовать, чтобы всюду, во все карты и глобусы было внесено его проклятое имя — Америка, Америка, Америка,

* Главным кормчим правления торговой палаты (*исп.*).

чтобы оно присутствовало повсюду как название Нового Света. Так покойник, которого при жизни заковали в цепи, был еще раз обворован и обманут этим подлым гением лжи. Не имя Колумба, а имя этого вора украшает теперь новую часть света.

Таков образ Веспуччи в семнадцатом столетии — клеветник, фальсификатор, лжец. Так орел, смелым взором обзирающий мир, превратился внезапно в отвратительного, роющегося в земле крота, в осквернителя трупов и вора. Этот образ несправедлив, но он прочно укореняется. На десятки, на сотни лет имя Веспуччи втоптанно в грязь. И Бейль и Вольтер топчут его могилу, и в каждом школьном учебнике рассказывается о том, как подло стяжал себе славу Веспуччи. И даже такой мудрый и рассудительный человек, как Ралф Уолдо Эмерсон, спустя триста лет (1856) под влиянием этой легенды напишет: «Странно, что обширная Америка должна носить имя вора. Америго Веспуччи, торговец маринадом из Севильи, чей высший морской ранг был равен чину младшего штурмана экспедиции, так и не вышедшей в море, сумел занять в этом лживом мире место Колумба и окрестил половину земного шара своим бесчестным именем».

ДОКУМЕНТЫ НАКАПЛИВАЮТСЯ

В семнадцатом столетии Америго Веспуччи — конченный человек. Спор вокруг его имени, его подвига или его подлости, казалось бы, раз и навсегда закончен. Веспуччи развенчан, уличен в обмане и — не носи Америка его имени — был бы обречен на позорное забвение. Но начинается другое столетие, которое не хочет верить ни рассказам современников, ни традиционным сплетням. Историография постепенно превращается из простого летописания в критическую науку, которая ставит своей задачей проверить все факты, пересмотреть все свидетельства. Из всех архивов вытаскивают документы, их изучают, начинают сличать, и неизбежно вновь

всплывает старое, казалось бы, давно решенное, судебное дело — Колумб против Веспуччи.

Начинают соотечественники Веспуччи. Они не хотят мириться с тем, чтобы имя этого флорентийца, чья слава столько лет разносила по миру славу их родного города, оставалось пригвожденным к позорному столбу. Флорентийцы требуют прежде всего глубокой и беспристрастной проверки. Аббат Анджеоло Мариа Бандини публикует в 1745 году первую биографию флорентийского мореплавателя — «*Vita e lettere di Amerigo Vesputsi*»*. Бандини удается обнаружить ряд документов. В 1789 году Франческо Бартолоцци присоединяется к Бандини, издавая новое «*Ricerche istorico-critiche*»**, и результаты его исследования представляются флорентийцам столь обнадеживающими для реабилитации их земляка, что падре Станислав Кановаи произносит в одной из академий «*Elogio d'Amerigo Vesputsi*»*** — торжественную хвалебную речь в защиту оклеветанного *celebro navigator*, знаменитого мореплавателя. Одновременно начинаются поиски в испанских и португальских архивах, и чем больше роются в этом деле, поднимая столбы бумажной пыли, тем оно становится туманнее.

Португальские архивы оказались самыми бедными. В них нет ничего ни об одной из двух экспедиций, в которых якобы участвовал Веспуччи. Не упомянуто его имя и в расходных книгах. Никакого намека на тот «*zibaldone*»****, дневник путешествий, который Веспуччи, по его словам, вручил королю Мануэлу Португальскому. Ничего. Ни строки, ни слова. И один из наиболее ожесточенных противников Веспуччи немедленно объявляет такое умолчание лучшим доказательством того, что Америго просто лгал, рассказывая об обоих пу-

* «Жизнь и письма Америго Веспуччи» (ит.).

** «Историко-критическое исследование» (ит.).

*** «Похвала Америго Веспуччи» (ит.).

**** Литературная смесь (ит.).

тешествиях как о совершенных им при «*auspiciis et stipendio Portugallensium*», — «поощрении и материальной помощи Португалии».

Однако то обстоятельство, что об отдельном человеке, который сам не снаряжал и не отправлял экспедиций, через триста лет не сохранилось документов, разумеется, еще ничего не доказывает. Великий португалец, прославивший свою нацию, Луиш Камоэнс шестнадцать лет отдал служению португальскому королю и, находясь на королевской службе, был ранен, однако о нем тоже нигде официально не упоминается. Камоэнс был арестован и заключен в тюрьму в Индии; но где же документы или хотя бы факты судебного процесса? О его путешествиях тоже нельзя найти ни строчки. Исчез дневник Пигафетты о еще более достопамятном плавании Магеллана. И если в архивах Лиссабона документальные данные о самом значительном периоде жизни Веспуччи равны нулю, то можно только напомнить, что ровно столько же сведений почерпнули мы из архивов об африканских приключениях Сервантеса, о годах странствий Данте, о театральной деятельности Шекспира. И все-таки Сервантес боролся, Данте странствовал из края в край, и Шекспир сотни раз выходил на сцену. Даже наличие документов не всегда является достаточным доказательством, а их отсутствие — и того менее.

Флорентийские документы оказались полнее. Бандини и Бертолоцци нашли в государственном архиве три письма Веспуччи к Лоренцо Медичи. Это не оригиналы, а более поздние копии из коллекции, собранной неким Вальенти, который сам переписывал или поручал переписывать все сообщения, письма и публикации о новых путешествиях и открытиях и располагал их в хронологическом порядке. Одно из этих писем Веспуччи написал непосредственно по возвращении из третьего плавания к мысу Верду — первого плавания, предпринятого им по заданию португальского короля. Второе письмо содержит подробное сообщение об этом так называемом третьем плавании, таким образом включает, по существу, все то, что было впоследствии опубликовано в «*Mundus Novus*», од-

нако без характерной для последнего очень сомнительной по качеству литературной отделки.

Все это кажется блестящим доказательством правдивости Веспуччи: по крайней мере, факт так называемого третьего плавания — того самого, которое благодаря «Mundus Novus» сделало его знаменитым, — теперь бесспорно подтвердился, и Веспуччи уже можно прославлять как невинную жертву необоснованной клеветы. Но вот обнаруживают еще и третье письмо к Лоренцо Медичи, в котором Веспуччи — чертовски неудачливый человек! — описывает свое первое плавание 1497 года, выдавая его за плавание, совершенное в 1499 году, и таким образом подтверждается именно то, в чем его упрекают противники, то есть что в печатном издании он датировал свое плавание двумя годами раньше. Этим его собственноручным письмом неопровержимо доказано, что он или кто-то другой сфабриковал из одного путешествия два и что притязание Веспуччи на то, что он будто бы первым ступил на американскую землю, — наглое и вдобавок неуклюжее мошенничество. Теперь мрачное подозрение Лас Каса неопровержимо подтверждено. И те, кто хочет спасти репутацию Веспуччи как правдивого человека, — его самые ревностные защитники и земляки, выступившие в «Raccolta Columbiana»* — не видят другого выхода, кроме последнего и самого отчаянного: объявить это письмо Веспуччи подложным.

Таким образом, мы находим во флорентийских документах уж знакомый нам образ вечно двуликого Веспуччи: с одной стороны, это человек, который в частных письмах к своему патрону Лоренцо Медичи честно и скромно сообщает о действительном положении вещей; с другой стороны, это Веспуччи печатных книг, герой великой славы и великого скандала, лживо похвалявшийся никогда не совершенными открытиями и путешествиями и благодаря этой хвастливой болтовне добившийся того, что целая часть света была названа его именем. Чем дальше катится клубок ошибок, тем все больше он запутывается.

* «Колумбово собрание» (ит.).

И странно, такое же противоречие обнаруживают испанские документы. Из них узнаешь, что Веспуччи приехал в Севилью в 1492 году совсем не как крупный ученый и бывалый мореход, а как мелкий служащий, маклер торгового дома Хуаното Беральди, являвшегося своего рода отделением флорентийского банка Медичи, и занимался главным образом снаряжением кораблей и финансированием экспедиций. Уже одно это обстоятельство не слишком-то вяжется с представлением о руководителе отважной экспедиции, будто бы отплывшей от берегов Испании в 1497 году. Более того, об этом так называемом первом плавании, совершая которое Веспуччи якобы опередил Колумба и открыл материк, нет следов ни в одном из документов, и тем самым почти неопровержимо доказано, что в 1497 году Веспуччи действительно сидел в своей севильской конторе и усердно занимался торговлей, а вовсе не исследовал берега Америки, как рассказывается в его «*Quatuor Navigationes*».

Снова документы как будто подтверждают все обвинения, выдвинутые против Веспуччи. Однако странно: именно в испанских документах содержатся одновременно и данные, которые столь же убедительно свидетельствуют о честности Веспуччи, сколь другие данные несомненно обличают его в наглой, хвастливой болтовне.

Вот акт о принятии им испанского подданства, из которого явствует, что 24 апреля 1505 года Америго де Веспуччи становится испанским подданным «за усердие, которое он уже доказал и еще докажет на службе испанской короне». Вот документ от 22 марта 1508 года о назначении Веспуччи *piloto mayor ó Casa de la Contratación* и руководителем всей навигационной службы в Испании. В его обязанность входит «обучать штурманов пользоваться измерительными приборами, астролябией и квадрантами, а также проверять их знания и умение сочетать теорию с практикой». Вот королевский приказ составить *padrón real*^{*}, то есть карту мира, которая вклю-

*Королевская опись (*исп.*).

чала бы все новооткрытые побережья, причем карту эту Веспуччи обязан постоянно дополнять и улучшать.

Мыслимо ли, чтобы испанская корона, имевшая в своем подчинении самых выдающихся мореплавателей тех времен, поручила столь ответственную должность человеку, чье лживое хвастовство и книги о выдуманных путешествиях не внушали никакого доверия? Правдоподобно ли, чтобы король соседней Португалии самолично призвал в свою страну именно этого человека и поручил ему сопровождать две флотилии, отправлявшиеся в Южную Америку, не будь Веспуччи уже прославленным специалистом по навигации? И разве то обстоятельство, что купец Хуаното Беральди, у кого долгие годы работал Веспуччи и который, следовательно, лучше всех других знал, заслуживал ли Веспуччи доверия, назначил, умирая, именно его своим душеприказчиком и ликвидатором фирмы, — разве все это не является доказательством честности Америго Веспуччи?

Снова мы сталкиваемся с одним и тем же противоречием: любой документ о жизни Веспуччи превозносит его как честного, добросовестного, очень знающего человека. Но стоит взять в руки напечатанные работы самого Веспуччи, как мы обнаруживаем хвастовство, небылицы, неправдоподобие.

Однако разве нельзя быть превосходным мореплавателем и в то же время безудержно хвастать и преувеличивать? Разве нельзя быть великолепным составителем географических карт и в то же время мелким завистником? Разве не считаются исстари фантастические рассказы слабостью мореходов, а зависть к достижениям коллег — профессиональной болезнью ученых? Таким образом, все документы о Веспуччи отнюдь не снимают с него обвинения в том, что он мошенническими подделками присвоил себе честь открытия Америки, принадлежащую по праву великому адмиралу.

Но вот из могилы раздается голос, доказывающий честность Веспуччи. В великом судебном процессе «Колумб про-

тив Веспуччи» свидетелем в пользу Веспуччи выступает именно тот, от кого, казалось, он менее всего мог ожидать поддержки: сам Христофор Колумб. Незадолго до своей смерти, 5 февраля 1505 года, то есть тогда, когда «Mundus Novus» уже давно должен был бы стать известным в Испании, адмирал, в одном из ранних писем называвший Веспуччи своим другом, шлет своему сыну Дьего письмо следующего содержания:

«5 февраля 1505.

Мой дорогой сын,

Дьего Мендес выехал отсюда в понедельник, 3 сего месяца. После его отъезда я беседовал с Америго Веспуччи, который направляется ко двору, куда его призвали, чтобы посоветоваться с ним относительно некоторых вопросов мореплавания. Он всегда выражал желание быть мне полезным (*él siempre tuvo deseo de me hacer placer*), это честный человек (*mucho hombre de bien*). Счастье было к нему неблагоприятно, как и ко многим другим. Его труды не принесли ему тех выгод, на которые он был вправе рассчитывать. Он едет туда (ко двору) с горячим желанием добиться для меня при удобном случае (*si a sus manos está*) чего-нибудь благоприятного (*que redonde a mi bien*). Я не имею возможности, находясь здесь, подробнее объяснить ему, чем он мог бы быть нам полезен, потому что не знаю, чего от него хотят. Но он полон решимости сделать для меня все, что в его силах».

Это письмо — одна из самых неожиданных сцен в нашей «Комедии ошибок». Два человека, в течение трехсот лет являвшиеся в ложном представлении людей непримиримыми соперниками, которые ожесточенно враждовали из-за права увидеть свое имя присвоенным новой земле, были на самом деле сердечными друзьями! Колумб, который из-за свойственной ему подозрительности рассорился почти со всеми своими современниками, хвалит Веспуччи как своего давнишнего помощника и делает его своим заступником при дворе!

Значит, они оба — и это бесспорный исторический факт — не имели ни малейшего представления о том, что десять поколений ученых и географов станут натравливать друг на друга их тени в жаркой схватке вокруг пустого звука одного из имен, что в «Комедии ошибок» они станут противниками, и один будет играть роль светлого гения, которого обкрадывает другой, подлый негодяй.

Разумеется, обоим неведомо слово «Америка», вокруг которого предстояло разгореться этому спору. Колумб и не подозревал, что за открытыми им островами находится гигантский материк, так же как Веспуччи не знал, что именно к нему относится побережье Бразилии. Люди одной профессии, оба не избалованные судьбой и не сознававшие своей безмерной славы, они понимали друг друга лучше, чем большинство их биографов, которые вопреки психологической правде приписывали им совершенно невозможное в то время понимание масштабов собственных достижений. И снова, как это часто случается, правда разбила легенду.

Заговорили первые документы. Но именно после их обнаружения и истолкования великий спор вокруг имени Веспуччи разгорается с еще большей силой; никогда еще тридцать две страницы печатного текста не исследовались в поисках достоверности с таким усердием со всех сторон — психологической, географической, картографической, исторической и полиграфической, — как исследовались сообщения Веспуччи о его путешествиях. Но в результате спорящие географы защищают лишь свои собственные утверждения и отрицания: да или нет, черное или белое, первооткрыватель или лжец — твердят они с одинаковой уверенностью и, казалось бы, с одинаково непреложными доказательствами.

Бегло, шутки ради, я хочу сопоставить здесь все, что за последнее столетие утверждали различные авторитеты по поводу Веспуччи. Он совершил свое первое плавание вместе с Пинсоном. Он совершил свое первое плавание с Лепе. Он

совершил свое первое плавание в составе неизвестной экспедиции. Он вообще не совершал первого плавания, все это выдумки и ложь. Он открыл в первом плавании Флориду. Он ничего не открывал, потому что вообще не участвовал в плавании. Он первым увидел реку Амазонку. Он увидел ее лишь во время своего третьего плавания, а раньше спутал ее с рекой Ориноко. Он обошел и дал названия всем частям побережья Бразилии вплоть до Магелланова пролива. Он обошел лишь самую малую часть побережья, названия же были даны задолго до него. Он был великим мореплавателем. Нет, он никогда не командовал ни кораблем, ни экспедицией. Он был великим астрономом. Ни в коем случае!

Все, что он писал о звездах, — чепуха. Приводимые им даты достоверны. Эти даты ложны. Он был замечательным кормчим. Он был всего лишь подрядчиком по поставке мяса да к тому же еще и невеждой. Его сообщения заслуживают доверия. Он профессиональный мошенник, обманщик и лгун. Веспуччи первый после Колумба мореплаватель и открыватель своей эпохи. Он гордость, нет, он позор науки. Все это утверждается в книгах, написанных за и против Веспуччи, подкрепляется множеством так называемых доказательств, объясняется и обосновывается с одинаковой страстностью. И так же, как триста лет тому назад, нет ответа на все тот же давнишний вопрос: «Кем же был Америго Веспуччи? Что он совершил и чего не совершал?» Можно ли найти ответ на этот вопрос? Можно ли решить великую загадку?

КЕМ БЫЛ ВЕСПУЧЧИ

Мы попытались рассказать здесь в хронологическом порядке о той великой «Комедии ошибок», которая разыгрывалась вокруг жизни Америго Веспуччи на протяжении трех столетий и привела в конце концов к тому, что новая часть света была названа его именем. Человек становится знаменитым, но, собственно, неизвестно почему. Можно об этом говорить

что угодно: он прославился по праву или без такового, благодаря своим заслугам или с помощью мошенничества. Ведь слава Веспуччи — это вовсе не слава, а нимб, возникший вокруг его имени не столько из-за того, что он совершил, сколько из-за ошибочной оценки совершенного им.

Первая ошибка, первый акт нашей «Комедии» — это появление имени Веспуччи на титульном листе книги «*Paesi ritrovati*». Вследствие чего читатели могли подумать, что новые страны были открыты не Колумбом, а Веспуччи. Второй ошибкой, вторым актом была опечатка: «Париас» вместо «Лариаб», допущенная в латинском издании, в силу чего стали утверждать, что не Колумб, а Веспуччи первым ступил на материк Америки. Третьей ошибкой, третьим актом была ошибка скромного провинциального географа, предложившего на основании тридцати двух страниц, написанных Веспуччи, назвать Америку его именем.

До конца третьего акта, как и полагается в настоящей плутовской комедии, Америго Веспуччи представляется героем, он царит на сцене как благороднейший рыцарь без страха и упрека. В четвертом акте рождаются подозрения, и уже непонятно, кто он — герой или обманщик? Пятый, заключительный акт, который разыгрывается уже в наш век, должен привнести еще один, неожиданный подъем, чтобы остроумно завязанный узел начал распутываться и в финале все разрешилось бы ко всеобщему удовлетворению.

Но, по счастью, история — великолепный драматург; она умеет находить как для своих трагедий, так и для своих комедий блестящую развязку. Начиная с четвертого акта нам известно, что Веспуччи не открывал Америки, не ступал первым на материк и вообще никогда не совершал того первого плавания, которое надолго сделало его соперником Колумба. Но в то время как на сцене ученые еще спорят о том, сколько плаваний, описанных Веспуччи в его книге, он действительно совершил и скольких не совершал, появляется новое лицо с ошеломляющим известием, что якобы даже эти тридцать две страницы, в том виде, в каком они до нас дошли, написаны не

Веспуччи, что эти тексты, взволновавшие весь свет, не что иное, как чья-то безответственная и произвольная компиляция, которая самым грубым образом искажает рукопись Веспуччи.

Этот *deus ex machina** , которого зовут профессором Маньяги, совсем по-новому ставит вопрос и, для того чтобы поставить его правильно, сперва переворачивает его вниз головой. Если некоторые и признавали, что Веспуччи, во всяком случае, сам написал книги, распространяемые под его именем, и лишь сомневались в том, действительно ли он совершил описанные в этих книгах путешествия, то Маньяги утверждает, что хотя Веспуччи и совершал плавания, но весьма сомнительно, чтобы он сам написал свои книги в том виде, в каком они существуют в настоящее время. Следовательно, не Веспуччи похвалялся ложными достижениями, а под прикрытием его имени было учинено и написано много безобразного. Поэтому, если мы хотим справедливо судить о Веспуччи, мы должны — и это самое правильное, — отложив в сторону обе его знаменитые напечатанные работы: «*Mundus Novus*» и «*Quatuor Navigationes*», — опираться лишь на три оригинала его писем, которые защитники Веспуччи без всякого на то основания объявили поддельными.

Утверждение, что Веспуччи нельзя считать в полной мере ответственным за распространяемые под его именем тексты, вначале озадачивает. Что же тогда остается от славы Веспуччи, если даже эти книги написаны не им? Но при более внимательном рассмотрении тезис Маньяги оказывается не таким уж новым. В действительности подозрение о том, что фальсифицировал отчет о первом плавании Веспуччи вовсе не он сам, а кто-то неизвестный, воспользовавшийся его именем, так же старо, как и первое обвинение, выдвинутое против него.

Припоминают, что епископ Лас Касас был первым, обвинившим Веспуччи в том, что он своим лживым сообщением о никогда не совершенном плавании добился наименования

*Бог из машины (*лат.*).

Америки своим именем. Лас Касас обвинял Веспуччи в «хитрейшем обмане» и грубой несправедливости. Но если повнимательнее вчитаться в текст Лас Касаса, то при всех этих резких упреках постоянно обнаруживается определенная *reservatio mentalis**. Лас Касас хоть и клеймит обман, но всегда осторожно пишет об обмане, к которому прибег Веспуччи «или те, кто опубликовал его «*Quatuor Navigationes*». Следовательно, Лас Касас не исключал возможности, что неза заслуженное возвеличивание Веспуччи произошло без его ведома и участия. Так же и Гумбольдт, в отличие от профессиональных теоретиков не считающий любую напечатанную книгу непогрешимым евангелием, явственно выражает сомнение, не попал ли Веспуччи в эту передрагу, как Понтий Пилат в «Верую». «Не совершили ли этого подлога без ведома Америго собиратели рассказов о путешествиях? — спрашивает Гумбольдт. — Или, может быть, это всего лишь следствие путаного изложения событий и неточных сведений?»

Итак, ключ был уже изготовлен, и Маньяги с его помощью только открыл дверь для новых наблюдений. Объяснение Маньяги кажется мне логически наиболее убедительным, так как оно совершенно естественно и просто разрешает все противоречия, занимавшие собой три столетия.

С самого начала психологически неправдоподобным было уже то, что один и тот же человек описывал в своей книге плавание, совершенное им якобы в 1497 году, а в своем частном письме датировал это же путешествие 1499 годом; или то, что он якобы послал описания своих плаваний во Флоренцию двум разным людям, принадлежавшим к тому узкому кругу, где письма передавались из рук в руки, причем эти описания, помеченные разными датами, содержали противоречивые подробности. Маловероятным было и то, что человек, проживавший в Лиссабоне, якобы переслал эти письма какому-то захолустному князьку в Лотарингию и что его труд был напечатан в таком оторванном от мира городке, как Сен-Дье.

* Мысленная оговорка (*лат.*).

Если бы Веспуччи сам издал или собирался издать свои «произведения», то он, по меньшей мере, взял бы на себя труд устранить до *imprimatur** наиболее грубые, бросающиеся в глаза противоречия. Мыслимо ли, например, чтобы сам Веспуччи, с совершенно несвойственной ему высокопарностью, полностью противоречащей тону писем, написанных его собственной рукой, лично сообщал Лоренцо Медичи, почему он свое путешествие в «Mundus Novus» называет третьим, — «потому что до него я уже совершил два плавания на запад по поручению светлейшего короля Испании» («Vostra Magnificenza saprà come per commissione de de questo Ré d'Ispagna mi parti»)**. Кому же сообщает Веспуччи удивительную новость о том, что он уже совершил ранее два плавания? Своему хозяину, которому он прослужил в качестве корреспондента почти десять лет и кто, следовательно, должен был с точностью до дня и часа знать, предпринимал ли его фактор длительные путешествия и когда именно: ведь понесенные расходы, равно как и полученные от этих путешествий прибыли, должны быть внесены в расходные книги. Это столь же бессмысленно, как если бы некий автор, посылая новую книгу своему издателю, который уже в течение десяти лет неизменно публиковал его произведения и производил с ним расчет, заявил бы ему, что это, дескать, не первая его книга и он уже и прежде печатался.

Подобные нелепости и противоречия пестрят на страницах печатного текста книги Веспуччи — нелепости и противоречия, которые никак нельзя приписывать самому Веспуччи. Вот почему наиболее правдоподобным является предположение Маньяги о том, что три письма Веспуччи, найденные в архивах и до сего времени отвергавшиеся его защитниками как поддельные, в действительности, будучи написаны рукой самого Веспуччи, являются единственными достоверными до-

* Напечатания (*лат.*).

** Ваше величество узнает, как я ездил по поручению этого короля Испании (*ит.*).

кументами, а прославленные произведения «Mundus Novus» и «Четыре плавания» следует считать недостоверными публикациями, в которых содержатся всевозможные добавления, изменения и искажения.

Однако было бы грубым преувеличением, исходя из этого, безоговорочно называть «Четыре плавания» подделкой, так как в них все же, несомненно, использованы подлинные материалы, написанные рукой Веспуччи. Неизвестный издатель проделал примерно то, что делают владельцы антикварных лавок, когда они из подлинного ларца эпохи Возрождения, умело используя настоящие и поддельные материалы, мастертят два-три ларца, а то и целый гарнитур, вследствие чего тот, кто отстаивает подлинность этих вещей, так же не прав, как и тот, кто называет их поддельными.

Флорентийский издатель, из осторожности скрывший свое имя, безусловно, имел в руках письма Веспуччи, адресованные торговому дому Медичи, — те три известных нам письма да, вероятно, и другие, которые нам неизвестны. Издатель, разумеется, знал о том огромном успехе, который имело письмо Веспуччи о его третьем путешествии, о «Mundus Novus», вышедшем в течение нескольких лет в двадцати трех изданиях на многих языках! Поэтому нет ничего удивительного, что для издателя, знавшего и о других сообщениях — будь то подлинники или копии, — было очень соблазнительно выпустить новую книжку Веспуччи: «Собрание отчетов о путешествиях». Но так как имевшегося материала не хватало для того, чтобы противопоставить четыре плавания Веспуччи четырем плаваниям Колумба, анонимный издатель решил «растянуть» материал.

Прежде всего он разделил знакомое нам сообщение о плавании 1499 года на два сообщения: одно о плавании, якобы совершенном в 1497 году, и другое — в 1499 году, нимало не подозревая, что из-за этого обмана Веспуччи будет на целых три столетия заклеямен как лгун и мошенник. Кроме того, издатель добавил в свою книгу различные подробности, взятые из писем и отчетов других мореплавателей, и благополуч-

но получил своего рода *mixtum compositum* — сложную смесь из правды и лжи, которая на сотни лет стала головоломкой для ученых и дала Америке ее название «Америка».

Пожалуй, тот, у кого эта догадка вызовет сомнение, может возразить: да мыслимо ли вообще такое дерзкое вмешательство, чтобы, не испрашивая согласия автора, дополняли его произведение, произвольно вводя в него всяческие выдумки? Но вот случай, позволяющий доказать возможность такого беззастенчивого вмешательства именно в отношении Веспуччи. Годом позже — в 1508 году — один голландский печатник издает поддельный отчет о пятом путешествии Веспуччи, прибегая к самой грубой фальсификации. Точно так же, как письма Веспуччи послужили неизвестному флорентийскому издателю материалом для книги «Четыре путешествия», так и голландский издатель использовал для своей фальсификации описание путешествия одного тирольца, Балтасара Шпренгера, ходившее в рукописи по рукам. Издатель попросту заменяет повсюду слова оригинала: «Ego, Balthasar Sprenger»* словами: «Ick, Alberigus»**, дабы заставить публику поверить, что это описание путешествия принадлежит самому Веспуччи. И действительно, столь наглая подделка даже четыреста лет спустя ввела в заблуждение председателя Географического общества в Лондоне, в 1892 году с великой торжественностью объявившего, что им обнаружено пятое путешествие Веспуччи.

Почти нет сомнения — и это проясняет запутанную дотоле ситуацию, — что выдуманное сообщение о первом плавании, равно как и все другие противоречия, из-за которых Веспуччи столь длительное время обвиняли в злостном обмане, вовсе не следует приписывать ему, а должно отнести за счет беззастенчивости издателей и печатников, которые, не спрашивая разрешения автора, сдабривали частные письма Веспуччи всевозможными приправами собственного изготовления и в таком виде пускали в печать. Но против такого толкования воп-

* Я, Бальтазар Шпренгер (*лат.*).

** Я, Альбериг (*старонем.*).

роса, которое вносит в него полную ясность, противники Веспуччи выдвигают еще одно — последнее — возражение. Почему же, спрашивают они, Веспуччи, который умер в 1512 году и, следовательно, не мог не знать об этих книгах, где ему приписывали путешествия, которых он никогда не совершал, ни разу открыто не выступил против этого? Разве не должен был он ясно и во всеуслышание заявить: «Нет, не я являюсь первооткрывателем Америки, этой страны, которую несправедливо назвали моим именем»? Разве не повинен в обмане тот, кто не протестует против лжи, идущей ему на пользу?

На первый взгляд это возражение кажется убедительным. Но зададимся и другим вопросом: где же мог возражать Веспуччи? В какую инстанцию мог он направить свой протест? В те времена еще не знали, что такое литературная собственность; все, что было напечатано или распространялось в рукописи, было общим достоянием, и каждый мог пользоваться чужим именем и чужим произведением, как ему заблагорассудится.

Где мог протестовать Альбрехт Дюрер против того, что десятки гравиров ставили его столь популярную подпись «А. Д.» на своих собственных изделиях; куда могли заявить протест авторы первого варианта «Короля Лира» или «Гамлета», когда Шекспир брал и произвольно переделывал их пьесы? Где, в свою очередь, мог возражать Шекспир против того, что чужие пьесы выходили под его именем? А Вольтер — против тех, кто, желая заставить публику читать свои посредственные атеистические или философские памфлеты, издавал их под его всемирно известным именем? Как мог бороться Веспуччи против множества сборников, которые, всякий раз по-новому искажая тексты, разносили по свету его незаслуженную славу? Единственно, что мог сделать Веспуччи, это объяснять свою непричастность ко всему этому тем людям, с которыми он встречался в своем кругу.

А в том, что он так и поступал, нет никакого сомнения. В 1508 или 1509 годах, по крайней мере, единичные экземпляры книг Веспуччи должны были, безусловно, попасть и в Испа-

нию. И немисливо, чтобы король назначил кого-либо, опубликовавшего ложные сообщения о не совершенных им открытиях, на столь ответственную должность, занимая которую человек обязан прежде всего обучать штурманов составлению точных и достоверных донесений. Несомненно, что избранный королем человек должен был быть чист от всяких подозрений.

Более того, как уже точно установлено, одним из первых владельцев книги «*Cosmographiae Introductio*» был Фернандо Колумбо, сын адмирала. Экземпляр с его пометками сохранился и до нашего времени. Он не только читал эту книгу, в которой вопреки истине утверждалось, что Веспуччи ступил на материк раньше Колумба, но и сделал на полях книги свои замечания, — на полях той самой книги, где впервые предлагалось назвать новую страну Америкой. И странно, что в написанной им биографии отца Эрнандо Колон, обвиняющий кого угодно в зависти к великому адмиралу, ни единым дурным словом не отзывается о Веспуччи. Уже Лас Касас удивлялся этому умолчанию. «Я изумлен, — пишет он, — что дон Эрнандо Колон, сын адмирала, человек правильных суждений, имеющий, насколько мне известно, книгу Веспуччи «*Navigaciones*»*, обошел полным молчанием несправедливость и узурпирование, содеянные Америго Веспуччи в отношении его сиятельного отца».

И ничто не говорит о невинности Веспуччи яснее, чем молчание сына Колумба о том злосчастном искажении текста, из-за которого его отец был лишен заслуженной славы и не дал своего имени открытому им Новому Свету: сын Колумба знал: это произошло без ведома и желания Веспуччи.

Здесь была сделана попытка рассказать о «*Causa Vespucci*»**, прошедшем столько инстанций, — рассказать о нем с возможно большей объективностью и хронологической точностью, начиная с момента возникновения этого вопроса.

* «Плавания» (лат.) (то есть «Четыре плавания»).

** Деле Веспуччи (лат.).

Основная трудность заключалась в том, что предстояло разрешить необычайное противоречие между человеком и его славой, человеком и его репутацией. Ибо совершенное Веспуччи деяние, как теперь известно, не соответствует его славе, а слава — его деянию. Между человеком, каким он был на самом деле и каким он предстал перед всем светом, существовала столь резкая разница, что оба портрета — биографический и литературный — оказались несовместимыми. И лишь после того как мы уясним себе, что слава Веспуччи явилась плодом постороннего вмешательства и запутанных случайностей, станет возможным рассмотреть его действительные достижения и его жизнь как нечто цельное и рассказать о них в их естественной взаимосвязи.

И тогда оказывается, что с безмерной славой связаны скромные заслуги и что жизнь этого человека, возбуждавшего, как немногие другие, и восхищение и неприязнь всего мира, в действительности не была ни великой, ни драматичной. Это ли не «Комедия случайностей», в которую, сам того не ведая, был вовлечен Веспуччи?

Америго Веспуччи — третий сын нотариуса Чернастазио Веспуччи — родился во Флоренции 9 мая 1451 года, то есть через сто тридцать лет после смерти Данте. Веспуччи происходил из почтенного, хотя и обедневшего семейства и получил обычное для его круга гуманистическое образование, характерное для раннего Возрождения. Он изучал латынь, но не владел ею настолько свободно, чтобы писать по-латыни; его дядя, фра Джорджо Веспуччи, доминиканский монах из Сан-Марко, передает ему некоторые научные познания по математике и астрономии. Ничто не говорит о выдающихся способностях или чрезмерном честолюбии молодого человека. В то время как его братья посещают университет, он довольствуется службой в банке Медичи, возглавляемом Лоренцо Пьеро Медичи (не путать с его отцом, Лоренцо Великолепным).

Таким образом, во Флоренции Америго Веспуччи не считался выдающимся человеком и тем более крупным ученым.

Его письма к друзьям свидетельствуют, что он был занят своими личными делами и скромными интересами. При ведении коммерческих операций в банке Медичи он тоже как будто не выдвинулся, и только случайность приводит его в Испанию.

Подобно Вельзерам, Фуггерам и другим немецким и фламандским купцам, Медичи имели свои отделения в Испании и в Лиссабоне. Они финансировали экспедиции в новые страны, стараясь получить необходимые сведения и прежде всего вкладывать свои капиталы туда, где они приносят больше всего прибыли. Но вот у хозяев явилось подозрение, что один из служащих их севильской конторы совершил растрату. А поскольку хозяева считают Веспуччи, так же как и все, с кем он имел когда-либо дело, человеком исключительно добросовестным и надежным, то 14 мая 1491 года этого мелкого служащего и посылают в Испанию, где он поступает в филиал фирмы Медичи — торговый дом Хуаното Беральди. И здесь, у Беральди, занятого главным образом снаряжением кораблей, положение Веспуччи также остается скромным.

Веспуччи отнюдь не самостоятельный купец с капиталом и собственной клиентурой, хотя он и называет себя в письмах «Mercante florentino»*, а всего лишь «фактор» конторы Беральди, который, в свою очередь, подчинен Медичи. Не занимая высокого положения, Веспуччи, однако, приобретает личное доверие и даже дружбу своего начальника. В 1495 году, чувствуя приближение смерти, Беральди назначает в завещании своим душеприказчиком Америго Веспуччи, которому после смерти Беральди и приходится заняться ликвидацией фирмы.

Таким образом, Веспуччи, которому уже почти пятьдесят лет, снова остается с пустыми руками. Видимо, ему не хватает капитала или желания самостоятельно и на свой риск продолжать дела Беральди. Чем занимался Веспуччи в Севилье в

*Флорентийским купцом (*ит.*).

последующие 1497 и 1498 годы, в настоящее время установить нельзя, так как об этом не сохранилось никаких документов. Но, во всяком случае, — и это подтверждается более поздним письмом Колумба — Веспуччи жилось несладко, ибо только неудачами можно объяснить внезапную перемену в его жизни.

Почти тридцать лет проработал умный работяга-флорентиец мелким служащим, всегда занятым чужими делами. Он не обзавелся собственным домом, у него нет ни жены, ни ребенка. На склоне лет он оказался одиноким, необеспеченным человеком. Но эпоха открытий дает смельчаку, способному рискнуть своей жизнью, единственную в своем роде возможность — одним рывком завоевать и богатство и славу. Это эпоха дерзких смельчаков и любителей приключений, с тех пор, пожалуй, более неведомых миру. И, подобно сотням и тысячам других неудачников, этот дотоле мелкий и, вероятно, даже обанкротившийся купец Америго Веспуччи пытается найти свое счастье, отправившись на корабле в Новую Индию. Когда в мае 1499 года Алонсо Охеда снаряжает по поручению кардинала Фонсеки заморскую экспедицию, Америго принимает в ней участие.

В качестве кого взял его с собой Алонсо Охеда, не совсем ясно. Несомненно лишь то, что фактор фирмы Беральди, занимавшийся снаряжением морских кораблей, постоянно имел дело с капитанами, кораблестроителями, поставщиками разных товаров и приобрел в силу этого некоторые профессиональные познания. Он досконально изучил корабль — от киля до кончика мачты. Как образованный флорентиец Веспуччи намного культурнее своих товарищей по плаванию; кроме того, он, по-видимому, заранее приобрел навигационные знания. Он учится пользоваться астролябией и применять новые методы вычисления долготы, занимается астрономией, упражняется в составлении географических карт; поэтому можно предположить, что он участвовал в экспедиции Охеды в качестве кормчего или астронома, а не как простой маклер.

Но даже если предположить, что Америго Веспуччи участвовал в этой экспедиции не как кормчий, а как простой делец, то, во всяком случае, из многомесячного плавания он возвратился опытным специалистом. Не лишенный сообразительности и тонкой наблюдательности, обладая большой любознательностью, Веспуччи, понаторевший в математических расчетах и рисовании карт, приобрел, видимо, за долгие месяцы плавания те особые качества, которые заметно выделяют его в кругу мореплавателей. И поскольку в Португалии готовится новая экспедиция в недавно открытые Кабралом области Бразилии, вдоль северного побережья которой проходил и Веспуччи в плавании с Охедой, то именно к нему обращается король с предложением сопровождать эту новую экспедицию в качестве кормчего, астронома или составителя карт. То обстоятельство, что король соседнего государства, где, право же, не было недостатка в собственных отличных кормчих и мореходах, пригласил именно Веспуччи, непременно свидетельствует о высокой репутации этого дотоле неизвестного человека.

Веспуччи колеблется не слишком долго. Плавание с Охедой не принесло ему никакой прибыли. После всех опасностей и трудностей многомесячного путешествия он возвратился в Севилью таким же бедняком, каким уехал; у него нет должности, нет профессии, нет занятия, нет состояния, следовательно, ни в коей мере не является изменой Испании то, что он принял почетное предложение португальского короля.

Но и новое плавание не приносит Веспуччи ни выгоды, ни почета. Его имя столь же редко упоминается в документах, где говорится об этой экспедиции, как и имя командующего флотилией. Задача этого разведывательного плавания состояла в том, чтобы возможно дальше пройти вдоль побережья на юг и открыть уже давно разыскиваемый путь к «Островам пряностей». Ибо люди все еще одержимы иллюзией, что Земля Святого Креста, на которую наткнулся Кабрал,

является не чем иным, как островом средней величины, и тот, кому посчастливится обогнуть его, сможет очутиться у Молдуков — этой сокровищницы пряностей и источника всех богатств.

Историческая заслуга экспедиции, в которой участвовал Веспуччи, заключается в том, что она позволила впервые опровергнуть это заблуждение. Португальцы достигают тридцатого, сорокового, пятидесятого градуса южной широты, но все еще плывут вдоль берега. Ему нет ни конца, ни края. Давно остались позади жаркие края, становится все холоднее и холоднее, и вот уже морякам приходится отказаться от надежды обогнуть этот огромный новый материк, который, словно гигантская поперечная балка, преграждает им путь в Индию.

Однако, приняв участие в неудавшемся, но тем не менее одном из самых смелых и значительных плаваний эпохи, о котором Веспуччи имеет полное право с гордостью сказать, что оно измерило четвертую часть света, этот дотоле никому не известный человек делает огромный вклад в географическую науку: Веспуччи привозит Европе сознание того, что новонайденная земля не есть Индия или какой-то остров, а что это «Mundus Novus» — новый материк, Новый Свет.

Не более успешно и следующее плавание, которое Веспуччи предпринимает опять-таки по поручению короля Португалии; цель плавания та же — найти восточный путь в Индию, то есть попытаться осуществить тот подвиг, который лишь впоследствии удалось совершить Магеллану. Правда, на сей раз флотилия спускается еще дальше на юг, оставив позади себя Рио де Ла-Плата, однако, гонимая бурями, она вынуждена вернуться. И еще раз Веспуччи, теперь уже на пятьдесят четвертом году жизни, возвращается в Лиссабон таким же бедным, разочарованным — и как сам он считает — совершенно безвестным человеком, одним из многих, кто искал свое счастье в Новой Индии и так и не нашел его.

Но тем временем происходит нечто невероятное, чего Вес-

пуччи, находясь под другим небом, на другом полушарии, не мог предвидеть, о чем не мог и мечтать: оказывается, именно он, скромный, безвестный и нищий мореход, взволновал умы всех ученых Европы. Каждый раз, возвратившись из плавания, он писал своему бывшему хозяину и личному другу Лоренцо Медичи письма, в которых правдиво и честно описывал все, что довелось ему увидеть в пути. Кроме того, он вел дневники и вручил их королю Португалии; как письма, так и дневники были исключительно личными документами и предназначались только для политической или торговой информации.

Веспуччи никогда не приходила в голову мысль выдавать себя за ученого или писателя и считать свои частные письма литературными или научными произведениями. Веспуччи выразительно говорит, что во всем им написанном, как он сам считает, *di tanto mal sapore**, что он не может решиться опубликовать это в столь незаконченном виде. Если же он один раз упоминает о плане задуманной им книги, то тут же прибавляет, что хочет издать ее лишь «при помощи ученых людей». И только тогда, когда он «уйдет на покой», *quando saro de geposo***, чтобы после смерти снискать некоторую славу — *qualche fama*.

Но, сам того не ведая и уж, конечно, ничего для этого не предпринимая, он, странствующий в эти дни в чужих морях, неожиданно и словно с черного хода приобрел славу великого писателя и самого ученого географа своей эпохи. То письмо к Лоренцо Медичи, в котором Веспуччи описывал свое третье плавание, было переведено на латинский язык, затем весьма вольно отредактировано, стилизовано под научный отчет и, появившись в печати под заглавием «*Mundus Novus*», произвело невероятную сенсацию. С того момента, как эти четыре печатных листа выпорхнули в свет, во всех городах и гаванях знают, что вновь открытые земли совсем не Индия, как пред-

* Так мало вкуса (*ит.*).

** Когда буду отдыхать (*ит.*).

полагал Колумб, а Новый Свет и что именно Альберик Веспуччи первым поведал миру эту чудесную истину.

Но человек, которого вся Европа считает образованнейшим ученым и наиболее отважным из всех мореплавателей, ничего не ведает о своей славе и старается найти такое место, которое обеспечило бы ему наконец скромное спокойное существование. Уже будучи в годах, Веспуччи женится и окончательно отказывается от столь утомительных приключений и плаваний. Наконец на пятьдесят седьмом году жизни осуществляется его заветное желание. Он достиг того, к чему стремился всю свою жизнь: получив должность главного кормчего Casa de Contratación с окладом в пятьдесят тысяч, а позже в семьдесят пять тысяч мараведисов, он зажил мирной жизнью обывателя. С этого времени новоявленный Птолемей не больше и не меньше как обыкновенный чиновник короля — один из многих почтенных королевских чиновников в Севилье.

Было ли Веспуччи в последние годы его жизни известно о той славе, которая выросла вокруг его имени вследствие недоразумений и ошибок? Подозревал ли он когда-нибудь, что новую землю, лежащую по ту сторону океана, хотят назвать его именем? Возражал ли он против этой незаслуженной славы, высмеивал ли ее или только тихо и скромно сказал своим ближайшим друзьям, что не все происходило так, как печатают в книгах?

Мы знаем лишь одно, а именно, что эта невероятная слава, которая, подобно урагану, пронеслась через моря и горы, прокатилась через многие страны и, прозвучав на разных языках, докатилась даже до Нового Света, не принесла самому Веспуччи никакой, даже самой ничтожной, осязаемой выгоды. Он остается таким же бедняком, каким был и в первый день своего приезда в Испанию; и когда 22 февраля 1512 года Веспуччи скончался, его вдове пришлось униженно просить о назначении ей минимальной годовой пенсии в десять тысяч мараведисов. Единственно, что осталось ценного после Веспуччи, — это

дневники его путешествий. Лишь они могли бы открыть нам всю правду, но дневники эти попали к племяннику Веспуччи, хранившему их так небрежно, что они навсегда для нас потеряны, как и многие другие драгоценные документы эпохи открытий.

Ничего не осталось от трудов этого скромного, сдержанного человека, кроме сомнительной и не по праву присвоенной ему славы. Одно ясно — человек, заставивший ученых в течение четырех столетий решать одну из самых сложных проблем, сам, по существу, прожил весьма несложную, бесхитростную жизнь. Решимся же утверждать следующее: Веспуччи был не более как человеком посредственным. Он не был первооткрывателем Америки, не был *amplificator orbis terrarum**, но не был равным образом и обманщиком, каким его ославили. Он не был великим писателем, но и не воображал, что является таковым. Веспуччи не выдающийся ученый, он не глубокомысленный философ, и не астроном Коперник, и не Тихо де Браге; и пожалуй, даже слишком смело ставить его в первый ряд великих мореплавателей, потому что нигде его печальная судьба не позволила ему проявить собственную инициативу.

Ему не доверили флотилии, как Колумбу и Магеллану; занимая различные должности, Веспуччи всегда был лицом подчиненным и не имел возможности самостоятельно что-либо исследовать, открывать, приказывать или руководить. Он всегда был во втором ряду, заслоненный чужой тенью. И если, несмотря ни на что, сверкающий луч славы пал именно на него, то это произошло не в силу его особых заслуг или особой вины, а из-за своеобразного стечения обстоятельств, ошибок, случайностей, недоразумений. То же самое могло произойти с любым другим участником того же плавания, рассказывавшим о нем в своих письмах, или со штурманом какого-нибудь соседнего корабля.

* Тем, кто расширил земной круг (*лат.*).

Но история не позволяет спорить, она выбрала именно его, и ее решение, пусть даже ошибочное, пусть несправедливое, — бесповоротно. Два слова «Mundus Novus», которыми сам Веспуччи или неизвестный издатель озаглавил его письма, и «Четыре путешествия», — причем даже не установлено, во всех ли плаваниях он принимал участие, — ввели Веспуччи в гавань бессмертия. Никогда уже его имя не будет вычеркнуто из книги человеческой славы, и, пожалуй, всего точнее можно определить его заслуги в истории мировых открытий парадоксом: Колумб открыл Америку, но не знал этого, Веспуччи ее не открывал, но первым понял, что Америка — новый континент. Это единственное достижение Веспуччи связано со всей его жизнью, с его именем. Ибо никогда сам по себе подвиг не является определяющим, а решающее значение имеют осознание подвига и его последствия.

Человек, который рассказывает о подвиге и поясняет его, может стать для потомков более значительным, чем тот, кто его совершил. И в не поддающейся расчетам игре исторических сил малейший толчок может зачастую вызвать сильнейшие последствия. Кто ждет от истории справедливости, тот требует от нее большего, чем она намерена дать: она часто дарует среднему человеку славу подвига и бессмертие, отбрасывая самых лучших, храбрых и мудрых во тьму безвестности.

И все же Америке не следует стыдиться своего имени. Это имя человека честного и смелого, который уже в пятидесятилетнем возрасте трижды пускался в плавание на маленьком суденышке через неведомый океан, как один из тех «безвестных матросов», сотни которых в ту пору рисковали своей жизнью в опасных приключениях. И, быть может, имя такого среднего человека, одного из безымянной горстки смельчаков, более подходит для обозначения демократической страны, нежели имя какого-нибудь короля или конквистадора, и, конечно же, это более справедливо, чем если бы Америку называли Вест-Индией, или Новой Англией, или Новой Испанией, или Землей Святого Креста.

Это смертное имя перенесено в бессмертие не по воле одного человека; то была воля судьбы, которая всегда права, даже если нам кажется, что она поступает несправедливо. Там, где приказывает эта высшая воля, мы должны подчиниться. И мы пользуемся сегодня этим словом, которое придумано по воле слепого случая, в веселой игре, как само собой разумеющимся, единственно мыслимым и единственно правильным — звучным, легкокрылым словом «Америка».





МАГЕЛЛАН



ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯНИЕ

ОТ АВТОРА

Книга зарождается из разнородных чувств. На создание книги может толкнуть и вдохновение, и чувство благодарности; в такой же мере способны разжечь духовную страсть досада, гнев, огорчение. Иной раз побудительной причиной становится любопытство, психологическая потребность в процессе писания уяснить себе самому людей и события. Но и мотивы сомнительного свойства: тщеславие, алчность, самолюбование — часто, слишком часто побуждают нас к творчеству; поэтому автору, собственно, каждый раз следовало бы отдавать себе отчет, из каких чувств, в силу какого влечения выбрал он свой сюжет. Внутренний источник данной книги мне совершенно ясен. Она возникла из несколько необычного, но весьма настойчивого чувства — пристыженности.

Было это так. В прошлом году мне впервые представился долгожданный случай поехать в Южную Америку. Я знал, что в Бразилии меня ждут прекраснейшие места на земле, а в Аргентине — ни с чем не сравнимое наслаждение: встреча с братьями по духу. Уже одно предвкушение этого делало поездку чудесной; а в дороге присоединилось все, что только может быть приятного: спокойное море, полное отдохновение на быстроходном и поместительном судне, отрешенность от всех обязательств и повседневных забот. Безмерно наслаждался я райскими днями этого путешествия.

Но внезапно, на седьмой или восьмой день, я поймал себя на чувстве какого-то досадливого нетерпения. Все то же синее

небо, все та же синяя безмятежная гладь! Слишком долгими показались мне в эту минуту внезапного раздражения часы путешествия. В душе я уже хотел быть у цели, меня радовало, что стрелка часов каждый день неустанно продвигается вперед. Ленивое, расслабленное наслаждение ничем как-то вдруг стало угнетать меня. Одни и те же лица все тех же людей казались утомительными, монотонная жизнь на корабле раздражала нервы именно своим равномерно пульсирующим спокойствием. Лишь бы вперед, вперед, скорей, как можно скорей! И сразу этот прекрасный, уютный, комфортабельный, быстроходный пароход стал для меня недостаточно быстрым.

Может быть, какая-то секунда понадобилась мне, чтобы осознать свое нетерпение и устыдиться. «Ведь ты, — гневно сказал я себе, — совершаешь чудесное путешествие на безопаснейшем из судов, любая роскошь, о которой только можно помыслить, к твоим услугам. Если вечером в твоей каюте слишком прохладно, тебе стоит только двумя пальцами повернуть регулятор — и воздух нагрелся. Полуденное солнце экватора кажется тебе несносным — что же, в двух шагах от тебя находится помещение с охлаждающими вентиляторами, а чуть подальше тебя уже ждет бассейн для плавания. За столом в этой роскошнейшей из гостиниц ты можешь заказать любое блюдо, любой напиток — все появится в мгновение ока, словно принесенное легкокрылыми ангелами, и притом в изобилии. Ты можешь уединиться и читать книги или же сколько душе угодно развлекаться играми, музыкой, обществом. Тебе предоставлены все удобства и все гарантии безопасности.

Ты знаешь, куда едешь, точно знаешь час своего прибытия и знаешь, что тебя ждет дружеская встреча. Так же и в Лондоне, Буэнос-Айресе, Париже и Нью-Йорке ежечасно знают, в какой точке вселенной находится твое судно. Тебе нужно только подняться на несколько ступенек по маленькой лесенке, и послушная искра беспроволочного телеграфа тотчас отделится от аппарата и понесет твой вопрос, твой привет в любой уголок земного шара, и через час тебе уже откликнутся с любого конца света. Вспомни же, нетерпеливый, ненасыт-

ный человек, как было раньше! Сравни хоть на миг свое путешествие со странствиями былых времен, и прежде всего с первыми плаваниями тех смельчаков, что впервые открыли для нас эти необъятные моря, открыли мир, в котором мы живем, — вспомни и устыдись!

Попробуй представить себе, как они на крохотных рыбацких парусниках отправлялись в неведомое, не зная пути, затерянные в беспредельности, под вечной угрозой гибели, отданные во власть непогоды, обреченные на тягчайшие лишения. Ночью — беспросветный мрак, единственное питье — тепловатая, затхлая вода из бочек или набранная в пути дождевая, никакой еды, кроме черствых сухарей да копченого прогорклого сала, а часто долгие дни даже без этой скудной пищи. Ни постелей, ни места для отдыха, жара адская, холод беспощадный, и к тому же сознание, что они одни, безнадежно одни среди этой жестокой водной пустыни.

На родине месяцами, годами не знали, где они, и сами они не знали, куда плывут. Невзгоды сопутствовали им, тысячекладная смерть обступала их на воде и на суше, им угрожали люди и стихии; месяцы, годы — вечно эти жалкие, утлые суденышки окружены были ужасающим одиночеством. Никто — и они это знали — не может поспешить к ним на помощь, ни один парус — и они это знали — не встретится за долгие, долгие месяцы плавания в этих не вспаханных корабельным килем водах, никто не выручит их из нужды и опасности, никто не принесет вести об их смерти, гибели». Едва я начал думать об этих первых плаваниях конквистадоров морей, как я глубоко устыдился своего нетерпения.

Это чувство пристыженности, однажды пробудившись, уже не покидало меня в продолжение всего пути, мысль о безымянных героях не давала мне ни минуты покоя. Меня потянуло подробней узнать о тех, кто первым отважился вступить в бой со стихией, прочесть о первых плаваниях по неисследованным морям, описания которых волновали меня уже в отроческие годы. Я зашел в пароходную библиотеку и наудачу взял несколько томов.

Из всех описаний людей и плаваний меня больше всего поразил подвиг одного человека, непревзойденный, думается мне, в истории познания нашей планеты. Я имею в виду Фернандо Магеллана, того, кто во главе пяти утлых рыбацких парусников покинул Севильскую гавань, чтобы обогнуть земной шар. Прекраснейшая одиссея в истории человечества — это плавание двухсот шестидесяти пяти мужественных людей, из которых только восемнадцать возвратились на полуразбитом корабле, но с флагом величайшей победы, реющим на мачте. Многого я из этих книг о нем не вычитал, во всяком случае, для меня этого было мало. Возвратившись домой, я продолжал читать и рыскать в книгах, дивясь тому, сколь малым и сколь малодостоверным было все ранее рассказанное об этом геройском подвиге. И снова, как много раз прежде, я понял, что лучшей и плодотворнейшей возможностью объяснить самому себе необъяснимое будет воплотить в слове и объяснить его для других.

Так возникла эта книга — по правде говоря, мне самому на удивление. Ибо в то время как я, в соответствии со всеми доступными мне документами, по мере возможности придерживаясь действительности, воссоздавал эту вторую одиссею, меня не оставляло странное чувство, что я рассказываю нечто вымышленное, одну из великих грез, священных легенд человечества. Но ведь нет ничего прекраснее правды, кажущейся неправдоподобной! В великих подвигах человечества, именно потому, что они так высоко возносятся над обычными земными делами, заключено нечто непостижимое; но только в том невероятном, что оно свершило, человечество снова обретает веру в себя.

NAVIGARE NECESSE EST*

Вначале были пряности. С тех пор как римляне в своих путешествиях и войнах впервые познали прелесть острых и дурманящих, терпких и пьянящих восточных приправ, Запад уже не может и не хочет обходиться как на кухне, так и в погребе без *especies* — индийских специй, без пряностей. Ведь вплоть до позднего средневековья пища северян была невообразимо пресна и безвкусна. Пройдет еще немало времени, прежде чем наиболее употребительные ныне плоды — картофель, кукуруза и помидоры — обоснуются в Европе; пока же мало кто подкисляет кушанья лимоном, подслащивает сахаром; еще не открыты изысканные тонизирующие свойства чая и кофе; даже государи и знатные люди ничем, кроме тупого ожорства, не могут вознаградить себя за бездушное однообразие трапез.

Но удивительное дело: стоит только в самое незатейливое блюдо подбавить одно-единственное зернышко индийских пряностей — крохотную щепотку перца, сухих мускатных цветов, самую малость имбиря или корицы, — и во рту немедленно возникает своеобразное приятное раздражение. Между ярко выраженным мажором и минором кислого и сладкого, острого и пресного начинают вибрировать очаровательные гастрономические обертоны, и промежуточные вкусовые нервы средневековых людей начинают все более жадно требовать этих новых возбуждающих веществ. Кушанье считается хорошо приготовленным, только когда оно донельзя переперчено, до отказа едко и остро; даже в пиво кладут имбирь, а вино так приправляют толчеными специями, что каждый глоток огнем горит в гортани. Но не только для кухни нужны Западу столь огромные количества *especies*.

Женская суетность тоже требует все больше и больше благовоний Аравии, и притом все новых, — дразнящего чувственность мускуса, приторной амбры, розового масла; для женщин

*Плывать по морю необходимо (*лат.*).

ткачи и красильщики вырабатывают китайские шелка, индийские узорчатые ткани, золотых дел мастера раздобывают белый цейлонский жемчуг и голубоватые нарсингские алмазы.

Еще больший спрос на заморские товары предъявляет католическая церковь, ибо ни одно из миллиардов зернышек ладана, курящегося в кадилъницах, мерно раскачиваемых причетниками тысяч и тысяч церквей Европы, не выросло на европейской земле, каждое из миллиардов этих зернышек морем и сушей совершало свой неизмеримо долгий путь из Аравии.

Аптекари, в свою очередь, являются постоянными покупателями прославленных индийских специй — таких, как опий, камфара, драгоценная камедистая смола; им по опыту известно, что никакой бальзам, никакое лекарственное снадобье не покажется больному истинно целебным, если на фарфоровой баночке синими буквами не будут начертаны магические слова «*agabicum*» или «*indicum*»*. Все восточное в силу своей отдаленности, редкости, экзотичности, быть может, и дороговизны, начинает приобретать для Европы неотразимую, гипнотизирующую прелесть. «Арабский», «персидский», «индостанский» — эти определения в средние века (так же как в восемнадцатом веке эпитет «французский») тождественны словам: роскошный, утонченный, изысканный, царственный, драгоценный. Ни один товар не пользовался таким спросом, как пряности: казалось, аромат этих восточных цветов незримым волшебством околдовал души европейцев.

Но именно потому, что мода так настойчиво требовала индийских товаров, они были дороги и непрерывно дорожали. В наши дни почти невозможно точно проследить лихорадочный рост цен на эти товары, ибо все исторические таблицы денежных цен, как мы знаем по опыту, достаточно абстрактны. Наглядное представление о бешено взвинченных ценах на пряности лучше всего можно получить, вспомнив, что в нача-

* Арабский или индийский (лат.).

ле второго тысячелетия нашей эры тот самый перец, что теперь стоит на столиках любого ресторана, перец, который сыплот небрежно, как песок, сосчитывался по зернышкам и ценился едва ли не на вес серебра. Ценность его была столь устойчива, что многие города и государства расплачивались им, как благородным металлом; на перец можно было приобретать земельные участки; перцем выплачивать приданое, покупать за перец права гражданства. Многие государи и города исчисляли взимаемые ими пошлины на вес перца, а если в средние века хотели сказать, что кто-либо невероятно богат, его в насмешку обзывали «мешком перца». Имбирь, корицу, хинную корку и камфару взвешивали на ювелирных и аптекарских весах, наглухо закрывая при этом двери и окна, чтобы сквозняком не сдуло драгоценную пылинку. Как ни абсурдна на наш современный взгляд подобная расценка пряностей, она становится понятной, когда вспомнишь о трудности их доставки и сопряженном с нею риске.

Бесконечно велико было в те времена расстояние между Востоком и Западом, и каких только опасностей и препятствий не приходилось преодолевать в пути кораблям, караванам и обозам, какая одиссея выпадала на долю каждому зернышку, каждому лепестку, прежде чем они с зеленого куста Малайского архипелага попадали на свой последний причал — прилавок европейского торговца!

Разумеется, само по себе ни одно из этих растений не являлось редкостью. По ту сторону земного шара все они — коричные деревья на Тидоре, гвоздичные на Амбоине, мускатный орех на Банде, кустики перца на Малабарском побережье — растут в таком же изобилии и так же привольно, как у нас чертополох, и центнер пряностей на Малайских островах ценится не дороже, чем щепотка пряностей на Западе. Но в скольких руках должен перебивать товар, прежде чем он через моря и пустыни попадет к последнему покупателю — к потребителю!

Первая пара рук, как обычно, оплачивается всех хуже: раб-малаец, который собирает только что созревшие плоды и

в плетеной, навьюченной на смуглую спину корзине тащит их на рынок, не наживает ничего, кроме ссадин и пота. Но уже его хозяин получает известный барыш; купец-мусульманин покупает у него товар и на крохотном челноке в палящий зной везет его с Молуккских островов восемь, десять, а то и больше дней до Малакки (близ нынешнего Сингапура). Здесь в сотканной им сети уже сидит первый паук-кровосос, хозяин гавани — могущественный султан — взимает с купца пошлину за перегрузку товара. Лишь после внесения пошлины купец получает право перегрузить душистую кладь на джонку покрупнее, и снова широкое весло или четырехугольный парус медленно движет суденышко вперед, вдоль берегов Индии.

Так проходят месяцы: однообразное плавание, а в штиль — бесконечное ожидание под знойным, безоблачным небом. И затем снова стремительное бегство от тайфунов и корсаров. Бесконечно трудна и несказанно опасна эта перевозка товара по двум, даже по трем тропическим морям. В дороге из пяти судов одно почти всегда становится добычей бурь или пиратов, и купец возносит благодарственные молитвы, когда, благополучно миновав Камбай, наконец достигает Ормуза или Адена, где ему открывается доступ к *Arabia felix** или к Египту.

Но новый вид перевозки, начинающийся с этих мест, не менее труден, не менее опасен. Длинными покорными вереницами стоят в этих перевалочных гаванях тысячи верблюдов, послушно опускаются они на колени по первому знаку хозяина; один за другим на них навьючивают крепко увязанные, набитые перцем и мускатными цветами тюки, и, мерно покачиваясь, «четвероногие корабли» начинают свой путь по песчаному морю. Долгие месяцы тянутся по пустыне арабские караваны с индийскими товарами — «Тысяча и одна ночь» воскресает в этих названиях — через Басру, Багдад, Дамаск в Бейрут и Трапезунд или через Джидду в Каир. Идут они через

* Счастливая Аравия (лат.).

пустыню дальними, древними путями, хорошо известными купцам еще со времен фараонов и бактрийцев. Но, на беду, не хуже известны они и бедуинам — этим пиратам песчаных пустынь; дерзкий набег зачастую одним ударом уничтожает плоды трудов и усилий многих месяцев.

То, чему посчастливилось спастись от песчаных смерчей и бедуинов, становится добычей других разбойников: с каждого верблюда, с каждого тюка генджасские эмиры, египетские и сирийские султаны взимают пошлину, и притом немалую. Ежегодный доход одного только египетского грабителя от пошлин, взимаемых за провоз пряностей, исчисляется сотнями тысяч дукатов. А когда наконец караван доходит до устья Нила, близ Александрии, там его уже поджидает последний, но отнюдь не самый скромный взиматель податей — венецианский флот.

Со времени вероломного уничтожения торговой соперницы — Византии эта маленькая республика целиком захватила монополию торговли пряностями на Западе; вместо того чтобы прямо отправляться к месту назначения, товар следует на Риальто, где его с аукциона приобретают немецкие, фламандские и английские маклеры. И лишь тогда в повозках на широких колесах, по снегам и льдам альпийских ущелий, катят эти плоды, рожденные и возвращенные два года назад тропическим солнцем, к европейскому торговцу и тем самым к потребителю.

Не меньше чем через дюжину хищных рук, как меланхолически вписывает Мартин Бехайм в 1492 году в свой глобус, в знаменитое свое «Яблоко земное», должны пройти индийские пряности, прежде чем попасть в последние руки — к потребителю: «А также ведать надлежит, что специи, кои растут на островах индийских, на Востоке во множестве рук перебивают, прежде чем доходят до наших краев».

Но хоть и дюжина рук делит наживу, каждая из них все же выжимает из индийских пряностей довольно золотого сока; несмотря на весь риск и опасности, торговля пряностями слышит в средние века самой выгодной, ибо наименьший объем

товара сочетается здесь с наивысшей прибылью. Пусть из пяти кораблей — экспедиция Магеллана доказывает правильность этого расчета — четыре пойдут ко дну вместе с грузом, пусть из двухсот шестидесяти пяти человек двести не возвратятся домой, пусть капитаны и матросы расстаются с жизнью, купец и тут не останется внакладе.

Если по прошествии трех лет из пяти кораблей вернется лишь самый малый, но груженный одними пряностями, этот груз с лихвой возместит все убытки, ибо мешок перца в пятнадцатом веке ценится дороже человеческой жизни. Неудивительно, что при большом предложении не имевших никакой ценности жизней и бешеном спросе на высокоценные пряности расчет купцов всегда оказывается верным. Венецианские палаццо, дворцы Фугтеров и Вельзеров едва ли не целиком сооружены на прибыли от индийских пряностей.

Но как на железе неминуемо образуется ржавчина, так большим прибылям неизменно сопутствует едкая зависть. Любая привилегия всегда воспринимается другими как несправедливость, и там, где отдельная группа людей безмерно обогащается, сама собой возникает коалиция обделенных. Давно уже косятся генуэзцы, французы, испанцы на оборотистую Венецию, сумевшую отвести золотой Гольфстрим к Канале Гранде, и еще более злобно взирают они на Египет и Сирию, где ислам неодолимой цепью отгородил Индию от Европы: ни одному христианскому судну не разрешается плавание в Красном море, ни один купец-христианин не вправе пересечь его. Вся торговля с Индией неумолимо осуществляется через турецких и арабских купцов и посредников.

Такое положение вещей не только бессмысленно удорожает товар для европейского потребителя, не только заведомо урезает прибыль христианских купцов, — возникает новая опасность: весь избыток драгоценных металлов может отхлынуть на Восток, ибо стоимость европейских товаров значительно уступает стоимости индийских. Уже из-за одного этого весьма ощутительного убытка нетерпеливое желание западных стран освободиться от разорительного и унижающего их

контроля становилось все более настойчивым, и силы наконец объединились.

Крестовые походы отнюдь не были (как это часто изображается романтизирующими историками) только мистически-религиозной попыткой отвоевать у неверных «гроб господень»; эта первая европейско-христианская коалиция являлась в то же время и первым продуманным и целеустремленным усилием разомкнуть цепь, преграждавшую доступ к Красному морю, снять для Европы, для христианского мира запрет торговли с восточными странами. Но так как эта попытка не удалась, поскольку Египет остался во власти мусульман и ислам по-прежнему преграждал дорогу в Индию, то, естественно, возникло желание отыскать другой свободный, независимый путь в эту страну.

Отвага, побудившая Колумба двинуться на запад, Бартоломеу Диаша и Васко да Гаму — на юг, Кабота — на север, к Лабрадору, рождалась прежде всего из целенаправленного стремления наконец-то открыть для западного мира вольный, беспошлинный, беспрепятственный путь в Индию и тем самым сломить позорное превосходство ислама. В истории важнейших изобретений и открытий окрыляющим началом всегда является духовное, нравственное побуждение, но толкают на претворение этих открытий в жизнь чаще всего мотивы материального порядка. Разумеется, уже одной своей дерзновенностью замыслы Колумба и Магеллана должны были воодушевить королей и их советников; но никогда эти проекты не были бы поддержаны деньгами, нужными для их осуществления, никогда монархи и спекулянты не снарядили бы флот для отважных конквистадоров, если бы эти экспедиции в неведомые страны не сулили в то же время тысячекратного возмещения затраченных средств. За героями этого века открытий в качестве движущей силы стояли купцы, и этот первый героический порыв завоевать мир был вызван весьма земными побуждениями. Вначале были пряности.

В истории всегда чудесны те мгновения, когда гений от-

дельного человека вступает в союз с гением эпохи, когда один человек проникнут творческим устремлением своего времени. Среди стран Европы была одна, которой еще не удалось выполнить свою часть общеевропейской задачи, — Португалия, в долгой героической борьбе освободившаяся от владычества мавров. Но теперь, когда добытые оружием победа и самостоятельность закреплены, молодой, полный сил народ пребывает в вынужденном бездействии. Естественное стремление к экспансии, присущее каждому успешно развивающемуся народу, пока еще не находит выхода. Все сухопутные границы Португалии соприкасаются с Испанией, дружественным, братским королевством, следовательно, для маленькой бедной страны возможна только экспансия на море посредством торговли и колонизации.

На беду, географическое положение Португалии по сравнению со всеми другими мореходными нациями Европы является — или кажется в те времена — наименее благоприятным. Ибо Атлантический океан, чьи несущиеся с запада волны разбиваются о португальское побережье, слыл, согласно географии Птолемея (единственного авторитета средних веков), беспредельной, недоступной для мореплавания водной пустыней. Столь же недоступным изображается в Птолемеевых описаниях Земли и южный путь — вдоль африканского побережья: невозможным считалось обогнуть морем эту песчаную пустыню, дикую, необитаемую страну, якобы простирающуюся до антарктического полюса и не отделенную ни единым проливом от *terra australis**. По мнению старинных географов, из всех европейских стран, занимающихся мореплаванием, Португалия, не расположенная на берегу единственного судогодного моря — Средиземного, находилась в наиболее невыгодном положении.

И вот делом жизни одного португальского принца становится превратить это мнимо невозможное в возможное, от-

*Южная земля (лат.).

важно попытаться сделать, согласно евангельскому изречению, последних первыми. Что, если Птолемей, этот *geographus maximus**, этот непогрешимый авторитет землеведения, ошибся? Что, если этот океан, могучие западные волны которого нередко выбрасывают на португальский берег обломки диких деревьев (а ведь где-нибудь они да росли), вовсе не бесконечен? Что, если он ведет к новым, неизвестным странам? Что, если Африка обитаема и по ту сторону тропиков? Что, если премудрый грек попросту заврался, утверждая, будто этот неисследованный материк нельзя обогнуть, будто через океан нет пути в индийские моря? Ведь тогда Португалия, лежащая западнее других стран Европы, стала бы подлинным трамплином всех открытий и через Португалию прошел бы ближайший путь в Индию. Тогда бы Португалия не была больше заперта океаном, а напротив, больше других стран Европы пригодна к мореходству.

Эта мечта сделать маленькую, бессильную Португалию великой морской державой и Атлантический океан, слывший доселе неодолимой преградой, превратить в водный путь стала *in puce*** делом всей жизни *infante**** Энрике, заслуженно и в то же время незаслуженно именуемого в истории Генрихом Мореплавателем. Незаслуженно, ибо, если не считать непродолжительного морского похода в Сеуту, Энрике ни разу не ступал на корабль, не написал ни одной книги о мореходстве, ни одного навигационного трактата, не начертил ни единой карты. И все же история по праву присвоила ему это имя, ибо только мореплаванию и мореходам отдал этот португальский принц всю свою жизнь и все свои богатства.

Уже в юные годы отличившийся при осаде Сеуты (1412 г.), один из самых богатых людей в стране, этот сын португальского и племянник английского короля мог удовлетворить свое честолюбие, занимая самые блистательные должности; евро-

* Величайший географ (*лат.*).

** В зародыше (*лат.*).

*** Инфант — титул португальских и испанских принцев (*португ. и исп.*).

пейские дворы наперебой зовут его к себе. Англия предлагает пост главнокомандующего. Но этот странный мечтатель всему предпочитает плодотворное одиночество. Он удаляется на мыс Сагриш, некогда священный (*sacrum*) мыс древнего мира, и там в течение без малого пятидесяти лет готовит морскую экспедицию в Индию и тем самым — великое наступление на *Mare incognitum**. Что дало одинокому и дерзновенному мечтателю смелость наперекор величайшим космографическим авторитетам того времени, наперекор Птолемею и его продолжателям и последователям защищать утверждение, что Африка отнюдь не примерзший к полюсу материк, что обогнуть ее возможно и что там-то и пролегает искомый морской путь в Индию? Эта тайна вряд ли когда-нибудь будет раскрыта. Правда, в ту пору еще не заглохло (упоминаемое Геродотом и Страбоном) предание, будто в покрытые мраком дни фараонов финикийский флот, выйдя в Красное море, два года спустя, ко всеобщему изумлению, вернулся на родину через Геркулесовы столбы (Гибралтарский пролив). Быть может, инфант слышал от работорговцев-мавров, что по ту сторону *Libya deserta*** — Западной Сахары — лежит «страна изобилия» — «*bilat ghana*», и правда, на карту, составленную в 1150 году космографом-арабом для норманнского короля Роджера II, под названием «*bilat ghana*» совершенно правильно нанесена нынешняя Гвинея.

Итак, возможно, что Энрике, благодаря опытным разведчикам, лучше был осведомлен о подлинных очертаниях Африки, нежели ученые-географы, считавшие непреложной истиной лишь сочинения Птолемея и в конце концов объявившие пустым вымыслом описания Марко Поло и Ибн Батуты. Но подлинно высокоморальное значение инфанта Энрике в том, что одновременно с величием цели он осознал и трудность ее достижения; благородное смирение заставило его понять, что сам он не увидит, как сбудется его мечта, ибо срок боль-

* Неизвестное море (*лат.*).

** Пустынная Ливия (*лат.*).

ший, чем человеческая жизнь, потребуется для подготовки столь гигантского предприятия.

Как было отважиться в те времена на плавание из Португалии в Индию без знания океана, без хорошо оснащенных кораблей? Ведь невообразимо примитивны были в эпоху, когда Энрике приступил к осуществлению своего замысла, познания европейцев в географии и мореходстве. В страшные столетия духовного мрака, наступившие вслед за падением Римской империи, люди средневековья почти полностью перебыли все, что финикийцы, римляне, греки узнали во время своих смелых странствий; неправдоподобным вымыслом казалось в ту эпоху пространственного самоограничения, что некий Александр достиг границ Афганистана, пробрался в самое сердце Индии; утеряны были превосходные карты и географические описания римлян, в запустение пришли их военные дороги, исчезли верстовые камни, отмечавшие пути в глубь Британии и Вифинии, не осталось следа от образцового римского систематизирования политических и географических сведений; люди разучились странствовать, страсть к открытиям утасла, в упадок пришло искусство кораблевождения.

Не ведая далеких дерзновенных целей, без верных компасов, без правильных карт опасно пробираются вдоль берегов, от гавани к гавани, утлые суденышки, в вечном страхе перед бурями и грозными пиратами. При таком упадке космографии, со столь жалкими кораблями еще не время было умирять океаны, покорять заморские царства. Долгие годы самоотвержения потребуются на то, чтобы наверстать упущенное за столетия долгой спячки. И Энрике — в этом его величие — решился посвятить свою жизнь грядущему подвигу.

Лишь несколько полуразвалившихся стен сохранилось от замка, воздвигнутого на мысе Сагриш инфантом Энрике и впоследствии разграбленного и разрушенного неблагодарным наследником его познаний Фрэнсисом Дрейком. В наши дни сквозь пелену и туманы легенд почти невозможно с точностью установить, каким образом инфант Энрике разрабатывал свои

планы завоевания мира Португалией. Согласно, быть может, романтизирующим сообщениям португальских хроник, он повелел доставить себе книги и атласы со всех частей света, призвал арабских и еврейских ученых и поручил им изготовление более точных навигационных приборов и таблиц. Каждого моряка, каждого капитана, возвратившегося из плавания, он зазывал к себе и подробно расспрашивал. Все эти сведения тщательно хранились в секретном архиве, и в то же время он снаряжал целый ряд экспедиций.

Неустанно содействовал инфант Энрике развитию кораблестроения; за несколько лет прежние *barcas* — небольшие открытые рыбацьи лодки, команда которых состоит из восемнадцати человек, — превращаются в настоящие *paos* — устойчивые корабли водоизмещением в восемьдесят, даже сто тонн, способные и в бурную погоду плавать в открытом море. Этот новый, годный для дальнего плавания тип корабля обусловил и возникновение нового типа моряков. На помощь кормчему является «мастер астрологии» — специалист по навигационному делу, умеющий разбираться в портуланах*, определять девиацию** компаса, отмечать на карте меридианы. Теория и практика творчески сливаются воедино, и постепенно в этих экспедициях из простых рыбаков и матросов вырастает новое племя мореходов и исследователей, дела которых довершатся в грядущем. Как Филипп Македонский оставил в наследство сыну Александру непобедимую фалангу для завоевания мира, так Энрике для завоевания океана оставляет своей Португалии наиболее совершенно оборудованные суда своего времени и превосходнейших моряков.

Но трагедия предтеч в том, что они умирают у порога обетованной земли, не увидев ее собственными глазами. Энрике не дожил ни до одного из великих открытий, обессмертивших его отечество в истории познания вселенной. Ко времени его кончины (1460 г.) вовне, в географическом простран-

* Портуланы — морские карты. — *Примеч. пер.*

** Девиация — отклонение магнитной стрелки компаса. — *Примеч. пер.*

стве, еще не достигнуты хоть сколько-нибудь ощутимые успехи. Прославленное открытие Азорских островов и Мадейры было, в сущности, всего только нахождением их вновь (уже в 1351 году они были отмечены в Лаврентийской портулане). Продвигаясь вдоль западного берега Африки, корабли инфанта не достигли даже экватора; завязалась только малозначительная и не особенно похвальная торговля белой и по преимуществу «черной» слоновой костью — иными словами, на сенегальском побережье массами похищают негров, чтобы затем продать их на невольничьем рынке в Лиссабоне, да еще находят кое-где немного золотого песку; этот жалкий, не слишком славный почин — вот все, что довелось увидеть Энрике из своего заветного дела.

Но в действительности решающий успех уже достигнут. Ибо не в обширности пройденного пространства заключалась первая победа португальских мореходов, а в том, что было ими сделано в духовной сфере: в развитии предприимчивости, в уничтожении зловредного поверья. В течение многих веков моряки боязливо сообщали друг другу, будто за мысом Нан (что означает мыс «Дальше пути нет») судоходство невозможно. За ним сразу начинается «зеленое море мрака», и горе кораблю, который осмелится проникнуть в эти роковые воды. От солнечного зноя в тех краях море кипит и клокочет. Обшивка корабля и паруса загораются; всякий христианин, дерзнувший проникнуть в это «царство сатаны», пустынное, как земля вокруг горловины вулкана, тотчас же превращается в негра.

Такой непреодолимый ужас перед плаванием в южных морях породили эти рассказы, что папе, дабы хоть как-нибудь доставить инфанту моряков, пришлось обещать каждому участнику экспедиции полное отпущение грехов; только после этого удалось завербовать несколько смельчаков, согласных отправиться в неведомые края. И как же ликовали португальцы, когда Жил Эанниш в 1434 году обогнул дотоле слывшийся неодолимым мыс Нан и уже из Гвинеи сообщил, что достославный Птолемей оказался отменным вралем, «...ибо

плыть под парусами здесь так же легко, как и у нас дома, а страна эта богата и всего в ней в изобилии».

Теперь дело сдвинулось с мертвой точки; Португалии уже не приходится с великим трудом разыскивать моряков — со всех сторон являются искатели приключений, люди, готовые на все. С каждым новым, благополучно завершенным путешествием отвага мореходов растет, и вдруг налицо оказывается целое поколение молодых людей, превыше жизни ценящих приключения. «*Navigare necesse est, vivere non est necesse*»* — эта древняя матросская поговорка вновь обретает власть над человеческими душами. А когда новое поколение сплоченно и решительно приступает к делу, — мир меняет свой облик.

Поэтому смерть Энрике означала лишь последнюю краткую передышку перед решающим взлетом. Едва успел взойти на престол деятельный король Жуан II, как начался подъем, превзошедший всякие ожидания. Жалкий черепаший шаг сменяется стремительным бегом, лавиными прыжками. Если вчера еще великим достижением считалось, что за двенадцать лет плавания были пройдены немногие мили до мыса Боядор и еще через двенадцать лет медленного продвижения суда стали благополучно доходить до Зеленого Мыса, то сегодня скачок вперед на сто, на пятьсот миль уже не является необычайным.

Быть может, только наше поколение, пережившее завоевание воздуха, и мы, тоже ликовавшие, когда аэроплан, поднявшись над Марсовым полем**, пролетел по воздуху три, пять, десять километров, а спустя десятилетие уже видевшие перелеты над материками и океанами, — мы одни способны в полной мере понять тот пылкий интерес, то бурное ликование, с которым вся Европа наблюдала за внезапным стремительным проникновением Португалии в неведомую даль.

В 1471 году достигнут экватор, в 1484 году Дьюгу Кам высаживается у самого устья Конго, и, наконец, в 1486 году

* Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо (*лат.*).

** Площадь в Париже.

сбывается пророческая мечта Энрике: португальский моряк Бартоломеу Диаш достигает южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды, который он поначалу, из-за встреченного там жестокого шторма, нарекает Cabo Tormentoso — мысом Бурь. Но хотя ураган в клочья рвет паруса и расщепляет мачту, отважный конквистадор смело продвигается вперед. Он уже достиг восточного побережья Африки, откуда мусульманские лоцманы с легкостью могли бы довести его до Индии, как вдруг взбунтовавшиеся матросы заявляют: на этот раз хватит.

С разбитым сердцем вынужден Бартоломеу Диаш повернуть обратно, не по своей вине лишившись славы быть первым европейцем, проложившим морской путь в Индию; другой португалец, Васко да Гама, будет воспет за этот геройский подвиг в бессмертной поэме Камозэнса. Как всегда, зачинатель, трагический основоположник, забыт ради более удачливого завершителя. И все же решающее дело сделано! Географические очертания Африки точно установлены; вопреки Птолемею впервые показано и доказано, что свободный путь в Индию существует. Через много лет после смерти своего наставника мечту Энрике осуществили его ученики и последователи.

С изумлением и завистью обращаются теперь взоры всего мира на это незаметное, забившееся в дальний угол Европы племя мореходов. Покуда великие державы — Франция, Германия, Италия — истребляли друг друга в бессмысленной резне, Португалия, эта золушка Европы, тысячекратно увеличила свои владения, и уже никакими усилиями не догнать ее безмерных успехов. Почти внезапно Португалия стала первой морской державой мира. Достижения ее моряков закрепили за ней не только новые области, но и целые материки. Еще одно десятилетие — и самая малая из всех европейских наций будет притязать на владычество и управление пространствами, превосходящими пространства Римской империи в период ее наибольшего могущества.

Разумеется, проведение в жизнь столь непомерных притязаний

заний должно было очень быстро истощить силы Португалии. И ребенок сообразил бы, что крохотная, насчитывающая не более полутора миллионов жителей страна не сможет надолго удержать в руках всю Африку, Индию и Бразилию, колонизировать их, управлять ими или хотя бы даже только монополизировать торговлю этих стран, и менее всего сможет на вечные времена оградить их от посягательств других наций. Капле масла не успокоить бушующего моря; страна величиной с булавочную головку не может навсегда подчинить себе в сотни тысяч раз большие страны.

Итак, с точки зрения разума, беспредельная экспансия Португалии — нелепость, опаснейшее донкихотство. Но героическое всегда иррационально и антирационально; когда отдельный человек или народ дерзает выполнить задачу, превышающую его силы, силы эти возрастают до неслыханных размеров. Пожалуй, ни одной нации не доводилось так великолепно сосредоточить в одном мгновенном и победоносном усилии свои силы, как это осуществила Португалия на исходе XV века. Не только собственного Александра и собственных аргонатов в лице Албукерке, Васко да Гамы и Магеллана внезапно породила эта страна, но и собственного Гомера — Камозенса, собственного Тита Ливия — Барруша. Словно из-под земли появляются ученые, зодчие, предприимчивые купцы; подобно Греции при Перикле, Англии в царствование Елизаветы, Франции при Наполеоне, здесь целый народ осуществляет на всех поприщах свой сокровенный замысел и являет его как зримый подвиг взорам всего мира. В продолжение одного незабываемого часа всемирной истории Португалия была первой нацией Европы, предводительницей человечества.

Но каждое великое деяние отдельного народа совершается для всех народов. Все они чувствуют, что это первое вторжение в неизвестность в то же время опрокидывает общепринятые дотоле мерки, понятия, представления о дальности, и вот при всех дворах, во всех университетах с лихорадочным нетерпением следят за новыми вестями из Лиссабона. В силу

какой-то чудесной прозорливости Европа постигает творческие возможности этого расширившего рамки мира великого подвига португальцев, постигает, что вскоре мореходство и открытия новых стран перестроят мир решительнее, чем все войны и осадные орудия, что долгая эпоха средневековья кончилась и начинается новая эра — «новое время», которое будет мыслить и созидать в иных пространственных масштабах.

Флорентийский гуманист Полициано, представитель мирной научной мысли, сознавая величие этой исторической минуты, поет хвалу Португалии, и в его вдохновенных словах звучит благодарность всей просвещенной Европы: «Не только шагнула она далеко за Столбы Геркулеса и укротила бушующий океан, — она восстановила нарушенное дотоле единство обитаемого мира. Какие новые возможности, какие экономические выгоды, какое возвышение знаний, какое подтверждение выводов античной науки, взятых под сомнение и отвергнутых, сулит это нам! Новые страны, новые моря, новые миры (*alii mundi*) встают из векового мрака. Отныне Португалия — хранитель, страж нового мира».

Ошеломляющее событие прерывает грандиозное продвижение Португалии на восток. Кажется, что «другой мир» уже достигнут, что королю Жуану обеспечена корона и все сокровища Индии, ибо, после того как португальские моряки обогнули мыс Доброй Надежды, никто уже не может опередить Португалию и ни одна из европейских держав не смеет даже следовать за ней по этому укрепленному за нею пути. Еще Энрике Мореплаватель предусмотрительно выхлопотал у папы буллу, отдававшую все земли, моря и острова, которые будут открыты за мысом Боядор, в полную, исключительную собственность Португалии, и трое пап, сменившихся с того времени, подтвердили эту своеобразную «дарственную запись», одним росчерком пера признавшую весь еще неведомый Восток с миллионами его обитателей законным владением династии Визеу.

Итак, Португалии, и только Португалии, подчинены все новые миры. С такими незыблемыми гарантиями в руках люди обычно не обнаруживают большой склонности к рискованным предприятиям; поэтому вовсе не так недальновидно и странно, как это *a posteriori** считает большинство историков, что *beatus possidens*** король Жуан II не проявил интереса к странному проекту безвестного генуэзца, страстно требовавшего целый флот, *para buscar el levante por el ponente* — чтобы с запада добраться до Индии. Правда, Христофора Колумба любезно выслушивают в Лиссабонском дворце, наотрез ему не отказывают. Но там слишком хорошо помнят, что все экспедиции на якобы расположенные к западу между Европой и Индией легендарные острова Антилию и Бразиле кончались плачевными неудачами. Да и-чего ради рисковать полновесными португальскими дукатами для поисков весьма сомнительного пути в Индию, когда после многолетних усилий верный путь уже найден и рабочие на корабельных верфях у берегов Тежу день и ночь трудятся над постройкой большого флота, который, обогнув мыс Бурь, напрямиком пойдет к Индии?

Поэтому, как камень, брошенный в окно, ворвалось в Лиссабонский дворец ошеломляющее известие, что хвастливый генуэзский авантюрист действительно пересек под испанским флагом *Oceano tenebroso**** и спустя каких-нибудь пять недель плавания в западном направлении наткнулся на землю. Чудо свершилось! Нежданно-негаданно сбылось мистическое пророчество из Сенековой «Медей», долгие годы волновавшее умы мореплавателей.

...venient annis
saecula seris, quibus Oceanus
vincula rerum laxet et ingens
pateat tellus, Typhisique novos
detegat orbes, nec sit terris
Ultima Thula.

*Задним числом (*лат.*).

** Счастливый обладатель (*лат.*).

*** Океан тьмы (*ит.*).

Поистине, «...наступят дни, чрез много веков океан разрушит оковы вещей, и огромная явится взорам земля, и новые Тифис откроет моря, и Фула не будет пределом земли»*.

Правда, Колумб, новый «кормчий аргонатов», и не подозревает, что он открыл новую часть света. До конца дней своих этот упрямый фантазер упорствует в убеждении, что он достиг материка Азии и, держа от своей Эспаньолы курс на запад, мог бы через несколько дней высадиться в устье Ганга. А этого-то как раз Португалия смертельно страшится. Чем поможет Португалии папская булла, отдающая ей все земли, открытые в восточном направлении, если Испания на более кратком западном пути в последнюю минуту обгонит ее и захватит Индию? Тогда плоды пятидесятилетних трудов Энрике, сорокалетних усилий его продолжателей превратятся в ничто. Индия будет потеряна для Португалии вследствие сумасбродно-смелого предприятия проклятого гемуэца. Если Португалия хочет сохранить свое господство, свое преимущественное право на Индию, ей остается только с оружием в руках выступить против внезапно объявившегося противника.

К счастью, папа устраняет грозящую опасность. Португалия и Испания — наиболее любимые и милые его сердцу чада, это единственные нации, чьи короли никогда не дерзали восставать против его духовного авторитета. Они воевали с маврами и изгнали неверных; огнем и мечом искореняют они в своих государствах всякую ересь; нигде папская инквизиция не находит столь ревностных пособников в преследовании мавров, маранов и евреев. Нет, папа не допустит вражды между любимыми чадами.

Поэтому он решает все еще не открытые страны мира попросту поделить между Испанией и Португалией, причем не в качестве «сфер влияния», как это говорится на лицемерном языке современной дипломатии, нет: папа, не мудрствуя лукаво, дарит своей властью наместника Христова обоим этим государствам все еще неизвестные народы, страны, острова и

*Перевод С. Соловьева.

моря. Он берет шар земной и, как яблоко, только не ножом, а буллой от 4 мая 1493 года режет его пополам. Линия разреза начинается в ста левгах (старинная морская мера длины) от островов Зеленого Мыса.

Все еще не открытые страны, расположенные западнее этой линии, отныне будут принадлежать возлюбленному чаду — Испании; расположенные восточнее — возлюбленному чаду — Португалии. Сперва оба детища изъявляют согласие и благодарят за щедрый подарок.

Но вскоре Португалия обнаруживает некоторое беспокойство и просит, чтобы линия раздела была еще немного передвинута на запад. Эта просьба уважена договором, заключенным 7 июня 1494 года в Тордесильяс, по которому линия раздела была перемещена на двести семьдесят левг к западу (в силу чего Португалии позднее достанется не открытая еще в ту пору Бразилия).

Сколь бы смехотворной ни казалась на первый взгляд щедрость, с которой чуть ли не весь мир одним росчерком пера даровался двум нациям без учета всех остальных, все же это мирное разрешение конфликта следует рассматривать как один из редких в истории актов благоразумия, когда спор разрешается не вооруженной силой, а путем добровольного соглашения.

Заключенный в Тордесильяс договор на годы, на десятилетия предотвратил всякую возможность колониальной войны между Испанией и Португалией, хотя само решение вопроса было и осталось лишь временным. Ведь когда яблоко разрезают ножом, линия разреза должна проступить и на противоположной, незримой его части. Но в какой же половине находятся столь долго искомые острова драгоценных пряностей — к востоку от линии раздела или же к западу, на противоположном полушарии? В части, предоставленной Португалии, или в будущих владениях Испании? В данный момент ни папа, ни короли, ни ученые не могут ответить на этот вопрос, ибо никто еще не измерил окружности земли, а церковь и вовсе не соглашается признать ее шарообразность.

Но до окончательного разрешения спора обеим нациям предстоит еще немало хлопот, чтобы управиться с гигантской подачкой, которую им кинула судьба: маленькой Испании — несобьятную Америку, крохотной Португалии — всю Индию и Африку.

Неслыханная удача Колумба сначала вызывает в Европе беспредельное изумление, но затем начинается такая лихорадка открытий и приключений, какой еще не ведал наш старый мир. Ведь успех одного отважного человека всегда побуждает к рвению и мужеству целое поколение. Все, что в Европе недовольно своим положением и слишком нетерпеливо, чтобы ждать, — младшие сыновья, обойденные офицеры, побочные дети знатных господ и темные личности, разыскиваемые правосудием, — все устремляется в Новый Свет. Правители, купцы, спекулянты напрягают всю свою энергию, чтобы побольше снарядить кораблей; приходится силой обороняться от авантюристов и любителей легкой наживы, с ножом в руках требующих скорейшей доставки их в страну золота. Если инфанту Энрике, чтобы залучить на корабль хоть минимальное число матросов, приходилось испрашивать у папы отпущение грехов для всех участников своих экспедиций, то теперь целые селения устремляются в гавани, капитаны и судовладельцы не знают, как спастись от наплыва желающих идти в матросы.

Экспедиции непрерывно следуют одна за другой, и вот действительно, словно внезапно спала густая завеса тумана, повсюду — на севере, на юге, на востоке, на западе — возникают новые острова, новые страны: одни скованные льдом, другие заросшие пальмами. В течение двух-трех десятилетий несколько сотен маленьких кораблей, выходящих из Кадиса, Палоса, Лиссабона, открывают больше неведомых земель, чем открыло человечество за сотни тысяч лет своего существования.

Незабываемый, несравненный календарь той эпохи открытий. В 1498 году Васко да Гама, «служба Господу и на пользу португальской короне», как с гордостью сообщает король Ма-

нуэл, достигает Индии и высаживается в Каликуте; в том же году капитан английской службы Кабот открывает Ньюфаундленд и тем самым — побережье Северной Америки. Еще год — и одновременно, но независимо друг от друга, Пинсон под испанским флагом, Кабрал под португальским открывают Бразилию (1499 г.); в это же время Гаспар Кортереал, идя по стопам викингов, через пятьсот лет после них входит в Лабрадор.

Открытие следует за открытием. В самом начале века две португальские экспедиции, одну из которых сопровождает Америго Веспуччи, спускаются вдоль берегов Южной Америки почти до Рио де Ла-Платы; в 1506 году португальцы открывают Мадагаскар, в 1507-м — остров Маврикия, в 1509 году они достигают Малакки, а в 1511 году берут ее приступом, таким образом, ключ к Малайскому архипелагу оказывается в их руках. В 1512 году Понсе де Леон попадает во Флориду, в 1513 году с Дарьенских высот первому европейцу, Нуньесу де Бальбоа, открывается вид на Тихий океан.

С этой минуты для человечества уже не существует неведомых морей. За сравнительно малый отрезок времени — одно столетие — пройденное европейскими кораблями пространство увеличилось не стократно, нет, тысячекратно! Если в 1418 году, во времена инфанта Энрике, весть о том, что первые *barcas* достигли Мадейры, вызвала восторженное изумление, то в 1518 году португальские суда — сопоставьте по карте эти расстояния — пристают в Кантоне и Японии; скоро путешествие в Индию будет считаться менее рискованным, чем еще недавно плавание до мыса Боядор.

При столь стремительных темпах мир меняет свой облик от года к году, от месяца к месяцу. День и ночь сидят в Аугсбурге за работой гравировщики карт, и космографы не в силах справиться с огромным количеством заказов. У них вырывают из рук влажные, еще не раскрашенные оттиски. Печатники не успевают издавать для книжного рынка книги с описаниями путешествий и атласы — все жаждут сведений о *Mundus Novus**. Но едва

*Новый Свет (*лат.*).

только успеют космографы тщательно и точно, сообразуясь с последними данными, выгравировать карту мира, как уже поступают новые данные, новые сведения. Все опрокинуто, все надо начинать заново, ибо то, что считали островом, оказалось частью материка, то, что принимали за Индию, — новым континентом. Приходится наносить на карту новые реки, новые берега, новые горы. И что же? Не успеют граверы управиться с новой картой, как уже приходится составлять другую — исправленную, измененную, дополненную.

Никогда, ни до, ни после, не знали география, космография, картография таких бешеных, опьяняющих, победоносных темпов развития, как в эти пятьдесят лет, когда впервые с тех пор, как люди живут, дышат и мыслят, были окончательно определены форма и объем Земли, когда человечество впервые познало круглую планету, на которой оно уже столько тысячелетий вращается во вселенной. И все эти беспримерные успехи достигнуты одним-единственным поколением: эти мореходы приняли на себя за всех последующих все опасности неведомых морей, эти конквистадоры проложили все пути, эти герои разрешили все — или почти все — задачи. Остается еще только один подвиг — последний, прекраснейший, труднейший: на одном и том же корабле обогнуть весь шар земной и тем самым, наперекор всем космологам и богословам прошедших времен, измерить и доказать шарообразность нашей Земли. Этот подвиг станет заветным помыслом и делом Фернана де Магальянша, в истории именуемого Магелланом.

МАГЕЛЛАН В ИНДИИ

Март 1505 г. — июнь 1512 г.

Первые португальские корабли, отплывшие из устья Тежу в неведомую даль, были предназначены только для открытия новых земель: последующие старались мирно завязывать торговлю со вновь открытыми странами. Третья флотилия

уже снаряжена по-военному, и с этой даты, 25 марта 1505 года, прочно устанавливается тот трехтактный ритм, который будет господствовать на протяжении всей начавшейся отныне колониальной эпохи. Веками будет повторяться все тот же процесс: сперва основывается фактория, затем — якобы для защиты ее от нападений — воздвигается крепость. Сперва ведется мирная меновая торговля с туземными властителями, затем, как только налицо окажется достаточное количество солдат, у князьков попросту отнимают их владения, а следовательно, и все их добро.

Не пройдет и десятка лет, как опьяненная первыми успехами Португалия забудет, что первоначальные ее притязания сводились к скромному участию в торговле восточными пряностями: в удачливой игре благие намерения быстро исчезают. С того дня, как Васко да Гама высадился в Индии, Португалия немедленно принялась оттеснять все другие народы. Ни с кем не считаясь, рассматривает она всю Африку, Индию и Бразилию исключительно как свою собственность. От Гибралтара до Сингапура и Китая не должен отныне плавать ни один чужеземный корабль; на половине земного шара никто, кроме подданных самой маленькой страны маленькой Европы, не смеет заниматься торговлей.

Потому столь величественное зрелище и являет собою 25 марта 1505 года, когда первый военный флот Португалии, которому предстоит завоевать эту новую, величайшую в мире империю, покидает Лиссабонскую гавань, — зрелище, которое можно сравнить разве лишь с переправой Александра Великого через Геллеспонт. Ведь и здесь задача столь же непомерна. Ведь и этот флот отправляется в плавание не затем, чтобы подчинить Португалии какую-нибудь страну, один народ, а чтобы покорить целый мир.

Двадцать кораблей стоят в гавани; с поднятыми парусами ждут они королевского приказа поднять якоря. И это уже не корабли времен Энрике, не открытые баркасы, а широкие, тяжелые галионы с надстройками на носу и на корме, мощные корабли с тремя, а то и четырьмя мачтами и многочисленной

командой. Кроме нескольких сотен обученных военному делу матросов, на корабле находится не менее тысячи пятисот воинов в латах и полном вооружении, человек двести пушкарей, а сверх того еще плотники и всякого рода ремесленники, которые по прибытии в Индию немедленно начнут строить новые суда.

С первого взгляда должен уразуметь каждый, что перед столь гигантской эскадрой и задача поставлена гигантская — окончательное покорение Востока. Недаром адмиралу Франсишку д'Алмейде пожалован титул вице-короля Индии, недаром самый прославленный герой и мореплаватель Португалии Васко да Гама, «адмирал индийских морей», самолично выбирал и испытывал снаряжение. Военный характер задачи Алмейды несомненен. Алмейде поручено сровнять с землей все мусульманские торговые города Индии и Африки, во всех опорных пунктах воздвигнуть крепости и оставить там гарнизоны.

Ему поручено — здесь впервые предвосхищается руководящая идея английской политики — утвердиться во всех исходных и транзитных пунктах, запереть все проливы от Гибралтара до Сингапура и тем самым пресечь торговлю других стран. Далее вице-королю предписано уничтожить морские силы египетского султана и индийских раджей и взять под такой строгий контроль все гавани, чтобы «с лета от рождения Христова тысяча пятьсот пятого» ни один корабль не-португальского флага не мог перевезти и зернышка пряностей.

С этой военной задачей тесно переплетается другая — идеологическая, религиозная; во всех завоеванных странах распространить христианство. Вот почему отплытие этого военного флота сопровождается таким же церемониалом, как выступление в крестовый поход. В соборе король вручает Франсишку д'Алмейде новое знамя из белого дамаста с вытканым на нем крестом господним, которому предстоит победно развеваться над языческими и мусульманскими странами. Коленопреклоненно принимает его адмирал, и, также преклонив

колена, все тысяча пятьсот воинов, исповедавшись и приняв причастие, присягают на верность своему властелину, королю португальскому, равно как и небесному владыке, чье царствие им надлежит утвердить в заморских странах. Торжественно, словно религиозная процессия, шествуют они через весь город к гавани; затем орудийные залпы гремят в знак прощания, и корабли величаво скользят вниз по течению Тежу в открытое море, которое их адмиралу надлежит — от края до края — подчинить Португалии.

Среди тысячи пятисот воинов, с поднятой рукой приносящих клятву верности у алтаря, преклоняет колена и двадцатичетырехлетний юноша, носитель безвестного доселе имени Фернан де Магальянш. О его происхождении мы знаем только, что он родился около 1480 года. Место его рождения уже спорно. Указания позднейших источников на городок Саброуза в провинции Тразуж-Мондиш опровергнуты новейшими исследованиями, признавшими завешание, из которого это сообщение почерпнуто, подложным; наиболее вероятным, в конце концов, является предположение, что Магеллан родился в Оporto, и о семье его мы знаем только то, что она принадлежала к дворянству, правда, лишь к четвертому его разряду — *fidalgos de cota de armas*. Все же такое происхождение давало Магеллану право иметь наследственный герб и открывало ему доступ ко двору.

Предполагают, что в ранней юности он был пажом королевы Элеоноры, из чего, однако, не явствует, что в эти годы, покрытые мраком неизвестности, его положение при дворе было хоть сколько-нибудь значительным. Ведь когда двадцатичетырехлетний идальго поступает во флот, он всего-навсего *sobresaliente* — сверхштатный, один из тысячи пятисот рядовых воинов, что живут, питаются, спят в кубрике вместе с матросами и юнгами, всего только один из тысяч «неизвестных солдат», отправляющихся на войну за покорение мира, в которой всегда там, где погибают тысячи, остается в живых

лишь десяток-другой, и всегда только одного венчает бессмертная слава сообща совершенного подвига.

Во время этого плавания Магеллан — один из тысячи пятисот рядовых, не более. Напрасно стали бы мы разыскивать его имя в летописях индийской войны, и с достоверностью обо всех этих годах можно только сказать, что для будущего великого мореплавателя они были незаменимой школой.

С безвестным *sobresaliente* особенно не церемонятся. Его посылают на любую работу: он должен зарифлять паруса во время бури и откачивать воду; сегодня его посылают на штурм города, завтра он под палящим солнцем роет песок на постройке крепости. Он таскает тюки товаров и охраняет фактории, сражается на воде и на суше; он обязан ловко орудовать лотом и мечом, уметь повиноваться и повелевать. Но, участвуя во всем, он во все постепенно начинает вникать и становится одновременно и воином, и моряком, и купцом, и знатоком людей, стран, морей, созвездий.

И наконец, судьба очень рано приобщает этого юношу к великим событиям, которые на десятки и сотни лет определяют мировое значение его родины и изменяют карту Земли. Ибо после нескольких мелких стычек, напоминающих скорее разбойничьи налеты, чем честные бои, Магеллан получает подлинное боевое крещение в битве при Каннаноре (16 марта 1506 года).

Битва при Каннаноре является поворотным пунктом истории португальских завоеваний. Могушественный каликутский (теперешней Калькутты) владыка приветливо встретил Васко да Гаму после его первой высадки и выразил готовность вступить в торговые отношения с этим неведомым народом. Но вскоре он понял, что португальцы, через несколько лет явившиеся снова на больших и лучше вооруженных судах, явно стремятся к господству над всей Индией.

С ужасом видят индийские и мусульманские купцы, сколь прожорливая щука вторглась в их тихую заводь. Ведь эти

чужеземцы одним ударом покорили все моря; ни один корабль не решается покинуть гавань из страха перед этими жестокими пиратами; торговля прячостями замирает. В Египет больше не отправляются караваны. Вплоть до венецианского Риальто чувствуется, что чья-то суровая рука разорвала нить, соединяющую Восток и Запад.

Египетский султан, лишившийся дохода от торговых пошлин, пускает в ход угрозы. Он уведомляет папу, что, если португальцы не прекратят грабительского хозяйничанья в индийских водах, он будет вынужден в отместку разрушить гроб господень в Иерусалиме. Но ни папа, ни император, ни короли Европы не в силах обуздать захватнических вожделений Португалии. Поэтому пострадавшим остается только объединиться для своевременного отпора португальцам, покуда те еще окончательно не утвердились в Индии. Наступление готовит каликутский владыка при тайной поддержке египетского султана, а, по-видимому, также и Венецианской республики, которая — ведь золото сильнее кровных уз — тайком посылает в Каликут оружейников и пушкарей. Готовится внезапный и сокрушительный удар по христианскому флоту.

Однако часто бывает, что присутствие духа и энергия какого-нибудь второстепенного лица на столетия определяют ход истории. Счастливая случайность спасает португальцев. В те времена по свету скитался отважный, равно привлекательный как своим мужеством, так и непосредственностью итальянский искатель приключений по имени Лодовико Вартема. Не страсть к наживе, не честолюбие влекут молодого итальянца в далекие края, но врожденная непреборимая любовь к странствиям. Без ложного стыда этот бродяга по призванию заявляет, что «по малому своему в науках разумению и не будучи расположен сидеть над книгами» он решил попытаться «самолично и собственными своими глазами увидеть наиразличнейшие места на земле, ибо словам одного очевидца больше веры давать надлежит, нежели всем рассказням, понаслышке передаваемым».

Первым из неверных прокрадывается в запретный город

Мекку отважный Вартема (его описание Каабы и поныне еще считается классическим) и затем, после многих приключений, добирается не только до Индии, Суматры и Борнео, где до него побывал уже Марко Поло, но первым из европейцев (и это сыграет немалую роль в подвиге Магеллана) и до заветных *Islas de la especeria**.

На обратном пути, в Каликуте, переодетый дервишем Вартема узнает от двух ренегатов-христиан о готовящемся нападении каликутского владыки. Из христианской солидарности он с опасностью для жизни пробирается к португальцам и, к счастью еще вовремя, успевает предостеречь их. Когда 16 марта 1506 года двести каликутских кораблей намереваются врасплох напасть на одиннадцать кораблей португальцев**, те уже стоят в полной боевой готовности.

Это самый кровопролитный из всех боев, принятых вице-королем: восемьдесятю убитыми и двумя сотнями раненых (огромная цифра для первых колониальных войн) расплачиваются португальцы за свою победу, правда, победу, окончательно утвердившую за ними господство над всем побережьем Индии.

Среди двухсот раненых находится и Магеллан; как всегда в эти годы безвестности, его удел — получать только ранения, но не знаки отличия. Вскоре его вместе с другими ранеными переправляют в Африку; там его след теряется, ибо кому придет в голову день за днем протоколировать жизнь простого *sobresaliente*? По-видимому, он некоторое время прожил в Софале, а затем, вероятно, в качестве сопровождающего транспорт пряностей отбыл на родину. Возможно (в этом пункте хроники разноречивы), что летом 1507 года он возвратился в Лиссабон на одном судне с Вартемой. Но дальние края уже завладели сердцем мореплавателя. Чуждой кажется ему Португалия, и весь его недолгий отпуск превращается в нетерпеливое ожидание следующей индийской эскадры, которая до-

* Островов пряностей (*исп.*).

** Девять отбились от эскадры во время бури.

ставит Магеллана на его настоящую родину: в мир дерзновенных начинаний.

Перед этой новой эскадрой, в составе которой Магеллан возвращается в Индию, стоит особая задача. Достопытный спутник Магеллана Лодовико Вартема, несомненно, доложил при дворе о богатствах города Малакки и дал точные сведения о столь долго искомых «Островах пряностей», которые он, первый из европейцев и христиан, узрел *ipsis oculis**. Его рассказы убеждают португальский двор, что покорение Индии останется незавершенным, а захват ее богатств неполным, доколе не будет завоевана сокровищница всех пряностей — *Islas de la especeria*. Но для этого нужно сначала овладеть ключом, их замыкающим, забрать в свои руки Малаккский пролив и город Малакку (нынешний Сингапур, стратегическое значение которого не укрылось от англичан). Согласно испытанным лицемерным методам португальцы, однако, не сразу посылают военную эскадру, а поначалу снаряжают четыре корабля под начальством Лопиша да Сикейры, которому поручено осторожно подобраться к Малакке и в обличье мирного купца произвести разведку берега.

Небольшая флотилия без особых приключений достигает Индии в апреле 1509 года. Плавание в Каликут, каких-нибудь десять лет назад провозглашенное беспримерным подвигом Васко да Гамы и прославленное летописцами и поэтами, теперь под силу любому капитану португальского торгового флота. От Лиссабона до Момбасы, от Момбасы до Индии известен каждый риф, каждая бухта. Уже нет нужды ни в лоцманах, ни в «мастерах астрономии». И только когда Сикейра, выйдя 19 августа из Кочинской гавани, берет курс на восток, португальские суда снова вступают в неизвестные воды.

После трехнедельного плавания, 11 сентября 1509 года, корабли португальцев впервые приближаются к Малаккской гавани. Уже издали убеждаются они, что добрый Вартема не соврал и не преувеличил, говоря, будто в этой гавани «больше-

* Своими глазами (*лат.*).

кораблей бросает якорь, нежели в каком-либо ином месте мира». Парус к парусу теснятся на широком рейде большие и малые, белые и пестрые, малайские, китайские, сиамские лодки, ялики и джонки.

Сингапурский пролив в силу своего географического положения — *aurea Chersonesus** — не мог не стать важнейшей перевалочной гаванью Востока. Любой корабль, направляющийся с востока на запад, с севера на юг, из Индии в Китай или с Молуккских островов в Персию, должен пройти этот Гибралтар Востока. Обмен всевозможными товарами происходит в этом «складочном месте»: здесь — гвоздика с Молуккских островов и цейлонские рубины, китайский фарфор и сиамская слоновая кость, кашемир из Бенгалии и сандаловое дерево с Тимора, арабские клинки из Дамаска, малабарский перец и невольники с острова Борнео. Вавилонское столпотворение рас, племен, языков происходит на этом главном рынке Востока, где над путаницей деревянных лачуг мощно вздымаются ослепительно белые дворец и мечеть.

Изумленно глядят португальцы со своих кораблей на огромный город: эта сверкающая на ярком солнце драгоценность Востока, которая должна стать прекраснейшим из прекрасных украшений в индийской короне португальского владыки, возбуждает их алчность. Изумленный и обеспокоенный, в свою очередь, смотрит малаккский властитель из своего дворца на грозные корабли чужеземцев. Так вот они, эти разбойники, не признающие обрезания! Теперь проклятое племя нашло дорогу и в Малакку! Давно уже на многие тысячи миль распространилась весть о сражениях и побоищах Алмейды и Албукерке. В Малакке знают, что эти страшные лузитане пересекают моря не для мирного торга, подобно владельцам сиамских и японских джонок, но чтобы, коварно выждав момент, обосноваться здесь и все разграбить.

Наиболее разумным было бы совсем не впускать эти четыре корабля в гавань; ведь когда грабитель уже вошел в дом —

*Золотой Херсонес (*лат.*).

все пропало! Но у султана имеются надежные сведения о боевой мощи этих тяжелых пушек, чьи черные безмолвные жерла грозно глядят с укрепленных палубных надстроек португальских судов; он знает, что эти белые разбойники бьются, как дьяволы, против них немыслимо устоять. Итак, лучше всего на ложь ответить ложью, на лицемерную приветливость — притворным радушием, на обман — обманом и первому браться на противника, прежде чем тот успеет занести руку для смертоносного удара.

С неимоверной пышностью встречает поэтому малаккский султан посланцев Сикейры, с преувеличенной благодарностью принимает их дары. Португальцы — желанные гости, велит он сказать им, они могут торговать здесь сколько угодно. Через несколько дней он прикажет доставить им столько перцу и других пряностей, сколько они смогут погрузить на свои корабли. Он любезно приглашает капитанов на пиршество в свой дворец, и если это приглашение ввиду некоторых предостерегающих указаний и отклоняется, то моряки все же весело и свободно разгуливают по неведомому гостеприимному городу.

Блаженство — снова ощущать под ногами твердую почву, развлекаться с податливыми женщинами и больше не спать вповалку в смрадном кубрике или в одной из грязных деревушек, где свиньи и куры ютятся рядом с голыми, звероподобными людьми. Весело болтая, сидят матросы в чайных домиках, бродят по рынкам, наслаждаются крепкими малайскими напитками и свежими фруктами; нигде, с тех пор как они покинули Лиссабон, им не оказывали столь сердечного, радужного приема.

Сотни малайцев на маленьких быстроходных лодках снова и снова подвозят съестные припасы к португальским кораблям, с обезьяньей ловкостью карабкаются по снастям, дивятся чужеземным, невиданным предметам. Завязывается оживленный товарообмен, и команда с неудовольствием узнает, что султан уже заготовил обещанный товар и предложил Сикейре на следующее утро прислать к берегу все шлюпки, что-

бы еще до захода солнца погрузить на суда невероятное количество пряностей.

И действительно, Сикейра, обрадованный возможностью быстро доставить драгоценный груз, отправляет на берег все шлюпки с четырех больших кораблей и на них значительную часть команды. Сам он в качестве португальского дворянина считает ниже своего достоинства заниматься торговыми сделками; он остается на борту и играет в шахматы с одним из товарищей — самое разумное занятие на корабле в томительно жаркий день. На трех других больших судах тоже царит сонная тишина.

Но некое странное обстоятельство обращает на себя внимание Гарсиа да Соузы, капитана пятого судна — маленькой каравеллы, входящей в состав экспедиции; он видит, что все большее число малайских лодок шныряет вокруг почти обезлюдивших кораблей, что под предлогом доставки товаров на борт взбирается по вантам все больше и больше обнаженных малайцев. Наконец у него возникает мысль: не готовит ли медоточивый султан предательское нападение одновременно с моря и с суши?

По счастью, на маленькой каравелле имеется одна не отправленная на берег лодка; Соуза приказывает самому надежному человеку из своей команды как можно скорей добраться до флагманского судна и предупредить капитана. Этот надежнейший из его команды не кто иной, как *sobresaliente* Магеллан. Быстрыми сильными взмахами весел направляет он лодку и застаёт капитана Сикейру беспечно играющим в шахматы. Но Магеллану не нравится, что за спиной Сикейры с неизменным крисом у пояса стоят несколько малайцев-зрителей. Шепотом предупреждает он Сикейру. Чтобы не возбуждать подозрений, тот с необычайным присутствием духа продолжает игру, но велит одному из матросов держать наблюдение с марса и в продолжение всей партии одной рукой держится за шпагу.

Предупреждение Магеллана поспело в последнюю, самую последнюю минуту. Спустя мгновение над дворцом султана

взвивается столб дыма — условный знак для одновременного нападения с суши и с моря. К счастью, сидящий на марсе матрос успеваеет поднять тревогу. Сикейра вскакивает и отшвыривает малайцев в сторону, прежде чем они успевают на него напасть. Горнисты трубят сбор, команда выстраивается на палубе. Пробравшихся на корабли малайцев сбрасывают за борт; теперь лодки с вооруженными малайцами напрасно несутся со всех сторон, чтобы взять на abordаж португальские корабли. Сикейра успел выбрать якоря, а мощные залпы его орудий обращают малайцев в бегство. Благодаря бдительности да Соузы и проворству Магеллана нападение на эскадру не удалось.

Хуже обстоит дело с несчастными, доверчиво отправившимися на берег. Горсть безоружных, рассеянных по всему городу людей против тысяч коварных врагов. Большинство португальцев полегло на месте, лишь немногим удается добраться до берега. Но слишком поздно: завладев шлюпками, малайцы отрезали им путь на корабли. Один за другим падают португальцы под ударами превосходящего их численностью неприятеля. Только храбрый из всех еще отбивается — это самый близкий, закадычный друг Магеллана, Франсишку Серрано. Вот он окружен, ранен, обречен на гибель. Но тут Магеллан еще с одним солдатом подоспел на своей лодчонке, бесстрашно рискуя жизнью ради друга. Двумя-тремя мощными ударами он прокладывает себе путь к окруженному толпой врагов Серрано, увлекает его за собой в лодку и таким образом спасает ему жизнь.

Португальская эскадра при этом внезапном нападении потеряла все свои шлюпки и свыше трети команды, но Магеллан приобрел названного брата, чья дружба и преданность будут иметь решающее значение для его грядущего подвига.

При этом случае в еще неясном для нас облике Магеллана впервые вырисовывается одна характерная черта — мужественная решительность. Ничего патетического, ничего бросающегося в глаза нет в его натуре, и становится понятным,

почему все летописцы индийской войны так долго обходили его молчанием: Магеллан из тех людей, кто всю жизнь остается в тени. Он не умеет ни обращать на себя внимание, ни привлекать к себе симпатии. Только когда на него возложена важная задача и еще в большей степени когда он сам ее возлагает на себя, этот сдержанный и замкнутый человек являет изумительное сочетание ума и мужества. Но, совершив славное дело, он потом не умеет ни использовать его, ни похвалиться им; спокойно и терпеливо он снова удаляется в тень. Он умеет молчать, он умеет ждать, словно чувствуя, что судьба, прежде чем допустить его к предназначенному подвигу, еще долго будет учить его и испытывать. Вскоре после того как при Каннаноре он пережил одну из величайших побед португальского флота и при Малакке — одно из тягчайших его поражений, на его суровом пути моряка встретилось новое испытание — кораблекрушение.

В ту пору Магеллан сопровождал один из регулярно отправляемых с попутным муссоном транспортов пряностей, как вдруг каравелла наскочила на так называемую Падуанскую банку. Человеческих жертв нет, но корабль разбился в щепы о коралловый риф, и так как разместить всю команду на шлюпках невозможно, то часть потерпевших крушение должна остаться без помощи. Разумеется, капитан, офицеры и дворяне требуют, чтобы в первую очередь в шлюпки забрали их, и это несправедливое требование вызывает гнев *grumetes* — простых матросов. Уже готова вспыхнуть опасная распря, но тут Магеллан, единственный из дворянского сословия, заявляет, что готов остаться с матросами, если *capitães y fidalgos** своей честью поручатся по прибытии на берег немедленно выслать за ними корабль.

По-видимому, этот мужественный поступок впервые привлек к «неизвестному солдату» внимание высшего начальства. Ибо когда спустя немного времени, в октябре 1510 года, Албукерке, новый вице-король, спрашивает *capitanes*

*Капитаны и дворяне (*португ.*).

del Rey — королевских капитанов, как, по их мнению, следует провести осаду Гоа, то среди высказавшихся упоминается и Магеллан. Из этого можно заключить, что после пятилетней службы простой солдат и матрос возведен наконец в офицерский чин и уже в качестве офицера отправляется в плавание с эскадрой Албукерке, которой предстоит отомстить за позорное поражение Сикейры под Малаккой.

Итак, через два года Магеллан снова держит путь на далекий Восток, к аугеа Chersonesus. Девятнадцать кораблей — отборная военная флотилия — в июле 1511 года грозно выстраиваются у входа в малаккскую гавань и вступают в ожесточенный бой с вероломным властителем. Проходит шесть недель, прежде чем Албукерке удастся сломить сопротивление султана. Зато теперь в руки грабителей попадает добыча, какая еще не доставалась им даже в благодатной Индии. С завоеванием Малакки Португалия зажала в кулак весь восточный мир. Наконец-то удалось перерезать главную артерию мусульманской торговли! Через несколько недель она уже вконец обескровлена. Все моря от Гибралтара, Столбов Геркулеса, до Сингапурского пролива аугеа Chersonesus стали единым португальским океаном. Далеко, вплоть до Китая и Японии, будя ликующий отзвук в Европе, несутся громовые раскаты этого удара — самого сокрушительного из всех, когда-либо нанесенных исламу.

Перед несметной толпой верующих папа служит благодарственный молебен за великий подвиг португальцев, отдавших половину земного шара во власть христианства и в Caput mundi* происходит торжество, не виданное Римом со времен цезарей. Посольство, возглавляемое Тристаном да Кунья, подносит папе добычу, вывезенную из покоренной Индии, — лошадей в унизированной драгоценностями сбруе, леопардов и пантер. Но главное внимание и изумление вызывает живой слон, доставленный португальскими кораблями, который при неописуе-

* Столица мира (лат.).

мом ликования толпы трижды преклоняет колени перед святым отцом.

Но даже этот триумф не может утолить ненасытное стремление португальцев к экспансии. Никогда в истории победитель не довольствовался одной великой победой: Малакка ведь только ключ к сокровищнице *especeria*; теперь, когда он у них в руках, португальцы хотят добраться и до самой сокровищницы — захватить сказочно богатые «острова пряностей» Зондского архипелага: Амбоину, Банду, Тернате и Тидор. Снаряжаются три корабля под начальством Антонио д'Абреу. Среди участников этой экспедиции на тогдашний Дальний Восток летописцы называют и имя Магеллана. В действительности же индийская пора Магеллана тогда уже кончилась. «Достаточно, — говорит ему судьба. — Достаточно ты всего рассмотрел на Востоке, достаточно испытал! Пора идти новым, собственным путем».

Но именно эти-то легендарные «острова пряностей», отныне на всю жизнь приворожившие его мечты, ему никогда не дано будет увидеть *por vista de ojos*, воочию. Ему не суждено ступить на эти райские земли. Только мечтой, творческой мечтой останутся они для него. Но благодаря дружбе с Франшиску Серрано эти никогда в глаза не виданные им острова кажутся ему хорошо знакомыми, и странная робинзонада друга вдохновляет его на самое великое, самое дерзновенное начинание того времени.

Удивительное приключение Франшиску Серрано, впоследствии столь решительно толкнувшее Магеллана на его кругосветное плавание, — отрадный, умиротворяющий эпизод в кровавой летописи португальских битв и побоищ. Среди всех прославленных капитанов образ этого незнаменитого человека вызывает особый интерес. Распрошавшись в Малакке с отбывающим на родину названным своим братом Магелланом, Франшиску Серрано вместе с капитанами двух других кораблей направляется к легендарным «островам пряностей». Без особых трудностей и невзгод доходят они до покрытых

зеленью берегов острова и неожиданно встречают там радушный прием. Ибо до этих отдаленных краев не добрались ни мусульманская культура, ни воинственность нравов. В первобытном состоянии, голые и миролюбивые, живут здесь туземцы; они еще не знают денег, еще не гонятся за наживой. За несколько погремушек и браслетов простодушные островитяне тащат целые вороха гвоздики, и, так как уже на двух первых островах, Банде и Амбоине, португальцы до отказа нагружают свои суда, адмирал д'Абреу решает, не заходя на другие, поскорее возвратиться с драгоценным грузом в Малакку.

Может быть, алчность слишком тяжело нагрузила суда, во всяком случае, один из кораблей, именно тот, которым командует Франсишку Серрано, наскочил на риф и разбился. Ничего, кроме жизни, не удастся спасти пострадавшим. Уныло бродят они по незнакомому берегу, уже предвидя плачевную гибель, но Франсишку Серрано удастся хитростью завладеть пиратской лодкой, на которой он и отправляется обратно в Амбоину.

С не меньшим радушием, чем при их первом, помпезном появлении, встречает португальцев туземный царек и великодушно предлагает им пристанище (*fueron recibidos y hospedados con amor, veneracion y magnificencia*)*, так что они едва могут прийти в себя от счастья и благодарности. Разумеется, воинским долгом капитана Франсишку Серрано было бы, как только команда немного отдохнет и оправится, без промедления возвратиться на одной из многочисленных джонок, постоянно шныряющих между Амбоиной и Малаккой, к своему адмиралу и снова стать на службу португальского короля, с которым он связан жалованьем и присягой.

Но райская природа и теплый, благодатный климат заметно ослабляют в Франсишку Серрано чувство военной дисциплины. Ему вдруг становится совершенно безразлично, что где-то там, за много тысяч миль, в Лиссабонском дворце, какой-то король, гневаясь или брюзжа, вычеркнет его из списка своих капитанов или пенсионеров. Он знает, что достаточно

*Были встречены и приняты с любовью, почтением и величием (*исп.*).

сделал для Португалии, достаточно часто рисковал для нее своей шкурой. Теперь Франсишку Серрано хочет наконец пожить в свое удовольствие, так же приятно и безмятежно, как все прочие, не знающие ни одежды, ни забот, обитатели этих благословенных островов. Пусть другие матросы и капитаны и впредь бороздят моря, своим потом и кровью добывая пряности для чужеземных маклеров, пусть эти верноподданные глупцы и впредь надсаживаются в боях и странствиях, для того чтобы в Лиссабонскую таможенную поступало больше пошлин, — лично он, Франсишку Серрано, *si-devant** капитан португальского флота, по горло сыт войной и приключениями и всей этой возней с пряностями.

Бравый капитан без особой шумихи переходит из мира героики в мир идиллии и решает отныне жить первобытной, блаженно-ленивой жизнью приветливых туземцев. Высокое звание великого визиря, которым его милостиво удостоил король Тернате, не сопряжено с обременительной работой; только однажды, во время небольшого столкновения с соседями, он фигурирует в качестве военного советника своего повелителя. Зато в награду ему дается дом с невольниками и слугами, да к тому же хорошенькая темнокожая жена, с которой он приживает двух или трех смуглых детей.

Годы и годы Франсишку Серрано, этот второй Одиссей, забывший свою Итаку, пребывает в объятиях темнокожей Калипсо, и никакому демону честолюбия не удастся изгнать его из этого рая *dolce far niente***. В продолжение девяти лет, до самой своей старости, сей добровольный Робинзон, первый беглец от цивилизации, уже не покидал Зондских островов. Отнюдь не самый доблестный из всех конквистадоров и капитанов славной эпохи португальской истории, он был, по всей вероятности, самым из них благоразумным и к тому же самым счастливым.

Романтическое бегство Франсишку Серрано на первый

* Бывший (фр.).

** Блаженное безделье (ит.).

взгляд не имеет отношения к жизни и подвигу Магеллана. На самом же деле именно это эпикурейское отречение мало заметного и безвестного капитана решительным образом повлияло на дальнейший жизненный путь Магеллана, а тем самым и на историю открытия новых стран.

Разъединенные огромным пространством, оба друга постоянно общаются. Каждый раз, когда представляется оказия переслать со своего острова известие в Малакку, а оттуда в Португалию, Серрано пишет Магеллану подробные письма, восторженно славословящие богатства и прелести его новой родины. Буквально они гласят следующее: «Я нашел здесь новый мир, обширнее и богаче того, что был открыт Васко да Гамой». Опутанный чарами тропиков, он настойчиво призывает друга оставить наконец неблагоприятную Европу и малодоходную службу и скорей последовать его примеру.

Вряд ли можно сомневаться, что именно Франсишку Серрано первый подал Магеллану мысль: не будет ли разумнее, ввиду расположения этих островов на крайнем востоке, направиться к ним по пути Колумба (то есть с запада), нежели по пути Васко да Гамы (с востока)?

На чем порешили два названных брата мы не знаем. Во всяком случае, у них, по-видимому, возник какой-то определенный план: после смерти Серрано среди его бумаг нашлось письмо Магеллана, в котором он таинственно обещал другу в скором времени прибыть в Тернате, к тому же «если не через Португалию, то иным путем». Найти этот новый путь и стало заветным помыслом Магеллана.

Этот всепоглощающий замысел, несколько рубцов на загорелом теле да еще купленный им в Малакке раб-малаец — вот все или почти все, что Магеллан после семи лет службы в Индии привозит на родину.

Очень своеобразное, может быть, даже неприятное удивление должен был испытать утомленный битвами солдат по возвращении в отечество в 1512 году, увидев совсем иной Лиссабон, совсем иную Португалию, чем семь лет назад.

Изумление овладевает им с той самой минуты, как корабль входит в Белемскую гавань.

На месте старинной низенькой церковки, где в свое время был отслужен напутственный молебен Васко да Гамой, высится наконец-то достроенный огромный великолепный собор — первое зримое выражение несметных богатств, доставшихся его отечеству благодаря индийским пряностям.

Куда ни глянь — везде перемены.

На реке, где прежде лишь изредка встречались суда, теперь теснится парус к парусу, на прибрежных верфях рабочие трудятся не покладая рук, чтобы поскорее выстроить новые, еще более мощные эскадры. Гавань пестро расцветчена вымпелами португальских и иностранных кораблей; набережная завалена товарами, склады забиты до отказа. Тысячи людей торопливо снуют по шумным улицам среди роскошных, недавно возведенных дворцов; в факториях, у лавок менял и в маклерских конторах царит вавилонское смешение языков: благодаря ограблению Индии Лиссабон за десять лет из небольшого городка стал мировым центром, городом роскоши. Знатные дамы в открытых колясках выставляют напоказ индийские жемчуга, огромные толпы разодетых придворных кишат во дворце.

И моряку, возвратившемуся на родину, становится ясно: кровь, пролитая в Индии им и его товарищами, посредством какой-то таинственной химии превратилась здесь в золото. В то время, когда они под беспощадным солнцем юга сражались, страдали, терпели тяжкие лишения, истекали кровью, Лиссабон благодаря их подвигам унаследовал могущество Александрии и Венеции, король Мануэл «el fortunado»* стал богатейшим монархом Европы.

Все изменилось на родине.

*Счастливым (исп.).

МАГЕЛЛАН ОБРЕТАЕТ СВОБОДУ

Июнь 1512 г. — октябрь 1517 г.

Теперь в Старом Свете живут богаче, роскошнее, больше наслаждаются жизнью, беспечнее тратят деньги — словно пряности и нажитое на них золото раскрыли сущность людей. Только он один вернулся тем же, кем был, — «неизвестным солдатом». Никто его не ждет, никто не благодарит, никто не приветствует. Как на чужбину, возвращается в свое отечество португальский солдат Фернан де Магальянш после проведенных в Индии семи лет.

Героические эпохи никогда не были и не бывают сентиментальны, и неопишимо ничтожна признательность, которую властители Испании и Португалии выказали отважным конкистадорам, завоевавшим для них целые миры. Колумб в оковах возвращается в Севилью, Кортес попадает в опалу, Писарро умерщвлен, Нуньес де Бальбоа, открывший Тихий океан, обезглавлен, Камознс, поэт и воин Португалии, подобно своему великому собрату Сервантесу, оклеветанный жалкими провинциальными чиновниками, месяцы и годы проводит в тюрьме, немногим отличающейся от выгребной ямы.

Чудовищна неблагодарность эпохи великих открытий: нищими и калеками, завшивевшими, бесприютными, дрожащими от лихорадки, бродят по портовым переулкам Кадиса и Севильи те самые солдаты и матросы, которые завоевали для испанских королей сокровищницу инков и драгоценности Монтесумы. Как шелудивых псов, бесславно зарывают в родную землю тех немногих, кого смерть пощадила в колониях, ибо что значат подвиги этих безымянных героев для придворных льстецов, никогда не покидавших надежных стен дворца, где они ловкими руками загребают богатства, завоеванные теми в бою? Эти придворные трутни становятся *adelantados* — губернаторами новых провинций; они мешками гребут золото и, как наглых выскочек, оттесняют от казенной кормушки колониальных бойцов, боевых офицеров, которые после дол-

гих лет самоотверженной, изнурительной службы имели глупость возвратиться на родину.

То, что Магеллан участвовал в битвах при Каннаноре, при Малакке и что он десятки раз ставил на карту свою жизнь и здоровье ради чести Португалии, по возвращении не дает ему ни малейшего права на достойное занятие или обеспечение. Лишь случайному обстоятельству — тому, что он уже ранее числился в штате короля — *suação del Rey*, обязан Магеллан включением его в список лиц, получающих от короля содержание или, вернее, милостыню, притом сначала как *тозо fidalgo** он числится в самой последней категории, удостоиваемой подачки в тысячу рейс ежемесячно. Только через месяц, да и то, должно быть, после долгих препирательств, он поднимается на одну ступень выше и в качестве *fidalgo escudeiro*** получает тысячу восемьсот пятьдесят рейс (или же, по другим сведениям, в качестве *cavalleiro fidalgo**** — тысячу двести пятьдесят рейс).

Во всяком случае, какое бы из этих званий ему ни было присвоено, значения оно не имеет. Ни один из этих пышных титулов не дает Магеллану иных прав, не возлагает на него иных обязанностей, кроме как слоняться без дела в королевских прихожих. Но человек чести и долга не станет долго мириться с нищенской платой даже за ничегонеделание. Неудивительно поэтому, что Магеллан воспользовался первым — правда, не слишком благоприятным — случаем, чтобы вернуться на военную службу и снова выказать свою доблесть.

Почти целый год пришлось ждать Магеллану. Но едва только летом 1513 года король Мануэл приступает к снаряжению большой военной экспедиции против Марокко, чтобы наконец нанести мавританским пиратам сокрушительный удар, как испытанный боец индийского похода уже предлагает свои услуги — решение, объяснимое только тем, что его тяго-

* Простой дворянин (*португ.*).

** Оруженосец (*португ.*).

*** Дворянин-рыцарь (*португ.*).

тит вынужденное бездействие. Ибо в сухопутной войне Магеллан, почти всегда служивший во флоте и за эти семь лет сделавшийся одним из самых опытных моряков своего времени, не сможет в полной мере проявить свои дарования. И вот в большой армии, отправляемой в Азамор, он снова не более как младший офицер, без чина и самостоятельного поста. И опять, как некогда в Индии, его имя не фигурирует в донесениях, но зато он сам, так же как в Индии, всегда впереди, на самых опасных участках. И опять Магеллан — уже в третий раз — ранен в рукопашной схватке. Удар копьем в коленный сустав поражает нерв, левая нога перестает сгибаться, и Магеллан на всю жизнь остается хромым.

Для фронтовой службы хромоногий воин, не способный ни быстро ходить, ни ездить верхом, уже не пригоден. Теперь Магеллан мог бы покинуть Африку и на правах раненого требовать повышения оклада. Но он упорно желает остаться в армии, на войне, среди опасностей — в подлинной своей стихии. Тогда Магеллану и еще одному раненому предлагают в качестве конвоирующих офицеров — *quadriheiros das presos* — сопровождать отбитую у мавров огромную добычу — лошадей и скот. Тут происходит событие довольно темного свойства. Однажды ночью из несметных стад исчезает несколько десятков овец, и тотчас же распространяется злонамеренный слух, будто Магеллан и его товарищи тайком продали маврам часть отнятой у них добычи или же по небрежности дали врагу возможность ночью похитить скот из загонов.

Станным образом это гнусное обвинение в бесчестном поступке, нанесшем ущерб государству, в точности совпадает с обвинением, которым несколько десятилетий спустя португальские колониальные чиновники очернят и унижат другого столь же знаменитого португальца — поэта Камозенса. Оба эти человека, за годы службы в Индии имевшие сотни раз случай обогатиться, но вернувшиеся из этого Эльдorado на родину нищими, были запятнаны одним и тем же позорным обвинением.

Но, к счастью, Магеллан был тверже, чем кроткий Камо-

экс. Он не собирается давать показания этим жалким сутягам и позволять им месяцами таскать его по тюрьмам, подобно Камозэнсу. Он не подставляет малодушно, как творец «лузиад», свою спину ударам врага. Едва клеветнический слух начинает распространяться, он, прежде чем кто-либо осмелился открыто предъявить ему обвинение, оставляет армию и возвращается в Португалию требовать удовлетворения.

Магеллан не чувствовал за собой ни малейшей вины в этом темном деле; это явствует из того, что, прибыв в Лиссабон, он немедленно ходатайствует об аудиенции у короля, но отнюдь не затем, чтобы обелить себя, а, напротив, чтобы в сознании своих заслуг наконец потребовать более достойную должность. Ведь он снова потерял два года, снова получил в бою рану, сделавшую его почти что калекой.

Но ему не повезло: король Мануэл даже не дает настойчивому кредитору предъявить свой счет. Извещенный командованием африканской армии о том, что строптивый капитан самовольно, не испросив отпуска, покинул марокканскую армию, король обращается с заслуженным раненым офицером так, словно перед ним обыкновенный дезертир. Не дав ему вымолвить ни слова, король коротко и резко приказывает Магеллану тотчас вернуться в Африку, к месту нахождения своей части, и немедленно отдать себя в распоряжение высшего начальства.

Магеллан вынужден повиноваться. С первым же кораблем он возвращается в Азамор. Там, разумеется, и речи нет о расследовании, никто не осмеливается чернить заслуженного бойца, и Магеллан, получив от своих начальников удостоверение в том, что он уходит из армии с незапятнанной честью, и запасшись всевозможными документами, свидетельствующими о его невинности и заслугах, вторично возвращается в Лиссабон — можно представить себе, с каким горьким чувством. Вместо знаков отличия на его долю выпадают ложные обвинения, вместо наград — одни только рубцы... Он долго молчал, скромно держась в тени. Но теперь, к тридцати пяти

годам, он устал выпрашивать как милостыню то, что ему причитается по праву.

Благоразумие должно было показать Магеллану, что при столь щекотливых обстоятельствах не следует являться к королю Мануэлу немедленно по приезде и снова досаждать ему теми же требованиями. Конечно, разумнее было бы, некоторое время не напоминая о себе, завести друзей и знакомых в придворных кругах и, достаточно осмотревшись, втереться в доверие. Но вкрадчивость и пронырливость не в характере Магеллана. Как ни мало мы о нем знаем, одно остается бесспорным: этот низкорослый, смуглый, ничем не обращающий на себя внимания молчаливый человек даже в самой малой степени не обладал даром вызывать симпатии. Король — неизвестно почему — всю жизнь питал к нему неприязнь — *sempre teve hum entejo*, и даже верный его спутник Пигафетта должен признать, что офицеры просто ненавидели Магеллана — *li capitani suoi lo odiavano*.

От Магеллана, так же как это говорила Рахиль Варнхаген о Клейсте, «веяло суровостью». Он не умел улыбаться, расточать любезности, угождать, не умел искусно защищать свое мнение и свои взгляды. Неразговорчивый, замкнутый, всегда окутанный пеленой одиночества, этот нелюдимый человек, должно быть, распространял вокруг себя атмосферу ледяного холода, стеснения и недоверия, и мало кому удалось узнать его даже поверхностно; во внутренний же его мир так никто и не проник. В молчаливом упорстве, с которым он оставался в тени, его товарищи бессознательно чуяли какое-то необычное, непонятное честолюбие, тревожившее их сильнее, чем честолюбие откровенных охотников за выгодными местами, ожесточенно и бесстыдно теснившихся у казенной кормушки.

В его глубоких, маленьких, сверлящих глазах, в углах его густо заросшего рта всегда витала какая-то надежно спрятанная тайна, заглянуть в которую он не давал. А человек, прячущий в себе тайну и достаточно стойкий, чтобы много лет молчать о ней, всегда страшит тех, кто от природы доверчив, кому нечего скрывать. Угрюмый нрав Магеллана рождал про-

тивоедействие. Нелегко было идти с ним в ногу и стоять за него. И вероятно, самым трудным было для этого трагического нелюдима наедине с самим собой всегда ощущать себя одиноким.

И на этот раз *fidalgo escudeiro* Фернан де Магальянш, один, без всяких доброжелателей и покровителей, отправляется на аудиенцию к своему королю, выбрав наихудший из всех путей, которыми можно идти при дворе, то есть честный и прямой. Король Мануэл принимает его в том же зале, может быть, сидя на том же троне, с высоты которого его предшественник Жуан II некогда отказал Колумбу; на том же месте разыгрывается сцена такого же исторического значения. Ибо невзрачный, по-мужицки широкоплечий, коренастый, чернобородый португалец, с пронзительным взглядом, сейчас низко склонившийся перед властелином, который мгновение спустя презрительно отошлет его прочь, таит в себе мысль не менее великую, чем тот пришлый генуэзец. Отвагой, решимостью и опытом Магеллан, возможно, даже превосходит своего более знаменитого предшественника.

Очевидцев этой решающей минуты не было, однако при чтении сходных между собой хроник того времени сквозь даль веков начинаешь видеть происходящее в тронном зале: припадая на раненую ногу, Магеллан приближается к королю и с поклоном передает документы, неопровержимо доказывающие лживость возведенного на него обвинения. Затем он излагает первую свою просьбу: ввиду вторичного, лишившего его боеспособности ранения он ходатайствует перед королем о повышении его *moradia*, месячного содержания, на полкрузадо (около одного английского шиллинга на нынешние деньги).

До смешного ничтожна сумма, которую он просит, и, казалось бы, не пристало гордому, стойкому, честолюбивому воину преклонять колени ради такой безделицы. Но Магеллан предъявляет это требование не ради монеты ценностью в полкрузадо, а во имя своего общественного положения, своего достоинства. Размер *moradia*, оклада, при этом дворе, где каждый тщится оттолкнуть локтем другого, определяет ступень иерархической лестницы, на которой стоит дворянин, ее по-

лучающий. Тридцатипятилетний ветеран индийской и марокканской войн, Магеллан не хочет значить при дворе меньше любого безусого юнца из тех, что подают королю блюда или распахивают перед ним дверцу кареты. Из гордости он никогда не старался протиснуться вперед, но из гордости же он не может подчиняться людям более молодым и менее заслуженным. Он не даст ценить себя ниже, чем сам ценит себя и все им содеянное.

Но король Мануэл глядит на навязчивого просителя, угрюмо нахмурившись. Для него, богатейшего из монархов, дело, разумеется, не в жалкой серебряной монете. Его просто раздражает поведение этого человека, который настойчиво требует, вместо того чтобы смиренно домогаться, и, не желая ждать, покуда он, король, милостиво соизволит увеличить ему содержание, упорно, решительно, словно это причитается ему по праву, настаивает на повышении в придворном чине. Что ж? Этого твердолобого молодца научат и просить и дожидаться. Подстрекаемый дурным советчиком — досадой, король Мануэл, обычно *el fortunado* — счастливый, отклоняет ходатайство Магеллана о повышении оклада, не подозревая, сколько тысяч золотых дукатов он уже в ближайшее время будет готов заплатить за этот один сбереженный им полкрузадо.

Собственно, Магеллану следовало бы теперь откланяться, ибо нахмуренное чело короля уже не сулит ему ни проблеска благоволения. Но, вместо того чтобы, верноподданнически поклонившись, выйти из зала, ожесточенный гордостью Магеллан продолжает невозмутимо стоять перед монархом и излагает ему просьбу, которая, в сущности, и привела его сюда. Он спрашивает, не найдется ли на королевской службе для него какого-нибудь места, какого-нибудь достойного занятия. Он еще слишком молод, слишком полон сил, чтобы всю жизнь жить милостыней. Ведь из португальских гаваней в те времена ежемесячно, даже еженедельно отправлялись суда в Индию, в Африку, в Бразилию; нет ничего более естественного, как предоставить командование одним из этих многочисленных судов человеку, лучше, чем кто бы то ни было изучившему

восточные моря. За исключением старого ветерана Васко да Гамы, в столице и во всем королевстве не найдется никого, кто мог бы сказать, что превосходит Магеллана знаниями.

Но королю Мануэлу все невыносимее становится жесткий, вызывающий взгляд этого докучливого просителя. Холодно, даже не обнадеживая Магеллана на будущие времена, отклоняет он его просьбу: нет, места для него не найдется.

Отказано. Кончено. Но Магеллан обращается к королю еще с третьей просьбой, — вернее, это уже не просьба, а вопрос. Магеллан спрашивает, не прогневадется ли король, если он поступит на службу в другой стране, где ему предложат лучшие условия. И король с оскорбительной холодностью дает понять, что ему это безразлично. Магеллан может служить где угодно — где только удастся сыскать службу. Тем самым Магеллану сказано, что португальский двор отказывается от любых его услуг, что за ним, правда, и впредь милостиво сохранят жалкую подачку, но что никого не огорчит, если он покинет и королевский двор, и Португалию.

Никто не был свидетелем этой аудиенции; никто не знает, в тот ли или в другой раз, раньше или позже Магеллан открыл королю свой заветный тайный замысел. Может быть, ему даже не дали возможности развить свою мысль, может быть — равнодушно отклонили ее; как бы там ни было, но во время аудиенции Магеллан еще раз изъявил намерение в дальнейшем, как и прежде, кровью и жизнью служить Португалии. И только резкий отказ вызвал в нем тот внутренний перелом, который неминуемо совершается в жизни каждой творческой личности.

В минуту, когда Магеллан, словно выгнанный нищий, покидает дворец своего короля, он уже понимает: дольше ждать и медлить нельзя. К тридцати пяти годам он узнал и пережил все, чему воин и моряк учится на поле битвы и на море. Четырежды огибал он мыс Доброй Надежды — два раза с востока и два раза с запада. Несметное число раз был он на волоске от смерти, трижды ощущал холодный металл неприятельского оружия в теплом, истекающем кровью теле. Без-

мерно много видел он на свете, он знает больше о восточной части земного шара, чем все прославленные географы и картографы его времени. Без малого десятилетний опыт сделал его знатоком всех видов военной техники: он научился владеть мечом и пищалью, рулем и компасом, парусом и пушкой, веслом, заступом и копьем. Он умеет читать портуланы, пускать лот и не менее точно, чем любой «мастер астрономии», применяет навигационные приборы. Все, о чем другие только с любопытством читают в книгах — томительные штилы и многодневные циклоны, битвы на море и на суше, осады и резня, внезапные налеты и кораблекрушения, — все это он пережил сам. За десять лет он научился и выжидать и мгновенно пользоваться решающей секундой. Он близко узнал всевозможных людей: желтых и белых, черных и темнокожих, индусов и малайцев, китайцев и негров, арабов и турок.

В любом деле — на воде и на суше, во все времена года и на всех морях, в мороз и под палящим солнцем тропиков — служил он своему королю, своей стране. Но служить хорошо в молодости. Теперь, приближаясь к тридцати шести годам, Магеллан решает, что достаточно жертвовал собою ради чужих интересов, чужой славы. Как творчески одаренный человек, он испытывает *media in vita** потребность отвечать за свои действия, полностью проявить себя. Родина отреклась от него в беде, освободила его от уз службы и долга — тем лучше: теперь он свободен. Ведь часто случается, что удар кулака, вместо того чтобы отшвырнуть человека, направляет его на верный путь.

Однажды принятое решение Магеллан никогда не воплощает в жизнь мгновенно и необдуманно. Как ни скуден свет, проливаемый описаниями современников на его характер, одно, и притом существенное, качество, несомненно, отличает его во все периоды его жизни: Магеллан прекрасно умел мол-

* В зрелые годы (*лат.*).

чать. По природе терпеливый и необщительный, даже в суматохе походной жизни державшийся тихо и обособленно, Магеллан все продумывал в одиночестве. Далеко заглядывая вперед, в тиши взвешивая каждую возможность, Магеллан не открывал людям своих планов и решений, покуда не был уверен, что его замысел внутренне созрел, до конца продуман и беспорен.

И на этот раз Магеллан изумительно проявляет свое искусство молчания. Другой на его месте после оскорбительного отказа короля Мануэла, вероятно, тотчас покинул бы страну и предложил свои услуги другому монарху, Магеллан же спокойно остается в Португалии еще на год, и никто не догадывается, чем он занят. Разве только замечают — поскольку это вообще может привлечь внимание, когда речь идет о старом, побывавшем в Индии моряке, — что Магеллан долгие часы просиживает с кормчими и капитанами, с теми, кто некогда плывал в южных морях. Но о чем же и болтать охотникам, как не об охоте, мореплавателям — как не о морях и новых землях! Не может вызвать подозрений и то, что в *Tesoro gia*, секретном архиве короля Мануэла, он ворошит все хранящиеся там *secretissimas** карты берегов, портуланы, лаговые записи и судовые журналы последних экспедиций в Бразилию. Чем же и заполнять находящемуся не у дел капитану свой досуг, как не изучением книг и сообщений о вновь открытых морях и землях?

Скорее уж могла обратить на себя внимание новая дружба Магеллана, ибо человек, с которым он все больше сближается, некий Руй Фалейру, юркий, нервный, вспыльчивый книжник, со своей страстной говорливостью, чрезмерной самонадеянностью и взбалмошным характером менее всего подходит молчаливому, сдержанному, замкнутому воину и мореходу. Но дарования обоих этих людей, вскоре ставших неразлучными, в силу их полного несходства привели к известной, неизбежно кратковременной гармонии. Как для Магеллана

*Наисекретнейшие (исп.).

сокровеннейшая страсть — путешествия по неведомым морям и практическое исследование земного шара, так для Фалейру — отвлеченное познание земли и неба.

Чистейшей воды теоретик, подлинно кабинетный ученый, никогда не ступавший на корабль, никогда не покидавший Португалии, Руй Фалейру знает далекие сферы неба и земли только по вычислениям, книгам, таблицам и картам; зато в этих абстрактных областях, в качестве картографа и астронома, он считается величайшим авторитетом. Он не умеет ставить паруса, но он изобрел собственную систему вычисления долготы, хотя и не лишенную погрешностей, но охватывающую весь земной шар и впоследствии оказавшую Магеллану огромную услугу. Фалейру не умеет обращаться с рулем, но изготовленные им морские карты, портуланы, астролябии и другие инструменты, по-видимому, являлись наиболее совершенными навигационными приборами того времени.

Такой знаток, несомненно, принесет огромную пользу Магеллану, идеальному практику, чьим университетом были только война и плавание, кто из астрономии и географии знает лишь то, что он сам непосредственно видел в своих странствиях и благодаря своим странствиям. Как раз благодаря противоположности своих дарований и склонностей оба эти человека необыкновенно счастливо дополняют друг друга, как спекулятивное мышление дополняет опытное знание, как мысль — дело, как дух — материю.

Но к этому в данном частном случае присоединяется еще и временная общность судеб. Оба эти, каждый по-своему замечательные, португальца одинаково уязвлены своим королем, обоим прегражден путь к осуществлению дела всей их жизни. Руй Фалейру уже много лет домогается должности королевского астронома и, несомненно, с большим на то правом, чем кто-либо другой. Но так же как Магеллан своей молчаливой гордостью, так, по-видимому, и Руй Фалейру своей резкостью и обидчивостью раздражал двор. Враги называют его шутом и, чтобы предать его в руки инквизиции (и тем самым отделаться от него), распространяют слухи, будто он в своих работах

прибегает к помощи сверхъестественных сил, будто он заключил союз с дьяволом.

Итак, оба они, Магеллан и Руй Фалейру, в своей стране удалены от дел ненавистью и недоверием, и этот внешний гнет ненависти и недоверия внутренне сближает их друг с другом. Фалейру изучает записи и проекты Магеллана. Он снабжает их научной надстройкой, и его вычисления точными, по таблицам проверенными данными подтверждают чисто интуитивные предположения Магеллана. И чем дольше сравнивают теоретик и практик свои наблюдения, тем пламеннее они стремятся осуществить свой проект в таком же тесном сотрудничестве, в каком они его продумали и разработали. Оба они — теоретик и практик — клятвенно обязуются до решающей минуты осуществления таить от всех свой замысел и, в случае необходимости, без содействия родной страны и даже в ущерб ей совершить дело, которое должно стать достоянием не только одной Португалии, но всего человечества.

Однако пора уже спросить: что, собственно, представляет собой таинственный проект, который Магеллан и Фалейру втихомолку, словно заговорщики, обсуждают вблизи Лиссабонского дворца? Что в нем такого нового, доселе небывалого? Что делает его столь важным и заставляет их поклясться друг другу в сохранении тайны? Что в этом проекте такого опасного, что вынуждает их прятать его, словно отравленное оружие?

Ответ на этот вопрос поначалу разочаровывает. Ибо новый проект не что иное, как та самая мысль, с которой Магеллан некогда возвратился из Индии и которую в нем разжигал Серрано: мысль достичь богатейших «островов пряностей», плывя не в восточном направлении, вокруг Африки, как это делают португальцы, а с запада, то есть огибая Америку. На первый взгляд в этом нет ничего нового. Еще Колумб, как известно, отправился в плавание не для того, чтобы открыть Америку, о существовании которой тогда еще не подозревали,

а стремясь достичь Индии. И когда весь мир уже понял, что Колумб находится в заблуждении (сам он так и не осознал этого и всю жизнь был убежден, что высадился в одной из провинций китайского богдыхана), Испания из-за этого случайного открытия отнюдь не отказалась от поисков пути в Индию, ибо за первыми минутами радости последовало досадное разочарование.

Заявление пылкого фантаста Колумба, что на Сан-Доминго и Эспаньоле золото пластами лежит под землей, оказалось враньем. Там не нашли ни золота, ни пряностей, ни даже «черной слоновой кости» — тщедушные индейцы не годились в невольники. Покуда Писарро еще не разграбил сокровищниц инков, покуда еще не была начата разработка Потосийских серебряных рудников, открытие Америки не представляло — в коммерческом отношении — никакой ценности, и алкавшие золота кастильцы были меньше заинтересованы в колонизации и покорении Америки, чем в том, чтобы, обогнув ее, как можно скорее попасть в райские края драгоценных камней и пряностей. Согласно распоряжениям короля, непрерывно продолжались попытки обогнуть вновь открытую terra firma, чтобы прежде португальцев ворваться в подлинную сокровищницу Востока, на «острова пряностей». Одна экспедиция следовала за другой.

Но вскоре испанцам при поисках пути в вожделенную Индию довелось пережить то же разочарование, что и некогда португальцам при первых попытках обогнуть Африку. Ибо и эта вновь открытая часть света, Америка, оказалась куда более обширной, чем можно было предположить вначале. Повсюду, на юге и на севере, где бы их суда ни пытались прорваться в Индийский океан, они наталкивались на неодолимую преграду — земную твердь. Повсюду, как широкое бревно поперек дороги, лежит перед ними этот протяженный материк — Америка. Прославленные конквистадоры тщетно пытались счастья, сиюсь найти где-нибудь проход, пролив — *paso, estrecho*. Колумб в четвертое свое плавание поворачивает к западу, чтобы возвратиться через Индию, и наталкивается все на ту

же преграду. Экспедиция, в которой участвует Веспуччи, столь же тщетно обследует все побережье Южной Америки, *con proposito di andare e scoprire un isola verso Oriente che si dice Melacha* — чтобы пробраться к «островам пряностей», Молуккским островам. Кортес в четвертой своей «реляции» торжественно обещает императору Карлу искать проход у Панама. Кортереал и Кабот направляют свои суда в глубь Ледовитого океана, чтобы открыть пролив на севере, а Хуан де Солис, думая обнаружить его на юге, поднимается далеко вверх по Ла-Плате.

Но тщетно! Везде, на севере, на юге, в полярных зонах и тропиках, все тот же незыблемый вал — земля и камни. Мало-помалу начинает исчезать всякая надежда проникнуть из Атлантического океана в тот, другой, некогда увиденный Нуньесом де Бальбоа с панамских высот. Уже космографы вычерчивают на картах Южную Америку сращенной с Южным полюсом, уже бесчисленные суда потерпели крушение во время этих бесплодных поисков, уже Испания примирилась с мыслью навеки остаться отрезанной от земель и морей богатейшего Индийского океана, ибо нигде, решительно нигде не находится вожделенный *passo* — со страстным упорством разыскиваемый пролив.

Тогда вдруг появляется из неизвестности этот неведомый, невзрачный капитан Магеллан и с пафосом полнейшей уверенности заявляет: «Между Атлантическим и Индийским океанами существует пролив. Я в этом уверен, я знаю его местонахождение. Дайте мне эскадру, я укажу вам его и, плывя с востока на запад, обогну весь земной шар».

Теперь-то мы и оказываемся перед лицом той самой тайны Магеллана, которая в продолжение веков занимает ученых и психологов. Сам по себе, как сказано, проект Магеллана отнюдь не отличался оригинальностью: собственно говоря, Магеллан стремился к тому же, что и Колумб, Веспуччи, Кортереал, Кортес и Кабот. И так, нов не его проект, но та не допускающая возражений уверенность, с которой Магеллан утверждает существование западного пути в Индию. Ведь с самого

начала он не говорит скромно, как те, другие: «Я надеюсь где-нибудь найти *passo* — пролив». Нет, он с железной уверенностью заявляет: «Я найду *passo*. Ибо я, один я знаю, что существует пролив между Атлантическим и Индийским океанами, и знаю, в каком месте его искать».

Но каким образом Магеллан — в этом-то и загадка — мог наперед знать, где расположен этот тщетно разыскиваемый всеми другими мореходами пролив? Сам он во время своих путешествий ни разу даже не приближался к берегам Америки, как и его товарищ Фалейру. Если он с такой определенностью утверждает наличие пролива — значит, о его существовании и географическом положении он мог узнать только от кого-нибудь из своих предшественников, видевших этот пролив собственными глазами. Но раз другой мореплаватель видел его до Магеллана — тогда ситуация весьма щекотлива! Тогда Магеллан — совсем не прославленный герой, каким его увековечила история, а всего-навсего плагиатор, похититель чужой славы. Тогда Магелланов пролив так же несправедливо назван именем Магеллана, как Америка несправедливо названа именем не открывшего ее Америго Веспуччи.

Итак, тайна истории Магеллана, в сущности, исчерпывается одним вопросом: от кого и каким путем скромный португальский капитан получил столь надежные сведения о наличии пролива между океанами, что смог обязаться осуществить то, что до того времени считалось неосуществимым, а именно, кругосветное плавание? Первое упоминание о данных, на основании которых Магеллан твердо уверовал в успех своего дела, мы находим у Антонио Пигафетты, преданнейшего его спутника и биографа, который сообщает следующее: даже когда вход в этот пролив уже был у них перед глазами, никто во всей флотилии не верил в существование подобного соединяющего океаны пути. Только уверенность самого Магеллана невозможно было поколебать в ту минуту, ибо он, дескать, точно знал, что такой, никому не известный пролив существует, а знал он об этом благодаря начертанной знаме-

нитым космографом Мартином Бехаймом карте, которую он в свое время разыскал в секретном архиве португальского короля. Это сообщение Пигафетты само по себе вполне заслуживает доверия, ибо мы знаем, что Мартин Бехайм действительно до самой своей смерти (1507 г.) был придворным картографом португальского короля, как знаем и то, что молчаливый искатель Магеллан сумел получить доступ в этот секретный архив.

Поиски разгадки становятся все более увлекательными: этот Мартин Бехайм лично не принимал участия ни в одной заморской экспедиции и поразительную весть о существовании *расо*, в свою очередь, мог узнать только от других мореплавателей. Значит, и у него были предшественники. Тогда вопрос усложняется. Кто же были эти предшественники, эти неизвестные мореходы? Кому же, наконец, принадлежит честь открытия? Возможно ли, чтобы какие-то португальские суда еще до изготовления этих карт и глобусов достигли таинственного пролива, соединяющего Атлантический океан с Тихим? И что же? Неопровержимые документы подтверждают, что действительно в начале века несколько португальских экспедиций (одну из них сопровождал Веспуччи) обследовали побережье Бразилии, а быть может, даже и Аргентины. Только они и могли увидеть *расо*.

Однако этого мало — возникает новый вопрос: как далеко проникли эти таинственные экспедиции? Вправду ли спустились они до самого прохода, до Магелланова пролива? Мнение, что другие мореплаватели, до Магеллана, уже знали о существовании *расо*, долгое время основывалось лишь на упомянутом сообщении Пигафетты, да еще на сохранившемся и поныне глобусе Иоганна Шенера, на котором — как это ни удивительно — уже в 1515 году, следовательно, задолго до отплытия Магеллана, ясно обозначен пролив на юге (правда, совершенно не там, где он находится в действительности).

Но все это не помогает нам уяснить, от кого же получили эти сведения Бехайм и немецкий ученый, ибо в ту эпоху великих открытий каждая нация, из коммерческой ревности,

неусыпно следила, чтобы результаты экспедиции сохранялись в тайне. Лаговые записи кормчих, судовые журналы капитанов, карты и портуланы немедленно сдавались в Лиссабонскую Tesogagia. Король Мануэл указом от 13 ноября 1504 года под страхом смертной казни запретил «сообщать какие-либо сведения о судоходстве по ту сторону реки Конго, дабы чужестранцы не могли извлечь выгоды из открытий, сделанных Португалией». Когда вопрос о приоритете, ввиду совершенной его праздности, уже как будто заглох, неожиданная находка более позднего времени пролила свет на то, кому именно Бехайм и Шенер, а в конечном счете и Магеллан обязаны своими географическими сведениями.

Эта находка представляла собой напечатанную на прескверной бумаге немецкую листовку, озаглавленную: «*Copia der Newen Zeytung aus Bresillg Landt*» («Копия новых вестей из Бразильской земли»); эта листовка оказалась донесением, посланным из Португалии в начале шестнадцатого века крупнейшему торговому дому Вельзеров в Аугсбурге одним из его португальских представителей; в нем на отвратительнейшем немецком языке сообщается, что некое португальское судно на приблизительно сороковом градусе южной широты открыло и обогнуло некий *sabo*, то есть мыс, «подобный мысу Доброй Надежды», и что за этим *sabo* по направлению с востока на запад расположен широкий пролив, напоминающий Гибралтар; он тянется от одного моря до другого, так что нет ничего легче, как этим путем достичь Молуккских островов — «островов пряностей». Итак, это донесение определенно утверждает, что Атлантический и Тихий океаны соединены между собой, *quod erat demonstrandum**.

Тем самым загадка, казалось, была наконец решена, и Магеллан окончательно изобличен в плагиате, в присвоении открытия, сделанного до него. Ведь, бесспорно, Магеллан был осведомлен о результатах той португальской экспедиции не хуже, чем неизвестный представитель немецких судовладель-

*Что и требовалось доказать (*лат.*).

цев и проживающий в Лиссабоне аугсбургский географ; а в таком случае вся его заслуга перед мировой историей сводится к тому, что он, благодаря своей энергии, сумел тщательно охраняемую тайну сделать доступной всему человечеству. Итак, ловкость, стремительность, беззастенчивое использование чужих достижений — вот, видимо, и вся тайна Магеллана.

Но, как ни удивительно, возникает еще один, последний вопрос. Ведь теперь нам известно то, что не было известно Магеллану: участники той португальской экспедиции в действительности не достигли Магелланова пролива, их сообщения, которым доверился Магеллан, так же как Мартин Бехайм и Иоганн Шенер, на самом деле основывались на недоразумении, на легко понятной ошибке. Что именно (здесь мы доходим до самой сути проблемы) видели те мореплаватели на сороковом градусе южной широты? Что, собственно, сообщает нам «*Newe Zeytung*»? Только то, что эти мореплаватели открыли морской залив, по которому они плыли двое суток, не видя ему конца, и что, прежде чем они достигли его предела, буря прогнала их назад. Следовательно, то, что они видели, было началом некоего водного пути, который они сочли, но сочли напрасно, тем проливом, что соединяет два океана. Ведь настоящий пролив расположен — это известно со времен Магеллана — на пятьдесят втором градусе южной широты. Что же видели эти безвестные мореплаватели под сороковым градусом?

Здесь существует достаточно обоснованное предположение, ибо тому, кто впервые собственными глазами изумленно созерцал необъятный, широкий, как море, простор Ла-Платы при впадении ее в океан, — только тому понятно, что не случайным, а подлинно неизбежным заблуждением было счесть это исполинское речное устье заливом, морем. Разве не более чем естественно, что мореходы, никогда не встречавшие в Европе столь гигантского водного потока, увидев эту необозримую ширь, преждевременно возликовали, решив, что это — и есть вожделенный пролив, соединяющий два океана? Лучшим доказательством, что кормчие, на которых ссылается

«*Newe Zeytung*», приняли исполинскую реку за пролив, служат упомянутые нами карты, начертанные в соответствии с их сообщениями. Ведь если бы они, эти безвестные кормчие, пробравшись дальше на юг, нашли кроме реки Ла-Платы и Магелланов пролив — то есть настоящий *passo*, они должны были бы на своих портуланах, а Шенер — на своем глобусе обозначить также и Ла-Плату, этого гиганта среди водных потоков земного шара. Однако на глобусе Шенера, как и на других известных нам картах, Ла-Плата не обозначена, а на ее месте, как раз под тем же градусом широты, нанесен мифический пролив — *passo*.

Тем самым вопрос выяснен до конца. Осведомители «*Newe Zeytung*» чистосердечно заблуждались. Они стали жертвами очевидной и понятной ошибки, да и Магеллан поступил не менее честно, утверждая, что у него имеются достоверные данные о существовании некоего *passo*. Когда он, руководствуясь этими картами и сообщениями, создавал свой грандиозный проект кругосветного плавания, он попросту был введен в обман самообманом других. Заблуждение, в которое он честно уверовал, — вот что в конечном счете составляло тайну Магеллана.

Но не надо презирать заблуждений! Из безрассуднейшего заблуждения, если гений коснется его, если случай будет руководить им, может произрасти величайшая истина. Сотнями, тысячами насчитываются во всех областях знания великие открытия, возникшие из ложных гипотез. Никогда Колумб не отважился бы выйти в океан, не будь на свете карты Тосканелли, до абсурда неверно определявшей объем земного шара и обманчиво сулившей ему, что он в кратчайший срок достигнет восточного побережья Индии. Никогда Магеллан не сумел бы уговорить монарха предоставить ему флотилию, если бы не верил с таким безрассудным упрямством ошибочной карте Бежайма и фантастическим сообщениям португальских кормчих. Только веря, что он обладает знанием тайны, Магеллан мог разгадать величайшую географическую тайну своего времени. Только всем сердцем отдавшись заблуждению, он открыл истину.

ИДЕЯ МАГЕЛЛАНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

20 октября 1517 г. — 22 марта 1518 г.

Теперь Магеллан стоит перед ответственным решением. У него есть план, равного которому по смелости не вынашивает в сердце ни один моряк его времени, и вдобавок у него есть уверенность — или ему кажется, что она есть, — что благодаря имеющимся у него особым сведениям этот план неминуемо приведет его к цели. Но как осуществить столь дорогостоящее и опасное предприятие? Монарх его родной страны от него отвернулся; на поддержку знакомых португальских судовладельцев вряд ли можно рассчитывать: они не осмелятся доверить свои суда человеку, впадшему в немилость двора. Итак, остается один путь: обратиться к Испании. Там, и только там, может Магеллан рассчитывать на поддержку, только при том дворе его личность может иметь некоторый вес, ибо он не только привезет с собой драгоценные сведения из Лиссабонской Tesoraria, но и представит Испании — что не менее важно для задуманного им дела — доказательства моральной правоты ее претензий. Его компаньон Фалейру вычислил (так же неправильно, как неправильно был информирован Магеллан), что «острова пряностей» находятся не в пределах португальского владычества, а в области, отведенной папой Испании, и посему являются собственностью испанской, а не португальской короны.

Богатейшие в мире острова и кратчайший путь к ним предлагает безвестный португальский капитан в дар императору Карлу V. Вот почему скорее, чем где-либо, он может рассчитывать на успех при испанском дворе. Там, и только там, может он осуществить великое предприятие, замысел всей своей жизни, хоть и знает, что жестоко за это расплатится. Ибо, если Магеллан теперь обратится к Испании, ему придется, как собственную кожу, содрать с себя благородное португальское имя Магальяйнш. Португальский король немедленно ввергнет его в опалу, и он веками будет слыть среди своих соотечественников изменником — *traidor*, пере-

бежчиком — transfuga; и в самом деле, добровольный отказ Магеллана от португальского подданства и его продиктованный отчаянием переход на службу другой державе несравнимы с поведением Колумба, Кабота, Кадамосты или Веспуччи, также водивших флотилии чужих монархов в заморские экспедиции. Ведь Магеллан не только покидает родину, но — умолчать об этом нельзя — наносит ей ущерб, передавая в руки злейшему сопернику своего короля «острова пряностей», уже занятые его соотечественниками.

Он поступает не только смело — поступает непатриотично, сообщая другому государству морские тайны, овладеть которыми ему удалось лишь благодаря доступу в Лиссабонскую Tesoraria. В переводе на современный язык это означает, что Магеллан, португальский дворянин и бывший капитан португальского флота, совершил преступление не менее тяжкое, нежели офицер нашего времени, передавший мобилизационные планы и секретные карты генерального штаба соседнему враждебному государству. И единственное обстоятельство, которое придает его неприглядному поведению известный оттенок величия, заключается в том, что он перешел границу не трусливо и опасливо, как контрабандист, а предался противнику с поднятым забралом, зная о всех ожидающих его поношениях.

Но творческая личность подчиняется иному, более высокому закону, чем закон простого долга. Для того, кто призван совершить великое деяние, осуществить открытие или подвиг,двигающий вперед все человечество, для того подлинной родиной является уже не его отечество, а его деяние. Он ощущает себя ответственным в конечном счете только перед одной инстанцией — перед той задачей, которую ему предназначено решить, и он скорее позволит себе презреть государственные и временные интересы, чем то внутреннее обязательство, которое возложили на него его особая судьба, особое дарование. Магеллан осознал свое призвание на середине жизненного пути после многих лет верного служения своему отечеству. И так как его отечество отказало ему в возможности осуществления его замыслов, то он должен был сделать своим отечест-

вом свою идею. Он решительно уничтожает свое преходящее имя и свою гражданскую честь, чтобы воскреснуть и раствориться в своей идее, в своем бессмертном подвиге.

Пора выжидания, терпения и обдумывания для Магеллана кончилась. Осенью 1517 года его дерзновенное решение претворяется в жизнь. Временно оставив в Португалии своего менее отважного партнера — Фалейру, Магеллан переходит рубикон своей жизни — испанскую границу; 20 октября 1517 года вместе со своим невольником Энрике, уже долгие годы сопровождающим его как тень, он прибывает в Севилью. Правда, Севилья в этот момент не является резиденцией нового короля Испании, Карлоса I, в качестве властелина Старого и Нового Света именуемого нами Карлом V. Восемнадцатилетний монарх только что прибыл из Фландрии в Сантандер и находится на пути в Вальядолид, где с середины ноября намерен обосновать свой двор.

И все же время ожидания Магеллану нигде не провести лучше, чем в Севилье, ибо эта гавань — порог в новую Индию; большинство кораблей отправляется на запад от берегов Гвадалквивира, и столь велик там наплыв купцов, капитанов, маклеров и агентов, что король приказывает учредить в Севилье особую торговую палату, знаменитую Casa de la Contratacion, которую также называют Индийской палатой, Domus indica, или Casa del Oceano. В ней хранятся все донесения, карты и записи купцов и мореходов («Habet rex in ea urbe ad oceana tantum negotia domum erectam ad quam euntes, redeuntesque visitores confluent»^{*}). Индийская палата является одновременно и товарной биржей, и судовым агентством, правильнее всего было бы назвать ее управлением морской торговли, бюро справок и консультаций, где под контролем властей договариваются, с одной стороны, дельцы, финанси-

^{*}Король учредил в этом городе палату специально для заокеанской торговли, куда стекались посетители, как отправлявшиеся в путь, так и возвращавшиеся (лат.).

рующие морские экспедиции, с другой — капитаны, желающие возглавить эти экспедиции. Так или иначе, но каждый, кто затевает новую экспедицию под испанским флагом, прежде всего должен обратиться в Casa de la Contratacion за разрешением или поддержкой.

О необычайной выдержке Магеллана, его гениальном умении молчать и выждать лучше всего свидетельствует уже то, что он не торопится совершить этот неминуемый шаг; чуждый фантазерства, расплывчатого оптимизма, всегда все точно рассчитывающий, психолог и реалист, Магеллан заранее взвесил свои шансы и нашел их недостаточными. Он знает, что дверь в Casa de la Contratacion откроется перед ним, только когда другие руки нажмут за него скобу. Сам Магеллан — кому он здесь известен? То, что он семь лет плывал в восточных морях, что он сражался под началом Алмейды и Албукерке, не очень-то много значит в городе, таверны и кабаки которого кишат отставными *aventurados* и *desperados**, в городе, где еще живы капитаны, плававшие под командой Колумба, Кортереала и Кабота. Что он прибыл из Португалии, где король не пожелал пристроить его к делу, что он эмигрант, строго говоря, даже перебежчик, тоже не очень его рекомендует. Нет, в Casa de la Contratacion неизвестному, безымянному *fuoroscito*** не окажут доверия; поэтому Магеллан до поры до времени решает и вовсе не переступить ее порога.

Он достаточно опытен и знает, что в таких случаях необходимо. Прежде всего, как всякий, кто предлагает новый проект, он должен обзавестись связями и рекомендациями. Должен обеспечить себе поддержку людей влиятельных и имеющих, прежде чем вступить в переговоры с теми, кто держит в своих руках власть и деньги.

Одним из этих необходимых знакомств предусмотрительный Магеллан, видимо, заручился еще в Португалии. Так или иначе, он встречает радушный прием в доме Дьего Барбосы,

* Авантюристы, сорвиголовы (*исп.*).

** Выходец из чужой страны (*исп.*).

тоже некогда вышедшего из португальского подданства и уже в продолжение четырнадцати лет занимающего на испанской службе видную должность алькайда (начальника) арсенала. Уважаемое лицо в городе, кавалер ордена Сант-Яго, Барбоса является идеальным поручителем для пришельца. По некоторым сведениям, Барбоса и Магеллан были родственниками. Но теснее любого родства этих людей с первой же минуты сближает то обстоятельство, что Дьего Барбоса за много лет до Магеллана плавал в индийских морях. Сын его, Дуарте Барбоса, унаследовал от отца страсть к приключениям. Он тоже вдоль и поперек избородил индийские, персидские и малайские воды и даже написал весьма ценимую в те времена книгу «O libro de Duarte Barbosa»*. Эти трое людей тотчас становятся друзьями. Ведь если и в наши дни между колониальными офицерами или солдатами, сражавшимися во время войны на одном участке фронта, устанавливается связь на всю жизнь, то насколько же теснее сплоченными должны были чувствовать себя два-три десятка ветеранов морской службы, чудом уцелевшие в этих убийственных плаваниях и смертельных опасностях! Барбоса гостеприимно предлагает Магеллану поселиться у него в доме. Проходит немного времени, и дочь Барбосы Барбара начинает благосклонно относиться к тридцатисемилетнему, энергичному, серьезному Магеллану. Еще до конца года Магеллан назовет себя зятем алькайда и тем самым приобретет в Севилье положение и опору. Утратив права гражданства в Португалии, он вновь обрел их в Испании. Отныне он считается уже не безродным пришельцем, но vecino de Sevilla — жителем Севильи. Хорошо зарекомендовавший себя дружбой и предстоящим родством с Барбосой, обеспеченный приданым жены, которое составляет шестьсот тысяч мараведисов, он может теперь не задумываясь перешагнуть порог Casa de la Contratacion.

О переговорах, которые он там вел, о приеме, который был ему оказан, не сохранилось никаких достоверных сведений.

* «Книга Дуарте Барбосы» (исп.).

Мы не знаем, в какой мере Магеллан, клятвенным обещанием связанный с Фалейру, раскрыл перед этой комиссией свои планы, и, вероятно, лишь ради грубой аналогии с Колумбом современники выдумали, что комиссия резко отклонила и даже высмеяла его предложение. Достоверно известно только то, что Casa de la Contratacion не захотела или не могла на собственный страх и риск отпустить средства на предприятие неизвестного чужестранца. Профессионалы обычно с недоверием относятся ко всему из ряда вон выходящему. Вот почему и на этот раз одно из решающих событий в истории совершилось не при поддержке авторитетных учреждений, а помимо них и вопреки им.

Индийская палата — эта важнейшая инстанция — не оказала Магеллану содействия. Даже первая из бесчисленных дверей, ведущих в аудиенц-зал короля, не раскрылась перед ним. Верно, то был мрачный день для Магеллана. Напрасен приезд сюда, напрасны рекомендации, напрасны представленные им выкладки, напрасны красноречие и горячность, вероятно, проявленные им вопреки внутреннему решению. Все доводы Магеллана не смогли заставить трех членов комиссии, трех профессионалов, с доверием отнестись к его проекту.

Но на войне зачастую, когда полководец уже считает себя побежденным, уже велит трубить отступление, уже готовится очистить поле битвы, вдруг появляется посланец и медоточивыми устами сообщает, что противник отошел, уступив поле брани, и тем самым признал себя побежденным. Тогда — мгновение, одно только мгновение, и чаша весов из темной бездны отчаяния взлетает к вершинам счастья.

Такую минуту впервые пережил Магеллан, неожиданно узнав, что на одного из трех членов комиссии, вместе с другим угрюмо и неодобрительно, как ему казалось, выслушавшего проект, последний произвел огромное впечатление и что Хуан де Аранда, фактор (правитель дел) Casa de la Contratacion, очень хотел бы частным образом подробнее узнать об этом чрезвычайно интересном и, по его мнению, перспективном плане, почему и просит Магеллана связаться с ним.

То, что восхищенному Магеллану кажется милостью провидения, на самом деле имеет весьма земную подоплеку. Хуану де Аранде, как и всем императорам и королям, полководцам и купцам его времени, нет никакого дела (сколь бы трогательно это ни изображалось в наших исторических книгах для юношества) до изучения земного шара, до счастья человечества. Не душевное благородство, не бескорыстное воодушевление делают из Аранды покровителя этого плана: как опытный делец, правитель Casa de la Contratacion просто-напросто почуял в предложении Магеллана выгоду. Чем-то, видимо, импонировал этому бывалому человеку безвестный португальский капитан: то ли ясностью доводов, то ли уверенной, исполненной достоинства осанкой, то ли, наконец, столь ощутимой внутренней убежденностью — так или иначе, но Аранда, быть может, разумом, быть может, одним только инстинктом угадал за величием замысла возможность великих барышей. То, что официально, в качестве королевского чиновника, он отклонил предложение Магеллана как нерентабельное, не помешало Аранде войти с ним в соглашение в качестве частного лица, «от себя», как говорят на деловом жаргоне, взяться за финансирование его предприятия или, по крайней мере, заработать комиссионные на устройстве этого финансирования. Особо честным или корректным подобный образ действий — в качестве королевского чиновника отклонить проект, а в качестве частного лица из-под полы содействовать его осуществлению — вряд ли можно назвать, и, правда, Casa de la Contratacion впоследствии привлекла Хуана де Аранду к суду за финансовое участие в этом предприятии.

Магеллан, однако, поступил бы весьма глупо, если бы вздумал считаться с соображениями морального порядка. Сейчас ему нужно продвигать задуманное дело всеми средствами, без разбора — и в этом своем критическом положении он, вероятно, доверил Хуану де Аранде из своей и Руй Фалейру тайны больше, чем ему позволяло их взаимное клятвенное обязательство. К великой радости Магеллана, Аранда полностью одобряет его план. Разумеется, прежде чем поддержать свои-

ми деньгами и влиянием это рискованное предприятие незнакомого ему человека, он делает то, что любой опытный коммерсант и в наши дни сделал бы на его месте: наводит в Португалии справки, насколько Магеллан и Фалейру заслуживают доверия.

Лицо, которому он посылает секретный запрос, не кто иной, как Христофор де Аро, в свое время финансировавший первые экспедиции на юг Бразилии и располагающий обширнейшими сведениями о всякого рода предприятиях и людях. Его отзыв — опять-таки счастливая случайность — оказывается весьма благоприятным: Магеллан — испытанный, сведущий моряк, Фалейру — выдающийся космограф. Таким образом, устранен последний камень преткновения. С этой минуты правитель Индийской палаты, чье мнение в вопросах мореплавания считается при дворе решающим, берется за устройство дел Магеллана, а тем самым и своих собственных. В первоначальное товарищество — Магеллан и Фалейру — входит третий участник; в эту триаду Магеллан в качестве основного капитала вкладывает свой практический опыт, Фалейру — теоретические познания, а Хуан де Аранда — свои связи.

С той минуты, как замысел Магеллана стал собственным делом Аранды, тот уже не упускает ни единой возможности. Без промедления пишет он пространное письмо кастильскому канцлеру, в котором излагает важность этого предприятия, и рекомендует Магеллана как человека, «способного оказать вашей светлости великие услуги». Далее он сносится с отдельными членами королевского совета и устраивает Магеллану аудиенцию. Более того, ретивый посредник не только изъявляет готовность лично сопровождать Магеллана в Вальядолид, но ссужает его деньгами на расходы на поездку и пребывание там.

В мгновение ока ветер переменился. Действительность превзошла самые смелые надежды Магеллана. За один месяц он в Испании добился большего, чем у себя на родине за десять лет самоотверженной службы. И теперь, когда двери королев-

ского дворца перед ним уже открылись, он пишет Фалейру, чтобы тот, недолго думая, спешил в Севилью: все идет как нельзя лучше.

С восторгом, казалось бы, должен приветствовать славный астролог беспримерный успех товарища, с благодарностью заключить его в объятия. Но в жизни Магеллана — в будущем это ритмическое чередование останется неизменным — не бывает погожего дня без грозы. Уже то, что вследствие успешной инициативы Магеллана он, Фалейру, оказывается отнесенным на второй план, видимо, озлобляет этого тяжелодума, желчного, впечатлительного человека. Негодование весьма мало сведущего в житейских делах звездочета достигает предела, когда он узнает, что Аранда берется ввести Магеллана во дворец не из одного человеколюбия, но выговорив себе участие в ожидаемых прибылях.

Происходят бурные сцены: Фалейру обвиняет Магеллана в том, что тот нарушил данное им слово и помимо его, Фалейру, согласия выдал тайну третьему лицу. В порыве истерической злобы он отказывается предпринять вместе с Арандой поездку в Вальядолид, хотя последний и берет на себя все расходы.

Из-за нелепого упорства Фалейру предприятию грозит серьезная опасность, как вдруг Аранда получает радостную весть из Вальядолида: король согласен дать аудиенцию. Начинаются ожесточенные торги и переговоры из-за комиссионного вознаграждения, и только в последнюю минуту, у самых ворот Вальядолида, три партнера приходят наконец к соглашению. Шкуру медведя честно делят еще до начала охоты. Аранде за его посредничество предоставляется восьмая часть будущих прибылей (из которых Аранда, так же как Магеллан и Фалейру, никогда ни гроша не увидит), и это отнюдь не слишком высокая плата за услуги умного, энергичного человека. Он знает, как обстоят дела, и умеет за них приняться. Прежде, чем короля, еще неопытного в пользовании своей огромной властью, нужно привлечь на свою сторону королевский совет.

А дела в совете поначалу складываются скверно для проекта Магеллана. Трое из четырех его членов — кардинал Адриан

Утрехтский, друг Эразма и будущий папа, королевский воспитатель престарелый Гийом де Круа и канцлер Соваж — нидерландцы; их взоры устремлены прежде всего на Германию, где испанскому королю Карлосу в ближайшем будущем предстоит получить императорскую корону, благодаря чему Габсбурги сделаются властителями всего мира. Эти феодальные аристократы и книголюбы-гуманисты мало заинтересованы в проекте заморских поисков, возможные выгоды которого пошли бы на пользу одной Испании. А единственным испанцем в королевском совете и в то же время единственным из его членов, в качестве попечителя Casa de la Contratacion, безусловно, сведущим в вопросах мореплавания, по роковому стечению обстоятельств оказывается не кто иной, как прославленный или, вернее, пресловутый, кардинал Фонсека, епископ Бургосский.

Право же, Магеллан должен был порядком испугаться, когда Аранда впервые назвал ему это имя, ибо всякий моряк знал, что у Колумба в продолжение всей его жизни не было врага более заклятого, чем этот практичный и меркантильный кардинал, с глубоким недоверием противоборствующий каждому фантастическому плану. Но Магеллану нечего терять — он может только выиграть. С исполненным решимости сердцем и высоко поднятой головой является он на заседание королевского совета отстаивать свой замысел и добиваться того, в чем он видит свое предназначение.

О том, что произошло на знаменательном заседании совета, у нас имеются разноречивые и в силу своей разноречивости ненадежные сведения. Несомненно только одно: в осанке этого мускулистого загорелого человека и в его речах было нечто, с первой же минуты производившее впечатление. Королевским советникам тотчас становится ясно: этот португальский капитан — не из числа пустомель и фантазеров, со времени успеха Колумба во множестве обивающих пороги дворца. Это человек действительно глубже других проник на восток, и, когда он рассказывает об «островах пряностей», о их геогра-

фическом положении, их климатических условиях и несметных богатствах, его сведения благодаря знакомству с Вартемой и дружбе с Серрано оказываются достоверней, чем данные всех испанских архивов.

Но Магеллан еще не пустил в ход главных козырей. Кивком головы подзывает он своего раба Энрике, вывезенного с Малакки. С нескрываемым изумлением смотрят королевские советники на тонкокостного стройного малайца: человека этой расы они доселе не видели. Рассказывают, что Магеллан привел с собой еще и рабыню, уроженку острова Суматры, — она говорит и щебечет на непонятном языке так, что кажется, будто в королевский аудиенц-зал залетел многоцветный колибри. Под конец в качества наиболее веского довода Магеллан зачитывает письмо своего друга Франсишку Серрано, ныне великого визиря Тернате, в котором тот пишет: «Здесь новый мир, обширнее и богаче того, что был открыт Васко да Гамой».

Только теперь, пробудив интерес высоких господ, Магеллан переходит к своим выводам и требованиям. Как он уже говорил, «острова пряностей», богатства которых не поддаются исчислению, расположены так далеко на восток от Индии, что пытаться достичь их с востока, как это делают португальцы, сперва огибая Африку, затем весь Индийский залив, а потом еще и Зондское море, — значит делать ненужный крюк. Гораздо вернее плыть с запада, к тому же этот путь предуказан испанцам и его святейшеством папой. Правда, поперек него, словно исполинское бревно, лежит вновь открытый континент — Америка, который будто бы, как ошибочно считают, нельзя обогнуть с юга. Но у него, Магеллана, имеются точные сведения, что там расположен проход — *passo, estrecho*, и он обязуется эту открытую ему и Руй Фалейру тайну использовать в интересах испанского правительства, если оно предоставит ему флотилию. Только двигаясь по этому предложенному им пути, Испания сможет опередить португальцев, уже нетерпеливо протягивающих руки к этой сокровищнице мира, и тогда — низкий поклон в сторону тщедушного, бледного юноши с выпя-

ченной «габсбургской» губой — его величество король, уже теперь один из могущественнейших монархов своего времени, станет еще и богатейшим властителем на земле.

Но, быть может, вставляет Магеллан, его величеству покажется непозволительным отправить экспедицию на Молуккские острова и тем самым вторгнуться в сферу, которую его святейшество папа при разделе земного шара отвел португальцам? Эти опасения напрасны. Благодаря своему точному знанию местонахождения островов, а также и математическим расчетам Руй Фалейру он, Магеллан, может наглядно доказать, что «острова пряностей» расположены в зоне, которую его святейшество папа предоставил Испании; поэтому неразумно, если Испания, невзирая на свое преимущественное право, будет медлить, дожидаясь, покуда португальцы утвердятся в этой области испанских королевских владений.

Магеллан умолкает. Теперь, когда доклад из практического становится теоретическим, когда нужно посредством карт и меридианов доказать, что *Islas de la espedesia* являются владениями испанской короны, Магеллан отходит в сторону и предоставляет своему партнеру Руй Фалейру космографическое аргументирование. Руй Фалейру приносит большой глобус; из его доказательств явствует, что «острова пряностей» расположены в другом полушарии, по ту сторону папской линии раздела, и, следовательно, в сфере владычества Испании; и тут же Фалейру пальцем вычерчивает путь, предлагаемый им и Магелланом.

Правда, впоследствии все сделанные Фалейру вычисления долгот и широт окажутся фантастическими: этот кабинетный географ не имеет и приблизительного представления о ширине еще не открытого и не пересеченного кораблями Тихого океана. Двадцать лет спустя установят к тому же, что все его выводы неверны и «острова пряностей» все-таки расположены в сфере владычества Португалии, а не Испании. Все, что, оживленно жестикулируя, рассказывает взволнованный астроном, окажется совершенно ошибочным. Но ведь люди всех званий охотно верят тому, что сулит им выгоду. А так как

высокоученый космограф утверждает, что «острова пряностей» принадлежат Испании, то советникам испанского короля отнюдь не пристало опровергать его приятные выводы. Правда, когда потом некоторые из них, из любопытства, пожелают увидеть на глобусе место, где расположен вожделенный проход через Америку, будущий Магелланов пролив, то окажется, что он нигде не обозначен, и Фалейру заявит, что умышленно не отметил его, дабы великая тайна до последней минуты не была разгадана.

Император и его советники выслушали доклад, может быть, равнодушно, а может быть, уже с интересом. Но тут произошло самое неожиданное. Не гуманисты, не ученые воодушевляются этим проектом кругосветного плавания, которое должно будет окончательно определить размеры Земли и доказать негодность всех существующих атласов, но именно скептик Фонсека, епископ Бургосский, столь страшный для всех мореплавателей, высказывается за Магеллана. Возможно, что в душе он сознает свою вину перед мировой историей — преследование Колумба — и не хочет вторично прослыть врагом любой смелой мысли; возможно, что его убедили долгие частные беседы, которыми он удостоил Магеллана; во всяком случае, благодаря его выступлению вопрос решается положительно. В принципе проект одобрен, и Магеллан, как и Фалейру, получает официальное предложение в письменной форме представить совету его королевского величества свои требования и пожелания.

Этой аудиенцией, в сущности, все уже достигнуто. Но «имущему да воздастся», и кто однажды приманил к себе счастье, за тем оно следует по пятам. Эти несколько недель принесли Магеллану больше, нежели долгие предшествующие годы. Он нашел жену, которая его любит, друзей, которые его поддерживают, покровителей, сделавших его замысел как бы своим собственным, короля, который ему доверяет; теперь в разгар игры к нему приходит еще один решающий козырь.

В Севилью неожиданно является знаменитый судовладелец Христофор де Аро (богатый фламандский коммерсант,

работающий в постоянном контакте с крупным интернациональным капиталом того времени — с Вельзерами, Фуггерами, венецианцами), за свой счет снарядивший уже немало экспедиций. До той поры главная контора Аро находилась в Лиссабоне. Но король Мануэл сумел и его озлобить своей скаредностью и неблагодарностью, поэтому все, что может досадить королю Мануэлу, ему как нельзя более на руку. Де Аро знает Магеллана, доверяет ему; вдобавок он считает, что и с коммерческой точки зрения предприятие сулит немалую прибыль, и поэтому обязуется в случае, если испанский двор и Casa de la Contratacion откажутся сами вложить необходимые деньги, снарядить в компании с другими коммерсантами нужную Магеллану флотилию.

Благодаря этому неожиданному предложению шансы Магеллана удваиваются. Стучась в дверь Casa de la Contratacion, он был просителем, ходатайствующим о предоставлении ему флотилии, и даже после аудиенции там еще пытаются оспаривать его претензии, настаивать на снижении требований. Но теперь, с обязательством де Аро в кармане, он может выступать как капиталист, как человек, диктующий свои условия. Если двор не желает рисковать, на его планах это не отразится, — вправе гордо заявить Магеллан, ибо в деньгах он больше не нуждается и ходатайствует только о чести плыть под испанским флагом, за что и готов великодушно отчислить в пользу испанской короны пятую часть прибылей.

Это новое предложение, избавляющее испанский двор от всякого риска, настолько выгодно, что королевский совет весьма парадоксально, или, вернее, руководствуясь довольно здравыми соображениями, его отклоняет. Ведь если, прикидывает совет, столь прожженный делец, как Христофор де Аро, намерен вложить в это предприятие деньги, значит, оно чрезвычайно доходно. Не лучше ли поэтому финансировать его из королевской казны и таким образом обеспечить себе наибольшую прибыль, а вдобавок и славу.

После недолгого торга все требования Магеллана и Руй Фалейру удовлетворяются, и дело с быстротой, отнюдь не

свойственной работе испанских государственных канцелярий, проходит все инстанции. 22 марта 1518 года Карл V от имени своей (безумной) матери Хуаны подписывает, а затем и скрепляет собственноручной пышной подписью «Yo el Rey»* «Капитуляцию» — двусторонний договор с Магелланом и Руй Фалейру. «Ввиду того, — так начинается этот многословный документ, — что вы, Фернандо де Магелланес, рыцарь, уроженец Португальского королевства, и бакалавр Руй Фалейру, подданный того же королевства, намерены сослужить нам великую службу в пределах, в коих находится предоставленная нам часть океана, повелеваем мы, чтобы с этой целью с вами было заключено нижеследующее соглашение».

Далее идет ряд пунктов; согласно первому из них Магеллану и Фалейру предоставляется исключительное и преимущественное право открывать земли в этих неисследованных морях. «Вам, — дословно говорится витиеватым языком королевской канцелярии, — надлежит действовать успешно, дабы открыть ту часть океана, коя заключена в отведенных нам пределах, а так как было бы несправедливо, ежели бы, в то время как вы туда направляетесь, другие бы вам причиняли убытки, тем же самым делом занимаясь, тогда как вы взяли на себя бремя этого предприятия, — я, по милости и воле своей, повелеваю и обещаю, что на первые десять предстоящих лет мы никому не будем давать разрешения плыть по тому же пути с намерением совершать те открытия, кои вами были задуманы. А ежели кто-либо пожелает таковые плавания предпринять и станет на то наше соизволение испрашивать, то мы, прежде чем таковое соизволение даровать, намерены о том вас известить, дабы вы в продолжение того же времени, с тем же снаряжением и столькими же кораблями, как те другие, подобное открытие замыслившие, сами могли бы такое совершить».

В следующих, касающихся денежных вопросов параграфах Магеллану и Фалейру «во внимание к доброй их воле и

*Я, король... (исп.).

оказанным ими услугам» обещается двадцатая часть всех доходов, какие будут извлечены из вновь открытых ими земель, а также, если им удастся найти более шести новых островов, право владения двумя из них. Кроме того, как и в договоре, заключенном с Колумбом, им обоим, а также их сыновьям и наследникам жалуются титул *adelantado* — наместника всех этих земель и островов.

То, что экспедицию для наблюдения над денежными расчетами будут сопровождать королевский контролер, *veedor*, казначей, *tesorero*, и счетовод, *contador*, отнюдь не ограничивает свободы действий обоих капитанов. Далее, король обязуется снарядить пять судов условленного тоннажа и на два года обеспечить их командой, продовольствием и артиллерией; этот документ всемирно-исторического значения заканчивается торжественными словами: «И касательно всего этого я обещаю и ручаюсь своей честью и королевским своим словом, что мною приказано будет все и каждую статью соблюдать в точности, как они здесь изложены, и с этой целью я повелел, чтобы означенная капитуляция была составлена и моим именем подписана».

Но это еще не все. Издается еще особое постановление, предписывающее всем правительственным учреждениям и чиновникам Испании, от высших до низших, отныне и впредь, *en todo y por todo, para ahora é para siempre*, ознакомиться с этим договором, дабы оказывать Магеллану и Фалейру содействие во всех делах вообще и в каждом деле в частности, причем приказ об этом надлежит сообщить «...al ilustrísimo Infante de Fernando, y à los Infantes, Prelados, Duques, Condes Margueses, Ricohomes, Maestres de las Ordenes, Comendadores y Subcomendadores... Alcaldes, Alguaciles de la nuestra Casa y Corte y Chancillerias, y a todos los Concejos, y Gobernadores, Corregidores y Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, Meriones, Prebostes, Regidores y otras cualesquier justicias y oficiales de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros Reinos y Señoríos», то есть «...светлейшему инфанту дону Фернандо и

инфантам, прелатам, герцогам, графам, маркизам, вельможам, магистрам орденов, командорам и вице-командорам, алькайдам, альгвасилам нашего света и двора и канцелярий и всем советникам, губернаторам, коррехидорам и заседателям, алькайдам, альгвасилам, старшинам, начальникам стражи, рехидорам и прочим лицам, состоящим в судебных и гражданских должностях во всех городах, селениях и местностях наших королевств и владений», то есть всем сословиям, и учреждениям, и отдельным лицам, от наследника престола и до последнего солдата, это постановление черным по белому возвещает, что с данной минуты, в сущности, все испанское государство поставлено на службу двум неизвестным португальским эмигрантам.

На большее Магеллан даже в самых смелых своих мечтах не мог надеяться. Но происходит нечто еще более чудесное и знаменательное. Карл V, в юношеские свои годы обычно медлительный и сдержанный, выказывает себя наиболее рьяным и пылким поборником этого плавания новых аргонавтов. По-видимому, в исполненном достоинства поведении Магеллана или в смелости самого предприятия было что-то необычайно разжегшее юного монарха, ибо он больше всех торопит снаряжение и отправку экспедиции. Еженедельно запрашивает он о ходе работ, и, где бы ни обнаружилось противодействие, Магеллану стоит только обратиться к нему, и королевская грамота тотчас сокрушает любое препятствие; едва ли не единственный раз за все свое долгое царствование этот обычно нерешительный и поддающийся чужому влиянию монарх с неизменной преданностью служил великой идее.

Иметь своим помощником такого монарха, располагать силами целой страны — этот баснословный взлет должен казаться Магеллану чудом. За одну ночь он, безродный нищий, отверженный и презираемый, сделался адмиралом, кавалером ордена Сант-Яго, наместником всех островов и зе-

мель, которые будут им открыты, господином над жизнью и смертью, повелителем целой армады, и прежде всего, наконец и впервые, — господином своих поступков.

ВОЛЯ ОДНОГО ПРОТИВ ТЫСЯЧИ ПРЕПЯТСТВИЙ

22 марта 1518 г. — 10 августа 1519 г.

Когда речь идет о великих достижениях, то, упрощая наблюдение, мир охотнее всего останавливается на драматических, ярких моментах из жизни своих героев: Цезарь, переходящий Рубикон, Наполеон на Аркольском мосту. Но зато в тени остаются не менее значительные творческие годы подготовки вошедшего в историю подвига, духовное, долготерпеливое, постепенное созидание. Так и в случае с Магелланом для художника, поэта соблазнительно, конечно, изобразить его в момент триумфа плывущим по открытому им водному пути. На деле же его необычайная энергия всего разительнее проявилась в то время, когда еще нужно было добиваться флотилии, создавать ее и вопреки тысяче противодействий ее снаряжать.

Бывший *sobresaliente*, неизвестный солдат, оказывается поставленным перед геркулесовой задачей, ибо этому человеку, еще неопытному в вопросах организации, предстоит выполнить нечто совершенно новое и беспрецедентное — снарядить флотилию из пяти судов в еще небывалое плавание, для которого непригодны все прежние представления и масштабы. Никто не может помочь Магеллану советом в его начинаниях, ибо никому не ведомы эти не искоженные еще земли, не изобретенные моря, в которые он решается проникнуть первым. Никто не может хотя бы приблизительно сказать ему, сколько времени продлится странствие вокруг еще не измеренного земного шара, в какие страны, в какие климатические пояса, к каким народам приведет его этот неведомый путь.

Итак, с учетом всех мыслимых возможностей — полярной

стужи и тропического зноя, ураганов и штилей, войны и торговли — на год, а может быть, на два, на три года должна быть снаряжена флотилия; и все эти с трудом поддающиеся учету нужды должен установить он один, во что бы то ни стало добиться их удовлетворения, преодолевая самые неожиданные противодействия. И лишь теперь, когда этому человеку, прежде только вырабатывавшему свой план, открываются все трудности его выполнения, для всех становится очевидным внутреннее величие того, кто столь долго оставался в тени.

Тогда как его соперник по мировой славе, Колумб, этот «Дон Кихот морей», наивный, неопытный в житейских делах фантазер, предоставил все практические хлопоты по снаряжению экспедиции Пинсону и другим кормчим, Магеллан сам занимается всем; он — подобно Наполеону — настолько же смел в создании общего плана, насколько точен и педантичен в продумывании, в расчете каждой детали. И в нем гениальная фантазия сочетается с гениальной точностью; как Наполеону за много недель до его молниеносного перехода через Альпы приходилось заранее высчитывать, сколько фунтов пороху, сколько мешков овса должно быть заготовлено на такой-то день, на таком-то этапе наступления, — так и этот завоеватель вселенной, снаряжая флотилию, должен на два-три года вперед предусмотреть все необходимое и по возможности предотвратить все лишения.

Исполинская задача для одного человека — в подготовке такого сложного, необозримо огромного начинания преодолеть все бесчисленные препятствия, неизбежно возникающие при воплощении идеи в жизнь. Месяцы борьбы потребовались на одно только раздобывание кораблей. Правда, император дал слово принять все необходимые меры и приказал всем правительственным учреждениям оказывать Магеллану безусловное содействие. Но между приказом, даже императорским, и его выполнением остается немалый простор для всевозможных проволочек и задержек; чтобы подлинно творческое начинание было завершено, его должен осуществлять сам творец.

И действительно, подготавливая подвиг своей жизни, Магеллан не поручал другим ничего, даже самой ничтожной мелочи. Неустанно ведя переговоры с Индийской палатой, с правительственными учреждениями, с купцами, поставщиками, ремесленниками, он в сознании ответственности перед теми, кто вверит ему свою жизнь, вникает в каждую мелочь. Он сам принимает все товары, проверяет каждый счет, лично обследует все поступающее на борт — каждый канат, каждую доску, оружие и продовольствие; от верхушки мачт до киля он каждое из пяти судов знает так же хорошо, как любой ноготь на собственной руке.

И так же как некогда люди, восстанавливавшие стены Иерусалима, работали с лопатой в одной и с мечом в другой руке, так и Магеллан, готовя свои суда к отплытию в неведомое, одновременно должен обороняться от злопыхательства и вражды тех, кто любой ценой стремится задержать экспедицию. Героическая борьба на три фронта: с внешними врагами, с врагами в самой Испании и с сопротивлением, которое косная земная материя неизменно оказывает любому начинанию, возвышающемуся над обычным уровнем. Но ведь только сумма преодоленных препятствий служит истинно правильным мерилom подвига и человека, его совершившего.

Первая атака против Магеллана исходит от Португалии. Разумеется, король Мануэл тотчас же узнал о заключении договора. Худшей вести ему не могли сообщить. Монополия торговли пряностями доставляет королевской казне двести тысяч дукатов в год, к тому же его флоту теперь удалось пробраться к подлинно золотоносной жиле — к Молуккским островам. Какое страшное бедствие, если испанцы в последнюю минуту с востока подойдут к этим островам и займут их! Опасность, грозящая королевской казне, слишком велика, чтобы король Мануэл не попытался любыми средствами воспрепятствовать роковой экспедиции. Поэтому он официально поручает своему послу при испанском дворе Алвару да Кошта задушить зловредный замысел еще до его осуществления.

Алвару да Кошта энергично берется за дело с обоих концов сразу. Прежде всего он отправляется к Магеллану, пытаясь то кнутом, то пряником одновременно и соблазнить и запугать его. Неужели, дескать, Магеллан не сознает, какой грех он принимает на себя перед Богом и своим королем, служа чужому монарху? Неужели ему не известно, что законный его государь, дон Мануэл, намерен жениться на сестре Карла V Элеоноре и что, если королю Мануэлу именно теперь будет причинен ущерб, этот брак расстроится? Не поступит ли Магеллан разумнее, честнее, добропорядочнее, снова отдав себя в распоряжение законного своего государя, который, разумеется, в Лиссабоне щедро наградит его? Но Магеллан хорошо знает, как мало расположен к нему его законный государь, и, справедливо полагая, что по возвращении на родину его ожидает не туго набитый мешок золота, а меткий удар кинжала, с учтивым сожалением заявляет: теперь уже поздно; он дал слово испанскому королю — и должен его сдержать.

Маленького человека Магеллана, ничтожную, но все же опасную пешку в разыгрываемой дипломатами шахматной партии, снять не удалось. Тогда Алвару да Кошта решается на дерзкий «шах королю». Об упорстве, с которым он докучал юному монарху, свидетельствует его собственноручное письмо к королю Мануэлу: «Что касается дела Фернана Магеллана, то одному Богу известно, сколько я хлопотал и какие прилагал старания. Я весьма решительно говорил об этом деле с королем... указывал ему, сколь это неблагоприятный и предосудительный поступок, когда один король вопреки ясно выраженной воле другого дружественного короля принимает на службу его подданных. Просил я его также уразуметь, что не время сейчас уязвлять ваше величество, к тому же делом столь незначительным и ненадежным. Ведь у него достаточно собственных подданных и людей, дабы во всякое время возможно было делать открытия, не прибегая к услугам тех, кто недоволен вашим величеством. Представлял ему, как сильно ваше величество оскорбится, узнав, что эти люди просили дозволения вернуться на родину и не получили такового от испанского

правительства. Наконец, я попросил ради его собственного и вашего величества блага выбрать одно из двух: либо позволить этим людям вернуться на родину, либо на год отложить их экспедицию».

Восемнадцатилетний монарх, лишь недавно взошедший на престол, еще не очень опытен в дипломатических делах. Поэтому он не может полностью скрыть своего изумления перед наглой ложью Алвару, будто Магеллан и Фалейру жаждут вернуться на родину и только испанское правительство чинит им в этом препятствие. «Он был настолько ошеломлен, — сообщает да Кошта, — что меня самого это поразило».

Во втором предложении португальского посланника — на один год отложить экспедицию — он тоже сразу угадывает подвох. Ведь именно этот один год и нужен Португалии, чтобы на своих кораблях опередить испанцев. Холодно отклоняет молодой король предложения да Кошта: пусть лучше посол переговорит с кардиналом Адрианом Утрехтским. Кардинал, в свою очередь, отсылает посла к королевскому совету, совет — к епископу Бургосскому.

Путем таких проволочек, сопровождаемый неизменными заверениями, что король Карл V и в помыслах не имеет причинять хотя бы малейшие затруднения своему «*myo saço é myo amado tio é hegman*»* королю Мануэлу, дипломатический протест Португалии потихоньку кладется под сукно. Алвару да Кошта ничего не добился, более того: ретивое вмешательство Португалии неожиданно пошло на пользу Магеллану. Станным образом в судьбе вчера еще неизвестного идальго скрещиваются капризы двух великих властителей мира. Лишь в ту минуту, когда король Карл доверил Магеллану флотилию, бывший незначительный офицер португальской службы становится важной персоной в глазах короля Мануэла. И опять же — с минуты, когда король Мануэл любой ценой пожелает вернуть себе Магеллана, король Карл уже ни за что его не уступит. И теперь чем больше Испания будет стараться уско-

* Дражайший и возлюбленный дядя и брат (*исп.*).

рять отплытие, тем ожесточеннее будет мешать ему Португалия.

Дальнейшая работа по тайному саботажу экспедиции в основном поручается Лиссабоном Себастьяну Алваришу, португальскому консулу в Севилье. Этот чиновный шпион постоянно шныряет вокруг кораблей флотилии, записывает и подсчитывает все принимаемые на борт грузы; кроме того, он завязывает весьма дружеские отношения с испанскими капитанами и при случае с притворным негодованием спрашивает, правда ли, что кастильские дворяне вынуждены будут беспрекословно повиноваться двум безродным португальским искателям приключений?

А ведь национализм, как мы знаем по опыту, — струна, звучащая даже под самой неискусной рукой; вскоре уже все севильские моряки бранятся и негодуют. Как? Этим перебежчикам, не совершившим ни одного плавания под испанским флагом, за пустое бахвальство доверили флотилию, произвели их в адмиралы и кавалеры ордена Сант-Яго? Но Алваришу мало глухого перешептывания и ропота за капитанскими пирушками и в тавернах. Он стремится к настоящему восстанию, которое могло бы стоить Магеллану адмиральской должности, а может быть — тем лучше! — и жизни. И такого рода возмущение искусный провокатор инсценирует, надо отдать ему справедливость, с подлинным мастерством.

В любой гавани слоняется бесчисленное множество тунеядцев, не знающих, как убить время. И вот в солнечный октябрьский день — ведь нет ничего приятнее для лодыря, как смотреть на работу других, — толпа праздношатающихся собралась у «Тринидад», флагманского судна Магеллана, только что пришвартованного к набережной для конопачения и килевания. Заложив руки в карманы, а быть может, и неспешно перетирая зубами новое вест-индское зелье — табак, следят севильцы за тем, как корабельные мастера смолой и паклей тщательно законопачивают все щели. Вдруг кто-то из толпы указывает на грот-мачту «Тринидад» и возмущенно кричит: «Что за наглость! У этого безродного бродяги Магеллана хва-

тает бесстыдства здесь, в Севилье, в гавани королевского испанского флота, на испанском судне поднять португальский флаг! Разве может андалузец стерпеть такую обиду?»

В первую минуту зеваки, к которым обращена эта пылкая речь, не замечают, что ярый патриот, так страстно негодующий на обиду, нанесенную национальной чести, вовсе не испанец, что это португальский консул Себастьян Алвариш играет роль полицейского провокатора. На всякий случай они усердно вторят его выкрикам. Заслышав шум и гам, со всех сторон сбегаются другие зеваки. А затем уже достаточно кому-то предложить без долгих разговоров попросту сорвать иностранный флаг, и вся орава устремляется на корабль.

Магеллан, с трех часов утра наблюдающий за работой корабельных мастеров, поспешно разъясняет прибежавшему вместе с толпой алькайду, что здесь произошло недоразумение. Только по чистой случайности на грот-мачте не развевется испанский флаг: как раз сегодня его сняли, чтобы подновить. А тот, другой флаг, — отнюдь не португальский, а его собственный, адмиральский, который он обязан поднимать на флагманском судне. Учтиво разъяснив алькайду суть происшедшего недоразумения, Магеллан просит его убрать с борта всех этих бесчинствующих буянов.

Но разъярить толпу людей или даже целый народ всегда легче, чем уговорить. Толпа требует потехи, и алькайд становится на ее сторону. Прежде всего — долой иностранный флаг, не то они сами распорядятся! Тщетно старается доктор Матьенсо, высшее должностное лицо Индийской палаты, водворить мир на борту. Алькайд тем временем раздобыл патриотическое подкрепление — коменданта гавани с внушительным отрядом полицейских. Комендант обвиняет Магеллана в оскорблении испанской короны и приказывает альгвасилам арестовать капитана, осмелившегося в испанской гавани поднять флаг португальского короля.

Теперь Матьенсо принимает энергичные меры. Он предупреждает коменданта: для королевского чиновника довольно-таки рискованное предприятие арестовать капитана, которого

сам король облек высокими полномочиями, скрепив их печатью и собственноручным письмом. Разумнее будет ему не ввязываться в это дело. Но слишком поздно! Между экипажем Магеллана и портовым сбродом уже произошло столкновение. Мечи выхвачены из ножен, и только присутствие духа и невозмутимое спокойствие Магеллана предотвращают кровавое побоище, столь искусно подстроенное провокатором, удовлетворенно посматривающим на дело своих рук.

Ладно, заявляет Магеллан. Он готов спустить флаг и даже очистить судно; пусть чернь обходится с королевским достоинством, как ей заблагорассудится, — ответственность за возможные убытки, конечно, падет на портовых чиновников. Теперь разгорячившемуся алькайду становится не по себе: оскорбленные в своей национальной чести молодцы расходятся с глухим ворчанием, чтобы уже через несколько дней отвешать кнута, ибо Магеллан немедленно написал Карлу V, заявляя, что в его, Магеллана, лице нанесено оскорбление королевской власти, и Карл V, ни минуты не колеблясь, становится на сторону своего адмирала: портовые чиновники наказаны. Алвариш возликовал слишком рано, и работа беспрепятственно продолжается.

Железным спокойствием Магеллана посрамлена коварная вылазка. Но в таком сложном предприятии едва успеешь закончить одну прореху, как уже обнаруживается другая. Каждый день приносит новые неприятности. Сначала Casa de la Contratacion оказывает пассивное сопротивление, и лишь после того как над самым ухом чиновников взрывается собственноручно подписанный императором указ, они перестают прикидываться глухими. Но затем, в самый разгар сборов, казначей вдруг заявляет, что касса Casa de la Contratacion пуста, и снова начинает казаться, что отсутствие денег до бесконечности затянет дело. Однако непреклонная воля Магеллана преодолевает и это препятствие: он уговаривает двор принять в долю ряд состоятельных горожан. Из восьми миллионов мара-

ведисов — сумма, в которую должно обойтись снаряжение армады, — два миллиона немедленно доставляет консорциум, наспех организованный Христофором де Аро; в награду за эту услугу он получает право на тех же основаниях участвовать и в последующих экспедициях.

Только теперь, когда денежные дела улажены, можно по-настоящему приняться за подготовку кораблей к плаванию и за снабжение их всем необходимым. Не очень-то царственный вид имели эти согласно договору поставленные его величеством пять галионов, когда они впервые появились в Севильском порту. «Корабли, — злорадно доносил в Португалию шпион Алвариш, — ветхи и все в заплатах. Я бы не решился плыть на них даже до Канарских островов, ибо борта у них мягкие, как масло». Но Магеллану, испытанному в дальних плаваниях моряку, хорошо известно, что в пути старая кляча зачастую надежнее молодого коня и что добросовестный ремонт может даже самые поношенные суда снова сделать годными; не теряя времени, покуда корабельные мастера день и ночь по его указаниям чинят и подправляют старые посудины, он приступает к набору опытных моряков для команды.

Но новые трудности уже притаились в тиши! Хотя глашатаи с барабанным боем уже прошли по улицам Севильи, хотя вербовщики добрались до Кадиса и Палоса, — необходимых двухсот пятидесяти человек все же не удастся собрать; видно, распространился слух, что с этой экспедицией не все обстоит благополучно: вербовщики не в состоянии ясно и определенно сказать, куда, в сущности, она направляется; то, что суда — небывалый еще случай! — забирают с собой на целых два года продовольствия, тоже внушает морякам немалые опасения. Вот почему оборванцы, которых в конце концов удастся завербовать, мало походят на заправский экипаж; эта разношерстная ватага скорее напоминает воинов Фальстафа, в ней представлены все племена и народы: испанцы и негры, баски и португальцы, немцы, уроженцы Кипра и Корфу, англичане и итальянцы, но все настоящие *desperados*, согласные продать жизнь самому дьяволу и с одинаковой охотой (или неохотой)

готовые плыть на север и на юг, на восток или на запад, были бы деньги да надежда на хорошую поживу.

Не успели сколотить команду, как уже возникает новое осложнение. Casa de la Contratacion возражает против произведенного Магелланом набора; ее чиновники находят, что он завербовал в королевскую испанскую армаду слишком много португальцев, и заявляют, что не станут выплачивать чужакам ни одного мараведиса. Но королевская грамота дает Магеллану неограниченное право вербовать людей по своему усмотрению (...Que la gente de mar que se tomase fuese a su contento como persona que de ella tenia mucha experiencia)*, и он на этом праве настаивает; итак, снова письмо к королю, снова просьба о помощи. Но на сей раз Магеллан задел больное место. Якобы из нежелания оскорбить короля Мануэла, на деле же — из опасения, как бы Магеллан со своими португальцами не почувствовал себя слишком самостоятельным, Карл V разрешает оставить на всю флотилию не свыше пяти португальцев.

А тем временем уже возникают новые затруднения: то в срок не доставляются товары, экономии ради закупленные в других областях и даже в Германии, то вдруг один из капитанов-испанцев отказывается повиноваться адмиралу и в присутствии команды оскорбляет его, — опять приходится обращаться к королю, опять просить королевского бальзама для врачевания ран. Каждый день несет с собой новые дразги, из-за всякой мелочи завязывается нескончаемая переписка с соответствующими ведомствами и с королем. Указ следует за указом; десятки раз кажется, что вся армада потерпит крушение, не успев даже покинуть Севильскую гавань.

И снова неуклонной, настойчивой энергией Магеллан преодолевает все препятствия. Ретивый посол короля Мануэла вынужден с тревогой признать, что все его грязные происки, все его надежды расстроить экспедицию разбились о терпели-

*...Чтобы экипаж был составлен согласно его собственным, как лица, имеющего большой опыт, желаниям (исп.).

вое, неизменно стойкое сопротивление Магеллана. Уже пять кораблей, заново оснащенных, забравших на борт почти весь груз, ожидают приказа выйти в море, уже, кажется, невозможно чем-нибудь повредить Магеллану.

Но в колчане Алвариша еще хранится последняя стрела, к тому же отравленная; туго и коварно натягивает он тетиву, чтобы поразить Магеллана в наиболее уязвимое место. «Полагая, что теперь пришло время, — доносит тайный агент своему доверителю, королю Мануэлу, — высказать то, что Ваше величество мне поручило, я отправился к Магеллану на дом. Я нашел его занятым укладкой продовольствия и других вещей в ящики и кораба. Из этого я заключил, что он окончательно утвердился в своем зловередном замысле, и, памятуя, что это последняя моя с ним беседа, еще раз напомнил ему, сколь часто я, как добрый португалец и его друг, пытался его удержать от той великой ошибки, которую он намерен совершить. Я доказывал, что лежащий перед ним путь таит не меньше страданий, чем колесо святой Екатерины, и что не в пример благоразумнее было бы ему возвратиться на родину, под сень Вашего благословения и милостей, на которые он смело может рассчитывать... Я убеждал его, наконец, уяснить себе, что все знатные кастильцы в этом городе отзываются о нем не иначе как о человеке низкого происхождения и дурного воспитания и что с тех пор, как он противопоставил себя стране Вашего величества, его повсюду презирают как предателя».

Но все эти угрозы не производят ни малейшего впечатления на Магеллана. То, что сейчас под личиной дружбы сообщает Алвариш, для него отнюдь не ново. Никто лучше его самого не знает, что Севилья, Испания враждебно к нему настроены, что кастильские капитаны со скрежетом зубным подчиняются ему как адмиралу. Но пусть ненавидят его господа севильские алькайды, пусть брюзжат завистники и ропщут люди «голубой крови» — теперь, когда корабли готовы к отплытию, никто, никакой император, никакой король уже не остановит его, не помешает ему. Выйдя наконец в открытое

море, он уже будет вне опасности. Там он властелин над жизнью и смертью, властелин своей судьбы, там ему некому служить, кроме своей великой задачи.

Но Алвариш еще не разыграл последнего, заботливо берегаемого козыря. Теперь он его выкладывает. В самый последний раз, с лицемерной ласковостью говорит он, что хочет дать Магеллану «дружеский» совет: он «искренне» призывает его не доверять медоточивым речам кардинала и даже обещаниям испанского короля. Правда, король назначил его и Фалейру адмиралами и тем самым, казалось бы, вручил им неограниченную власть над флотилией. Но уверен ли Магеллан, что другим лицам не даны одновременно тайные инструкции, негласно ограничивающие его полномочия? Пусть он себя не обманывает, а главное — не поддается на обман других. Несмотря на грамоты и печати, его безраздельная власть построена на песке; чиновники, сопровождающие экспедицию — больше он не вправе открыть Магеллану, — снабжены всякого рода секретными инструкциями и постановлениями, «о которых Магеллан узнает, когда будет уже поздно для спасения чести».

«Поздно для спасения чести...» Магеллан невольно вздрагивает. Это движение несокрушимого человека, умеющего железной волей подавлять любое волнение, выдает, что стрела попала в самое уязвимое место, и стрелок с гордостью сообщает: «Он был чрезвычайно изумлен, что мне столь многое известно». Но создатель всегда лучше других знает как скрытый изъян своего творения, так и степень его опасности: то, о чем намеками говорит Алвариш, давно известно Магеллану.

С некоторых пор он замечает известную двойственность в поведении испанского двора, и различные симптомы заставляют его опасаться, что с ним ведут не совсем честную игру. Разве император однажды уже не нарушил договора, запретив взять на борт свыше пяти португальцев? Неужто при дворе его и вправду считают тайным агентом Португалии? А эти навязанные ему люди — все эти *veddores*, *contadores*, *tesoreros** —

*Контролеры, счетоводы, казначеи (исп.).

только ли они чиновники Счетной палаты? Не назначены ли они сюда, чтобы тайно следить за ним и в конце концов вырвать у него из рук командование?

Давно уже ощущает Магеллан на своей спине холодное дыхание ненависти и предательства; доля истины — нельзя не признать этого — заложена в вероломных инсинуациях хорошо осведомленного шпиона, и он, все так точно рассчитавший, оказывается безоружным перед лицом опасности. Подобное чувство испытывает человек, севший за карточный стол в компании незнакомцев и еще прежде, чем взяться за карты, встревоженный подозрением, что это сговорившиеся между собой шулеры.

В эти часы Магеллан переживает столь незабываемо воссозданную Шекспиром трагедию Кориолана, из чувства оскорбленной чести ставшего перебежчиком. Подобно Магеллану, Кориолан — доблестный муж, патриот, долгие годы самоотверженно служивший родине, отвергнутый ею и в ответ на эту несправедливость предоставивший свои еще не исчерпанные силы в распоряжение противника. Но никогда, ни в Риме, ни в Севилье, перебежчика не спасают чистые побуждения. Словно тень, сопутствует ему подозрение: кто покинул одно знамя — может изменить и другому, кто отрекся от одного короля — способен предать и другого. Перебежчик гибнет, и победив и потерпев поражение; одинаково ненавистный победителям и побежденным, он всегда один против всех. Но трагедия неизменно начинается лишь тогда, когда ее герой постигает трагизм своего положения. Быть может, в эту секунду Магеллан впервые предощутил все грядущие бедствия.

Но быть героем — значит сражаться и против всемогущей судьбы. Магеллан решительно отстраняет искусителя. Нет, он не вступит в соглашение с королем Мануэлом, даже если Испания плохо отблагодарит его за заслуги. Как честный человек, он останется верен и своему слову, и своим обязательствам, и королю Карлу. Раздосадованный Алвариш уходит ни с чем; поняв, что только смерть может сломить волю этого непреклонного

человека, он заканчивает посылаемый в Лиссабон рапорт «благочестивым» пожеланием: «Да будет угодно всевышнему, чтобы их плавание уподобилось плаванию братьев Кортереал», — другими словами: пусть Магеллан и его флотилия так же бесследно исчезнут в неведомых морях, как отважные братья Кортереал, место и причина гибели которых навеки остались тайной. Если это «благочестивое» пожелание сбудется, если Магеллан действительно погибнет в пути, тогда «Вашему величеству не о чем будет больше тревожиться, и Ваша мощь будет по-прежнему внушать зависть всем монархам мира».

Стрела коварного шептуна не сразила Магеллана и не заставила отступить от своей цели. Но яд ее, горький яд сомнения, будет отныне разъедать его душу. С этой минуты Магеллан знает или предполагает, что он и на своих собственных судах ежечасно окружен врагами. Но это тревожное чувство не только не ослабляет воли Магеллана, а, напротив, закаляет ее для нового решения. Кто чует близость бури, тот знает, что одно лишь может спасти корабль и команду: если капитан железной рукой держит руль, а главное — держит его один.

Итак, прочь все, что препятствует его воле! Кулаками, локтями отталкивает он каждого, кто может стать ему поперек дороги. Именно теперь, почувствовав за своей спиной всех этих «контролеров» и «казначеев», Магеллан решает действовать с предельной самостоятельностью и беспощадностью. Он знает, что в решающую минуту только *одна* воля должна решать и руководить: недопустимо, чтобы командование флотилией и впредь было разделено между двумя *capitán-generales* — двумя адмиралами.

Один должен стоять над всеми, а если нужно — и против всех. Поэтому он уже не хочет обременять себя в столь опасном плавании таким взбалмошным равноправным начальником, как Руй Фалейру, — прежде чем суда выйдут из гавани, этот балласт должен быть сброшен за борт. Ведь астроном уже давно стал для Магеллана ненужной обузой. Ничем не помог ему теоретик в эти изнурительные, тяжкие месяцы. Не дело

звездочета вербовать матросов, конопатить суда, заготавливать провизию, испытывать мушкеты и писать уставы; взять его с собой — значит навесить себе камень на шею; а у Магеллана должны быть развязаны руки, чтобы бороться, направо и налево отбиваться от опасностей, встающих перед ним, и от заговоров, составленных за его спиной.

Как удалось Магеллану, проявив здесь в полной мере свое дипломатическое мастерство, отделаться от Фалейру, мы не знаем. Говорят, что Фалейру сам составил свой гороскоп и, установив, что ему не вернуться живым из этого плавания, добровольно от него отступился. Со стороны — уход деликатно спроваженного Фалейру представляется чем-то вроде повышения: императорский указ назначает его единоначальным адмиралом второй флотилии (только на бумаге имеющей борта и паруса), взамен чего Фалейру уступает Магеллану свои карты и астрономические таблицы.

Таким образом, устранена последняя из бесчисленных трудностей, и предприятие Магеллана снова становится тем, чем оно было вначале: его мыслью, его кровным делом. На него одного падут теперь все тяготы и труды, ответственность и опасности, ему же достанется и высшая духовная радость творческой природы: отвечая только перед самим собой, завершить им самим избранное дело своей жизни.

ОТПЛЫТИЕ

20 сентября 1519 г.

Девятого августа 1519 года, через год и пять месяцев после того, как Карл, будущий властелин Старого и Нового Света, подписал договор, все пять судов покидают наконец севильский рейд, чтобы отправиться вниз по течению к Сан-Лукар де Баррамеда, где Гвадалквивир впадает в открытое море; там произойдет последнее испытание флотилии и будут приняты на борт последние запасы продовольствия. Но, в сущности, прощание уже совершилось: в церкви Санта-Мария де ла Виктория Магеллан, в присутствии всего экипажа и благоговейно

созерцавшей это зрелище толпы, преклонил колена и, произнеся присягу, принял из рук коррехидора Санчо Мартинес де Лейва королевский штандарт. Быть может, в эту минуту ему вспомнилось, что и перед первым своим отплытием в Индию он так же преклонил колена в соборе и так же принял присягу. Но флаг, на верность которому он тогда присягал, был другой, португальский, и не за Карла Испанского, а за короля Португалии Мануэла поклялся он тогда пролить свою кровь. И с таким же благоговением, с каким некогда юный *sobresaliente* взирал на адмирала Алмейду, когда тот, развернув стяг, поднял его над головами коленопреклоненной толпы, смотрят сейчас двести шестьдесят пять человек экипажа на Магеллана — вершителя их судеб.

Здесь, в Сан-Лукарской гавани, против дворца герцога Медина-Сидониа, Магеллан проводит последний смотр перед отплытием в неведомую даль.

Он проверяет снова и снова свою флотилию перед выходом так же заботливо и трепетно-любовно, как музыкант настраивает свой инструмент, хотя эти пять кораблей он уже знает так же досконально, как собственное тело. А как он был напуган, когда впервые увидел эти наспех закуленные суда — запущенные, изношенные. Но с тех пор проделана немалая работа, и все эти ветхие галионы приведены в исправность. Прогнившие брусья и балки заменены новыми, от киля и до верхушек мачт везде все просмолено и навощено, проконопачено и вычищено. Каждую балку, каждую доску Магеллан собственноручно простучал, чтобы определить, не подгнило ли дерево, не завелась ли в нем червоточина; каждый канат проверил он, каждый болт, каждый гвоздь. Из добротного холста сделаны свежевыкрашенные паруса, осененные крестом святого Яго, покровителя Испании; новы и прочны якорные цепи и канаты, до блеска начищены металлические части, каждая мелочь заботливо и аккуратно пригнана к месту: никакой шпион, никакой завистник не осмелился бы теперь смеяться над обновленными, помолодевшими кораблями. Правда, быстроходными они не стали, эти толстобрюхие, ок-

руглые парусники, и для гонок вряд ли приспособлены, но изрядная ширина и большая осадка делают их довольно вместительными и надежными; даже при сильном волнении, как раз вследствие своей неповоротливости, они, насколько в этом мире можно что-нибудь предвидеть, смогут выдержать жестокие штормы.

Самый большой из этой корабельной семьи «Сан-Антонио», вместимостью в сто двадцать тонн. Но по какой-то причине, нам не известной, Магеллан предоставляет командование им Хуану де Картахене, а флагманским судном, *Capitana*, избирает «Тринидад», хотя грузоподъемность его на десять тонн меньше. За ним по ранжиру следуют девяностотонная «Концепсьон», капитаном которой назначен Гаспар Кесада, «Виктория» (судно сделает честь своему имени) под началом Луиса де Мендоса, вместимостью в восемьдесят пять тонн, и «Сант-Яго» — семьдесят пять тонн — под командой Жуана Серрано. Магеллан настойчиво стремился составить свою флотилию из разнотонных кораблей: менее крупные из них ввиду их небольшой осадки он предполагает использовать в качестве передовых разведчиков. Но, с другой стороны, немало искусства потребуется от мореплавателей, чтобы в открытом море сомкнутым строем вести столь разнородную флотилию.

Магеллан переходит с корабля на корабль, чтобы прежде всего везде проверить грузы. А ведь сколько раз он уже карабкался вверх и вниз по каждому трапу, сколько раз он вновь и вновь составлял подробнейшую опись всего снаряжения и запасов; благодаря уцелевшим архивным документам мы можем убедиться, с какой заботливостью и тщательностью, с каким учетом мельчайших деталей было продумано и подготовлено одно из самых фантастических начинаний в мировой истории. До последнего мараведиса обозначена в этих объемистых реестрах стоимость каждого молотка, каждого каната, каждого мешочка соли, каждой стопы бумаги; и эти сухие, ровные, выведенные равнодушной рукой писца столбцы цифр, со всеми их графами, пожалуй, красноречивей любых

патетических слов свидетельствуют о подлинно гениальном терпении этого человека.

Магеллан как опытный моряк понимал всю ответственность такой экспедиции в еще никому не ведомые земли. Он знал, что самый ничтожный предмет, забытый по недосмотру или по легкомыслию, забыт уже безвозвратно на все время плавания; в этих особых условиях никакое упущение, никакая ошибка уже не могут быть ни заглажены, ни исправлены, ни искуплены. Любой гвоздь, любая кипа пакли, любой слиток свинца или капля масла, любой листок бумаги в неведомых странах, куда он держит путь, представляют драгоценность, которую не добыть ни деньгами, ни даже собственной кровью; какая-нибудь одна позабытая запасная часть может вывести судно из строя; из-за одного неверного расчета все предприятие может пойти прахом.

А поэтому самое тщательное, самое заботливое внимание на этом последнем смотре уделяется продовольствию. Сколько съестного нужно запасти на двести шестьдесят пять человек для путешествия, продолжительность которого нельзя определить даже приблизительно? Сложнейшая задача, ибо один из множителей — длительность пребывания в пути — неизвестен. Только Магеллан — он один! — предугадывает (осторожности ради он этого не откроет команде), что пройдут долгие месяцы, даже годы, прежде чем можно будет пополнить взятые с собой запасы; потому лучше захватить провиант в избытке, чем в обрез, и запасы его, принимая во внимание малую вместимость судов, в самом деле внушительны. Альфу и омегу питания составляют сухари; двадцать одну тысячу триста восемьдесят фунтов этого груза принял Магеллан на борт; стоимость его вместе с мешками — триста семьдесят две тысячи пятьсот десять мараведисов; насколько человек способен предвидеть, можно считать, что этого огромного количества хватит на два года.

Да и вообще, при чтении провиантской описи Магеллана видишь перед собой скорее современный трансокеанский пароход грузоподъемностью в двадцать тысяч тонн, чем

пять рыбацких парусников общей вместимостью в пятьсот — шестьсот тонн (девять тогдашних тонн соответствуют одиннадцати тоннам наших дней). Чем только не загромодили тесный, душный трюм! Вместе с мешками муки, риса, фасоли, чечевицы хранятся пять тысяч семьсот фунтов солины; двести бочонков сардин, девятьсот восемьдесят четыре головки сыру, четыреста пятьдесят связок луку и чесноку; кроме того, припасены еще разные вкусные вещи, как, например, тысяча пятьсот двенадцать фунтов меда, три тысячи двести фунтов изюма, коринки и миндаля, много сахара, уксуса и горчицы.

В последнюю минуту на борт пригоняют еще семь живых коров (хоть бедным четвероногим осталось уже недолго жить); таким образом, на первое время обеспечено молоко, а на дальнейшее — свежее мясо. Но вино для этих здоровых парней поважнее молока. Чтобы поддерживать в команде хорошее расположение духа, Магеллан велел закупить в Хересе лучшего, самого что ни на есть лучшего вина, не более и не менее, как четыреста семнадцать мехов и двести пятьдесят три бочонка; и здесь теоретически рассчитано на два года вперед: каждому матросу обеспечено по кружке вина к обеду и ужину.

Со списком в руке Магеллан переходит с корабля на корабль, от предмета к предмету. Какого труда, вспоминает он, стоило все это собрать, проверить, сосчитать, оплатить! Какая борьба велась днем с чиновниками и купцами, какой страх напал на него по ночам: а вдруг что-то забыто, вдруг что-то неверно подсчитано! Но вот наконец, кажется, есть все, что потребуется в этом плавании для двухсот шестидесяти пяти человек. Люди — матросы — всем обеспечены.

Но ведь и корабли — живые, бранные существа, каждый из них в борьбе со стихией расходует немалую долю своей силы сопротивления. Буря рвет паруса, треплет и мочалит канаты, морская вода точит дерево и разъедает железо, солнце выжигает краску, ночной мрак поглощает светильное масло и свечи. Значит, каждая деталь оснастки — якоря и дерево, железо и свинец, мощные стволы для замены мачт, холст для новых

парусов — должна иметься в двойном, если не больше, количестве. Не менее сорока возов лесных материалов погружено на суда, чтобы безотлагательно исправить любое повреждение, заменить любую доску, любую планку; и тут же бочки с дегтем, варом, воском и паклей для конопачения щелей. Разумеется, не забыт и арсенал необходимых инструментов: клещи, пилы, буравы, винты, лопаты, молотки, гвозди и кирпичи. Грудами лежат десятки гарпунов, тысячи рыболовных крючков и неводов, чтобы в пути ловить рыбу, которая наряду с запасом сухарей составит основное питание команды.

Освещение обеспечено на долгое время; на борту имеется восемьдесят девять небольших фонарей и четырнадцать тысяч фунтов свечей, не считая массивных восковых свечей для церковной службы. На долгий срок рассчитан и запас необходимых навигационных приборов — компасов и компасных игл, песочных часов, астролябий, квадрантов и планисфер, а для чиновников имеется пятнадцать новехоньких бухгалтерских книг (ибо где, кроме Китая, можно во время этого путешествия раздобыть хоть листок бумаги). Предусмотрены также и неприятные случайности: наличие аптекарские ящики с лекарствами, рожки для цирюльников, кандалы и цепи для бунтовщиков, не в меньшей мере проявлена и забота о развлечениях: на борту имеется пять больших барабанов и двадцать бубнов, найдется, верно, и несколько скрипок, дудок и волынок.

Это лишь небольшое извлечение из поистине гомеровской судовой описи Магеллана, только наиболее существенные из тысячи предметов, потребных команде и судам в столь необычном плаваньи. Но ведь эту флотилию, которая вместе со всем снаряжением обошлась в восемь миллионов мараведисов, будущий властелин Старого и Нового Света отправляет в неведомую даль не из чистой любознательности. Пять судов Магеллана должны привезти из плаванья не только космографические наблюдения, но и деньги, как можно больше денег консорциуму предпринимателей. Нужно, значит, тщательно обдумав выбор, взять с собой достаточное

количество разных изделий для обмена их на столь желанные чужеземные товары.

Что ж, Магеллану еще с индийских времен знаком наивный вкус детей природы. Он знает — два предмета повсюду производят огромный эффект: зеркало, в котором черный, смуглый или желтый туземец впервые изумленно созерцает собственную физиономию, да еще колокольчики и погремушки, эта извечная ребячья радость. Не менее двадцати тысяч таких маленьких шумовых инструментов везут корабли экспедиции да еще девятьсот малых и десять больших зеркал (к сожалению, большая часть их будет разбита в пути), четыреста дюжин ножей *made in Germany** (в описи точно отмечено: «400 docenas de cuchillos de Alemania de lospeores» — «ножи из Германии самые дешевые»), пятьдесят дюжин ножниц; затем неизменные пестрые платки и красные шапки, медные браслеты, поддельные драгоценности и разноцветные бусы. Для особо важных okazji упаковано несколько турецких нарядов и традиционных ярких тряпок, бархатных и шерстяных, в общем — отчаянный хлам, в Испании стоящий так же мало, как пряности на Молуккских островах, но как нельзя лучше отвечающий требованиям торговой сделки, при которой обе стороны платят в десять раз больше цены менового товара и все же обе изрядно наживаются.

Все эти гребешки и шапки, зеркала и погремушки пригодятся, однако, лишь при благоприятных обстоятельствах: если туземцы выкажут готовность заняться мирным обменом. Но предусмотрен и другой, воинственный оборот дела. Пятьдесят восемь пушек, семь длинных фальконетов, три массивные мортиры грозно глядят из люков; недра судов отягощены множеством железных и каменных ядер, а также бочками со свинцом для отливания пуль, когда запас их иссякнет. Тысячи копий, две сотни пик и две сотни щитов свидетельствуют о решимости постоять за себя; кроме того, больше половины команды снабжено шлемами и нагрудными латами.

* Изготовленные в Германии (англ.).

Для самого адмирала в Бильбао изготовлены два панциря, с головы до ног облекающие его в железо; подобный сверхъестественному неуязвимому существу, предстанет он в этом одеянии перед чужеземцами. Таким образом, хотя в соответствии со своим замыслом и характером Магеллан намерен избегать вооруженных столкновений, его экспедиция снаряжена не менее воинственно, чем экспедиция Фернандо Кортеса, который летом того же 1519 года на другом конце света во главе горсточки воинов завоевал государство с миллионным населением. Для Испании начинается героический год.

Проникновенно, со свойственным ему настороженным неистощимым терпением Магеллан еще раз — последний раз — испытывает каждый из пяти кораблей, его оснастку, груз и устойчивость. Теперь пора присмотреться к команде! Нелегко было ее сколотить, немало недель прошло, прежде чем удалось набрать ее по глухим портовым закоулкам и тавернам; оборванными, грязными недисциплинированными пригнали их на корабли, и сейчас они все еще изъясняются между собой на каком-то диком воляпюке: по-испански — один, по-итальянски — другой, по-французски — третий, а также по-португальски, по-гречески и по-немецки. Да, потребуется немало времени, чтобы весь этот сброд превратился в надежную, спаянную команду. Но нескольких недель на борту достаточно, чтобы он прибрал их к рукам. Тот, кто семь лет прослужил простым *sobresaliente* — матросом и воином, знает, что нужно матросам, что можно с них спрашивать и как с ними следует обращаться. Вопрос о команде не тревожит адмирала.

Зато неприятное, напряженное чувство испытывает он, глядя на трех испанских капитанов, назначенных командирами судов. Невольно у него напряженно пружинятся мышцы, как у борца перед началом состязания, и неудивительно: с каким холодным, надменным видом, с каким плохо, может быть даже нарочито плохо, скрываемым презрением не замечает его этот *veedor*, королевский надсмотрщик, Хуан де Кар-

тахена, которому он вынужден был поручить вместо Фалейру командование «Сан-Антонио». Хуан де Картахена, конечно, опытный, заслуженный моряк, и его личная порядочность так же вне сомнения, как и его честолюбие. Но сумеет ли родовитый кастилец укротить свое честолюбие? Подчинится ли Магеллану, согласно данной им присяге, этот двоюродный брат епископа Бургосского, удостоенный королем ранее пожалованного Фалейру титула «*conjuncta persona*»? При виде его Магеллану все время приходят на ум слова, нашептанные Алваришем, что, кроме самого адмирала, еще и другие лица снабжены особыми полномочиями, о которых он узнает, лишь «когда будет уже поздно для спасения чести».

Не менее враждебно глядит на Магеллана и командир «Виктории» Луис де Мендоса. Еще в Севилье он однажды дерзко уклонился от повиновения, но Магеллан тогда не посмел уволить этого тайного врага, навязанного ему императором в качестве казначея. Да, видимо, немного значит, что все эти испанские офицеры в соборе Санта-Мария де ла Виктория под сенью распростертого знамени принесли ему клятву верности и повиновения; в душе они остались врагами и завистниками. Придется зорко следить за этими родовитыми испанцами.

Хорошо еще, что Магеллану удалось хоть до известной степени обойти королевский указ и злопыхательские возражения Casa de la Contratacion и украдкой взять на борт тридцать португальцев, в том числе несколько надежных друзей и близких родственников. Среди них прежде всего Дуарте Барбоса, шурин Магеллана, несмотря на свою молодость испытанный в дальних плаваниях моряк, затем Алваро де Мескита, также близкий его родственник, и Эстебан Гомес — лучший кормчий Португалии. Среди них и Жуан Серрано, который хоть и значится в судовых списках испанцем и побывал с испанскими экспедициями, возглавлявшимися Писарро и Педро д'Ариасом в Castilia del Oro*, но в качестве родственни-

*Золотая Кастилия (*исп.*).

ка названного брата Магеллана Франсишку Серрано все же как-нибудь приходится ему соотечественником. Немало стоит и Жуан Карвальо, который уже много лет назад посетил Бразилию и теперь даже везет с собой сына, прижитого там со смуглой бразильянской. Оба они благодаря знанию языка и местных условий смогут быть отличными проводниками в тех странах; если же экспедиции удастся из Бразилии пробраться в мир малайских языков, на «острова пряностей» и в Малакку, — ценные услуги в качестве переводчика окажет раб Магеллана Энрике.

Итак, среди двухсот шестидесяти пяти спутников Магеллана имеется всего пять — десять человек, на чью преданность он безусловно может положиться. Это немного. Но тот, у кого нет выбора, должен дерзать даже вопреки численности противника и неблагоприятным обстоятельствам.

С сосредоточенным видом, мысленно проверяя каждого человека в отдельности, проходит Магеллан перед выстроившимся экипажем, непрерывно втайне обдумывая и прикидывая, кто в решающую минуту станет за него и кто — против. Он не замечает, что на лбу у него от напряжения залегли складки. Но вот они разгладились, Магеллан невольно улыбается. Бог ты мой, одного-то он чуть не забыл, того сверхсметного, лишнего, кто неожиданно, как снег на голову, объявился в самую последнюю минуту! Право же, чистая случайность, что тихий, скромный, совсем еще юный итальянец Антонио Пигафетта из Виченцы, отпрыск древнего дворянского рода, затесался в эту разношерстную компанию искателей приключений, честолюбцев, охотников до легкой наживы и головорезов.

Прибыв в Барселону, ко двору Карла V, в свите папского протонатория, безусый еще кавалер Родосского ордена услышал разговоры о таинственной экспедиции, которая по неисследованным путям двинется в неведомые края и страны. Вероятно, Пигафетта читал напечатанную в его родном городе Виченце в 1507 году книгу Веспуччи «Paesi novamente

retrovati»*, в которой автор повествует о страстном своем желании «di andare e vedere parte del mondo e le sue meraviglie» — «путешествовать, видеть мир и его чудеса». А может, молодого итальянца воодушевил и пользовавшийся широкой известностью «Itinerario» — «Путеводитель» его соотечественника Лодовико Вартема. Несказанно прельщает его мысль самому, собственными глазами, увидеть хоть что-нибудь из того «великого и страшного, чем изобилуют океаны». Карл V, к которому он обратился за разрешением участвовать в этой таинственной экспедиции, рекомендует его Магеллану — и вот среди профессиональных моряков, охотников до легкой наживы, искателей приключений оказывается чудак-идеалист, идущий навстречу опасности не из честолюбия и не ради денег, а из бескорыстной любви к странствиям; как дилетант в лучшем смысле этого слова, единственно ради своего *diletto*, ради наслаждения видеть, познавать, восхищаться, готовый отдать жизнь в дерзновенном предприятии.

На деле этот незаметный, лишний человек станет для Магеллана важнейшим участником экспедиции. Ибо какое значение имеет подвиг, если он не запечатлен словом; историческое деяние бывает закончено не в момент его свершения, а лишь тогда, когда становится достоянием потомства. То, что мы называем историей, отнюдь не совокупность всех значительных событий, когда-либо происшедших во времени и пространстве: всемирная история, летопись мира, охватывает лишь небольшой участок действительности, который случайно был озарен поэтическим или научным отображением. Ничем был бы Ахилл без Гомера, тенью оставалась бы любая личность, быстротечной волной растекалось бы любое деяние в безбрежном мире событий, если бы оно не превращалось в гранит под пером летописца, если бы художник заново не воссоздавал его в пластических образах. Вот почему мы мало что знали бы о Магеллане и его подвиге, будь в нашем распоряжении только одна «декада» Петра Ангиерского, краткое

* «Вновь открытые недавно страны» (*ит.*).

письмо Максимилиана Трансильванского да несколько сухих заметок и лаговые записи кормчих. Лишь этот скромный рыцарь Родосского ордена, сверхштатный и лишний, увековечил для грядущих поколений подвиг Магеллана.

Разумеется, наш добрый Пигафетта не был ни Тацитом, ни Ливием. В литературе, как и в мореплавании, он оставался всего только благодушным дилетантом. Знание людей отнюдь не было его коньком, важнейшие психологические конфликты между адмиралом и его капитанами он, видно, просто-напросто проспал на борту. Но именно потому, что Пигафетта мало интересуется причинными связями, он тщательно наблюдает мелочи и отмечает их с живостью и старательностью школьника, описывающего свою воскресную прогулку. На него не всегда можно положиться: иной раз по наивности он верит любому вздору, который ему рассказывают немедленно раскусившие новичка старые кормчие; но все эти мелкие небылицы и ошибки Пигафетта с лихвой возместил любознательной точностью, с которой он описывает каждую мелочь; а тем, что он не поленился, по методу Берлица, расспрашивать патагонцев, невзрачный родосский рыцарь нежданно стяжал себе историческую славу автора первого письменного лексикона американских слов. Он удостоился еще большей чести: сам Шекспир использовал в своей «Буре» эпизод из путевых записок Пигафетты. Что может выпасть на долю посредственного писателя более величественного, чем если из преходящего его творения гений заимствует нечто для своего бессмертного и на своих орлиных крыльях возносит его безвестное имя в сферу вечности?

Магеллан закончил свой обход. Со спокойной совестью может он сказать себе: все, что смертный в состоянии рассчитать и предусмотреть, он рассчитал и предусмотрел. Но дерзновенное плавание конквистадора бросает вызов высшим силам, не поддающимся земным расчетам и измерениям. Человек, стремящийся наперед точно определить все возможности успеха, должен считаться и с наиболее вероятным финалом такого странствия: с тем, что он из него не возвратится.

Поэтому Магеллан, претворив сначала свою волю в земное дело, за два дня до отплытия письменно излагает и свою последнюю волю.

Это завещание нельзя читать без глубокого волнения. Обычно завещатель знает, хотя бы приблизительно, размеры своего достояния. Но как мог Магеллан прикинуть и оценить, какое он оставит наследство, сколько он оставит? Пока одному только небу известно, будет ли он через год нищим или одним из богатейших людей на свете. Ведь все его достояние заключается лишь в договорах с королем. Если задуманное предприятие удастся, если он найдет легендарный *расо* — пролив, проникнет на Молуккские острова, вывезет оттуда драгоценную кладь, тогда, выехав бедным искателем приключений, он возвратится в Севилью крезом. Если он откроет в пути новые острова — его сыновьям и внукам в придачу ко всем богатствам достанется еще и наследственный титул наместника, *adelantado*. Если же расчет окажется неверным, если суда пойдут ко дну — его жене и детям, чтобы не умереть с голоду, придется стоять на церковной паперти с протянутой рукой, моля верующих о подавании. Исход — во власти вышних сил, тех, что правят ветром и волнами. И Магеллан, как благочестивый католик, заранее смиренно покоряется неисповедимой воле господней. Раньше, чем к людям и правительству, это глубоко волнующее завещание обращается ко «всемогущему Господу, повелителю нашему, чьей власти нет ни начала, ни конца». Свою последнюю волю Магеллан изъясляет прежде всего как верующий католик, затем — как дворянин и только в самом конце завещания — как супруг и отец.

Но и в дела благочестия человек Магелланова склада никогда не вносит неясности или сумбура. С тем же удивительным искусством все предвидеть обращается он мыслью и к вечной жизни. Все возможности предусмотрены и старательно подразделены. «Когда земное мое существование завершится и начнется для меня жизнь вечная, — пишет он, — я хотел бы быть похороненным в Севилье, в монастыре Санта-Мария де ла Виктория, в отдельной могиле». Если же смерть постигнет

его в пути и нельзя будет доставить тело на родину, то «пусть праху моему уготовят место последнего упокоения в ближайшем храме Пресвятой Богородицы». Благочестиво и вместе с тем точно распределяет этот набожный христианин суммы, предназначенные на богоугодные дела. Одна десятая часть обеспеченной ему по договору двадцатой доли всех прибылей должна быть разделена поровну между монастырями Санта-Мария де ла Виктория, Санта-Мария Монсерра и Сан-Доминго в Опорто; тысяча мараведисов выделяется севильской часовне, где он причастился перед отплытием и где с помощью Божьей (после благополучного возвращения) надеется причаститься снова. Один реал серебром он завещает на крестовый поход, другой — на выкуп христианских пленников из рук неверных, третий — дому призрения прокаженных, четвертый и пятый — госпиталю для чумных больных и приюту Святого Себастьяна, дабы те, кто получит эту лепту, «молились Господу Богу за спасение моей души». Тридцать заупокойных обеден должны быть отслужены у его тела и столько же — через тридцать дней после похорон в церкви Санта-Мария де ла Виктория. Далее он приказывает ежегодно «в день моего погребения выдавать трем беднякам одежду: каждому из них камзол серого сукна, шапку, рубаху и пару башмаков, дабы они молились за спасение моей души. Я хочу, чтобы в сей день не только троих этих бедняков кормили досыта, но еще и двенадцать других, дабы и они молили Господа за мою душу, а также прошу жертвовать золотой дукат на раздачу милостыни за души, томящиеся в чистилище».

После того как церкви уделена столь значительная доля его наследства, невольно ждешь, что последние распоряжения коснутся наконец жены и детей. Но, оказывается, этот глубоко религиозный человек трогательно озабочен судьбой своего невольника Энрике. Может быть, уже и раньше совесть Магеллана тревожил вопрос, вправе ли настоящий христианин считать своей собственностью, наравне с земельным участком или камзолом, человека, да к тому же еще принявшего крещение и тем самым ставшего ему братом по вере, существом с

бессмертной душой? Так или иначе, но Магеллан не хочет предстать перед Господом Богом с этим сомнением в душе, поэтому он отдает распоряжение: «Со дня моей смерти пленник мой и невольник Энрике, уроженец города Малакки, двадцати шести лет от роду, освобождается от рабства или подчинения и волен поступать и действовать, как ему заблагорассудится. Далее, я хочу, чтобы из моего наследства десять тысяч мараведисов были выданы ему во вспомоществование. Эту сумму я назначаю ему потому, что он стал христианином и будет молиться Богу за спасение моей души».

Только теперь, отдав дань заботам о загробной жизни и предсказав «добрые дела, которые даже за величайшего грешника явятся заступниками на Страшном суде», Магеллан в своем завещании обращается к семье. Но и здесь заботам о житейских делах предшествуют распоряжения, касающиеся нематериальных вопросов, — сохранение его герба и дворянского звания. Вплоть до второго и третьего поколения указывает Магеллан, кому быть носителем его герба, его *agmas*, на тот случай, если его сын не переживет отца (вещее предчувствие). Он стремится к бессмертию не только как христианин, но и как дворянин.

Лишь после этих заветов Магеллан переходит к распределению своего, пока еще носимого ветрами по волнам, наследства между женой и детьми; адмирал подписывает этот документ твердым, крупным, таким же прямым, как и он сам, почерком: «Fernando de Magellanes» — «Фернандо де Магелланес». Но судьбу не подчинить себе росчерком пера, не умиловать обетами, властная ее воля сильнее самого горячего желания человека. Ни одно из сделанных Магелланом распоряжений не будет выполнено: ничтожным клочком бумаги останется его последняя воля. Те, кого он назначит наследниками, ничего не унаследуют; нищие, которых он заботливо оделил, не получают подаяние; тело его не будет покоиться там, где он просил его похоронить; его гроб исчезнет. Только по-

двиг, им совершенный, переживет отважного мореплавателя, только человечество возблагодарит его за оставленное наследство.

Последний долг на родине выполнен. Наступает прощание. Трепеща от волнения, стоит перед ним женщина, с которой он в течение полутора лет был впервые в жизни по-настоящему счастлив. На руках она держит рожденного ему сына. Рыдания сотрясают ее вторично отяжелевшее тело. Еще один, последний раз он обнимает ее, крепко жмет руку Барбосе — единственного его сына он увлекает за собой в неведомую даль. Затем скорее, чтобы от слез покинутой жены не дрогнуло сердце, — в лодку и вниз по течению, к Сан-Лукару, где его ждет флотилия. Еще раз в скромной Сан-Лукарской церкви Магеллан, предварительно исповедавшись, вместе со своей командой принимает причастие. На рассвете во вторник 20 сентября 1519 года — эта дата войдет в мировую историю — с грохотом поднимаются якоря, паруса надуваются ветром, гремят оружейные выстрелы — прощальный привет исчезающей земле; началось великое странствие, дерзновеннейшее плавание во всей истории человечества.

ТЩЕТНЫЕ ПОИСКИ

20 сентября 1519 г. — 1 апреля 1520 г.

Двадцатого сентября 1519 года флотилия Магеллана отчалила от материка. Но в те годы владения Испании уже простираются далеко за пределы Европы; когда через шесть дней после отплытия пять судов флотилии заходят в Тенерифе на Канарских островах, чтобы пополнить запас воды и продовольствия, они все еще находятся в пределах, подвластных императору Карлу V. Еще один-единственный раз, перед тем как продолжить путь в неизвестность, дано отважным мореплавателям ступить на милую им твердую почву родины, еще раз вдохнуть ее воздух, услышать родную речь.

Но вскоре и этот последний роздых приходит к концу. Магеллан уже собирается ставить паруса, как вдруг, издали еще подавая судам знаки, появляется испанская каравелла, несущая секретное послание Магеллану от его тестя, Дьего Барбосы. Тайная весть — обычно дурная весть. Барбоса предупреждает зятя: из достоверных источников ему удалось узнать о тайном сговоре испанских капитанов — в пути нарушить долг повиновения Магеллану. Глава заговора — Хуан де Картахена, двоюродный брат епископа Бургосского.

У Магеллана нет оснований сомневаться в правдивости и правильности этого предостережения; слишком точно совпадает оно с туманной угрозой шпиона Алвариша: «...другие люди, сверх того, снабжены контринструкциями, а узнает он о них, только когда уже будет поздно для спасения чести». Но жребий брошен, и лишь еще тверже становится решимость Магеллана перед лицом очевидной опасности. Он шлет в Севилью гордый ответ: что бы ни случилось, он неукоснительно будет служить императору, и залог тому — его жизнь. Ни словом не обмолвившись о том, сколь мрачное и в то же время правдивое, слишком правдивое предостережение принесло ему это письмо — последнее в его жизни, он велит выбрать якоря, и через несколько часов очертания тенерифского пика уже расплываются вдали. Большинство моряков последний раз видит родную землю.

Труднейшая для Магеллана задача среди всех трудностей этого плавания состоит в том, чтобы сплоченным строем вести все суда экспедиции, столь различные по водоизмещению и быстроходности: стоит только одному из них отбиться, и в бескрайнем бездорожном океане оно потеряно для флотилии. Еще до отплытия Магеллан, с ведома и согласия Casa de la Contratacion — Индийской палаты, выработал для поддержания постоянной связи между судами особую систему. Правда, *contromaestres* — капитанам судов и кормчим — известна *derota* — общий курс; но в открытом море для них действует

только одно предписание: идти в кильватере «Тринидад» — ведущего флагманского судна.

В дневные часы соблюдение этого приказа вполне посилено, даже во время сильного шторма корабли могут не терять друг друга из виду; гораздо труднее поддерживать непрерывную связь между всеми пятью судами ночью — для этой цели изобретена и тщательно продумана система световой сигнализации. С наступлением темноты на корме «Тринидад» зажигается вставленный в фонарь, *fagol*, смоляной факел, *fago*, чтобы идущие вслед корабли не теряли из виду флагманское судно, *Capitana*. Если же на «Тринидад», кроме смоляного факела, загораются еще два огня, это означает, что остальным судам следует убавить ход или же лавировать из-за неблагоприятного ветра. Три огня возвещают, что надвигается шквал и поэтому надлежит подтянуть лисель*, при четырех огнях нужно убирать все паруса. Многочисленные, то вспыхивающие, то гаснущие огни на флагманском судне или же пушечные выстрелы предупреждают, что надо опасаться отмелей или рифов. Итак, для всех возможных счастливых и несчастных случаев разработан язык ночных сигналов.

И на каждый сигнал этого примитивного светового телеграфа каждый корабль обязан каждый раз немедленно отвечать таким же сигналом, дабы адмиралу было известно, что его приказание поняты и выполнены. Кроме того, ежевечерне, незадолго до наступления темноты, каждый из четырех кораблей должен приблизиться к флагманскому судну, приветствуя адмирала словами: «*Dios vos salve, senior capitán-general, y maestre, y buena compañía*»**, и выслушать его приказы на время трех ночных вахт. Казалось бы, что этот ежедневный рапорт всех четырех капитанов адмиралу с первого же дня устанавливает определенную дисциплину: флагманское судно ведет флотилию,

* Лисель — дополнительный парус, поднимаемый при слабом ветре на передней мачте. — *Примеч. ред.*

** Да хранит Господь вас, сеньор капитан-генерал, и кормчих, и всю добрую команду (*исп.*).

а остальные следуют за ним, адмирал указывает курс, а капитаны беспрекословно его придерживаются.

Но именно то, что руководство так безоговорочно и решительно сосредоточено в руках одного человека, как и то, что этот молчаливый, ревниво хранящий свои тайны португалец каждый день, словно новобранцев, заставляет их выстраиваться перед ним и после отдачи приказаний немедленно отсылает, как простых подручных, раздражает капитанов остальных судов. Без сомнения и, надо признать, с некоторым на то правом они полагали, что Магеллан с таким мелочным упорством замалчивал в Испании подлинную цель экспедиции потому, что боялся выдать тайну *raso* болтунам и шпионам; но в открытом море, надо думать, он наконец откажется от этой осторожности, призовет их на борт флагманского корабля и с помощью своей карты изложит им дотоле ревниво охранявшийся замысел. Вместо этого они видят, что Магеллан становится еще более молчаливым, все более сдержанным и недоступным. Он не призывает их к себе на корабль, не спрашивается об их мнении, ни разу не спрашивает совета ни у кого из этих испытанных моряков. Они обязаны следовать днем за флагом, ночью за факелом тупо и покорно, как собака за хозяином.

В продолжение нескольких дней испанские офицеры терпеливо сносят молчаливую непреклонность, с которой Магеллан ведет их за собой. Но когда адмирал, вместо того чтобы, держа курс на юго-запад, напрямик плыть к Бразилии, забирает много южнее, уклоняясь от первоначально обусловленного курса, и до самой Сьерра-Леоне следует вдоль берегов Африки, Хуан де Картахена во время вечернего рапорта в упор спрашивает его, почему вопреки данным вначале инструкциям изменен курс.

Этот прямо поставленный Хуаном де Картахеной вопрос отнюдь не является дерзостью с его стороны (и это нужно особо подчеркнуть, так как большинство авторов, чтобы возвысить Магеллана, изображают Хуана де Картахену черным предателем). А между тем нельзя не признать логичным и справед-

ливым, если человек, назначенный королем *conjuncta persona*, если капитан самого большого судна флотилии учтиво спрашивает адмирала, почему, собственно, изменен ранее установленный курс. Кроме того, вопрос Хуана де Картахены законен и с навигационной точки зрения, ибо этот новый курс поведет флотилию окольным путем и заставит ее потерять не менее двух недель. Что принудило Магеллана изменить маршрут, мы не знаем. Быть может, так далеко, до самой Гвинеи, он следовал вдоль побережья Африки потому, что намеревался там — этой технической тайны португальского мореходства испанцы не знали — *tomar barlavento*, поймать попутный пассат, а может быть, он отклонился от обычного пути, желая избежать встречи с португальскими судами, по слухам посланными королем Мануэлом в Бразилию перехватить эскадру Магеллана.

Так или иначе, адмиралу ничего не стоило честно, по-товарищески изложить капитанам причины, заставившие его переменить курс. Но для него важен не этот частный случай, а сам принцип. Дело не в двух-трех милях отклонения к юго-западу или юго-юго-западу, а в том, чтобы раз и навсегда установить жесткую дисциплину. Если на борту в самом деле имеются заговорщики, как сообщил ему тесть, то он предпочитает сразу столкнуться с ними лицом к лицу. Если действительно существуют двусмысленные инструкции, скрываемые от него, то они должны получить единое толкование в пользу его авторитета. Вот почему Магеллану как нельзя более на руку, что объяснений от него домогается именно Хуан де Картахена, ибо теперь должно выясниться, приравнен ли к нему или же подчинен ему этот испанский идадьго.

Этот вопрос служебной иерархии и вправду не так уж ясен. Вначале Хуан де Картахена был послан сопровождать флотилию в качестве *veedor general* — главного контролера, а в этом звании, как и в должности капитана «Сан-Антонио», он всецело подчинен адмиралу, без права совещательного голоса, без права требовать объяснений. Но положение изменилось, когда Магеллан отстранил своего компаньона Фалейру и Хуан

де Картахена получил вместо него назначение на пост *conjuncta persona*, а «*conjuncta*» означает «равноправный». Каждый из них теперь вправе ссылаться на королевскую грамоту. Магеллан — на «договор», по которому он является верховным и единственным начальником флотилии. Хуан де Картахена на «*cedula*» — на «дополнительный акт», вменяющий ему в обязанность вести неусыпное наблюдение в случаях, если им будут обнаружены какие-либо упущения, а другие лица не выкажут должной прозорливости и осмотрительности. Но имеет ли право *conjuncta persona* требовать отчета от самого адмирала? Этот вопрос Магеллан не намерен ни на мгновение оставить невыясненным. И поэтому на первый же вопрос Хуана де Картахены он грубо отвечает, что никто не вправе спрашивать у него объяснений и все обязаны следовать за ним (*que le siguisen y no le pidiesen más cuenta*).

Это грубо; но Магеллан считает, что лучше сразу обрушиться на противника, чем расточать угрозы или искать примирения. Этими словами он прямо в лоб заявляет испанским капитанам (а быть может, и заговорщикам): «Не обольщайтесь, я один буду держать руль, и железной рукой». Но хотя кулак у Магеллана крепкий, увесистый, беспощадный, его руке не хватает многих ценных качеств, и прежде всего умения, когда нужно, приласкать тех, с кем она слишком круто расправилась.

Магеллан никогда не постиг искусства говорить с любезной миной неприятные вещи, просто и дружелюбно обходиться как с начальниками, так и с подчиненными. Поэтому вокруг этого человека — конденсатора величайшей энергии — с самого начала неминуемо должна была установиться напряженная, враждебная, озлобленная атмосфера.

Это скрытое раздражение неизбежно нарастало, по мере того как выяснилось, что перемена курса, против которой возражал Хуан де Картахена, действительно была явной ошибкой Магеллана. Ветер поймать не удалось, суда на две недели застряли в открытом море, среди полного штиля. Затем они скоро попадают в полосу столь сильных бурь, что, по романтическому описанию Пигафетты, их спасает только по-

явление святящихся «*Cuerpos Santos*» — «святых тел», покровителей моряков, святого Эльма, святого Николая и святого Клэра (так называемые «огни святого Эльма»). Две недели потеряны из-за своевольного распоряжения Магеллана, и наконец Хуан де Картахена уже не может и не хочет больше сдерживаться. Раз Магеллан пренебрегает советом, раз он не терпит критики, так пусть же вся флотилия узнает, как мало он, Хуан де Картахена, чтит этого бездарного морехода. Правда, корабль Хуана де Картахены «Сан-Антонио» и в тот вечер, как всегда, послушно приближается к «Тринидад» отдать рапорт и принять от Магеллана очередные приказания. Но Картахена впервые не выходит на палубу, чтобы произнести установленное приветствие. Вместо себя он посылает боцмана, и тот обращается к адмиралу со словами «*Dios vos salve, señor capitán y maestre*». Магеллан ни на минуту не обманывает себя мыслью, что это изменение текста приветствия могло быть случайной, невольной обмолвкой. Если именно Хуан де Картахена велит титуловать его не адмиралом, *capitán-general*, а просто капитаном, *capitan*, то этим всей флотилии дается понять, что *conjuncta persona*, Хуан де Картахена, не признает его своим начальником. Он немедленно велит передать Хуану, что впредь надеется быть приветствуемым достойным и подобающим образом. Но теперь и Хуан поднимает забрало. Он шлет высокомерный ответ: он сожалеет, что на этот раз он еще поручил своему ближайшему помощнику произнести приветствие; в следующий раз это может сделать любой юнга. Три дня подряд «Сан-Антонио» на глазах у всей флотилии не соблюдает церемонии приветствия и рапорта, дабы показать всем остальным, что его капитан не признает неограниченной диктатуры португальского командира. Совершенно открыто — и это делает честь Хуану де Картахене, никогда (сколько бы ни утверждали противное) не действовавшему вероломно, — испанский идалго бросает железную перчатку к ногам португальца.

Характер человека лучше всего познается по его поведе-

нию в решительные минуты. Только опасность выявляет скрытые силы и способности человека; все эти потаенные свойства, при средней температуре лежащие ниже уровня измеримости, обретают пластическую форму лишь в подобные критические мгновения. Магеллан всегда одинаково реагирует на опасность. Каждый раз, когда дело касается важных решений, он становится устрашающе молчаливым и неприступным. Он словно застывает. Какое бы тяжкое оскорбление ему ни было нанесено, его затененные кустистыми бровями глаза не загорятся огнем, ни одна складка не дрогнет вокруг плотно сжатых губ. Он в совершенстве владеет собой, и благодаря этому ледяному спокойствию все вещи становятся для него прозрачными, как хрусталь; замуровавшись в ледяное молчание, он лучше всего продумывает и рассчитывает свои планы. Никогда в жизни Магеллан не нанес удара необдуманно, сгоряча: прежде чем сверкнет молния, грозовой тучей нависает долгое, гнетущее, мрачное молчание.

И на этот раз Магеллан молчит; тем, кто его знает, — а испанцы еще не знают его, — может показаться, что он оставил брошенный Хуаном де Картахеной вызов без внимания. На деле же Магеллан уже вооружается для контратаки. Он понимает, что нельзя в открытом море насильственно сместить капитана корабля более крупного, чем флагманский, и лучше вооруженного. Итак, терпение, терпение: лучше притвориться тупым, равнодушным. И Магеллан в ответ на оскорбление молчит так, как он один умеет молчать: с одержимостью фанатика, с упорством крестьянина, со страстностью игрока.

Все вокруг видят, как он спокойно расхаживает по палубе «Тринидад», внешне всецело поглощенный будничными, ничтожными мелочами корабельной жизни. То, что «Сан-Антонио» перестал соблюдать приказ о вечернем рапорте, словно и не раздражает его, и капитаны с некоторым удивлением замечают, что этот загадочный человек начинает держать себя более доступно: по поводу совершенного одним из матросов тяжкого преступления против нравственности адмирал впервые приглашает к себе на совещание всех четырех капитанов.

Значит, думают они, его все же стали тяготить неприязненные отношения с сотоварищами. Видно, после того как избранный им курс оказался ошибочным, он понял, что лучше спрашивать совета у старых, опытных капитанов, чем почитать их *quantité négligeable**.

Хуан де Картахена тоже является на борт флагманского судна и, воспользовавшись долго не представлявшейся ему возможностью вести с Магелланом деловую беседу, снова спрашивает, почему, собственно, изменен курс. Сообразно своему характеру и тщательно продуманному намерению Магеллан сохраняет полную невозмутимость: ему только на руку, если его спокойствие сильнее распалит Картахену. А последний, считая, что звание верховного королевского чиновника дает ему право критиковать действия Магеллана, по-видимому, изрядно воспользовался этим правом. Дело, вероятно, кончилось бурной вспышкой, чем-то вроде резкого отказа повиноваться. Но, превосходный психолог, Магеллан именно такую вспышку открытого неподчинения заранее предусмотрел, это ему и нужно. Теперь он может действовать. Он немедленно применяет предоставленное ему Карлом V право вершить правосудие. Со словами: «*Sed preso*» — «Вы — мой пленник» — он хватается Хуана де Картахену за грудь и велит своему альгвасилу (каптенармусу и полицейскому офицеру) заключить мятежника под стражу.

Остальные капитаны растерянно переглядываются. Несколькими минутами раньше они всецело были на стороне Хуана де Картахены, да и сейчас еще в душе стоят за своего соотечественника и против начальника-чужестранца. Но внезапность нанесенного удара, демоническая энергия, с которой Магеллан схватил своего врага и велел посадить его под арест как преступника, парализовали их волю. Напрасно Хуан зовет их на помощь. Никто не смеет тронуться с места, никто не дерзает даже поднять глаза на низкорослого, коренастого человека, впервые позволившего своей пугающей энергией про-

* Величиной, которой можно пренебречь (*фр.*).

рваться сквозь глухую стену молчания. Только когда Хуана уже хотят отвести в каземат, один из них обращается к Магеллану и почтительнейше просит, учитывая высокое происхождение Картахены, не заключать его в оковы; достаточно, если кто-нибудь из них обязуется честным словом быть его стражем. Магеллан принимает это предложение при условии, что Луис де Мендоса, кому он поручает надзор за Хуаном, клятвенно обязуется по первому же требованию представить его адмиралу. С этим делом покончено. По прошествии часа на «Сан-Антонио» уже распоряжается другой испанский офицер — Антонио де Кока, вечером он со своего корабля четко, без единого упущения, приветствует адмирала.

Плавание продолжается без каких-либо инцидентов. 29 ноября возглас с марса возвещает, что виден берег Бразилии; они различают его очертания близ Пернамбуко и, нигде не бросая якорей, продолжают свой путь; наконец 13 декабря пять судов флотилии, после одиннадцатинедельного плавания, входят в залив Рио-де-Жанейро.

Залив Рио-де-Жанейро в те далекие времена, вероятно, не менее прекрасный в своей идиллической живописности, чем ныне в своем городском великолепии, должен был показаться усталому экипажу настоящим раем. Нареченный Рио-де-Жанейро по имени святого Януария, в день которого он был открыт, и ошибочно названный Рио*, ибо предполагалось, что за бесчисленными островами кроется устье многоводной реки, этот залив тогда уже находился в сфере владычества Португалии. Согласно инструкции Магеллану не следовало становиться там на якорь. Но португальцы еще не основали здесь поселений, не воздвигли вооруженной пушками крепости; блистающий яркими красками залив — в сущности, все еще «ничья земля»; испанские суда могут безбоязненно пройти среди волшебно прекрасных островов, окаймляющих берег, одетый яркой зеленью, и без помехи бросить здесь якорь. Как

*Река (исп.).

только их шлюпки приближаются к берегу, навстречу из хижин и лесов выбегают туземцы и с любопытством, но без недоверия встречают закованных в латы воинов. Они вполне добродушны и приветливы, хотя позднее Пигафетта не без огорчения узнает, что это завзятые людоеды, которым частенько случается накалывать убитых врагов на вертел и затем разрезать на куски это лакомое жаркое, словно мясо откормленного быка. Но богоподобные белые пришельцы не вызывают у гварани таких вождедений, и солдаты избавлены от необходимости пускать в ход громоздкие мушкеты и увесистые копья.

Несколько часов спустя завязывается оживленная меновая торговля. Теперь Пигафетта в своей стихии. Одиннадцатинедельное плавание дало честолюбивому летописцу мало сюжетов: ему удалось сплести разве что несколько побасенок об акулах и диковинных птицах. Арест Хуана де Картахены он, судя по всему, проспал, но зато сейчас ему едва хватает взятого с собой запаса перьев, чтобы перечислить в дневнике все чудеса Нового Света. Правда, он не дает нам представления о прекрасном ландшафте, но этого нельзя поставить ему в вину, ведь только тремя веками позже описания природы были введены в обиход Жан-Жаком Руссо; зато его необычайно занимают ранее неизвестные ему плоды — ананасы, «похожие на большие круглые еловые шишки, но чрезвычайно сладкие и отменно вкусные», далее бататы — их вкус напоминает ему каштаны — и «сладкий» (то есть сахарный) тростник.

Добрый малый не может прийти в себя от восхищения, так невероятно дешево эти люди продают чужестранцам съестные припасы. За одну удочку темнокожие дурни дают пять или шесть кур, за гребенку — двух гусей, за маленькое зеркальце — десяток изумительно пестрых попугаев, за ножницы — столько рыбы, что ею могут насытиться двенадцать человек. За одну-единственную погремушку (напомним, что на судах их имелось не менее двадцати тысяч штук) они приносят ему тяжелую, доверху наполненную бататами корзину, за истрепанного короля из старой колоды — пять кур; при этом гвара-

ни еще воображают, что надули неопытного родосского рыцаря. Дешево ценятся и девушки, о которых Пигафетта стыдливо пишет: «Единственное их одеяние — длинные волосы; за топор или нож можно получить сразу двух-трех в пожизненное пользование».

Покуда Пигафетта подвизается в области репортажа, а матросы коротают время, деля его между едой, рыбной ловлей и покладистыми смуглыми девушками, Магеллан думает только о дальнейшем плавании. Разумеется, он доволен, что команда отдыхает и собирается с силами, но в то же время он поддерживает строгую дисциплину. Памятуя данные им испанскому королю обязательства, он запрещает покупку невольников на побережье Бразилии, а также какие бы то ни было насильственные действия, чтобы у португальцев не возникло предлогов для жалоб.

Это лояльное поведение приносит Магеллану еще одну важную выгоду. Убедившись, что белые люди не собираются причинять им ни малейшего зла, туземцы утрачивают былую робость. Этот добродушный, ребячливый народец толпами стекается на берег всякий раз, когда там торжественно отправляют богослужение. С любопытством следят они за непонятными обрядами и, видя, что белые пришельцы, с появлением которых они связывают то, что наконец выпал долгожданный дождь, преклоняют колена перед воздетым крестом, в свою очередь, молитвенно сложив руки, опускаются на колени, а благочестивые испанцы принимают это за явный признак неосознанного проникновения таинств христианской религии в души туземцев.

Когда после тридцатидневной стоянки флотилия в конце декабря покидает незабываемую, широко раскинувшуюся бухту, Магеллан может продолжить плавание с более спокойной совестью, чем другие конквистадоры его времени. Ибо если он и не завоевал здесь новых земель для своего государя, то, как добрый христианин, приумножил число подданных небесного владыки. Никому за эти дни не было причинено ни малейшей обиды, никто из доверчивых туземцев не был на-

сильственно отторгнут от семьи и родины. С миром пришел сюда Магеллан, с миром ушел отсюда.

Неохотно покинули матросы райский залив Рио-де-Жанейро, неохотно плывут они, нигде не причаливая, вдоль манящих берегов Бразилии. Но Магеллан не может позволить им отдыхать дольше. Тайное, жгучее нетерпение влечет этого внешне столь невозмутимого человека вперед, к вождеденному *расо*, который, согласно карте Мартина Бехайма и сообщению «*Newe Zeytung*», он предполагает найти в точно определенном месте. Если сообщения португальских кормчих и нанесенные Бехаймом на карту широты правильны, пролив должен открыться им непосредственно за мысом Санта-Мария. Поэтому Магеллан безостановочно стремится к своей цели. Наконец 10 января мореплаватели среди беспредельной равнины видят невысокий холм, который они нарекают Монтевиди (нынешний Монтевидео), и спасаются от жестокого урагана в необъятном заливе, по-видимому бесконечно тянущемся к западу.

Этот необъятный залив в действительности не что иное, как устье реки Ла-Платы. Но Магеллан об этом не подозревает. Он только с глубоким, едва скрываемым удовлетворением видит на том самом месте, которое было указано в секретных документах, могучие волны, катящиеся на запад. Должно быть, это и есть вождеденный пролив, виденный им на Бехаймовой карте. Местоположение и широта как будто вполне совпадают со сведениями, полученными Магелланом от неизвестных лиссабонцев; несомненно, это тот самый пролив, через который, согласно сообщению «*Newe Zeytung*», уже двадцать лет назад португальцы намеревались проникнуть на запад.

Пигафетта утверждает, будто все, кто находился на борту, увидев этот величавый водный путь, были твердо убеждены, что им наконец открылся вождеденный пролив, который приведет их в Южное море. «*Si era creduto una volta esser questo un canal che metesse nel Mar del Sur*». Ведь в противоположность дремотным устьям Рейна, По, Эбро, Тежу, где всегда и

справа и слева можно ясно различить берег, здесь ширина могучего потока необозрима. Этот залив, без сомнения, представляет собой начало некоего второго Гибралтара, или Ла-Манша, или Геллеспонта, который связывает океан с океаном. И, безусловно доверяя своему вождю, моряки уже мечтают за несколько дней пройти этот новый пролив и достигнуть другого, Южного моря, легендарного *Mar del Sur*, ведущего в Индию, Японию, Китай, ведущего на «острова пряностей», туда, туда — к сокровищам Голконды и всем богатствам земли.

Упорство, с которым Магеллан в этом, именно в этом месте искал *расо*, свидетельствует о том, что и он, увидев необъятно широкий водный путь, всецело проникся убеждением: заветный пролив найден. Целых две недели проводит, или теряет, он в устье Ла-Платы, предаваясь тщетным поискам. Едва только буря, свирепствовавшая в момент их прибытия, немного стихает, он делит флотилию на две части. Меньше крупные суда посылаются им по мнимому проливу на запад (на деле же вверх по течению). Одновременно два больших корабля под личным его командованием, держа курс поперек устья Ла-Платы, направляются к югу, чтобы и в этом направлении обследовать, как далеко ведет давно разыскиваемый им путь.

Неторопливо, тщательно измеряет он южную окружность залива, покуда другие суда плывут на запад. И какое горькое разочарование: после двух недель взволнованного кружения у Монтевиди вдали наконец показываются паруса возвращающихся кораблей. Но вымпелы не развеваются победно на мачтах и капитаны приносят убийственную весть: исполинская водная ширь, опрометчиво принятая ими за желанный пролив, — всего только необычайно широкая пресноводная река, которую в память Хуана де Солис, тоже разыскивавшего здесь путь в Малакку и нашедшего смерть, они на первых порах нарекают Рио де Солис (лишь позднее ее переименоуют в Рио де Ла-Плату).

Теперь Магеллану нужно предельно напрячь все силы. Никто из капитанов, никто из команды не должен заметить, сколь грозный удар нанесло это разочарование его безуслов-

ной уверенности. Ибо одно адмирал знает уже сейчас: карта Мартина Бехайма неправильна, сообщение португальских кормчих о якобы открытом ими *расо* — опрометчивый вывод. Обманчивы были донесения, на которых он построил весь свой план кругосветного плавания, ошибочны все расчеты Фалейру, ложны его, Магеллана, собственные утверждения, ложно все то, что он обещал королю Испании и его советникам.

Если этот пролив вообще существует — впервые приходит на ум прежде не знавшему сомнений Магеллану это «если вообще», — то он должен быть расположен южнее. Но взять курс на юг — не значит плыть в теплые края, а, напротив, поскольку флотилия уже давно пересекла экватор, снова приближаться к полярной зоне. Февраль и март по ту сторону экватора не являются, как в родных широтах, концом зимы, а, наоборот, ее началом. Итак, если в ближайшее время не сыщется путь в южные моря, не откроется тщетно разыскиваемый здесь *расо* — время года, благоприятное для того, чтобы обогнуть Южную Америку, будет упущено, и тогда останутся только две возможности: либо вернуться в более теплые края, либо перезимовать где-нибудь в этих местах.

Тревожны, наверно, были мысли, томившие Магеллана с той самой минуты, как посланные на разведку суда вернулись с недоброй вестью.

Подобно духовному его миру, омрачается вокруг и мир внешний. Все неприветливее, все пустынное и угрюмое становятся берега, все больше хмурится небо; померкло сияние южного солнца, тяжелые, темные тучи заволокли синий небосвод.

Нет больше тропических лесов, чей густой, приторный аромат веял навстречу судам с далекого берега. Исчез навсегда живописный ландшафт Бразилии, могучие, отягощенные плодами деревья, пышные пальмы, диковинные животные, приветливые смуглые туземцы. В этих краях по голому песчаному берегу расхаживают одни только пингвины, пугливо, вразвалку удирающие при приближении людей, да на скалах нелепо и лениво ворочаются тюлени. Кажется, что и люди и

звери вымерли в этой гнетущей пустыне. Один-единственный раз какие-то огромные туземцы, с головы до ног, подобно эскимосам, закутанные в звериные шкуры, завидев флотилию, в смятении укрылись за прибрежные скалы. Ни погрешками, ни пестрыми шапками, которыми им машут с кораблей, приманить их не удастся. Они неприветливы и сразу же убегают, едва к ним пытаются приблизиться; напрасными были все попытки найти следы их жилищ.

Все труднее, все медленнее становится плавание. Магеллан неуклонно движется вдоль берега. Он обследует каждую, даже самую малую бухту и везде производит промеры глубины. Правда, таинственной карте, заманившей его в плавание и затем в пути его предавшей, он давно уже перестал верить. Но, может быть, может быть, все-таки совершится чудо — вдруг там, где никто этого не ждет, глазам откроется *raso* и они еще до начала зимы проникнут в *Mar del Sur* — в Южное море. Ясно чувствуется, как потерявший уверенность Магеллан цепляется за эту единственную, последнюю надежду: может быть, и карта, и португальские кормчие ошиблись только в определении широты и вождеденный пролив расположен на несколько миль ниже места, указанного в их лживых сообщениях.

Когда 24 февраля флотилия снова приближается к какому-то необъятно широкому заливу, к бухте Сан-Матиас, эта надежда, словно колеблемая ветром свеча, разгорается вновь. Без промедления Магеллан опять посылает вперед небольшие суда, *viendo si habia alguna salida para el Maluco* — дабы установить, не откроется ли здесь свободный проход к Молуккским островам. Но опять — ничего! Опять только закрытая бухта. Так же тщетно обследуют они и два других залива — *Bahía de los Patos**, названный так из-за обилия в нем пингинов, и *Bahía de los Trabajos*** (это название дано в память о страшных мытарствах, пережитых высадившимися там моряками). Но

* Залив уток (*исп.*).

** Залив тяжких трудов (*исп.*).

только туши убитых тюленей приносят оттуда полузамерзшие люди — желанной вести нет и в помине.

Дальше, дальше плывут суда вдоль берега, под мглистым небом. Все более грозной становится пустыня, все короче дни, все длиннее ночи. Суда уже не скользят по синим волнам, подгоняемые попутным бризом; теперь ледяные шторма яростно треплют паруса, снег и град белой крупой осыпают их, грозно вздымаются седые валы. Два месяца потребовалось флотилии, чтобы отвоевать у враждебной стихии небольшое расстояние от устья Ла-Платы до залива Сан-Хулиан. Почти каждый день команде приходится бороться с ураганами, с пресловутыми *rampegos* этих краев — грозными порывами ветра, расщепляющими мачты и срывающими паруса; день ото дня холоднее и сумрачнее становится все кругом, а разо по-прежнему не показывается.

Жестоко мстят теперь за себя потерянные недели. Пока флотилия обследовала все закоулки и бухты, зимний холод опередил ее: теперь он встал перед ней, самый лютой, самый опасный из всех врагов, и штормами преградил ей путь. Полгода ушло понапрасну, а Магеллан не ближе к заветной цели, чем в день, когда покинул Севилью.

Мало-помалу команда начинает проявлять нескрываемое беспокойство: инстинкт подсказывает им, что здесь что-то неладно. Разве не уверяли их в Севилье, при вербовке, что флотилия направляется к Молуккским островам, на лучезарный юг, в райские земли? Разве невольник Энрике не описывал им свою родину как страну блаженной неги, где люди голыми руками подбирают рассыпанные на земле драгоценные пряности? Разве не сулили им богатство и скорое возвращение? Вместо этого — мрачный молчальник ведет их по все более холодным и скудным пустыням.

Излучая слабый, зыбкий свет, проглядывает иногда сквозь тучи желтое чахлое солнце, но обычно небо сплошь закрыто облаками, воздух насыщен снегом; ветер морозным прикосновением до боли обжигает щеки, насквозь пронизывает изорванную одежду; руки моряков коченеют, когда они пытаются

ухватить обледенелые канаты; дыхание белым облачком клубится у рта.

И какая пустота вокруг, какое зловещее уныние! Даже людоедов прогнал холод из этих мест. На берегах нет ни зверей, ни растений — одни тюлени да раковины. В этих краях живые существа охотнее ютятся в ледяной воде, чем на исключанном бурями, унылом побережье. Куда завлек их этот бесноватый португалец? Куда он гонит их дальше? Уж не хочет ли он привести их в землю вечных льдов или к антарктическому полюсу?

Тщетно пытается Магеллан унять громкий ропот. «Стоит ли бояться такого пустычного холода? — уговаривает он их. — Стоит ли из-за этого утрачивать твердость духа? Ведь берега Исландии и Норвегии лежат в еще более высоких широтах, а между тем весной плавать в этих водах не труднее, чем в испанских; нужно еще продержаться всего лишь несколько дней. В крайнем случае можно будет перезимовать и продолжать путь уже при более благоприятной погоде».

Но команда не дает успокоить себя пустыми словами. Нет, какие тут сравнения! Не может быть, чтобы их король предусматривал плавание в эти ледовые края, а если адмирал болтает про Норвегию и Исландию, то там ведь дело обстоит совсем иначе. Там люди с малолетства привыкли к стуже, а кроме того, они не удаляются больше чем на неделю, на две недели пути от родных мест. А их завлекли в пустыню, куда еще не ступала нога христианина, где не живут даже язычники и людоеды, даже медведи и волки. Что им тут делать? К чему было выбирать этот окольный путь, когда другой, ост-индский, ведет прямо к «островам пряностей», минуя эти ледяные просторы, эти губительные края? Вот что громко и не таясь отвечает команда на уговоры адмирала.

А среди своих, под сенью кубрика, матросы, несомненно, ропщут еще сильнее. Снова оживает старое, еще в Севилье шепотом передаваемое из уст в уста подозрение, не ведет ли проклятый португалец *tratto doble* — двойную игру? Не замыслил ли он, с целью снова войти в милость у португальского

короля, злодейски погубить пять хороших испанских судов вместе со всем экипажем?

С тайным удовлетворением следят капитаны-испанцы за нарастающим озлоблением команды. Сами они в это дело не вмешиваются, они избегают разговоров с Магелланом и только становятся все более молчаливыми и сдержанными. Но их молчание опаснее многоречивого недовольства команды. Они больше смыслят в навигационном деле, и от них не может укрыться, что Магеллан введен в заблуждение неправильными картами и уже давно не уверен в своей «тайне». Ведь если б этот человек действительно в точности знал, на каком градусе долготы и широты расположен пресловутый *пасо*, чего ради заставил бы он в таком случае суда целые две недели напрасно плыть по Рио де Ла-Плате? Зачем он теперь вновь и вновь теряет драгоценное время на обследование каждой маленькой бухты? Либо Магеллан обманул короля, либо он сам себя обманывает, утверждая, что ему известно местонахождение *пасо*, ибо теперь уже ясно: он только ищет путь, он его еще не знает. С плохо скрываемым злорадством наблюдают они, как у каждой извилины он напряженно вглядывается в разорванные очертания берега. Что же, пусть Магеллан и дальше ведет флотилию во льды и в неизвестность. Им незачем больше спорить с ним, досаждавая ему жалобами. Скоро пробьет час, когда он вынужден будет признаться: «Я не могу идти дальше, я не знаю, куда идти». А тогда настанет время для них взять командование в свои руки и сломить могущество высокомерного молчальника.

Невозможно вообразить более ужасное душевное состояние, нежели состояние Магеллана в те дни. Ведь с тех пор как его надежда найти пролив была дважды жестоко обманута, в первый раз возле устья Ла-Платы, во второй — у залива Сан-Матиас, он уже не может дольше таить от себя, что непоколебимая вера в секретную карту Бехайма и опрометчиво принятые за истину рассказы португальских кормчих ввели его в

заблуждение. В наиболее благоприятном случае, если легендарный *расо* действительно существует, он может быть расположен только дальше к югу, то есть ближе к антарктической зоне; но и в этом благоприятном случае возможность пройти через него в текущем году уже упущена. Зима опередила Магеллана и опрокинула все его расчеты: до весны флотилия с ее потрепанными судами и недовольной командой не сможет воспользоваться проливом, даже если они теперь и найдут его. Девять месяцев проведено в плавании, а Магеллан еще не бросил якоря у Молуккских островов, как он имел неосторожность пообещать. Его флотилия по-прежнему блуждает и упорно борется за жизнь с жесточайшими бурями.

Самое разумное теперь было бы сказать всю правду. Созвать капитанов, признаться им, что карты и сообщения кормчих ввели его в заблуждение, что возобновить поиски *расо* можно будет лишь с наступлением весны, а сейчас лучше повернуть назад, укрыться от бурь, снова направиться вдоль берега вверх, в Бразилию, в приветливую теплую страну, провести там в благодатном климате зиму, подправить суда и дать отдохнуть команде, прежде чем весной двинуться на юг. Это был бы самый простой путь, самый человечный образ действий.

Но Магеллан зашел слишком далеко, чтобы повернуть назад. Слишком долго он, сам обманутый, обманывал других, уверяя, что знает новый, кратчайший путь к Молуккским островам. Слишком сурово расправился он с теми, кто дерзнул хоть слегка усомниться в его тайне; он оскорбил испанских офицеров, он в открытом море отрешил от должности знатного королевского чиновника и обошелся с ним, как с преступником. Все это может быть оправдано только огромным, решающим успехом. Ведь и капитаны и экипаж ни одного часа, ни одной минуты дольше не согласились бы ему повиноваться, если бы он не то что признал — об этом не может быть и речи, — а хотя бы намеком дал им понять, что далеко не так уверен в удачном исходе дела, как там, на родине, когда он давал обещания их королю; последний юнга отказался бы снимать перед ним шапку.

Для Магеллана уже нет возврата: в минуту, когда он велел бы повернуть руль и взять курс на Бразилию, он из начальника своих офицеров превратился бы в их пленника. Вот почему он принимает отважное решение. Подобно Кортесу, который в том же году сжег все суда своей флотилии, дабы лишить своих воинов возможности вернуться, Магеллан решает задержать корабли и экипаж в столь отдаленном месте, что даже если бы они и захотели, у них уже не было бы возможности принудить его к возвращению. Если затем, весной, он найдет пролив — дело выиграно. Не найдет — все пропало: среднего пути для Магеллана нет. Только упорство может даровать ему силу, только отвага — спасти его. И снова этот непостижимый, но все учитывающий человек готовится в тиши к решительному удару.

Тем временем бури день ото дня все яростней, уже по-зимнему набрасываются на корабли. Флотилия едва продвигается вперед. Целых два месяца потребовалось на то, чтобы пробиться на каких-нибудь двенадцать градусов дальше к югу.

Наконец 31 марта на пустынном побережье снова открывается залив. Первый взгляд адмирала таит в себе его последнюю надежду. Не ведет ли этот залив вглубь, не он ли и есть заветный *пасо*? Нет, это закрытая бухта. Тем не менее Магеллан велит войти в нее. А так как уже из беглого осмотра явствует, что здесь нет недостатка в ключевой воде и рыбе, он отдает приказ спустить якоря. И к великому своему изумлению, а быть может, и испугу, капитаны и команда узнают, что их адмирал (никого не предупредив, ни с кем не посоветовавшись) решил расположиться на зимовку здесь, в бухте Сан-Хулиан, в этом никому не ведомом, необитаемом заливе, лежащем на сорок девятом градусе южной широты, одном из самых мрачных и пустынных мест земного шара, где никогда не бывал еще ни один мореплаватель.

МЯТЕЖ

2 апреля 1520 г. — 7 апреля 1520 г.

В морозной темнице, в далеком, омраченном низко нависшими тучами заливе Сан-Хулиан обострившиеся отношения неминуемо должны были привести к еще более резким столкновениям, чем в открытом море. И ничто разительнее не свидетельствует о непоколебимой твердости Магеллана, как то, что он перед лицом столь тревожного настроения команды не устрасился мероприятия, которое неизбежно должно было усилить уже существующее недовольство. Магеллан один из всех знает, что в благодатные тропические страны флотилия в лучшем случае попадет через много месяцев; поэтому он отдает приказ экономнее расходовать запасы продовольствия и сократить ежедневный рацион. Фантастически смелый поступок: там, на краю света, в первый же день обозлить и без того уже раздраженный экипаж приказом о сокращении выдачи хлеба и вина.

И действительно, только эта энергичная мера спасла впоследствии флотилию. Никогда бы она не выдержала знаменитого стодневного плавания по Тихому океану, не будь сохранен в неприкосновенности определенный запас провианта. Но команда, глубоко равнодушная к неизвестному ей замыслу, совсем не расположена покорно принять такое ограничение. Инстинкт — и достаточно здравый — подсказывает изнуренным матросам, что даже если это плавание вознесет до небес их адмирала, то по меньшей мере три четверти из них расплатятся за его торжество бесславной гибелью от морозов и голода, непосильного труда и лишений. Если не хватает продовольствия, ропщут они, надо повернуть назад; и так уж они продвинулись дальше на юг, чем кто бы то ни было. Никто не сможет упрекнуть их на родине, что они не выполнили своего долга. Несколько человек уже погибли от холода, а ведь они нанимались в экспедицию на Молуккские острова, а не в Ледовитый океан.

На эти крамольные слова тогдашние летописи заставляют

Магеллана отвечать речью, плохо вяжущейся со сдержанным, лишенным пафоса языком этого человека и слишком отдающей Плутархом и Фукидидом, чтобы быть достоверной. Он изумлен тем, что они, кастильцы, проявляют такую слабость, забывая, что предприняли это плавание единственно, чтобы послужить своему королю и своей родине. Когда, говорит он далее, ему поручили командование, он рассчитывал найти в своих спутниках дух мужества, издревле вдохновлявший испанский народ. Что касается его самого — он решил лучше умереть, чем с позором вернуться в Испанию. Итак, пусть они терпеливо дожидаются, пока пройдет зима; чем большими будут лишения, тем щедрее отблагодарит их потом король.

Но никогда еще красивые слова не укрощали голодный желудок. Не красноречие спасает Магеллана в тот критический час, а твердость принятого им решения не поддаваться, не идти ни на малейшие уступки. Сознательно вызывает он противодействие, чтобы тотчас железной рукой сломить его; лучше сразу пойти на решающее объяснение, чем томительно долго его откладывать! Лучше ринуться навстречу тайным врагам, чем ждать, пока они прижмут тебя к стене!

Что такое решающее объяснение должно последовать, и к тому же в ближайшее время, Магеллан от себя не скрывает. Слишком усилилось за последние недели напряжение, создаваемое безмолвной, пристальной взаимной слежкой, угрюмым молчанием Магеллана и капитанов; слишком невыносима эта взаимная холодная отчужденность — день за днем, час за часом на борту одного и того же тесного судна. Когда-нибудь это молчание должно наконец разрядиться в бурном возмущении или в насилии.

Виноват в этом опасном положении скорее Магеллан, чем испанские капитаны, и слишком уж дешев обычный прием — изображать непокорных Магеллану офицеров сворой бесчестных предателей, всегдашних завистников и врагов гения. В ту критическую минуту капитаны флотилии были не только

вправе, но были обязаны требовать от него раскрытия его дальнейших намерений, ибо дело шло не только об их собственных жизнях, но и о жизнях вверенных им королем людей. Если Карл V назначил Хуана де Картахену, Луиса де Мендоса и Антонио де Кока на должность надзирающих за флотилией чиновников, то вместе с их высоким званием он возложил на них и определенную ответственность. Их дело — следить за сохранностью королевского достояния, пяти судов флотилии, и защищать их, если они подвергнутся опасности. А теперь им действительно грозит опасность, смертельная опасность.

Прошли многие месяцы — Магеллан не отыскал обещанного пути, не достиг Молуккских островов. Следовательно, ничего нет оскорбительного, если, перед лицом очевидной беспомощности Магеллана, принявшие присягу и получающие жалованье королевские чиновники требуют наконец, чтобы он хоть частично доверил им свою великую тайну, раскрыл перед ними свои карты. То, чего требовали капитаны, было в порядке вещей: начальнику экспедиции пора наконец покончить с этой игрой в прятки, пора сесть с ними за стол и совместно обсудить вопрос о дальнейшем курсе, как впоследствии резюмирует их требования дель Кано в протоколе*: «Que tomase consejo con sus oficiales y que diese la derrota a donde queria ir»**.

Но злосчастный Магеллан — в этом и его вина, и его страдание — не может раскрыть свои карты, не будучи вполне уверен, что козырь действительно у него в руках. Он не может для своего оправдания представить портулан Мартина Бехайма, потому что там *raso* ошибочно отмечен на сороковом градусе южной широты. Не может, после того как он отстранил от должности Хуана де Картахену, признать: «Я был обманут ложными сообщениями, и я обманул вас». Не может допустить вопросов о местонахождении пресловутого *raso*, потому что

* Речь идет о показаниях, данных дель Кано по возвращении в Севилью.

** Пусть держит со своими офицерами совет, и сообщит им путь, и скажет, куда намерен идти (*исп.*).

сам все еще не знает ответа. Он должен притвориться слепым, глухим, должен прикусить язык и только держать наготове крепко стиснутый кулак на случай, если это назойливое любопытство станет для него угрожающим.

В общем, положение таково: королевские чиновники решили во что бы то ни стало добиться объяснения от упорно молчащего адмирала и потребовать у него отчета о его дальнейших намерениях. А Магеллан, чьи счета не сойдутся, куда *расо* не будет найден, не может допустить, чтобы его принудили отвечать и объясняться, иначе доверие к нему и его авторитет погибли.

Итак, совершенно очевидно: на стороне офицеров — право, на стороне Магеллана — необходимость. Если они теперь так настойчиво теснят его, то их напор не праздное любопытство, а долг.

К их чести нужно сказать, что не из-за угла, не предательски напали они на Магеллана. Они в последний раз дают ему понять, что их терпение истощилось, и Магеллану, если бы он захотел, нетрудно было понять этот намек.

Чтобы загладить обиду, нанесенную капитанам его самовластным распоряжением, Магеллан решает сделать учтивый жест: он официально приглашает их прослушать вместе с ним пасхальную заутреню и затем отобедать на флагманском судне.

Но испанских дворян такой дешевой ценой не купишь, одним обедом от них не отделаешься. Сеньор Фернандо де Магальянш, единственно своими рассказами добившийся звания кавалера ордена Сант-Яго, в течение девяти месяцев ни разу не удостоил опытных моряков и королевских чиновников беседы о положении флотилии: теперь они, вежливо поблагодарив, отказываются от этой неожиданной милости — праздничной трапезы. Вернее, они даже не благодарят, считая и такое более чем сдержанное изъявление вежливости излишним. Не давая себе труда ответить отказом, три капитана — Гаспар Кесада, Луис де Мендоса, Антонио де Кока — попросту пропустили мимо ушей приглашение адмирала.

Незанятыми остаются приготовленные стулья, нетронуты-

ми яства. В мрачном одиночестве сидит Магеллан за накрытым столом вместе со своим двоюродным братом Алваро де Мескитой, которого он собственной властью назначил капитаном, и, верно, его не очень тешит эта задуманная как праздник мира пасхальная трапеза. Своим появлением все три капитана открыто бросили вызов. Во всеуслышанье заявили ему: «Тетива туго натянута! Берегись — или одумайся!»

Магеллан понял предостережение. Но ничто не может смутить этого человека с железными нервами. Спокойно, ничем не выдавая своей обиды, сидит он за столом с Алваро де Мескитой, спокойно отдает на борту обычные приказы, спокойно, распростерши свое крупное, грузное тело, готовится отойти ко сну. Вскоре гаснут все огни; неподвижно, словно огромные черные задремавшие звери, стоят пять кораблей в туманном заливе; с борта одного из них лишь с трудом можно различить очертания другого, так глубок мрак этой по-зимнему долгой ночи под затянутым тучами небом.

В непроглядной тьме не видно, за шумом прибоя не слышно, как около полуночи от одного из кораблей тихо отделяется шлюпка и бесшумными взмахами весел продвигается к «Сан-Антонио». Никто и не подозревает, что в этой осторожно, словно челн контрабандиста, скользящей по волнам шлюпке притаились королевские капитаны — Хуан де Картахена, Гаспар Кесада и Антонио де Кока.

План трех действующих сообща офицеров разработан умно и смело. Они знают: чтобы одолеть такого отважного противника, как Магеллан, нужно обеспечить себе значительное превосходство сил. И это численное превосходство предусмотрел Карл V: при отплытии только один из кораблей — флагманское судно Магеллана — был доверен португальцу, а в противовес этому испанский двор мудро поручил командование остальными четырьмя судами испанским капитанам. Правда, Магеллан самовольно опрокинул это установленное желанием императора соотношение, отняв под предлогом «ненадежности» сначала у Хуана де Картахены, а затем у Антонио де Кока командование «Сан-Антонио» и передав

командование этим судном, первым по значению после флагманского, своему двоюродному брату Алваро де Меските.

Твердо держа в руках два самых крупных корабля, он при критических обстоятельствах и в военном отношении будет главенствовать над флотилией. Имеется, следовательно, только одна возможность сломить его сопротивление и восстановить преуказанный императором порядок: как можно скорее захватить «Сан-Антонио» и каким-нибудь бескровным способом обезвредить незаконно назначенного капитаном Алваро де Мескиту. Тогда соотношение будет восстановлено, и они смогут заградить Магеллану выход из залива, покуда он не соблаговолит дать королевским чиновникам все нужные им объяснения.

Отлично продуман этот план и не менее тщательно выполнен испанскими капитанами. Бесшумно подбирается шлюпка с тридцатью вооруженными людьми к погруженному в дремоту «Сан-Антонио», на котором — кто здесь в бухте помышляет о неприятеле? — не выставлена ночная вахта.

По веревочным трапам взбираются на борт заговорщики во главе с Хуаном де Картахеной и Антонио де Кока. Бывшие командиры «Сан-Антонио» и в темноте находят дорогу к капитанской каюте: прежде чем Алваро де Мескита успевает вскочить с постели, его со всех сторон обступают вооруженные люди; мгновение — он в кандалах и уже брошен в каморку судового писаря. Только теперь просыпаются несколько человек; один из них — кормчий Хуан де Элорьяга — чует измену. Грубо спрашивает он Кесаду, что ему понадобилось ночью на чужом корабле. Но Кесада отвечает шестью молниеносными ударами кинжала, и Элорьяга падает, обливаясь кровью. Всех португальцев на «Сан-Антонио» заковывают в цепи; тем самым выведены из строя надежнейшие приверженцы Магеллана, а чтобы привлечь на свою сторону остальных, Кесада приказывает отпереть кладовые и дозволяет матросам наконец-то вволю наесться и напиться.

Итак, если не считать досадного происшествия — удара кинжалом, придавшего этому налету характер кровавого мя-

тежа, — дерзкая затея испанских капитанов полностью удалась. Хуан де Картахена, Кесада и де Кока могут спокойно возвратиться на свои суда, чтобы в крайнем случае привести их в боевую готовность; командование «Сан-Антонио» поручается человеку, имя которого здесь появляется впервые, — Себастьяну дель Кано. В этот час он призван помешать Магеллану в осуществлении заветной мечты; настанет другой час, когда его, именно его изберет судьба для завершения великого дела Магеллана.

Потом корабли опять недвижно, словно огромные черные дремлющие звери, покоятся в туманном заливе. Ни звука, ни огонька; догадаться о том, что произошло, невозможно.

По-зимнему поздно и неприветливо брезжит рассвет в этом угрюмом крае. Все так же недвижно стоят пять судов флотилии на том же месте в морозной темнице залива. Ни по какому внешнему признаку не может догадаться Магеллан, что верный его друг и родственник, что все находящиеся на борту «Сан-Антонио» португальцы закованы в цепи, а вместо Мескиты судном командует мятежный капитан.

На мачте развевается тот же вымпел, что и накануне, издали все выглядит по-прежнему, и Магеллан велит начать обычную работу: как всегда по утрам, он посылает с «Тринидад» лодку к берегу, чтобы доставить оттуда дневной рацион дров и воды для всех кораблей. Как всегда, лодка сначала подходит к «Сан-Антонио», откуда регулярно каждый день отряжают на работу по нескольку матросов. Но странное дело: на этот раз, когда лодка приближается к «Сан-Антонио», с борта не спускают веревочного трапа, ни один матрос не показывается, а когда гребцы сердито кричат, чтобы там, на палубе, пошевелились, им сообщают ошеломляющую весть: на этом корабле не подчиняются приказам Магеллана, а повинуются только капитану Гаспару Кесаде. Ответ слишком необычен, и матросы гребут обратно, чтобы обо всем доложить адмиралу.

Он сразу уясняет себе положение: «Сан-Антонио» в руках мятежников. Магеллана перехитрили. Но даже это убийственное известие не в состоянии хотя бы на минуту ускорить биение его пульса, затемнить здравость его суждений. Прежде всего необходимо учесть размер опасности: сколько судов еще за него, сколько против? Без промедления посылает он ту же шлюпку от корабля к кораблю. За исключением незначительного «Сант-Яго», все три корабля — «Сан-Антонио», «Консепсьон», «Виктория» — оказываются на стороне бунтовщиков. Итак, три против двух, или, вернее, три против одного — «Сант-Яго» не может считаться боевой единицей.

Казалось бы, партию надо считать проигранной, всякий другой прекратил бы игру. За одну ночь погибло дело, которому Магеллан посвятил несколько лет своей жизни. С одним только флагманским судном он не в состоянии продолжать плавание в неведомую даль, а от остальных кораблей он не может ни отказаться, ни принудить их к повиновению. В этих водах, которых никогда еще не касался киль европейского судна, помощи ждать неоткуда. Лишь две возможности остаются Магеллану в этом ужасающем положении: первая — логическая ввиду численного превосходства врага, в сущности, сама собой разумеющаяся — преодолеть свое упорство и пойти на примирение с испанскими капитанами; и затем вторая — совершенно абсурдная, но героическая: поставить все на карту и, несмотря на полную безнадежность, попытаться нанести мощный ответный удар, который принудит бунтовщиков смириться.

Все говорит за первое решение — за то, чтобы пойти на уступки. Ведь мятежные капитаны еще не посягнули на жизнь адмирала, не предъявили ему определенных требований. Невдвигно стоят их корабли, пока что от них не приходится ждать вооруженного нападения. Испанские капитаны, несмотря на свое численное превосходство, тоже не хотят за многие тысячи миль от родины начать бессмысленную братоубийственную войну. Слишком памятна им присяга в Севильском соборе, слишком хорошо известна позорная кара за мятеж и дезертир-

ство. Облеченные королевским доверием дворяне Хуан де Картахена, Луис де Мендоса, Гаспар Кесада, Антонио де Кока хотят возвратиться в Испанию с почетом, а не с клеймом предательства, поэтому они не подчеркивают своего перевеса, а с самого начала заявляют о готовности вступить в переговоры. Не кровавую распря хотят они начать захватом «Сан-Антонио», а только оказать давление на адмирала, принудить упорного молчаливника наконец объявить им дальнейший путь следования королевской флотилии.

Вот почему письмо, которое уполномоченный мятежных капитанов Гаспар Кесада посылает Магеллану, отнюдь не является вызовом, а, напротив, смиренно озаглавлено «Suplicacion», то есть «Прошение», составленное в учтивейших выражениях, оно начинается с оправдания совершенного ночью налета. Только дурное обращение Магеллана, гласит это письмо, принудило их захватить корабль, начальниками которого их назначил сам король. Но пусть адмирал не истолковывает этот поступок как отказ признавать пожалованную ему королем верховную власть над флотилией. Они только требуют лучшего обхождения в дальнейшем, и, если он согласен выполнить это справедливое пожелание, они будут служить ему не только послушно, как того требует долг, но и с глубочайшим почтением. (Письмо написано таким неимоверно напыщенным слогом, что дать точный перевод его невозможно.) «Y si Hasta alli le habian llamado de merced, dende en adelante le llamarian de senoria y le besarian pies y manos»*. При наличии несомненного военного превосходства на стороне испанских капитанов это предложение весьма заманчиво. Но Магеллан уже давно избрал другой, героический путь. От его проницательного взора не ускользнуло слабое место противника — неуверенность в себе. По тону их послания он догадался, что в глубине души главари мятежа не решаются довести дело до крайности; в этом колебании, при их численном пре-

*И как доселе просили его о милости, так и впредь умоляют о покровительстве, лобызая руки и ноги (*исп.*).

восходстве, он увидел единственное слабое место в позиции испанских капитанов. Если использовать этот шанс, нанести молниеносный удар, быть может, дело примет иной оборот. Одним смелым ходом будет выиграна партия, казалось бы, уже потерянная.

Однако — приходится это снова отметить и подчеркнуть — Магелланову понятию смелости присущ совершенно особый оттенок. Действовать смело — для него не значит рубить сплеча, стремительно бросаться вперед, а напротив: с величайшей осторожностью и обдуманностью браться за беспрецедентное по своей смелости начинание. Дерзновеннейший замысел Магеллана всегда, подобно добротной стали, сначала выковывается на огне страстей, а потом закаляется во льду трезвого размышления, и все опасности он преодолевает именно благодаря этому соединению фантазии и рассудочности.

Его план готов в одну минуту, остальное время понадобится лишь на то, чтобы точно учесть детали. Магеллану ясно: он должен сделать то же, что сделали его капитаны, — должен завладеть хотя бы одним судном, чтобы снова получить перевес. Но как легко далось это бунтовщикам и как трудно придется Магеллану! Они под покровом ночи напали на ничего не подозревающих людей. Спал капитан, спала команда. Никто не готовился к обороне, ни у кого из матросов не было оружия под рукой. Но теперь, среди бела дня... Недоверчиво следят мятежные капитаны за каждым движением на флагманском судне. Пушки и бомбардиры приведены в боевую готовность, аркебузы заряжены; мятежникам слишком хорошо известно мужество Магеллана, они считают его способным на самый отчаянный шаг.

Но им известно только его мужество, его изворотливости они не знают. Они не подозревают, что этот молниеносно все учитывающий человек отважится на невероятное — напасть среди бела дня с горстью людей на три превосходно вооруженных судна. Гениальным маневром было уже то, что объектом дерзновенного удара он намечает не «Сан-Антонио», где томится в цепях его двоюродный брат Мескита. Ведь там, разу-

меется, скорее всего ждут нападения. Но именно потому, что удара ждут справа, Магеллан бьет слева, — не по «Сан-Антонио», а по «Виктории».

Контратака Магеллана блестяще продумана вплоть до мельчайших подробностей. Прежде всего он задерживает шлюпку и матросов, передавших ему составленное Кесадой «прошение», предлагающее вступить в переговоры.

Этим он достигает двух целей: во-первых, в случае вооруженного столкновения ряды бунтовщиков будут ослаблены хотя бы на несколько человек, а во-вторых, благодаря этому мгновенно осуществляемому захвату в его распоряжении уже не одна шлюпка, а две, и это на первый взгляд ничтожное преимущество вскоре окажет решающее воздействие на ход событий.

Теперь он, оставив шлюпку «Тринидад» в резерве, может на шлюпке, захваченной у мятежников, отправить беззаветно преданного ему каптенармуса, альгвасила флота Гонсало Гомеса де Эспиноса с пятью матросами на «Викторию» — передать капитану Луису де Мендоса ответное письмо.

Не чуя опасности, следят мятежники со своих превосходно вооруженных судов за приближением крохотной шлюпки. Никаких подозрений у них не возникает. Разве могут шестеро людей, сидящих в этой шлюпке, напасть на «Викторию» с ее шестью десятками вооруженных матросов, множеством заряженных бомбард и опытным капитаном Луисом де Мендоса? Да и как им догадаться, что под камзолами у этих шестерых спрятано оружие и что Гомесу де Эспиноса дано особое задание? Неспешно, совсем неспешно, с нарочитой, тщательно обдуманной медлительностью — каждая секунда рассчитана — взбирается он со своими пятью воинами на борт и вручает капитану Луису де Мендоса письменное приглашение явиться для переговоров на флагманский корабль.

Мендоса читает письмо. Но ему слишком памятна сцена, в свое время разыгравшаяся на «Тринидад», когда Хуан де Картахена внезапно был схвачен как преступник. Нет, Луис де Мендоса не будет таким глупцом, чтобы дать заманить себя в

ту же ловушку. «Э, нет, тебе меня не заполучить», «No te pillarás allá», — со смехом говорит он, читая письмо. Но смех переходит в глухое клокотанье — кинжал альгвасила пронзил ему горло.

В эту критическую минуту — можно только поражаться, с какой фантастической точностью Магеллан заранее рассчитал каждый метр, каждый взмах весел, необходимый на то, чтобы добраться с одного корабля до другого, — на борт «Виктории» поднимаются пятнадцать с головы до ног вооруженных воинов во главе с Дуарте Барбоса, подплывшие на другой шлюпке. Команда в остолбенении глядит на бездыханное тело своего капитана, которого Эспиноса прикончил одним ударом. Не успели они осмыслить происшедшее и принять какое-либо решение, как Дуарте Барбоса уже взял на себя командование, его люди уже заняли важнейшие посты, вот он уже отдает приказания, и оробевшие моряки испуганно повинуются ему. Мгновенно поднят якорь, поставлены паруса — и прежде чем на двух мятежных судах поняли, что гром грянул с ясного неба, «Виктория», в качестве законной добычи адмирала, уже направилась к флагманскому судну. Три корабля — «Тринидад», «Виктория» и «Сант-Яго» — стоят теперь против «Сан-Антонио» и «Консепсьон» и, заграждая выход в открытое море, лишают бунтовщиков возможности спастись бегством.

Благодаря этому стремительному маневру чаша весов одним рывком взметнулась вверх, партия, уже потерянная, была выиграна. В какие-нибудь пять минут испанские капитаны утратили превосходство; теперь им представляется три возможности: бежать, бороться или сдаться без боя. Бегство адмирал сумел предупредить, заперев своими тремя кораблями выход из залива. Бороться они уже не могут: внезапный удар Магеллана сокрушил мужество его противников. Тщетно старается Гаспар де Кесада, в полном вооружении, с копьём в одной руке и мечом в другой, призвать экипаж к борьбе. Перепуганные матросы не решаются следовать за ним, и стоит только шлюпкам с людьми Магеллана вплотную подойти к

борту, как всякое сопротивление на «Сан-Антонио» и «Консепсьон» прекращается. Пробывший несколько часов в заключении Алваро де Мескита вновь получает свободу; в те самые цепи, которыми был унижен верный соратник Магеллана, теперь заковывают мятежных капитанов.

Быстро, как летняя гроза, разрядилось напряжение; первая же вспышка молнии расщепила мятеж до самого корня. Но возможно, что эта открытая борьба была лишь наиболее легкой частью задачи, ибо, согласно морским и военным законам, виновные обязательно должны понести суровую кару. Мучительные сомнения обуревают Магеллана. Королевский приказ даровал ему безусловное право вершить правосудие, решать вопрос о жизни и смерти. Но ведь главари мятежа облечены, как и он сам, королевским доверием.

Во имя сохранения своего авторитета ему надлежало бы теперь беспощадно расправиться с восставшими. Но в то же время он не может покарать всех мятежников. Ибо как продолжать путь, если, согласно военным законам, пятая часть всей команды будет вздернута на реи? За тысячи миль от родины, в пустынном краю адмирал флотилии не может лишиться нескольких десятков рабочих рук; следовательно, ему нужно и дальше везти виновных с собой, хорошим обращением снова привлечь их на свою сторону, а вместе с тем запугать их зрелищем примерного наказания.

Магеллан решается для острастки и поддержки неоспоримости своего авторитета пожертвовать одним человеком, и его выбор падает на единственного, кто обнажал оружие, — на капитана Гаспара Кесаду, нанесшего смертельную рану его верному кормчему Элорьяге.

Торжественно начинается этот вызванный крайней необходимостью процесс: призваны писцы — *escribейros*, показания свидетелей заносятся в протокол; так же пространно и педантично, как если б это происходило в судебной палате Севильи или Сарагосы, исписывают они в пустынных просторах Патагонии лист за листом драгоценной здесь бумаги. На

«ничьей земле» открывается заседание суда; председатель Мескита предъявляет бывшему капитану королевской армады Гаспару Кесаде обвинения в убийстве и мятежных действиях, а Магеллан выносит приговор: Гаспар Кесада присуждается к смертной казни, и единственная милость, которую адмирал оказывает испанскому дворянину, состоит в том, что орудием казни будет не веревка — *garrottá*, а меч.

Но кому же быть палачом? Вряд ли кто-нибудь из команды пойдет на это добровольно. Наконец палача удается найти, правда, страшной ценой. Слуга Кесады тоже приложил руку к убийству Элорьяги и тоже приговорен к смертной казни. Ему предлагают помилованье, если он согласится обезглавить Кесаду. Вероятно, альтернатива — быть казненным самому или казнить своего господина — причинила Луису де Молино, слуге Кесады, тяжкие душевные муки. Но в конце концов он соглашается. Ударом меча он обезглавливает Кесаду, тем самым спасая собственную голову. По гнусному обыкновению тех времен, труп Кесады, как и труп ранее убитого Мендосы, четвертуют, а изуродованные останки натывают на шесты; этот страшный обычай Тауэра и других лобных мест Европы впервые переносится на почву Патагонии.

Но еще и другой приговор предстоит вынести Магеллану — и кто может сказать, будет ли он более мягким или более жестоким, чем казнь через обезглавливание? Хуан де Картахена, собственно зачинщик мятежа, и один из священников, все время разжигавший недовольство, тоже признаны виновными. Но тут даже у Магеллана, при всей его отваге, не поднимается рука подписать смертный приговор. Не может королевский адмирал передать в руки палача того, кто самим королем приравнен к нему в качестве *conjuncta persona*. К тому же Магеллан, как набожный католик, никогда не возьмет на душу тяжкий грех — пролить кровь пастыря, принявшего помазание священным елеем. Заковать обоих зачинщиков в кандалы и таскать их с собой вокруг света тоже не представляется возможным, и Магеллан уклоняется от решения, присудив Картахену и священника к изгнанию из

королевской флотилии. Когда настанет время снова поднять паруса, оба они, снабженные некоторым количеством вина и съестных припасов, будут оставлены на пустынном берегу бухты Сан-Хулиан, а затем — пусть решает Господь, жить им или умереть.

Прав ли был Магеллан или не прав, когда он вынес в бухте Сан-Хулиан этот беспощадный приговор? Заслуживают ли безусловного доверия составленные под наблюдением его двоюродного брата Мескиты судебные протоколы, которые ничего не приводят в оправдание виновных? Но, с другой стороны, правдивы ли позднейшие показания испанских капитанов, данные уже в Севилье и утверждающие, будто Магеллан в награду за злодейское убийство Мендосы уплатил альгвасилу и сопровождающим его матросам двенадцать дукатов и, сверх того, выдал им все имущество обоих умерщвленных дворян?

Магеллана к тому времени уже не было в живых, опровергнуть эти показания он не мог. Почти каждое событие уже мгновение спустя после того, как оно свершилось, может быть истолковано по-разному, и если история впоследствии и оправдала Магеллана, то не надо забывать, что она обычно оправдывает победителя и осуждает побежденных. Геббель однажды обмолвился проникновенным словом: «Истории безразлично, как совершаются события. Она становится на сторону тех, кто творит великие дела и достигает великих целей». Не найди Магеллан *raso*, не соверши он своего подвига, умерщвление возражавших против его опасного предприятия капитанов расценивалось бы как обыкновенное убийство. Но так как Магеллан оправдал себя подвигом, стяжавшим ему бессмертие, то бесславно погибшие испанцы были преданы забвению, а суровость и непреклонность Магеллана — если не морально, то исторически — признаны правомерными.

Во всяком случае, кровавый приговор, вынесенный Магелланом, послужил опасным примером для самого гениального из его последователей и продолжателей, для Фрэнсиса Дрейка. Когда пятьдесят семь лет спустя отважному английскому мореплавателю и пирату в столь же опасном плавании угро-

жает столь же опасный бунт его команды, он, бросив якорь в той же злополучной бухте Сан-Хулиан, отдает мрачную дань своему предшественнику, повторяя его беспощадную расправу.

Фрэнсис Дрейк в точности знает все, что произошло во время Магелланова плавания, ему известны протоколы и жестокая расправа адмирала с мятежниками; по преданию, он даже нашел в этой бухте кровавую плаху, на которой пятьдесят семь лет назад был казнен один из главарей мятежа. Имя восставшего против Дрейка капитана — Томас Доути; подобно Хуану де Картахене, он во время плавания был закован в цепи, и — странное совпадение! — на том же побережье, в той же *puerto negro**, бухте Сан-Хулиан, и ему был вынесен приговор. И этот приговор также гласил: смерть. Разница лишь в том, что Фрэнсис Дрейк предоставляет своему бывшему другу мрачный выбор — принять, подобно Гаспару Кесаде, быструю и почетную смерть от меча или же, подобно Хуану де Картахене, быть покинутым в этом заливе.

Доути, тоже читавший историю Магелланова плавания, знает, что никто никогда уже не слышал больше о Хуане де Картахене и об оставленном вместе с ним священнике, — по всей вероятности, они погибли мучительной смертью, — и отдает предпочтение верной, но быстрой, достойной мужчины и воина смерти — через обезглавливание. Снова падает на песок отрубленная голова. Извечный рок, тяготеющий над человечеством, — почти все достопамятные деяния обогреты кровью, и совершить великое удастся только самым непреклонным из людей.

*Черная гавань (*исп.*).

ВЕЛИКОЕ МГНОВЕНИЕ

7 апреля 1520 г. — 28 ноября 1520 г.

Без малого пять месяцев удерживает холод флотилию в унылой, злосчастной бухте Сан-Хулиан. Томительно долго тянется время в этом страшном уединении, но адмирал, зная, что сильней всего располагает к недовольству безделье, с самого начала занимает матросов непрерывной, напряженной работой. Он приказывает осмотреть от киля до мачт и починить износившиеся корабли, нарубить деревьев, напилить досок. Придумывает, быть может, даже ненужную работу, лишь бы поддержать в людях обманчивую надежду, что вскоре возобновится плавание, что, покинув унылую морозную пустыню, они направятся к благодатным островам Южного моря.

Наконец появляются первые признаки весны. В эти долгие, по-зимнему пасмурные, мгlistые дни морякам казалось, что они затеряны в пустыне, не населенной ни людьми, ни животными, и вполне понятное чувство страха — прозябать здесь, вдали от всего человеческого, подобно пещерным жителям, еще больше омрачало их дух.

И вдруг однажды утром на прибрежном холме показывается какая-то странная фигура — человек, в котором они поначалу не признают себе подобного, ибо в первую минуту испуга и изумления он кажется им вдвое выше обычного человеческого роста. «*Duobus humanam superantes staturam*»*, — пишет о нем Петр Ангиерский, а Пигафетта подтверждает его свидетельство словами: «Этот человек отличался таким гигантским ростом, что мы едва достигали ему до пояса. Был он хорошо сложен, лицо у него было широкое, размалеванное красными полосами; вокруг глаз нарисованы желтые круги, а на щеках — два пятна в виде сердца. Короткие волосы выбелены, одежда состояла из искусно сшитых шкур какого-то животного». Особенно дивились испанцы невероятно большим ногам этого исполинского человекообразного чудища, в

*Рост его вдвое превосходил человеческий (лат.).

честь этого «великононогого» — «patagão» — они стали называть туземцев патагонцами, а их страну — Патагонией.

Но вскоре страх перед сыном Еноха рассеивается. Облаченное в звериные шкуры существо приветливо ухмыляется, широко расставляя руки, приплясывает и поет и при этом непрерывно посыпает песком волосы. Магеллан, еще по прежним своим путешествиям несколько знакомый с нравами первобытных народов, правильно истолковывает эти действия как попытки к мирному сближению и велит одному из матросов подобным же образом плясать и также посыпать себе голову песком. На потеху усталым морякам дикарь и вправду принимает эту пантомиму за дружественное приветствие и доверчиво приближается.

Теперь, как в «Буре», Тринкуло и его товарищи обрели наконец своего Калибана; впервые за долгий срок бедным истосковавшимся матросам представляется случай развлечься и вволю посмеяться. Ибо когда добродушному великану неожиданно суют под нос металлическое зеркальце, он, впервые увидев в нем собственное лицо, от изумления стремительно отскакивает и сшибает с ног четверых матросов. Аппетит у него такой, что матросы, глядя на него, от изумления забывают о скудности собственного рациона. Вытаращив глаза, наблюдают они, как новоявленный Гаргантюа залпом выпивает ведро воды и съедает на закуску полкорзины сухарей. А какой шум поднимается, когда он на глазах у изумленных и слегка испуганных зрителей живьем, даже не содрав шкуры, съедает несколько крыс, принесенных матросами в жертву его ненасытному аппетиту. С обеих сторон — между обжорой и матросами — возникает искренняя симпатия, а когда Магеллан вдобавок дарит ему две-три погремушки, тот спешит привести еще несколько великанов и даже великанш.

Но эта доверчивость окажется губительной для простодушных детей природы. Магеллан, как и Колумб, и все другие конквистадоры, получил от Casa de la Contratacion задание — привезти на родину по несколько экземпляров не только растений и минералов, но и всех неизвестных человеческих по-

род, какие ему придется встретить. Поймать живьем такого великана сперва кажется матросам столь же опасным, как схватить за плавник кита. Боязливо ходят они вокруг да около патагонцев, но в последнюю минуту у них каждый раз не хватает смелости. Наконец они пускаются на гнусную уловку.

Двум великанам суют в руки такое множество подарков, что им приходится всеми десятью пальцами удерживать добычу. А затем блаженно ухмыляющимся туземцам показывают еще какие-то на диво блестящие, звонко брякающие предметы — ножные кандалы — и спрашивают, не желают ли они надеть их на ноги. Лица бедных патагонцев расплываются в широчайшую улыбку; они усердно кивают головой, с восторгом представляя себе, как эти диковинные штуки будут звенеть и греметь при каждом шаге. Крепко держа в руках подаренные безделушки, дикари, согнувшись, с любопытством наблюдают, как к их ногам прилаживают блестящие холодные кольца, так весело бренчащие; но вдруг — дзень, и они в оковах. Теперь великанов можно без страха, словно мешки с песком, повалить наземь, в кандалах они уже не страшны.

Обманутые туземцы рычат, катаются по земле, брыкаются и — это название у них позаимствовал Шекспир — призывают на помощь свое божество, чародея Сетевоса. Но Casa de la Contratacion нужны диковинки. И вот, как оглушенных быков, волокут беззащитных великанов на суда, где им, по недостатку пищи, суждено вскоре захиреть и погибнуть. Вероломное нападение «культуртрегеров» одним ударом разрушило доброе согласие между туземцами и моряками. Отныне патагонцы чуждаются обманщиков, а когда испанцы однажды пускаются за ними в погоню с целью не то похитить, не то посетить нескольких великанш, — в этом месте рассказ Пигафетты удивительно сбивчив, — они отчаянно защищаются, и один из матросов расплачивается жизнью за эту затею.

Как туземцам, так и испанцам злополучная бухта Сан-Хулиан приносит одни лишь несчастья. Ничто здесь не удается Магеллану, ни в чем ему нет счастья, словно проклятие тяготеет над обогранным кровью берегом. «Только бы скорее от-

сюда, только бы скорее назад», — стонет команда. «Дальше, дальше, вперед», — мечтает Магеллан, и общее нетерпение растет, по мере того как дни становятся длиннее.

Едва только стихает ярость зимних бурь, как Магеллан уже делает попытку двинуться вперед. Самое маленькое, самое быстроходное из всех своих судов, «Сант-Яго», управляемое надежным капитаном Серрано, он посылает на разведку, словно голубя Ноева ковчега. Серрано поручено, плывя на юг, обследовать все бухты и по истечении известного срока вернуться с донесением. Быстро проходит время, и Магеллан спокойно и нетерпеливо начинает всматриваться в водную даль.

Но не с моря приходит весть о судьбе корабля, а с суши: однажды с одного из прибрежных холмов, пошатываясь и едва держась на ногах, спускаются какие-то две странные фигуры; сначала моряки принимают их за патагонцев и уже натягивают тетиву арбалетов. Но нагие, полузамерзшие, изнуренные голодом, изможденные, одичавшие люди-призраки кричат им что-то по-испански — это два матроса с «Сант-Яго». Они принесли дурную весть: Серрано достиг было большой, изобилующей рыбой реки с широким и удобным устьем, Рио де Санта-Крус, но во время дальнейших разведок судно выбросило штормом на берег. Оно разбилось в щепы. За исключением одного негра, вся команда спаслась и ждет помощи у Рио де Санта-Крус. Они вдвоем решили добраться вдоль берега до залива Сан-Хулиан и эти одиннадцать страшных дней питались исключительно травой и кореньями.

Магеллан немедленно высылает шлюпку. Потерпевшие крушение возвращаются в залив. Но что проку от людей — ведь погребло судно, быстроходное, лучше других приспособленное для разведки! Это первая утрата, и как всякая утрата, понесенная здесь, на другом конце света, она невозместима. Наконец 24 августа Магеллан велит готовиться к отплытию и, бросив последний взгляд на двух оставленных на берегу мятежников, покидает бухту Сан-Хулиан, в душе, вероятно, проклиная день, заставивший его бросить здесь якорь. Одно из

его судов погибло, три капитана простились тут с жизнью, а главное — целый год ушел безвозвратно, и ничего еще не сделано, ничего не найдено, ничего не достигнуто.

Должно быть, эти дни были самыми мрачными в жизни Магеллана, возможно, единственными, когда он, столь непоколебимо веривший в свое дело, втайне пал духом. Уже одно то, что при отплытии из залива Сан-Хулиан он с деланной твердостью заявляет о своем решении следовать, если понадобится, вдоль Патагонского побережья даже до семьдесят пятого градуса южной широты, и, только если и тогда соединяющий два океана пролив не будет найден, избрать обычный путь, мимо мыса Доброй Надежды, — уже одни эти оговорки «если понадобится» и «быть может» выдают его неуверенность.

Впервые Магеллан обеспечивает себе возможность отступления, впервые признается своим офицерам, что искомый пролив, быть может, вовсе и не существует или же находится в арктических водах. Он явно утратил внутреннюю убежденность, и вдохновенное предчувствие, заставившее его устремиться на поиски *passo*, теперь, в решающую минуту, оставляет его.

Вряд ли история когда-либо измышляла более издевательское, более нелепое положение, чем то, в котором очутился Магеллан, когда после двухдневного плавания ему снова пришлось остановиться, на этот раз у открытого капитаном Серрано устья реки Санта-Крус, и снова предписать судам два месяца зимней спячки. Ибо, с точки зрения современных, более точных географических данных, решение это совершенно бессмысленно.

Перед нами человек, движимый великим замыслом, но введенный в заблуждение туманными и вдобавок неверными сообщениями, который поставил целью всей своей жизни найти водный путь из Атлантического океана в Тихий и, таким образом, впервые совершить кругосветное плавание. Благодаря своей демонической воле он сокрушил противодействие материи, он нашел помощников для осуществления своего

почти невыполнимого плана; покоряющей силой своего замысла он побудил чужого монарха доверить ему флотилию и благополучно провел эту флотилию вдоль побережья Южной Америки до мест, которых ранее не достигал еще ни один мореплаватель. Он совладал с морской стихией и с мятежом. Никакие препятствия, никакие разочарования не могли сокрушить его фанатическую веру в то, что он находится уже совсем близко от этого *расо*, от этой цели всех своих стремлений.

И вот внезапно, перед самой победой, подернулся туманом вещей взор этого вдохновенного человека. Словно боги, невзлюбившие его, намеренно надели ему на глаза повязку. Ибо в тот день — 26 августа 1520 года, когда Магеллан приказывает флотилии снова лечь в дрейф на целых два месяца, он, в сущности, уже у цели. Только на два градуса широты нужно ему еще продвинуться к югу, только два дня пробыть в пути после трехсот с лишним дней плавания, только несколько миль пройти после того, как он уже оставил за собой тысячи, — и его смятенная душа преисполнилась бы ликования.

Но — злая насмешка судьбы! Несчастный не знает и не чувствует, как он близок к цели. В продолжение двух тоскливых месяцев, полных забот и сомнений, ждет он весны, ждет близ устья реки Санта-Крус, у пустынного, забытого людьми берега, уподобляясь человеку, в лютую метель остановившемуся, коченея от холода, у самых дверей своей хижины и не подозревающему, что стоит ему ощупью сделать один только шаг — и он спасен. Два месяца, два долгих месяца проводит Магеллан в этой пустыне, терзаясь мыслью, найдет ли он *расо* или нет, а всего в двух сутках пути его ждет пролив, который будет славить в веках его имя. До последней минуты человека, решившего, подобно Прометею, похитить у Земли ее сокровенную тайну, будет хищными когтями терзать жестокое сомнение.

Но тем прекраснее затем освобождение! Предельных вершин достигает только то блаженство, которое взметнулось вверх из предельных глубин отчаяния. 18 октября 1520 года,

после двух месяцев унылого и ненужного ожидания, Магеллан отдает приказ сняться с якоря. Отслуживается торжественная обедня, команда причащается и корабли на всех парусах устремляются к югу. Ветер снова яростно противоборствует им, пядь за пядью отвоевывают они у враждебной стихии.

Мягкая зелень все еще не ласкает взор. Пустынно, плоско, угрюмо и неприветливо простирается перед ними необитаемый берег: песок и голые скалы, голые скалы и песок... На третий день плавания, 21 октября 1520 года, впереди наконец обрисовывается какой-то мыс; у необычайно извилистого берега высятся белые скалы, а за этим выступом, в честь великомучениц, память которых праздновалась в этот день, названным Магелланом *Cabo de la Virgines* — мысом Дев, взору открывается глубокая бухта с темными, мрачными водами. Суда подходят ближе. Своеобразный, суровый и величественный ландшафт! Обрывистые холмы, с причудливыми, ломаными очертаниями, а вдали — уже более года невиданное зрелище! — горы с покрытыми снегом вершинами.

Но как безжизненно все вокруг! Ни одного человеческого существа, кое-где редкие деревья да кусты, и только неумолчный вой и свист ветра нарушает мертвую тишину этой прозрачно пустынной бухты. Угрюмо вглядываются матросы в темные глубины. Нелепостью кажется им предположение, что этот стиснутый горами, мрачный, как воды подземного царства, путь может привести к зеленому побережью или даже к *Mar del Sur* — к светлому, солнечному Южному морю.

Кормчие в один голос утверждают, что этот глубокий выем не что иное, как фьорд, такой же, какими изобилуют северные страны, и что исследовать эту закрытую бухту лотом или бороздить ее во всех направлениях — напрасный труд, бессельная трата времени. И без того уж слишком много недель потрачено на исследование всех этих патагонских бухт, а ведь ни в одной из них не нашелся выход в желанный пролив. Довольно уже проволочек! Скорее вперед, а если *estrecho**

*Пролив (*исп.*).

вскоре не покажется, надо воспользоваться благоприятным временем года и вернуться на родину или же, обычным путем огибая мыс Доброй Надежды, проникнуть в Индийское море.

Но Магеллан, подвластный своей навязчивой идее о существовании неведомого пути, приказывает избороздить вдоль и поперек и эту странную бухту. Без усердия выполняется приказ: куда охотнее они направились бы дальше, ведь все они думали и говорили, что это замкнутая со всех сторон бухта, *sergato tutto in torno*. Два судна остаются на месте — флагманское и «Виктория», чтобы обследовать прилегающую к открытому морю часть залива. Двум другим — «Сан-Антонио» и «Консепсьон» — дан приказ: как можно дальше проникнуть в глубь бухты, но возвратиться не позднее чем через пять дней. Время теперь стало дорого, да и провиант подходит к концу. Магеллан уже не в состоянии дать две недели сроку, как раньше, возле устья Ла-Платы. Пять дней на рекогносцировку — последняя ставка, все, чем он еще может рискнуть для этой последней попытки.

И вот наступило великое, драматическое мгновение. Два корабля Магеллана — «Тринидад» и «Виктория» — начинают кружить по передней части бухты, дожидаясь, пока «Сан-Антонио» и «Консепсьон» вернутся из разведки. Но вся природа, словно возмущаясь тем, что у нее хотят вырвать ее последнюю тайну, еще раз оказывает отчаянное сопротивление. Ветер крепчает, переходит в бурю, затем в неистовый ураган, часто свирепствующий в этих краях. На старинных испанских картах можно видеть предостерегающую надпись: «*No hay buenas estraciones*» — «Здесь нет хороших стоянок». В мгновение ока бухта вспенивается в беспорядочном, диком вихре, первым же шквалом все якоря срывает с цепей; беззащитные корабли с убранными парусами преданы во власть стихии. Счастье еще, что неослабевающий вихрь не гонит их на прибрежные скалы.

Сутки, двое суток длится это страшное бедствие. Но не о

собственной участи тревожится Магеллан: оба его корабля, хотя буря треплет и швыряет их, все же находятся в открытой части залива, где их можно удерживать на некотором расстоянии от берега. Но те два — «Сан-Антонио» и «Консепсьон»! Они захвачены бурей во внутренней части бухты, грозный ураган налетел на них в теснине, узком проходе, где нет возможности ни лавировать, ни бросить якорь, чтобы укрепиться. Если не свершилось чудо, они уже давно выброшены на сушу и на тысячи кусков разбились о прибрежные скалы.

Лихорадочное, страшное, нетерпеливое ожидание заполняет эти дни, роковые дни Магеллана. В первый день — никаких вестей. Второй — они не вернулись. Третий, четвертый — их все нет. А Магеллан знает: если оба они потерпели крушение и погибли вместе с командой, тогда все потеряно. С двумя кораблями он не может продолжить путь. Его дело, его мечта разбились об эти скалы.

Наконец возглас с марса. Но — ужас! — не корабли, возвращающиеся на стоянку, увидел дозорный, а столб дыма вдали. Страшная минута! Этот сигнал может означать только одно: потерпевшие крушение моряки взывают о помощи. Значит, погибли «Сан-Антонио» и «Консепсьон» — его лучшие суда, все его дело погибло в этой еще безымянной бухте. Магеллан уже велит спускать шлюпку, чтобы двинуться в глубь залива на помощь тем людям, которых еще можно спасти.

Но тут происходит перелом. Это мгновение такого же торжества, как в «Тристане», когда замирающий, скорбный, жалобный мотив смерти в пастушеском рожке внезапно взмывает кверху и перерождается в окрыленную, ликующую, кружащуюся в избытке счастья плясовую мелодию. Парус! Виден корабль! Хвала всевышнему, хоть одно судно спасено! Нет, оба, оба. И «Сан-Антонио» и «Консепсьон», вот они возвращаются, целые и невредимые. Но что это? На бакбортах подплывающих судов вспыхивают огоньки — раз, другой, третий, и горное эхо зычно вторит грому орудий. Что случилось? Почему эти люди, обычно берегущие каждую щепотку пороха, растрачивают его на многократные салюты? Почему —

Магеллан едва верит своим глазам — подняты все вымпелы, все флаги? Почему капитаны и матросы кричат, машут руками? Что их так волнует, о чем они кричат? На расстоянии он еще не может разобрать отдельных слов, никому еще не ясен их смысл. Но все — и прежде всех Магеллан — чувствуют: эти слова возвещают победу.

И правда, корабли несут благословенную весть. С радостно бьющимся сердцем выслушивает Магеллан донесение Серрано. Сначала обоим кораблям пришлось круто. Они зашли уже далеко в глубь бухты, когда разразился этот страшный ураган. Все паруса были тотчас убраны, но бурным течением суда несло все дальше и дальше, гнало в самую глубь залива; уже они готовились к бесславной гибели у скалистых берегов. Но вдруг, в последнюю минуту, заметили, что высящаяся перед ними скалистая гряда не замкнута наглухо, что за одним из утесов, сильно выступающим вперед, открывается узкий проток, подобие канала.

Этим протоком, где буря свирепствовала не так сильно, они прошли в другой залив, как и первый, сначала суживающийся, а затем вновь значительно расширяющийся. Трое суток плыли они, и все не видно было конца этому странному водному пути. Они не достигли выхода из него, но этот необычайный поток ни в коем случае не может быть рекой; вода в нем всюду солоноватая, у берега равномерно чередуются прилив и отлив. Этот таинственный поток не сужается, подобно Ла-Плате, по мере удаления от устья, но, напротив, расширяется. Чем дальше, тем шире стелется полноводный простор, глубина же его остается постоянной. Поэтому более чем вероятно, что этот канал ведет в вожделенное *Mag del Sur*, берега которого несколько лет назад открылись с панамских высот Нуньесу де Бальбоа, первому европейцу, достигшему этих мест.

Более счастливой вести так много выстрадавший Магеллан не получал за весь последний год. Можно только предполагать, как возликовало его мрачное, ожесточенное сердце при этом обнадеживающем известии! Ведь он уже начал колебаться, уже считался с возможностью возвращения через мыс До-

брой Надежды, и никто не знает, какие тайные мольбы и обеты возносил он, преклонив колена, к Богу и его святым угодникам. А теперь, именно в ту минуту, когда его вера начала угасать, заветный замысел становится реальностью, мечта претворяется в жизнь! Теперь ни минуты промедления! Поднять якоря! Распустить паруса! Последний залп в честь короля, последняя молитва покровителю моряков! А затем — отважно вперед, в лабиринт! Если из этих ахеронских вод он найдет выход в другое море — он будет первым, кто нашел путь вокруг земли! И со всеми четырьмя кораблями Магеллан храбро устремляется в этот пролив, в честь праздника, совпавшего с днем его открытия, названный им проливом *Todos los Santos**. Но грядущие поколения благодарно переименоуют его в Магелланов пролив.

Странное, фантастическое это, верно, было зрелище, когда четыре корабля впервые в истории человечества медленно и бесшумно вошли в безмолвный, мрачный пролив, куда испокон веков не проникал человек. Страшное молчание встречает их. Словно магнитные горы, на берегу чернеют холмы, низко нависло покрытое тучами небо, свинцом отливают темные воды: как Харонова ладья на стигийских волнах, тенями среди теней неслышно скользят четыре корабля по этому призрачному миру. Вдали сверкают покрытые снегом вершины, ветер доносит их ледяное дыхание. Ни одного живого существа вокруг, и все же где-то здесь должны быть люди, ибо в ночном мраке полыхают огни, почему Магеллан и назвал этот край *terra de Fuego* — Огненной Землей.

Эти никогда не угасающие огни наблюдались и впоследствии, на протяжении веков. Объясняются они тем, что находившимся на самой низкой ступени культуры туземцам стоило большого труда добывать огонь, и они день и ночь жгли в своих хижинах сухую траву и сучья. Но ни разу за все это время тоскливо озирающиеся по сторонам мореплаватели не слышат человеческого голоса, не видят людей: когда Магеллан однаж-

* Всех Святых (*исп.*).

ды посылает шлюпку с матросами на берег, они не находят там ни жилья, ни следов жизни, а лишь обиталище мертвых: десятков-другой заброшенных могил. Мертво и единственное обнаруженное ими животное — кит, чью исполинскую тушу волны прибили к берегу; лишь за смертью приплыл он сюда, в царство тлена и вечного запустения. Недоуменно вслушиваются люди в эту зловещую тишину.

Они словно попали на другую планету, вымерзшую, выжженную. Только бы вперед! Скорее вперед! И снова подгоняемые бризом корабли скользят по мрачным, не ведавшим прикосновения кия водам. Опять лот погружается в глубину и опять не достигает дна; и опять Магеллан тревожно осматривается вокруг: не сомкнутся ли вдали берега, не оборвется ли водная дорога? Однако нет, она тянется дальше и дальше, и все новые признаки возвещают, что этот путь ведет в открытое море. Но еще неизвестно, когда этот желанный миг наступит, еще неясен исход. Все дальше и дальше плывут они во тьме киммерийской ночи, напутствуемые непонятным и диким напевом ледяных ветров, завывающих в горах.

Но не только мрачно это плавание — оно и опасно. Открывшийся им путь нимало не похож на тот, воображаемый, прямой как стрела, пролив, который наивные немецкие космографы — Шенер, а до него Бехайм, — сидя в своих уютных комнатах, наносили на карты.

Вообще говоря, называть Магелланов пролив проливом можно только в порядке упрощающего дело эвфемизма. В действительности это запутаннейшее, беспорядочное сплетение излучин и поворотов, бухт, глубоких выемов, фьордов, песчаных банок, отмелей, перекрещивающихся протоков, и только при условии чрезвычайного умения в величайшей удаче суда могут благополучно пройти через этот лабиринт. Причудливо заостряются и снова расширяются эти бухты, неопределима их глубина, непонятно, как среди них лавировать — они усеяны островками, испещрены отмелями; поток зачастую разветвляется на три-четыре рукава, то вправо, то влево, и нельзя угадать, какой из них — западный, северный

или южный — приведет к желанной цели. Все время приходится избегать мелей, огибать скалы. Встречный ветер внезапными порывами проносится по беспокойному проливу, взвихривая волны, раздирая паруса.

Лишь по многочисленным описаниям позднейших путешественников можно понять, почему Магелланов пролив в продолжение столетий внушал морякам ужас. В нем «всегда со всех четырех концов света дует северный ветер», никогда не бывает тихой, солнечной погоды, благоприятствующей мореплаванию, десятками гибнут корабли последующих экспедиций в угрюмом проливе, берега которого и в наше время мало заселены. И то, что Магеллан, первым одолевший этот опасный морской путь, на долгие годы оставался и последним, кому удалось пройти его, не потеряв ни одного из своих кораблей, убедительнее всего доказывает, какого мастерства он достиг в искусстве кораблевождения. Если к тому же учесть, что его неповоротливым кораблям, приводимым в движение только громозкими парусами да деревянным рулем, приходилось, исследуя сотни артерий и боковых протоков, непрерывно крейсировать туда и обратно и затем снова встречаться в условленном месте, и все это в ненастное время года, с утомленной командой, то счастливое завершение его плавания по этому проливу тем более воспринимается как чудо, которое недаром прославляют все поколения мореходов.

Но как во всех областях, так и в искусстве кораблевождения подлинным гением Магеллана было его терпение, его неуклонная осторожность и предусмотрительность. Целый месяц проводит он в кропотливых, напряженных поисках. Он не спешит, не стремится вперед, объятый нетерпением, хотя душа его трепетно жаждет наконец-то отыскать проход, увидеть Южное море. Но вновь и вновь, при каждом разветвлении, он делит свою флотилию на две части: каждый раз, когда два корабля исследуют северный рукав, два других стремятся найти южный путь. Словно зная, что ему, рожденному под несчастной звездой, нельзя полагаться на удачу, этот человек ни разу не предоставляет на волю случая выбор того или

другого из многократно пересекающихся протоков, не гадает, чет или нечет. Он испытывает, обследует все пути, чтобы напасть на тот единственный, верный. Итак, наряду с его гениальной фантазией здесь торжествует победу трезвейшее и наиболее характерное из его качеств — героическое упорство.

Победа. Уже преодолены первые теснины залива, уже позади остались и вторые. Магеллан снова у разветвления; ширящийся в этом месте поток раздваивается — и кто может знать, какой из этих рукавов, правый или левый, впадает в открытое море, а какой окажется бесполезным, никуда не ведущим тупиком? И опять Магеллан разделяет свою маленькую флотилию. «Сан-Антонио» и «Консепсьон» поручается исследовать воды в юго-восточном направлении, а сам он на флагманском судне, сопровождаемом «Викторией», идет на юго-запад. Местом встречи, не позднее чем через пять дней, назначается устье небольшой реки, названной Сардин из-за обилия в ней этой рыбы; тщательно разработанные инструкции уже даны капитанам; уже пора бы поднять паруса. Но тут происходит нечто неожиданное, никем из моряков не чаянное: Магеллан призывает всех капитанов на борт флагманского судна, чтобы до начала дальнейших поисков получить от них сведения о наличных запасах продовольствия и выслушать их мнение о том, следует ли продолжать путь или же, по окончании разведки, повернуть назад.

«Выслушать их мнение! Что же такое случилось?» — изумленно спрашивают себя моряки. С чего вдруг этот озадачивающий демократический жест? Почему непреклонный диктатор, до того времени ни за кем из своих капитанов не признававший права предлагать вопросы или критиковать его мероприятия, именно теперь, по поводу незначительного маневра, превращает своих офицеров из подчиненных в равных себе? На самом деле этот резкий поворот как нельзя более логичен. После окончательного триумфа диктатору всегда легче дозволить гуманности вступить в свои права и легче допустить свободу слова тогда, когда его могущество упрочено.

Сейчас, поскольку *passo, estrecho* уже найден, Магеллану

не приходится больше опасаться вопросов. Козырь в его руках — он может пойти навстречу желанию своих спутников и раскрыть перед ними карты. Действовать справедливо в удаче легче, чем в несчастье. Вот почему этот суровый, угрюмый, замкнутый человек наконец-то, наконец нарушает свое упорное молчание, разжимает крепко стиснутые челюсти. Теперь, когда его тайна перестала быть тайной, когда покров с нее сорван, Магеллан может стать общительным.

Капитаны являются и рапортуют о состоянии вверенных им судов. Но сведения малоутешительны. Запасы угрожающим образом уменьшились, провианта каждому из судов хватит в лучшем случае на три месяца. Магеллан берет слово. «Теперь уже не подлежит сомнению, — твердо заявляет он, — что первая из целей достигнута, *расо* — проход в Южное море, — уже можно считать открытым». Он просит капитанов с полной откровенностью сказать, следует ли флотилии удовольствоваться этим успехом или же стараться довершить то, что он, Магеллан, обещал императору: достичь «островов пряностей» и отвоевать их для Испании. Разумеется, он понимает, что провианта осталось немного, а в дальнейшем им еще предстоят великие трудности. Но не менее велики слава и богатства, ожидающие их по счастливом завершении дел. Его мужество непоколебимо. Однако прежде чем принять окончательное решение — возвращаться ли на родину или доблестно завершить задачу, — он хотел бы узнать, какого мнения держаться его офицеры.

Ответы капитанов и кормчих не дошли до нас, но можно с уверенностью предположить, что они не отличались многословием. Слишком памятны им и бухта Сан-Хулиан, и четвертованные трупы их товарищей-испанцев; они по-прежнему остерегаются прекословить суровому португальцу.

Только один из них резко и прямо высказывает свои сомнения — кормчий «Сан-Антонио» Эстебан Гомес, португалец и, возможно, даже родственник Магеллана. Гомес прямо заявляет, что теперь, когда *расо*, очевидно, уже найден, разумнее будет вернуться в Испанию, а затем уже на снаряженных

заново кораблях вторично следовать по открытому ныне проливу к Молуккским островам, ибо суда флотилии, по его мнению, слишком обветшали, запасов провианта недостаточно, а никому не ведомо, как далеко простирается за открытым ныне проливом новое, неисследованное Южное море. Если они в этих неведомых водах пойдут по неверному пути и будут скитаться, не находя гавани, флотилию ожидает мучительная гибель.

Разум говорит устами Эстебана Гомеса, и Пигафетта, всегда заранее подозревавший в низменных побуждениях каждого, кто был несогласен с Магелланом, вероятно, несправедлив к бывшему моряку, приписывая его сомнения всякого рода неблагоприятным мотивам. Действительно, предложение Гомеса — с честью вернуться на родину, а затем на судах новой флотилии устремиться к намеченной цели — правильно как с логической, так и с объективной точки зрения: оно спасло бы жизнь и самого Магеллана, и жизнь почти двух сотен моряков. Но не брэнная жизнь важна Магеллану, а бессмертный подвиг. Тот, кто мыслит героически, неизбежно должен действовать наперекор рассудку.

Магеллан, не колеблясь, берет слово для возражения Гомесу. Разумеется, им предстоят великие трудности, по всей вероятности, им придется претерпевать голод и множество лишений, но — примечательные, пророческие слова! — даже если бы им пришлось глотать кожу, которой обшиты снасти, он считает себя обязанным продолжать плавание к стране, которую обещал открыть.

«Идти вперед, и открыть то, что обещал!» — «De pasar adelante y descubrir lo que habia prometido!» Этим призывом к смелому устремлению в неизвестность, по-видимому, закончилось психологически столь своеобразное совещание, и от корабля к кораблю немедленно передается Магелланов приказ продолжать путь. Втайне, однако, Магеллан предписывает своим капитанам тщательнейшим образом скрывать от команды, что запасы провианта на исходе. Каждый, кто позволит себе хотя бы туманный намек на это обстоятельство, подлежит смертной казни.

Молча выслушали капитаны приказ, и вскоре корабли, которым поручена разведка восточного ответвления пути — «Сан-Антонио» под началом Альваро де Мескиты и «Консепсьон» под водительством Серрано, — исчезают в лабиринте излучин и поворотов. Два других — флагманский корабль Магеллана «Тринидад» и «Виктория» — тем временем остаются на удобной стоянке. Они бросают якоря в устье реки Сардин, и Магеллан, вместо того чтобы самолично исследовать западный рукав, поручает небольшой шлюпке произвести предварительную рекогносцировку. В этой защищенной от бурь части канала суда не подвергаются опасности; Магеллан велит посланным на разведку кораблям вернуться не позднее чем через три дня; таким образом, экипажам двух других судов эти три дня до возвращения «Консепсьон» и «Сан-Антонио» предоставлены для полного отдыха.

И впрямь хороший отдых выпадает на долю Магеллана и его людей в этой уже менее суровой местности. Странное явление — за последние дни, по мере того как они продвигались на запад, ландшафт становился более приветливым: вместо отвесных голых скал пролив окаймляют луга и леса. Холмы здесь не так обрывисты, покрытые снегом вершины отодвинулись вдаль. Мягче стал воздух; матросы, утолявшие жажду вонючей, затхлой водой из бочонков, наслаждаются студеной влагой родников. Они то нежатся на траве, лениво следя глазами за диковинными летучими рыбами, то с увлечением занимаются ловлей сардин, которых здесь невероятное множество. Вдобавок тут столько вкусных плодов, что они впервые за несколько месяцев наедаются досыта. Так прекрасна, так ласкова окружающая природа, что Пигафетта восторженно восклицает: «Credo che non sia al mondo un più bello e miglior stretto, come è questo!»* Но что значит отрада, доставляемая благоприятной местностью, отдыхом, беспечной негой, в сравнении с тем великим, огненным, окрыляю-

* Думается мне, что нет на свете более прекрасного и лучшего пролива, чем этот! (ит.)

щим счастьем, которое предстоит познать Магеллану! Оно уже ощутимо, уже чувствуется его приближение; и вот на третий день, послушная приказу, возвращается отправленная им шлюпка, и снова моряки уже издали машут руками, как тогда, в день Всех Святых, когда был открыт вход в пролив. Но теперь — а это в тысячу раз важнее! — они нашли наконец выход из него. Собственными глазами видели они море, в которое впадает этот пролив — *Mar del Sur*, — великое, неведомое море!

«*Thalassa! Thalassa!*»* — древний клич восторга, которым греки, возвращаясь из бесконечных странствий, приветствовали вечные воды, он раздается здесь вновь, на ином языке, но с тем же восторгом; победоносно возносится он ввысь, никогда еще не оглашавшуюся звуками ликующего человеческого голоса.

Этот краткий миг — великая минута в жизни Магеллана, минута подлинного, высшего восторга, только однажды даруемая человеку. Все сбылось. Он сдержал слово, данное императору. Он, он первый и единственный осуществил то, о чем до него мечтали тысячи людей: он нашел путь в другое, неведомое море. Это мгновение оправдывает всю его жизнь и дарует ему бессмертие.

И тут происходит то, чего никто не осмелился бы предположить в этом мрачном, замкнутом человеке. Внезапно сурового воина, никогда и ни перед кем не выказывавшего своих чувств, одолевает тепло, хлынувшее из недр души. Его глаза туманятся слезами, горячие, жгучие слезы катятся на темную, всклокоченную бороду. Первый и единственный раз в жизни этот железный человек — Магеллан — плачет от радости, *el capitano generale lacrimò per allegrezza*.

Одно мгновение, одно-единственное краткое мгновение за всю его мрачную, многострадальную жизнь дано было Магеллану испытать высшее блаженство, даруемое творческому гению: увидеть свой замысел осуществленным. Но судьбой это-

*Море! Море! (*греч.*)

му человеку назначено за каждую крупницу счастья горестно расплачиваться. Каждая из его побед неизменно сопряжена с разочарованием. Ему дано только взглянуть на счастье, но не дано обнять, удержать его, и даже этот единственный краткий миг восторга, прекраснейший в его жизни, канет в прошлое, прежде чем Магеллан успеет до конца его прочувствовать. Где же два других корабля? Почему они медлят? Ведь теперь, когда эта шлюпка нашла выход в море, всякие дальнейшие поиски становятся бесцельной тратой времени. Ах, если б они уже вернулись из разведки, «Сан-Антонио» и «Консепсьон», чтобы услышать эту радостную весть! Если б они наконец вернулись! Все нетерпеливее и тревожнее вглядывается Магеллан в туманную даль залива. Давно уже прошел условленный срок. Вот уже и пятый день миновал, а о них ни слуху ни духу.

Уж не случилось ли несчастье? Не сбились ли они с пути? Магеллан слишком встревожен, чтобы празднично дожидаться в условленном месте. Он велит поставить паруса и идет к проливу, навстречу замешкавшимся судам. Но пустынен, по-прежнему пустынен горизонт, пустыни мрачные, безжизненные воды.

Наконец на второй день поисков вдали показывается парус. Это «Консепсьон» под началом Серрано. Но где же второй корабль, самый крупный из всех судов флотилии, «Сан-Антонио»? Серрано ничего не может сообщить адмиралу. В первый же день «Сан-Антонио» ушел вперед и с тех пор бесследно исчез. Вначале Магеллан не предполагает беды. Быть может, «Сан-Антонио» заблудился или же его капитан неправильно понял, где назначена встреча. Он посылает суда флотилии в разные стороны, чтобы обшарить все закоулки главного протока, «Адмиральского Зунда». Он велит сигналить огнями, на высоких столбах водружает флаги, а у подножия их оставляет письма с инструкциями — на всякий случай, если пропавшее судно заблудилось.

Но нигде никаких следов «Сан-Антонио». Уж очевидно, что стряслась какая-то беда. Корабль либо потерпел крушение

и погиб вместе с командой и грузом, что, однако, маловероятно, так как в эти дни погода стояла на редкость безветренная, либо — предположение более верное — кормчий «Сан-Антонио» Эстебан Гомес, требовавший на военном совете немедленного возвращения на родину, стал мятежником и осуществил свое требование: сообщая с офицерами-испанцами сместил преданного капитана и дезертировал, забрав с собой весь провиант.

В тот день Магеллан не может знать, что именно случилось. Он знает только, что случилось нечто страшное. Исчез корабль — самый крупный, лучший из всех, обильнее других снабженный провиантом. Но куда он девался, что с ним произошло, какие события разыгрались на нем? В этой беспредельной мертвой пустыне никто не даст ему ответа, покоится ли судно на дне или дезертировало, поспешно взяв курс на Испанию. Только неведомое раньше созвездие — Южный Крест, окруженный ярко сияющими спутниками, — свидетель таинственных событий. Только звездам известен путь «Сан-Антонио», только они могли бы дать ответ Магеллану.

Вполне естественно поэтому, что Магеллан, как и все люди его времени, считавший астрологию подлинной наукой, призвал к себе сопровождавшего флотилию вместо Фалейру астролога и астронома Андерса де Сан-Мартина, единственного, кто, быть может, по звездам сумеет узнать правду. Он велит Мартину составить гороскоп и при помощи своего искусства выяснить, что произошло с «Сан-Антонио», и в виде исключения астрология дает правильный ответ: бравый звездочет, хорошо помнящий независимое поведение Эстебана Гомеса на совете, заявляет — и факты подтвердят его слова, — что «Сан-Антонио» уведен дезертирами, а его капитан заключен в оковы.

Снова, в последний раз, перед Магелланом встает необходимость безотлагательного решения. Слишком рано возликовал он, слишком легковерно отдался радости. Теперь — удивительный параллелизм первого и второго кругосветного плавания — его постигло то же, что постигнет его продолжа-

теля, Фрэнсиса Дрейка, лучший корабль которого также был тайно уведен мятежным капитаном Уинстером. На полпути к победе соотечественник и родич Магеллана, став врагом, нанес коварный удар из-за угла. Если запасы провианта и прежде были скудны, то сейчас флотилии угрожает голод. Именно на «Сан-Антонио» хранились лучшие припасы, притом в наибольшем количестве. Да и за шесть дней, ушедших на бесплодное ожидание и поиски, тоже было израсходовано немало провианта. Наступление на неведомое Южное море уже неделю назад, при несравненно более благоприятных обстоятельствах, было дерзновеннейшим предприятием. Теперь, после измены «Сан-Антонио», оно становится едва ли не равносильным самоубийству.

С вершин горделивой уверенности Магеллан снова одним ударом низринут в предельные глубины смятения. И не нужно даже показаний Барруша: «*Quedó tan confuso que no sabia lo que habia de determinar*» — «Он настолько растерялся, что не знал, на что решиться»; внутреннюю тревогу Магеллана мы отчетливо видим из его приказа, в эту минуту смятения объявленного всем офицерам флотилии, — единственно сохранившегося приказа. На протяжении нескольких дней он вторично опрашивает их: продолжать ли путь или вернуться? Но на этот раз он велит капитанам ответить письменно. Ибо Магеллан — и это свидетельствует о выдающейся его прозорливости — хочет иметь оправдательный документ. *Scripta manent** — ему нужно запастись на будущее неопровержимым письменным доказательством того, что он советовался со своими капитанами.

Он понимает — и это тоже впоследствии подтвердится фактами, — что бунтовщики на «Сан-Антонио» по прибытии в Севилью тотчас поспешат стать обвинителями против него, чтобы самим избежать обвинения в мятеже. Разумеется, они изобразят его тираном, они станут умышленно разжигать национальное чувство испанцев преувеличенными описаниями

* Написанное (пером) остается (*лат.*).

того, как пришлый португалец велел заключить в оковы назначенных королем чиновников, как по его приказу одни из кастильских дворян были обезглавлены и четвертованы, другие обречены на мучительную голодную смерть, — и все это, чтобы вопреки королевскому приказу передать флотилию в руки португальцев. Желая заранее опровергнуть неизбежное обвинение в том, что он во время плавания жестоким террором подавлял любое свободное высказывание своих офицеров, Магеллан издает теперь свой необычный приказ, который кажется скорее попыткой обелить себя, нежели товарищеским обращением к капитанам.

«Дано в проливе Всех Святых, насупротив реки, что на островке, 21 ноября. — Этими словами начинается приказ, далее гласящий: — Я, Фердинанд Магеллан, кавалер ордена Сант-Яго и адмирал этой армады, осведомлен о том, что всем вам решение продолжать путь представляется весьма рискованным, ибо вы считаете, что время года слишком уже позднее. Я же никогда не пренебрегал мнением и советом других людей, а, напротив, все свои начинания хочу обсуждать и проводить совместно со всеми».

Наверно, офицеры молча усмеваются, читая это странное утверждение. Ведь отличительная черта Магеллана — его непреклонное самовластие в управлении и руководстве. Слишком хорошо все они помнят, как этот человек железной рукой пресек протест своих капитанов. Но Магеллан, зная, насколько им должна быть памятна его нещадная расправа с инакомыслящими, продолжает: «Итак, пусть не внушают никому опасений совершившиеся в бухте Сан-Хулиан события; каждый из вас обязан безбоязненно сказать мне, каково его мнение о способности нашей армады продолжать плавание. Нарушением вашей присяги и вашего долга было бы, если б вы вознамерились скрыть от меня ваше суждение». Он требует, чтобы каждый в отдельности, *Cada uno de por si*, ясно, притом в письменной форме, *por escrito*, высказался о том, следует ли продолжать путь или возвратиться, и изложил бы все свои соображения на этот счет.

Но за один час не вернуть доверие, утраченное уже много месяцев назад. Еще слишком запуганы офицеры, чтобы со всей прямотой требовать возвращения на родину, и единственный дошедший до нас ответ — ответ астролога Сан-Мартина — показывает, как мало они были склонны именно теперь, когда ответственность возросла до гигантских размеров, делить ее с Магелланом.

Почтенный астролог, как это и приличествует лицу его профессии, выражается двусмысленно и туманно, искусно жонглируя всякими оговорками: «с одной стороны, надобно», а «с другой стороны, не следует». Он, мол, сомневается в том, чтобы можно было через канал Всех Святых пробраться к Молуккским островам, aunque yo dudo que haya camino para poder navegar a Maluco por este canal, но тут же советует продолжать путь, ибо «сердце весны в наших руках». С другой стороны, все же не следует забираться слишком далеко, ведь люди изнурены и обессилены. Быть может, разумнее будет взять курс не на запад, а на восток, но пусть Магеллан действует так, как считает правильным, и да укажет ему Господь верный путь. По всей вероятности, остальные офицеры высказались столь же неопределенно.

Но Магеллан опросил своих офицеров отнюдь не затем, чтобы считаться с их ответами, а только чтобы доказать впоследствии, что такой опрос был произведен. Он знает: слишком далеко он зашел, чтобы повернуть вспять. Только триумфатором может он вернуться — иначе он погиб. И даже если бы велеречивый астролог предсказал ему смерть, он все равно не оборвал бы свое героическое продвижение вперед.

22 ноября 1520 года суда по его приказанию выходят из устья реки Сардин; спустя немного дней Магелланов пролив — ибо так будет он называться в веках — пройден, и в конце его, за мысом, который Магеллан в знак благодарности назвал Cabo Deseado, Желанный мыс, открывается беспредельное новое море, еще неизвестное европейским кораблям. Потрясающее зрелище! Там, на западе, за нескончаемой линией горизонта должны находиться «острова пряностей», ост-

рова несметных богатств, а за ними — исполинские государства Востока — Китай, Япония, Индия, а еще дальше, в необозримой шири, — родина, Испания, Европа! Поэтому еще раз дается отдых, последний отдых перед вторжением в чуждый, за все время существования мира не пересеченный кораблями океан!

И вот 28 ноября 1520 года выбраны якоря, взвились флаги! Громовым орудийным залпом три маленьких одиноких корабля салютуют неведомому морю. Так рыцарь приветствует доблестного противника, с которым ему предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть.

МАГЕЛЛАН ОТКРЫВАЕТ СВОЕ КОРОЛЕВСТВО

28 ноября 1520 г. — 7 апреля 1521 г.

История первого плавания по безымянному еще океану, «по морю, столь огромному, что ум человеческий не в силах объять его», как говорится в записках Максимилиана Трансильванского, — это история одного из бессмертных подвигов человечества.

Уже отплытие Колумба в безбрежный простор воспринималось в его время, да и во все последующие времена, как беспримерно отважное деяние. Но даже этот подвиг, хотя бы по числу жертв, ему принесенных, нельзя приравнять к победе, которую Магеллан ценой неслыханных лишений одержал над стихией. Ведь Колумб со своими тремя только что спущенными на воду, заново оснащенными, хорошо снабженными продовольствием судами в общей сложности пробыл в пути всего тридцать три дня, и еще за неделю до того, как ступить на землю, носившийся на гребнях волн тростник, плывущие по воде стволы невиданных деревьев и лесные птицы утвердили его в предположении, что вблизи находится какой-то материк.

Экипаж Колумба состоит из здоровых неутомленных лю-

дей, корабли так обильно снабжены провиантом, что, в крайнем случае, он может, и не достигнув цели, благополучно вернуться на родину. Только перед ним расстилается неизвестность, но позади него — надежное прибежище и пристанище: родина.

Магеллан же устремляется в неведомое, и не из родной Европы, не с насиженного места плывет он туда, а из чужой суровой Патагонии. Его люди изнурены многими месяцами жестоких бедствий. Голод и лишения оставляют они позади себя, голод и лишения сопутствуют им, голод и лишения грозят им в будущем. Изношена их одежда, в клочья изодраны паруса, истерты канаты. Месяцами не видели они ни одного нового лица, месяцами не видели женщин, вина, свежего мяса, свежего хлеба, и втайне они, пожалуй, завидуют более решительным товарищам, вовремя дезертировавшим и повернувшим домой, вместо того чтобы скитаться по необъятной водной пустыне.

Так плывут эти корабли двадцать дней, тридцать дней, сорок, пятьдесят, шестьдесят дней — и все еще не видно земли, все еще никаких признаков ее приближения! И снова проходит неделя, за ней еще одна, и еще, и еще — сто дней, срок, трижды более долгий, чем тот, в который Колумб пересек океан! Тысячи и тысячи пустых часов плывет флотилия Магеллана среди беспредельной пустоты. С 28 ноября, дня, когда Cabo Deseado, Желанный мыс, исчез в тумане, нет больше ни карт, ни измерений. Ошибочными оказались все расчеты расстояний, произведенные там, на родине, Руй Фалейру. Магеллан считает, что давно уже миновал Ципангу — Японию, а на деле пройдена только треть неведомого океана, которому он из-за царящего в нем безветрия навеки дает имя *il Pacifico* — Тихий.

Но как мучительна эта тишина, какая страшная пытка это вечное однообразие среди мертвого молчания! Все та же синяя зеркальная гладь, все тот же безоблачный, знойный небосвод, все то же безмолвие, тот же дремлющий воздух, все тем же ровным полукругом тянется горизонт — металлическая поло-

ска между все тем же небом и все той же водой, мало-помалу больно врезаящаяся в сердце. Все та же необъятная синяя пустота вокруг трех утлых суденышек — единственных движущихся точек среди гнетущей неподвижности, все тот же нестерпимо яркий дневной свет, в сиянье которого неизменно видишь все одно и то же, и каждую ночь все те же холодные, безмолвные, тщетно вопрошаемые звезды.

И вокруг все те же предметы в тесном, переполненном людьми помещении — те же паруса, те же мачты, та же палуба, тот же якорь, те же пушки, те же столбы; все тот же приторный удушливый смрад, источаемый гниющими припасами, поднимается из корабельного чрева. Утром, днем, вечером и ночью — всегда неизбежно встречаются друг друга все те же искаженные тупым отчаянием лица, с той лишь разницей, что с каждым днем они становятся все более изможденными. Глаза глубже уходят в орбиты, блеск их тускнеет, с каждым безрадостным утром все больше впадают щеки, все более медленной и вялой становится походка.

Словно призраки, мертвенно-бледные, исхудалые, бродят эти люди, еще несколько месяцев назад бывшие крепкими, здоровыми парнями, которые так проворно взбирались по вантам, в любую непогоду крепили реи. Как тяжелобольные, шатаясь, ходят они по палубе или в изнеможении лежат на своих циновках. На каждом из трех кораблей, вышедших в море для свершения одного из величайших подвигов человечества, теперь обитают существа, в которых лишь с трудом можно признать матросов; каждая палуба — плавающий лазарет, кочующая больница.

Катастрофически уменьшаются запасы во время этого непредвиденно долгого плавания, непомерно растет нужда. То, чем баталер ежедневно оделяет команду, давно уже напоминает скорее навоз, чем пищу. Без остатка израсходовано вино, хоть немного освежавшее губы и подбадривавшее дух. А пресная вода, согретая беспощадным солнцем, протухшая в грязных мехах и бочонках, издает такое зловоние, что несчастные вынуждены пальцами зажимать нос, увлажняя пересохшее

горло тем единственным глотком, что причитается им на весь день. Сухари — наряду с рыбой, выловленной в пути, единственная их пища — давно уже превратились в кишашую червями, серую, грязную труху, вдобавок загаженную испражнениями крыс, которые, обезумев от голода, набросились на эти последние остатки продовольствия. Тем яростнее охотятся за этими отвратительными животными, и, когда моряки с остервенением преследуют по всем углам и закоулкам этих разбойников, пожирающих остатки их скудной пищи, они стремятся не только истребить их, но и продать затем эту падаль, считающуюся изысканным блюдом: поддуката золотом уплачивают ловкому охотнику, сумевшему поймать одного из отчаянно пищащих грызунов, и счастливый покупатель с жадностью уписывает омерзительное жаркое. Чтобы хоть чем-нибудь наполнить судорожно сжимающийся, требующий пищи желудок, чтобы хоть как-нибудь утолить мучительный голод, матросы пускаются на опасный самообман: собирают опилки и примешивают их к сухарной трухе, мнимо увеличивая таким образом скудный рацион.

Наконец голод становится чудовищным: сбывается страшное предсказание Магеллана о том, что придется есть воловью кожу, предохраняющую снасти от перетиранья; у Пигафетты мы находим описание способа, к которому в безмерном своем отчаянии прибегали изголодавшиеся люди, чтобы даже эту несъедобную пищу сделать съедобной: «Наконец, дабы не умереть с голоду, мы стали есть куски воловьей кожи, которой, с целью предохранить канаты от перетиранья, была обшита большая рея. Под долгим действием дождя, солнца и ветра эта кожа стала твердой как камень, и нам приходилось каждый кусок вывешивать за борт на четыре или пять дней, дабы хоть немного ее размягчить. Лишь после этого мы слегка поджаривали ее на углях и в таком виде поглощали».

Неудивительно, что даже самые выносливые из этих закаленных, привыкших к мытарствам людей не в состоянии долго переносить такие лишения. Из-за отсутствия доброкачественной (мы сказали бы теперь «витаминизированной») пищи сре-

ди команды распространяется цинга. Десны у заболевших сначала пухнут, потом начинают кровоточить, зубы шатаются и выпадают, во рту образуются нарывы, наконец, зев так болезненно распухает, что несчастные, даже если б у них была пища, уже не могли бы ее проглотить — они погибают мучительной смертью. Но и у тех, кто остается в живых, голод отнимает последние силы. Едва держась на распухших, одеревенелых ногах, как тени, бродят они, опираясь на палки, или лежат, прикорнув в каком-нибудь углу.

Не меньше девятнадцати человек, то есть около десятой части всей оставшейся команды, в муках погибают во время этого голодного плавания. Одним из первых умирает несчастный, прозванный матросами Хуаном-Гигантом, патагонский великан, еще несколько месяцев назад восхищавший всех тем, что за один присест съедал полкорзины сухарей и залпом, как чарку, опорожнял ведро воды. С каждым днем нескончаемого плавания число работоспособных матросов уменьшается, и правильно отмечает Пигафетта, что при столь ослабленной живой силе три судна не могли бы выдержать ни бури, ни ненастья: «И если бы Господь и его святая мать не послали нам столь благоприятной погоды, мы все погибли бы от голода среди этого необъятного моря».

Три месяца и двадцать дней блуждает в общей сложности одинокий, состоящий из трех судов караван по водной пустыне, претерпевая все страдания, какие только можно вообразить, и даже самая страшная из всех мук, мука обманутой надежды, и та становится его уделом. Как в пустыне изнывающим от жажды людям мерещится оазис: уже колышутся зеленые пальмы, уже прохладная голубая тень стелется по земле, смягчая яркий ядовитый свет, много дней подряд слепящий глаза, уже чудится им журчание ручья, но едва только они, напрягая последние силы, шатаясь из стороны в сторону, устремляются вперед, видение исчезает, и вокруг них снова пустыня, еще более враждебная, — так и люди Магеллана становятся жертвами фата-морганы.

Однажды утром с марса доносится хриплый возглас: дозорный увидел землю, остров, впервые за томительно долгое время увидел сушу. Как безумные, кидаются на палубу все эти умирающие от голода, погибающие от жажды люди; даже больные, словно брошенные мешки, валявшиеся где попало, и те, едва держась на ногах, выползают из своих нор. Правда, правда, они приближаются к острову. Скорее, скорее в шлюпки! Распаленное воображение рисует им прозрачные родники, им грезится вода и блаженный отдых в тени деревьев после стольких недель непрерывных скитаний, они алчут наконец ощутить под ногами землю, а не только зыбкие доски на зыбких волнах.

Но страшный обман! Приблизившись к острову, они видят, что он, так же как и расположенный неподалеку второй, — ожесточившиеся моряки дают им название «Las islas Desaventuradas»* — оказывается совершенно голым, безлюдным, бесплодным утесом, пустыней, где нет ни людей, ни животных, ни воды, ни растений. Напрасной тратой времени было бы хоть на один день пристать к этой угрюмой скале.

И снова продолжают они путь по синей водной пустыне, все вперед и вперед; день за днем, неделю за неделей длится это, быть может, самое страшное и мучительное плавание из всех, отмеченных в извечной летописи человеческих страданий и человеческой стойкости, которую мы именуем историей.

Наконец 6 марта 1521 года — уже более чем сто раз вставало солнце над пустынной, неподвижной синевой, более ста раз исчезало оно в той же пустынной, неподвижной, беспощадной синеве, сто раз день сменялся ночью, а ночь днем, с тех пор как флотилия из Магелланова пролива вышла в открытое море, — снова раздается возглас с марса: «Земля! Земля!» Пора ему прозвучать, и как пора! Еще двое, еще трое суток среди пустоты — и, верно, никогда бы и следа этого геройского подвига не дошло до потомства. Корабли с погиб-

*Несчастливые острова (*исп.*). Какие это острова, точно не установлено.

шим голодной смертью экипажем, плавучее кладбище, блуждали бы по воле ветра, куда волны не поглотили бы их или не выбросили на скалы.

Но этот новый остров — хвала всевышнему! — он населен, на нем найдется вода для погибающих от жажды. Флотилия еще только приближается к заливу, еще паруса не убраны, еще не спущены якоря, а к ней с изумительным проворством уже подплывают «кану» — маленькие, пестро размалеванные челны, паруса которых сшиты из пальмовых листьев. С обезьяней ловкостью карабкаются на борт голые простодушные дети природы, и настолько чуждо им понятие каких-либо моральных условностей, что они попросту присваивают себе все, что им попадает на глаза.

В мгновение ока самые различные вещи исчезают, словно в шляпе искусного фокусника; даже шлюпка «Тринидад» оказывается срезанной с буксирного каната. Беспечно, нимало не смущаясь моральной стороной своих поступков, радуясь, что им так легко достались такие диковинки, спешат они к берегу со своей бесценной добычей. Этим простодушным язычникам кажется столь же естественным и нормальным засунуть две-три блестящие безделушки себе в волосы — у голых людей карманов не бывает, — как естественным и нормальным кажется испанцам, папе и императору заранее объявить законной собственностью христианнейшего монарха все эти еще не открытые острова вместе с населяющими их людьми и животными.

Магеллану в его тяжелом положении трудно было снисходительно отнестись к захвату, произведенному без предъявления каких-либо императорских или папских грамот. Он не может оставить в руках ловких грабителей эту шлюпку, которая еще в Севилье (как видно из сохранившегося в архивах счета) стоила три тысячи девятьсот тридцать семь с половиной мараведисов, а здесь, за тысячи миль от родины, представляет собой бесценное сокровище.

На следующий же день он отправляет на берег сорок вооруженных матросов отобрать шлюпку и основательно про-

учить вороватых туземцев. Матросы сжигают несколько хижин, но до настоящей битвы дело не доходит, ибо бедные островитяне так невежественны в искусстве убивать, что даже когда стрелы испанцев вонзаются в их кровоточащие тела, они не понимают, каким образом эти острые, оперенные, издали летающие палочки могут так глубоко войти в тело и причинить такую нестерпимую боль. В ужасе пытаются они вытащить стрелы, тщетно дергая за торчащий наружу конец, а затем в смятении убегают от страшных белых варваров обратно в свои леса.

Теперь изголодавшиеся испанцы могут наконец раздобыть воды для истомленных жаждой больных и основательно поживиться съестным. С невероятной поспешностью тащат они из покинутых туземцами хижин все, что попадает под руку: кур, свиней, всевозможные плоды, а после того как они друг друга обокрали — сначала островитяне испанцев, потом испанцы островитян, — цивилизованные грабители в посрамление туземцев на веки вечные присваивают этим островам позорное наименование «Разбойничьих» (Ладронских).

Как бы там ни было, этот налет спасает погибающих от голода людей. Три дня отдыха, захваченный в изобилии провиант — плоды и свежее мясо, да еще чистая живительная ключевая вода подкрепили команду. В дальнейшем плавании от истощения умирает еще несколько человек, среди них единственный бывший на борту англичанин, а несколько десятков матросов по-прежнему лежат, обессиленные болезнью. Но самое страшное миновало, и, набравшись мужества, они снова устремляются на запад.

Когда неделю спустя, 17 марта, вдали опять вырисовывается остров, а рядом с ним второй, Магеллан уже знает, что судьба сжалилась над ними. По его расчетам, это должны быть Молуккские острова. Восторг! Ликование! Он у цели! Но даже пламенное нетерпение поскорее удостовериться в своем торжестве не делает этого человека опрометчивым или неосторожным. Он не бросает якорь у Сулуана, большего из двух этих островов, а избирает меньший, Пигафеттой называемый

«Хумуну», именно потому, что он необитаем, а Магеллан, ввиду большого количества больных среди команды, предпочитает избегать встреч с туземцами. Сперва надо подправить людей, а потом уже вступать в переговоры или в бой. Больных сносят на берег, поят ключевой водой, для них закалывают одну из свиней, похищенных на Разбойничьих островах. Сначала — полный отдых, никаких рискованных предприятий.

На другой же день с большого острова доверчиво приближается лодка с приветливо машущими туземцами; они привозят невиданные плоды, и бравый Пигафетта не может ими нахвалиться: это бананы и кокосовые орехи, молочный сок которых живительно действует на больных. Завязывается оживленный торг. В обмен на две-три побрякушки или яркие бусины изголодавшиеся моряки получают рыбу, кур, пальмовое вино, всевозможные плоды и овощи. Впервые за долгие недели и месяцы все они, больные и здоровые, наедаются досыта.

В первом порыве восторга Магеллан решил, что подлинная цель его путешествия — «острова пряностей», «Islas de la especería» — уже достигнута. Но оказывается, что не у Молуккских островов он бросил якорь, ведь в противном случае невольник Энрике мог бы, должен был бы понять язык туземцев. Но это не его соплеменники, и, значит, в другую страну, на другой архипелаг завел их случай. Опять расчеты Магеллана, побудившие его взять курс по Тихому океану на десять градусов севернее, чем следовало, оказались неправильными, и опять его заблуждение привело к открытию. Именно вследствие своего ошибочного, слишком далеко отклонявшегося к северу курса Магеллан вместо Молуккских достиг группы никому не известных островов, попал на архипелаг, о существовании которого до той поры никогда не упоминал и даже не подозревал ни один европеец.

В поисках Молуккских островов Магеллан открыл Филиппинские, а тем самым приобрел для императора Карла новую провинцию, которая, кстати сказать, дольше всех других, открытых и завоеванных Колумбом, Кортесом, Писарро, оста-

нется во владении испанской короны. Но и для себя самого Магеллан этим неожиданным открытием приобрел государство; ибо, согласно договору, в случае если он откроет более шести островов, два из них предоставляются во владение ему и Руй Фалейру. За одну ночь вчерашний нищий, искатель приключений, *desperado*, уже находившийся на краю гибели, превратился в *adelantado* собственной страны, в пожизненно-го и на веки вечные наследственного участника всех прибылей, какие будут извлекаться из этих новых колоний, а следовательно, и в одного из богатейших людей на свете.

Великий день, чудесный поворот судьбы после сотен мрачных и бесплодных дней! Не менее чем обильная свежая и здоровая пища, которую туземцы ежедневно привозят с Сулуана в импровизированный лазарет, возвращает силы больным и целебный эликсир — сознание безопасности. За девять дней тщательного ухода на этом тихом тропическом острове почти все больные выздоравливают, и Магеллан уже может начать подготовку к обследованию соседнего острова — Масавы.

Правда, в последнюю минуту досадная случайность едва не омрачила радости наконец-то осчастливленного судьбой Магеллана. Увлечшись рыбной ловлей, его друг и историограф Пигафетта перегнулся и упал за борт, причем никто не заметил его падения. Так чуть было не канула в воду история кругосветного плавания, ибо бедняга Пигафетта, по-видимому, не умел плавать и уж совсем было собрался тонуть. По счастью, в последнюю минуту он ухватился за свисавший с корабля канат и поднял отчаянный крик, после чего столь незаменимый для нас летописец был немедленно водворен на борт.

Весело ставят на этот раз паруса. Все знают: страшный огромный океан пересечен, уж больше не удручает, не гнетет его зловещая пустынность; всего несколько часов, несколько дней предстоит им еще пробыть в плавании, ведь уж и теперь они то и дело видят справа и слева туманные очертания неведомых островов. Наконец на четвертый день, 28 марта, в стра-

стной четверг, флотилия бросает якорь у Массавы, чтобы еще раз сделать привал перед последним броском, который приведет их к так долго и тщетно разыскиваемой цели.

На Массаве, крохотном безвестном островке Филиппинского архипелага, найти который на обычной карте можно только с помощью увеличительного стекла, Магеллан снова переживает один из великих драматических моментов своей жизни: в мрачном и трудном его существовании всегда вспыхивают, как взрывающееся к небу пламя, такие, в одной секунде сконцентрированные, мгновения счастья, своей опьяняющей мощью щедро воздающие за упорное, трудное, стойкое долготерпение несметных часов одиночества и тревоги. Внешний повод на этот раз малозаметен.

Едва только три больших чужеземных корабля с раздувающимися парусами приближаются к Массаве, как на берег толпами сбегаются островитяне, с любопытством, дружелюбно поджидающие вновь прибывших. Но прежде чем самому ступить на берег, Магеллан, осторожности ради, посылает в качестве посредника своего раба Энрике, резонно полагая, что туземцы к человеку с темной кожей отнесутся доверчивей, чем к кому-либо из бородатых, диковинно одетых и вооруженных белых людей.

И тут происходит неожиданное. Болтая и крича, окружают полуголые островитяне сошедшего на берег Энрике и вдруг невольник-малаец начинает настороженно вслушиваться. Он разобрал отдельные слова. Он понял, что эти люди говорят ему, понял, о чем они его спрашивают. Много лет назад увезенный с родной земли, он теперь впервые услышал обрывки своего наречия.

Достопамятная, незабываемая минута — одна из самых великих в истории человечества: впервые за то время, что Земля вращается во вселенной, человек, живой человек, обогнув весь шар земной, снова вернулся в родные края! Несущественно, что это ничем не приметный невольник: величие здесь не в человеке, а в его судьбе. Ибо ничтожный раб-малаец, о котором мы знаем только, что в неволе ему дали имя

Энрике, тот, кого бичом с острова Суматры погнали в дальний путь и через Индию и Африку насильно привезли в Лиссабон, в Европу, — первым из мириад людей, когда-либо населявших землю, через Бразилию и Патагонию, через все моря и океаны вернулся в края, где говорят на его родном языке; мимо сотен, мимо тысяч народов, рас и племен, которые для каждого понятия по-своему слагают слово, он первый, обогнув вращающийся шар, вернулся к единственному народу с понятной ему речью.

В эту минуту Магеллану становится ясно: его цель достигнута, его дело закончено. Плывя с востока, он снова вступил в круг малайских языков, откуда двенадцать лет назад отплыл на запад; вскоре он сможет невредимым доставить невольника Энрике обратно в Малакку, где он его купил. Безразлично, произойдет ли это завтра или в более позднее время, сам ли он или другой вместо него достигнет заветных островов. Ведь в основном его подвиг уже завершился в минуту, когда впервые на вечные времена было доказано: тот, кто неуклонно плывет по морю — вслед ли за солнцем, навстречу ли солнцу, — неизбежно вернется к месту, откуда он отплыл. То, что в течение тысячелетий предполагали мудрейшие, то, о чем грезили ученые, теперь, благодаря отваге одного человека, стало непреложной истиной: Земля — кругла, ибо человек обогнул ее!

Эти дни в Массаве — самые счастливые за время плавания, дни блаженного отдыха. Звезда Магеллана — в зените. Через три дня, в первый день пасхи, исполнится годовщина злосчастных событий в бухте Сан-Хулиан, когда ему пришлось кинжалом и насилием подавлять заговор. А с тех пор — сколько злоключений, сколько страданий, сколько мытарств! Позади остался невыразимый ужас: тяжкие дни голода, лишений, ночные штормы в неведомых водах. Позади злейшая из мук — страшная неуверенность, месяцы и месяцы душившая его, жгучее сомнение, по правильному ли пути он повел свою

флотилию. Но жестокая распря в рядах участников экспедиции похоронена навеки — на этот раз глубоко верующий христианин в первый день пасхи может праздновать подлинное воскресение из мертвых.

Теперь, когда грозовые тучи несметных опасностей рассеялись, его подвиг воссиял ярким светом. Великое непреходящее деяние, на которое уже годами были обращены все помыслы, все труды Магеллана, наконец свершено. Магеллан нашел западный путь в Индию, который тщетно искали Колумб, Веспуччи, Кабот, Пинсон и другие мореходы. Он открыл страны и моря, до него никем не виданные. Он — первый европеец, первый человек, за время существования мира благополучно пересекший огромный неведомый океан. Он проник в необъятные земные просторы дальше любого смертного.

Сколь ничтожным, сколь легким по сравнению со всем этим доблестно выполненным, победоносно достигнутым кажется ему то немногое, что еще осталось: всего несколько дней пути с надежными лоцманами до Молуккских островов, до богатейшего архипелага в мире, — и тогда исполнена клятва, данная императору. Там он признательно заключит в объятия верного друга Серрано, поддерживавшего в нем бодрость и указавшего ему путь, а затем, до отказа набив чрева судов пряностями, — домой через Индию и мыс Доброй Надежды, по хорошо знакомому пути, где каждая гавань, каждая бухта запечатлена в его памяти! Домой, через то, другое полушарие Земли, в Испанию — победителем, триумфатором, богачом, наместником, *adelantado*, с неувядаемыми лаврами победы и бессмертия на челе!

А поэтому не нужны поспешность и нетерпение: можно наконец отдохнуть, насладиться чистым счастьем сознания, что после долгих месяцев скитаний цель достигнута. Мирно отдыхают победоносные аргонавты в блаженной гавани. Чудесна природа, благодатен климат, приветливы туземцы, еще не изжившие золотого века, миролюбивые, беззаботные и праздные. *Questi popoli vivono con giustizia, peso e misura; amano*

la pace, l'otio e la quiete*. Но кроме лени и покоя, дети природы любят еще и еду и питье, и вот — как в сказке — изнуренные матросы, совсем еще недавно силившиеся утолить голод, наполняя судорожно сжимавшиеся желудки опилками и сырым крысиным мясом, вдруг оказываются в царстве волшебного изобилия.

Так неодолимо искушение полакомиться вкусной, приготовленной из свежих продуктов пищей, что даже благочестивый Пигафетта, никогда не забывающий благодарно упомянуть богородицу и всех святых, впадает в тяжкий грех. В пятницу**, да еще в страстную пятницу, Магеллан посылает его к царьку острова. Каламбу (так зовут царька) торжественно ведет его к себе под бамбуковый навес, где в большом котле шипит и потрескивает лакомая жирная свинина. Из учтивости, а может быть, и из чревоугодия, Пигафетта совершает тяжкий грех: он не в силах устоять против соблазнительного аромата и в строжайший и святейший из всех постных дней съедает изрядную порцию этого чудесного жаркого, усердно запивая его пальмовым вином.

Но едва только кончилась трапеза, едва только изголодавшиеся и неприхотливые посланцы Магеллана успели набить свои желудки, как царек приглашает их на второе пиршество, в свайную хижину. Гостям приходится, поджав и скрестив ноги, — «словно портные за работой», замечает Пигафетта, — вторично приняться за еду; тотчас появляются блюда, до краев наполненные жареной рыбой и только что собранным имбирем, кувшины с пальмовым вином — и грешник продолжает грешить. Но и этого мало! Не успел Пигафетта и его спутник справиться с великолепными яствами, как сын правителя царства изобилия является приветствовать их, и, чтобы не нарушить долга вежливости, они вынуждены снова — уже в третий раз! — принять участие в трапезе. На этом пиршестве для

* Эти народы живут в справедливости, благоденствии и умеренности, любят мир, отдохновение и покой (*ит.*).

** Постный день у католиков. — *Примеч. ред.*

разнообразия подают разварную рыбу и сильно приправленный пряностями рис; оно сопровождается такими обильными возлияниями, что не в меру угостившегося, пошатывающегося, невнятно что-то лопочущего спутника Пигафетты укладывают на циновку, чтобы первый европеец, захмелевший на Филиппинах, как следует проспался. И наверняка можно сказать, что ему снятся райские сны.

Но и островитяне воодушевлены не менее своих изголодавшихся гостей. Какие чудесные люди явились к ним из-за моря, какие великолепные подарки они привезли! Гладкие стекла, в которых собственными глазами видишь собственный нос, сверкающие ножи и увесистые топоры, от одного удара которых могучая пальма валится наземь. А как великолепны огненно-красная шапка и турецкий наряд, в котором теперь щеголяет их вождь; неправдоподобно прекрасен и блестящий панцирь, делающий человека неуязвимым. По приказу адмирала один из матросов облачается в стальную броню, а островитяне осыпают его дождем своих жалких костяных стрел и слышат при этом, как неуязвимый воин в блестящих доспехах хохочет и потешается над ними.

Что за чародеи! Хотя бы вот этот самый Пигафетта! В руке он держит палочку или перо какой-то птицы, и, когда с ним говоришь, он чертит этим пером на белом листе какие-то черные знаки и может потом совершенно точно повторить человеку, что тот говорил два дня назад! А как чудесно было зрелище, которое они, эти белые боги, устроили в день, называемый ими пасхальным воскресеньем! На взморье они воздвигли странное сооружение, алтарь, как они его называли. Большой крест сверкал на нем в лучах солнца. Потом все они, по двое в ряд, начальник и с ним еще пятьдесят человек, разодетые в лучшие свои одежды, подходят к этому сооружению, и, в то время как они преклоняют колена перед крестом, на кораблях внезапно вспыхивают молнии, и при синем ясном небе далеко по морю разносятся раскаты грома.

Веря в чудодейственность того, что совершают здесь эти мудрые и могущественные чужеземцы, островитяне робко и

благоговейно подражают каждому их движению, так же становятся на колени и так же прикладываются к кресту. И вчерашние язычники радостно благодарят адмирала, когда он обещает водрузить на их острове крест таких огромных размеров, что с моря его будет видно отовсюду. Двойной успех достигнут за эти несколько дней: царек острова стал не только союзником испанского короля, но и братом его по вере. Не только новые земли приобретены для испанской короны, но и души этих невольных грешников, этих детей природы, отныне подвластны католической церкви и Христу.

Чудесное идилическое время, эти дни на острове Массаве. Но довольно отдыхать, Магеллан! Матросы набрались сил, повеселели, позволь им теперь возвратиться на родину! К чему еще мешкать, что значит для тебя открыть еще один островок, когда ты сделал величайшее открытие этой эпохи. Теперь еще зайти на «острова пряностей» — и ты выполнил свою задачу, сдержал свою клятву; и тогда домой, где тебя ждет жена, мечтающая показать отцу второго сына, родившегося уже в отсутствие отца!

Домой, чтобы изобличить мятежников, трусливо клеветующих на тебя!

Домой, чтобы всему миру показать, что может совершить мужество португальского дворянина, стойкость и самоотверженность испанской команды! Не заставляй твоих друзей дольше ждать, не допускай, чтобы те, кто верит в тебя, заколебались.

Домой, Магеллан! Держи курс домой!

Но гений человечества всегда одновременно и его рок. А гением Магеллана было долготерпение, великий дар выждать и молчать.

Сильнее, чем желание вернуться триумфатором на родину и принять благодарность властелина Старого и Нового Света, в нем говорит чувство долга. Все, за что этот человек ни принимался, он заботливо подготовлял и упорно доводил до конца. Так и на этот раз, прежде чем покинуть открытый им Филиппинский архипелаг, Магеллан хочет хоть сколько-ни-

будь изучить его и упрочить право на него испанской короны. Слишком развито в нем чувство долга, чтобы он мог удовлетвориться посещением и присоединением маленького островка: так как из-за недостатка людей он не может оставить в этих краях ни представителей власти, ни торговых агентов, то он хочет и с более могущественными владыками островного царства заключить такой же договор, как с малозначащим Каламбу, а в качестве символов нерушимой власти повсюду водрузить кастильское знамя и католический крест.

Царек сообщает Магеллану, что самый большой из островов архипелага — это Себу (Зебу). А когда Магеллан просит дать ему надежного лоцмана, чтобы добраться туда, туземный владыка смиренно просит о великой чести самолично вести экспедицию.

Правда, высокая честь иметь на борту царственного лоцмана несколько задерживает отплытие, ибо во время сбора риса бравый Каламбу столь ретиво предался обжорству и пьянству, что только 4 апреля флотилия смогла наконец вверить свою судьбу этому последователю Пантагрюзля. И вот путешественники отчаливают от благословенного берега, где в последнюю минуту нашли спасение от гибели. По тихому морю плывут они мимо ласково манящих островов и островков, направляясь к тому, который Магеллан сам избрал, ибо, с грустью пишет верный Пигафетта, «*così voleva la sua infelice sorte*» — «так было угодно злосчастной его судьбе».

СМЕРТЬ НАКАНУНЕ ПОЛНОГО ТОРЖЕСТВА

7 апреля 1521 г. — 27 апреля 1521 г.

После трех дней благополучного плавания по морской глади 7 апреля 1521 года флотилия приближается к острову Себу; многочисленные деревушки на побережье свидетельствуют о том, что остров густо населен. Царственный лоцман Каламбу уверенной рукой направляет судно прямо к приморской сто-

лице. С первого же взгляда на гавань Магеллан убеждается, что здесь он будет иметь дело с раджей или владыкой более высокого разряда и большей культуры, так как на рейде стоят не только бесчисленные челны туземцев, но и иноземные джонки. Значит, нужно с самого начала произвести надлежащее впечатление, внушить, что чужестранцы повелевают громом и молнией. Магеллан приказывает дать приветственный залп из орудий, и, как всегда, это чудо — внезапная искусственная гроза при ясном небе — приводит детей природы в неопишуемый ужас: с дикими воплями разбегаются они во все стороны и прячутся.

Но Магеллан немедленно посылает на берег своего толмача Энрике с дипломатическим поручением: объяснить властителю острова, что страшный удар грома отнюдь не означает вражды, а напротив, этим проявлением волшебной своей власти могущественный адмирал выражает почтение могущественному королю Себу. Повелитель этих кораблей сам только слуга, но слуга могущественнейшего в мире властителя, по повелению которого он, чтобы достичь «островов пряностей», пересек величайшее море вселенной. Но он пожелал воспользоваться этим случаем также и для того, чтобы нанести дружественный визит королю острова Себу, ибо в Массаве слышал о мудрости и радушии этого правителя. Начальник громоносного корабля готов показать владыке острова никогда им не виданные редкостные товары и вступить с ним в меновую торговлю. Задерживаться здесь он отнюдь не намерен и, засвидетельствовав свою дружбу, немедленно покинет остров, не причинив мудрому и могущественному королю никаких хлопот.

Но король, или, вернее, раджа Себу Хумабон, уже далеко не столь простодушное дитя природы, как голые дикари на Разбойничьих островах или патагонские великаны. Он уже вкусил плодов от древа познания и знает толк в деньгах и их ценности. Этот темнокожий царек на другом конце света — практичный экономист, как явствует из того, что он либо перенял, либо сам придумал и установил высококультурный обычай — взимание пошлин за право торговли в его гавани.

Бывалого купца не запугать громом орудий, не обольстить вкрадчивыми речами переводчика. Холодно поясняет он Энрике, что не отказывает чужеземцам в разрешении бросить якорь в гавани и даже склонен с ними вступить в торговые сношения, но каждый корабль обязан уплатить ему налог за право стоянки и торговли. И если великому капитану, начальнику трех больших иноземных судов, угодно вести здесь торговлю, то пусть он уплатит установленный сбор.

Невольнику Энрике ясно, что его господин, адмирал королевской армады и кавалер ордена Сант-Яго, никогда не согласится платить пошлину какому-то ничтожному туземному царьку. Ведь этой данью он признал бы *implicite** независимость и самостоятельность страны, которую Испания, в силу папской буллы, уже считает своей собственностью. Поэтому Энрике настойчиво убеждает Хумабона в этом особом случае отказаться от взимания налога, дабы не прогневить повелителя громов и молний. Прижимистый раджа стоит на своем. Сначала деньги — потом дружба. Сначала надо платить, исключений тут не бывает; и в подтверждение своих слов он велит привести магометанского купца, только что прибывшего на своей джонке из Сиама и беспрекословно уплатившего пошлину.

Купец-мавр является незамедлительно и бледнеет от страха. С первого взгляда на большие корабли с крестом святого Яго на раздутых парусах он понял всю опасность положения. Горе, горе! Даже об этом последнем укромном уголке Востока, где еще можно было честно заниматься своим ремеслом, не страшась этих пиратов, пронюхали христиане! Вот они уже здесь со своими грозными пушками и аркебузами, эти убийцы, эти заклятые враги Магомета! Конец теперь мирным торговым сделкам, конец хорошим прибылям! Торопливо шепчет он королю, что следует быть осторожным и не затевать ссоры с непрошеными гостями. Ведь это те самые люди, которые — здесь он, правда, путает испанцев с португальцами —

*Косвенно (лат.).

разграбили и завоевали Каликут, всю Индию и Малакку. Никто не может противостоять белым дьяволам.

Этой встречей снова замкнулся круг: на другом конце света, под другими созвездиями Европа опять соприкоснулась с Европой. До тех пор Магеллан, продвигаясь на запад, почти везде находил земли, куда еще не ступала нога европейца. Никто из туземцев, встречавшихся ему, не слышал о белых людях, никто из них не видел жителя Европы, а ведь даже к Васко да Гаме, когда тот сошел на берег Индии, какой-то араб обратился на португальском наречии. Магеллану за два года ни разу не довелось быть узанным: словно по пустой, необитаемой планете странствовали испанцы. Патагонцам они казались небожителями; как от бесов или злых духов, прятались от них туземцы на Разбойничьих островах.

И вот здесь, на другом краю земного шара, европейцы наконец снова оказались лицом к лицу с человеком, который их знает, который их опознал; из их мира в эти новые миры, через безбрежные просторы океана, переброшен мост. Круг сомкнулся; еще несколько дней, еще несколько сотен миль — и после двух лет разлуки Магеллан снова встретит европейцев, христиан, друзей, единоверцев! Если он мог еще сомневаться, действительно ли так близка цель, то теперь подтверждение получено: одно полушарие сошлось с другим, невозможное совершилось — он обогнул земной шар.

Предостерегающие слова мавританского торговца возымели очевидное действие на короля Себу. Оробев, он тотчас же отказывается от своих требований и в доказательство добрых намерений приглашает посланцев Магеллана на пиршество, во время которого — третье неопровержимое доказательство того, что аргонавты уже совсем близко от Аргоса, — кушанья подаются не в плетенках и не на дощечках, а в фарфоровой посуде, вывезенной из Китая — из сказочного «Катая» Марко Поло. Теперь, следовательно, рукой подать до Ципангу и Индии, испанцы уже коснулись края восточной культуры. Мечта Колумба — западным путем достичь Индии — осуществлена.

После того как дипломатический инцидент улажен, начинается официальный обмен любезностями и товарами. Пигафетта в качестве уполномоченного посылается на берег. Раджа изъявляет готовность вступить на вечные времена в союз с могущественным императором Карлом, и Магеллан честно прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить мир. В противоположность Кортесу и Писарро, немедленно спускавшим своих кровавых псов, варварски истреблявшим и порабоцавшим туземное население с единственной мыслью как можно скорее разграбить покоренную страну, более дальновидный и гуманный Магеллан в продолжение всего своего путешествия стремился исключительно к мирному проникновению в открытые им земли; он старается присоединять новые области мирными средствами, заключением договоров, а не принуждением и кровавым насилием. Ничто так не возвышает Магеллана в нравственном отношении над всеми другими конквистадорами его времени, как это неуклонное стремление к гуманности.

Магеллан — натура суровая, крутая, об этом свидетельствует его поведение во время мятежа; поддерживая в своей флотилии железную дисциплину, он не ведал ни снисхождения, ни жалости. Но если он был беспощаден, то к чести его следует признать, что жестоким он никогда не был; его память не осквернена такими зверскими расправами, как сожжение кациков, пытка Гватамозина, навеки запятнавшими великие подвиги Кортеса и Писарро. Ни единое нарушение слова, что другие конквистадоры считали вполне законным, когда дело касалось язычников, не бесчестит его торжества. До смертного своего часа Магеллан строго и неукоснительно придерживался любого своего договора с любым туземным князьком. Эта честность была лучшим его оружием и остается вечной его славой.

Между тем, к вящему удовольствию обеих сторон, началась меновая торговля. Больше всего островитяне дивятся железу, этому твердому веществу, как нельзя более пригодному для изготовления мечей, копий, заступов. Малоценным пред-

ставляется им по сравнению с этим металлом мягкое желтовато-белое золото, и, как в памятный 1914 год мировой войны, они с восторгом меняют его на железо. За четырнадцать фунтов этого в Европе почти не имеющего ценности металла островитяне приносят пятнадцать фунтов золота, и Магеллану приходится строгостью удерживать восхищенных этой безумной щедростью матросов, в чаду восторга готовых променять на золото свою одежду и все пожитки. Он опасается, что вследствие слишком неистового спроса туземцы догадаются о ценности этого металла и тем самым обесценятся привезенные европейцами товары.

Магеллан хочет сохранить преимущество, обеспечивающееся невежеством туземцев, но в остальном строго следит, чтобы жителям Себу все отпускалось по точному весу и мере; этого человека, мыслящего в огромных масштабах, не занимает случайная прибыль: ему важно наладить торговые сношения и в то же время привлечь сердца и души жителей этой провинции. И снова его расчет оказался правильным: вскоре туземцы исполняются такого доверия к приветливым и могущественным чужеземцам, что раджа, а вместе с ним и большинство его приближенных по доброй воле изъявляют желание принять христианство. Того, чего другие испанские завоеватели годами добивались при помощи пыток и инквизиции, страшных казней и костров, глубоко верующий и все же чуждый фанатизма Магеллан добился за несколько дней без всякого принуждения.

Сколь гуманно и терпеливо вел он себя при этом обращении туземцев, мы читаем у Пигафетты: «Адмирал сказал им, что не следует становиться христианами из страха перед нами или в угоду нам. Если они действительно хотят принять христианство, то побуждать их к тому должно лишь собственное желание и любовь к Богу. Но если они и не пожелают перейти в христианскую веру, им тоже не причинят зла. С теми же, кто примет христианство, будут обходиться еще лучше. Тут все они, как один, воскликнули, что не из страха и не из угодливости хотят они стать христианами, но по собственной воле.

Они предают себя в его руки, и пусть он поступает с ними как со своими подначальными. После этого адмирал со слезами на глазах обнял их и, сжимая руки наследного принца и раджи Массавы в своих руках, сказал, что клянется верой своей в Бога и верностью своему властелину нерушимо соблюдать вечный мир между ними и королем Испании, а они, в свою очередь, обещали ему то же самое».

В следующее воскресенье, 14 апреля 1521 года, закатным светом блистает счастье Магеллана — испанцы празднуют величайшее свое торжество. На базарной площади города воздвигнут пышный балдахин; под ним на доставленных с кораблей коврах стоят два обитых бархатом кресла — одно для Магеллана, другое для раджи. Перед балдахином сооружен видный издалика, сияющий огнями алтарь, вокруг которого сгрудились тысячи темнокожих людей в ожидании обещанного зрелища. Магеллан, который до этой минуты, по искусному расчету, ни разу не сходил на берег и все переговоры вел через Пигафетту, инсценирует свое появление с нарочитой, оперной пышностью.

Сорок воинов в полном вооружении выступают впереди него, за ними — знаменосец, высоко вздымающий шелковое знамя императора Карла, врученное адмиралу в севильском соборе и впервые развернутое здесь, над новой испанской провинцией; затем размеренно, спокойно, величаво шествует Магеллан в сопровождении своих офицеров. Как только он ступает на берег; с кораблей гремит пушечный залп. Устрашенные салютом зрители пускаются наутек, но так как раджа (которому заранее предусмотрительно сообщили об этом раскате грома) остается невозмутимо сидеть на своем кресле, то они спешат назад и с восторженным изумлением следят за тем, как на площади водружается исполинский крест и их повелитель вместе с наследником престола и многими другими, низко склонив голову, принимает «святое крещение». Магеллан на правах восприемника дает ему взамен его прежнего языческого прозвища Хумабон имя Карлос — в честь его державного повелителя. Королева — она весьма красива и могла

бы и в наши дни вращаться в лучшем обществе, так как на четыреста лет опередила своих европейских и американских сестер: ее губы и ногти выкрашены в ярко-красный цвет, — отныне зовется Хуаной. Принцессы также нарекаются царственными испанскими именами — Изабелла и Катарина.

Само собой разумеется, что знать Себу и соседних островов не желает отставать от своих раджей и предводителей: до поздней ночи священник флотилии не покладая рук крестил сотни стекающих к нему людей. Весть о чудесных пришельцах быстро распространяется. На следующий же день обитатели других островов, прослышав о волшебных церемониях пришлого кудесника, толпами устремляются на Себу; еще несколько дней, и на этих островах не останется ни одного царька, который не присягнул бы Испании и не склонил бы голову перед святым кропилом.

Более удачно не могло завершиться предприятие Магеллана. Он достиг всего. Пролив найден, другой конец Земли нащупан. Новые богатейшие острова вручены испанской короне, несметное множество языческих душ — христианскому Богу; и все это — торжество из торжеств! — достигнуто без единой капли крови. Господь помог рабу своему. Он вывел его из тягчайших испытаний, горше которых не перенес ни один человек. Беспредельно проникся теперь Магеллан почти религиозным чувством уверенности. Какие мытарства могут еще предстоять ему после мытарств, уже перенесенных, что еще может подорвать его дело после этой чудесной победы? Смиренная и чудодейственная вера в успех всего, что он предпримет во славу Господа и своего короля, наполняет его.

И эта вера станет его роком.

Все удалось Магеллану так, словно ангелы освещали его путь. Он завладел новой империей для испанской короны, но как сохранить все, что добыто, за королем? Дольше оставаться на Себу он не может, как не может покорить один за другим все острова архипелага. А потому Магеллан, всегда мыслящий последовательно и в широких масштабах, видит лишь один

способ упрочить испанское владычество на Филиппинах, а именно: объявить Карлоса-Хумабона, первого католического великого раджу, повелителем над всеми остальными раджами. Союзник испанского короля король Карлос Себуанский должен отныне иметь больший престиж, чем все другие. Поэтому не безрассудством и легкомыслием, а хорошо продуманным политическим ходом было обещание Магеллана оказать вооруженную помощь королю Себуанскому, если кто-либо посмеет противиться его власти.

По чистой случайности именно в эти дни представляется случай продемонстрировать такую помощь. На крохотном острове Мактан, расположенном напротив Себу, правит раджа по имени Силапулапу, издавна выказывавший непокорность властителю Себу. На этот раз он запрещает своим подданным снабжать продовольствием неведомых гостей Карлоса-Хумабона, и такое враждебное поведение, быть может, не лишено оснований: где-то на его острове — должно быть, потому, что матросы после долгого вынужденного воздержания как иступленные гонялись за женщинами — произошла кровавая свалка, во время которой было сожжено несколько хижин.

Неудивительно, что Силапулапу хочет как можно скорее избавиться от чужеземцев, но его неприязненное отношение к гостям Хумабона кажется Магеллану отличным поводом доказать свою мощь. Не только властитель Себу — все царьки окрестных островов должны воочию увидеть, как разумно поступили те, кто подчинился испанцам, и какое жестокое возмездие ждет всех, кто противоборствует этим громовержцам. И вот Магеллан предлагает Хумабону преподать строптивому царьку суровый урок силой оружия, чтобы раз и навсегда внушить уважение остальным. Как ни странно, но раджа Себу встречает этот план без особого восторга: может быть, он боится, что усмиренные племена восстанут против него тотчас же после отплытия чужестранцев. Серрано и Барбоса также отговаривают адмирала от этого ненужного похода.

Но Магеллан и не помышляет о настоящих военных действиях; покорится мятежный правитель добровольно — тем

лучше для него и для всех остальных; заклятый враг ненужного кровопролития, антипод воинственных конквистадоров, Магеллан сначала посылает к Силапулапу своего невольника Энрике и купца-мавра с предложением честного мира. Он требует одного: чтобы правитель Мактана признал власть раджи острова Себу и покровительство Испании. Если Силапулапу пойдет на это, испанцы будут жить с ним в мире и согласии; если он откажется признать эту верховную власть, тогда ему покажут, как больно колют испанские копья.

Но раджа отвечает, что и его люди вооружены копьями. Пусть это бамбуковые и тростниковые копья, но острия их достаточно хорошо закалены на огне, и испанцы могут сами в этом убедиться. После столь надменного ответа у Магеллана, символически представляющего все могущество Испании, остается лишь один аргумент — оружие.

Во время приготовлений к этому маленькому походу Магеллану впервые изменяют самые характерные для него качества: осмотрительность и дальновидность. Кажется, впервые этот все точно рассчитывающий человек легкомысленно бросается навстречу опасности. Поскольку раджа Себу изъявил готовность дать испанцам для этой экспедиции тысячу своих воинов, а Магеллан, со своей стороны, легко мог бы переправить на островок человек полтораста из своего экипажа, не подлежит сомнению, что раджа этого крохотного острова, который даже нельзя отыскать на нормальной карте, потерпел бы полное поражение.

Но Магеллан не хочет бойни. В этой экспедиции для него важно нечто иное и более значительное: престиж Испании. Адмирал императора Старого и Нового Света считает ниже своего достоинства посылать целое войско против темнокожего нищего царька, в грязной хижине которого нет ни одной незаплатанной циновки, и выставлять превосходящие силы против жалкой оравы островитян. Магеллан преследует обратную цель: наглядно доказать, что один хорошо вооружен-

ный, закованный в латы испанец шутя справится с сотней таких голышей.

Единственная задача этой карательной экспедиции — заставить население всех островов архипелага уверовать в миф о неуязвимости и богоподобности испанцев; то, что несколько дней назад на флагманском судне было показано раджам Мас-савы и Себу в качестве увеселительного зрелища, когда два десятка туземных воинов одновременно со всего размаха ударили своими жалкими копьями и кинжалами по добротной испанской броне, а закованный в нее человек оставался невредимым, теперь в более крупном масштабе должно подтвердиться на примере строптивого царька.

Только по этим чисто психологическим соображениям обычно столь осторожный Магеллан, вместо того чтобы захватить с собой всю команду, берет всего шестьдесят человек, а радже Себу со вспомогательным отрядом туземцев приказывает остаться в лодках и не вмешиваться в то, что произойдет. Только в качестве свидетелей, в качестве зрителей приглашают их присутствовать при назидательном зрелище, как шесть десятков испанцев усмирят всех предводителей, царьков и раджей этого архипелага.

Неужели многоопытный мастер расчета на этот раз просчитался? Безусловно, нет. В историческом аспекте такое соотношение — шестьдесят закованных в латы европейцев против тысячи нагих туземцев, вооруженных копьями с наконечниками из рыбьей кости, — отнюдь не является абсурдным. Ведь с четырьмя-пятью сотнями воинов Кортес и Писарро, преодолевая сопротивление сотен тысяч мексиканцев и перуанцев, покоряли целые государства; по сравнению с такими начинаниями экспедиция Магеллана на островок величиной с булавочную головку действительно была только военной прогулкой. Что об опасности он думал так же мало, как и другой великий мореплаватель, капитан Кук, лишившийся жизни в точно такой же ничтожной стычке с островитянами, в достаточной мере явствует из того, что набожный католик Магеллан, обычно перед каждым решительным де-

лом заставлявший команду причаститься, на этот раз не отдал такого распоряжения. Два-три выстрела, два-три основательных удара, и бедные воины Силапулапу, как зайцы, пускаются наутек! И тогда без кровопролития здесь навеки торжественно утвердился нерушимое могущество Испании.

В эту ночь с четверга на пятницу 26 апреля 1521 года, когда Магеллан и шестьдесят его воинов сели в шлюпки, чтобы переплыть узкий пролив, разделяющий острова, по уверению туземцев, на крыше одной из хижин сидела диковинная, неизвестная черная птица, похожая на ворона. И правда, вдруг, неизвестно почему, начали выть все собаки; испанцы, суеверные не меньше простодушных детей природы, боязливо осеняют себя крестным знаменем. Но разве может человек, предпринявший самое дерзновенное в мире плавание, отказаться от стычки с голым царьком и жалкими его приспешниками из-за того, что неподалеку каркает какой-то ворон?

По роковой случайности этот царек находит, однако, надежного союзника в своеобразных очертаниях взморья. Из-за плотной гряды коралловых рифов шлюпки не могут приблизиться к берегу; таким образом, испанцы уже с самого начала лишаются наиболее впечатляющего средства: смертоносного огня мушкетов и аркебуз, гром которых обычно заставляет туземцев обращаться в паническое бегство. Необдуманно лишив себя этого прикрытия, шестьдесят тяжело вооруженных воинов — прочие испанцы остаются в лодках — бросаются в воду с Магелланом во главе, который, по словам Пигафетты, «как добрый пастух, не покидал своего стада». По бедра в воде проходят они немалое расстояние до берега, где, неистово крича, завывая и размахивая щитами, их дожидается целое полчище туземцев. Тут противники сталкиваются.

Наиболее достоверным из всех описаний боя, по-видимому, является описание Пигафетты, который, сам тяжело раненный стрелой, до последней минуты не покидал своего возлюбленного адмирала. «Мы прыгнули, — повествует он, — в воду, доходившую нам до бедер, и прошли по ней расстояние вдвое больше того, какое может пролететь стрела, а лодки

наши из-за рифов не могли следовать за нами. На берегу нас поджидали тысячи полторы островитян, разделенных на три отряда, и они тотчас с дикими воплями ринулись на нас. Две толпы атаквали нас с флангов, а третья — с фронта. Адмирал разделил команду на два отряда. Наши мушкетеры и арбалетчики в течение получаса палили издалека с лодок, но тщетно, ибо их пули, стрелы и копья не могли с такого расстояния пробить деревянные щиты дикарей и разве что повреждали им руки. Тогда адмирал громким голосом отдал приказ прекратить стрельбу, очевидно желая приберечь порох и пули для решающей схватки. Но его приказ не был выполнен. Островитяне же, убедившись, что наши выстрелы почти или даже вовсе не наносят им вреда, перестали отступать. Они только громче все вопили и, прыгая из стороны в сторону, дабы вернуться от наших выстрелов, под прикрытием щитов, придвигались все ближе, забрасывая нас стрелами, дротиками, закаленными на огне деревянными копьями, камнями и комьями грязи, так что мы с трудом от них оборонялись. Некоторые даже метали в нашего командира копья с железными наконечниками.

Чтобы нагнать на них страху, адмирал послал нескольких воинов поджечь хижины туземцев. Но это только сильнее разъярило их. Часть дикарей кинулась к месту пожара, который уже успел уничтожить двадцать или тридцать хижин, и там они убили двоих из наших людей. Остальные с еще большим ожесточением бросились на нас. Заметив, что туловища наши защищены, но ноги не прикрыты броней, они стали целиться в ноги. Отравленная стрела вонзилась в правую ногу адмирала, после чего он отдал приказ медленно, шаг за шагом, отступить. Но тем временем почти все наши люди обратились в беспорядочное бегство, так что около адмирала (а он, уже много лет хромой, теперь явно замедлял отступление) осталось не более семи или восьми человек. Теперь на нас со всех сторон сыпались дротики и камни, и мы уже не могли сопротивляться. Бомбардиры, имевшиеся в наших лодках, были не в состоянии нам помочь, так как мелководе удерживало лод-

ки вдали от берега. Итак, мы отступали все дальше, стойко обороняясь, и уже были на расстоянии полета стрелы от берега, и вода доходила нам до колен. Но островитяне по пятам преследовали нас, выуживая из воды уже однажды использованные копья, и, таким образом, метали одно и то же копьё пять-шесть раз. Узнав нашего адмирала, они стали целиться преимущественно в него: дважды им уже удалось сбить шлем с его головы; он оставался с горстью людей на своем посту, как подобает храброму рыцарю, не пытаясь продолжать отступление, и так сражались мы более часу, пока одному из туземцев не удалось тростниковым копьём ранить адмирала в лицо. Разъяренный, он тотчас же пронзил грудь нападающего своим копьём, но оно застряло в теле убитого; тогда адмирал попытался выхватить меч, но уже не смог этого сделать, так как враги дротиком сильно ранили его в правую руку и она перестала действовать. Заметив это, туземцы толпой ринулись на него, и один из них саблей ранил его в левую ногу, так что он упал навзничь. В тот же миг все островитяне набросились на него и стали колотить копьями и прочим оружием, у них имевшимся. Так умертвили они наше зеркало, свет наш, утешение наше и верного нашего предводителя».

Так в мелкой стычке с ордой голых островитян бессмысленно погибает в высшую, прекраснейшую минуту осуществления своей задачи величайший мореплаватель истории. Гений, который, подобно Просперо, укротил стихии, обуздал бури и одолел людей, сражен жалким ничтожеством Силапулапу. Но только жизнь может отнять у него эта нелепая случайность — не победу, ибо великий его подвиг уже почти доведен до конца, и после этого сверхчеловеческого деяния личная судьба уже не имеет большого значения.

Но, к сожалению, за трагедией его героической гибели слишком быстро следует комическое действие — те самые испанцы, которые несколько часов назад, как небожители, взирали на жалкого царька Мактана, доходят до такого глубокого унижения, что, вместо того чтобы немедленно послать за под-

креплением и отнять у убийц труп своего вождя, трусливо посылают к Силапулапу парламентаря с предложением продать им тело: за несколько погребушек и пестрых тряпок рассчитывают они выкупить бранные останки адмирала. Но более гордый, чем малодушные соратники Магеллана, голый триумфатор отклоняет сделку. Ни на зеркальца, ни на стеклянные бусы, ни на яркий бархат не выменяет он тело своего противника. Этот трофей он не продаст. Ибо уже по всем островам разнеслась молва, что великий Силапулапу легко, как птицу или рыбу, сразил иноземного повелителя грома и молний.

Никто не знает, что сделали несчастные дикари с трупом Магеллана, на волю какой стихии — огня, воды, земли или всеразрушающего воздуха — предали они его брнное тело. Ни единого свидетельства нам не осталось, утрачена его могила, таинственно затерялся в неизвестности след человека, который отвоевал у бескрайнего океана, омывающего земной шар, его последнюю тайну.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЗ ВОЖДЯ

26 апреля 1521 г. — 6 сентября 1522 г.

Восемь человек убитыми потеряли испанцы в жалкой стычке с Силапулапу, цифра сама по себе довольно ничтожная, но гибель вождя превращает этот день в великую катастрофу. Со смертью Магеллана исчезает волшебный ореол, до той поры возносивший белых пришельцев на божественную высоту, а ведь главным образом на представлении об их мнимой непобедимости зиждились успехи и могущество всех конквистадоров. Несмотря на всю храбрость, выносливость, несмотря на все их воинские добродетели и доспехи, ни Кортесу, ни Писарро никогда не удалось бы победить десятки, сотни тысяч противников, если бы им, как ангел-хранитель, не сопутствовал миф о непобедимости и неуязвимости.

Невиданные, всеведущие создания, умеющие извергать

громы и молнии из своих дубинок, казались смятанным туземцам неуязвимыми, их нельзя было ранить, ибо стрелы отскакивали от их доспехов; от них нельзя было спастись бегством, ибо огромные четвероногие звери, с которыми они срослись воедино, неминуемо настигали беглеца. Ничто так наглядно не свидетельствует о парализующем воздействии этого страха, как один эпизод эпохи завоеваний, когда какой-то испанец утонул в реке. Три дня лежало его тело в индийской хижине; индийцы смотрели на него, но не решались к нему притронуться из страха, как бы неведомый бог не ожил. Только когда труп начал разлагаться, они набрались храбрости и подняли восстание. Стоило только одному белому богу оказаться тленным, стоило непобедимым только раз потерпеть поражение, и колдовские пути рухнули, — миф об их божественной мощи развеялся в прах.

Так и на этот раз раджа Себу беспрекословно повиновался повелителям грома и молний. Он смиренно принял их веру, полагая, что их бог сильнее деревянных божков, которым он до тех пор поклонялся. Он надеялся, подружившись с этим неведомым сверхъестественным существом, стать в скором времени могущественнейшим властителем всех окрестных островов. Но вот он сам и с ним тысячи его воинов со своих челнов видели, как Силапулапу, ничтожный мелкий предводитель, одержал победу над белыми богами. Собственными глазами видел он, как их громы и молнии стали бессильными, более того — видел, как якобы неуязвимые воины в своих сверкающих доспехах позорно бежали от голых дружинников Силапулапу и, наконец, как они отдали тело своего господина на поругание туземцам.

Может быть, решительные меры были бы еще в состоянии спасти престиж испанцев. Если бы энергичный военачальник немедленно собрал всех моряков, если бы все они тотчас переправились на Мактан, стремительной атакой отбили бы у туземцев тело своего великого начальника и жестоко наказали как самого царька, так и подвластное ему племя, — тогда, быть может, раджу Себу тоже охватил бы спасительный ужас.

Но вместо этого дон Карлос-Хумабон (теперь уже ему недолго осталось носить это царственное имя) видит, что побежденные испанцы смиренно отряжают послов к царьку-победителю, чтобы за деньги и вещи выторговать у него тело Магеллана. И что же? Жалкий царек ничтожного острова выказывает неповиновение белым богам и с презрением прогоняет их парламентариев.

Трусливое поведение белых богов не могло не навести короля Карлоса-Хумабона на странные размышления. Быть может, он испытывает нечто сходное с горьким разочарованием Калибана, когда бедный обманутый простак убедился, что опрометчиво принятый им за бога Тринкуло — всего лишь хвостун и пустомеля. Да и вообще испанцы немало поусердствовали, чтобы разрушить доброе согласие с туземцами. Петр Ангийерский, тотчас по возвращении опросивший матросов о подлинной причине перелома, совершившегося в отношениях с туземцами после смерти Магеллана, получил от очевидца, «*qui omnibus rebus interffuit*»*, вполне исчерпывающее объяснение: «*Feminarum stupra causam perturbationis dedisse arbitrantur*»**. Несмотря на всю свою строгость, Магеллан не мог воспрепятствовать распаленным долгим воздержанием матросам наброситься на жен гостеприимных хозяев; тщетно пытался он удержать их от насильственных действий и даже подверг наказанию своего шурина Барбосу за то, что он три ночи провел на берегу; эта разнузданность, вероятно, еще возросла после смерти Магеллана. Во всяком случае, вместе со страхом перед их военной мощью исчезло и всякое уважение к этим пришлым разбойникам.

Видимо, испанцы почуяли возрастающее недоверие к ним, ибо внезапно заторопились. Скорей, скорей погрузить товары и прочую поживу — и напрямик к «островам пряностей»! Идея Магеллана — миром и дружбой упрочить на Филиппинских

* Который сам во всем принимал участие (*лат.*).

** Обещание женщин явилось, надо полагать, причиной волнений (*лат.*).

островах главенство Испании и католической церкви — мало занимает его более корыстных преемников: лишь бы скорей покончить со всем и вернуться на родину. Но для завершения торговых сделок испанцам необходима помощь Магелланова невольника Энрике: ведь он единственный, кто благодаря знанию туземного языка может служить посредником в торговле, — и вот при этом, казалось бы, маловажном обстоятельстве и обнаруживается у них отсутствие того умения обращаться с людьми, благодаря которому более гуманный Магеллан неизменно достигал величайших своих успехов.

Верный его раб Энрике до последней минуты не покидал своего хозяина. Раненым доставили его обратно на корабль, и теперь он лежит неподвижно, укрытый своей циновкой, то ли страдая от полученной раны, то ли тяжело и упорно скорбя о гибели горячо любимого господина, к которому он привязался с безотчетной верностью сторожевого пса.

И тут Дуарте Барбоса, после смерти Магеллана избранный вместе с Серрано начальником флотилии, совершает глупость, нанеся смертельное оскорбление верному рабу Магеллана. Грубо заявляет он: пусть Энрике не воображает, что после смерти своего господина может бездельничать, что он уже не невольник. По возвращении на родину его немедленно передадут вдове Магеллана, а пока что он обязан повиноваться. Если он тотчас не встанет и не отправится на берег исполнять свои обязанности толмача, ему придется отвезать арапника.

Энрике — из опасной расы малайцев, никогда не прощающих оскорбление; потупясь, выслушивает он эту угрозу. Ему не может быть неизвестно, что, согласно завещанию Магеллана, он после смерти своего господина должен быть отпущен на свободу и даже получить известную сумму денег. Он молча стискивает зубы. Эти наглые преемники его великого господина и учителя, надумавшие украсть его свободу и не сочувствующие его горю, расплатятся за то, что называли его регго* и на самом деле обошлись с ним, как с собакой.

* Собака (исп.).

Коварный малаец внешне ничем не выдает своих мстительных замыслов. Покорно отправляется он на рынок, покорно выполняет обязанности толмача при купле и продаже, но одновременно использует во зло свое опасное искусство. Он осведомляет раджу Себу, что испанцы уже готовятся погрузить обратно на суда оставшиеся непроданными товары и на следующий день намерены незаметно исчезнуть, увозя с собой все свое добро. Если король теперь проявит должную расторопность, он с легкостью захватит все товары, ничего не отдавая взамен, и даже сможет завладеть при этом тремя великолепными испанскими кораблями.

Скорее всего мстительный совет Энрике вполне отвечал сокровенным желаниям раджи Себу; во всяком случае, его речи были выслушаны благосклонно. Вдвоем они вырабатывают план и осторожно подготавливают его выполнение. Продолжается без видимых внешних изменений оживленная торговля, сердечнее, чем когда-либо, обходится король Себу со своими новыми единоверцами, да и Энрике, с того дня как Барбоса пригрозил ему плеткой, видимо, полностью излечился от лени. Через три дня после смерти Магеллана, 1 мая, он с сияющим лицом приносит капитанам радостную весть: раджа Себу наконец-то получил драгоценности, которые он обещал послать своему повелителю и другу, королю Испании. Желая обставить вручение даров как можно торжественнее, он созвал своих подданных и подвластных ему предводителей племен: пусть же и оба капитана, Барбоса и Серрано, явятся в сопровождении наиболее знатных испанцев, чтобы принять из рук раджи подарки, предназначенные для верховного его повелителя и друга, короля Карлоса Испанского.

Будь Магеллан в живых, он, несомненно, вспомнил бы, из времен индийских своих походов, о столь же любезном приглашении властителя Малакки, когда доверчиво сошедшие на берег капитаны были перебиты и друг его, Франшишку, однофамилец Жуану Серрано, спасся только благодаря личной храбрости Магеллана. Но этот второй Серрано и Дуарте Барбоса, ничего не подозревая, идут в западню, расставленную их

новым братом во Христе. Они принимают приглашение — и здесь снова подтверждается старая истина, что звездочеты ничего не знают о собственной судьбе, ибо к ним примкнул и астролог Андрес де Сан-Мартин, по-видимому забывший предварительно составить себе гороскоп, тогда как обычно столь любопытствующего Пигафетту на сей раз спасает рана, полученная в бою на Мактане. Он остается лежать на циновке, и это сохраняет ему жизнь.

Всего на берег отправляются двадцать девять испанцев, и в числе их, роковым образом, лучшие, опытнейшие мореплаватели и кормчие. Торжественно встреченные, они отправляются в пальмовую рощу, где раджа приготовил им пиршество. Несметные толпы туземцев, привлеченных, вероятно, одним любопытством, со всех сторон окружают испанских гостей в порыве сердечности. Однако настойчивость, с какой раджа старается завлечь испанцев в глубь пальмовой рощи, не по душе кормчему Жуану Карвальо. Он делится своими подозрениями с альгвасилом флотилии Гомесом де Эспиноса; они решают как можно скорее доставить с кораблей на берег весь экипаж, чтобы в случае измены выручить товарищей. Под благовидным предлогом они выбираются из толчеи и спешат к кораблям. Но не успевают они взойти на борт, как с берега до них доносятся душераздирающие крики. Совершенно так же, как некогда в Малакке, туземцы напали на беспечно пирующих испанцев, не дав им схватиться за оружие. Одним ударом вероломный раджа Себу избавляется от всех своих гостей и завладевает всеми товарами и оружием, равно как и неуязвимыми доспехами испанцев.

Люди на кораблях в первую минуту цепенеют от ужаса. Затем Карвальо, вследствие гибели всех остальных капитанов в мгновение ока ставший начальником флотилии, отдает приказ приблизиться к берегу и открыть по городу огонь из всех орудий. Залп гремит за залпом. Может быть, Карвальо надеется этим спасти жизнь хоть нескольким товарищам, может быть, это только проявление бессильной ярости. Но как раз в минуту, когда первые ядра уже начинают крушить хижину,

происходит нечто страшное — одна из тех ужасающих сцен, которые навеки врезаются в память людей, живо их себе представивших.

Один из подвергшихся нападению, храбрейший из них, Жуан Серрано, точь-в-точь как некогда Франсишку Серрано на малаккском побережье — таинственное повторение, — в последнюю минуту вырывается из рук убийц и бежит к взморью. Но враги гонятся за ним, окружают его, связывают по рукам и ногам. И вот он стоит, беззащитный, теснимый толпой убийц, и из последних сил кричит товарищам на кораблях, чтобы они прекратили огонь, иначе мучители убьют его. Он молит их ради всего святого выслать лодку с товарами и выкупить его.

Какое-то одно мгновение кажется, что торг состоится. Цена жизни храбрейшего из капитанов уже установлена: две бомбарды и несколько бочонков меди. Но туземцы требуют, чтобы товары были доставлены на берег, а Карвальо, возможно, опасается, как бы эти уже однажды нарушившие слово негодяи не присвоили себе не только товары, но и шлюпку. Возможно же, Пигафетта сам высказывает это подозрение, что честолюбец уже не хочет расстаться со столь внезапно доставшимся ему званием командира и не склонен более служить простым кормчим под началом выкупленного Серрано.

Так или иначе, но чудовищное деяние совершается. На взморье извивается связанный окровавленный человек, окруженный кровожадной толпой, на его лбу холодный пот смертельного ужаса, единственная его надежда — что на расстоянии броска камня находятся три превосходно вооруженных испанских судна с раздутыми парусами, а у борта флагманского корабля стоит его земляк Карвальо, его соратре, его побратим, с кем он разделял тысячи опасностей и кто скорее пожертвует последним, чем покинет его в беде.

И снова вопит он охрипшим голосом: скорее, скорее пришлите выкуп. Жадно вперяет он глаза в шлюпку, покачивающуюся рядом с кораблем. Почему мешкает Карвальо, почему он так медлит? Но вот мореход Серрано, знающий любое

движение на корабле, воспаленными глазами видит, как шлюпку поднимают на борт. Предательство! Измена! Вместо того чтобы послать к нему спасательную шлюпку, суда начинают скользить к открытому морю. Флагманское судно уже обращается вокруг якоря, уже паруса надуваются попутным ветром. В первую минуту несчастный Серрано не может, не хочет понять, что его — начальника, капитана — собственные его товарищи по приказу его названного брата трусливо предадут в руки убийц.

Еще раз сдавленным голосом кричит он вслед беглецам, просит, приказывает, неистовствует в предсмертной тоске и отчаянии. А когда ему уже становится ясно, что все три корабля снялись с якоря и покидают рейд, он еще раз из последних сил набирает воздух в сдавленную путами грудь, и по волнам к Жуану Карвальо доносится ужасное проклятие: в день Страшного суда он будет призван к ответу перед всевышним за подлое свое предательство.

Но слова этого проклятия — последние слова Серрано. Собственными глазами видят предавшие его товарищи, как убивают избранного ими начальника. И еще прежде, чем суда успевают выйти из гавани, под торжествующие крики туземцев рушится огромный крест, воздвигнутый испанцами. Все, что за недели кропотливой, тщательной работы было достигнуто Магелланом, пошло прахом из-за легкомыслия и безрассудства его преемников. Покрытые позором, с предсмертным проклятием умирающего капитана, еще звучащим в их ушах, постыдно повернувшись спиной к ликующим дикарям, как преследуемые разбойники, покидают они тот остров, на который, подобно богам, вступили под предводительством Магеллана.

Печален смотр боевых сил, который проводят уцелевшие после выхода из злосчастной гавани Себу. Из всех ударов судьбы, перенесенных флотилией с момента отплытия, это пребывание в Себу оказалось наиболее тяжким. Не только незаменимого своего предводителя Магеллана потеряли они,

но и самых опытных капитанов — Дуарте Барбосу и Жуана Серрано, знатоков ост-индского побережья, более всего необходимых им теперь, во время обратного плавания. Со смертью Андреса де Сан-Мартин они утратили мастера навигационного дела, бегство Энрике лишило их переводчика. При перекличке из взятых на борт в Севилье двухсот шестидесяти пяти человек налицо оказывается всего сто пятнадцать; экипаж так малочислен, что распределить его на три корабля уже не представляется возможным. А потому лучше пожертвовать одним из трех судов и, таким образом, обеспечить два других достаточным числом людей.

Жребий добровольного потопления выпадает на долю «Консепсьон», давно уже давшего течь и потому ненадежного в предстоящем трудном плавании. Неподалеку от острова Бохол смертный приговор над ним приводится в исполнение. Все, что только может пригодиться, вплоть до последнего гвоздя, до самого истрепанного каната, переносится на два других корабля; опустошенные деревянные останки предаются огню.

Мрачно созерцают матросы, как разгорается едва заметное вначале, чуть тлеющее пламя, как оно затем огненными щупальцами со всех сторон охватывает судно, два года подряд бывшее им домом и родиной, и как, наконец, жалкий обуглившийся остов погружается в чужие, враждебные воды. Пять кораблей, с весело развевающимися вымпелами, с многолюдной командой, вышли из Севильской гавани. Первой жертвой стал «Сант-Яго», разбившийся у патагонских берегов. В Магеллановом проливе «Сан-Антонио» трусливо покинул флотилию. Всего два корабля плывут теперь бок о бок по неведомому пути: «Тринидад», бывшее флагманское судно Магеллана, и маленькая невзрачная «Виктория», которой предстоит оправдать свое гордое имя и пронести в бессмертие великий замысел Магеллана.

Отсутствие подлинного вождя, опытного морского начальника Магеллана, вскоре сказывается в неуверенности курса, взятого уменьшившейся до столь ничтожных размеров флоти-

лий. Точно слепые или ослепленные, ощупью бредут суда среди островов Зондского архипелага. Вместо того чтобы взять курс на юго-запад к Молуккским островам, совсем уже близким, они неуверенными зигзагами, то устремляясь вперед, то снова возвращаясь вспять, блуждают в северо-западном направлении.

Целых полгода затрачено в этих бесцельных скитаниях, приводящих суда и к Манданао и к Борнео. Но еще резче, чем в этой неуверенности курса, отсутствие прирожденного вождя сказывается в падении дисциплины. Под суровым управлением Магеллана не было ни грабежа на суше, ни пиратства на море; неуклонно соблюдался строгий порядок и отчетность. Ни на минуту не забывал Магеллан, что звание адмирала королевской флотилии обязывает его даже в самых дальних странах блюсти честь испанского флага.

Его жалкий преемник Карвальо, обязанный своим адмиральским званием лишь тому, что раджи Мактана и Себу умертвили всех старше его по чину, не знает нравственных сомнений. Он пиратствует, без зазрения совести забирая все, что попадает на пути. Любую повстречавшуюся джонку грабят. Выкуп, взимаемый при этих оказиях, Карвальо, нисколько не стеснясь, кладет в собственный карман, объединив в своем лице и счетовода и казначея. В то время как Магеллан во имя дисциплины не допускал на борт ни единой женщины, Карвальо перевозит с ограбленной им джонки на корабль трех туземок под предлогом принесения их в дар королеве испанской.

В конце концов экипажу наскучил этот новоявленный паша, *vedendo che non facere cosa che fosse in servizio del re*. Убедившись (сообщает дель Кано), что он заботится не о служении королю, а только о собственной выгоде, моряки просто прогоняют с должности своего обзаведшегося гаремом начальника и заменяют его триумвиратом в составе капитана «Тринидад» Гомеса де Эспиноса, капитана «Виктории» Себастьяна дель Кано и облеченного званием командира армады кормчего Понсеро.

Но суть дела от этого не меняется, оба судна продолжают бессмысленно описывать круги и зигзаги; правда, в этих густонаселенных краях сбившиеся с пути моряки с легкостью пополняют посредством меновой торговли и грабежа запасы продовольствия, но великая задача, во имя которой Магеллан дерзнул предпринять это плавание, как будто и вовсе забыта ими. Наконец счастливая случайность помогает им выбраться из лабиринта Зондских островов. На повстречавшемся им маленьком судне, которое они захватывают по своему пиратскому обыкновению, в их руки попадает человек родом из Тернате; он-то должен знать путь на свою родину, путь к вождельным «островам пряностей». И действительно, ему известен этот путь, известен и друг Магеллана Франсишку Серрано; наконец-то нашелся проводник, с помощью которого прекратятся их блуждания.

Последнее испытание преодолено, теперь они могут напрямик устремиться к цели, к которой за эти недели бессмысленных скитаний уже не раз приближались, но в своем ослеплении обходили стороной. Теперь несколько дней спокойного плавания больше приближают их к ней, чем шесть месяцев нелепых поисков. 6 ноября они видят, как вдали из моря вздымаются горы, вершины Тернате и Тидора. Блаженные острова достигнуты.

«Сопровождавший нас лоцман, — пишет Пигафетта, — сказал нам, что это Молукки. Все мы возблагодарили Господа и в ознаменование радостного события дали залп из наших орудий. Пусть не дивятся великому нашему счастью, ведь двадцать семь месяцев без двух дней мы, в общей сложности, провели в поисках этих островов и вдоль и поперек избороздили моря, стремясь найти их среди бесчисленных островов».

Но вот 8 ноября 1521 года они бросают якорь у Тидора, одного из пяти благодатных островов, о которых всю свою жизнь мечтал Магеллан. Как мертвый Сид, посаженный дружинниками на верного боевого коня одержал еще одну, последнюю победу, так энергия Магеллана и после его смерти приводит к счастливому завершению дела. Его суда, его люди

узрели обетованную страну, куда он, подобно Моисею, обещал привести их, но куда ему самому, их предводителю, не суждено было попасть.

Но нет в живых и того, кто звал его из-за океана, кто поощрял его замысел и подвиг, — нет более Франсишку Серрано; напрасно Магеллан простер бы объятия, чтобы заключить в них милого друга, в поисках которого он обогнул весь земной шар. Серрано умер за несколько недель до их прибытия, по слухам отравленный, — оба первых творца замысла кругосветного плаванья оплатили бессмертие своей безвременной гибелью.

Зато восторженные описания Серрано оказались ничуть не преувеличенными. Не только местность здесь прекрасна и богата дарами природы — не менее приветливы здесь и люди. «Что можно сказать об этих островах? — пишет в знаменитом своем письме Максимилиан Трансильванский. — Здесь все дышит простотой и ничто не ценится, кроме спокойствия, мира и прясностей. И лучшее из этих благ, а быть может и высшее благо на земле, — мир. Словно его изгнала из нашего света злокозненность людей, и он нашел себе убежище здесь».

Король, чьим другом и советником был Серрано, тотчас направляется к ним навстречу в ладье под шелковым балдахином и по-братски принимает гостей. Правда, вступив на борт, король Альмансор, как верующий магометанин, затыкает нос, страшась ненавистного запаха поганой свинины, но с братской любовью заключает христиан в свои объятия. «Гостите здесь, — уговаривает он их, — пользуйтесь всеми утехами этого края после стольких бедствий и долгих морских скитаний. Отдыхайте, считайте, что вы в царстве вашего собственного властителя».

Охотно признает он над собой верховную власть испанского короля. Не в пример остальным царькам, с которыми испанцы имели дело и которые старались урвать от них как можно больше, этот совестливый король просит их не засыпать его дарами, так как «у него нет ничего, чем он мог бы достойным образом одарить гостей».

Благодатные острова! Все, чего только ни пожелают испанцы, достается им здесь в избытке — изысканнейшие пряности, съестные припасы и золотая пыль, а все то, что приветливый султан не может доставить им сам, он добывает с соседних островов.

Моряки опьянены столь великим счастьем после всех лишений и страданий; они с лихорадочной поспешностью закупают пряности и чудесно оперенных райских птиц; они продают свое белье, мушкеты, плащи, кожаные пояса — ведь возвращение не за горами, — и богатыми людьми, приобретя за бесценок несметные сокровища, они вернутся на родину. Иные из них, правда, всего охотнее последовали бы примеру Серрано и навсегда остались бы в этом земном раю. А потому, когда перед самым отплытием выясняется, что только одно из судов еще достаточно крепко, чтобы выдержать обратный путь, и что пятидесяти из ста с лишним моряков придется ждать на благодатных островах, пока второе будет починено, значительная часть экипажа с радостью принимает эту дурную весть.

Остаться обречено бывшее флагманское судно Магеллана, «Тринидад». Первым вышел адмиральский корабль из Сан-Лукара, первым прошел Магелланов пролив, первым пересек Тихий океан, всегда впереди остальных, — олицетворенная воля их предводителя и великого наставника. Теперь, когда вождя нет в живых, его судно не хочет плыть дальше: как верный пес не дает увести себя с могилы хозяина, так и «Тринидад» отказывается продолжать путь, достигнув цели, поставленной ему Магелланом.

Уже погружены бочки с пресной водой, продовольствием и много центнеров пряностей, уже поднят флаг Сант-Яго с надписью: «Сие да будет залогом благополучного нашего возвращения», уже поставлены паруса, как вдруг в недрах старого, изношенного судна раздается громкий стон, зловещий треск. Трюм наполняется водой, но пробоину никак не удастся обнаружить, и приходится спешно начинать разгрузку, чтобы успеть еще вытащить судно на берег. Потребуется недели и

недели, чтобы исправить повреждение, а второй корабль, единственный уцелевший из всей флотилии, не может так долго ждать; теперь, когда дует попутный восточный муссон, пора, пора наконец на третьем году плавания принести императору весть, что Магеллан ценой жизни сдержал свое слово и под испанским флагом совершил величайший подвиг в истории мореходства.

Единодушно решают, что «Тринидад» после починки попытается пересечь Тихий океан в обратном направлении, с целью у Панамы достичь заокеанских владений Испании, а «Виктория», пользуясь попутными ветрами, немедленно устремится к западу, через Индийский океан, на родину.

Капитаны обоих судов, Гомес де Эспиноса и Себастьян дель Кано, теперь стоящие друг против друга, готовясь после двух с половиной лет совместного плавания проститься навсегда, уже однажды в решающую минуту противостояли друг другу. В памятную ночь сан-хулианского мятежа тогдашний капитан-армус Гомес де Эспиноса был вернейшим помощником Магеллана. Смелым ударом кинжала вернул он ему «Викторию» и тем самым обеспечил возможность дальнейшего плавания. Юный баск Себастьян дель Кано, тогда еще простой *sobresaliente*, в ту ночь был на стороне мятежников; он принял деятельное участие в захвате «Сан-Антонио». Магеллан щедро наградил верного Гомеса де Эспиносу и милостиво простил изменившего ему дель Кано.

Будь судьба справедлива, она избрала бы для славного завершения великого дела Эспиносу, обеспечившего торжество Магелланова замысла. Но более великодушный, нежели справедливый жребий возвышает недостойного. Эспиноса вместе с разделившими его участь моряками «Тринидад» бесславно погибает после бесконечных мытарств и скитаний и будет забыт неблагоприятной историей, тогда как звезды увенчают своим земным отблеском — бессмертием — как раз того, кто хотел помешать Магеллану совершить подвиг, кто некогда восстал на великого адмирала, — мятежника Себастьяна дель Кано.

Глубоко волнующее прощание на краю света: сорока семи морякам — офицерам и матросам «Виктории» — предстоит отправиться на родину, а пятидесяти одному — остаться с «Тринидад» на Тидоре. До самого отплытия остающиеся пребывают на борту с товарищами, чтобы еще раз обнять их, передать им письма, приветы; два с половиной года совместных тягот давно уже спаяли разноязычную и разноплеменную команду бывшей армады в единое целое. Никакие раздоры, никакие распри уже не в силах разъединить их. Когда «Виктория» наконец отдаст якоря, остающиеся все еще не хотят, не могут расстаться с товарищами. На шлюпках и малайских челнах плывут они бок о бок с медленно удаляющимся судном, чтобы еще раз взглянуть друг на друга, еще раз обменяться сердечными словами. Лишь с наступлением сумерек, когда руки уже устают грести, они поворачивают лодки, и на прощание гремит оружейный залп — последний братский привет остающимся. А затем «Виктория», последнее уцелевшее судно Магеллановой флотилии, начинает свое незабываемое плавание.

Это обратное, охватившее половину земного шара плавание старого, изношенного за два года и шесть месяцев неустанных странствий, вконец обветшавшего парусника — один из великих подвигов мореплавания. Осуществив волю умершего вождя, дель Кано этим славным деянием загладил свою вину перед Магелланом.

На первый взгляд стоящая перед ним задача — довести корабль с Молуккских островов до Испании — кажется не такой уж трудной, ибо с начала шестнадцатого века португальские флотилии регулярно, из года в год плывут с попутными муссонами от Малайского архипелага до Португалии и обратно. Путешествие в Индию лет десять назад, во времена Албукерке и Алмейды, еще было дерзновенным проникновением в неизвестность, — теперь оно требует только знания точно размеченного пути, в крайнем же случае капитан на

каждой стоянке, в Индии и Африке, на Малакке и в Мозамбике и на островах Зеленого Мыса, находит португальских представителей, чиновников и кормчих; в каждой гавани приготовлены продовольствие и нужные для починки судов материалы.

Но неимоверная трудность, которую должен преодолеть дель Кано, заключается в том, что он не только не может пользоваться этими португальскими базами, но вынужден на большом расстоянии огигать их. Ибо еще на Тидоре спутники Магеллана от некоего беглого португальца узнали, что король Мануэл приказал захватить все суда флотилии, а экипаж взять под стражу как пиратов, и действительно, их злосчастных товарищей с «Тринидад» не минует эта жестокая участь.

Итак, дель Кано предстоит на своем ветхом, источенном червями, до отказа нагруженном корабле, о котором почти три года назад еще в Севильской гавани консул Алвариш говорил, что не отважился бы плыть на нем и до Канарских островов, ни больше и ни меньше как единым духом пересечь весь Индийский океан, а затем еще, миновав мыс Доброй Надежды, обогнуть всю Африку, ни разу не бросив якорь. Нужно взглянуть на карту, чтобы постичь всю грандиозность, всю дерзновенность этой задачи, которая и теперь, через четыреста лет, даже для современного, снабженного усовершенствованными машинами парохода считалась бы большим достижением.

Этот беспримерный львиный прыжок с Малайского архипелага до Севильи начинается — достопамятный день! — 13 февраля 1522 года в одной из гаваней острова Тидор. Еще раз пополнил там дель Кано запасы продовольствия и пресной воды, еще раз, памятуя осмотрительность покойного начальника, велел основательно проконопатить и починить судно, прежде чем на долгие месяцы предать его на волю ветра и волн. В первые дни «Виктория» еще плывет мимо островов; издали моряки видят тропическую зелень, очертания высоких гор.

Но время года уже слишком позднее, чтобы можно было делать остановки, и дель Кано должен пользоваться попутным восточным муссоном; нигде не приставая, плывет «Виктория»

мимо этих манящих островов, к великому огорчению неустанно любопытствующего Пигафетты, все еще не насмотревшегося досыта «диковинных вещей». Чтобы убить время, он заставляет взятых на борт островитян (всего девятнадцать человек, в то время как число европейцев в экипаже уменьшилось до сорока семи) описывать мелькающие в тумане острова, и темнокожие попутчики рассказывают ему чудеснейшие сказки «Тысячи и одной ночи». Вот на том острове живут люди ростом не выше локтя, но уши у них такой длины, как они сами, и когда они ложатся спать, одно ухо им служит подстилкой, а другое — одеялом. А на этом островке обитают одни женщины, и мужчина не смеет ступить на него. Но они все же беременеют, от ветра, и всех мальчиков, которых родят, они убивают, а девочек оставляют в живых и растят.

Но мало-помалу последние острова исчезают в голубоватом тумане, малайцам уже нечем больше морочить легковерного Пигафетту, и только бескрайний океан окружает судно своей мучительно неизменной синевой. Недели, долгие недели, покуда они плывут в пустыне Индийского океана, моряки видят только небо и море в их ужасающем, гнетущем однообразии. Ни человека, ни корабля, ни паруса, ни звука; только синева, синева, синева в пустоте, полной пустоте бескрайней глади.

Ни один непривычный звук не доносится до их слуха, ни одно незнакомое лицо не является им за долгие недели. Но вот из тайников корабля выходит старый, хорошо знакомый призрак, тощий, бледный, с глубоко запавшими глазами, — голод. Голод — их верный спутник в плавании по Тихому океану, жестокосердный мучитель и убийца их старых, испытанных товарищей; значит, он снова украдкой пробрался на борт, ибо вот он стоит здесь среди них, алчный и злобный, ехидно ухмыляясь, глядит в их смятенные лица.

Непредвиденная катастрофа свела на нет все расчеты дель Кано. Правда, его люди погрузили запас продовольствия, главным образом мяса, рассчитанный на пять месяцев, но на

Тидоре не оказалось соли, и под палящим зноем индийского солнца недостаточно провяленное мясо начинает гнить. Чтобы спастись от зловония разлагающихся туш, моряки вынуждены весь запас выбросить в море, и теперь пищей им служит один только рис, рис да вода, вода да рис, рис да вода, вода да рис, и с каждой неделей все меньше становится риса и все меньше затхлой воды. Снова появляется цинга, снова начинается мор среди команды. Так велики становятся в начале мая их бедствия, что часть экипажа требует, чтобы капитан взял курс на близлежащий Мозамбик и выдал корабль португальцам, вместо того чтобы продолжать плавание и погибнуть голодной смертью.

Но вместе с командованием бывшему мятежнику незаметно передалась и железная воля Магеллана. Тот самый дель Кано, который ранее, будучи подчиненным, хотел принудить адмирала к отступлению, теперь, как начальник, требует от людей последнего, величайшего усилия — и ему удастся подчинить их своей воле. «*Ma inanti determinamo tutti morir che andar in mano dei portoghesi*» — «Мы решили лучше умереть, нежели предать себя в руки португальцев», — сможет он впоследствии гордо рапортовать императору.

Попытка высадиться на восточном берегу Африки оказывается неудачной: в этом голом, пустынном краю они не находят ни воды, ни плодов; нисколько не облегчив своих страданий, они продолжают страшное плавание. У мыса Доброй Надежды — они невольно называют его прежним именем: *Sabo Tormentoso* — мыс Бурь — на них налетает бешеный шквал, ломающий переднюю мачту и расщепляющий среднюю. С величайшими усилиями измученные, едва держащиеся на ногах матросы кое-как исправляют повреждения.

Медленно, с трудом, тяжело кряхтя, тащится судно вдоль побережья Африки дальше на север. Но ни в бурю, ни в безветрие, ни днем, ни ночью не оставляет их в покое жестокий мучитель; издеваясь, оскальчивается серый призрак, голод, — издеваясь, ибо на этот раз он измыслил для них новую, дьявольскую пытку.

Корабельные трюмы не пусты, как раньше, когда флотилия плыла по Тихому океану, — нет, на этот раз чрево корабля набито до отказа. Семьсот центнеров пряностей везет «Виктория» — семьсот центнеров, количество, достаточное, чтобы приготовить роскошнейшую трапезу сотен тысяч, миллионов людей; пряностей у голодающего экипажа сколько душе угодно. Но разве можно запекшимися губами вкушать зернышки перца, разве можно вместо хлеба питаться пряными мускатными цветками или корицей? И если ужаснейшая история — умирать от жажды на море, посреди необъятных вод, то на борту «Виктории» люди претерпевают пытку из пыток, умирая голодной смертью посреди груд пряностей.

Каждый день за борт бросают иссохшие трупы. Тридцать один испанец из сорока семи и трое из девятнадцати островитян еще живы, когда после пяти месяцев безостановочного плавания, 9 июля, обессиленный корабль наконец подходит к островам Зеленого Мыса.

Зеленый Мыс — португальская колония, и Сант-Яго — португальская гавань. Встать здесь на якорь, в сущности, значит отдаться беззащитными в руки соперников, врагов, капитулировать в двух шагах от цели. Но пищи хватит самое большее еще на два-три дня; голод не оставляет им выбора, нужно отважиться на дерзкий обман.

Дель Кано решает на смелую попытку — скрыть от португальцев, с кем они имеют дело. Но прежде чем отправить на берег нескольких матросов для закупки съестного, он берет с них торжественную клятву ни словом не обмолвиться португальцам о том, что они — последняя горсть людей, уцелевшая от флотилии Магеллана, и что ими совершено кругосветное плавание. Матросам велено говорить, что бури пригнали их судно из Америки, а следовательно, из сферы владычества Испании. Расщепленная мачта и плачевное состояние истрепанного судна, к счастью, делают эту небылицу правдоподобной.

Без особых расспросов, не послав на борт чиновников для досмотра, португальцы, в силу свойственного морякам това-

рищеского чувства, оказывают шлюпке самый радушный прием. Они немедленно посылают испанцам пресную воду и съестные припасы; дважды, трижды возвращается шлюпка с берега, обильно нагруженная продовольствием. Уже кажется, что хитрость вполне удалась; отдых, а главное, давно не виданная пища — хлеб и мясо — подкрепили моряков, запасы продовольствия уже пополнены настолько, что их хватит до самой Севильи. Еще один, последний раз посылает дель Кано шлюпку — взять рису и плодов, а потом в путь, к победе! К победе!

Но странное дело — на этот раз шлюпка не возвращается. Дель Кано мгновенно догадывается о том, что случилось. Кто-нибудь из матросов сболтнул на берегу лишнее или же попытался обменять щепотку-другую пряностей на водку, которой все они так долго были лишены; по этим признакам португальцы узнали корабль Магеллана, своего заклятого врага. Дель Кано уже видит, как на берегу готовят корабль для захвата «Виктории». Только отчаянная решимость может теперь спасти их. Уж лучше покинуть тех, кто на берегу, только не дать захватить себя в двух шагах от цели! Только сохранить мужество для завершения отважнейшего плавания в истории! И хотя на «Виктории» всего восемнадцать человек — слишком мало, чтобы довести ветхое судно до Испании, — дель Кано велит поспешно сняться с якоря и поднять паруса. Это — бегство. Но бегство к великой, к решающей победе.

Как ни кратковременно и опасно было пребывание у Зеленого Мыса, однако именно там усердному летописцу Пигафетте удалось наконец пережить в последнюю минуту одно из тех чудес, ради которых он отправился в путь, ибо на Зеленом Мысе он первый наблюдает явление, новизна и знаменательность которого будут волновать и занимать внимание всего столетия.

Моряки, отправленные на берег для покупки съестных припасов, возвращаются с поразившей их вестью: на суше четверг, тогда как на корабле их уверяли, что сегодня среда.

Пигафетта чрезвычайно удивлен, ибо в течение всего длив-

шегося без малого три года странствия он день за днем вел свои записи. Без единого пропуска отсчитывал он понедельник, вторник, среду и так всю неделю, все годы подряд, — неужели же он пропустил один день?

Он спрашивает кормчего Альво, также отмечавшего каждый день в своем судовом журнале. И что же? По записям Альво тоже еще среда. Неуклонно плывшие на запад моряки каким-то непонятным образом вырвали из календаря один день, и рассказ Пигафетты о столь странном явлении ошеломляет всех образованных людей. Обнаружена тайна, о существовании которой не подозревали ни греческие мудрецы, ни Птолемей, ни Аристотель, раскрыть которую удалось только благодаря плаванию Магеллана: точное наблюдение подтвердило то, что Гераклид Понтийский за четыреста лет до начала христианской эры высказал как гипотезу: доказано, что земной шар не покоится неподвижно в мировом пространстве, а равномерным движением вращается вокруг собственной оси, и что тот, кто, плывя к западу, следует за ним в его вращении, может урвать у бесконечности крупицу времени.

Эта вновь познанная истина — что в различных частях света время и час не совпадают — волнует гуманистов шестнадцатого века примерно так же, как наших современников — теория относительности. Петр Ангиерский немедленно заставляет некоего «мудрого человека» объяснить ему это удивительное явление и затем сообщает о нем императору и папе. Так, в отличие от других, привезших на родину одни только вороха пряностей, Пигафетта, скромный рыцарь Родосского ордена, привез из долгого плавания драгоценнейшее из всего, что есть на свете, — новую истину!

Но еще судно не возвратилось на родину. Еще ветхая «Виктория», напрягая последние силы, тяжело кряхтя, медленно, устало тащится по морю. Из всех, кто отплыл на ней с Молуккских островов, на борту осталось только восемнадцать человек, вместо ста двадцати рук работают всего тридцать шесть,

а крепкие кулаки были бы нынче к месту, ибо почти у самой цели судну вновь угрожает авария. Ветхие доски вышли из пазов, вода неустанно просачивается во все расширяющиеся щели. Сначала пытаются откачивать ее насосом, но этого недостаточно. Самым целесообразным было бы теперь выбросить за борт, как лишний балласт, хотя бы часть из семисот центнеров пряностей, тем самым уменьшив осадку, но дель Кано не хочет расточать достояние императора.

День и ночь чередуются изнуренные моряки у двух насосов — это каторжный труд, а ведь надо еще и зарифлять паруса, и стоять у руля, и дежурить на марсе, и выполнять множество других повседневных работ. Люди изнемогают; подобно лунатикам, шатаясь из стороны в сторону, бредут к своим постам уже много ночей не знавшие сна матросы, «tanto debili quanto mai uomini furono» — «ослабевшие до такой степени, как никогда еще не слабежали люди», — докладывает дель Кано императору. И несмотря на это, каждому из них приходится работать за двоих и за троих. Они работают из последних сил, уже изменяющих им, ибо все ближе, все ближе желанная цель.

13 июля они отчалили, эти восемнадцать героев, от Зеленого Мыса; наконец 4 сентября 1522 года (вскоре исполнится три года, как они расстались с родиной) у марса раздается хриплый возглас радости: дозорный увидел мыс Сан-Висенти. У этого мыса для нас кончается материк Европы, но для них, участников кругосветного плавания, здесь начинается Европа, начинается родная земля. Медленно вырастает из волн отвесная скала, и вместе с ней растет их мужество. Вперед! Вперед! Еще только два дня, две ночи осталось терпеть! Еще одну ночь и один день. Еще только одну ночь, одну только ночь!

И — наконец! — все они выбегают на палубу и, дрожа от счастья, теснятся друг к другу — вдали серебристая полоса, зажатая твердой землей, — Гвадалквивир, впадающий в море, здесь, у Сан-Лукар де Баррамеда! Отсюда три года назад они отплыли под предводительством Магеллана, пять судов и две-

сти шестьдесят пять человек. А сейчас — одно-единственное невзрачное суденышко приближается к берегу, бросает якорь у той же пристани, и восемнадцать человек, пошатываясь, сходят с него, тяжело опускаются на колени и целуют твердую, добрую, надежную землю родины. Величайший мореходный подвиг всех времен завершился в день 6 сентября 1522 года.

Первой обязанностью дель Кано, едва он ступил на берег, было послать императору письмо с великой вестью. А тем временем его моряки жадно поедают свежий, только что испеченный хлеб, которым их здесь щедро потчуют. Годами их пальцы не прикасались к милому теплому караваю, годами не вкушали они ни вина, ни мяса, ни плодов родной земли. Потрясенный, вглядывается в их лица сбежавшийся народ, словно они возвратились из царства теней, и хочет и не может поверить чуду. А истомленные моряки, едва утолив голод и жажду, уже валяются на циновки и спят, спят всю ночь, спят впервые за все эти годы безмятежным сном, впервые опять прильнув сердцем к сердцу родины.

На следующее утро другое судно буксирует победоносный корабль вверх по Гвадалквивиру, до Севильи. Совершившая кругосветное плавание «Виктория» уже не в силах идти против течения. Удивленно окликают их с встречных барж и лодок. Никто не помнит этого корабля, три года назад отплывшего за океан: давным-давно Севилья, Испания, весь мир считали флотилию Магеллана погибшей — и что же? Вот он, победоносный корабль. С трудом, но все же гордо плывет он навстречу торжеству!

Наконец вдали блеснула Хиральда — белая колокольня — Севилья! Севилья! Уже видна гавань Жерновов, откуда они отплыли. «К бомбардам!» — приказывает дель Кано; это последняя команда в этом плавании. И уже грохочут над рекой орудийные залпы. Так моряки три года назад рыком чугунных жерл прощались с родиной, так они торжественно приветствовали пролив, открытый Магелланом, так они салютовали неведомому Тихому океану. Так они провозгласили победу, за-

видев неизвестные Филиппинские острова, так громовым ликованием возвестили, достигнув цели, поставленной Магелланом, что долг ими выполнен. Так они отдали прощальный салют товарищам, оставшимся на Тидоре, когда пришлось покинуть братское судно в гибельной дали. Но никогда еще их медные голоса не звучали так победно, так ликующе, как ныне, когда они возвещают: «Мы вернулись! Мы свершили то, что никто не свершил до нас! Мы — первые люди, обогнувшие земной шар!»

МЕРТВЫЕ НЕПРАВЫ

Толпами устремляется в Севилье народ на берег; все хотят, как пишет Овьедо, «поглазеть на это единственное достославное судно, чье плавание является удивительнейшим и величайшим событием, когда-либо совершившимся с тех пор, как Господь сотворил мир и первого человека». Потрясенные, смотрят горожане, как восемнадцать моряков покидают борт «Виктории», как они, эти пошатывающиеся, едва бредущие скелеты, один за другим нетвердой походкой сходят на сушу, как слабы, измождены, истомлены, больны и обессилены эти неверной поступью идущие безымянные герои, каждый из которых за три бесконечных года плавания состарился на добрый десяток лет.

Ликование и сочувствие окружают их. Им предлагают еду, их приглашают в дома, обступают их, требуя, чтобы они рассказывали, без передышки, без усталости рассказывали о своих приключениях и мытарствах. Но моряки отвечают отказом. Потом, потом, после! Прежде всего — выполнить неотложный долг, сдержать обет, данный в час смертельной опасности: совершить искупительное паломничество в церковь Санта-Мария де ла Виктория и Санта-Мария Антигуа!

В благоговейном молчании шпалерами теснится народ вдоль дороги, стремясь увидеть, как восемнадцать оставшихся в живых моряков босиком, в белых саванах, с зажженными

свечами в руках, шествуют в церковь, чтобы на месте, где они простились с отечеством, возблагодарить Господа за то, что он сохранил им жизнь среди столь великих опасностей и допустил возвратиться на родину. Снова гремит орган, снова священник в полумраке собора вздымает над головами преклонивших колена людей дароносицу, похожую на маленькое сияющее солнце.

Возблагодарив всевышнего и его святых угодников за собственное избавление, моряки, быть может, еще творят молитву за упокой души своих братьев и товарищей, три года назад вместе с ними преклонявших здесь колена. Ибо где те, что взирали тогда на Магеллана, их адмирала, в минуту, когда он развешивал шелковое знамя, пожалованное ему королем и благословенное священником? Они утонули, погибли от рук туземцев, умерли от голода и жажды, пропали без вести, остались в плену. Только на этих пал неисповедимый выбор судьбы, только их избрала она для торжества, только им даровала милость. И восемнадцать моряков едва слышно трепетными устами читают молитву за упокой души убитого предводителя и двухсот павших из экипажа армады.

На огненных крыльях разносится тем временем по всей Европе весть о благополучном их возвращении, сперва возбуждая безмерное изумление, а затем столь же безмерный восторг. После плавания Колумба ни одно событие не вызывало у современников подобного воодушевления. Пришел конец всякой неуверенности. Сомнение, этот злейший враг человеческого знания, побеждено. С тех пор как судно, отплыв из Севильской гавани, все время следовало в одном направлении и снова вернулось в Севилью, неопровержимо доказано, что Земля — вращающийся шар, а все моря — единое, нераздельное водное пространство.

Бесповоротно отмечена космография греков и римлян, раз и навсегда покончено с доводами церкви и нелепой басней о ходящих на голове антиподах. Навеки установлена округность земного шара и тем самым наконец определены размеры той части вселенной, которая именуется Землей; другие сме-

лые путешественники в будущем еще восполнят детали нашей планеты, но в основном ее форма определена Магелланом, и неизменным осталось это определение по сей день и на все грядущие дни.

Земля отныне имеет свои границы, и человечество завоевало ее. Великой гордостью преисполнился с этого исторического дня испанский народ. Под испанским флагом начал Колумб открытие мира, под испанским флагом завершил его Магеллан. За четверть века человечество больше узнало о своем обиталище, чем за много тысячелетий. И поколение, счастливое и опьяненное этим переворотом представления о мире, совершившимся в пределах одной человеческой жизни, бессознательно чувствует: началась новая эра — новое время.

Всеобщим было восхищение великой победой человеческого духа в этом плавании. Даже снарядившие экспедицию купцы-предприниматели, Casa de la Contratacion и Христофор де Аро имеют все основания быть довольными. Они уже собирались списать в убыток восемь миллионов мараведисов, потраченных на снаряжение пяти судов, когда внезапно возвратившееся судно не только сразу окупило все расходы, но и принесло нежданный барыш. Продажа пятисот двадцати квинталов (около двадцати шести тонн) пряностей, доставленных «Викторией» с Молуккских островов, дает за покрытием всех расходов еще около пятисот золотых дукатов чистой прибыли; груз одного-единственного корабля полностью возместил утрату четырех остальных — правда, при этом подсчете ценность двухсот с лишним человеческих жизней признана равной нулю.

Только горсть людей во всей вселенной цепенеет от ужаса при вести, что один из кораблей Магеллановой армады, завершив кругосветное плавание, благополучно возвратился на родину. Это мятежные капитаны и их кормчий, дезертировавшие на «Сан-Антонио» и год назад высадившиеся в Севилье; погребальным звоном звучит радостная весть в их ушах. Давно уже тешили они себя надеждой, что опасный свидетель и обвинитель никогда не вернется в Испанию, и, нисколько не

колеблясь, выдали смелым аргонавтам в судебных протоколах свидетельство о смерти («Al juicio y parecer que han venido por volverá a Castilla el dicho Magellanes»)*. Настолько были они убеждены, что корабли и команда гниют на дне морском, что беззастенчиво похвалялись перед королевской следственной комиссией своим мятежом как патриотическим актом, тщательно при этом умалчивая, что в ту критическую минуту, когда они покинули Магеллана, пролив был им уже найден. Они лишь вскользь упомянули о какой-то «бухте», куда вошли корабли, *entraron en una bahia*, и о том, что предпринятые Магелланом поиски были бесцельны и бесполезны, *inutil e sin provecho*. Тем более тяжки обвинения, возводимые ими на отсутствующего Магеллана. Он, мол, вероломно умертвил королевских чиновников, чтобы предать флотилию в руки португальцев, а свой корабль они сумели спасти лишь благодаря тому, что лишили свободы Мескиту, двоюродного брата Магеллана, украдкой взятого им на борт.

Правда, королевские судьи не проявили безусловной веры показаниям мятежников и с похвальным беспристрастием признали подозрительными действия обеих сторон. Мятежные капитаны, равно как и верный Мескита, были заключены в тюрьму, а жене Магеллана (еще не знавшей, что она вдова) было запрещено отлучаться из города. Следует выждать, решил королевский суд, покуда вернутся свидетели — остальные корабли, а с ними и адмирал.

Но когда миновал целый год, затем второй и от Магеллана все не было вестей — мятежники приободрились. И вот теперь гремит орудийный салют, возвещающий о возвращении одного из судов Магеллана, и гром его убийственно отдается в их совести. Теперь они погибли; Магеллану удалось совершить свое великое дело, и он жестоко отомстит тем, кто, вопреки присяге и морским законам, трусливо его покинул и предательски заковал в цепи своего капитана.

* По мнению и суждению, к которому они пришли, не вернется в Кастилию означенный Магеллан (*исп.*).

Зато как легко стало у них на сердце, когда они услышали, что Магеллан мертв. Главный обвинитель безмолвен. И еще увереннее чувствуют они себя, узнав, что «Викторию» привел на родину дель Кано. Дель Кано — ведь он был их сообщником; вместе с ними поднял он той ночью мятеж в бухте Сан-Хулиан. Уж он-то не сможет, не станет обвинять их в преступлении, в котором сам был замешан. Не против них будет он свидетельствовать, а за них. Итак, благословенна смерть Магеллана, благословенны показания дель Кано!

И расчеты их оказались правильными. Правда, Мескиту отпускают на свободу и даже возмещают ему понесенные убытки. Но сами они благодаря содействию дель Кано остаются безнаказанными, и мятеж их среди всеобщего ликования предается забвению: в тяжбе с мертвыми живые всегда правы.

Тем временем посланный дель Кано гонец принес в Вальядолидский замок весть о благополучном возвращении «Виктории». Император Карл только что вернулся из Германии — одно за другим переживает он два великих мгновения мировой истории. На сейме в Вормсе он воочию видел, как Лютер решительным ударом навеки разрушил духовное единство церкви; здесь он узнает, что одновременно другой человек перевернул представление о вселенной и ценой жизни доказал пространственное единство морей. Желая поскорее узнать подробности славного деяния, — ибо он лично содействовал его осуществлению и это, быть может, величайшее и долговечнейшее торжество, выпавшее ему на долю, — император в тот же день, 13 сентября, посылает дель Кано приказ как можно скорее явиться ко двору с двумя наиболее испытанными и разумными людьми из числа своих спутников — *las mas cuerdas y de mejor razon* — и представить ему все относящиеся к плаванию бумаги.

Те двое, кого Себастьян дель Кано взял с собой в Вальядолид — Пигафетта и кормчий Альваро, — по-видимому, действительно были наиболее испытанными из всех; менее безупречным представляется поведение дель Кано при исполнении второго желания императора — относительно передачи всех

касающихся плавания документов. Здесь его образ действий внушает некоторые подозрения, ибо ни одной строчки, писанной рукой Магеллана, не вручил он монарху (единственный документ, написанный самим Магелланом, уцелел лишь потому, что вместе с «Тринидад» попал в руки португальцев).

Вряд ли можно усомниться в том, что Магеллан, человек исключительной точности и фанатик долга, сознававший всю важность своего дела, вел дневник; только рука завистника могла тайно его уничтожить. По всей вероятности, все те, кто восстал в пути против своего начальника, сочли слишком опасным, чтобы император получил беспристрастные сведения об их неблагоприятных действиях; вот почему каким-то таинственным образом после смерти Магеллана исчезает все до единой строчки, что было написано его рукой.

Не менее странно и исчезновение объемистых записок Пигафетты, им самим в подлиннике врученных императору при этой аудиенции («*Fra le altre cose li detti uno libro, scritto de mia mano, de tutte le cose passate de giorno in giorno nel viaggio nostro*»)*. Эти подлинные записки никоим образом нельзя отождествлять с дошедшим до нас более поздним описанием путешествия, которое, несомненно, является лишь кратким сводом извлечений из них; то, что мы здесь имеем дело с двумя различными трудами, подтверждается донесением мантуанского посла, который сообщает 21 октября о записях Пигафетты, которые тот вел изо дня день («*Libro molto bello che de giorno in giorno li e scritto el viaggio e paese che hano ricercato*»)**, чтобы три недели спустя обещать всего лишь краткое из них извлечение («*Un breve extracto o sommario del libro che hano portato quelli de le Indie*»***, то есть именно то,

* Среди других предметов я вручил ему писанную моей рукой книгу, изложение всего того, что происходило день за днем во время нашего путешествия (*ит.*).

** Отменно прекрасная книга, где день за днем описано путешествие и страны, кои они посетили (*ит.*).

*** Краткое изложение книги, или извлечение из книги, представленной прибывшими из Индии людьми (*ит.*).

что в настоящее время известно под названием путевых заметок Пигафетты, лишь скудно восполняемых заметками кормчих, а также сообщениями Петра Ангиерского и Максимилиана Трансильванского.

Мы можем только строить догадки о причинах, вызвавших бесследное исчезновение собственноручных записей Пигафетты; очевидно, задним числом, с целью придать больший блеск торжеству баскского дворянина дель Кано, было сочтено за благо как можно меньше распространяться о противодействии, оказанном испанскими офицерами португальцу Магеллану. Здесь, как это часто бывает в истории, национальное тщеславие взяло верх над справедливостью.

Это сознательное замалчивание роли Магеллана, видимо, сильно огорчало верного Пигафетту. Он чувствует, что заслуги взвешиваются здесь фальшивыми гирями. Ведь мир всегда награждает лишь завершителя — того, кому выпало счастье довести великое дело до конца, — и забывает всех тех, кто своим духом и кровью сделал этот подвиг возможным, мыслимым.

Но на сей раз присуждение наград особенно несправедливо и возмутительно. Вся славу, все почести, все милости пожинает именно тот, кто в решающую минуту пытался помешать Магеллану совершить его подвиг, недавний предатель Магеллана — Себастьян дель Кано. Ранее совершенное им преступление (из-за которого он, в сущности говоря, и решил укрыться во флотилии Магеллана) — продажа корабля иностранцу — торжественно объявляется искупленным: ему пожалована пожизненная годовая пенсия в пятьсот золотых дукатов. Император возводит его в рыцари и присваивает ему герб, символически увековечивающий дель Кано как свершителя бессмертного подвига. Две скрещенные палочки корицы, обрамленные мускатными орехами и гвоздикой, заполняют внутреннее поле; их венчает шлем, над которым высится земной шар с гордой надписью: «*Primus circumdedistime*» — «Ты первый совершил плавание вокруг меня».

Но еще более чудовищной становится несправедливость,

когда награды удостоивается и Эстебан Гомес, — тот, кто дезертировал в самом Магеллановом проливе, кто на суде в Севилье показал, будто найден был не пролив, а всего лишь открытая бухта. Да, именно он, Эстебан Гомес, столь нагло отрицавший сделанное Магелланом открытие, получает дворянство за ту заслугу, что он «в качестве начальника и старшего кормчего открыл пролив». Вся слава, весь успех Магеллана волей злокозненной судьбы достаются именно тем, кто во время плавания всех ожесточеннее старался подорвать дело его жизни.

Пигафетта молчит и размышляет. Впервые этот ранее трогательно-доверчивый, беззаветно преданный юноша начинает догадываться об извечной несправедливости, которой исполнен мир. Он бесшумно удаляется. «*Me ne partii de li al meglio potete*» — «Я уехал как можно скорее». Пусть придворные льстецы умышленно молчат о Магеллане, пусть те, кто не имеет на то права, протискиваются вперед и присваивают себе почести, причитающиеся Магеллану, — он знает, чьим замыслом, чьим творением, чьей заслугой является этот бесмертный подвиг. Здесь, при дворе, он должен молчать, но во имя справедливости он дает себе слово прославить забытого героя перед лицом потомства.

Ни единого раза не упоминает он в описании возвращения имени дель Кано; «мыплыли», «мырешили», — пишет он всюду, чтобы дать понять, что дель Кано сделал не более остальных. Пусть двор осыпает милостями того, кому случайно выпала удача, — подлинной славы достоин лишь Магеллан, тот, кому уже нельзя воздать достойных его почестей. С бескорыстной преданностью Пигафетта становится на сторону побежденного и красноречиво защищает права того, кто умолк навеки. «Я надеюсь, — пишет он, обращаясь к магистру Родосского ордена, которому посвящена книга, — что слава столь благородного капитана уже никогда не угаснет. Среди множества добродетелей, его украшавших, особенно примечательно то, что он и в величайших бедствиях был неизменно всех более стоек. Более терпеливо, чем кто-либо, переносил

он и голод. Во всем мире не было никого, кто мог бы превзойти его в знании карт и мореходства. Истинность сказанного явствует из того, что он совершил дело, которое никто до него не дерзнул ни задумать, ни предпринять».

Всегда только смерть до конца раскрывает сокровенную тайну личности; только в последнее мгновение, когда победоносно осуществляется его идея, становится очевидным внутренний трагизм этого одинокого человека, которому суждено было всегда нести бремя своей задачи и никогда не порадоваться ее разрешению. Только для свершения подвига избрала судьба из несметных миллионов людей этого сумрачного, молчаливого, замкнутого в себе человека, всегда неуклонно готового пожертвовать ради своего замысла всем, чем он владел на земле, а в придачу и своей жизнью.

Лишь для тяжелой работы призвала она его и без благодарности и награды, как поденщика, прогнала по свершении дела. Другие пожидают славу его подвига, другим достается барыш, другие пируют на пышных празднествах, ибо судьба, столь же суровая, каким был он во всем и со всеми, враждебно отнеслась к этому строгому воину. Лишь то, чего он желал всеми силами своей души, даровала она ему: найти путь вокруг земного шара. Но торжества возвращения, блаженнейшей части его подвига, она его лишила. Только взглянуть, только коснуться венца победы дозволено ему, но когда он хочет возложить его на чело, судьба говорит: «Довольно» — и заставляет опустить руку, протянутую к вожделенной награде.

Только одно суждено Магеллану, только самый подвиг, но не золотая тень его — слава. А потому нет ничего более волнующего, как теперь, в мгновение, когда мечта всей его жизни сбылась, перечесть завещание Магеллана. Во всем, чего он только ни просил тогда, в час отплытия, судьба ему отказала. Ничто из всего, что он отвоевал для себя и своих близких в пресловутом «Договоре», не досталось ему. Ни одно, буквально ни одно распоряжение, столь предусмотрительно и благо-разумно изложенное в последней его воле, не было осуществлено после геройской смерти Магеллана: судьба бес-

пошадно препятствует исполнению любой, даже самой бескорыстной, самой благочестивой его просьбы.

Магеллан указывал, чтобы его похоронили в севильском соборе, — но его тело гниет на чужом берегу. Тридцать месс должны были быть прочитаны у его гроба — вместо этого вокруг позорно изувеченного тела ликует орда Силапулапу. Трех бедняков надлежало одевать одеждой и пищей в день его погребения — но ни один не получил ни башмаков, ни серого камзола, ни обеда. Никого, даже последнего нищего, не позовут «молиться за упокой его души». Серебряные реалы, завещанные им на крестовый поход, милостыня, предназначенная узникам, лепты монастырям и больницам не будут выплачены. Ибо некому и нечем обеспечить выполнение его последней воли, и если бы товарищи привезли его тело на родину, то не нашлось бы ни одного мараведиса, чтобы купить ему саван.

Но разве потомки Магеллана не стали богатыми людьми? Разве по договору его наследникам не причитается пятая доля всех прибылей? Разве его вдова — не одна из состоятельнейших женщин Севильи? А его сыновья, внуки, правнуки — разве они не *adelantados*, не наследственные наместники открытых им островов?

Нет, никто не наследует Магеллану, ибо нет в живых никого, кто мог бы потребовать его наследство. За эти три года умерли его жена Беатриса и оба младенца-сына; пресекся весь род Магеллана. Ни брата, ни племянника, ни родича, кто мог бы унаследовать его герб, — никого, никого, никого. Тщетны были заботы дворянина, тщетны заботы супруга и отца, тщетны благочестивые пожелания верующего христианина. Только Барбоса, его тесть, пережил Магеллана, но как же должен он проклинать день, когда этот мрачный гость, этот «морякскиталец» переступил порог его дома! Он взял у него дочь — и она умерла, сманил с собой в плавание его единственного сына — и тот не вернулся.

Зловещей атмосферой несчастья окружен этот человек! Того, кто был ему другом и соратником, он увлек за собой во мрак своей судьбы; тот, кто ему доверился, тяжело за это по-

платился. У всех, кто был близок ему, у всех, кто стоял за него, его подвиг, как вампир, высосал счастье и жизнь. Фалейру, его бывшего компаньона, заточают в тюрьму тотчас по возвращении в Португалию. Аранда, расчистивший ему путь, оказывается втянутым в постыдный процесс и теряет все деньги, вложенные им в предприятие Магеллана. С Энрике, которому он обещал свободу, тотчас после его смерти обращаются как с рабом. Двоюродный его брат Мескита был трижды закован в цепи и лишен свободы за то, что хранил ему верность. Барбосу и Серрано через три дня после гибели Магеллана постигает тот же рок, и только тот, кто восстал против него — Себастьян дель Кано, — присваивает себе всю славу верных, погибших соратников и всю прибыль.

Но самое трагическое: подвиг, которому Магеллан принес в жертву все и даже самого себя, видимо, совершен понапрасну. Магеллан стремился завладеть для Испании «островами пряностей» и завоевал их ценой своей жизни; но то, что началось как героическое предприятие, закончилось жалкой торговой сделкой — за триста пятьдесят тысяч дукатов император Карл снова продает Молуккские острова Португалии. Западным путем, который открыл Магеллан, почти не пользуются: пролив, найденный им, не приносит ни доходов, ни выгод. Даже после его смерти несчастье преследовало тех, кто доверился Магеллану: почти все испанские флотилии, пытавшиеся повторить дерзновенный подвиг морехода, терпят крушение в Магеллановом проливе; боязливо начинают обходить его моряки, а испанцы предпочитают волоком перетаскивать свои товары по Панамскому перешейку, чем углубляться в мрачные фьорды Патагонии. И наконец, из-за того, что этот пролив, открытие которого весь мир приветствовал бурным ликованием, оказался таким опасным, еще современники Магеллана полностью о нем забывают, и он снова становится мифом.

Через тридцать восемь лет после того, как Магеллан прошел его, в знаменитой поэме «Араукана» открыто говорится, что Магелланова пролива более не существует, что он стал

непроходимым: то ли гора преградила его, то ли какой-то остров встал между ним и океаном:

Esta secreta senda descubierta
Quedó para nosotros escondida
Ora sea yerro de la altura cierrata
Ora que alguna isleta removida
Del temestuoso mar y viento airado
Encallando en la boca la ha cerrado.

Так мало уделяют внимания этому проливу, таким легендарным становится он, что отважный пират Фрэнсис Дрейк спустя полстолетия пользуется им как надежным убежищем, словно ястреб налетает отсюда на безмятежные испанские колонии западного побережья и грабит груженные серебром флотилии; лишь много позднее испанцы вспоминают о существовании Магелланова пролива и поспешно строят там крепость, чтобы преградить доступ в него другим флибустьерам.

Но несчастье сопутствует каждому, кто следует по пути Магеллана. Королевская флотилия, под предводительством Сармьенто вступившая в пролив, терпит крушение; сооруженная тем же Сармьенто крепость превращается в жалкие развалины, и название Puerto hambre — Голодная гавань — зловеще напоминает о голодной смерти поселенных в ней людей. Лишь время от времени китобойное судно или какой-нибудь отважный парусник пользуется проливом, о котором Магеллан мечтал, что он станет великим торговым путем из Европы на Восток. А когда в осенний день 1913 года президент Вильсон в Вашингтоне нажатием электрической кнопки открывает шлюзы Панамского канала и тем самым навсегда соединяет два океана — Атлантический и Тихий, Магелланов пролив становится и вовсе лишним.

Бесповоротно решена его судьба, он низводится до степени только исторического и географического понятия. Заветный paso не стал дорогой для тысяч и тысяч судов, не сделался ближайшим и кратчайшим путем в Индию; открытие его не обогатило Испанию, не усилило мощи Европы; и поныне еще

побережье Америки от Патагонии до Огненной Земли слывет одним из самых пустынных, самых бесплодных мест земного шара.

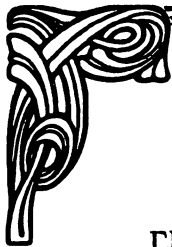
Но в истории духовное значение подвига никогда не определяется его практической полезностью. Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его творческое самосознание. И в этом смысле подвиг, совершенный Магелланом, превосходит все подвиги его времени. Подвиг Магеллана кажется нам особенно славным еще и потому, что он не принес в жертву своей идее, подобно большинству вождей, тысячи и сотни тысяч жизней, а лишь свою собственную.

Незабываемо, в силу этого подлинно героического самопожертвования, великолепное дерзновение пяти крохотных, ветхих, одиноких судов, отправившихся на священную войну человечества против неведомого; забываем он сам, у кого впервые зародился отважнейший замысел кругосветного плавания, осуществленный последним из его кораблей. Ибо, узнав после тщетных тысячелетних исканий размер земного шара, человечество впервые уяснило себе меру своей мощи; только величие преодоленного пространства помогло ему с новой радостью и новой отвагой осознать собственное свое величие. Наивысшего человек достигает тогда, когда подает пример потомству, и полузабытое деяние Магеллана убедительней чего-либо другого доказывает в веках, что идея, если гений ее окрыляет, если страсть неуклонно движет ее вперед, превосходит своей мощью все стихии и что вновь и вновь человек за малый срок своей преходящей жизни претворяет в действительность, в непреходящую истину недостижимую, казалось бы, мечту сотен поколений.





МОНТЕНЬ



ГЛАВА I

Немногие писатели доступны каждому — в любом возрасте и в любой период его жизни — это Гомер, Шекспир, Гёте, Бальзак, Толстой. Но есть и другие, раскрывающиеся нам во всей своей значимости лишь в определенный час. К ним относится Монтень. Должным образом оценят его не очень молодые читатели, люди уже накопившие известный опыт жизни и испытавшие разочарование. Свободное и целенаправленное мышление Монтеня может очень помочь такому, например, поколению, которое своей потрясенной душой переживет время, угрожающее войной, насилием и тираническими идеологиями не только жизни одиночки, но и важнейшей ее сущности — свободе; лишь тому дано знать, сколько мужества, сколько честности и решимости требуется для того, чтобы в подобные времена стадного безумия остаться верным своему сокровенному «я». Лишь ему известно, что сохранить незапятнанной свою духовную и моральную независимость во времена социальных катаклизмов невероятно трудно. Лишь испытав сомнение в существовании разума, в существовании достоинства у человечества, потеряв всякую надежду на них, поймешь величие одиночки, находящегося в средоточии хаоса, одиночки, которому достало сил вести себя безупречно.

И я тоже понял и оценил мудрость и величие Монтеня лишь в зрелом возрасте, когда жизнь меня достаточно потрепала. Когда, двадцатилетний, я впервые взял в руки его «Опыты», единственную написанную им книгу, то, честно говоря, не знал, что мне с ней делать. Правда, я был подготовлен в искус-

стве достаточно хорошо, чтобы почтительно признать в авторе интересную личность, необыкновенно прозорливого и проницательного, безусловно достойного любви человека, и кроме того, художника, способного каждой фразе, каждому выражению дать индивидуальную, присущую только ему форму.

Но мой интерес был интересом чисто литературным, радостью библиофила, при общении с писателем не произошло внутреннего воспламенения, не возник страстный восторг, не проскочила от души к душе искра.

Уже сама тематика «Опытов» казалась мне довольно странной и в большей своей части далекой от моих духовных интересов. Какое отношение имели ко мне, молодому человеку двадцатого столетия, обширные экскурсы *Sieur de** Монтеня относительно «*Cérémonie de l'entrevue des rois*» или его «*Considérations sur Cicero*»**?

Каким доктринерским и несовременным казался мне его сильно побуревший от времени французский, нашпигованный вдобавок латинскими цитатами. Да и собственно к его мягкой, успокаивающей мудрости я не испытывал никакого влечения. Эта мудрость пришла ко мне слишком рано. Что значили для молодого человека умные предостережения Монтеня — не нужно хлопотать тщеславия ради, не следует очень уж страстно вмешиваться в дела окружающего мира. Что значили его успокаивающие наставления, призывы к умеренности и терпимости для неумного возраста, не желающего расставаться с иллюзиями и успокоиться, а неосознанно стремящегося лишь усилить свои жизненные порывы?

Юности свойственно желание советоваться не с умеренностью, не со скепсисом. Любое сомнение становится для нее препятствием, так как для проявления своих внутренних сил ей нужны вера и идеалы. И даже самая крайняя, самая абсур-

*Господина (фр.).

** «Церемониала при встрече царствующих особ», «Рассуждений о Цицероне» (кн. I, главы XIII и X) (фр.).

дная иллюзия, если она эту юность вдохновляет, становится важнее, чем самая возвышенная мудрость, ослабляющая ее.

И еще — не казалось ли нам в начале века, что та свобода личности, энергичнейшим глашатаем которой для всех времен стал Монтень, совсем не требует такой уж упорной защиты? Не стала ли свобода личности уже давно само собой разумеющимся достоянием человечества, гарантированным законами и обычаями, давно освобожденной от диктатуры и рабства?

Право на нашу собственную жизнь, на собственные мысли и свободное их высказывание, публично и в печати, представлялось естественно принадлежащим нам, как дыхание, как биение нашего сердца. Перед нами лежали открытые страны, весь мир, мы не были ни пленниками государства, ни рабами военной службы, ни невольниками произвола тиранических идеологий. Никому не угрожала опасность, людей не преследовали, не сажали в тюрьмы, не объявляли вне закона, не изгоняли из своей страны, не презирали.

Поэтому нам казалось, что Монтень напрасно бряцает цепями, ведь мы считали, что они давно разорваны, и не подозревали, что судьба вновь выковала нам их, более крепкие, более ужасные, чем те. И мы славили и почитали борьбу Монтеня за свободу души как факт исторический, давно ставший нам ненужным и не имеющим значения. Ибо одним из таинственных законов жизни является то, что ее истинные и существеннейшие ценности мы всегда начинаем ценить слишком поздно: юность — когда она проходит, здоровье — когда оно покинуло нас, и свободу, эту драгоценнейшую сущность нашей души, — лишь в момент, когда ее у нас собираются отнять, или когда она уже отнята.

Таким образом, чтобы понять искусство жизни по Монтеню, чтобы понять его жизненную мудрость, чтобы осознать, что его борьба за «*soi-même*»* — это настоятельная необходимость, диктуемая потребностями духовного мира чело-

*Самого себя (фр.).

века, нам следовало оказаться в ситуации, подобной той, в какой находился он. И мы, подобно ему, должны были после эпохи прекрасного расцвета мира попасть в мрачное средневековье, нас насильно изолировали, поставили в положение, когда человеку в конечном счете остается защищать лишь свое обнаженное «я», свою единственную, неповторимую личность. Лишь при этом возникшем братстве судеб Монтень стал мне незаменимым покровителем, утешителем и другом, ибо как отчаянно подобна его судьба нашим судьбам!

Когда Мишель Монтень вступил в жизнь, стали угасать великие надежды на гуманизацию мира, подобное же испытали и мы в начале нашего столетия. На протяжении жизни одного-единственного поколения Возрождение своими художниками, скульпторами, поэтами, учеными осчастливило человечество новой, совершенной, бесподобной красотой. Казалось, целый век, нет, сотни лет, творческая сила медленно, методично, ступень за ступенью, волна за волной наступала на темное, хаотичное бытие, несла людям божественное начало.

И мир вдруг, разом стал широким, полным и богатым. Вместе с латинским, с греческим языками ученые вернули людям из древности мудрость Платона и Аристотеля. Гуманизм, и прежде всего Эразм, обещал единую, космополитическую культуру; казалось, Реформация основала новую свободу веры при новой широте знаний.

Исчезли границы между народами, так как только что изобретенное книгопечатание дало возможность окрыленно распространяться каждому слову, каждому мнению; дарованное одному народу, похоже, отныне стало принадлежать всем народам, люди поверили, что единства достичь можно не кровавыми распрями королей и князей, не силой оружия, а с помощью и благодаря духовному общению.

Произошло еще одно чудо: одновременно с духовным совершенно неожиданно расширился и земной мир. В до сих пор безбрежном океане возникли новые берега новых стран, гигантский континент обещал родину поколениям и поколени-

ям. Быстрее стало кровообращение торговли, богатства потекли в старые европейские страны и принесли роскошь, а роскошь стимулировала строительство замечательных зданий, творчество художников, скульпторов, возникал прекрасный одухотворенный мир.

Но когда пространство расширяется, обязательно расправляется и душа. Подобное произошло и в наше время на грани двух веков — завоевание эфира самолетами и невидимыми волнами, переносящими слово из страны в страну, сказочно расширило пространство, физика и химия, техника и наука вырывали одну за другой тайны у природы, заставляя служить их людям, несказанные надежды вновь вдохновили так часто разочаровывающееся человечество, и из тысяч душ вырвался клич, вторящий ликующему возгласу Ульриха фон Гуттена: «Какая радость жить!»

Но чем круче и быстрее нарастает волна, тем стремительнее она спадает. И подобно тому, как это произойдет в наше время, когда новые достижения, чудеса техники будут использованы для создания ужаснейших средств уничтожения, так и элементы Возрождения и гуманизма, поначалу казавшиеся благотворными, превратились в убийственный яд. Реформация, мечтавшая дать Европе новый дух христианства, послужила причиной религиозных войн, отличающихся беспримерным варварством, печатные станки распространяли не образование, а ярость *Theologicus**, славили не идеи гуманизма, а нетерпимость. Гражданские войны раздирали на части все страны Европы, а в Новом Свете с непревзойденной жестокостью неистовствовали конквистадоры. Век Рафаэля и Микеланджело, Леонардо да Винчи, Дюрера и Эразма уступает место временам чудовищных злодеяний Аттилы, Чингисхана, Тамерлана.

Монтень был вынужден наблюдать этот ужасный переход от гуманизма к жестокости, этот спорадический взрыв безумия человечества (и мы через четыре сотни лет столкнемся с

*Теологии (*лат.*).

подобным), сопереживая, с потрясенной душой, не в силах что-либо изменить, и это было подлинной трагедией его жизни. Ни мгновения за все свои пятьдесят лет он ни в своей стране, ни во всем мире не видел миролюбия, уживчивости, ни проблеска разума — всех этих высоких духовных категорий, которым был предан всем сердцем.

Первый свой взгляд на время и взгляд прощальный — как и мы, в наше время, — потрясенный, отводит он от пандемониума ярости и ненависти, позорящего и приводящего родину и человечество в ужас. Еще полуребенком, ему нет и пятнадцати лет, он видел в Бордо, с какой бесчеловечной жестокостью было подавлено народное восстание против *gabelle*, против соляного налога, и это на всю жизнь сделает его страстным врагом любой жестокости.

Мальчиком видит он, как сотни людей до казни подвергаются мучительным пыткам, как их вешают, сажают на колья, четвертуют, обезглавливают, сжигают на костре, он видит, как воронье еще многие дни летает над местом казни, чтобы поживиться полусожженной, полуразложившейся людской плотью. Он слышит крики терзаемых жертв, должен дышать воздухом, отравленным запахами горелого человеческого мяса.

И едва мальчик вырастает, начинается гражданская война, которая так же полностью разорит Францию идеологическими крайностями, как нынче национальный и социальный фанатизм — весь мир из конца в конец. В *Chambre Ardente** приказывают сжечь протестантов, в Варфоломеевскую ночь** за сутки будет вырезано восемь тысяч человек. Гугеноты*** за преступление отплачивают преступлением,

* Огненной палате (*фр.*) — учрежденном в 1547 г. для борьбы с еретиками чрезвычайном трибунале при Парижском и провинциальных парламентах. — *Примеч. пер.*

** Варфоломеевская ночь — ночь на 24 августа 1572 г. (накануне праздника Святого Варфоломея), когда по приказу короля и католического духовенства в Париже была организована резня протестантов. — *Примеч. пер.*

*** Гугеноты — сторонники кальвинизма во Франции. — *Примеч. пер.*

берут приступом церкви, разбивают статуи, даже мертвым безумие не дает мира, могилы Ричарда Львиное Сердце и Вильгельма Завоевателя разрыты и разграблены.

От деревни к деревне, от города к городу идут войска, то католические, то гугенотские, но всегда — французы против французов, горожане против горожан, и в своей раздраженной жестокости ни одна партия не уступает другой. Взятые в плен гарнизоны уничтожаются полностью, реки отравлены сброшенными в них трупами; почти сто двадцать тысяч деревень либо стерты с лица земли, либо совершенно разграблены, и вскоре Убийство вообще освобождается от своего идеологического предлога. Вооруженные банды нападают на замки, на людей, находящихся в пути, безразлично, протестанты это или католики. Поездка через лесок из дома к соседу не менее опасна, чем к индейцам или каннибалам. Никто не знает более, принадлежит ли ему его дом и его скарб, будет ли он завтра еще жить или его убьют, пленником ли станет он или останется свободным.

И Монтень, уже старый человек, в конце своей жизни, в 1588 году, пишет: «В смятении, в котором мы находимся вот уже тринадцать лет, каждый француз ежечасно видит себя в положении, которое полностью может изменить его судьбу». Нет на земле более никакой уверенности, и это доминирующее чувство не может не сказаться на духовных воззрениях Монтеня. Поэтому такую уверенность следует искать вне этого мира, вне своей родины; надо отказаться от участия в хоре одержимых и по ту сторону времени создать свою собственную родину, свой собственный мир.

Стихотворение, посланное Монтеню в 1560 году его двадцативосьмилетним другом, французским гуманистом Ла Бюэси, свидетельствует о чувствах гуманных людей того времени — до ужаса похожих на наши собственные чувства: «Какое несчастье — нам выпала судьба родиться как раз в такое время. На глазах гибнет моя страна и нет иного выхода, как покинуть дом и идти туда, куда поведет судьба. Давно уже гнев богов, требуя, чтобы я бежал, указывал мне на далекие,

открытые всем страны по ту сторону океана. И новый мир, возникший на пороге столетия, определен был богами как убежище, где людям можно было бы под благословенным небом обрабатывать свои поля. Ужасный же меч и рабский труд обрекут Европу на гибель».

В подобные времена, когда в жертву безумию десятков фанатиков и идеологов отдаются благородные ценности жизни, когда наш мир, наша независимость, данное нам от рождения право, все то, что делает наше существование чище, красивее, справедливее, все проблемы человека, не желающего потерять в себе человеческое, сводятся к одной — как остаться свободным. Как сохранить неподкупную ясность духа, как сохранить доброту сердца в этом средоточении зверств, несмотря на все угрозы, на все опасности, таящиеся в бешеных спорах партий. Как сберечь мне себя, если государство, или церковь, или политика захотят навязать моей воле свои тиранические требования? Как избежать того, чтобы в высказываниях, в поступках перейти границу, которую внутренне не желает преступить мое сокровеннейшее «я»? Как защитить мне эту единственную, неповторимую ячейку моего «я» от ориентации на регламентируемую, на извне декретируемую мерку? Как сохранить мне свою самобытную душу и ее лишь мне одному принадлежащую сущность, мое тело, мое здоровье, мои мысли, мои чувства от опасности оказаться жертвой чуждых мне иллюзий, чуждых мне интересов?

Всю свою жизнь, все свои силы Монтень отдал на то, чтобы ответить на этот вопрос. Ради этой свободы он наблюдал себя, следил за собой, испытывал себя, упрекал себя в любом своем движении, в любых своих чувствах. И эти поиски ради спасения души, ради спасения свободы от всяческих идеологий и партий во времена всеобщего раболепия делают его, как ни одного другого художника, особенно братски близким нам. И если мы его любим и почитаем более других, то вызвано это тем, что он, как никто другой, посвятил себя искусству жизни: «*Rester soi-même**».

* Оставаться самим собой (*фр.*).

В другие, более спокойные времена литературное, моральное, психологическое наследие Монтеня рассматривалось с иной точки зрения. По-ученому велись споры о том, был ли он скептиком или христианином, эпикурейцем или стиком, философом или *Amüseur**, писателем или всего лишь гениальным дилетантом. В докторских диссертациях и статьях старательно анатомировались его взгляды на воспитание и религию.

Меня же трогает и занимает в Монтене сегодня только одно: как он, во время, подобное нашему, сохранил себя внутренне свободным и как мы можем в его опыте, читая Монтеня, найти себе поддержку. Я вижу в нем патриарха людей независимого образа мыслей, ангела-хранителя и друга каждого *homme libre*** на земле, лучшего учителя в этой новой и все же в самой древней и вечной науке — сохранить самого себя. Немногие люди на земле более честно и более ожесточенно, чем он, боролись за то, чтобы сохранить свое сокровеннейшее «я», свою *essence**** чистой, свободной от влияния мутной и ядовитой накипи, и немногим удалось сберечь это сокровеннейшее «я» от своего времени на все времена.

Эта борьба Монтеня за сохранение внутренней свободы, вероятно, самая обдуманная и самая упорная из тех, что человек духа когда-либо вел, внешне не содержит в себе ничего патетического или героического. Лишь с натяжкой можно было бы отнести Монтеня к ряду писателей или мыслителей, которые своим словом боролись за «свободу для человечества». У него нет ничего от гроыхающих тирад и прекрасного порыва Шиллера или лорда Байрона, ничего от агрессивности, например, Вольтера. Он улыбнулся бы, скажи ему кто-нибудь, что он желает распространить что-то из своих мнений, хотя бы идею внутренней свободы, на другого человека, или даже на многих людей, а профессиональных улучшателей мира, теоретиков и торговцев в разное убеждениями он нена-

* Здесь: шутником, забавником (*фр.*).

** Человека свободы (*фр.*).

*** Сущность (*фр.*).

видел до глубины души. Он прекрасно знал, как невероятно трудно сохранить в себе внутреннюю независимость. И поэтому его борьба ограничивается исключительно обороной, защитой тех глубинных укреплений, которые Гёте именуется «цитаделью», и в которую ни один человек не разрешает войти другому. Тактика Монтеня заключалась в том, чтобы остаться как можно менее заметным и в поисках дороги к самому себе пройти по жизни как бы в шапке-невидимке.

У Монтеня нет, собственно, того, что обычно именуется биографией. Он никогда ни у кого не вызывал возмущения, так как не протискивался по службе вперед и не искал ни слушателей своих мыслей, ни во всем с ним соглашающихся. Внешне он казался бюргером, должностным лицом магистрата, супругом, католиком, формально выполняющим все возложенные на него обязанности.

Для окружающего мира он принял защитную окраску — незаметность, чтобы в своем внутреннем мире во всех оттенках развернуть игру красок своей души, чтобы иметь возможность размышлять. Одолжить себя он был готов в любое время, отдать же себя — никогда. Всегда, в любом проявлении он сохранял лучшее, настоящее своей сущности. Пусть другие ораторствуют, собираются толпами, горячатся, поучают и демонстрируют свою силу, пусть мир идет своим безрассудным и путаным путем, его заботило лишь одно: сберечь здравомыслие в своем понимании этого слова, остаться человеческим во времена бесчеловечности, свободным, когда все вокруг находятся в плену иллюзий. Пусть смеются над ним, считая его равнодушным, нерешительным и трусливым, пусть удивляются тому, что он не домогается должностей и званий. Даже самые близкие ему люди, те, кто знал его, не подозревали, с какой выдержкой, с каким умом и гибкостью он трудился в тени над решением поставленной перед собой задачи: не просуществовать отмеренное ему время, а прожить свою собственную жизнь.

Этот, казалось бы, бездеятельный человек совершил беспримерное деяние. Сохранив и описав себя, он сохранил в себе

человека *in pace**, обнаженного, вневременного человека. И если все другое, созданное в его столетие — теологические трактаты, философские рассуждения и сочинения, — кажется нам чуждым и устаревшим, он и через три сотни лет остался нашим современником, навсегда человеком нынешнего дня, его борьба остается самой актуальной на земле.

Сотни лет спустя, листая страницу за страницей Монтеня, испытываешь чувство: *postea res agitur*** , чувство, что здесь продумано, сказано лучше, чем это смог бы сказать я, о том, что является сокровеннейшей тревогой моей души в мое время. Здесь присутствует некто, двойник моего «я», здесь исчезает дистанция между тем временем и нашим столетием. Не книга со мной, не литература, не философия, а человек, которому я брат, человек, дающий мне советы, утешающий меня, человек, которого я понимаю и который понимает меня.

Едва беру я в руки «Опыты», и сразу же в полутемном помещении исчезает печатный текст. Кто-то дышит рядом, кто-то живет рядом со мной, посторонний вошел ко мне, и он уже не посторонний, а некто, кого я считаю близким, своим другом. Четыре сотни лет развеялись как дым: это не *Seigneur de Montaigne, gentilhomme de la chambre****, живший во времена какого-то безвестного короля Франции, не владелец замка в Перигоре: он снял белое гофрированное жабо, отложил в сторону остроконечную шляпу, шпагу, он снял с шеи цепь с высоким орденом Св. Михаила. Не бургомистр Бордо посетил меня, не писатель. Друг пришел дать мне советы, рассказать о себе.

Иногда в его голосе звучат нотки печали о бренности нашей человеческой сущности, ограниченности нашего разума, об узколобости наших вождей, об абсурдности и жестокости нашего времени, той благородной печали, которой его ученик Шекспир так незабываемо наделил свои любимые образы — Гамлета, Брута, Просперо.

* Букв.: в орехе, т.е. сжато, вкратце (*лат.*).

** Здесь: это о нашей жизни (*лат.*).

*** Сеньор Монтень, член Палаты (*фр.*). Сеньор — в Западной Европе феодал, обладающий правом собственности на землю. — *Примеч. пер.*

Но вот я опять слышу его смешок: почему ты принимаешь все это так близко к сердцу? Зачем оспаривать бессмысленность и жестокость твоего времени, почему склоняешься перед ним? Ведь все это лишь едва задевает тебя, не проникает в твое сокровенное «я». Внешнее ничего не может у тебя отнять, ни в чем не может расстроить, смутить тебя, пока сам ты не позволишь ему сделать это: «L'homme d'entendement n'a rien à perdre»*.

И пока ты уклоняешься от участия в преходящих событиях, они бессильны что-либо сделать с тобой, пока ты сам сохраняешь свою ясность, безумие времени — не настоящая беда. И даже самые скверные твои переживания, кажущиеся унижения, удары судьбы, ведь ты чувствуешь их лишь тогда, когда не можешь принять их с нужной твердостью, ибо кто иной, как не ты, даешь им оценку, определяешь их значимость, одеаешь их радостью и болью? Никто и ничто не может ни возвысить, ни унижить твое «я», кроме тебя самого, человек, оставшийся внутренне твердым и свободным, легко выдерживает даже тяжелейшее давление извне.

Слово и мудрое утешение Монтеня благотворны всегда, и особенно тогда, когда духовная свобода человека, когда согласие его внутреннего мира стеснены внешними обстоятельствами, ибо во времена смут и партийных раздоров лучшая защита личности — искренность и человечность. Для каждого, стремящегося сохранить свою независимость, все сказанное Монтенем сотни лет назад, всегда справедливо и действенно.

Кого же нам благодарить, если не тех, кто в подобные нашим бесчеловечные времена укреплял в нас человеческое, кто напоминал нам, что мы не должны потерять единственное и не подлежащее утрате из того, чем мы владеем, — наше сокровенное «я». Ибо сохраняет и увеличивает свободу на земле лишь тот, кто остается свободен сам, свободен по отношению ко всем и ко всему.

*Понимающему, ладающему с другими человеку терять нечего (фр.).

ГЛАВА 2

Скромная сумма в девятьсот франков, выплаченная за сотню лет до того, как были написаны «Опыты», дала автору книги право подписать ее гордым именем Michel Sieur de Montaigne*. Ибо до того, как прадед писателя 10 октября 1477 года купил за эту сумму у архиепископа Бордо замок Монтень, и прежде, чем его внук, отец Монтеня, добился соизволения имя этого поместья присоединить к своему имени как приставку, означающую благородное происхождение его носителя, предки Мишеля имели чрезвычайно простую бюргерскую фамилию Эйкем.

Мишель Монтень, которому благодаря его мудрому и скептическому характеру и жизненному опыту известно, как выгодно в этом мире иметь звучное имя, «красивое имя, которое и запоминается хорошо, и произнести приятно», после смерти отца подчищает во всех документах прежнюю фамилию семьи. Только этому обстоятельству следует приписать то, что в историю всемирной литературы автор «Опытов» внесен не под буквой «Э» — Эйкем, Мишель, а под буквой «М» — Монтень, Мишель де.

На протяжении столетий фамилия Эйкем прекрасно звучала серебряными и золотыми монетами, правда, монеты эти слегка попахивали копченой рыбой. Генеалогия до настоящего времени не установила, откуда появились эти Эйкемы в Бордо, из Англии ли, как утверждает Монтень, якобы открывший «старые семейные связи с неким известным родом», — впрочем, свидетельства писателя в вопросах своей родословной всегда малодостоверны — или просто из окрестностей Бордо.

Достоверно лишь то, что Эйкемы на протяжении десятков лет в квартале, прилегающем к гавани де ла Руссель, имели небольшую маклерскую контору, занимающуюся отправкой заказчикам вина, копченой рыбы и других товаров. Первое

*Мишель, господин де Монтень (фр.).

серьезное расширение торговых операций начинается при Рамоне Эйкеме, прапрадеде Монтеня, родившемся в 1402 году в Бленкефоре (Медок), ставшему судовладельцем и благодаря осторожному уму, а также женитьбе на самой богатой наследнице Бордо заложившему основу состояния семьи.

На семьдесят пятом году своей жизни этот Рамон Эйкем совершает самую умную свою операцию, приобретая у сюзерена, архиепископа Бордо *maison noble**, замок Монтедь. Этот переход замка аристократов во владение простого купца в соответствии с обычаями времени сопровождался торжественной церемонией. Старый купец один шествует через большие ворота в запущенный замок; они закрываются за ним на засов на то время, когда слуги замка, арендаторы, фермеры и крестьяне приносят ему присягу на верность.

Сын Рамона, Гримон, человек с более скромными способностями, правда, увеличил унаследованное состояние, но оставил старый замок полуразрушенным, совершенно не заботясь о нем. Лишь внук Рамона Эйкема, отец Монтеня, Пьер Эйкем, завершает решающий переход семьи из буржуазного мира в мир аристократический. Он навсегда расстается с делами своего отца, с профессией корабельного маклера, чтобы выбрать более рыцарское призвание солдата. Молодым человеком он сопровождает короля Франции Франца I во время итальянской войны, возвращаясь, он привозит, не дошедший до нас, к сожалению, дневник и — как награду за свою верную службу — титул *Sieur de Montendy*.

Перестраивая старый замок, создавая внушительную помещичью усадьбу, новый аристократ осознанно исполняет то, о чем мечтал его дед. Красивый замок, окруженный толстыми стенами и башенками, высится над обширными землями, которые энергичный человек либо приобрел, либо отсудил в бесчисленных процессах. Замок этот и крепость, и в то же время обитель гуманистического воспитания, обитель щедрого гостеприимства. Из присущего ему желанья получить боль-

* Дворянский дом (фр.).

ше знаний и совершенствовать свое образование молодой солдат в бытность свою в Италии любовался шедеврами искусства итальянского Возрождения.

Примитивное корыстолюбие и страсть к стяжательству предков трансформировались в нем в более высокое честолюбие. Он закладывает фундамент серьезной домашней библиотеки, он приглашает в свой дом ученых, гуманистов и профессоров и, подобно тому, как во время войны служил королю, считает своим долгом аристократа служить в годы мира своей родине — не запуская при этом управление своим имуществом и существенно расширившимися земельными угодьями.

Сначала «Prevost» и «Jurat»*, то есть рядовой член городской общины, затем — вице-мэр и, наконец, мэр города Бордо; находясь в этой должности, он снискал себе своей деятельностью глубокое уважение сограждан. Трогательно описывает Монтень преданность своему долгу уже больного и усталого человека. «Я вспоминаю, что он уже в моем детстве казался мне старым. Его душа была жестоко поражена раздорами в муниципалитете. Ему пришлось отказаться от мягкой, миролюбивой атмосферы своего дома. Возможно, уже сказались возраст и вызванная им слабость. По-видимому, физические недомогания и домашнее окружение угнетали его, и он презирал жизнь, которая, как он чувствовал, ускользает от него. И тем не менее в интересах города он отправлялся в длительные и утомительные поездки. Таков был его характер. Он переносил все это с большой, естественной добротой. Не было более доброжелательного и уважаемого человека, чем он».

Отец Монтеня сделал второй, предпоследний шаг к переходу семьи в более высокий класс общества. Мелкие торговцы, обогащавшие лишь себя и свою семью, Эйкемы стали самыми крупными купцами города, а затем из Эйкемов превратились в господ де Монтень. Это имя произносилось в Перигоре и

* Должности в муниципалитете (фр.).

Гиене с глубоким уважением. Сын Пьера завершает переход, он станет наставником Шекспира, советником королей, славой своего языка и защитником свободного мышления на земле.

Подобно тому как три поколения семьи со стороны отца — Рамон — Гримон — Пьер Эйкемы поднимались по общественной лестнице, в том же ритме, с тем же упорством и с той же дальновидностью поднималась вверх материнская линия Мишеля Монтеня. Когда будущий отец Мишеля, *Sieur Пьер де Монтень*, на тридцать третьем году своей жизни выбрал себе в супруги мадемуазель Антуанетту Луппе де Вильенэв, на первый взгляд казалось, что браком связываются две старые аристократические семьи.

Однако, листая этот брачный контракт на хрупком, ломком пергаменте, просматривая заметки архивариуса, открываешь, что аристократизм Луппе де Вильенэв столь же молод, как и аристократизм Монтеней, используя выражение Казановы, он так же самовластно извлечен из алфавита, как и аристократизм Эйкемов.

Почти в то же время, когда рыботорговец Рамон Эйкем, как раз за сто лет до рождения Монтеня, выбравшись из презираемого обществом мира буржуа, встал на первую ступень рыцарского мира, подобный же шаг делает богатый испанский еврей из Сарагосы, Моше Пакагон, он крестится, чтобы отделиться от объявленных вне закона евреев. И так же, как Эйкемы, чтобы скрыть свое происхождение от детей и соседей, после крещения он выбирает себе испанское, рыцарски звучащее имя Гарсиа Лопес Вильянуова.

Его сильно разветвленная семья переживает обычные судьбы, складывающиеся в годы испанской инквизиции. Некоторым из этих новообращенных христиан удастся выжить. Они станут советниками при владетельных особах, банкирами, других, менее ловких или менее удачливых, сожгут как маранов*

* Мараны — евреи или мавры, принимавшие в Испании и Португалии по расчету или по принуждению католичество. — *Примеч. пер.*

на кострах инквизиции. Наиболее же осторожные из них вове­ре­мя эмигрируют из Испании, не дожидаясь, когда испанская инквизиция станет под лупой исследовать их аристократи­че­ское христианство.

Некоторые из семьи Лопеса де Вильянуова переселяются в Антверпен и станут протестантами. Другие — католическая линия — осядут в Бордо и Тулузе, где фамилия приобретет французское звучание и для дальнейшего сокрытия своего происхождения станет Луппе де Вильенэв.

Между Вильенэв и Монтенями, или, вернее, между Эйке­ма­ми и Пакагонами, были деловые отношения. Последнее и самое счастливое для всего мира деловое соглашение было совершено между двумя семействами 15 января 1528 года, когда Пьер Эйкем сочетался браком с Антуанеттой де Вилье­нэв, принесшей в дом супруга приданое — тысячу золотых экю. Позже Монтень назовет это приданое сравнительно не­большим, что даст некоторое представление о тогдашнем со­стоянии Эйкемов.

Мать-еврейку, с которой Монтень будет жить свыше полу­сто­летия в одном доме и которая переживет своего знаменитого сына, Монтень в своих работах и письмах ни разу не упоминает. О ней ничего не известно, кроме того, что она до смерти своего мужа, которому подарила пятерых детей, управляла хозяйством аристократического дома и могла, таким образом, с гордостью написать в своем завещании: «Известно, что я на протяжении сорока лет работала в доме де Монтеня, моего мужа, так что вследствие моих стараний, моих забот и ведения домашнего хозяйства указанный дом стал богаче, лучше и расширился».

Более нам о ней ничего не известно, и это отсутствие упо­ми­наний матери в произведениях Монтеня часто объясняют тем, что он хотел скрыть свое еврейское происхождение. При всем своем интеллекте Монтень был подвержен злосчастному тщеславию аристократа: так, например, в своем завещании он указал, чтобы погребли его возле могил его предков, тогда как в действительности в замке Монтень погребен был лишь его отец.

Но так же, как и свою мать, Монтень — за исключением лишь одного уведомления — не упоминает ни в своих письмах, ни в произведениях ни свою дочь, ни свою жену. Его взгляды формировались античностью, а древние женщин в духовной области во внимание не принимали. Мы не знаем также ничего об особенных привязанностях или проявлениях антипатии внуков Эйкемов к внукам Моше Пакагона. Два мощных импульса породила Природа. Их слияние дало миру великого Монтеня. В нем все противоположное, что было в рыбаках Гасконии и в еврейских маклерах, растворилось, сплавилось, дало совершенно новые качества.

Не прибегая к искусственным построениям, невозможно определить, чем Монтень обязан одной линии, чем — другой. Можно сказать лишь: вследствие этого брака предопределено было родиться человеку середины, человеку связей, беспристрастно, без каких-либо предвзятостей смотрящему на мир, «libre penseur» и «citoyen du monde»*, свободомыслящему, исповедующему терпимость, сыну и гражданину не одной расы, не одной отчизны, а гражданину мира.

ГЛАВА 3

В аристократическом имени неосознанно реализуется воля сохранить себя, передать себя от поколения к поколению. Для первого человека, имеющего титул Seigneur де Монтень, потерявшего двух дочерей, умерших вскоре после своего рождения, появление на свет в последние дни февраля 1533 года страстно ожидаемого первого сына было гордым возвещением, что ему, Пьеру де Монтень, суждено стать главой некоего, в будущем знаменитого, рода.

С первого часа рождения Мишеля отец предрек сыну высокое предназначение. Подобно тому как он сам по образованию, культуре и общественному положению обогнал своего

* Свободному мыслителю и гражданину мира (фр.).

отца, и этот сын также должен превзойти его. За двести пятьдесят лет до Жан-Жака Руссо, за триста лет до Песталоцци, в середине шестнадцатого века в уединенном замке Гасконии внук рыботорговца и бывший солдат приступил к воспитанию своего сына, как к решению хорошо продуманной задачи.

Он приглашает своих ученых друзей-гуманистов и советуется с ними относительно того, как наилучшим образом в смысле человеческом и общения с окружающим миром приступить к воспитанию ребенка. Выбираются методы во многом соответствующие новейшим современным взглядам.

И уже само начало ошеломляет. Вместо того чтобы, как было принято в аристократических домах, отлученного от материнской груди сосунка передать на попечение кормилице, его удаляют из замка и отдают людям низкого сословия, в семью бедного дровосека, в крохотную деревушку, принадлежащую синьории Монтень. Отец хочет этим не только воспитать ребенка «в простоте и непритязательности», а надеется, что его сын в таких условиях вырастет физически крепким, он хочет — по тогдашним представлениям, в почти непонятном демократическом порыве, — чтобы сын «узнал народ, познакомился с участью простых людей, нуждающихся в нашей поддержке».

Вероятно, до того, как Пьер Эйкем получил титул аристократа, он на себе испытал высокомерие людей привилегированных классов. И вот он хочет, чтобы его сын с самого начала не чувствовал себя принадлежащим к «верхушке» общества, а с самых ранних лет учился бы «общаться с людьми, подающими нам руку, а не с теми, кто показывает нам спину».

По-видимому, спартанские условия жизни в избушке бедного углежога были для Монтеня весьма полезны, и он пишет, что еще ребенком привык к простой пище и что кондитерским изделиям, вареньям и лепешкам он всегда предпочитал обычную пищу крестьян: «черный хлеб, шпиг и молоко». Всю свою жизнь Монтень был благодарен отцу за то, что тот, лишив его материнского молока, освободил одновременно от предрассудков, и тогда как Бальзак до самой смерти ставил своей матери

в упрек, что она, вместо того чтобы держать ребенка при себе, отдала его на первые три года жизни в дом жандарма, Монтень одобрял доброжелательный эксперимент. «Если бы у меня были сыновья, я пожелал бы для них своей собственной доли».

Очень резок перелом в судьбе мальчика, когда через три года отец берет его опять в замок Монтень. По совету ученых друзей, поскольку тело укрепилось, надо заняться душой мальчика, ее следует сделать податливой, мягкой. Словно из жары в холод, молодой Монтень переносится из среды необразованных крестьян в среду ученых-гуманистов.

С самого начала Пьер Эйкем в своем честолюбии решил не делать из своего сына ни праздного дворянина, бесцельно транжирящего свое время на охоте, в кутежах, азартных играх, ни купца-стяжателя. Он должен войти в избранный круг тех, кто, имея духовное превосходство, обладая образованностью и культурой, управляли бы в Совете короля судьбой века и своим словом влияли бы не на события, разыгрывающиеся в тесных рамках провинции, а на события мирового значения. Но ключом к этому духовному государству в столетие гуманизма была латынь, и отец Монтеня решил дать этот магический инструмент сыну возможно раньше.

В уединенном замке Перигора проводился эксперимент необычайнейшего характера, эксперимент, не лишенный определенных черт комедии. Отец идет на большие расходы и приглашает одного немецкого ученого, причем, совершенно сознательно, такого, который не понимает ни единого слова по-французски, и еще двух, менее ученых помощников, которым строжайше запрещено говорить с ребенком иначе, как только по-латыни. Первые слова и фразы, которые учит ребенок, — латинские. Изучение французского языка исключено из программы. Более того, чтобы общение с окружающими на французском, родном языке не повело к потере чистоты и совершенства его латинской дикции, вокруг маленького Мишеля образуется невидимый круг запрета. Если отец, мать или слуги хотят что-то сообщить ребенку, они должны вдолбить себе в голову полученные у педагога крохи латыни.

И вот в замке Монтень возникает действительно комедийная ситуация, когда из-за одного педагогического эксперимента все обитатели, родители, домочадцы и слуги должны учить латынь. Это приведет к смешным последствиям: отдельные слова и латинские имена по всей округе, по всем соседним деревням войдут в разговорный оборот.

И все же желаемый результат достигается с легкостью; будущий великий французский прозаик хотя в шесть лет и не может сказать ни одной фразы на родном языке, не имея книг, грамматики, без какого-либо принуждения, без розг и слез в совершенстве овладел чистым разговорным латинским языком. Язык древнего мира стал для него настолько праязыком, материнским языком, что на протяжении всей своей жизни он будет предпочитать латинские книги французским. И в мгновения страха, при внезапных вскриках с губ у него будут произвольно срываться не французские слова, а латинские. Не окажись Монтень в зрелом возрасте уже на спаде гуманизма, он, вероятно, как Эразм, писал бы свои произведения исключительно на возрожденном языке древней литературы и Франция потеряла бы своего замечательнейшего писателя.

Этот метод — научить сына без принуждения, без книг, как бы в игре — всего лишь элемент общего, хорошо продуманного плана — воспитать ребенка так, чтобы при этом он не испытывал никаких трудностей. В противоположность господствовавшей в то время жестокой методе образования, по которой в учеников палкой вколачивались закосневшие правила, ребенок должен развиваться и формироваться в соответствии со своими внутренними наклонностями. Гуманисты-советчики совершенно ясно объяснили заботливому отцу, что он должен «приохотить меня к науке и к исполнению долга, не насилуя моей воли и опираясь исключительно на мое собственное желание. Вообще ему советовали воспитать мою душу в кротости, предоставляя ей полную волю, без строгости и принуждения».

До какой степени в старом замке Перигора следовали рекомендациям педагогов, свидетельствует небольшая забавная

запись в «Опытах». Вероятно, один из домашних учителей сказал, что «будто для нежного мозга ребенка вредно, когда его резко будят по утрам, вырывая насильственно и сразу из цепких объятий сна». И вот придумывается особый ритуал, назначение которого — предохранить нервы ребенка от самых малых волнений. Отныне Мишеля Монтеня ежедневно будит музыка. Флейтист или скрипач стоят возле постели и по знаку, данному учителем, звуками музыкального инструмента будят спящего ребенка. «Ни одного мгновения, — пишет Монтень, — я не оставался без обслуживания». Ни один королевский сын из дома Бурбонов, ни один отпрыск габсбургских императоров никогда не воспитывался с таким вниманием, как этот внук гастонского рыбороторговца и еврейского маклера.

Такое сверхиндивидуализированное воспитание, ничего не запрещающее ребенку и дающее полную свободу развитию любым его наклонностям, таит в себе далеко не безопасные последствия. Ибо при этом у избалованного, никогда не встречающего сопротивления, не знающего, что такое дисциплина, ребенка, при следовании любой его прихоти может развиваться какой-либо порок. И сам Монтень позже признается, что благодаря лишь счастливому стечению обстоятельств это снисходительное и щадящее воспитание обернулось для него удачей: «Если из меня и получилось что-нибудь стоящее, то мне бы хотелось сказать, что я в этом, пожалуй, неповинен, произошло это как-то само собой, случайно. Если бы я родился не предрасположенным к дисциплине, тогда, боюсь, мне пришлось бы весьма скверно».

Подобное воспитание сказалось на его характере, на формировании положительных и отрицательных его черт. С ними, с этими чертами, он прожил всю свою жизнь. С самого раннего детства в нем укоренилось упорное сопротивление следовать какому бы то ни было авторитету, подчиняться дисциплине, а также развилась известная атрофия воли. Эта детскость, это желание по возможности избегать всяческих

трудностей, всего, требующего для преодоления каких-либо усилий, всего регулярного, обязательного, это стремление всегда следовать своей воле, своему настроению сохранились на всю жизнь.

Те черты характера, «мягкость» и «беззаботность», на которые он часто жалуется, могли зародиться именно в ранние годы, так же как и его необузданное стремление остаться свободным и никогда рабски не подчиняться чужому мнению. Благодаря добрым заботам отца он сможет позже сказать с гордостью: «У меня свободная душа, она привыкла сама управлять собой так, как ей это нравится». Тот, кто однажды, несовершеннолетний, с еще не осознанными чувствами, узнал радость и благодетельность свободы, никогда не забудет и не утратит ее.

Эта снисходительная, балующая форма воспитания оказалась решающей в особом развитии души Монтеня. Но счастьем для него было и то, что такое воспитание своевременно завершилось. Чтобы оценить свободу, следует испытать принуждение, и Монтеню даст многое то, что его, шестилетнего, пошлют в Бордоский коллеж, где он останется до тринадцати лет. И хотя в коллеже сын бургомистра и самого богатого человека в городе будет очень жестко и энергично взят в оборот и даже однажды познакомится с розгами, этот переход от одной системы воспитания к другой произойдет «достаточно мягко».

Однако дисциплина, которую он там встретил, была суровой, она самовластно навязывала ученикам свои взгляды, не спрашивая, желают они этого или нет. Впервые должен он регулярно заниматься, и инстинкт ребенка, привыкшего следовать лишь своей собственной воле, неосознанно противится навязываемым ему, жестко сформулированным и препарированным знаниям. «Учителя постоянно грохотали в наших ушах, — жалуется он, — как если бы рядом барабанил дождь по железной крыше, и наше дело заключалось лишь в том, чтобы повторять сказанное ими».

Вместо того чтобы дать ученикам возможность свободно рассуждать, формируя свой образ мыслей, они набивали их память мертвым материалом, «наше же разумение, способность понимать остается бездеятельной», — жалуется он. И затем он с ожесточением спрашивает: «Какая польза в том, что мы забиваем живот мясом, если не в состоянии переварить его, если оно не усвоится нами, не усилит, не укрепит нас?»

Его злит, что схоласты коллежа заставляют его учить факты и цифры, законы и системы — не зря ректоров таких школ называли тогда педантами*, — навязывают ему книжные знания, «чистую книжную муть». Он возмущается тем, что лучшим учеником они считают того, кто более охотно принимает подсказанное ими. Именно этот избыток перенятых знаний убивает способность самостоятельно построить свое видение мира: «Подобно растениям, которые гибнут при избыточной влажности, или лампе, гаснущей, если в ней налито много масла, и наша духовная деятельность хиреет при перегруженности занятиями».

Знания, полученные таким образом, не функция души, а всего лишь балласт памяти. «Выучить что-либо наизусть не означает, что ты что-то знаешь, а всего лишь, что что-то сохранил в памяти». При чтении Ливия и Плутарха важно знать не дату битвы при Каннах, а характеры Сципиона и Ганнибала; не холодные исторические факты говорят что-то, а их человеческое, их духовное содержание.

Так позже, уже будучи зрелым человеком, он поставит плохую отметку своим школьным учителям, стремившимся лишь вбить в его голову правила, и читает им славное наставление. «Наши учителя, — скажет он, — должны были дать оценку тому, что ученик приобрел на основании своего жизненного опыта, а не за счет своей памяти. Дайте молодому человеку проверить все прочитанное и отобрать нужное, ни-

*Педант — на итальянском и французском языках означает педагог, учитель. Позже это слово приобрело другое значение — буквоед, формалист в науке. — *Примеч. пер.*

чего не принимая на веру или под давлением авторитета. Ему следует предложить самые различные мнения. Если он способен, то выберет верно, если нет — останется в сомнении. Тот же, кто следует другим, не следует никому, не найдет ничего, более того — и не ищет ничего».

Такого, основанного на свободе духа, воспитания не смогли дать своевольному мальчику хорошие учителя коллежа, хотя среди них и были прекрасные, более того, знаменитые гуманисты. Итак, без благодарности он покидает свою школу. Он оставляет ее, «не получив ничего, что смог бы впоследствии использовать в жизни», — скажет он позже.

Подобно тому как Монтень был недоволен своими учителями, учителя его были не очень довольны им. Причины для этого были. Не говоря уже о его внутреннем сопротивлении всяческому книжному, школьным знаниям, дисциплине и порядку, Монтеню, как многим другим выдающимся личностям, духовная интенсивность которых возростала после полового созревания, недоставало быстрой и гибкой сообразительности. Этот позже такой живой, любознательный дух в те годы развития находился в состоянии удивительной глухоты. Это была какая-то тяготеющая над ним вялость, инертность.

Монтень вспоминает: «У меня, правда, было хорошее здоровье и, в соответствии с моей природой, я был мягок и общителен, но в то время я был так неуклюж, вял и сонлив, что меня невозможно было вырвать из моей лени даже тогда, когда звали играть».

Впрочем, его способность наблюдать уже была развита, но находилась как бы в потенциальном состоянии и проявлялась лишь в редкие мгновения: «То, что я видел, я наблюдал внимательно, и под покровом тех неуклюжих природных свойств во мне уже росли смелые мысли и воззрения, далеко выходящие за пределы моего возраста».

Но эти счастливые мгновения касались лишь внутренней жизни подростка. Учителя едва замечали их, и Монтень ни в коей мере не упрекает их за то, что они его недооценили. Более того, он сам дает суровый аттестат своей юности: «Мой дух был

ленив и двигался вперед лишь тогда, когда его поощряли; моя способность соображать развилась поздно, находчивость была слабая и особенно сильно я страдал из-за невероятно скверной памяти».

Известно, что наибольшие мучения школа всегда создает одаренным детям, способности которых она своими сухими методами не в состоянии разработать так, чтобы они плодоносили. И если Монтень целым и невредимым ушел из этой тюрьмы своей юности, то произошло это лишь потому, что он, как и многие другие — Бальзак прекрасно описал это в «Луи Ламбере», — нашел тайного утешителя и советчика: художественную литературу.

Подобно Луи Ламберу, однажды попав под чары свободного чтения, он не может оторваться от него. С восторгом читает юный Монтень «Метаморфозы» Овидия, «Энея» Вергилия, драмы Плавта в оригинале. И это понимание классических произведений, так же как мастерство, с которым он владеет разговорной речью на латинском, приносит удивительным образом в коллеже плохому и вечно сонному ученику славу.

Среди учителей коллежа — Жорж Бушанан*, человек, сыгравший позже в истории Шотландии значительную роль — автор высокоценимых тогда латинских трагедий; в школьных спектаклях Монтень очень удачно играет и в трагедиях Бушанана, и в трагедиях других авторов. Он превосходит других исполнителей модуляционными способностями голоса и с детства в совершенстве освоенным знанием языка.

Воспитание не поддающегося воспитанию мальчика формально завершено к тринадцати годам, и с этих пор на протяжении всей своей жизни Монтень становится ее учеником и учителем.

После школы, после коллежа тринадцатилетнему мальчику, похоже, дается некоторое время на отдых в отцовском

*Бушанан Жорж (1506—1582) — шотландский гуманист, после возвращения на родину был ректором университета Св. Андрея, член суда над Марией Стюарт, считался лучшим латинистом своего времени. — *Примеч. пер.*

доме, прежде чем его отправят изучать юриспруденцию в университет Тулузы или, возможно, Парижа. Во всяком случае, он сам рассчитывал на двадцатом году полностью завершить свое образование: «Что касается меня, то я думаю, что наша душа к двадцати годам уже становится такой, какой должна стать, и что далее она развивается сама в соответствии со своими способностями... Мне очевидно, что после моих двадцати лет как мой дух, так и мое тело, скорее, стали ослабевать, чем усиливаться, скорее, отставать в своем развитии, чем прогрессировать в нем».

Портрет молодого Монтеня не сохранился. Но сам себя он описывал на протяжении своей жизни много раз с такой тщательностью и проницательностью, с таким удовольствием, что, доверяя его правдолюбию, можно получить о его внешности достаточно полное представление. Ростом Монтень, как и его отец, поразительно мал, что он считает недостатком и о чем сожалеет, поскольку эти несколько дюймов ниже среднего роста, с одной стороны, делают его заметным, а с другой стороны, отрицательно сказываются на его значительности при посещениях высшего общества.

Но многое другое в молодом дворянине привлекательно. Крепкое, здоровое тело, нежные черты лица, узкий овал с тонким носом, каждая линия которого изящно очерчена, ясный лоб, красиво изогнутые брови, полные губы, каштановая бородка, с каким-то тайным умыслом затеняющая их, — вот портрет, который молодой Монтень предлагает миру. Глаза, необычные своим сильным, всматривающимся блеском, в те времена, вероятно, в его взгляде не было еще легкой меланхолии, она появится на портретах более позднего времени.

По его собственному замечанию, он был в соответствии с темпераментом если не очень живым и веселым, то, по крайней мере, спокойным и уравновешенным. Для рыцарских добродетелей, для увлечения спортом и играми, требующими физических усилий, ему недоставало подвижности и живости своего отца, который и в шестьдесят лет мог, опираясь на свои

кулаки, перемахнуть через стол и, перепрыгивая через три ступени, бегом подняться по лестнице своего замка.

«Подвижным и ловким я не был никогда. В музыке, или пении, или в игре на каком-нибудь инструменте мне не смогли ничего преподать, у меня нет никаких музыкальных способностей. В танцах, в игре в мяч или с кольцами я никогда особенно не отличался. Плавать, прыгать через препятствия или в длину, фехтовать я совершенно не умею. Мои пальцы так неловки, что я сам не могу прочесть, что написал, я не могу как следует сложить письмо. Никогда не мог я очинить перо или оседлать свою лошадь, выпустить сокола или обращаться с собаками, лошадьми, охотничьей птицей».

Монтень предпочитает общение, радость доставляет ему, в частности, общение с женщинами, которые, по его словам, с самых молодых лет очень привлекали его. Обладая чрезвычайно живой фантазией, он легко входил в контакт. Не будучи щеголем, — он признает, что вследствие известной простоты, к которой склоняется его природа, он относится к людям, которым богатая одежда всегда придает что-то скорбное, печальное, — он ищет общества, товарищей.

Настоящим же удовольствием для него является беседа, спор, но спор, подобно фехтованию, не ради страсти к спору, не из вражды. Горячая гасконская кровь иногда, правда, доводит до резких, страстных выпадов, но все же с самого начала поведение контролирует ясный, по природе своей темперированный интеллект. Монтень, которому непереносима всякая грубость, всякая жестокость внушает отвращение, испытывает при взгляде на чужие страдания физические муки.

У молодого Монтеня, до того, как жизненный опыт и общение с книгами сделали его мудрым, за душой не было ничего, кроме инстинктивной мудрости любить самое жизнь и себя в этой жизни. Еще ничего не решено, еще нет видимой цели, к которой бы он стремился, нет никаких дарований, которые властно и отчетливо дали бы о себе знать. Нерешительно смотрит двадцатилетний юноша любопытными глазами на мир, пытаясь увидеть то, что тот ему даст.

ГЛАВА 4

В жизни Монтеня имеется решающая дата — дата смерти его отца, Пьера Эйкема, в 1568 году. Ибо до этого молодой Монтень вместе с отцом, матерью, супругой, братьями и сестрами жил в замке, который несколько эмфатически называет «замком своих предков», нисколько не заботясь ни об имуществе, ни о хозяйстве, ни о торговых делах. Со смертью отца он получает наследство, к тому же — богатое наследство.

Как первенцу, ему передается титул и рента в десять тысяч ливров, но при этом еще груз ответственности за все имущество. Матери возмещается ее приданое, и Монтеню, как *major domus**, как главе семьи, приходится заботиться о сотне малых дел, ежедневно делать всяческие расчеты или, по крайней мере, проверять их, это ему, кто не очень-то хочет нести ответственность даже за свой образ жизни. И ничего нет для Монтеня более противного, чем регулярная работа, требующая наличия чувства долга, усидчивости, упорства, тщательности, то есть всех добродетелей методичного человека.

Непринужденно признается он, что до середины своей жизни, собственно, совершенно не заботился о домашнем хозяйстве. Владелец поместий, лесов, полей и виноградников откровенно пишет: «Я не могу отличить друг от друга рожь и ячмень ни в поле, ни в амбаре, так как разница не очень бросается в глаза. Едва ли смогу сказать, что посажено в моем саду — салат или капуста. Мне совершенно неизвестны правильные наименования важнейших инструментов, используемых в сельском хозяйстве, то, что знает любой ребенок. Не проходит и месяца, чтобы я не ловил себя на том, что не имею ни малейшего представления о простейших вещах, для чего, например, при выпечке хлеба требуется закваска, или что, собственно, произойдет, если ее подмешать к вину в кадке».

Но этот новый владелец земельных угодий не только не знает, как обращаться с заступом или лопатой, он никак не

* Букв.: старший в доме (лат.).

может справиться и с канцелярией своего поместья. «Я никак не могу заставить себя прочесть контракты или соглашения, которые обязательно проходят через мои руки и должны мной проверяться. Причем это не вызвано философским презрением к мирским и преходящим делам — нет, это действительно объясняется одной лишь непростительной детской леностью и небрежностью. Я предпочел бы делать что угодно, только не читать подобный контракт».

Само по себе наследство, полученное Монтенем, желательно, так как он любит свое имущество, обеспечивающее ему независимость. Но он желает обладать им, а не заниматься им. «Мне очень хочется, чтобы мои убытки, мои неполадки в хозяйстве остались для меня скрытыми». Едва у него родится дочь, он уже мечтает, что всю эту работу и все эти заботы возьмет на себя его зять. Он предпочел бы решать все вопросы управления своим имуществом так же, как хотел бы управлять политикой и всем остальным на земле: от случая к случаю, тогда, когда именно этим хочется заняться, между прочим, нисколько себя не утруждая. Он признает, что поместье — дар данайцев, ежедневно, ежечасно требующий к себе внимания. «Я был бы счастлив, если бы смог поменять жизнь, которую сейчас веду, на более простую, не так обремененную хозяйственными заботами».

Чтобы легче нести это свалившееся ему на плечи золотое бремя, Монтень решает сбросить с плеч другой груз. Честолюбивый отец Монтеня очень хотел, чтобы сын принимал участие в управлении городом. Около пятнадцати лет Мишель Монтень был заседателем палаты парламента и не продвинулся дальше на этом поприще. Теперь, со смертью отца, он делает попытку изменить свое служебное положение.

После того как он много лет был заседателем *Chambre des Enquêtes**, он выставляет свою кандидатуру для избрания в Верхнюю палату. 14 ноября 1569 года Верхняя палата отклоняет кандидатуру Монтеня под предлогом, что его тесть —

*Камеры расследований (фр.).

президент, а шурин — советник Верхней палаты. Решение принято, казалось бы, против него, а в более высоком смысле — в его пользу, так как дает Монтеню основание или предлог отказаться от общественной деятельности. Он слагает с себя должность заседателя или, скорее, продает ее и с этого времени служит общественности по своему усмотрению: от случая к случаю или когда его особенно увлекает какая-нибудь задача.

Трудно предположить, что для этого ухода в личную жизнь были какие-либо тайные основания. Но можно сказать, Монтень не мог не чувствовать, что время требует решений, он же никаких решений принимать не любит. Вновь отравлена социальная атмосфера, снова протестанты взялись за оружие, близится Варфоломеевская ночь. Монтень, так же как и его друг Ла Бозси, свою политическую задачу видел лишь в том, чтобы действовать в духе согласия и терпимости.

По своей натуре он был прирожденным посредником между партиями, и его подлинная общественная деятельность сводилась в основном к тайным посредническим переговорам. Но время таких переговоров уже прошло, пришло время для решения: «либо — либо». Франция должна стать либо гугенотской, либо католической. Последующие годы взвалют чудовищную ответственность на каждого, кто вершит судьбу страны, а Монтень — заклятый враг любой ответственности. Он хочет избежать решения. И во время фанатизма он ищет выход в отступлении и бегстве.

На тридцать восьмом году своей жизни Монтень отступил. Он не желает более никому служить, только себе самому. Он устал от политики, от общества, от хозяйственных дел. Наступил момент разочарования. Он не похож на своего отца, он не ищет в жизни внешнего почета и положения. Он более плохой, чем его отец, служащий, супруг, управляющий своим хозяйством. Кто же он, что же он в действительности? У него чувство, что вся его прежняя жизнь была ошибочной, теперь он хочет жить правильно, размышлять, анализировать проду-

манное. В книгах надеется он найти решение задачи: «Жизнь или умирание».

И для того, чтобы как бы отрезать себе путь возвращения в мир, он дает указание высечь на сводах своей библиотеки на латинском языке следующую запись: «В год от Р.Х. 1571, на 38-м году жизни, в день своего рождения, накануне мартовских календ в последний день февраля, Мишель Монтень, давно утомленный рабским пребыванием при дворе и общественными обязанностями и находясь в расцвете сил, решил скрыться в объятия муз, покровительниц мудрости; здесь, в спокойствии и безопасности, он решил провести остаток жизни, большая часть которой уже прошла, — и если судьбе будет угодно, он достроит это обиталище, это любезное сердцу убежище предков, которое он посвятил свободе, покою и досугу».

Это — больше чем прощание с должностью. Запись должна означать отречение от внешнего мира. До сих пор он жил для других — теперь желает жить для себя. До сих пор он делал то, что требовали от него служба, двор, отец, — теперь же он желает делать лишь то, что доставляет ему удовольствие. Там, где он хотел помочь, он не смог ничего добиться; к тому, к чему стремился, ему загораживали дорогу, когда хотел советовать, его советом пренебрегали. Он накопил опыт и теперь желает осмыслить его, извлечь из накопленной суммы корень. Мишель де Монтень прожил тридцать восемь лет; и вот Мишель де Монтень желает знать, кто он, собственно, этот Мишель де Монтень.

Но и это отступление в своем доме, этот уход в личную жизнь Монтеню недостаточен. Хотя дом и принадлежит ему по наследству и праву, он чувствует, что, по существу, он сам больше принадлежит дому, чем самому себе. Здесь жена, здесь дети, здесь мать, которые ему не особенно близки, — есть в его книге удивительное место, в котором он признается, что точно не знает, сколько его детей умерло — здесь имеются служащие, арендаторы, крестьяне, обо всех надо заботиться. Семья

не всегда живет очень мирно, дом полон людьми, а он желает быть один. Обстановка в доме ему противна, она мешает ему, неудобна, и он думает, как и его друг Ла Бозси, добродетели которого славит: «На протяжении всей своей жизни Ла Бозси презрительно оставлял сзади себя эту золу своего домашнего очага».

Не для того Монтень отказался от общественной деятельности, чтобы теперь, как главе семьи, окружить себя ежедневными малыми заботами. Он хочет кесарю отдать лишь кесарево, и ничего больше. Он хочет читать, думать, наслаждаться; он не хочет, чтобы его кто-нибудь занимал делом, он сам хочет заниматься тем, что ему интересно.

Монтень ищет свое внутреннее «я», которое не принадлежало бы государству, семье, времени, обстоятельствам, деньгам, имуществу, то внутреннее «я», которое Гёте назвал «цитаделью», в которую он никого не допускал.

Путь от службы к дому был лишь первым отступлением, теперь он отступает вторично, в цитадель — от семьи, притязаний поместья, от хозяйственных дел.

Эту цитадель, которая у Гёте мыслится лишь как символ, Монтень строит себе из камня, с замками и засовами. Сейчас едва ли можно представить замок Монтеня таким, каким он был при его жизни. В позднейшие времена он много раз перестраивался, а в 1882 году пожар полностью уничтожил все строения, по счастливой случайности сохранилась лишь «цитадель» Монтеня — его знаменитая башня.

Вместе с домом Мишель де Монтень принимает также круглую высокую башню, построенную его отцом, вероятно, с целью укрепления замка. В темном нижнем этаже размещена маленькая капелла, в которой на частично сохранившейся фреске изображен святой Михаил, побеждающий дракона. Узкая винтовая лестница ведет в круглую комнату первого этажа, которую Монтень, желая уединиться, использует как спальню. Но только верхний этаж, до сих пор «самое бесполез-

ное помещение всей постройки», нечто вроде чулана, становится для него самой важной комнатой дома.

Здесь, решает он, будет его пристанище для размышлений. Отсюда виден ему его дом, видны его поля. Когда ему интересно, он может смотреть на все происходящее кругом, за всем наблюдать. Но никто не может наблюдать за ним, никто не может нарушить его уединение. Помещение достаточно велико, чтобы ходить по нему, а Монтень пишет о себе, что ему хорошо думается лишь в движении. Он дает указание разместить здесь свою библиотеку, унаследованную от Ла Бозси. Балки потолка покрываются пятьюдесятью четырьмя латинскими максимами, так что его взгляд, когда он праздно блуждает поверху, может найти мудрые, успокаивающие слова. Лишь последняя, пятьдесят четвертая максима написана по-французски, она гласит: «Que sais-je?»*

Рядом находится маленький отапливаемый кабинет, в котором можно работать зимой, с несколькими картинами, которые затем были покрашены, поскольку показались легкомысленными для его более позднего вкуса.

Изоляция, надписи на потолке — все это несколько вычурно, несколько искусственно, возникает чувство, что Монтень этим хочет дисциплинировать себя, приучить к одиночеству. Он не отшельник, не должен подчиняться какому-то религиозному закону, не должен следовать какой-то клятве, поэтому подобной атрибутикой он хочет заставить себя держаться принятого решения, принудить себя к этому. Возможно, он и сам не знает, почему он так поступает, но его внутренняя воля заставляет его поступать так.

Это самозаключение — лишь начало. Теперь, когда он перестал жить для внешнего мира, начинается жизнь творческого досуга. Здесь, в этой башне, Монтень становится Монтенем.

*Что я знаю? (фр.)

ГЛАВА 5

Высшее счастье творческой личности заключается в том, чтобы исследовать поддающееся исследованию, а не поддающееся исследованию — спокойно читать.

Гёте

В этой башне Мишель де Монтень проводит большую часть следующих десяти лет жизни. Несколько ступенек по винтовой лестнице вверх — и он уже не слышит домашнего шума, домашних разговоров, он ничего не знает более о делах, которые ему так мешают. Ибо «у меня нежное сердце, легко приходящее в волнение. Если себя чем-нибудь занять, его можно успокоить». Взглянет Монтень в окно, увидит внизу свой сад, свой хозяйственный двор, своих домочадцев. Возле него же, в круглом помещении — ничего, кроме его книг. Большая часть этих книг унаследована от Ла Бозси, другие он купил. Он не читает день напролет, само осознание их присутствия радует его: «Я доволен уже тем, что владею ими, поскольку знаю, что могу получить от них радость тогда, когда захочу. Я никогда не отправляюсь в путь без книги, ни в военное время, ни в мирное. Но часто проходят дни и месяцы, когда я в них не заглядываю. Я это еще со временем прочту, говорю я себе, или завтра, или тогда, когда захочется... Книга, это я открыл, — лучший провиант, какой только можно взять с собой в путешествие по жизни».

Книги для него не похожи на людей, которые стесняют его, досаждают ему болтовней, от которых трудно отделаться. Когда их не зовут, книги не приходят; он может по своему желанию взять в руки ту или другую книгу. «Мои книги — это мое государство, и здесь я пытаюсь править как абсолютный монарх».

Книги высказывают ему свое мнение, он отвечает им своим мнением. Они делятся с ним своими мыслями и возбуждают в нем новые мысли. Они не мешают ему, когда он молчит, они говорят лишь тогда, когда он спрашивает. Здесь — его государство. Они служат его удовольствию.

Монтень рассказывает бесподобным образом, как он читает, что читает наиболее охотно. Его отношение к книгам, как и ко всему, основано прежде всего на свободе. И здесь он не признает никаких обязанностей. Он хочет читать и учиться, но лишь столько, сколько ему нравится, именно тогда, когда это доставляет ему удовольствие. Молодым человеком, говорит он, он читал, «чтобы щегольнуть прочитанным», чтобы похвастаться знаниями; позже — чтобы стать несколько мудрее, а теперь — больше для удовольствия, и никогда — ради какой-то выгоды.

Если книга ему слишком скучна, он открывает другую. Если попалась сложная книга, «я не отмечаю ногтем обнаруженное в книге трудное место. Один или пару раз атакую это место, а затем сдаюсь, так как мой разум создан лишь для одного прыжка. Если я что-то не понимаю с первого взгляда, то повторные попытки не помогают; они еще больше затемняют содержание». В момент, когда чтение книги требует усилий, этот ленивый читатель дает книге упасть: «Мне не следует потеть над ними, я могу отбросить их, когда мне это удобно».

Он забрался в башню не затем, чтобы стать ученым или схоластом, от книг он требует, чтобы они волновали его, а через волнение — поучали. Ему ненавистно все систематическое, все, что хочет навязать ему чужое мнение и чужие знания. Все, что является учебником, противно ему. «В основном я выбираю книги, в которых уже использованы знания, а не такие, которые только ведут к ним». Ленивый читатель, дилетант в чтении, но лучшего, более умного читателя не существовало никогда, нет такого и в наше время. Под любым суждением Монтеня о книге можно подписаться со стопроцентной уверенностью в его правоте.

Вообще, у него два пристрастия. Он любит чистую поэзию, хотя сам никаким даром стихосложения не обладает и признает, что латинские стихи, которые пытался писать, всегда были лишь подражанием только что прочитанному. Здесь восхищает его владение языком, но также очаровывает простая народ-

ная поэзия. То же, что лежит посередине, что является литературой, а не чистой поэзией, оставляет его холодным.

С одной стороны, он любит фантазию, с другой стороны, его не оставляют безучастным и факты, и поэтому история — «дичь, которая манит» его. И здесь, совсем как и мы, он любит крайности. «Я люблю историков либо весьма простодушных, либо пронизательных». Он любит хронистов, таких, как Фруассар, которые дают лишь сырой, необработанный материал, а с другой стороны — «по-настоящему даровитых и образцовых историков», которые из этого материала, используя истинную психологию, могут отделить правду от лжи — и «это привилегия, которая дана лишь очень немногим». Поэтому, так говорит он, «те, кто пишет биографии, готовят мне славные блюда. Поскольку они больше внимания уделяют мотивам, чем событиям, им более важно то, что происходит от этих мотивов, чем то, что происходит вонне. Поэтому среди всех других историков Плутарх — мой автор».

Другие, оказавшиеся в середине, — не художники и не простодушные, «все портят: они стремятся разжевать нам отрывочные данные, они присваивают себе право судить и, следовательно, направлять ход истории по своему усмотрению, ибо если суждение историка однобоко, то он не может предохранить свое повествование от извращения в том же направлении». В поэзии он любит мир картин и символов, в прозе — мир фактов, высшее искусство или абсолютную безыскусность, поэта или простого хрониста. «Остальное — литература», — как говорит Верлен.

Основным достоинством книг Монтень считает то, что чтение, при многообразии книг, прежде всего стимулирует его способность рассуждать. Они побуждают его отвечать им, высказать свое мнение. И Монтень привыкает делать в книгах пометки, подчеркивать и в конце книги ставить дату прочтения или даже записывать впечатление, какое книга произвела на него.

Это — не критические замечания, это еще не писательские заметки, это — лишь диалог с карандашом в руке, и поначалу

он очень далек от того, чтобы написать в книге что-нибудь значительное. Но постепенно уединенность его комнаты начинает на него действовать, множество немых голосов книг все настойчивее требует ответа, и для того, чтобы контролировать свои мысли, он пытается некоторые из них удержать в памяти с помощью записи. Так из этого небрежного чтения возникает деятельность. Он не искал ее, она нашла его.

«Когда я уединился в своем доме, то решил как можно меньше вмешиваться в какие-либо дела, а то малое время, что еще осталось, провести в мире и уединении. Мне казалось, что я смог бы лучше удовлетворить мой дух, если бы обеспечил ему полный досуг, позволил бы ему предаться своим собственным мыслям и довольствоваться ими. И я надеялся, что с течением времени, когда он укрепится и станет более зрелым, он с большей легкостью сможет творить. Однако произошло противоположное. Как лошадь, вырвавшаяся на свободу, он сам себе дал во сто раз больший простор. Во мне поднялась целая орда химер и фантастических образов, возникающих друг за другом, без какого-либо порядка, не связанных друг с другом. Чтобы спокойно и трезво понять их диковинность и абсурдность, я стал переносить их на бумагу. Я надеялся, что мой дух сам очень скоро устыдится их. Разум утрачивается, если не ставит перед собой никакой определенной цели. Кто хочет быть везде, не находится нигде. Никакой ветер не может послужить человеку, не знающему, к какой гавани ему следует править».

Мысли одна за другой приходят ему в голову; не связывая друг с другом, он записывает их, ибо владелец замка Монтень совершенно не думает когда-либо опубликовать эти свои маленькие опыты-эссе.

«Когда я бросаю туда-сюда свои мысли — узоры, вырезанные из ткани, скрепленные друг с другом без плана или намерения, — то я не обязан ни защищать их, ни настаивать на них. Пусть падают, если мне это нравится; я могу вернуться к моим сомнениям, к моей неуверенности и к господствующей надо мной форме духа, к незнанию».

Выбранная им манера письма не обязывает его быть точным, как ученый, оригинальным, как писатель, или выдающимся, как поэт. Он не специалист-философ, и его несколько не беспокоит тот факт, что эти мысли могли быть продуманы кем-либо до него. Поэтому он совершенно свободно включает в свои записи только что прочитанное у Цицерона или Сенеки: «Часто я даю другим сказать вместо меня то, что не в состоянии хорошо сказать сам. Я не считаю это заимствованием, ведь я обдумываю взятое у других».

Имена авторов он намеренно опускает. И все это делает охотно, его радует, когда он может что-то украсть, изменить и замаскировать, если при этом возникает что-то новое, целесообразное. Он всего лишь «*gêfléchisseur*»*, а не писатель, и все, что он напишет, он всерьез не воспринимает.

«Мое намерение заключается в том, чтобы мирно провести остаток моей жизни и не очень утруждать себя своей работой. Нет ничего, из-за чего следовало бы мне ломать голову, и на поприще наук также».

Непрерывно твердит Монтень о своей потребности свободы, о том, что он не философ, не писатель, не выдающийся художник. Ни то, что он говорит, ни то, что цитирует, не должно служить примером, авторитетом, образцом: «Когда я перечитываю свои заметки, они мне совершенно не нравятся. Они вызывают у меня неудовольствие».

Если был бы закон против бесполезных и бессовестных писаков, как против вагантов** и бездельников, пишет он, то следовало бы и его, Монтеня, и сотню других, подобных ему, изгнать из королевства. Он немного кокетничает, все время подчеркивая, что пишет плохо, что небрежен, что плохо знает грамматику, что у него совершенно нет памяти, что он абсолютно лишен способности выразить то, что хотел бы ска-

* Размышляющий (*фр.*).

** Ваганты — бедные школяры, нищие странствующие студенты. В 1561 году в Мулене был принят закон (ордонанс) против бродяжничества. — *Примеч. пер.*

зять: «Я — что угодно, только не писатель. Моя задача заключается лишь в том, чтобы дать моей жизни форму. Это мое единственное призвание, мое единственное предназначение».

Неписатель, благородный господин, не больно-то хорошо знающий, что ему делать со своим временем, и поэтому от случая к случаю записывающий пришедшие ему в голову мысли, не заботясь о их взаимосвязи, о форме записи, — так без устали в «Опытах» характеризует себя Монтень. И этот портрет верен для тех лет, когда появились первые эссе в своем первоначальном виде. Но почему, следует спросить, господин де Монтень все же решает в 1580 году опубликовать в Бордо в двух томах эти свои мысли, свою пробу пера? Не зная об этом сам, Монтень стал писателем. Писателем сделала его публикация.

Гласность — это зеркало. У каждого человека, если он чувствует, что на него смотрят, меняется выражение лица. И едва появляются эти два тома, Монтень *de facto** начинает писать для других и уже не только для себя. Он начинает перерабатывать эссе, расширять их, к первым двум в 1588 году присоединяется третий. Знаменитый бордоский экземпляр с замечаниями автора, предназначенными для нового издания, показывает, как Монтень до последнего дня своей жизни шлифовал каждое выражение, менял даже пунктуацию. Последующие издания содержат бесчисленные дополнения. Они до отказа набиты цитатами; по-видимому, Монтень хочет показать, что он много читал, и все чаще ставит себя в центр внимания. Если раньше его заботило лишь познание самого себя, то теперь — пусть узнает свет, кем был Монтень. Он дает свой портрет, до мельчайшей черточки написанный поразительно правдиво.

Но в целом первое издание эссе, которое, казалось бы, информации содержит о нем меньше, все же характеризует его лучше. Это — истинный Монтень, Монтень в башне, ищущий

* Фактически (*лат.*).

щий себя человек. В этих эссе больше свободы, больше честности. Даже самый мудрый не в состоянии устоять против искушения; даже самый свободный человек имеет свои пути.

ГЛАВА 6

Монтень не устает жаловаться на свою скверную память. Он полагает, что это, так же как некоторая присущая ему леность, — недостаток врожденный. Его разум, его сила восприятия — чрезвычайны. Быстрым взглядом сокола он схватывает все, что видит, что постигает, что наблюдает, что познает. Конечно, следовало бы, как он сам постоянно упрекает себя, эти познания систематизировать, выстроить некий логический ряд, но, едва взявшись за работу, он теряется, забывает все свои мысли.

Он забывает прочитанные им книги, у него совершенно нет памяти на даты, он не может вспомнить важнейшие события своей жизни. Все протекает мимо него, словно река, и ничего не оставляет, никакого твердого убеждения, никакого твердого мнения, ничего прочного, ничего непреходящего.

Эта слабость, на которую Монтень так жалуется, в действительности — его сила. Это его «ни-у-чего-не-задерживаться» понуждает его постоянно идти дальше. Ничто для него не завершено. Он не довольствуется своим опытом, он не приобретает на нем капитал, который кормил бы его, нет, его дух должен постоянно завоевывать. Так его жизнь становится непрерывным процессом обновления. «Мы беспрестанно начинаем жить заново». Найденные им истины уже не истины. Он должен искать вновь.

Так возникают многие противоречия в оценках этого человека. То кажется он читателю эпикурейцем, то стоиком, то скептиком. Он все и ничто, всегда другой и всегда тот же самый, Монтень 1550, 1560, 1570 и 1580-го годов, вчерашний Монтень.

Эти поиски, а не нахождения доставляют Монтеню истин-

ное удовольствие. Он не относится к философам, которые по некоей целесообразной формуле ищут камень мудрости. Он не желает никаких догм, никаких учений и постоянно боится застывших утверждений. «Ничего не утверждать дерзко, ничего не отрицать легкомысленно». Он не идет ни к какой цели. Любая его дорога для его «*pensée vagabonde*»* хороша. Здесь он менее всего философ, здесь он следует Сократу, которого особенно любит, потому что тот ничего после себя не оставил, никаких догм, никакого учения, никаких законов, никакой системы, ничего, кроме образа человека, ищущего себя во всем и все — в себе.

Лучшее, что есть в Монтене, это, вероятно, его неутомимая потребность поиска, его страстная любознательность, его скверная память; благодаря этим особенностям он и стал большим писателем. Монтень знает, что забывает прочитанные в книге мысли и даже мысли, которые возбуждает книга.

Чтобы удержать их, эти его «*songes*», его «*rêveries*»**, которые могут оказаться унесенными волнами времени, у него имеется лишь одно средство: фиксировать их на полях книги, на последней ее странице. Затем постоянно переносит он эти записи в случайном порядке на листки, так возникает «мозаика без связей», как он сам назовет ее. Сначала это небольшие записи, памятные заметки, не более того; лишь постепенно он пытается найти между ними определенную связь. Он пытается сделать это, понимая, что не всегда удача будет ему сопутствовать; часто записывает он их подряд и таким образом у совокупности фраз сохраняется характер хаотичности.

Но он всегда убежден, что они, эти заметки не основное. Писать и делать пометки в книге — для него лишь побочный продукт, осадок, пожалуй, можно было бы сказать грубо, песок в его моче, жемчужина в устрице. Основной продукт — это жизнь, осколками, отходами которой они являются: «Мое призвание, мое искусство — жить». Они нечто такое, чем,

* Скитающейся мысли (фр.).

** Сновидения и мечты (фр.).

например, для художника является фотография модели будущего художественного портрета, не более того. Писатель в нем — лишь тень человека, тогда как мы тысячи раз поражаемся людям: как велико их искусство творить, как ничтожно их искусство жить.

Он пишет, что он не писатель. Он считает, что поиск новых слов — «детское тщеславие». Фразы должны ложиться на бумагу так же просто, так естественно, как произносятся говорящим, сочно, энергично, кратко, без затейливости, без замысловатости, без шлифовки. Фразы не должны быть смиренными, «монашескими», а скорее — «солдатскими». С этими эссе может встретиться каждый — в книге, в беседе, в анекдоте, и поначалу они кажутся какой-то мешаниной. Монтень был такого же мнения о своей книге. Он никогда не пытался упорядочить их, объединить в некую систему.

Но постепенно он открыл, что все эти эссе имеют нечто общее, средоточие, связь, общую для всех них целенаправленность. Существует точка, из которой они начинаются или к которой приходят, и всегда она одна и та же: «я». Сначала ему кажется, что, по теням на стене, он ловит бабочек, постепенно же ему становится ясно, что он ищет нечто определенное, ищет с определенной целью: себя самого, думающего о жизни во всех ее формах, размышляющего о том, как правильно жить, но правильно только для себя. То, что ему подсказала праздная причуда, постепенно становится смыслом его жизни. Что бы он ни описывал, он, собственно, всегда описывает реакцию своего «я» на это. Эссе имеют единственного героя — это его жизнь: «Moi», или, вернее, «mon essence»*.

Он решает себя, как задачу, ибо «душа, не имеющая ясной цели, теряет себя». Перед собой он поставил цель — быть искренним с собой, опираясь на высказывание Пиндара: «Правдивость лежит в основе всякой добродетели». Едва он открывает это, как сразу то, что было чуть ли не забавой, «amusement»**, превращается в совершенно новое, серьезное

* «Я», или, вернее, «моя сущность» (фр.).

** Развлечением (фр.).

дело. Монтень становится психологом, занимается самоанализом. Кто я — спрашивает он себя. Три, четыре человека до него задавали себе этот вопрос. Он пугается поставленной перед собой задачи. Его первое открытие: трудно сказать — кто.

Он пытается смотреть на себя со стороны, «как на другого». Он подслушивает себя, он наблюдает себя, он становится, как сам говорит, «моим метафизиком и физиком». Он не спускает с себя глаз и говорит, что на протяжении ряда лет ничего не делал, не контролируя себя. «Теперь я не знаю ни одного движения, которое скрыл бы от меня мой разум». Он теперь не один, их двое. И он открывает, что это «amusement» не имеет конца, что это «я» не является чем-то застывшим, что оно меняется, что нынешний Монтень не похож на вчерашнего. Он устанавливает, что выделять можно лишь фазы, состояния, отдельные детали, подробности. Но каждая подробность важна. Как раз маленький, мимолетный жест дает больше, чем неподвижное состояние.

Монтень исследует себя под лупой времени. Он решает, что значит малый элемент в сумме движений, в совокупности перемен. Он никак не может до конца разобраться в себе, он постоянно находится в поиске. Но чтобы понять себя, недостаточно лишь наблюдать себя.

Мира не увидишь, если смотреть только на свой пуп. Он читает историю, изучает философию не затем, чтобы чему-то научиться, не для того, чтобы убедиться в чем-то, а чтобы увидеть, как поступали другие люди, чтобы посмотреть на свое «я» со стороны. Он изучает «богатые души прошлого», чтобы сравнить себя с ними. Он изучает добродетели, пороки, ошибки и достоинства, мудрость и детскость других. История — его большой учебник, ибо, как он говорит, человек проявляется в действиях.

Собственно, Монтень ищет не собственное «я», он ищет человеческое. Он устанавливает, что в каждом человеке есть что-то общее для всех людей и что-то неповторимое, единственное в своем роде; индивидуальность, «essence», некое

сложное сочетание качеств, несравнимое с тем, которое присуще другим индивидуальностям, сочетание, формирующееся к двадцати годам жизни человека. А рядом с этим сочетанием — общечеловеческое, то, что одинаково у всех, и каждая из этих двух составляющих, хрупких, ранимых, нерезко разграниченных, загнана в систему законов, заключена во временном отрезке между рождением и смертью. Он ищет «я», неповторимое, особое, «я» Монтеня, которое конечно же ни в коей мере не считает каким-то особенно выдающимся, особенно интересным, но все же ни с чем не сравнимое, которое он неосознанно хочет сохранить для мира.

Он ищет «я» в нас, он хочет найти свои собственные проявления и другую составляющую, общую для всех людей.

Он ищет изначального человека, «всечеловека», чистую форму, на которой еще ничего не запечатлено, которая не изуродована ни предубеждениями, никакими выгодами, ни обычаями, ни законами, ищет, как Гёте будет искать простейший растительный организм.

И не случайно те бразильцы, которых он встречает в Руане, очаровали его, ведь они не знали никаких богов, никаких вождей, никакой религии, никаких обычаев, никакой морали. Он видит в них как бы непорочных, неизуродованных людей, чистый лист, письменами на котором каждый человек увековечит себя. И то, что Гёте говорит в «Первоглаголах» о личности, — это мысль Монтеня:

Со дня, как звезд могучих сочетание
Закон дало младенцу с колыбели,
За мигом миг твое существованье
Течет по руслу к прирожденной цели.
Себя избегнуть — тщетное старанье;
Об этом нам еще сивиллы пели.
Всему наперекор, навек сохранен
Живой чекан, природой отчеканен*.

*Перевод С. Аверинцева.

Эти поиски себя Монтеня, это постоянное в начале и конце каждого рассуждения упоминание себя, назвали эгоцентризмом, и в частности Паскаль счел это высокомерием, самодовольством, даже огромным, греховным недостатком. Но поведение Монтеня противоречит этому рассуждению. Он не отворачивается от людей. В нем нет, как у Жан-Жака Руссо, стремления выставить себя напоказ, эксгибиционизма. Ему абсолютно чужды самодовольство и самолюбование. Он не одинокий человек, не отшельник, он не ищет лишь себя для себя.

Говоря, что постоянно анализирует себя, он в то же время подчеркивает, что непрерывно упрекает себя. Он действует добровольно, в соответствии со своей природой. И если это заблуждение, он охотно признает его. Если считается правдой, что забота о своем «я» есть зазнайство, он, обладая этим свойством, не отрекается от него, даже если оно «патологическое»: «И я не должен скрывать это заблуждение, оно не только привычно мне, оно — мое призвание». Это его работа, его одаренность, это доставляет ему в тысячу раз больше радости, чем его тщеславие.

Пристальное изучение своего «я» не отдалило его от мира, не сделало его чужим миру. Он — не забравшийся в бочку Диоген, не Руссо, пораженный манией преследования. Нет ничего, что ожесточило бы его или отвратило от любимого им мира. «Я люблю жизнь и пользуюсь ею такой, какой Бог пожелал дать нам ее». То, что он заботился о своем «я», не сделало его одиноким, а принесло ему тысячи друзей.

Описывающий свою жизнь — живет для всех людей, выражающий свое время — делает это для всех времен.

Правда, Монтень на протяжении всей своей жизни спрашивал: как я живу? Но замечательно, удивительно то, что он никогда не пытался эту фразу дать в императивной форме: никогда вместо «Как я живу?» он не говорил: «Ты должен жить так!» Человек, на гербе которого как девиз вырезано «Que sais-je?», ничто не ненавидит сильнее, чем закосневшие утверждения.

Он никогда не пытался советовать другим. «Все это не мое

учение, это мои усилия получить знания, и это не мудрость других людей, а моя мудрость». Если кто-нибудь может извлечь из этого пользу, он ничего не имеет против. Возможно, то, что он сказал, — глупость, ошибка, никто не должен от этого пострадать. «Когда я веду себя как дурак, то за это расплачиваюсь сам и не приношу никому убытки, так как это — присущая мне глупость».

То, что он искал, он искал для себя. То, что нашел, значит для каждого другого ровно столько, сколько он из найденного хочет или может извлечь для себя пользы. Что было продумано на свободе, никогда не может ограничить свободу другого.

ГЛАВА 7

В книге Монтеня я нашел только одну-единственную формулу, одно-единственное закосневшее утверждение: «*La plus grande chose au monde est savoir être à soi*»*.

Не внешнее положение, не преимущества рождения делают аристократа человеком, а лишь то, в какой степени ему удастся сохранить свою личность и жить своей жизнью. Поэтому для Монтеня высшим среди искусств является искусство самосохранения: «Среди свободных искусств начнем с искусства, которое делает нас свободными», с искусства, которое никто лучше его не изучил. С одной стороны, желание жить своей жизнью кажется небольшим, так как на первый взгляд нет ничего естественнее, чем то, что человек чувствует склонность оставаться самим собой и вести свою жизнь «сообразно своим естественным склонностям». Но в действительности, если пристальнее всмотреться, может ли быть что-нибудь труднее?

Чтобы быть свободным, не следует иметь долгов, нельзя впутываться в житейские конфликты, а мы находимся в путах государства, общества, семьи, наши мысли подчинены языку,

* Самая великая вещь в мире — уметь принадлежать самому себе (фр.).

на котором мы говорим; изолированного от этих связей, совершенно свободного человека не существует и быть не может, это иллюзия. Жить в вакууме невозможно. Благодаря воспитанию мы осознанно или бессознательно являемся рабами обычаев, религии, мировоззрений; мы дышим воздухом нашего времени.

От всех этих связей отказаться невозможно, и Монтень это прекрасно понимает: он выполнил свои обязательства перед государством, перед обществом, перед семьей, он, по крайней мере внешне, точно следовал предписаниям религии, правилам поведения в обществе. Монтень искал лишь пределы совершенно необходимых обязательств. Мы не должны отдавать себя, мы можем только «одалживать себя». Необходимо «за исключением очень редких обстоятельств, когда мы ясно чувствуем, что следует поступить иначе, накапливать свободу нашей души, а не отдавать ее взаймы». Мы не должны удаляться от мира, уединяться в келье. Но нам надо различать: любить мы можем то или иное, но ни с чем не должны быть «брачно связанными» крепче, чем с самим собой.

Монтень не отклоняет ничего, что связано с плотскими страстями, с другими увлечениями. Напротив, он советует наслаждаться возможно больше, он земной человек и не знает никаких ограничений; кого радует политика — пусть занимается ею, кто любит книги — пусть читает их, кто любит охоту — пусть охотится, кто любит свой дом, земельные владения, деньги, вещи — пусть посвящает себя им. Но, и для Монтеня это самое важное, следует брать столько, сколько человеку хочется, но не отдаваться этим вещам: «Дома, при занятиях, на охоте, при любых других делах следует идти до некоторой предельной границы наслаждений, но остерегаться ее пересечь, иначе к наслаждению примешается страдание».

Нельзя ради чувства долга, из-за страсти, из-за тщеславия продолжать вести себя так, как хотелось бы, необходимо постоянно проверять, сколько все это стоит, и не переоценивать; следует кончать тогда, когда кончается приятное чувст-

во. Голова должна быть трезвой, нельзя ничем связывать себя, нельзя становиться рабом, следует оставаться свободным.

Монтень никаких предписаний не дает. Он приводит лишь один пример того, как он сам постоянно пытался освободиться от всего, что препятствовало, мешало ему, что ограничивало его. Можно попытаться составить список:

Освободиться от тщеславия и гордости, это, пожалуй, самое трудное.

Не зазнаваться.

Освободиться от страха и надежды, от веры и суеверия. Освободиться от убеждений и партий.

Освободиться от привычек: «Привычка скрывает от нас истинное лицо вещей».

Освободиться от честолюбия и любой формы жадности: «...известность и слава — самые бесполезные, ненужные и фальшивые из всех монет, находящихся у нас в обращении».

Освободиться от семьи и окружения.

Освободиться от фанатизма: «Каждая страна полагает, что ее религия наисовершеннейшая», что она, страна, во всем превышает всех других стран. Быть свободным от судьбы. Мы — хозяева своей судьбы. Мы даем вещам цвет и форму.

И последнее: свобода от смерти. Жизнь зависит от других, смерть — от нашей воли: «*La plus volontaire mort est la plus belle*»*.

В нем хотели видеть человека, от всего освободившегося, ни с чем не связанного, живущего в пустоте и все подвергающего сомнению. Таким описал его и Паскаль. Ничего нет ошибочнее. Монтень безгранично любит жизнь. Единственный страх, который был ему знаком, это страх смерти. И жизнь он любит такой, какова она есть. «В природе нет ничего бесполезного, никакой абсолютно бесполезности. Нет во вселенной ничего, что было бы не на своем месте».

Он любит безобразное, потому что оно делает видимым красивое, порок, потому что он подчеркивает добродетель,

* Самая добровольная смерть — самая прекрасная (фр.).

любит глупость и преступления. Все хорошо, и Бог благословляет многообразие. Ему ценно то, что говорит ему самый ординарный человек: имея голову на плечах, и у глупости можно чему-то научиться, от неграмотного получить больше, чем от ученого. Он любит душу, которая всюду, куда бы ее ни определила судьба, чувствует себя прекрасно, любит человека, «который может поговорить с соседом о домашних делах, об охоте, о судебной тяжбе, который также с удовольствием побеседует со столяром или садовником».

Ошибочно и преступно лишь одно: стремиться заключить этот многогранный мир в рамки доктрин и систем, ошибочно отвращать людей от их свободных суждений, от того, чего они действительно хотят, принуждать их к тому, что им чуждо. Эти совратители попирают свободу, и ничего Монтень не ненавидит так, как «frénésie»*, как буйное помешательство диктаторов духа, дерзко и самонадеянно желающих навязывать миру свои «новшества» как единственную и бесспорную истину, которым ради победы их идей безразлична кровь сотен тысяч людей.

Так Монтень, подобно всякому свободному мыслителю, приходит к идее терпимости. Желаящий сам свободно мыслить, дает право на это другим, и никто более него не уважал это право. Он не страшится каннибалов, одного из которых он встретил в Руане. Он находит, говорит Монтень спокойно и недвусмысленно, что съесть человека — преступление несравненно менее значительное, чем пытаться, мучить и терзать живого человека. Его суждения не замутнены никакими предубеждениями. Он сразу же отклоняет мнение, что его рассуждения определяются верой и мировоззрением. «Ни в коем случае я не впадаю в обычную ошибку — судить о других по себе». Он предостерегает от горячности и грубой силы, способных одурманить и погубить, в сущности, хорошую душу.

Важно всем знать — этому имеются доказательства, —

* Исступление (фр.).

человек всегда, в любые времена, может быть свободным. Когда Торквемада посылал сотни людей на костер, когда Кальвин поддерживал процесс ведьм, а своего противника сжег на медленном огне, панегиристы оправдывали их, замечая, что иначе те поступить не могли, что невозможно было полностью отойти от взглядов своего времени.

Но человечество вечно. Гуманные люди жили всегда — и во времена «Молота ведьм»*, «Chambre Ardente», инквизиции фанатики не в состоянии были ни на мгновение смутить дух таких гуманистов, как Эразм, Каstellio, Монтень. И если другие, профессора Сорбонны, главы церкви вроде Кальвина, Цвингли, вельможи церкви заявляли: «Мы знаем правду», — девизом Монтеня был вопрос: «Что знаю я?» И если те пыточными орудиями, казнями, изгнанием хотели навязать свое: «Вы должны жить так!» — совет Монтеня гласил: «Думайте своими мыслями, не моими! Живите своей жизнью! Не следуйте слепо за мной, будьте свободны!»

Кто думает о своей свободе, уважает свободу каждого на земле.

ГЛАВА 8

Отступая в 1570 году в башню, тридцативосьмилетний Мишель де Монтень полагает, что свою жизнь завершит в этой башне. Как позднее Шекспир, он своим необычайно пронизательным взглядом увидел хрупкость вещей, «заносчивость властей, лживость политики, унижительность службы при дворе, скуку работы в магистрате» и, прежде всего, свою собственную неспособность активно действовать в мире. Он пытался помочь, но его помощи не желали, он пытался — впрочем, не очень настойчиво, и всегда с гордостью уважающего

* «Молот ведьм» — произведение монахов-доминиканцев Я. Ширенгера и Г. Крамера, излагающей учение католической церкви о ведовстве. — *Примеч. пер.*

себя человека — давать советы власть имущим, как успокоить фанатиков, но его советами не заинтересовались.

С каждым годом время становится беспокойнее, вся страна охвачена волнениями. Варфоломеевская ночь ведет к новым кровопролитиям. Гражданская война докатывается до дверей его дома. И он принял решение более ни во что не вмешиваться. Он не желает более видеть мир, пусть мир, словно в камере обскуре, отражается в его рабочем кабинете. Сознавая свое бессилие, он подал в отставку. Пусть другие заботятся о месте, о влиянии, о славе, отныне он станет заботиться лишь о себе. Он окопался в своей башне, между ним и шумом внешнего мира вал из тысячи книг.

Иногда еще он предпринимает вылазку из своей башни: как рыцарь ордена Св. Михаила он выезжает на похороны Карла IX, время от времени, когда его об этом просят, он выполняет политические посреднические поручения, но решает больше по своей инициативе не принимать никакого участия в политической жизни страны, на битвы герцогов Гизов с Колиньи смотреть как на сражение при Платее. Он принимает решение отныне никому не сострадать, быть ко всему безучастным, теперь его мир — это его «я». Он хочет записать кое-какие воспоминания, несколько мыслей, скорее, мечтать, чем жить, и готовиться к смерти, терпеливо ожидать ее.

Он говорит себе то же, что все мы говорим себе во времена смут: «Какое тебе дело до мира? Ты не в состоянии изменить его, улучшить. Подумай о себе, спасай в себе все, что можно спасти. Строй, тогда как другие разрушают, попытайся в этом мире безумия быть разумным для себя. Замкнись, строй свой собственный мир».

Наступил 1580 год. Изолированный от мира, он десять лет просидел в своей башне, решив, что здесь и завершит свою жизнь. Но тут он понял, что ошибся, а Монтень всегда признается в своих ошибках.

Первая ошибка заключалась в том, что он полагал, будто в тридцать восемь лет он уже стал стариком и что слишком рано начал готовиться к смерти, собственноручно уложил себя в

гроб. Сейчас ему сорок восемь, и он с удивлением видит, что чувства не угасли, а пожалуй, скорее стали ярче, ум — яснее, душа — менее чувствительной, более любопытной, более нетерпеливой. Нельзя так рано отказываться от всего, закрывать книгу жизни, как будто бы уже прочитан последний лист. Приятно было читать книги, часок побыть с Платоном в Греции, часок послушать мудрого Сенеку, с этими спутниками из других столетий, с этими лучшими из лучших на свете жить было хорошо и спокойно.

Но даже если и не хочешь, приходится жить в своем столетии, воздух твоего времени проникает даже в закрытое помещение, особенно если этот лихорадящий и душный воздух несет грозу. И мы пережили все это, если страна охвачена возбуждением, то и в уединении душа не найдет себе покоя. Сквозь стены башни, сквозь стекла окон чувствуем мы волнения времени, можно разрешить себе передышку, но полностью уклониться от них невозможно.

И о второй допущенной им ошибке Монтень постепенно узнает: он искал свободу, уйдя из большого мира, из политики, от службы и домашних дел в свой маленький мир дома и семьи, а вскоре обнаружилось, что он одни связи поменял на другие. Да и изоляция, которую он создал себе вблизи дома, не удалась, не удалось укорениться здесь одиночеству, помешали сорная трава, плющ, вьющийся вокруг ствола, маленькие мыши-заботы, грызущие корни.

И башня, в которой он уединился, переступить порог которой никто не смел, не помогла ему. Стоит ему посмотреть в окно, и он видит, что на полях лежит иней, и он уже думает о погибшем вине. Едва раскрыв книгу, он слышит внизу голоса бранящихся людей, а выйдя из комнаты, слышит о соседях, о заботах управления хозяйством. Его одиночество — не одиночество анахорета, так как у него поместье, поместье же необходимо лишь для того, кто получает от него удовольствие. Монтень не привязан к нему. «Копить деньги — трудное дело, в котором я ничего не понимаю». Но поместье висит на нем, не дает ему свободы. Монтень очень ясно представляет себе все

это. Он знает, что по сравнению с тем, что творится в стране, все эти заботы смехотворны. Лично он охотно все это бросил бы. «Мне было бы легко от всего этого отказаться». Но поскольку этим занимаешься, от докучливых хозяйственных дел никак не освободиться.

Разумеется, Монтень не Диоген. Он любит свой дом, свое состояние, свое дворянство и признается, что ради душевного спокойствия, выезжая куда-нибудь, берет с собой шкатулку с золотом. Он наслаждается своим положением влиятельного господина. «Признаюсь, что владеть чем-нибудь доставляет удовольствие, даже если это сарай, под крышей которого царит послушание. Но это — скучное удовольствие, и портится оно большим количеством сопутствующих неприятностей». Читаешь Платона и приходится браниться с прислугой, вести тяжбы с соседями, любая починка хозяйственного инвентаря, дома становится заботой.

Мудрость посоветовала бы не огорчаться из-за этих мелочей. Но каждому из нас это знакомо — пока владеешь имуществом, держишься за него или оно держится на человеке тысячью маленьких крючков, и здесь помогает только одно: все меняющая дистанция. Лишь внешняя дистанция определяет внутреннюю. «Едва я уезжаю из моего дома, я сбрасываю с себя все эти мысли. И если в моем поместье обрушится башня, меня это беспокоит меньше, чем при мне упавшая с крыши одна дранка». Тот, кто ограничивает себя небольшим населенным пунктом, попадает в мир малых пропорций. Все относительно. Монтень часто говорит это и каждый раз — по-новому: «То, что мы называем заботами, своего собственного веса не имеет. Это мы увеличиваем или уменьшаем вес. Близость утомляет нас больше, чем даль, и в чем более плохие условия мы попадаем, тем больше угнетает нас мелочное». Спасти от этого невозможно. Но можно взять отпуск.

Монтень со всей своей великолепной человеческой откровенностью излагает — причем, как всегда, то, что каждый из нас прочувствовал, — все те основания, которые на сорок восьмом году жизни после десятилетнего уединения вновь разбудили в

нем «*humeur vagabonde*»*, побудили его вернуться в большой мир из надежного, безопасного мира своих привычек и закономерностей.

О еще одном основании, не менее важном для его побега из одиночества, следует, пожалуй, читать между строк. Монтень всегда и всюду искал свободу и перемены, но ведь семья — ограничение, а брак — однообразие и, кроме того, чувствуется, что он не был особенно счастлив в своей домашней жизни. Брак, так считает он, имеет некоторые положительные черты: законная связь, честь, длительность — все «скучные и однообразные удовольствия». А Монтень — человек, не любящий ни скучных, ни однообразных удовольствий.

То, что его брак не был браком по любви, а был браком по расчету, и то, что он браки по любви, скорее, осуждает, а брак по расчету полагает единственно правильным, — это он повторяет в своей книге в разных вариантах неисчислимое число раз, а также то, что, женившись, он следовал «*habitude*»**.

На протяжении столетий ему не без оснований ставили в вину то, что он со своей непоколебимой откровенностью дал женщинам больше, чем мужчинам, прав менять возлюбленных, так что некоторые биографы поэтому высказывают сомнение в его отцовстве в отношении последнего ребенка.

Все это, возможно, лишь теоретические взгляды. Но после многолетнего брака все же кажется удивительным то, что он говорит: «В наше столетие женщины заботятся о том, чтобы сдерживать свои чувства и хорошее отношение к мужу, откладывая его до его смерти. Наша жизнь перегружена ссорами, а наша смерть окружена любовью и заботами». Он добавляет к этому даже убийственные слова, что-де мало замужних женщин, которые бы «во вдовстве не согрешили».

Сократ после своего печального опыта совместной жизни с Ксантиппой не мог неприветливее говорить о браке: «Тебе не следует придавать никакого значения ее заплаканным гла-

* Дух бродяжничества (фр.).

** Здесь: обычаю (фр.).

зам». Когда Монтень однажды говорит об удачном браке, он тотчас же добавляет: «Если такие существуют».

Видно, что десять лет одиночества были полезны, но их было более чем достаточно. Он чувствует, что коснеет, весь сжимается, кругозор становится уже, а Монтень, как никто другой, противится косности. Инстинктивно, а инстинкт всегда подсказывает творческой личности, когда приходит время менять свою жизнь, он выбирает правильный момент. «Лучшее время покинуть дом, это когда ты навел в нем порядок и он без тебя отлично сможет обойтись».

Он привел свой дом в порядок. Поля, имение в прекрасном состоянии, деньги накоплены в достаточном количестве, так что он может позволить себе длительную поездку, и его беспокоит лишь одно — а вдруг удовольствие долгого отсутствия не окупить теми заботами, что будут ждать его по возвращении. И с другой, с творческой работой тоже все в порядке. Он отдал печатнику рукопись своих «Опытов» и оба тома уже отпечатаны.

Цикл завершен. Вот лежат они перед ним, если использовать любимое выражение Гёте, словно сброшенная змеиная шкура. Теперь есть время начать все сначала. Он выдохнул, надлежит сделать вдох. Он пустил корни, надо вновь вырывать их. Начинается новый период. После десятилетнего добровольного заключения — он никогда ничего не делал по принуждению — сорокавосемилетний Монтень отправляется в путешествие, которое отдалит его почти на два года от жены, и башни, и родины, от всего, но только не от себя.

Это — поездка без определенной цели, поездка ради поездки, или, точнее, ради удовольствия от поездки. До сих пор его поездки были в известной степени поездками по обязанности, по заданию двора, по поручению парламента города Бордо, по хозяйственным делам. Это были, скорее, экскурсии, сейчас же это была настоящая поездка, единственной целью которой была его вечная цель — найти самого себя. У него нет никаких намерений, он не знает, что увидит, более того, он не желает

ничего знать об этом наперед, и когда люди спрашивают его о цели поездки, он весело отвечает: «Не знаю, что увижу, но, во всяком случае, очень хорошо знаю, от чего бегу».

Он достаточно долго был в мире однообразия, теперь ему хочется другого, и чем больше будет этого другого, тем лучше! Все, находящиеся всё в своем доме великолепным, могут быть более счастливыми в этой ограниченности самомнения, он не завидует им. Его же влечет лишь перемена, лишь от нее ожидает он пользы. Ничто не волнует его в этой поездке так, как предвкушение всего нового — языка, и неба, и привычек, и людей, давления воздуха и пирогов, дорог и постелей. Ибо смотреть для него означает учиться, сравнивать, лучше понимать. «Я не знаю лучшей школы в жизни, чем перемена условий», эта перемена показывает бесконечное многообразие человеческой природы.

Для него начинается новая глава. Из искусства жизни возникает искусство путешествия как искусство жизни.

Монтень едет, чтобы стать свободным, и вся его поездка — пример свободы. Попросту говоря, он едет куда глаза глядят. В поездке он избегает всего, что напоминает об обязанностях перед самим собой. У него нет никакого плана. Дорога должна вести его туда, куда она идет, настроения — гнать, куда им хочется. Он желает, если можно так сказать, дать себя везти, вместо того чтобы ехать. Господин Мишель де Монтень не желает в Бордо знать, где именно господин де Монтень пожелает быть на следующей неделе — в Париже или в Аугсбурге. Это должен определить другой Монтень, свободный Монтень Аугсбурга или Парижа. Он желает остаться свободным по отношению к самому себе.

Он желает быть в движении. Если ему кажется, что он что-то упустил, он возвращается. Вольность постепенно становится его страстью. Его даже слегка угнетает то, что иногда в пути приходится спрашивать, куда ведет дорога. «Я получил такое наслаждение от езды, что даже само приближение к месту, где я решил остаться, мне становилось ненавистным, и я выдумывал различные возможности того, как мог бы я ехать

совершенно один, по собственной воле, с присущими мне привычками».

Он не ищет никаких достопримечательностей, потому что все кажется ему достопримечательностью. Напротив, особо знаменитые места он предпочел бы не посещать, потому что слишком многие другие видели и описали их. Рим — цель всего мира — ему заранее почти неприятен, и секретарь записывает в дневник Монтеня: «Я думаю, что в действительности, будь я полностью предоставлен самому себе, я предпочел бы путешествию по Италии поездку в Краков или сухопутной дорогой — в Грецию».

Всегда постоянен вечный закон Монтеня: чем больше нового, тем лучше, и даже если он ничего не находит из того, что ожидал или о чем ему говорили другие, недовольным он себя не считает. «Если я не нахожу в каком-либо месте то, что мне о нем говорили, так как чаще всего подобные сообщения, как я полагаю, ложны, я не сожалею, что мои усилия были напрасны, поскольку, по меньшей мере, я узнал, что то или это не соответствует действительности».

Как истинного путешественника, его ничто не разочаровывает. Подобно Гёте, он говорит себе: неприятности — это тоже часть жизни. «Обычай чужих стран своим различием доставляют мне только удовольствие. Каждый обычай я нахожу целесообразным в своем роде. Мне совершенно безразлично, подают ли мне пищу на оловянных тарелках, деревянных или глиняных, кормят ли меня вареным мясом или жареным, горячим или холодным, со сливочным маслом или растительным, дают мне орехи или сливы». И старому релятивисту стыдно за своих земляков, которые, находясь в плену предубеждений, выехав из своей деревни, не желают принять обычаи соседей, в чем-то отличающиеся от их обычаев. На чужбине Монтень хочет видеть чужое. «Ничего гасконского я не ищу у сицилийцев, гасконцев я и дома вижу предостаточно», — он избегает земляков за границей, они ему достаточно хорошо известны. Он хочет иметь свои убеждения, предубеждения ему не нужны. У Монтеня можно поучиться и тому, как следует путешествовать.

По-видимому, неутомимого путешественника пытаются удержать дома, это чувствуется по его ответам на вопрос: «Что будет с тобой, если ты в дороге заболеешь?» Действительно, вот уже три года Монтень страдает от камней в почках. Это болезнь всех ученых его времени, вероятно, следствие неразумного питания и сидячего образа жизни. Как Эразма и Кальвина, его мучает желчнокаменная болезнь, и, вероятно, в таком состоянии не просто месяцами мотаться верхом на лошади по чужим дорогам. Но Монтень, надеющийся вновь найти в этой поездке не только свободу, но, по возможности, и здоровье, равнодушно пожимает плечами. «Если меня в дороге прихватит или если почувствую себя недостаточно хорошо, чтобы сесть на лошадь, сделаю привал. Если что забуду, вернусь обратно — ведь это же решать мне».

И на опасения, что он может умереть вдали от родины, он отвечает: если ему следует этого бояться, то он, пожалуй, не сможет выехать даже из прихода Монтень, не говоря уже о Франции. Смерть повсюду, и он предпочел бы встретить ее верхом на лошади, а не в постели. Как истинному космополиту, ему безразлично, где умереть, на какой земле.

22 июня 1580 года Мишель де Монтень выезжает из ворот своего замка на свободу. Его сопровождают зять, несколько друзей и двадцатилетний брат. Выбор не очень-то удачный. Позже он выскажется не очень лестно о своих спутниках, а они в поездке тоже испытают значительные неудобства, связанные со странным, своевольным характером Монтеня. Выезжает, чтобы «*de visiter les pays unconnus*»*.

Это не выезд *Grand seigneurs*** , но все же достаточно представительный выезд. Самое важное, что Монтень не берет с собой ни предубеждений, ни спеси, никаких твердо устоявшихся взглядов.

Сначала дорога ведет в Париж, город, который Монтень любит с давних пор и которым вновь и вновь восхищается.

* Посетить неведомые страны (фр.).

** Здесь: большого вельможи (фр.).

Несколько экземпляров своей книги он уже отправил в Париж, но две книги берет с собой, чтобы передать королю. У Генриха III нет, собственно, к подобным книгам большого интереса, он, как обычно, проводит время на войне. Но поскольку все при дворе книгу читают и восхищены ею, читает также и он и приглашает Монтеня посетить лагерь в Ла Фер.

Монтень, которому все интересно, годы спустя опять видит настоящую войну и одновременно испытывает душевное потрясение, когда там гибнет один из его друзей, Фибер де Граммон. Монтень провожает его прах в Суассон и с 5 сентября 1580 года начинает вести свой удивительный дневник.

Интересна аналогия с Гёте: там советник, небогатый купец — отец Гёте, здесь солдат короля Франсуа I — отец Монтеня, оба они стали писать дневники и привезли их из Италии, и, подобно сыну советника Гёте, Иоганну Вольфгангу Гёте, сын Пьера Эйкема, Мишель де Монтень, продолжает традицию отца. До приезда в Рим записи в дневнике делает секретрь Монтеня, здесь секретарь получает отпуск. Далее Монтень сам ведет дневник и, желая как-то приспособиться к стране, в которой находится, записи эти ведет на изрядно варварском итальянском до дня, когда вновь пересечет французскую границу. «Здесь говорят по-французски, и поэтому я отказываюсь от этого иностранного языка», — так что мы по дневнику можем представить себе поездку от начала до конца.

Первая относительно длительная остановка: Пломбье, в ваннах которого Монтень пытается форсированным десятидневным курсом вылечить свою болезнь; затем он едет через Базель, Шафхаузен, Констанц, Аугсбург, Мюнхен и Тироль в Верону, Виченцу, Падую и Венецию, затем через Феррару, Болонью, Флоренцию — в Рим, куда приезжает 15 ноября.

Описание путешествия — дневниковые записи — не художественное произведение, тем более что лишь в меньшей своей части принадлежит руке Монтеня, да и написано оно не на его родном языке. Оно не открывает нам Монтеня-художника, но дает портрет человека со всеми его качествами, со всеми его маленькими слабостями; так, трогательна черта его

тщеславия парвеню, проявившаяся в следующем эпизоде: он, внук гасконского рыботорговца и еврейского купца, преподносит хозяйке гостиницы, как особо ценный прощальный дар, свой прекрасно нарисованный герб. В этой записи, сделанной Монтенем, чувствуется удовольствие, испытанное им: он со стороны смотрит на мудрого человека, делающего глупость, на человека свободного, презирающего все внешнее, оказавшегося в плену своего тщеславия.

Сначала все идет чудесно. У Монтеня прекрасное настроение, его любопытство берет верх над его болезнями. Сорокавосьмилетний человек, который постоянно шутит над своей «vieillesse»*, оказывается выносливее своих молодых спутников. С утра в седле, съев лишь кусок хлеба, отправляется он в путь, и все ему нравится — и хлеб, и движение, безразлично, в паланкине, в экипаже, в седле, пешком ли. Скверные трактиры потешают его тем больше, чем они хуже. Основная радость для него — видеть людей, сталкиваться с разными обычаями.

Всюду посещает он людей из разных слоев общества. От каждого пытается узнать, в чем заключается его «gibier»** — мы бы сказали: хобби. Так как он ищет Человека, то не признает никаких сословий, в Ферраре обедает у герцога, болтает с папой, а также с протестантскими священниками, цвинглианцами, кальвинистами. Достопримечательностей, которые его интересуют, в Бедекере*** не найти. О Рафаэле, Микеланджело, о зданиях великих архитекторов в дневнике говорится мало. Но он присутствует при казни преступника, еврейская семья приглашает его на обряд обрезания, он посещает bagni**** Лукки, а на вечеринках танцует с крестьянками, вступает в разговор с каждым lazzarone*****.

Но он не бежит сломя голову полюбоваться какой-нибудь

* Старостью (фр.).

** Дичь (фр.).

*** Бедкер — название путеводителей, выпускаемых издательством, основанным Карлом Бедкером и существующим в наши дни. — *Примеч. пер.*

**** Ванны (ит.).

***** Нищим, босяком (ит.).

признанной диковиной. Для него диковина все, что естественно. У него большое преимущество перед Гете, ему неизвестен Винкельман*, который всем путешествуя своим столетия навязывал Италию как учебник по истории искусств. Для Монтеня же Швейцария и Италия — живая жизнь.

Жизнь — для него самое главное. Он посещает мессу папы, тот принимает его, Монтень ведет продолжительные беседы с духовными сановниками, и те, преисполненные к нему уважения, предлагают переиздать «Опыты» и просят лишь великого скептика заменить в них слишком часто повторяемое слово «судьба» словами «Бог» или «Божье предопределение».

Он не противится тому, чтобы его чествовали, чтобы выбрали гражданином Рима, более того, он даже хлопочет об этом, гордый такой честью (черта парвеню в свободнейшем человеке). Но это не мешает ему открыто признать, что едва ли не наибольший интерес в Риме, как до этого в Венеции, вызывали у него куртизанки, обычаям и странному образу жизни которых он уделяет в своем дневнике больше места, чем Сикстинской капелле и собору Флоренции. К нему вернулась молодость, и она ищет естественного выхода. Какие-то деньги и золотые монеты, привезенные с собой, похоже, он оставил у них, частью на расходы, связанные с беседами, которые, как он повествует, эти дамы часто ценят больше, чем другие свои услуги.

Конец путешествия был испорчен его болезнью. Он прошел, правда, варварский курс лечения в ваннах Лукки. Его ненависть к докторам находит свое выражение в том, что он сам себе определяет процедуру лечения; свободный во всем, он желает сам себе быть доктором. Очень серьезные причины побуждают его вернуться домой — к прежним болезням добавились мучительные головные боли и зубная боль. В какое-то мгновение он думает даже о самоубийстве.

И как раз во время курса лечения в Лукке приходит сооб-

* Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий историк, автор «Истории искусства древности». — *Примеч. пер.*

шение, которое не больно-то его радует. Горожане Бордо выбрали его своим мэром. Монтень удивляется этому, ведь он одиннадцать лет назад сложил свои обязанности простого члена муниципалитета. Слава, которую стяжала Монтеню книга, побудила горожан Бордо без его ведома и согласия навязать ему такое положение, а возможно, в этом повинна и семья, пытавшаяся вернуть его с помощью такой приманки. Во всяком случае, он возвращается в Рим, а из Рима — домой, в свой замок. 30 ноября 1581 года, после отсутствия в течение семнадцати месяцев и восьми дней, как он точно записывает в дневнике. Двумя годами позже родится его младший ребенок.

ГЛАВА 9

Монтень попытался совершить самое трудное на земле: жить для себя, быть свободным и постоянно становиться все свободнее. И, достигнув пятидесяти лет, он полагает, что близок к этой цели. Но происходит что-то удивительное: именно теперь, когда он удалился от мира и отдался одному себе, мир стал его искать. Молодым человеком он искал званий и деятельности для общества, ему не дали ни того, ни другого. А теперь общество навязывает ему это. Он напрасно предлагал свои услуги королям, усердствовал при дворе, а сейчас ему дают все новые и более почетные поручения. Именно теперь, когда он пытается найти в себе только человека, другие поняли его значимость.

Когда 7 декабря 1581 года пришло то письмо, извещающее его, что он — совершенно неожиданно для него — «со всеобщего одобрения» избран мэром Бордо и его просят «из любви к отечеству» принять эту «charge»*, действительно обременительную для Монтеня, похоже, Монтень не собирался отказаться от своей свободы. Он чувствует себя большим человеком и так страдает от своей желчнокаменной болезни, что

* На французском языке это слово имеет несколько значений и среди них: «ноша» и «должность».

иногда даже помышляет о самоубийстве: «Если от этих страданий невозможно избавиться, нужно мужественно и быстро покончить с собой, это единственное лечение, единственное правильное решение». К чему принимать еще должность, если он понял свою внутреннюю задачу, к тому же должность, которая доставит лишь хлопоты и не принесет ни денег, ни особой чести.

Но, вернувшись домой, в своем замке Монтень находит письмо короля, датированное 25 ноября, которое достаточно ясно превращает простое пожелание горожан Бордо в приказ. В своем письме король учтиво начинает с того, что очень рад подтвердить выбор, произведенный в отсутствие Монтеня, без его участия — следовательно, совершенно добровольно. И король поручает ему «без промедления и оговорок» принять должность. Последняя же фраза письма решительно отрезает любое отступление: «И тем самым Вы сделаете шаг, который мне очень желанен, а противоположное мне было бы крайне неприятно». Такому королевскому приказу противоречить невозможно. В свое время он унаследовал от отца болезнь; неохотно вступает он во владение другим наследием отца: становится мэром.

Прежде всего, и это характеризует его чрезвычайную порядочность, он предупреждает своих сограждан, что им не следует ожидать от него беззаветной самоотверженности, присущей его отцу, душа которого очень страдала «от этих тягот общественной деятельности» и который ради своего долга безраздельно отдал свои лучшие годы, пожертвовав своим здоровьем и домашними делами. Монтень знает, что он доброжелателен к людям, нет в нем честолюбия, алчности, властолюбия, грубости, но он знает также и свои недостатки: у него скверная память, нет у него неусыпной внимательности, «vigilance»*, ему недостает тактичности и опыта.

Как всегда, Монтень решил сохранить для себя свое последнее, свое лучшее, свое самое драгоценное, «son essence»**;

* Бдительности (фр.).

** Свою сущность (фр.).

он обещал с величайшей заботливостью и преданностью делать все, что от него потребуют и возложат на него, но не более того.

Чтобы внешне показать, что он не уходит от себя, он не поселяется в Бордо, а остается в своем замке Монтень. Но похоже, что Монтень, и работая над книгой, и исполняя должность мэра, благодаря острому уму и богатому жизненному опыту, успевает выполнить несравненно больше других. Им были довольны, и это подтверждается тем, что в июле 1583 года, по истечении срока полномочий, его вновь выбирают мэром на два года.

Но этой должности, этих обязанностей недостаточно. Мало того, что в нем нуждается город, нуждаются в нем двор, государство, большая политика. На протяжении многих лет власти королевства смотрели на Монтеня с известным недоверием, у профессиональных политиков он всегда считался свободным и независимым человеком. В свое время, когда он сказал: «Весь мир был слишком деятелен», — его упрекнули в пассивности. Он не присоединился ни к одному королю, ни к одной партии, ни к одной группировке, друзей выбирал не по принадлежности к какой-либо партии или религии, а исключительно по их заслугам.

Такой человек во время «либо — либо», во время угрожающих побед и угрожающего истребления гугенотов, Франции был не нужен. Но теперь, после порожденного гражданской войной чудовищного разорения, после того, как фанатизм довел сам себя *ad absurdum**, прежний недостаток в политике превратился в достоинство, и человек, всегда остававшийся свободным от предрассудков и предвзятых мнений, не поддающийся подкупу привилегиями и славой, стоящий вне партий, такой человек — идеальный посредник.

Положение во Франции чрезвычайно сильно изменилось. После смерти герцога Анжуйского в соответствии с салическим законом законным наследником престола Генриха III

* До абсурда (*лат.*).

становится Генрих Наваррский (позже Генрих IV) как супруг дочери Екатерины Медичи. Но Генрих Наваррский — гугенот и вождь партии гугенотов. Таким образом, он находился в остром конфликте с двором, пытающимся подавить гугенотов и десять лет назад давшим из окон королевского дворца приказ о резне в Варфоломеевскую ночь. Двор и партия Гизов, находящаяся в жестокой оппозиции ко двору, пытаются воспрепятствовать законному престолонаследнику реализовать свои права на престол. Но поскольку Генрих Наваррский и не думает отказаться от своих прав, то, если между правящим королем Генрихом III и им не будет достигнуто согласие, неминуемо разразится новая гражданская война.

Для великой, для всемирно-исторической миссии, которая должна обеспечить мир Франции, такой человек, как Монтень, — идеальный посредник, и не только потому, что в основе его убеждений терпимость, но и потому также, что он — доверенное лицо и короля Генриха III, и претендента на престол, Генриха Наваррского. Своеобразная дружба связывает его с молодым властителем, и дружба эта — испытанная. Монтень будет продолжать общаться с Генрихом Наваррским и тогда, когда того отлучат от церкви, в чем позже признается священнику на исповеди, поскольку такое считалось грехом.

Генрих Наваррский посещает Монтеня со свитой из сорока дворян и всей их службой в 1584 году в замке Монтень, спит на кровати хозяина. Генрих Наваррский доверяет ему самые тайные поручения, Монтень выполняет их надежно и добросовестно; когда несколько лет спустя вновь возникает, пожалуй, самый тяжелый кризис в отношениях между Генрихом III и будущим Генрихом IV — оба они в качестве посредника пригласят именно Монтеня.

В 1585 году завершался второй срок пребывания Монтеня на посту мэра Бордо и прощание его с должностью было бы обставлено очень торжественно: в речах сограждане благодарили бы его за работу. Но судьба не желает для него такой почетной отставки. Он держался мужественно и решительно

во вновь развязавшейся гражданской войне между гугенотами и лигистами в то время, когда город находился между двумя противоборствующими силами. Дни, а иногда и ночи бодрствовал с солдатами, организуя оборону. Но от другого врага, от эпидемии чумы, которая вспыхнула в Бордо, он панически бежал, бросив город на произвол судьбы. Для него здоровье было всегда самым важным. Он — не герой и никогда героем не притворялся.

Мы не можем теперь представить себе, что значила в те времена чума. Нам известно лишь, что она всюду была сигналом к бегству. Такое было и с Эразмом, и с очень многими другими. В Бордо менее чем за полгода умерло семнадцать тысяч человек, половина населения. Бежал каждый, кто мог раздобыть телегу, лошадь. Оставался лишь «*le menu peuple*»*.

Чума появилась и в доме Монтеня. И он решает покинуть дом. Бежит вся семья — старая мать Антуанетта, его жена, дочь. Теперь ему представилась возможность проявить силу своей души, ибо «внезапно и непрерывной чредой на меня посыпались тысячи самых различных болезней». Он страдает от тяжелых материальных потерь, он вынужден оставить свой дом без присмотра, так что каждый может взять и берет в нем все, что пожелает.

Не собрав в дорогу вещи и в чем был, бежит он из дома и не знает куда, ибо никто не принимает семьи из зачумленного города. «Друзья боялись их, да и они сами боялись себя. Страх охватывал людей, у которых беглецы искали приюта, и внезапно приходилось его менять, едва кто-либо из прибывших начинал жаловаться на какую бы то ни было боль». Эта поездка ужасна: в пути они видят необработанные поля, покинутые деревни, больных, непогребенные трупы. Шесть месяцев должен он «быть главой этого печального каравана» и одновременно писать письмо за письмом «*jurats*», которым он передал управление городом. Видимо, озлобленные бегством Монтеня, они требуют его возвращения и наконец сообщают

*Простой люд (фр.).

ему, что он уже не мэр. Но и после окончания своих полномочий Монтень в город не возвращается.

При этом паническом бегстве от чумы что-то от славы, чести и достоинства было утрачено. Но «essence» он спас. В декабре, когда эпидемия чумы угасла, после шести месяцев блужданий, Монтень возвращается в свой замок и возлагает на себя прежние обязанности — искать самого себя, познавать себя самого. Он начинает новую книгу «Опытов», третий том. В нем опять умиротворенность, согласие, мир, он свободен от высмеиваний и глумлений, только желчно — каменная болезнь приносит ему страдания.

Теперь остается лишь ждать, когда придет смерть, которой он уже не однажды «касался рукой». Похоже, он должен наконец получить покой, этот так много переживший человек: годы войн и годы мира, общение с двором, с людьми высшего света, одиночество, бедность и богатство, хозяйственные заботы и досуг, здоровье и болезни, жизнь в семье и путешествия, безвестность и славу, любовь и брак, дружбу и одиночество.

Но еще не все испытал он. Еще нужен он миру, и мир вновь призывает его. Отношения между Генрихом Наваррским и Генрихом III обострились до крайности, до предела. Король послал к Шуайез армию, и Генрих Наваррский 23 октября 1587 года под Кутра полностью уничтожил ее. Теперь он мог как победитель идти к Парижу, силой получить права на престол, а возможно, даже и захватить престол. Но благоразумие призывает его не ставить свой успех на карту. Он хочет еще раз попытаться пойти на переговоры.

Через три дня после этой битвы к замку Монтень подъезжает группа всадников. Старший требует, чтобы их впустили, их немедленно впускают. Это Генрих Наваррский, он хочет получить у Монтеня совет, как при дипломатических переговорах наиболее эффективно использовать победу под Кутра. Это — тайное поручение. Монтеню в качестве посредника

следует отправиться в Париж и передать королю его условия. Вероятно, обсуждалось только одно решающее предложение, которое, если оно будет реализовано, принесет Франции мир, а Генриху Наваррскому обеспечит величие на столетия: переход Генриха Наваррского в католичество.

Монтень тотчас же в середине зимы отправляется в путь. С собой он берет откорректированный экземпляр «Опытов» и рукопись новой, третьей книги. Но поездка эта мирной не будет. В пути на него нападает и грабит шайка лигистов. Вторично на собственной шкуре он испытывает, что такое гражданская война, когда едва прибывшего в Париж, где он не застанет короля, его арестовывают и препровождают в Бастилию. Правда, в ней он проведет лишь день, так как Екатерина Медичи сразу же приказывает его выпустить. Но человеку, всюду ищущему свободу, приходится и в такой, крайней форме почувствовать, что значит лишиться ее. Затем он едет в Шартр, Руан и Блуа, чтобы встретиться и переговорить с королем. Этим завершается его поручение, и он возвращается в свой замок.

И вот в старом замке, в своей комнате в башне сидит маленький, ниже среднего роста человек. Он постарел, облысел, сбрил свою красивую каштановую бородку, едва она стала сесть. Вокруг него мало людей, по комнатам замка, словно тень, бродит его старая, чуть ли не девяностолетняя мать. Братья разъехались, дочь вышла замуж и живет в семье мужа. У Монтеня дом — кому этот дом достанется после его смерти? У него есть герб, а он последний. Кажется, все уже позади.

Но как раз в этот последний час, теперь, когда уже слишком поздно, человеку, презиравшему привилегии, они сами предлагают себя. В 1590 году Генрих Наваррский, которому он друг и советчик, становится королем Франции, Генрихом IV. Монтеню следовало бы только поспешить ко двору, осаждаемому толпой просителей, и высшее место в государстве рядом с тем, кому он давал советы, и такие хорошие советы, было бы

ему обеспечено. Он смог бы стать тем, кем для Екатерины Медичи был Мишель Лопиталь, мудрым советником, призывающим к милосердию, великим канцлером.

Но Монтень не хочет этого. Он довольствуется письменным приветствием короля и приносит извинения за то, что не явился ко двору. Он напоминает королю о необходимости снисходительности и пишет прекрасные слова: «Великий победитель прошлого мог гордиться, дав своим покоренным врагам те же основания, что и своим друзьям, чтобы любить его».

Но короли не любят тех, кто ищет их милости, а еще более тех, кто эти милости не ищет. Несколько месяцев спустя король уже в более резком тоне пишет своему прежнему советчику, предлагая ему должность и, по-видимому, какое-то вознаграждение. Но, не желающий служить, Монтень не хочет оказаться под подозрением, что его можно подкупить. Он гордо отвечает королю: «Я никогда не пользовался какой бы то ни было щедростью королей, никогда не просил, да и не заслуживал ее... «я», государь, богат настолько, насколько этого желаю».

Он знает, что ему удалось то, что Платон однажды назвал самым трудным на земле, — выйти из общественной жизни с чистой совестью. Бросая ретроспективный взгляд на свою жизнь, он с гордостью пишет: если бы ему хотелось всмотреться в самую сущность своей души, то стало бы ясно, что он не способен был кого-то обидеть или причинить кому-либо ущерб, не способен на месть или зависть, открыто выказать раздражение или не сдержать свое слово. «И хотя наше время, как, впрочем, и другие времена, давало к этому много поводов, я никогда не прибирал к рукам владения или имущество другого француза. В годы войны и мира я никогда не пользовался ничьими услугами, не отблагодарив человека достойным образом. У меня свои законы и свой трибунал, выносящий мне приговор».

На пороге смерти его приглашали сановники, а он этих встреч не ждет, они давно уже ему не нужны. На пороге смерти к нему, чувствующему себя стариком, лишь тенью, лишь частичкой своего «я», приходит то, что он и не надеялся более

увидеть, — сияние нежности и любви. С грустью он сказал тогда: разве что только любовь сможет его воскресить.

И вот происходит невероятное. Молодая девушка из очень знатной семьи, Мария де Гурне, чуть старше его младшей дочери, которую он только что выдал замуж, страстно увлеклась книгами Монтеня. Она любит их, преклоняется перед ними, она ищет свой идеал в их авторе. В подобных случаях всегда трудно установить, где кончается любовь к писателю и начинается любовь к человеку. Но он не раз ездит к ней, несколько месяцев остается в поместье ее семьи под Парижем, и она становится его «*fille d'alliance*»*, он доверяет ей самое ценное из того, что оставляет после себя: издание «Опытов» после своей смерти.

А теперь ему, изучившему жизнь и накопившему ценнейший опыт жизни, остается только одно, последнее — смерть. Как жил он мудро, так мудро и умер. Его друг, Пьер де Брак, пишет, что смерть его была мягкой «после счастливой жизни» и следовало бы считать счастьем, что она освободила его от парализующей подагры и мучительных страданий, которые причиняла ему желчнокаменная болезнь.

Гениальное его произведение никогда не перестанет доставлять людям глубокое наслаждение своей чистой духовностью и прекрасным стилем изложения.

Он принял соборование 13 сентября 1592 года, и вскоре после этого скончался. С ним угасают оба рода — Эйкемов и Пакагонов. Он покоится не возле своих предков, как его отец. Он лежит в церкви ордена Фельянов в Бордо, первый и последний Монтень, единственный, пронесший это имя через века.



*Здесь: духовной дочерью (фр.).

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО.

Перевод Л. Миримова

Миссия и смысл жизни	7
Взгляд на время	19
Безрадостная юность	24
Портрет	40
Годы мастерства	50
Величие и ограниченность гуманизма	64
Гениальный противник	83
Борьба за независимость	109
Великий спор	123
Конец	138
Завещание Эразма	150

СОВЕСТЬ ПРОТИВ НАСИЛИЯ. Кастеллио против Кальвина.

Перевод Л. Миримова

Введение	157
Захват власти Кальвином	169
«Учение»	189
Появляется Кастеллио	213
Дело Сервета	235
Убийство Сервета	253
Манифест терпимости	273
Совесть поднимается против насилия	296

Насилие расправляется с совестью	314
Крайности сходятся	345

АМЕРИГО. Повесть об одной исторической ошибке.

Перевод Л. Лежневой

Историческая обстановка	361
За тридцать две страницы — бессмертие	371
Новая часть света получает имя	382
Великий спор начинается	394
Документы накапливаются	408
Кем был Веспуччи	416

МАГЕЛЛАН. Человек и его деяние.

Перевод А. Кулшиер

От автора	437
Navigare necesse est	441
Магеллан в Индии	463
Магеллан обретает свободу	482
Идея Магеллана осуществляется	501
Воля одного против тысячи препятствий	518
Отплытие	532
Тщетные поиски	547
Мятеж	568
Великое мгновение	584
Магеллан открывает свое королевство	607
Смерть накануне полного торжества	623
Возвращение без вождя	637
Мертвые неправы	660

МОНТЕНЬ * <i>Перевод Л. Миримова</i>	675
---	-----

* На русском языке публикуется впервые.

СТЕФАН ЦВЕЙГ
Собрание сочинений
в десяти томах
Том девятый

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
И. Марев

Технический редактор
Г. Шитова

Корректоры
Н. Кузнецова, И. Сахарук

ЛР № 030129 от 23.10.96 г.
Подписано в печать 20.12.96 г. Уч.-изд. л. 37,85.
Цена 36 000 р.
Цена для членов клуба 32 000 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

**Издательский центр «Терра»
предлагает:**

Лот № 210

Р. Киплинг

Собрание сочинений в шести томах

Произведения классика английской литературы Редьярда Киплинга — при всем их жанровом многообразии — отличает отточенность стиля, простота и сила художественной образности и, главное, стремление автора служить словом «простому человеку», помочь ему победить страдания и одиночество, научить мужеству и стойкости. В шеститомное Собрание сочинений включены романы «Ким», «Наулака», «Отважные мореплаватели», «Свет погас», «История Бадалии Херодсфут» и др., рассказы, сказки и легенды, лирика.

Лот № 252

Ж. Сименон

Собрание сочинений в десяти томах

Предлагаемое читателю десяти томное Собрание сочинений Жоржа Сименона построено по тематическому принципу. Открывается оно томом, куда вошли романы, дающие наглядное и убедительное представление об облике Мегрэ и его методе расследования. И каждый последующий том также имеет свою четко выраженную тематическую направленность. Были отобраны наиболее характерные для той или иной темы романы и рассказы, а главное — самые интересные и увлекательно написанные.

В Собрание сочинений вошли романы «Записки Мегрэ», «Цена головы», «Часовщик из Эвертона», «Правда о Беби Донж», «Мегрэ сердится», «Красный свет» и др.

Лот № 227

Ф. С. Фицджеральд

Собрание сочинений в трех томах

Книги американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896—1940), глубокого психолога, острого критика общественных отношений, мастера прозы, — достоверное свидетельство эпохи «великой американской мечты» 20—30-х годов нашего века, эпохи безжалостной и романтической.

В Собрание сочинений вошли романы «По эту сторону рая», «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат», новеллы, эссе.

*Книги издательства «ТЕРРА»
можно купить в магазинах по адресу:*

113399, Москва, ул. Мартеновская, 9/13,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 1.
Тел. 304-57-98, 304-61-13

113216, Москва, б-р Дмитрия Донского, 14 б,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 2.
Тел. 712-34-54

123022, Москва, ул. Красная Пресня, 29,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 3.
Тел. 252-03-50

129110, Москва, пр. Мира, 79, стр. 1,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 4.
Тел. 281-81-01

или заказать по адресу:

109033, Москва, а/я 66.